

Леонид Соболев



БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Вс. Воеводит,
Ев. Рыс



БУРЯ





Библио-
тека
приклю-
чений





Библиотека
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

10

ИЗДАТЕЛЬСТВО

*«Детская
литература»*

МОСКВА

1967



Леонид Соболев

**ЗЕЛЕНЫЙ
ЛУЧ**

Новель



*Вс. Воеводин,
Евг. Рыс*

БУРЯ

Новель



P2
C54

Оформление
Ю. Киселева

Рисунки
В. Щеглова и Н. Лямина

Леонид Соболев





Неизменному другу — О И.

Глава первая

Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

На Кавказском побережье стояла ранняя весна, но в море ее сейчас не чувствовалось: солнце, опускавшееся к горизонту, уже не согревало воздуха, отчего встречный ветерок был почти холодным. Море медленно вздымало длинной зыбью вчерашнего шторма, и шедший под всеми тремя моторами катер свободно ее обгонял. Пологая ленивая волна, вспоротая форштевнем, плавно проносила вдоль бортов, едва успевая накрентить уходящий от нее кораблик, а за кормой, где винты подхватывали ее, мяли и вскидывали, она вставала высоким пенящимся буруном, и казалось, что именно здесь, в бурлении растревоженной

воды, и рождается то низкое, мощное рычание, которым сопровождался стремительный ход катера.

Нет лучшей музыки для командирского уха, чем этот уверенный голос боевого корабля. Сильное и красивое трезвучие моторов, ясно различимое сквозь пальбу выхлопных газов, успокоительно докладывает, что катер в порядке и что достаточно малейшего движения руля, чтобы вовремя отвернуть от плавающей мины, внезапно высунувшей из воды свою круглую черную плешь, или от бомбы, мелькнувшей под крылом пикирующего на катер самолета. Поэтому у лейтенанта Алексея Решетникова было отличное настроение.

Упершись правым боком в поручни так, чтобы одновременно видеть и компас и море перед собой, он неподвижно стоял на мостике, занимая своей командирской особой добрую его треть: мостик был крохотный, а овчинный тулуп, в котором лейтенант весь исчезал с головой, огромный. От бешеного вращения гребных винтов все на мостике ходило ходуном: упруго вибрировала палуба, дрожали стойки поручней, мелко тряслась картушка компаса, шелкали по парусине обвеса туго обтянутые сигнальные фалы, и деревянным стуком отзывались блоки на рее невысокой мачты, — а лейтенантский тулуп неколебимо высился неким символом спокойствия и непреклонной настойчивости, то есть тех человеческих качеств, которым на командирском мостике как раз самое место. Рядом, совершенно прикрывая маленький штурвал широкими рукавами, недвижно стоял второй тулуп, в недрах которого был упрятан рулевой, а на баке, у носового орудия, таким же монументом застыл третий. Крупные брызги, срывавшиеся порой с высокого султана пены под форштевнем, с треском окатывали его, но, не в силах пробить плотную светлую кожу, сбегали по ней быстрыми темнющими дорожками. Это лучше всего доказывало, что прозвище «дворники», которое навлек на свою команду лейтенант Решетников, было вызвано прямой завистью других командиров, не догадавшихся вовремя ухватить в порту эти «индивидуальные ходовые рубки», как называл он свою выдумку.

Командирский тулуп пошевелился, и из косматой овчины всротника выглянуло обветренное, неожиданно молодое и несколько курносое лицо. Живые серые глаза,

прищурясь, быстро и требовательно окинули небо и горизонт, потом так же быстро и требовательно обвели весь катер с носа до кормы, заставив этим всю овчинную «рубку» повернуться с несвойственным постовому тулупу проворством.

Отсюда, с мостика, катер был виден весь — крохотный кусок дерева и металла, затерянный в пустынном просторе огромного моря. Однако при взгляде на него этой малости не чувствовалось: настолько точны и соразмерны были пропорции его стройного корпуса, мачты, рубки, мостика и вооружения.

Чистые, мытые-перемытые солеными волнами доски палубы сияли влажной желтизной, и люки, ведущие в машинное отделение и в кают-компанию, темнели резко очерченными квадратами. Черные пулеметы, воинственно задрав в небо свои стволы с дырчатыми кожухами (которые делали их похожими на какие-то странные музыкальные инструменты), поблескивали маслом и вороненой сталью. За ними, упористо вцепившись в палубу сероголубой конической тумбой, сверкало медью и никелем приборов кормовое орудие, нарядное и изящное, а возле, в металлическом ящике, крышка которого была многозначительно откинута, ровными золотыми сотами сияли медные донышки снарядных гильз. Рядом выстроились вдоль поручней гладкие темные цилиндры глубинных бомб малого размера. Больших нынче на катере не было; вместо них на корме неуклюже — наискось — расположилась пассажирка-шестерка. И оттого, что обыкновенная шлюпка никак не помещалась по ширине катера между поручнями, становилось понятно, что в люки с трудом может пролезть тепло одетый человек, что кормовое орудие больше похоже на пистолет, установленный на тумбе, что от борта до борта каких-нибудь пять-шесть шагов и что весь этот грозный боевой корабль с его орудиями, пулеметами, глубинными бомбами всего-навсего маленький катерок, искусно придуманная оболочка для его могучего сердца — трех сильных моторов.

Шестерка была для катера элементом чужеродным. Ее взяли на поход, чтобы выполнить ту операцию, для какой «СК 0944» шел к берегу, занятому противником.

Неделю назад там, в укромной бухточке, пропала такая же шлюпка, на которой катер «0874» высаживал раз-

ведчиков. Старший лейтенант Сомов прождал ее возвращения до рассвета и был вынужден уйти, так и не узнав, что случилось с шестеркой или с теми двумя матросами, которые должны были привести ее с берега после высадки группы.

При тайных ночных высадках бывали всякие неожиданности. Порой в том месте, где не раз уже удавалось провести такую скрытную операцию, появлялись немцы: подпустив шлюпку к берегу вплотную, они встречали ее гранатами и пулеметным огнем, а иногда, наоборот, дав ей спокойно закончить высадку и отойти подальше от берега, обрушивались на разведчиков, не позволяя и шлюпке вернуться за ними. Порой в камнях поджидала мина, и тогда огненный столб вставал над темным морем мгновенным светящимся памятником и моряки на катере молча снимали фуражки. Но на этот раз с катера «0874» не видели ни стрельбы, ни взрыва, а шестерка не вернулась.

Конечно, бывало и так, что в свежую погоду шлюпку при высадке разбивало о камни или выкидывало на берег. Тогда ее топили у берега, и гребцы уходили в тыл врага вместе с теми, кого привезли, не имея возможности сообщить об этом на катер, ибо всякий сигнал мог погубить дело. Но в ту ночь, когда старший лейтенант Сомов потерял шестерку, море было спокойно.

Так или иначе, шлюпка к катеру не вернулась, и было совершенно неизвестно, что стало с ней и с людьми: сообщить о себе по радио группа по условиям задания не могла, а ждать, пока кто-либо из нее проберется через фронт и расскажет, что случилось с шестеркой, было нельзя. Между тем через неделю обстановка потребовала высадить там же еще одну группу разведчиков, с другим важным заданием. И, так как прямых признаков невозможности операции не было, лейтенанту Решетникову было приказано попытаться сделать это, более того — произвести обратную посадку разведчиков на катер.

Если бы было возможно, лейтенант предпочел бы пойти на шестерке сам: как известно, много легче разобраться на месте самому, чем объяснять другим, что делать в том или ином случае. Но оставить катер он, конечно, не мог, и ему пришлось лишь поручить это дело тем, кому он верил, как самому себе. Из охотников, вызвавшихся

гребцами на шестерку, он выбрал боцмана Хазова и рулевого Артюшина. Артюшин отличался крепкими мышцами и греб за троих, кроме того, был парнем смелым и сообразительным. Боцман же еще до вступления лейтенанта Решетникова в командование катером спас однажды шлюпку и людей в таком же подозрительном случае. Тогда было предположение, что немцы готовят встречу, и Хазов, остерегаясь неприятностей, стал подводить шлюпку к берегу не носом, а кормой, чтобы в случае чего отскочить в море. Так оно и вышло. Шестерка уже коснулась кормой песка, когда между ногами боцмана, ударив его по коленке, упала шипящая граната. Он тотчас схватил ее за длинную деревянную ручку и, не вставая, с силой перекинул через голову обратно на берег. Она взорвалась там; вслед за ней в кусты полетели гранаты разведчиков, Хазов крикнул: «Навались!» — и шлюпка помчалась обратно к катеру под стук автомата, которым боцман поливал негостеприимные кусты.

Судя по неодобрительному виду, с каким Решетников разглядывал шестерку, она продолжала занимать его мысли. Один раз он брал уже с собой в операцию такую большую шлюпку, и с ней пришлось порядком повозиться. Вести ее на буксире было нельзя: тяжелая и пузатая, она заставила бы катер тащиться на малых оборотах (на большом ходу буксир рвался). Поэтому, помяная ее несуществующих родственников, шестерку взбодрили на палубу, поставив на стеллажи глубинных бомб — единственное место, где она кое-как, криво и косо, поместилась. Спускать же ее отсюда ночью, под носом у врагов, оказалось занятием хлопотливым: с высоких стеллажей она сползла под слишком большим углом, вернее — воткнулась в море, как ложка в борщ, и корма, не в силах свободно всплыть, зачерпнула так, что воду пришлось сливать ведром добрые полчаса, чем в непосредственной близости от захваченного противником берега заниматься было вовсе неинтересно. Но тогда катер доставлял партизан в другое, сравнительно спокойное место, а нынче...

Некоторое время лейтенант Решетников, поджимая губы, посматривал на шестерку. Потом с той быстротой движений, которая, очевидно, была свойственна его натуре, вытащил из кармана свисток, дважды коротко свистнул, после чего принял прежнюю позу с видом человека,

который твердо знает, что приглашение повторять не придется.

И точно, боцман без задержки появился у мостика.

Вероятно, он был тут же, на палубе, потому что аккуратно подтянутый поясом клеенчатый его реглан поблескивал от брызг, а наушники меховой шапки были опущены. Мостик, как сказано, был очень невысоким, и боцман, не поднимаясь на него, просто остановился на палубе возле командира, выжидательно подняв к нему лицо. Покрасневшее от ветра, спокойное и серьезное, с правильными, несколько грубоватыми чертами, оно было почти красивым, но не очень приветливым. Казалось, какая-то тень задумчивости или рассеянности лежала на нем, будто Хазов постоянно чувствовал внутри себя что-то неотвязное и, наверное, невеселое, чего не могли отогнать даже забавлявшие весь катер шуточки признанного заводиловки — рулевого Артюшина (того самого, кто сейчас был упрятан в тулуп у штурвала). Неразговорчивость боцмана, видимо, была хорошо известна командиру, и поэтому он, не ожидая официального вопроса, наклонился с мостика, перекикивая гул моторов.

— А что, если к транцу пояса подвязать, штук пять? Пожалуй, не черпнет?

Хазов повернулся к шестерке, и лейтенант с беспокойством увидел, что левая его рука потянулась к щеке. Ладонь дважды медленно прошла по чисто выбритой коже в недоверчивом раздумье, потом крепкие пальцы стиснули подбородок, и глаза боцмана, устремленные на корму, прищурились. Решетников в нетерпении переступил с ноги на ногу, всколыхнув тулуп, а Артюшин улыбнулся в компас, ожидая, что боцман скажет сейчас сожалеюще, но твердо: «Не получится, товарищ лейтенант», и тогда начнется содержательный разговор, который поможет скоротать скучную мирную вахту.

Но спектакль не состоялся. Боцман отпустил подбородок и ответил:

— Лучше под киль возьмем. Выше держать будет.

Теперь к шлюпке повернулся Решетников. Он тоже прищурился, оценивая боцманскую поправку.

Собственный его проект был основан на том, что пробку, как известно, загнать в воду трудно: если к корме шестерки — транцу — привязать спасательные пояса, то

при спуске они будут держать корму на плаву, не давая шлюпке черпать воду, пока нос ее не сползет с катера. Но, конечно, пропустить пояса под килем у кормы, как предложил боцман, было проще и правильнее.

— Добрó,— сказал лейтенант, кивнув головой.

На этом разговор, краткость которого была обусловлена сразу тремя причинами — характером боцмана, гулом моторов и полным взаимопониманием собеседников, закончился. Решетников посмотрел на часы.

— Однако надо и поужинать, пока все нормально,— сказал он.— Вахтенный! Лейтенанта Михеева на мостик!

И он снова спрятался в тулуп. Высунувшись из него для очередного обследования горизонта, лейтенант с удивлением заметил, что боцман по-прежнему стоит на палубе.

— Шли бы ужинать, Никита Петрович,— окликнул его Решетников.— Намерзнетесь еще на шлюпку.

— Красота большая,— отозвался Хазов, задумчиво глядя перед собой.

Решетников повернулся к левому борту, и вечернее небо, которого он почему-то до сих пор не замечал, развернуло перед его глазами все властное свое величие.

Над спокойно вздыхающим морем низко висело огромное, уже приплюснутое солнце. Выше тянулось по небу облако, длинной и узкой чертой разделявшее воздушный простор на два туго натянутых полотнища прозрачного шелка: нижнее пылало ровным желтоватым пламенем, верхнее поражало взгляд бледнеющей синевой, чистой и свежей. По ней веером расходились ввысь летучие перистые облака, легкие, как сонное мечтание; они еще блистали белизной, но мягкий розовый отсвет заката уже тронул снизу их сквозные края, обещая фантастическую игру красок. И, когда с тревожного зарева над морем взгляд переходил на эту вольную синеву, дышать как будто становилось легче и начинало казаться, что в мире нет ни войны, ни горя, ни смертей, ни ненависти и что впереди ждут только удача, счастье и покой.

Сперва Решетников просто рассматривал закат, удивляясь, как это он не заметил раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, ускользающие мысли неясной чередой поплыли в его голове под низкий, мощный гул моторов, торжественный, как органнй аккорд. Он и сам не

мог бы пересказать их, как не может человек выразить словами мягкой предсонной грезы, где видения вспыхивают и гаснут, возникая на миг, чтобы тут же смениться другими. Выставив ветру лицо и всем телом ощущая через поручни могучую дрожь катера, он наслаждался быстрым ходом, морем и закатом, прислушиваясь к тому непонятному, но сильному и прекрасному чувству, которое росло в нем, заставляя невольно улыбаться, и которому трудно подыскать название. Может быть, это было просто счастьем.

Счастьем?..

Что можно говорить о счастье на этом катере, который идет в пустынном военном море, где смерть поджидает в каждой волне и каждой тучке, когда с каждым пройденным им кабельтовым бомба, снаряд или пуля уносятся в разных местах земного шара по крайней мере десять человеческих жизней, когда с каждой каплей бензина, врывающейся в карбюраторы его моторов, падает где-то в мире скорбная человеческая слеза — на письмо, на пожарище родного дома, на корку хлеба, к которой тянется голодный ребенок? Да и существует ли еще на каком-нибудь человеческом языке это заветное слово, самое звучание которого радует душу?.. Полно! Нет его в мире, где страшная сила войны выпущена на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит и разрушает.

На мостике появился лейтенант Михеев, помощник командира катера. Скинув тулуп и с удовольствием расправляя плечи, Решетников коротко передал ему вахту, но, сойдя с мостика, не пошел вниз, а остановился возле машинного люка лицом к закату.

Солнце уже коснулось воды, и сияющая полоса, проложенная им на море, начала розоветь. Огромный земной шар, переполненный горем и ненавистью, поворачивался, и вместе с ним откатывалось от лучей солнца Черное море. Маленький, крошечный катер, настойчиво гудя моторами, карабкался по выпуклости Земли, упрямо догоняя солнце, заваливающееся за горизонт. И тот, кто командовал этим катером, лейтенант Алексей Решетников, вовсе не думал сейчас о том, что такое счастье и может ли оно быть в человеческом сердце, стиснутом равнодушной рукой войны. Он просто любовался закатом и испытывал то

внутреннее удовлетворение, которое приходит к человеку лишь тогда, когда весь внутренний мир его находится в полной уравновешенности (и которое, может быть, и следует называть счастьем). И, хотя катер шел в опасную ночную операцию и мысль об этом, казалось, должна была волновать лейтенанта, он с видимым любопытством и ожиданием всматривался в раскаленный диск, уже безопасный для взгляда.

В великой неудержимости планетного хода солнце расплющенной алой массой проваливалось в воду все быстрее и быстрее, непрерывно меняя очертания. Из диска оно стало овалом, потом пылающей огромной горой, затем растеклось по краю горизонта дрожащей огненной долиной.

Решетников быстро обернулся, ища взглядом Хазова.

— Никита Петрович, не прозевайте! — торопливо сказал он, снова поворачиваясь к закату. — Нынче будет, вот увидите, будет!

Что-то мальчишеское было и в этом восклицании и в том нетерпеливом движении, каким он весь подался вперед, как бы готовясь получше рассмотреть то, что должно было произойти. С мостика донеслась команда лейтенанта Михеева: «На флаг, смирно!» Решетников выпрямился, отступил к борту лицом к середине корабля, как и полагается стоять при спуске флага, но глаза его по-прежнему неотрывно следили за уходящим солнцем. Затаив дыхание он подстерегал тот миг, когда верхний край его окончательно уйдет в воду и оттуда, быть может, вырвется тот удивительный луч, который окрашивает небо и море в чистейший зеленый цвет, более яркий, чем зелень весенней травы или изумруда, и который появляется так редко, что моряки сложили легенду, будто лишь очень счастливому человеку удастся поймать то кратчайшее мгновение, когда вспыхивает над морем знаменитый зеленый луч, ослепительный, как само счастье, и памятный на всю жизнь, как оно.

Жидкое пламя, бушевавшее в огненной долине, вдруг с необычайной стремительностью начало стекаться с краев к середине, и через миг все стянулось в одну алую точку, маленькую и яркую, как огонь сильного маяка. Секунду-две она, мерцая и вздрагивая, сияла на самом крае воды, потом внезапно исчезла, блеснув на прощание

еще меньшей точкой очень яркого и чистого зеленого цвета, и в тот же момент лейтенант Михеев скомандовал:

— Флаг спустить!

Крохотный кормовой флаг пополз вниз с гафеля невысокой мачты. Приложив руку к ушанке, Решетников проводил его взглядом и, потеряв сразу всякий интерес к тому, что происходит на небе, пошел на корму. Возле правого пулемета стоял Хазов, по-прежнему задумчиво смотря на закат.

— Ничего, Никита Петрович, когда-нибудь мы его все-таки поймаем,— сказал лейтенант утешающим тоном, как будто именно боцман, а не он сам с таким нетерпением ожидал сейчас появления зеленого луча.— Пошли ужинать, в самом деле...

— Пспею, товарищ лейтенант,— ответил Хазов.— Пока светло, пояса под шестерку подведу.

Решетников кивнул головой и, задержавшись у кормового люка, чтобы в последний раз окинуть горизонт все тем же быстрым и требовательным командирским взглядом, нырнул вниз.

Длинное узкое облако, висевшее над местом, куда ушло солнце, стало уже темно-красным. Раскалившее его пламя, вырывающееся из-за края воды, поднималось теперь ввысь, и сквозные края легких перистых вееров, раскинутых там и здесь по бледнеющей синеве небосвода, тоже занялись огнем. Все выше забиралось к зениту пылающее зарево, покуда его не начала оттеснять густеющая фиолетовая мгла, собравшаяся в темной части горизонта.

Над Черным морем спускалась ночь. Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

Глава вторая

Лейтенант Решетников только что вступил в тот счастливый период флотской службы, который бывает в жизни военного моряка лишь однажды: когда он впервые получает в командование корабль.

Это не забывается, как не забывается первый вылет,

первый бой и первая любовь. Сколько бы раз ни привелось потом моряку стоять на других мостиках, какие бы огромные корабли ни водил он потом в дальние походы, даже тяжкая громада линкора не сможет заслонить в его сердце тот маленький кораблик, где в первый раз испытал он гордое, тревожное и радостное доверие к самому себе, поняв наконец вполне, всем существом, что он — командир корабля.

Это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство приходит не сразу. Путь к нему лежит через мучительные, тяжелые порой переживания. Тут и боязнь ответственности, и опасный хмель власти, и неуверенность в себе, и борьба с самолюбием, и неудержимое желание найти советчика и учителя. Тут и долгие бессонные ночи, полные тревоги за корабль и отчаяния перед собственной неумелостью, ночи, когда мозг горит и в мыслях теснятся цифры и фамилии, снаряды и капуста, механизмы и человеческие судьбы — весь тот клокочущий водоворот трудносоединимых понятий, привести который в систему и направить не мешающими друг другу потоками в мерном течении нормальной службы корабля может только его командир — тот, кто из людей и машин способен создать единый, послушный своей воле организм, чтобы иметь возможность управлять им в любой момент боя или шторма.

Лейтенант Решетников и сам не сумел бы сказать, когда именно он поверил в себя как в командира.

Получилось так, что это особенное командирское чувство сложилось в нем незаметно: из тысячи мелких и крупных событий, догадок, поступков, удач и ошибок. То, что мучило вчера, сегодня оказывалось будничной мелочью; то, что всякий раз требовало значительного напряжения воли и мысли, вдруг выходило само собой, автоматически, освобождая мозг для решения более сложных задач. Так, подходя однажды к стенке, он с удивлением заметил, что застопорил моторы и скомандовал руля как раз вовремя, хотя все мысли его были заняты совсем другим — как разместить на катере десантников. И с этого дня он перестал готовиться «постом и молитвой» к каждой швартовке, которая обычно заставляла его еще за пять миль до бухты мучиться в поисках той проклятой точки, где следует уменьшить ход, чтобы не врезаться в

стенку или, наоборот, не остановиться дурак дураком в десяти метрах от нее. Первое время, подобно этому, он перед каждым походом заранее его «переживал», то есть старался предугадать свои действия в мельчайших подробностях, и проводил в этой бесполезной и утомительной игре воображения бессонную ночь, пока не научился выходить в море, выспавшись на совесть и приведя себя в полную готовность ко всяким внезапным изменениям обстановки.

Конечно, еще недавно он вряд ли смог бы любоваться на таком походе закатом и с любопытством ждать зеленого луча. Вероятно, он в сотый раз перебирал бы в уме, все ли сделал для того, чтобы обеспечить скрытность высадки, бегал бы в рубку к карте, дергал бы боцмана вопросами: не забыл ли тот о гранатах и взял ли в шестерку шлюпочный компас, — словом, проявлял бы ту ненужную суетливость, которую лишь неопытный командир может считать распорядительностью и которая, по существу, только раздражает людей.

Эту спокойную — командирскую — уверенность лейтенант Решетников ощущал в себе не так давно: пятый или шестой боевой поход. До этого он добрых полтора месяца жил в непрерывных сомнениях и сам уже был не рад тому, что страстная его мечта — командовать боевым катером — исполнилась. В самом деле, когда он очутился на «СК 0944» полномочным командиром, ему было неполных двадцать два года и немногим больше года службы. Да и из него Решетников восемь месяцев командовал зенитной батареей крейсера под опекой сразу трех опытных командиров — артиллериста, старпома и командира крейсера, что не очень-то, конечно, приучило его к самостоятельности действий. Правда, в тот единственный раз, когда ему пришлось остаться без их поддержки, он развернулся так решительно и смело, что именно этот случай и привел его к командованию катером.

В августе крейсер ходил на стрельбу по немецким укреплениям, и лейтенант Решетников с пятью моряками благополучно высадился ночью на «малую землю» у переднего края, прекрасно провел корректировку с высоты 206,5, сообщил по радио, что спускается к шлюпке, после чего пропал. Крейсер, прождав свою шлюпку до рассвета, был вынужден уйти и уже в море принял радио от Решет-

никова: пробираясь к шлюпке, группа оказалась отрезанной от берега автоматчиками противника и с боем отошла к своим частям. В ответ Решетников получил приказание добираться до корабля самостоятельно ближайшей оказией, что он и выполнил, явившись через неделю на крейсер с перевязанной рукой и не по форме одетым — в краснофлотском бушлате без нашивок.

И тогда выяснилось, что лейтенант Решетников, «следуя на «СК 0519» в качестве пассажира, в критический момент боя с пикировщиками противника принял на себя командование катером взамен убитого старшего лейтенанта Смирнова и довел до базы катер и конвоируемый им транспорт, проявив при этом личную инициативу и мужество».

Именно в таких суховатых и сдержанных, как обычно, словах было изложено в наградном листе событие, заставившее лейтенанта Решетникова серьезно задуматься над дальнейшим прохождением службы и начать проситься на катера, изменив крейсеру и превосходной его артиллерии, которая раньше казалась ему самым подходящим в жизни делом. По этому документу трудно понять, что именно вызвало в нем такое настойчивое желание, ибо здесь опущены многие детали события; в частности, нет ни слова о том, почему же лейтенант вернулся на крейсер не в своей шинели, а в матросском бушлате.

Когда «СК 0519», приняв на борт корректировщиков, отошел от «малой земли», шинель лейтенанта Решетникова была еще в полном порядке, если не считать серых пятен от удивительно въедливой грязи, по которой ему пришлось отползать от автоматчиков, и двух дырок в поле, проделанных их очередями. Шинель была цела и утром, когда он стоял на палубе возле рубки, наблюдая стрельбу катера по самолетам, два из которых шли на конвоируемый транспорт, а третий — на самый катер. Но когда этот третий спикировал и «СК 0519», резко отвернув на полном ходу, метнулся в сторону от свистнувших в воздухе бомб и когда одновременно с горячим ударом взрывной волны застучали по рубке пули и в ней тотчас что-то зашипело, затрещало и густой дым повалил из открывшейся двери, лейтенант Решетников кинулся в рубку, и там шинель его потерпела серьезную аварию.

Сперва он чуть было не выскочил обратно. Дым бил

в лицо, мешая что-либо видеть. Он присел на корточки, стараясь рассмотреть, откуда валит дым, и тогда наткнулся на помощника командира, веселого лейтенанта, с которым шутил наперебой полчаса назад. Тот пытался ползти к штурманскому столу и, увидев Решетникова, прохрипел: «Ракеты... Скорей...» Решетников сунул руку между столом и переборкой, ощупью отыскивая под столом ящик, и уже отчаялся было найти ракеты, когда рука его сама отдернулась от накалившегося металла и он понял, что ракеты лежат в железном ящике. Усилием воли он заставил ладонь сжаться вокруг накалившейся ручки, потянул на себя ящик, оказавшийся неожиданно легким, но тут какая-то шипящая струя ударила ему в спину, потом забила под штурманский стол, растекаясь пышной пеной. Лейтенант отвернул лицо от брызг и увидел сквозь дым матроса, который поливал из пеногона стол, ящик с ракетами, раненого помощника и его самого.

— Не надо, уже ташу! — крикнул он ему.

Матрос ответил:

— Бензобак под палубой! — и перевел струю на занявшийся огнем стол.

Решетников выскочил из рубки с ящиком в руке и кинул его за борт. С правого борта снова свистнула бомба, но он мог думать только о руке: кожа на ладони и на пальцах сморщилась и стала темно-красной. Острая боль, от которой занялось дыхание, охватила его. Он стоял, тряся кистью и дуя на ладонь, когда кто-то легонько ударил его по плечу. Он повернул голову и у самого лица увидел свисающую с мостика руку. Из-под рукава с лейтенантскими нашивками быстро капала кровь. Решетников поднял глаза: командир катера лежал на поручнях мостика лицом вниз.

Решетников вскочил на мостик, чтобы помочь ему, но тут же увидел, что рукоятки машинного телеграфа стоят враздрай, отчего катер, теряя ход, разворачивается на месте. Он поставил правую рукоятку на «стоп» и задрал голову вверх, следя за самолетом, который снова заходил по носу на катер. Решетников и сам не знал еще, куда отвернуть от бомбы, готовой отвалиться от крыла. Но когда та мелькнула, ему показалось, что она упадет недолетом впереди по носу, и он тотчас рванул все три рукоятки на «полный назад». Столб воды встал впереди, горя-

чая волна воздуха и воюющие осколки пронесли над головой, но лейтенант Решетников почти не заметил этого. Первая удача обрадовала его, и, не снимая обожженной ладони с рукоятки телеграфа, он повернулся к самолету, который снова начинал атаку.

На этот раз лейтенант повел катер прямо на него, чтобы встретить его огнем обоих пулеметов в лоб, и махнул здоровой рукой, показывая на самолет. Очевидно, люди у пулеметов поняли его, потому что две цветные прерывистые струи помчались в небо, и одна из них задела левое крыло, а вторая — мотор. Самолет попытался вскинуть вверх тупую черную морду, чтобы выйти из пике, но движение это, судорожное и неверное, не было уже осмысленным; дернувшись вбок, он лег на крыло и, не сбросив бомб, ушел по аккуратной кривой в воду...

Все это Решетников запомнил в мельчайших деталях, хотя никак не мог толком рассказать потом, когда именно он заменил своими матросами раненых катерников у носового орудия, как вышел на правый борт транспорта и встретил новую группу самолетов плотной, хорошо поставленной завесой, как подбил при этом второй самолет. Упоение боем несло его на высокой и стремительной своей волне, подсказывая необходимые поступки, и время спуталось: секунды тянулись часами, а часы мелькали мгновениями. И только бушлат, который дали ему на катере взамен прогоревшей и вконец испорченной пеной огнетушителя шинели, да обнаженная до мяса ладонь, кожа которой прилипла к рукоятке машинного телеграфа, остались доказательствами того, что этот бой и случайное — ненастоящее, краткое, но все-таки самостоятельное — командование кораблем ему не приснились.

С этого времени лейтенант Решетников только и думал, что о сторожевых катерах.

Он не раз пробовал говорить об этом с командиром крейсера, ходил к нему по вечерам и в долгих душевных разговорах раскрывал свою мечту. Но ничего не получалось: его ценили на крейсере как артиллериста, обещающего стать мастером, и командир даже намекнул на возможность перевода его на главный калибр, что, несомненно, еще месяц назад заставило бы его подпрыгнуть от радости. И так бы и пошел лейтенант Решетников по артиллерийской дорожке, если бы не счастливый случай.

В день получения ордена он оказался в зале Дома флота рядом с незнакомым капитаном третьего ранга, вернувшимся от стола со вторым орденом Красного Знамени в руках. Фамилию его Решетников не расслышал, потому что очень волновался в ожидании, когда назовут его собственную. Когда наконец это случилось и он, багровый до ушей, сел на свое место с орденом Красной Звезды, капитан третьего ранга с любопытством взглянул на него:

— Значит, вы и есть Решетников? Поздравляю... Давайте дырочку проверчу, вам не с руки...

Они разговорились, и оказалось, что это капитан третьего ранга Владыкин. Владыкин!.. Командир дивизиона катеров северной базы!.. И он знает о случае на «СК 0519», хотя этот катер вовсе не его дивизиона!.. У Решетникова застучало сердце.

Они вышли вместе, и битый час он выкладывал Владыкину все то, чего не хотел понять командир крейсера. Владыкин смотрел на него сбоку с видимым любопытством, благожелательно поддакивал, расспрашивал и, прощаясь, сказал, что попробует перетащить его на катера: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. Недели две Решетникову только и снился катер, которым он скоро будет командовать, но действительность его несколько огорчила.

На катера его и точно перевели, но не командиром катера, как твердо он надеялся после разговора с Владыкиным, а артиллеристом дивизиона, и даже не того, которым командовал Владыкин, а здешнего, охранявшего базу, где находился и крейсер. Ему пришлось проводить нудные учебные стрельбы, надоедать командирам катеров осмотрами материальной части, возиться в мастерских, заниматься с комендорами — словом, делать совсем не то, о чем мечтал, просясь на катера. Он пользовался каждым случаем, чтобы выходить в море на катерах, но походы эти даже и не напоминали его переход на «СК 0519»: катера несли скучный дозор, проводили траление, мирно сопровождали транспорты, передавая их катерам другого дивизиона как раз в том порту, за которым можно было ждать боевых встреч, и только раза два ему привелось пострелять по самолетам, залетевшим в этот далекий от фронта участок моря. Между тем на се-

вере этого же моря, там, у Владыкина, такие же катера ежедневно встречались с врагом, перевозили десанты, ходили по ночам в тыл противника, конвоировали транспорты, вступая в яростные бои с самолетами, и слава о сторожевых катерах все росла и росла.

Поэтому вполне понятно то волнение, с каким через четыре месяца лейтенант Решетников прочитал приказ о переводе его на дивизион Владыкина и о назначении командиром «СК 0944» вместо старшего лейтенанта Парамонова, убитого при высадке десанта неделю назад.

Может быть, кому-либо другому превращение дивизионного специалиста в командира катера показалось бы понижением, но для лейтенанта Решетникова это было свершением мечты. Товарищи по выпуску, когда он пришел на крейсер проститься, отлично это поняли. Они поздравляли его с нескрываемой завистью: хоть маленький кораблик, да свой, полная самостоятельность, вот есть где развернуться!

С чувством уважения к самому себе лейтенант покинул дивизион и все двое суток, пока добирался до базы, где ожидал его катер, стоящий в ремонте после боя, держал себя с достоинством, не давал воли жестам и мальчишеской своей веселости, говорил с попутчиками медленно и веско и, раз двести повторив в разговорах «мой катер», «у меня на корабле», совсем уже привык к этому приятному сочетанию слов. Но когда с полуразрушенной бомбежками пристани он увидел этот «свой корабль» и на нем «свою команду» — двадцать человек, ожидающих в строю того, кому они отныне доверяют себя и от кого ждут непрерывных, ежеминутных действий и распоряжений, обеспечивающих им жизнь и победу, — ноги его подкосились и в горле сгало сухо, отчего первый бодрый выкрик «Здравствуйте, товарищи!» вышел хриплым и смущенным.

Странное дело, этот крохотный кораблик, который был точь-в-точь таким, как те катера, на каких он уже не раз ходил в море, и который на палубе крейсера поместился бы без особого стеснения для прочих шлюпок, показался ему совсем незнакомым кораблем, вдвое больше и сложнее самого крейсера. И, хотя людей здесь было меньше, чем комендоров на его дивизионе, он смог различить только одного — того, кто стоял на правом фланге.

Лицо его, красивое и сумрачное, выражало, казалось, явное разочарование: вот, мол, салажонка прислали, такой, пожалуй, накомандует, будь здоров в святую пасху... И в этом неприветливом взгляде Решетникову померещилось самое страшное: убийственное для него сравнение со старшим лейтенантом Парамоновым. Хуже всего было то, что, как выяснилось тут же, взгляд этот принадлежал старшине первой статьи Никите Хазову, моряку, плававшему на катерах седьмой год и бывшему на «СК 0944» боцманом, то есть главной опорой командира в походе, в шторме и в бою.

Со всей отчетливостью лейтенант Решетников понял, что нужно немедленно же разбить то неверное впечатление, которое произвел на боцмана (да, вероятно, и на остальных) безнадежно мальчишеский вид нового командира. К сожалению, с основного козыря никак нельзя было сейчас пойти: неожиданная встреча на палубе не давала лейтенанту повода скинуть шинель. Поэтому он поднес к глазам руку с часами тем решительным жестом, который давно нравился ему у командира крейсера, и его же шутливым, но не допускающим возражения тоном сказал, весело оглядывая строй:

— Так... теплого разговора тут на холоде у нас, пожалуй, не получится... Соберите команду в кубрике, товарищ лейтенант, там поближе познакомимся!

И, все еще продолжая чувствовать на себе недоверчивый взгляд боцмана, он постарался как можно ловчее нырнуть в узкий люк командирского отсека, где, как помнилось ему по своим походам на других катерах, пистолет обязательно зацепляется кобурой за какой-то чертов обшук, надолго стопоря в люке непривычного человека. Обшук он миновал благополучно и, войдя в крохотную каютку, в которой ему предстояло теперь жить, быстро скинул шинель и тщательно поправил перед зеркалом орден Красной Звезды.

Это и был его основной козырь: орден должен был показать команде катера (и боцману в первую очередь!), с кем им придется иметь дело, и молчаливо подчеркнуть всю значимость тех немногих, но сильных слов, какие он приготовил для первого знакомства с командой. Он мысленно повторил их, сдвинув брови и стараясь придать неприлично жизнерадостному своему лицу выражение су-

ровости и значительности, но тут же увидел в зеркале, что лицо это само собой расплывается в улыбку; в коридорчике у люка прогремели чьи-то сапоги, и голос помощника, лейтенанта Михеева, сказал:

— Прямо в каюту командира поставьте...

«Командира»!.. Не удержавшись, Решетников подмигнул себе в зеркало и вышел из каюты, с удовольствием заметив взгляд, который вскинул на орден матрос, принесший чемодан. В самом лучшем настроении Решетников поднялся на палубу, шагнул в люк кубрика и услышал команду «смирно», раздавшуюся тогда, когда ноги его только еще показались из люка. Он звонко крикнул в ответ: «Вольно!», соскочил с отвесного трапика, и в глазах у него поплыло.

Перед ним, тесно сгрудившись между койками, стояли взрослые спокойные люди в аккуратных фланелевках с синими воротниками, и почти на каждой из них блестел орден или краснела ленточка медали. В первом ряду был боцман Хазов с орденом Красного Знамени и с медалью «За отвагу».

Краска кинулась в лицо Решетникову. Выдумка его, которой он собирался поразить этих людей (и боцмана в первую очередь), показалась ему глупой, недостойной и нестерпимо стыдной. Он растерянно обводил глазами моряков, и все те значительные и нужные, казалось, слова, которые он так тщательно обдумал дорогой — о воинском долге, о чести черноморца, о мужестве, которого ждет родина, — мгновенно вылетели из его головы. Мужество, флотская честь, выполненный долг стояли перед ним в живом воплощении, командовать этими людьми, каждый из которых видел смерть в глаза и все-таки был готов встретиться с нею еще раз, теперь приходилось ему, лейтенанту Алексею Решетникову... Волнение, охватившее его при этой мысли, было настолько сильным, что, забывшись, он сказал то, что думал и чего, конечно, никак не следовало говорить:

— Вон вы какие, друзья... Как же мне таким катером командовать?..

Такое вступление, будь оно сделано любым другим, несомненно, раз и навсегда погубило бы авторитет нового командира в глазах команды, которая увидела бы в этом прямое заискивание. Но Решетников сказал это с

такой искренностью и такое почти восторженное изумление выразилось на смущенном его лице, что новый командир сразу же расположил к себе всех, и Артюшин, как всегда первым, ответил без задержки:

— А так, как «пятьсот девятнадцатым» тогда покомандовали, товарищ лейтенант, обижаться не будем...

Осальные одобрительно улыбнулись, а Решетников еще больше смутился.

— А вы разве с «пятьсот девятнадцатого»? — спросил он, не зная, что ответить.

— Да нет, товарищ лейтенант, — по-прежнему бойко сказал Артюшин, — я-то здешний, прирожденный, с самой Одессы тут рулевым... Ребята рассказывали. Сами знаете, на катерах — что в колхозе: слышно, в какой хате пиво варят, в какой патефон купили... Соседство, конечно...

Артюшин говорил это шутливым тоном, но по выжидательным и любопытным взглядам остальных лейтенант понял, что «соседство» тут решительно ни при чем, а что, наоборот, команда катера, разузнав фамилию нового командира, сама ревниво собрала о нем сведения со всех катеров и что всесторонняя характеристика его уже составлена, а сейчас идет только проверка ее личными наблюдениями. И в глазах Артюшина он прочел первый горький, но справедливый упрек: провалил ты, мол, командир... видишь, мы о тебе все знаем, а тебе и то в новост, что у нас на катере орденов полно...

Вероятно, Артюшин ничего похожего и не думал. Но лейтенанту Решетникову всегда казалось, что о его ошибках и недостатках другие думают словами самыми жестокими и обидными. Он внутренне выругал себя за мальчишескую торопливость. Конечно, надо было дожидаться в штабе дивизиона, когда вернется с моря Владыкин, поговорить с ним о катере, узнать, что за люди на нем, а он не смог дожидаться утра и поспешил на «свой катер» поскорее «вступить в командование»... Вот и вступил, как в лужу плюхнулся с размаху...

Было совершенно неизвестно, как держать себя дальше и что говорить, но та присущая ему прямота, которая не раз причиняла в жизни хлопоты, тут его выручила: он снял фуражку и, присев на чью-то койку, сказал очень просто и душевно:



Решетников крикнул: «Вольно!» — и соскочил с отвесного трапика.

— Садитесь, товарищи, поговорим... Я о катере толком ничего не знаю: приехал, а начальство в море... Ну, давайте сами знакомиться... Рассказывайте... о нашем катере!

Знакомство это затянулось до ночи. Вернувшись в каюту, он долго не мог заснуть. Он ворочался на узенькой, короткой койке, слушая тихий плеск воды за бортом и думая о катере, с которым связана теперь его жизнь и командирская честь.

Дунай и Одесса, Севастополь и Новороссийск, ночные походы и долгие штормы, десанты и траления, бои и аварии — вся огромная, насыщенная, блистательная и трагическая история крохотного кораблика вновь и вновь проходила перед ним. И моряки, делавшие на катере все эти героические дела, казалось, смотрели на него из темноты, спрашивая: «А как ты теперь будешь командовать нами?..»

Он перебирал в памяти их лица, еще едва знакомые, вспоминая, кто бросил обратно гранату со шлюпки — боцман или Морошкин, кто сбил в тумане самолет, вылетевший прямо на катер, кто именно стоял по пояс в ледяной воде, поддерживая сходню, по которой пробежали на берег десантники, у кого такое «снайперское» зрение, что все спокойны, когда он на вахте?.. Или, может быть, это были те, кого уже нет на катере и о ком только говорилось нынче, — убитые, отправленные в тыл с тяжкими ранами?..

Люди и поступки путались у него в голове, как путались бои и походы. Но во взволнованном его воображении все ярче и яснее вставал образ одного человека — старшего лейтенанта Парамонова, командовавшего катером последние десять месяцев; все, что рассказывали о катере моряки, неизбежно связывалось с ним. И лейтенант Решетников, ворочаясь без сна, думал об этом человеке, которого не видел и не знал, но заменить которого на корабле привелось ему. Будут ли эти люди говорить о нем, лейтенанте Решетникове, с тем же уважением, любовью и грустью, с какими говорили они нынче о старшем лейтенанте Парамонове? И, может быть, первый раз в жизни он понял на самом деле, что такое командир — душа и воля корабля, его мужество и спасение, его мысль и его совесть.

И эта долгая ночь подсказала ему поступок, который положил начало его дружбе с командой катера: в носовом восьмиместном кубрике над дверью появился портрет старшего лейтенанта Парамонова. Портрет был небольшой, в простой рамке. Но, когда лейтенант Решетников, прикрепив его, повернулся лицом к морьякам, молча следившим за ним, он увидел, что глаза их блестят. И у самого у него перехватило горло, когда он негромко сказал:

— Ну вот... Пусть смотрит, как мы тут без него воевать будем...

Глава третья

Живой и общительный характер Решетникова быстро располагал к нему людей, и со стороны казалось, будто он всегда окружен друзьями. На самом деле все, с кем он до сих пор сходил в училище и на крейсере, были ему только приятели. С ними можно было шутить, спорить, говорить на тысячи разнообразных тем и даже делиться многими своими мыслями и чувствами, но ни перед кем из них не хотелось раскрыть то глубокое и значительное, что волновало душу и что приходилось поэтому обдумывать и переживать наедине с самим собою.

А то глубокое и значительное, что волновало Решетникова, очень трудно было выразить понятно.

Этого веселого, жизнерадостного, действительно молодого человека, как будто очень уверенного в себе, на самом деле беспокоило неясное, смутное чувство непонимания чего-то самого главного в жизни. С какого-то времени он ждал, что случится что-то, от чего все вдруг станет ясно и в темном сумраке будущего вспыхнет то, к чему надо стремиться. Ему казалось, что откроется это мгновенно, на таком же высоком подъеме чувств, какой он испытал в тот давний полдень седьмого августа 1937 года, когда над краем степи висела черная, в полнеба туча и когда ему с совершенной ясностью «открылось», что он должен стать флотским командиром и что другого дела ему в жизни нет.

Детство Решетникова прошло вдали от какого бы то ни было моря — на Алтае, в животноводческом совхозе, где отец его работал зоотехником.

К этой деятельности Сергей Петрович обратился не случайно, а по глубокому внутреннему убеждению, оставив для нее профессию врача. Он буквально был помешан на приплодах и окотах, на выкормке и эпизоотиях и вел серьезную научную работу по созданию новой породы овец, пригодной для северной казахской степи и предгорьев Алтая. Уже много лет он терпеливо скрещивал разные породы с обыкновенной казахской овцой, добываясь от нее и тонкорунности, и мясистости, и неприхотливости к погоде и к корму. В это далекое от поэзии занятие Сергей Петрович вкладывал столько душевной страстности, что оно приобретало содержание философское и поэтическое: назначение мыслящего человека он видел в том, чтобы охранять жизнь во всех формах, заботливо раздувая чудесный ее огонек, вспыхнувший в любом существе, и совершенствовать эти формы для блага людей, исправляя слепую природу. И каждый раз, когда четвероногие его друзья радовали богатым прибавлением семейства или удачным гибридом, в маленьком домике на краю совхоза было ликование и необъятная Парфеновна, нянька Алеши, стряпуха и постоянный лаборант отца, пекла пирог в честь очередной двойни или какого-нибудь длинношерстного ягненка.

Поэтому в комнатах у них шагу нельзя было ступить, чтобы под ногами что-то не заверещало или не заблелало. Разнообразные отпрыски племенных пород, дорогих сердцу Сергея Петровича, воспитывались в доме до тех пор, пока пребывание их не начинало угрожать мебели или посуде. Тут были ангорские козочки с печальными чистыми глазами и с копытцами, похожими на хрупкие китайские чашечки; ягнята-линкольны с длинной волнистой шерсткой, скользкой, как шелк; массивные, словно литые из какого-то небывалого упругого чугуна, телки-геррифорды с твердыми желваками рожек на плоском широком лбу; розовые, суетливые поросята с труднопроизносимыми титулами древних пород и даже жеребята, высокие, плоские и тонконогие. Все они были чистенькие, мытые-перемытые Парфеновной, матерью и самим Алешей, веселые, сытые, ласковые, и все имели имена: «Панночка», «Мазепа», «Руслан», «Демон», «Каштанка» (называл их сам Алеша, и это зависело от того, что читала ему вслух по вечерам мать).

В детстве Алеша любил играть с ними. Порой, навозившись, он схватывал вздрагивающее тельце и валился с ним на диван, прижав лицо к теплой пушистой шерстке. Закрыв глаза, он слушал биение крохотного робкого сердца, и ему казалось, что тот чудесный огонек, о котором говорил отец, трепещет и вспыхивает, готовый погаснуть. Жалостное и тревожное чувство овладевало им, и ему становилось совершенно ясно, что надо немедленно сделать все, чтобы огонек этот не погас. Он вскакивал и мчался к отцу, крича, что Онегин гибнет (в слове «умирает», по его мнению, было мало трагизма). И тогда Сергей Петрович, пощипывая рыженькую бородку, тоже наклонялся над беспомощным тельцем, но потом, выпрямившись, улыбался и успокаивал Алешу. Они садились рядом на диван, и отец, почесывая за ухом очередного Алешиного любимца, говорил о том, что, заболев, этот козленок сам найдет травку, которая его вылечит, хотя никто его этому не учил. Он увлекался и, забывая, что говорит с ребенком, сбивался на восторженную биологическую поэму, воспевая великую силу таинственного чудесного огонька. Он рассказывал о жизни, которая сама прокладывает себе дорогу, совершенствуясь в поколениях, расцветая в новых, все улучшающихся формах, и убеждал сына в том, что в заботах о всякой жизни, в охране ее, в помощи ей и заключается смысл существования человека, самого умного из живых существ и потому ответственного за них. Алеша не все понимал, но огромная любовь к миру, до краев наполненному жизнью, сладко жимала его сердце, и очень хотелось, чтобы все поскорее были красивы и счастливы.

Тринадцать лет он пережил потрясение, внезапно опрокинувшее философию отца. Это произошло в областном городе, куда отец отправлял его на зиму к тетке, чтобы дать ему возможность учиться в десятилетке.

Какой-то незадачливый педагог додумался устроить экскурсию детей на мясокомбинат — «в целях приближения к освоению понимания значения животноводства как решающей проблемы края», а другие чиновники, равнодушные к детям, однако такими же суконными словами уверенно рассуждавшие о детской психологии, не только не остановили его в преступном этом намерении, но, наоборот, одобрили данное мероприятие.

Запах крови, томительный и душный, встретил детей за первой же дверью, ведущей в цехи. Кровь темным и еще горячим ручейком текла по канавкам в полу, кровью были забрызганы белые халаты людей, мелькавших в теплом, влажном тумане, подымавшемся от парного мяса. Они снимали шкуры, отрубали копыта, спиливали рога, и всюду, задевая детей, медленным нескончаемым потоком плыли над головами подвешенные к рельсам красные ободранные туши.

Бледные от волнения, с бьющимися маленькими сердцами, дети, стараясь храбро делать вид, что им все равно, дрожащей, теснящейся друг к другу стайкой шли за самодовольным педагогом, который, расспрашивая сопровождавшего экскурсию инженера, так и сыпал цифрами, названиями, техническими пояснениями.

Наконец их привели в светлый, просторный зал. Здесь было пусто, чисто и тихо, но тишина эта была зловещей и страшной. Хитро устроенные загородки вели к помостам с какими-то цепями и крючьями, странными, качающимися досками. Положив руки на блестящий рычаг доски, инженер сказал привычным равнодушным тоном:

— Вот тут, собственно, и происходит самый процесс освобождения от жизни. Животное вводится сюда, затем...

Дальше Алеша ничего уже не слышал — так поразила его необычная формулировка: «освобождение от жизни». Как убивают, детям, слава богу, не показали, и они вышли на площадку пятого этажа, примыкающую к страшному цеху. Отсюда далеко внизу были видны загоны для скота. Они кишели стадами — мычащими, блеющими, хрюкающими. Алеша узнал в них геррифордов, йоркширов, линкольнов — все породы, которые разводил его отец, и с ужасом подумал, что среди них может метаться Панночка или Онегин.

Открытие это раздавило его.

Неужели тот чудесный огонек жизни, в заботах о котором отец полагал смысл собственного своего существования, был нужен только для того, чтобы вокруг негоросло достаточное количество мяса, белков, жиров и костей, после чего от него освобождались, как от чего-то лишнего и мешающего делу?

Мир начал представляться ему совсем не таким, ка-

ким изображал его отец, и рай, царивший в домике на краю совхоза, потускнел.

К лету Алеша вернулся домой совсем другим. Восторженность отца по поводу народившихся весною новых милых существ казалась ему теперь ложью, или слепотой, или (что было хуже всего) ограниченностью. Он долго не решался задать отцу прямой вопрос, но однажды, за очередным пирогом по случаю рождения ягненка того веса, которого добивался Сергей Петрович, не сдержался и выложил все, что видел на мясокомбинате и что думал об этом. Он рассказал это с тем страстным, вдохновенным и скорбным гневом, с каким может говорить только подросток, впервые столкнувшийся с несправедливостью и осознавший ее.

Эффект получился чрезвычайный. Ему удалось так живописно представить поразившую его картину, что мать ахнула, Парфеновна заголосила, прижав к огромной своей груди обреченного ягненка, а отец, помолчав, посмотрел на Алешу с новым, серьезным любопытством и сказал, что он, видимо, вырос.

Все то, что потом в долгих, часто повторявшихся разговорах приводил отец, Алешу никак не убеждало. Он и сам отлично понимал, что те благодетельные изменения в жизни окружавших его людей, которые происходили в степи у него на глазах — каменные дома и электричество в них, школы и больницы, сытная еда и облегчаемый машинами труд, — не могли бы произойти, если бы колхозные и совхозные стада, основа благосостояния этих людей, не увеличились и не улучшились бы в качестве за последние годы. Ему было совершенно понятно и то, что прибавка в живом весе каждого ягненка прямо отражалась на судьбе каждого голопузого ребенка, копошащегося в юрте, так как давала возможность образования, совершенствования и, в конечном счете, счастья. Следовательно, отец, увеличивая число ягнят и улучшая их качество, делал важное, нужное и доброе дело. Алеша соглашался даже с тем, что раз каждое живое существо само по себе все равно должно когда-нибудь умереть, то вопрос лишь в том, чтобы краткое его существование и неотвратимая гибель принесли возможно больше пользы другим существам, в данном случае — людям.

Но, понимая умом, он никак не мог принять эти не-

оспоримые истины чувством. Возможно, если бы той страшной экскурсии не было, вопрос о жизни и смерти раскрылся бы перед ним незаметно и постепенно — так, как раскрывается он в течение всей человеческой жизни, в которой всякому познанию есть свое время. А может быть, иначе — он сам равнодушно прошел бы мимо него, как проходят многие люди, не думающие, а иногда и не желающие думать, что же такое жизнь и смерть. Но вставший перед ним так рано, когда ни ум его, ни чувства еще не созрели и не окрепли, этот вопрос был для него непостижим и непосилен.

Жизнь, обрывающаяся в смерть, чтобы вспыхнуть в новых, неузнаваемых формах; расцвет, возникающий на распаде; исчезновение для возрождения; вечный круговорот материи, вечно и неистребимо живущей в различных воплощениях, — все это принималось его юной, влюбленной во все живое душой не как слитность причин, которая и движет и развивает жизнь, а как чудовищное и несправедливое противоречие. То обстоятельство, что жизнь, уничтожаемая там, на бойне, питала собой другие, более совершенные существа — людей, никак не совмещалось с мыслью о «чудесном огоньке», который так трогал и волновал его раньше и который сам же отец вызывал и поддерживал с такой заботой и любовью.

И в отношениях его с отцом наступило охлаждение. Искерпав разумные доводы, отец перешел к насмешкам. Он предлагал Алеше быть, по крайней мере, последовательным — не восторгаться заливным из поросенка и не уплетать за обе щеки пельмени, в сочной начинке которых, по сибирскому обычаю Парфеновны, были смешаны бычьи, свиные, телячьи жизни. Алеша раздражался и отвечал, что, занимаясь поставкой скота на бойню, надо так и рассматривать это занятие, а не говорить красивые слова о драгоценности всякой жизни и о «чудесном огоньке». Отец тоже вспыхивал и кричал, что не позволит мальчишке оскорблять свои убеждения, и часто обед кончался тем, что мать плакала, а Алеша вскакивал на велосипед и уезжал за тридцать километров дня на три-четыре к своему приятелю и однокласснику Ваське Глухову, сыну командира пограничного отряда.

Отряд стоял у китайской границы на берегу большого степного озера. Еще с прошлого года, когда в конце ле-

та приезжал в отпуск старший брат Васьки, курсант Военно-морского училища имени Фрунзе, у них завелась там парусная шлюпка. Собственно говоря, это была обыкновенная рыбацья лодка из тех, что целыми стаями выходили на озеро с сетями. Но Николай, гордясь перед мальчишками флотским умением, приделал к ней киль, выкроил из старой палатки разрезной фок, основал ванты и шкоты и научил обоих искусству держать в крутой бейдевинд. Лодка стала называться «вельботом» и отлично выбиралась почти против ветра, изумляя рыбаков, которые на своих тяжелых лодках с прямым парусом испокон веку выгребали навстречу ветру на веслах.

Всякий раз, когда Алеша приезжал к Ваське, мальчики до ночи деловито собирали все, что требовалось для большого похода: тетрадь, где были записаны завещанные Николаем морские слова и команды; другую, в кленчатом переплете, служившую вахтенным журналом; бидон из-под бензина с пресной водой (в озере была отличная вода, но так уж полагалось на морской шлюпке); ведра, удочки, спички, ружья и компас, который Васька для каждого похода заимствовал из наплечных ремней отца и который на всяком курсе исправно указывал на ближайшее от него ружье. Погрузив все это в шлюпку, приятели с рассветом выходили в озеро, как в океан: оно широко расплескалось в степи, и низких его берегов с середины и в самом деле не было видно.

Первые сутки они проводили «в открытом море», попеременно принимая на себя обязанности и права капитана и команды, кормились захваченной с берега снедью, стойко запивая ее теплой, припахивающей бензином «пресной водой». К вечеру второго дня в команде обычно разражалась цинга или назревал голодный бунт, и тогда обсуждался план набега на вражеские берега за свежей провизией. В зависимости от сезона и от места, где застигло корабль несчастье, вражескими берегами оказывались либо западный мыс с огородами подсобного хозяйства погранотряда, либо южная бухта, в которой хорошо ловилась рыба, либо устье реки, где в камышах водились утки и прочая дичь.

И там с удивительной непоследовательностью юности Алеша, готовый загасить выстрелом «чудесный огонек», часами лежал с ружьем на дне шлюпки, выжидая, когда

из камышей, крикая и плещась, выплывет кильватерная колонна вывода. Впрочем, в этом тоже была игра: утки были вражескими кораблями, прорывающими блокаду, двустволка — огромной башней линкора, а сам он казался себе спокойным и властным командиром с трубкой в зубах. В романтическом этом образе было намешано решительно все, что Алеша слышал о море или прочитал в тех книжках, которые Васька натаскал домой из школьной, отрядной и городской библиотек, утверждая, что тут, в степи, никто не сможет оценить этой литературы так, как он, прирожденный моряк.

Об этих походах по озеру, так же как и об охоте, Алеша, возвращаясь домой, предпочитал не распространяться. Во-первых, не к чему было расстраивать мать: она смертельно боялась всякой воды в количествах, больших того корыта, в котором когда-то со страхом купала его, и совхоз благословляла именно за то, что в нем не было пруда, где Алеша обязательно бы утонул. Во-вторых, ему решительно нечего было бы ответить отцу, который, несомненно, заинтересовался бы, как же это так он, страстно обвиняя отца в убийствах, сам уничтожает жизнь, и вдобавок собственными своими руками! Нельзя же было в самом деле пытаться объяснять ему, что в морских приключениях, когда экипаж готов погибнуть от голода, разбираться в средствах не приходится, тем более что утка, поджаренная на шомполе в дыму костра, удивительно, совсем-совсем по-особому вкусна... Ну, а втолковывать отцу, что это, собственно, вовсе и не утка, а вражеская шхуна, нагруженная продовольствием, и что выстрел в камышах — не охота, а морской бой, уж совсем было невозможно.

На «вельботе» приятели вели разговоры решительно обо всем, но чаще их занимал вопрос будущей профессии; об этом пора было всерьез задуматься: как-никак ведь им скоро стукнет четырнадцать лет!.. Может быть, потому, что Васька жил в суровой и напряженной обстановке погранзаставы, а может быть, потому, что мужчины в этом возрасте представляют собой особый род необычайно чуткого радиоприемника, улавливающего то, что говорится между слов и пишется между строк, — но так или иначе в эти почти детские еще разговоры вошла большая и грозная тема: война. Обоим было неопровержимо ясно,

что рано или поздно война с фашизмом будет, вопрос лишь в том, успеют ли они к тому времени вырасти. И поэтому прямая их обязанность — готовиться защищать революцию и Советский Союз на военном корабле (по возможности, на одном). И однажды, выйдя на «вельботе» на середину озера и подняв на мачте настоящий военноморской флаг, сшитый специально на этот случай, приятели, став «смирно», торжественно поклялись под ним, что поступят в Военно-морское училище имени Фрунзе.

С этого дня Алешей целиком овладела мечта о флоте.

Впрочем, по совести говоря, в этой мечте что-то было ему еще не очень ясно. Там, на озере, он с увлечением спорил с Васькой, кто же в конце концов победил в Ютландском бою — англичане или немцы, и что решает морской бой — торпедный залп или артиллерийский огонь? Там ему было понятно, что в будущем он станет артиллеристом линейного корабля. Но здесь, дома, в густой тени пахнущих смолою пихт, куда забирался он с книжкой Станюковича или Стивенсона, ему думалось об озере и о ждущем его там «вельботе» совсем по-другому.

Вспоминались почему-то не споры об оружии и маневрах. Вспоминался влажный воздух озера, широкий его простор, свежий ветерок, шквалом налетающий на парус и кренящий шлюпку, те две жестокие бури, в которых они едва не погибли (и которые оба потом небрежно называли «неплохими штормиками»). Вспоминалась торжественная и пленительная тишина закатов и утренних зорь, загадочная мгла низких туманов, лежащая на воде. Но важнее всего и дороже всего было поскрипывание мачты и журчание воды за бортом, рожденное движением по воде, и само это движение вперед, все вперед, непрерывное, неостановимое — бег, стремление, скольжение по ровному широкому простору, где все пути одинаково возможны и одинаково заманчивы... И море — далекое, огромное, расплескавшееся океанами по всему земному шару, никогда не виденное, но желанное — манило и звало его к себе.

Он не понимал еще этого зова и не знал, что именно будет делать на море: стрелять с палубы военного корабля или водить по океанам совторгфлотские пароходы. Второе привлекало его больше. Это была дорога в мир, в неведомые страны, в далекие города, в Индию, в Австра-

лию, в Арктику, и глубоко в душе Алеша признавался себе, что тянет его не война — а море, не бои — а плавание, не орудия — а компасы.

Но об этих мыслях он пока что не говорил Ваське, чтобы не расстраивать дружбы. И так уж вышло, что, вернувшись осенью в город, Алеша вместе с ним развил бешеную деятельность по пропаганде военно-морского флота. В пионерском отряде школы оба наперебой делали доклады о кораблях, о морской войне, об истории флота, в военно-морском кружке обучали других флотскому семафору и сигнальным флагам, читали вместе книги и журналы, аккуратно присылаемые из Ленинграда Николаем, который горячо поддерживал их увлечение, и оба завоевали себе славу лучших знатоков всего, что касается флота. Но порой, оставшись один, Алеша как бы оставался с разбегу и, опомнившись, осматривался, пытаясь понять, что же такое выходит.

В самом деле, выходила какая-то чепуха: все были уверены в том, что по окончании школы кто-кто, а уж Решетников и Глухов обязательно уедут в Ленинград, в Военно-морское училище имени Фрунзе. Не уверен в этом был только он сам. В минуты раздумья и тишины в душе его снова подымалась знакомая волнующая мечта о море, просторном и свободном, о плаваниях, далеких и долгих, о незнакомых берегах, о тихих закатах, торжественных и величественных, таящих в себе редчайшее чудо зеленого луча, возможное только в океане и видимое лишь счастливыми.

Об этом луче и о связанной с ним легенде Алеша узнал зимой, когда Васька в своих иступленных поисках всяческой морской литературы наткнулся в городской библиотеке на роман Жюль Верна с таким названием. Книгу приятели проглотили залпом, хотя в ней говорилось не столько о морских приключениях, сколько о каком-то чуде, который изъездил весь мир, чтобы увидеть последний луч уходящего в воду солнца — зеленый луч, приносящий счастье тому, кто сумеет его поймать. Само явление их, однако, заинтересовало, и летом они поставили ряд научных опытов, наблюдая на своем «вельботе» закаты на озере. Никакого зеленого луча при этом не обнаружилось, хотя Васька, многим рискуя ради науки, каждый раз заимствовал для этого полевой би-

нокль отца. Был запрошен особым письмом такой авторитет, как Николай. Тот ответил, что зеленого луча ему лично видеть не приходилось, хотя плавает он уже четвертую летнюю кампанию, но действительно среди старых моряков, преимущественно торгового флота, такая легенда бытует. Тогда Алеша объявил, что, наверное, зеленый луч можно увидеть только в океане, иначе какое же это редкое явление природы, если все могут наблюдать его где угодно. Васька же утверждал, что раз дело в физике, в простом разложении солнечного спектра нижними слоями атмосферы, то оно может случиться и на озере, были бы эти слои достаточно плотны да чист горизонт.

Но тут в погранотряде начали строить вышку для прыжков в воду, потом приятели занялись отработкой стиля кроль, который у них не ладился, и опыты были забыты, но зеленый луч так и остался для Алеши символом океана и всего, что связано с его простором. И порой в закатный час, когда солнце медленно опускалось над краем степи, ровной, как само море, сладкая, манящая тоска сжимала сердце Алеши. Он представлял себе это же солнце над живым простором океана, и ему казалось, что в первый же раз, когда он увидит его там, из воды навстречу ему блеснет волшебный зеленый луч, как бы подтверждая, что счастье наконец достигнуто, если он, Алеша, выбрал своим жизненным путем желанный, манящий к себе океан...

И, может быть, эти видения взяли бы верх, если бы следующее лето не разъяснило ему, чем же именно привлекает его к себе море.

Приехав в совхоз на каникулы, Алеша застал отца прихрамывающим. Оказалось, что Русалка, некогда топтавшая копытами в домике, чувствительно лягнула отца, когда он прижигал сбитую ее спину. Нога болела, и совхозный врач посоветовал Сергею Петровичу взять путевку в Сеченовский институт физических методов лечения в Севастополе. Отец сообщил об этом за вечерним чаем матери и, хитро подмигнув, сказал, что неплохо было бы поехать всем вместе, показать Алеше по дороге Москву и дать ему возможность посмотреть Крым, на что вполне хватит недавно полученных премиальных. У Алешихватило дух, остановилось сердце, и, забыв прогло-

тить горячий чай, он безмолвно поднял глаза на мать, ибо в столь важном семейном вопросе голос ее был решающий. И мать, видя в глазах его трепетную мольбу, согласилась, не подозревая, что означает эта мольба и к чему она приведет.

Все было как сон: поезд, станции, новые лица, Москва, Красная площадь, Мавзолей, не виданные никогда трамваи, шум, грохот, залитые светом улицы, снова поезд, поля, леса, тоннели, Крым, солнце... Все это смешалось и все было где-то в тумане памяти. Реальностью осталось одно: Черное море, огромное море, настоящее соленое море, просторное, шумящее, благословенное, долгожданное...

Оно ворвалось в сердце видением громадной бухты, блеснувшей в вагонном окне после какого-то длинного тоннеля. Темная ее синева лежала в белых и зеленых откосах скал, и не успел Алеша разглядеть, что за черточки и палочки чернеют на мягком синем шелке воды, как поезд повернул и бухта исчезла. И лишь потом, поднимаясь на трамвайчике в город вдоль обрывистого скала и рассматривая бухту во все глаза, Алеша понял, что черточки эти и были военные корабли.

И они стали центром его внимания все то время, которое он провел в этом городе флота и моря. Часами он просиживал на пристани с колоннадой, встречая и провожая военные шлюпки и катера, или торчал на Приморском бульваре возле Памятника затопленным кораблям, жадно всматриваясь в близко проходящие у бонов крейсера, миноносцы, подлодки. Деньги, которые Анна Иннокентьевна давала ему на кино, уходили на другое: он брал в яхт-клубе байдарку и делал на ней смотр кораблям, стоящим в бухте. Замирая от восторга, он медленно греб вдоль серо-голубых бортов линкора и крейсеров, останавливался, положив мокрое, теплое весло на голые ноги, и прислушивался к дудкам, звонкам, склянкам, горнам, к командам и песням, влюбленно впиваясь взглядом в орудия, шлюпки и мостики, готовый обнять и расцеловать каждую якорную цепь, свисающую в воду (если бы часовой у гюйса позволил байдарке подойти вплотную).

Алеша дорого дал бы за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на таинственную жизнь за чистыми



Часами он просиживал на Приморском бульваре, жадно всматриваясь
в проходившие корабли.

голубыми бортами, и, покачиваясь на байдарке, мечтал о чуде. Чудес было множество—на выбор. Мог, например, вылететь из иллюминатора подхваченный сквозняком секретный пакет? Он вылавливает его из воды и доставляет командиру. Мог, скажем, во время купания начать тонуть краснофлотец? Он спасает его, кладет на байдарку и доставляет командиру. Или с бакштова отрывается шлюпка и ее несет в море,— он нагоняет ее, берет на буксир и доставляет командиру. Диверсант на такой же байдарке мог вечером подкрадываться к борту с адской машиной? Он задерживает его и доставляет командиру... Все чудеса обязательно заканчивались стандартным свиданием с командиром и его вопросом: что же хочет Алеша в награду? Тут он скромно говорит, что ему ничего не нужно, кроме разрешения осмотреть корабль или (здесь даже в мечтах Алеша сомневался, не перехватил ли он) согласия взять его с собой на поход.

Но чудо не приходило, а дни проходили, и пора было оставлять Севастополь. И вдруг за пять дней до отъезда чудо — невероятное и простое, как всякое настоящее чудо,— само свалилось на голову.

В выходной день Алеша сидел на пристани на своей любимой скамейке у колонн. Звучало радио, светило солнце, темной синевой лежала за ступенями бухта, и далекой мечтой виднелись там корабли. От них то и дело отваливали баркасы и катера: был час праздничного увольнения на берег. Краснофлотцы, выскакивая из шлюпок, мгновенно заполняли всю пристань, потом взбегали по ступеням и растекались по площади. Сверху, от колоннады, казалось, что с бухты на пристань накатывается мерный прибой: ступени то исчезали под бело-синей волной моряков, то появлялись, яркие платья девушек крутились в этой волне, словно лепестки цветов, подхваченных набегающим валом. Скоро прибой кончился, а на краю пристани все еще пестрел букет платьев и ковбоек, и Алеша понял, что это очередная экскурсия на корабли, ожидающая катера.

Он с острой завистью посмотрел на шумную группу молодежи. Ужасно все-таки быть неорганизованным одиночкой!.. Какие-то девчонки, которым что зоосад, что крейсер, попадут сейчас на корабль, а он... И, увидев, что три «девчонки», устав дожидаться на солнцепеке,

побежали к его скамье, встал, собираясь уйти, как вдруг одна из них приветливо поздоровалась и назвала его по имени. Он узнал в ней Панечку, медицинскую сестру, ухаживавшую за отцом в санатории. Она заговорила с ним о скором отъезде, стала спрашивать, все ли успел он в Севастополе посмотреть, но тут их перебил юноша в ковбойке, подошедший со списком в руках. Он спросил, не видели ли они какого-то Петьку. Девушки сказали, что Петька, верно, проспал по случаю выходного, и Алеша, не сдержавшись, буркнул, что такого Петьку мало за это расстрелять. Девушки расхохотались, юноша удивленно на него посмотрел, а Панечка объяснила, что это Алеша Решетников, пионер с Алтая. Юноша в ковбойке оказался работником горкома комсомола, и с ним можно было говорить как мужчина с женщиной. Алеша отвел его в сторонку и выложил ему всю душу (проделав это, впрочем, в крайне быстрых темпах, ибо катер с крейсера уже приближался). Тот ответил, что лишнего человека он взять не может, но что если Петька опоздает...

Петька опоздал — и чудо свершилось.

В комнатку, которую они с матерью снимали возле санатория, Алеша вернулся к вечеру в таком самозабвенном, открытом восторге, что мать спросила, что такое случилось. И Алеша тут же честно признался ей во всем: и в дружбе с Васькой, и в походах по озеру, и в любви своей к морю, и в том, что теперь, побывав на крейсере и пощупав своими руками орудия, он уже окончательно, твердо, бесповоротно понял, что после школы ему одна дорога — в училище имени Фрунзе. Мать заплакала и заговорила о том, что на море тонут. Алеша засмеялся, обнял ее поласковее и сел рядом с ней. Они провели один из тех вечеров, которые так драгоценны в дружбе матери с взрослеющим сыном, — вечер откровенностей, душевных признаний, слез, сожалений, готовности к взаимным жертвам, — и Анна Иннокентьевна обещала ему не мешать в его разговоре с отцом.

Разговор этот Алеша отложил до возвращения в совхоз: нельзя же было в вагоне, при чужих людях, говорить о том, что переполняло сердце. И только там, на Алтае, повидавшись сперва с Васькой и доведя себя рассказами о Севастополе и о крейсере до последнего

накала, Алеша решился поговорить с отцом. Но все время что-то мешало: то у отца было неподходящее настроение, то сам Алеша чувствовал себя «не в форме» для такого серьезного разговора, то колебался, говорить наедине или привлечь в союзники мать. И разговор все откладывался и откладывался, пока не возник сам собой в тот день, когда отец, отправляясь на горный выпас совхозного стада, предложил Алеше прокатиться с ним верхом.

На втором часу пути степь перешла в лесистое взгорье. Все выше и гуще становились пихты, ели, сосны, и наконец всадники въехали в старый сосновый бор. Сухой зной степи сменился свежей прохладой, и притомившиеся кони пошли бок о бок медленным шагом, осторожно ступая по мягкому и скользкому ковру прошлогодней хвои, желтевшей у подножий мощных колонн. Величественная тишина стояла под высоким сводом ветвей, и после ослепляющего простора степи все здесь казалось погруженным в полумрак. Лишь порой проникавший сюда солнечный луч, узкий и яркий, вырывал из него муравейник в глубокой впадине между корнями, поросший мхом пенёк с лужицей застоявшейся в нем коричневой воды или блестел на крупных каплях янтарной смолы, стекающей по стволу,—и все, чего касалось солнце, вдруг обретало краски и объем, кидалось в глаза и задерживало на себе взгляд. Алеша, покачиваясь в седле, долго любовался этой игрой света молча и вдруг усмехнулся. Отец взглянул на него сбоку:

— Ты чему?

— Мыслям...

— А именно?

— Так их разве расскажешь? — засмеялся Алеша и повернул к отцу оживленное лицо.— Ну вот у тебя бывает так, что все вдруг сразу понятно и ясно? Будто как сейчас: ударило солнце в муравейник — он и виден, а не ударило бы — так и пройдешь мимо...

— Чтобы все понятно, этого не бывало,— улыбнулся отец,— а кой о чем догадываться случалось... Только, конечно, не вдруг.

— Нет, именно вдруг,— упрямо повторил Алеша,— именно вдруг... Мучился-мучился человек, думал-думал, колебался, не знал, как решить, и вдруг — раз! — и от-

крылось... И оказывается, все очень просто... А главное — ясно! Так ясно, так легко, что прямо кричать хочется! — И он в самом деле закричал звонко и счастливо.

Конь под ним шарахнулся, и Сергей Петрович, сдерживая своего, засмеялся, любуясь сыном: такое откровенное счастье было на его загорелом лице, так блестели глаза и такая решимость была во всем его тонком и хрупком, еще не сложившемся теле, наклонившемся в седле, что, казалось, дай только волю — и ударит Алеша коня и умчится к видимой ему одному далекой и прекрасной цели, только что открывшейся для него, не понимая, что цель эта — просто юношеская мечта, привидевшаяся в горячке воображения, мираж, который растает в воздухе, едва заведет человека в пустыню, где тот долго будет оглядываться и искать, что же так прекрасно и сильно манило его к себе и что завлекло его сюда... Сергей Петрович любил в сыне эту способность мгновенно загораться, но в глубине души считал ее опасной чертой характера, могущей быть причиной многих жизненных ошибок.

— Эх тебя надирает! — сказал Сергей Петрович, все еще улыбаясь. — Счастливый у тебя возраст... Ну ладно, как говорится, «простим горячке юных лет и юный жар и юный бред»... Только имей в виду: такому наитию, брат, грош цена. Решение должно в самом человеке созреть, а не с неба свалиться.

— Да ты не понимаешь! — досадливо отмахнулся Алеша. — Я и не говорю, что с неба. Человек перед этим долго думал и мучился, а тут... Скачок, понимаешь? — добавил он важно. — Переход количества в качество...

— Вон что! Тогда понятно, — так же важно ответил отец. — И какой же в тебе произошел скачок?

Он спросил совершенно серьезным тоном, но в глазах его Алеша увидел искорки смеха, и это его подхлестнуло: неужели отец все еще считает его мальчиком, неспособным к раздумьям, колебаниям и решениям! И неожиданно для самого себя Алеша заговорил о том, что «открылось» ему в Севастополе на палубе крейсера.

Сергей Петрович слушал его, не прерывая и даже не поворачивая к нему лица. Опустив голову и глядя прямо перед собой меж прядяющими ушами коня, он молча

следил за тем внезапным потоком слов, который вырвался наконец из самого сердца Алеши. Это были удивительные слова мечты и надежды, исполненные юношеской горячности и одержимости, целая поэма о море, кораблях и орудиях, развернутый трактат о воинском долге мужчины, страстное исповедание веры в свое призвание. Алеша говорил негромко и взволнованно, устремив взгляд в полумрак бора, будто видел в нем мерещившиеся ему просторы. И, только выложив все и закончив тем, что жизненный путь избран им навсегда и что путь этот — военный флот, Алеша повернулся к отцу.

И тогда острая жалость стиснула его сердце: у Сергея Петровича, ссутулившегося в седле, был совсем несчастный вид. Минуты две они ехали молча, только легкий треск сухих игл под копытами, пофыркивание коней да позвякивание стремян нарушали тишину леса. Алеша проклинал в душе и эту тишину, настроившую его на откровенность, и солнечные пятна, напомнившие о прекрасном и легком чувстве там, на палубе крейсера, когда ему вдруг все «открылось». Оживление его как рукой сняло, и он ехал, молчаливо мучаясь: зря завел он этот разговор, все отлично обошлось бы как-нибудь само собой, со временем, и не было бы у отца этого убитого вида, который хуже всякого гнева и крика... Алеша уже готов был сказать какие-то ласковые слова, чтобы поддержать отца, который, несомненно, очень тяжело переживает эту новость, когда тот, по-прежнему глядя между ушами коня, негромко сказал:

— Так, брат... Выходит, ты и в самом деле вырос... Рановато, конечно, в пятнадцать лет всю свою судьбу решать, но против рожна, видно, не попрешь... Значит, решил ты всерьез?

— Да,— виновато сказал Алеша.

— Ну что ж, дело твое. У меня к тебе один только вопрос: ты вполне уверен, что тянет тебя именно военный флот?

— Вполне,— сказал Алеша, собрав всю свою убежденность.

— А не море?

— Что — море? — спросил Алеша настораживаясь: все, что, казалось, бесследно исчезло в Севастополе — океаны, плаванья, словом, «зеленый луч», — снова вста-

ло перед ним. Походило, будто отец подслушал самые тайные (и самые грозные) его сомнения.

— Ну, море. Просто море. Вода, волны, простор, путешествия. Стихия заманчивая и прекрасная, такой и впрямь можно увлечься.

— Ну, и море, конечно... Нельзя быть военным моряком и не любить моря: это одно и то же...

— Теперь ты меня не понимаешь,— серьезно сказал отец и впервые поднял на него взгляд.— Я хочу знать, хорошо ли ты в себе разобрался, что именно тебя привлекает. Может, просто-напросто тебе плавать хочется? По морям побродить, мир посмотреть, а?

— Видишь ли...— смутился Алеша и тут же нагнулся подтянуть стремя.— До Севастополя я и сам путался... наверное, потому, что военные корабли только на картинках видал... А там... Ну, я ж тебе только что говорил: это совсем-совсем особое чувство...

Он наконец выпрямился, подняв покрасневшее не то от натуги, не то от смущения лицо, и закончил, уже овладев собой:

— Теперь-то я твердо знаю: именно военные корабли... И потом, ты сам подумай: ну, пойду я в Совторгфлот, похожу по океанам, привыкну к торговому пароходу, полюблю его, а война бахнет — и пожалуйста бриться... Нет уж, раз все равно воевать придется, так лучше заранее научиться как... И лучше воевать на море, чем в пехоте, верно ведь?

Алеша залпом выложил свои последние доводы, но Сергей Петрович на них не ответил. Он снова уставился взглядом меж ушей коня, на этот раз тихонько насвистывая, что означало у него сдерживаемое раздражение. Потом горько усмехнулся:

— Н-да... Прямо, брат, как в сказке: и все прялки во дворце попрятали, и прясть во всем царстве запретили, а дочка сама веретено нашла, укололась — и папаше все-таки на сто лет компот устроила...— Он помолчал и вздохнул.— Одно мне удивительно: откуда в тебе этот интерес к войне взялся? В городе ты его набрался, что ли? В школе или в пионеротряде?

Алеша обиделся.

— Что значит — набрался? — сказал он, чувствуя, что начинается спор, который ни к чему не приведет.—

Фашисты все равно нападут — рано или поздно, это ясно всем, кроме тебя. Война же обязательно будет.

— Ну хорошо, пусть будет, черт с ней совсем! — так же резко перебил его Сергей Петрович и снова посвистал, пощипывая бородку.

Потом, успокоившись, продолжал раздумчиво и негромко:

— Но ведь ты понимаешь, что одно дело — взяться за оружие в час опасности, когда за горло схватят, а другое — быть военным-профессионалом. Вдобавок командиром. Тут, брат ты мой, нужно быть человеком совсем особой складки. Одного желания для этого мало. Для командира требуются задатки, определенный характер, способности... Ничего этого я в тебе не вижу. Вот помнишь, как ты о бойне разорился?

— Помню, — сказал Алеша, снова покраснев. — Так я же мальчишкой тогда был...

— Не в том, брат, дело. Для тысяч мальчишек это в порядке вещей: ну, росла корова, зарезали ее и съели — подумаешь, трагедия! А для тебя это оказалось прямо-таки потрясением. Отчего? Хочешь ты или не хочешь, а сидит в тебе любовь ко всякой жизни, и сидит глубже, чем сам ты предполагаешь... Это, брат, с детства: чудесный огонек помнишь? Вернется это к тебе с возрастом — ох, вернется! — да поздно будет. И увидишь ты себя несчастным человеком, который чувствует, что не своим делом занимается. Не позавидую я тебе, когда ты на это открытие наткнешься. Страшное, брат, дело — в собственной жизни раскаиваться...

Он покачал головой, нахмурился и значительно поджал губы, потом снова заговорил негромко и доверительно:

— Мне вот тоже когда-то было совершенно ясно, что я непременно должен стать врачом. Годы на это положил — учился, дипломы получал, потом людей мучил и сам мучился, пока не понял, что это вовсе не мое дело: ни таланта во мне к этому, ни охоты настоящей, ни смелости, ни упорства, а так — лечу людей, потому что чему-то учился, а вдохновения во всем этом шиш... Всякое дело, Алеша, надо делать страстно, убежденно, веря, что оно для тебя единственное. А я годы в чужой сбреу ходил... Уж и ты родился, а я все врачом кovy-

рялся. И плохим врачом... Пока не понял, что настоящее мое дело — скот разводить. Через скот людям помогать жить, а не припарками да микстурами, в которых я ни бе ни ме... Только тогда смысл своей жизни понял — и вздохнул, будто из каторги на волю вырвался. А что же мне эту каторгу устроил? Сам... Но мне-то можно было бросить одно дело и заняться другим, что по душе оказалось, а тебе будет трудновато. Командир, брат, — это дело такое: назвался груздем, полезай в кузов до конца жизни. Вот ты о чем подумай, прежде чем жизнь решать... Небось тебе это в голову не приходило, а?

Алеша молчал. Что ему было ответить? Снова говорить о своей мечте? Но легкие, радостные слова, которые только что так свободно и весело срывались с языка, вдруг отяжелели и потускнели, и никакая сила в мире не заставила бы его снова заговорить так, как он недавно говорил отцу о флоте. Он молчал, упрямо смотря перед собой.

И отец, видимо, понял, что происходило в нем, потому что вдруг протянул к нему руку и ласково пожал ему локоть.

— А впрочем, я тебя не отговариваю, — сказал он совсем другим тоном. — Да и чего отговаривать: чужой опыт, как известно, никого еще не убеждал. Так уж человек устроен, что ему свою стенку собственным лбом прошибать хочется. Раз тебе кажется, что это настоящее твое призвание, что ж, спорить не стану. Решай как знаешь... А пока что давай позавтракаем, благо тут тень...

Три дня Алеша был в самом лучшем настроении — все обошлось неожиданно просто: спорить, убеждать, доказывать оказалось совсем не нужно. Но все же разговор в лесу оставил в нем странное чувство растерянности и неудовлетворенности. Получилось так, будто он изо всех сил навалился на дверь, думая, что ее подпирают плечом с той стороны, а она внезапно распахнулась, и он с размаху влетел в пустую комнату, где вместо ожидаемого противника увидел в зеркале самого себя. И лесной разговор и последующие неизменно заканчивались тем, что Сергей Петрович предоставлял Алеше полную свободу выбора. А это было хуже всего, потому

что вопрос отца: «А не просто море?» — опять поднял в нем целый ворох давнишних размышлений и сомнений.

Чтобы укрепиться в своей мысли о военном флоте, Алеша поделился с Васькой доводами отца, умолчав, впрочем, обо всем том, что именовалось у него «зеленым лучом», так как раскрыть Ваське свою смутную мечту об океанах означало немедленно схлопотать какое-нибудь ядовитое словечко, вроде «безработного Колумба».

Васька, как и следовало ожидать, подошел к вопросу со свойственной ему прямолинейностью: Сергей Петрович — просто упрямый старик (хотя тому было немногим за сорок), который эгоистически боится за жизнь сына и прикрывает это всякими теориейками, пахивающими «беспочвенным пацифизмом». Впрочем, зоотехнику простительно говорить о каком-то особом складе характера и врожденных задатках, якобы необходимых для командира: все это только отрывочка биологической теории отбора и этой... как ее... секрети (Васька хотел сказать «селекции», но в негодовании перепутал слово). Однако прислушиваться к этим теориейкам, конечно, опасно, и на месте Алеши он решил бы вопрос четко, по-командирски: немедленно порвал бы с семьей, переехал до зимы в погранотряд, а зимой устроился бы жить при школе, чтобы не отравлять сознания разговорами с теткой, которую Сергей Петрович, понятно, сумеет соответственно настроить.

Такие крайние меры никак не устраивали Алешу, и, успокоив Ваську тем, что отец, собственно, не протестует, а только предоставляет ему решать самому, он больше не заводил разговора о своих сомнениях. И беседы их на «вельботе» вернулись к обсуждению пути на флот. Путь этот был ясен: как только их примут в комсомол, они сразу же заговорят о путевках в училище имени Фрунзе, чтобы их кто-нибудь не опередил. Впрочем, кому-кому, а им-то, лучшим активистам военно-морского дела, горком, несомненно, путевки забронирует...

По возвращении в город они пошли в горком комсомола разузнать обо всем. Путевки им действительно обещали, но тут же предупредили, что рассчитывать на них могут только отличники (которыми друзья отродясь не бывали). Кроме того, выяснилось, что путевка, собст-

венно, дает лишь право держать вступительные экзамены в училище, на которых за каждую вакансию борются шесть-семь, а в иной год и все десять таких же отличников-комсомольцев. Поэтому пришлось сильно навалиться на учебу, и зима пролетела незаметно. Подошла весна — и Алеша снова приехал на лето домой, в совхоз.

За эту зиму Сергей Петрович подготовил новый, тщательно обдуманный ход. Отлично понимая, что, если в это решающее лето — последнее перед окончанием школы — ему не удастся переубедить сына, тот пойдет по пути, о котором он не мог думать без глубокой тревоги за его судьбу. Все в нем восставало при мысли, что Алеша избирает пожизненную профессию командира. В этом протесте смешивались различные чувства. Тут была и горечь, что сын не понимает и не хочет понять его, и боязнь, что это незрелое юношеское увлечение, в котором Алеша будет потом запоздало каяться, и простой отцовский страх за его жизнь.

Но отговаривать, убеждать, протестовать — значило только сделать хуже: он вспоминал самого себя в этом же возрасте и понимал, что противодействием можно только разжечь желание и укрепить решение Алеши. Поэтому он пустил в ход иное, сильное средство.

Глава четвертая

В середине июня директорский «газик» привез со станции необычного для алтайского совхоза гостя — высокого и полного, немолодого уже моряка в белом кителе с четырьмя золотыми обручами на рукавах, веселого, громкоголосого, пахнувшего душистым трубочным табаком и морем: и сам он и все его вещи были пропитаны запахом смоленого троса, угольного дымка, свежей краски и еще чего-то неуловимого, что трудно было определить, но что сразу же перенесло Алешу на палубу севастопольского крейсера. Он поразился, каким образом мог так долго сохраниться на госте этот удивительный корабельный запах, но на другое же утро выяснил, что причиной его был какой-то необыкновенный одеколон со штормующей шхуной на этикетке, которым гость

протира́л после бритья крепкие розовые щеки и крутую шею и который он купил сам не помнил, в каком порту.

Это был капитан дальнего плавания Петр Ильич Ершов, давний друг семьи. Алеша знал о нем только по рассказам отца и по тем шуткам, которыми тот смущал иногда мать, напоминая ей, как в свое время она мучилась, за кого же ей выходить замуж — за Сережу или за Петро. Появление его в совхозе объяснилось за обедом: вкусно уминая пирог, Ершов рассказал, что получил назначение на достраивающийся новый теплоход «Дежнев» и что ему пришло в голову воспользоваться переездом из Владивостока в Ленинград, чтобы повидаться с друзьями, поохотиться и отдохнуть недельку в степи — вдали от всякой воды, которая ему порядком надоела.

Само собой понятно, что Алеша с места по уши влюбился в Петра Ильича. Как и большинство пожилых моряков, Ершов умел и любил порассказать, а ему, за тридцать лет исходившему почти все моря и океаны, было что вспомнить. Неведомая Алеше жизнь тружеников моря — лесовозов, танкеров, чернорабочих грузовых пароходов, скоростных пассажирских лайнеров — все яснее и привлекательнее открывалась перед ним. Знакомое и дорогое видение севастопольской бухты и сероголубых кораблей в ней, которое жило в его сердце, тускло и отступало, заволакиваясь туманами Ламанша, захлестываясь высокими валами океанских штормов, заслоняясь пальмами Африки и нью-йоркскими небоскребами. За обедом он дрейфовал во льдах Арктики, за ужином штормовал в Бискайке, засыпал у экватора на танкере, идущем в Бразилию, и просыпался на каком-нибудь лесовозе в Портсмуте. Все когда-либо прочитанные им Стивенсоны, Конрады, Станюковичи, Марлинские, Джеки Лондоны, фрегаты «Паллады» и «Надежды», «Пятнадцатилетние капитаны» и капитаны Марриоты снова ожили в нем с силой чрезвычайной, и все в мире свелось к Ершову, к рокочущему его голосу и его упоительным рассказам.

Отец наблюдал эту внезапно вспыхнувшую дружбу с удовлетворенным видом исследователя, который убеждается в правильном течении поставленного им опыта. И по тому, как благожелательно слушал он за столом Ер-

шова и даже сам наводил его на новые рассказы о плаваниях, Алеша догадывался, что капитан появился в совхозе вовсе не случайно. Однако хитрая политика отца ничуть не обидела его. Напротив, в глубине души он был даже благодарен ему за такой поворот дела. Наконец-то стало вполне ясно (и на этот раз неопровержимо!), кем же следовало быть ему, Алеше: конечно, штурманом, а потом капитаном дальнего плавания!.. И лишь в те редкие часы, когда Петр Ильич уходил гулять вдвоем с отцом, а он, пожираемый ревностью, оставался один, ему вспоминался Васька Глухов, их планы и мечты о военном флоте, горком комсомола и путевки в военно-морское училище... Если бы не эти укоры совести да не самолюбие, он давно бы признался Ершову в своем новом решении и начал бы расспрашивать о том, как поступить в морской техникум.

По счастливому повороту событий, надобность в таком признании отпала. Судьба (или отец?) снова пошла навстречу Алеше.

Незадолго до отъезда капитана Сергей Петрович за обедом завел разговор о том, долго ли придется Ершову быть в Ленинграде, и тот ответил, что, к сожалению, проторчит всю зиму. Поругав наркомат, который заставляет его заниматься совсем не капитанским делом, Ершов сказал, что он, конечно, отвертелся бы от этого назначения, если бы не заманчивые перспективы. Дело в том, что «Дежнев» предназначен для тихоокеанского бассейна, а так как в Средиземке нынче безобразничают фашисты, то, если к весне с ними в Испании не покончат, вести «Дежневу» во Владивосток придется не через Суэцкий канал, а вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды. В наши времена такой редкостный походик не так уж часто случается, и пропускать его просто глупо. И тут же Петр Ильич начал подробно рассказывать о маршруте — Портсмут, Кейптаун, Мадагаскар, Сингапур, Гонконг — и вдруг, осененный внезапной мыслью, посмотрел на Алешу и спросил, не хочет ли он пройтись на «Дежневе» без малого кругом света.

От неожиданности Алеша подавился пельменем и лишился языка. Ершов расхохотался:

— Ну чего ты на меня уставился? Проще простого... Ты школу когда кончаешь?

— В июне,— сказал Алеша, проглотив наконец пельмень.

— Добре. Раньше и «Дежнев» испытаний не закончит.

И он сразу же начал строить планы, оказавшиеся вполне реальными.

Переход «Дежнева» займет около двух месяцев. Готовиться к экзаменам в Военно-морское училище имени Фрунзе Алеша сможет и на судне, а иметь у себя за кормой до начала военной службы хорошие двадцать тысяч миль и накопить морской опыт будет, пожалуй, неплохо. Только, понятно, без дела на судне болтаться нечего, и уж если идти в поход, то не пассажиром, а, скажем, палубным юнгой: так и ему пользы больше будет, и с оформлением легче...

Дни, оставшиеся до отъезда волшебного гостя, прошли в каком-то счастливом и тревожном чаду. Алеша, растерянный, ошалевший, изнемогающий от избытка счастья, ходил за Ершовым по пятам, влюбленно смотрел ему в глаза и в тысячный раз допытывался, не пошутил ли он. Но какие там шутки! Все было обговорено и обсуждено на различных частных совещаниях и потом утверждено на общем семейном собрании: сдав в школе последний экзамен, Алеша тотчас же едет в Ленинград и включается в экипаж «Дежнева» при одном, впрочем, условии, что школу он кончит отличником (требование это было выставлено Сергеем Петровичем, который выразил опасение, что зимой Алеша будет целыми вечерами сидеть над атласом мира, забыв об учении).

При этих обсуждениях Алеша сильно кривил душой, умалчивая об одном существенном обстоятельстве: прикидывая, когда «Дежнев» должен прийти во Владивосток, чтобы Алеша успел в Ленинград к началу экзаменов в военно-морское училище, все считали крайним сроком половиной августа. Между тем самому Алеше отлично было известно, что экзамены начинаются гораздо раньше и, кроме того, нужно учитывать еще и двенадцать дней дороги до Ленинграда (о чем почему-то все забывали). Получалось так, что к экзаменам он поспевал лишь в том случае, если «Дежнев» придет во Владивосток не позднее половины июля, чего никак не могло произойти. Но обо всем этом Алеша предпочитал не говорить, ибо тогда

пришлось бы признаться, что военно-морское училище его теперь совершенно не интересовало.

Алеша прекрасно понимал, что этот сказочный поход и поступление той же осенью в училище имени Фрунзе несовместимы и приходится выбирать что-либо одно. И он выбрал «Дежнева» и все, что связано с ним: в далеком будущем диплом капитана дальнего плавания, а в самом ближайшем — мореходный техникум. Какой именно — во Владивостоке или в Ленинграде, сразу по возвращении «Дежнева» или через год, по экзамену или простым откомандированием с судна (Алеша уже привык заменять этим словом военное — корабль), — надо было обсудить с Петром Ильичом теперь же, но тогда приходилось признаваться ему в своем новом решении.

А как об этом заговорить? Нельзя же, в самом деле, взять и бухнуть: «Петр Ильич, а я, мол, оказывается, вовсе не на военные корабли хочу, а в Совторгфлот...» Вдруг Ершов расхохочется и начнет издеваться: «Что же, у тебя семь пятниц на неделе? Шумел-шумел, разорялся, отца расстроил — и вдруг на обратный курс?..»

И Алеша все откладывал разговор, поджидая удобного случая. Наконец он решил, что лучше всего будет поговорить с Ершовым в машине, когда тот поедет на железнодорожную станцию: за шесть-семь часов пути удобный случай всегда найдется. Поэтому он напросился проводить гостя. Ершов будто угадал его желание поговорить напоследок, потому что, распрощавшись со всеми и подойдя к «газику», поставил свой чемодан к шоферу, а сам сел на заднее сиденье с Алешей, растрогав его таким вниманием.

Время было уже к закату и жара спадала, когда из перелесков предгорья они выехали на шоссе, уходящее в степь широкой пыльной полосой, отмеченной частоколом телеграфных столбов. Древний тракт, помнящий почтовую гоньбу, был сильно побит грузовиками. Отчаянно прыгая и дребезжа, «газик» завиял от обочины к обочине в поисках дороги поровнее, и разговаривать по душам было невозможно. Алеша решительно наклонился к шоферу:

— Федя, давай через Ак-Таш, тут все кишки вытрясешь...

— А чий? — возразил шофер.

— Ну и что ж, что чий, его там немного... Сворачивай, вон съезд!

Машина скатилась с шоссе на колею проселка, едва заметную в низкой траве, и сразу пошла мягче и быстрее, но разговор все-таки не налаживался. Первые полчаса он перескакивал с одного на другое, и Алеше никак не удавалось навести его на свое, а потом и вовсе прекратился: проселок весь оказался в глубоких ухабах: «газик» резко сбавил ход и запыхал так, что Ершов закрыл платком рот. Колеса, проваливаясь в ямы, вздымали густые облака мелкой душной пыли, и она неотступно двигалась вместе с машиной, закрывая и степь и небо плотным серо-желтым туманом. Сквозь него виднелись только густые заросли высокой и жесткой, похожей на осоку травы, близко обступившей узкую дорогу.

Это и был чий — враг степной дороги.

В степи, как известно, дорог не строят: их просто наезживают раз за разом, пока травяной покров не превратится в плотную серую ленту накатанной дороги. Всякая трава гибнет под колесами покорно, но чий, который растет пучками, почти кустами, глубоко запуская в почву крепкие и длинные корни, мстит за свою гибель крупными, высокими кочками, и чем больше по ним ездят, тем глубже становятся между ними ухабы.

Все это Алеша, чихая и кашляя от пыли, извиняющимся тоном объяснил Ершову. Тот глухо ответил из-под платка:

— А чего же тебя сюда понесло? Уж на что шоссе дрянь, а такой пакости не было.

— Да тут кусочек, километров шесть...

— Спасибо,— буркнул Ершов.— Тоже мне штурман...

— Да нет, все правильно,— убежденно сказал Алеша.— Лучше уж тут потерпеть, чем по шоссе трястись... Она вся битая, быстро не поедешь, а тут — увидите, как дунем! Сами ахнете!

И точно, вскоре машина выбралась из чия и помчалась на запад по гладкой природной дороге, пересекающей степь напрямки, почти без поворотов. Ершов снял фуражку и облегченно подставил лицо ветерку, рожденному быстрым движением.

— Ф-фу, твоя правда,— сказал он, отдуваясь, и с

удовольствием осмотрелся по сторонам.— Вон она, оказывается, какая — степь... Просторно, что в море!

Теперь, когда пыль отставала, крутясь за «газиком» длинным хвостом, однообразная огромность степи открылась перед глазами во всю свою ширь. Желто-зеленая гладь раскинулась во все стороны и, не заслоняя неба ни гребнем леса, ни зазубринами гор, сходилась с ним такой безупречно ровной линией, что она и впрямь напоминала о морском горизонте. Солнце висело над степью совсем низко; длинные тени тянулись от каждого бугорка, отчего становилось понятно, что степь, кажущаяся днем гладкой, как стол, на самом деле составлена из пологих холмов, плавно вздымающихся друг за другом, как застывшие волны. «Газик» взбирался на них и скатывался так незаметно, что уловить это можно было только по тому, как он то погружался в тень, прячась от солнца, то вновь попадал в его мягкие по-вечернему лучи.

Петр Ильич усмехнулся:

— И зыбь совсем океанская... Увидишь сам, до чего занятно: штиль, вода будто зеркало, а встретишь судно — оно где-то внизу, вроде как под горой. Глазам не поверишь — вон куда тебя, оказывается, вознесло...

Знакомая просторная мечта поднялась в Алеше с неодолимой силой, как та волна, о которой говорил капитан, — могуче и вздымающе, и все в нем сладко заныло при мысли, что мечта эта близка к осуществлению. Все видения, связанные с океаном, обступили его тесной толпой, и можно было говорить о них как о чем-то доступном и возможном. От этой мысли Алеша счастливо улыбнулся.

— Петр Ильич, мы вот с Васькой спорили, — сказал он оживленно, — ведь правда, зеленый луч только в океане бывает? Вот вы, например, где его видели?

— Да нигде.

— Как — нигде? — поразился Алеша. — Столько плавали и ни разу не видели?

Ершов усмехнулся:

— Этот твой зеленый луч вроде морского змея: все о нем по-разному врут, а какой он на самом деле, никому не известно. Вот я и не знаю, видел его или нет.

— А что же вы видели?

— Зеленую точку. И не так уж редко. Потому и считаю, что зеленый луч наблюдать не сподобился. Вот есть такой мореходный деятель, капитан дальнего плавания Васенька Краснюков — ему шестьдесят лет, а он все Васенька, — так тот на каждом рейсе зеленый луч видит, да еще какой! Говорит, вырывается из воды прямо вверх, узкий, как луч прожектора, но держится мгновение; если в этот момент глазом случайно моргнешь, так и не заметишь его... Видно, все у него на палубе как раз в это мгновение и моргают, потому что каждый раз он один видит. Но в судовой журнал для науки обязательно записывает с широтой-долготой и давлением барометра... Впрочем, был и у меня случай увидеть, только не на закате, а на восходе, да я проспал. Матросы наши видели и вряд ли врал. В науке это не отмечено, потому что дело было в девятьсот десятом году на шхуне одесского грека Постополу, и записывать, понятно, никому и в голову не взбрело...

— А я вот раз тоже интересно заметил, — вмешался Федя. — Еду из Зайсана аккуратно на закат, а небо все в облаках, только в одном месте...

— Да погоди ты! — нетерпеливо оборвал его Алеша. — Ну, и что они видели, Петр Ильич?

— Шли мы Суэцким заливом — грек наш семерых казанских купцов подрядился в Мекку на паломничество свозить, — я только что со штурвала сошел спать, а матросы вставали, седьмой час был. Как начало солнце всходить — а оно там из-за Синайских гор вылазит, — так все ахнули: и небо зеленым стало, и вода, и все на палубе, как мертвецы, зеленые. Говорят, секунду-две так держалось, потом пропало и солнце показалось. А я проспал. Но если о легенде говорить, будто зеленый луч только счастливому удастся видеть, то вышло наоборот: я вот еще плаваю, а грек со всеми матросами той же осенью утонул. И где: в Новороссийской бухте, у самого берега — бора с якорей шхуну сорвала и разбила о камни. А я только неделю как расчет взял. Вот тебе и легенда...

— Приметы — это пережиток, — авторитетно сказал Федя. — Взять кошку. Иной машину остановит и давай вокруг нее крутиться, чтобы след перейти, а я...

— Федя!.. — угрожающе повернулся к нему Але-

ша.— Дай ты человеку говорить, что у тебя за характер! А точка, Петр Ильич, как вы ее видели?

— Ну, это часто. Ты ее где хочешь увидишь, не только в океане. Я и на Балтике видел и на Черном море. Если горизонт чист и солнце в самую воду идет — следи. Как только верхний край станет исчезать, тут, бывает, она и появляется. Яркая-яркая, и цвет очень чистый. Будто кто на сильном свете изумруд просвечивает. Подержится секунду, а то и меньше, и погаснет. Иногда ярче видна, иногда послабее...

— Буду плавать — ни одного заката не пропущу, — убежденно сказал Алеша. — Когда-нибудь настоящий зеленый луч поймаю, вот увидите!

— У каждого человека своя мечта есть, — опять вмешался Федя. — У меня вот — птицу на лету машиной сшибить. Мечтаю, а не выходит. А вот Петров в погранотряде прошлой осенью беркута....

«Газик» вдруг зачихал, зафыркал, выстрелил несколько раз и остановился.

— Наелись все-таки пыли... Чертов чий! — сказал недовольно Федя и открыл дверцу. — Теперь карбюратор сымать.

Ершов тоже открыл дверцу и грузно шагнул в траву.

— Ладно, мы промнемся... Пойдем вперед, Алеша.

Все складывалось как нельзя лучше: конечно, вести серьезный разговор в присутствии словоохотливого Федя было трудно. Но, отойдя от машины, когда ничто уже не мешало, Алеша продолжал молчать. Молчал и Петр Ильич, неторопливо набивая на ходу трубку, и все вокруг было так тихо, что шорох травы под ногами или треск колючки, попавшей под каблук, казались неуместно громкими. Алеша даже поймал себя на том, что ему хочется идти на цыпочках.

Удивительный покой стоял над вечерней степью. Пустое, без облаков, небо, до какой-то легкости, почти звонкости высушенное долгим дневным зноем, еще сохраняло в вершине своего купола яркую синеву, но ближе к закатной стороне все более бледнело, желтело и, наконец, становилось странно бесцветным. Казалось, будто там солнце по-прежнему продолжало выжигать вокруг себя все краски, хотя лучи его, нежаркие, вовсе утерьявшие силу, даже не ощущались кожей лица. Теплый

воздух был совершенно недвижим, и поднимающийся от разогретой земли слабый запах высохших по-июньски трав явно ощущался в нем, горьковатый и печальный.

От этого запаха, от уходящего солнца, от медленного молчаливого шага Алешу охватило грустное и томительное чувство, предвещие близкой разлуки. Ему уже не думалось ни об океане, ни о «Дежнев», ни о сказочном походе вокруг света, ни даже о том, что сейчас в разговоре с Ершовым надо решить свою судьбу. Он шел, опустив глаза, следя, как распрямляется желтая, упругая в своей сухости трава, отклоняемая ногами Ершова, и ему казалось, что вот-вот ноги эти исчезнут где-то впереди и след их закроется вставшей травой, а он останется один, совсем один во всей громадной, пустынной, нескончаемой степи, в которой совершенно неизвестно, куда идти, как неизвестно ему было, куда идти в жизни, такой же громадной, нескончаемо раскинувшейся во все стороны.

С такой силой Алеша, пожалуй, впервые почувствовал горькую тяжесть разлуки. Сколько раз прощался он осенью с отцом и матерью, но мысль об одиночестве никогда еще не приходила ему в голову. Он мог скучать по ним, даже тосковать, но вот это чувство — один в жизни — до сих пор было ему совершенно неизвестно. Вдруг столкнувшись с ним, он даже как-то растерялся. Оно оказалось таким неожиданно страшным, наполнило его такой тоскливой тревогой, что он попытался успокоить себя. Ведь ничего особенного не происходит: ну, уедет Петр Ильич — останутся мать и отец, которых он любит, с которыми дружит, останется Васька Глухов, приятели в школе... Но тут же его поразила очень ясная мысль, что никому из этих людей он никогда не смог бы признаться в том, в чем готов был сейчас открыться Ершову, и что никто из них не сможет ответить ему так, как, несомненно, ответит Петр Ильич... Вместе с ним из жизни Алеши исчезало что-то спасительное, облегчающее, без чего будет невыносимо трудно. Уедет Петр Ильич, и он останется один. Совершенно один. И это как раз тогда, когда надо всерьез начинать жить...

А как жить... Кем?.. Может быть, эта новая мысль о техникуме — ерундовая, ошибочная мысль, и вызвана она только жадным, бешеным желанием не пропустить

возможности пошататься по океанам? Ведь почему-нибудь ноет же у него сердце, когда он думает о севастопольских кораблях, о серо-голубой броне и стройных стволах орудий, да как еще ноет! Может быть, сама судьба послала ему это испытание, чтобы проверить, способен ли он быть стойким, убежденным в своих решениях командиром, человеком сильной воли, умеющим вести свою линию, а он... Где у него там воля! Ему скоро шестнадцать лет, а он ничего еще не решил. Все ждет, что кто-то или что-то ему подскажет, поможет, возьмет за ручку и поведет... Небось Пушкин в шестнадцать лет отлично знал, что делать... И Нахимов знал, и Макаров... И Чкалов в том же возрасте уже твердо решил стать летчиком, хотя это казалось недостижимым. Да что там Чкалов! Васька Глухов и тот выбрал себе путь и стойко держится своего... Один он какая-то тряпка, ни два ни полтора: то училище имени Фрунзе, то техникум...

— Петр Ильич,— сказал он неожиданно для самого себя.— Вот когда вам шестнадцать лет было, вы кем собирались быть?

Ершов, разжигая трубку, искоса взглянул на Алешу, подняв левую бровь. И в том, как он смотрел — ласково и чуть насмешливо, — и в полуулыбке губ, зажавших мундштук, было что-то такое, от чего Алеша смутился: походило, что Ершов отлично понимал, к чему этот вопрос. Трубка наконец разгорелась, и Петр Ильич вынул ее изо рта.

— Дьяконом,— ответил он и дунул дымом на спичку, гася ее.

Алеша обиделся:

— Да нет, правда... Я серьезно спрашиваю...

— А я серьезно и отвечаю. У меня батька псаломщиком был, только об этом и мечтал.

— Так это он мечтал, а вы сами?

— Я? — Ершов усмехнулся.— Мне шестнадцать лет в девятьсот седьмом году было. Тогда, милый мой, не то, что нынче: ни мечтать, ни выбирать не приходилось. Куда жизнь погонит, туда и топай. Вымолил батька у благочинного вакансию на казенный кошт, отвез меня в семинарию, а оттуда уж одна дорога...

У Алеши понимающе заблестели глаза:

— А вы, значит, убежали?

— Куда это убежал?

— Ну, из семинарии... на море!

— Вот чудак! — удивился Ершов. — Как же мне было бежать? Батка у нас вовсе хворый был — он раз на Иордани в прорубь оступился, так и не мог оправиться. Чахотку, что ли, нажил — каждой весной помирать собирался. А нас шестеро. И все, кроме меня, девчонки. Только и надежды было, когда я начну семью кормить. Тут, милый мой, не разбегаешься... Да ни о каком море я тогда и не думал.

— Так почему же вы моряком стали?

— Я же тебе объясняю: жизнь. Приехал я на каникулы, — мы в сельце под Херсоном жили, приход вовсе пищий, с хлеба на квас, — а отец опять слег. Меня к семнадцати годам вот как вымахало — плечи во! — я и нанялся на мельницу мешки таскать, все ж таки подспорье. А отец полежал да и помер. Меня прямо оторопь взяла: еще три года семинарии осталось; пока я ее кончу, вся моя орава с голоду помрет. Думал-думал, а на мельнице грузчики говорят: «Чего тебе, такому бугаю, тут задешево спину мять? Подавайся в Одессу, там вчетверо выколотишь, а главная вещь — там и зимой работа: порт». Ну, я и поехал. Сперва в одиночку помучился, а потом меня за силу в хорошую артель взяли. Осень подошла — я на семинарию рукой махнул: сам сыт и домой высылаю. А к весне меня на шхуну «Царица» шкипер матросом сманил, тоже за силу. Сам он без трех вершков сажень был, ну и людей любил крупных: парус, говорил, хлипких не уважает. Вот так и началась моя морская жизнь: Одесса — Яффа, Яффа — Одесса; оттуда — апельсины, а туда — что бог даст. Походил с ним полтора годика, ну и привык к воде. С судна на судно, с моря на море — вот тебе и вся моя жизненная линия.

Алеша вздохнул:

— Значит, у вас все как-то само собой вышло... А вот когда самому решать надо...

— А что ж тебе решать? — спокойно возразил Петр Ильич. — Ты уже решил — и на всю жизнь. Да еще батку переломил — он мне порассказал, какие у вас споры были. Молодец, видать, в тебе твердость есть...

— Какая во мне твердость! — горько усмехнулся

Алеша.— Я, Петр Ильич, если хотите знать... Словом, так тут получилось... Ну, вы сами все понимаете...

— Ничего не понимаю,— прежним спокойным тоном ответил Ершов.

— Чего вы не понимаете? — с отчаянием воскликнул Алеша.— Вы же видите, что я... что мне... В общем, изменник я, вот что! Настоящий изменник: товарищам изменил, школе, военным кораблям, сам себе изменил, своей же клятве...

В голосе его зазвучали слезы, и Ершов, взглянув на побледневшее лицо Алеши, хотел сказать что-то успокаивающее, но тот продолжал говорить — взволнованно, путано, сбивчиво, обрывая самого себя, совсем не так, как собирался вести этот серьезный мужской разговор. Он повторил Ершову все, чем пытался успокаивать и самого себя: конечно, в горьком комсомола понимают, что не всем морякам обязательно быть военными, в школе же будут просто завидовать и говорить, что ему повезло в мировом масштабе... Даже Васька Глухов, мысль о котором больше всего беспокоила его, и тот, сперва осви-репев и наговорив кучу самых обидных вещей, подумав, скажет, что отец очень здорово все подстроил — этот козырь перекрыть нечем, и надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой походик... Значит, все как будто хорошо получалось, но почему же у него такое чувство, будто он собирался сделать что-то не то?..

Впрочем, Алеша довольно ясно чувствовал, в чем именно упрекала его совесть. Объяснить это можно было одним словом, но оно никак не годилось для душевного разговора. В нем была официальность и излишняя книжная торжественность, совсем не подходившая к случаю, и сказать его по отношению к самому себе было даже как-то не очень удобно, однако другого он найти не мог.

Это слово было «долг».

Когда оно вошло в разговор, Ершов посмотрел на Алешу с каким-то серьезным любопытством, будто в устах юноши, почти еще подростка, это суровое, требовательное слово приобретало неожиданно новое значение. И даже после, слушая Алешу, он то и дело взгляды-вал на него, как бы проверяя, не ослышался ли.

Между тем, ничего особенного тот не говорил. Он рассказывал о том, как два года назад они с Васькой по-

клялись друг другу стать командирами военно-морского флота («Будто Герцен с Огаревым», — усмехнувшись, добавил Алеша). Может быть, тогда получилось это по-мальчишески, но с течением времени он стал все яснее понимать и острее чувствовать неизбежно надвигающуюся, неотвратимую опасность войны. Тут и начались его колебания: в глубине души он мечтал о торговом флоте, прельщавшем его дальними плаваниями, а мысль о неизбежности войны и сознание своего долга вынуждали готовиться к службе на военных кораблях. Наконец у него словно камень с души свалился: это было тогда, когда первое знакомство с крейсером в Севастополе победило в нем неясную, но манящую мечту об океанах. Почти год он был спокоен — все шло правильно, — но «Дежнев» опять спутал все.

Понятно, дело сейчас заключалось вовсе не в том, что из-за «Дежнева» он нарушает свою детскую клятву. Все было серьезнее и важнее: ведь, отказываясь стать флотским командиром, он уклоняется от выполнения своего долга комсомольца, советского человека — быть в самых первых рядах защитников родины и революции. Вот, скажем, если бы он не чувствовал неотвратимого приближения войны с фашизмом (как почему-то не чувствуют этого многие, взять хотя бы отца), если бы не начал с детских лет готовиться к тому, чтобы посвятить жизнь военно-морской службе, ну, тогда можно было бы говорить о том, что не всем же быть профессионалами-военными и что кому-то надо заниматься и мирными делами. Но раз он видит угрозу войны, понимает ее приближение, для него уход на торговые суда — просто нарушение долга.

И, наверное, поэтому-то у него так нехорошо на душе, хотя, по совести говоря, конечно, «Дежнев» и все, что связано с ним, ему ближе, роднее и нужнее, чем крейсер, о котором он перестал бы и думать, если бы не Васька и его напор. У Васьки ведь все четко, по-командирски, «волево», а на людей это здорово действует. Будь он сам таким, как Васька, наверное, не мучился бы: решил, мол, и все тут! А ему так паршиво, так неладно, прямо хоть отказывайся от «Дежнева». И, может быть, действительно так и надо сделать, чтобы все опять пошло правильно, но на это не хватает ни силы, ни решимости...

И получается снова, как раньше: ни два ни полтора... В общем, зря отец все нагородил: Петра Ильича вызвал, «Дежнева» подстроил... Он, наверное, хотел помочь ему решиться, подтолкнуть его, но беда-то в том, что отцу никак не понять одной важной вещи: он все думает, что мысль о военном флоте — это блажь, детское упрямство, когда на самом деле это необходимость, обязанность, долг... Раньше он, Алеша, и сам не очень понимал это и разобравшись во всем, пожалуй, именно из-за «Дежнева». Выходит, что «Дежнев» сработал совсем не так, как ожидал отец. Ну что ж, так ему и надо: ты борись по-честному, убеждай, доказывай... А «Дежнев» — это просто свинство; за такие штуки с поля гонят. Это же запрещенный прием!..

Ершов впервые за разговор усмехнулся.

— Ну, уж и свинство... Просто тактика. И батька твой тут ни при чем. «Дежнева» я тебе подсунул.

Алеша даже остановился:

— Вы?

— Ну да. Уговор у нас с ним был только агитацию наводить, с тем я и ехал. А узнал тебя поближе, смотрю — паренек стоящий, зачем нам морячка уступать?.. Вот и решил для верности забрать на походик, а в океане ты сам поймешь, зачем на свет родился...

Искренность, с которой Ершов открыл карты, поразила Алешу, и он почувствовал в горле теплый комок. Что за человек Петр Ильич, до чего же с ним легко и просто! А Ершов, посасывая трубку, продолжал с мягкой усмешкой:

— Так что на батьку своего ты не злишь. Он, в первых, человек умный, а во-вторых, очень тебя любит. Чего он добивается? Чтоб ты дал сам себе ясный отчет: чего же хочешь от жизни? И, пожалуй, он прав. Сам посуди: можно ли тебе уже верить как человеку сложившемуся, если ты увидел крейсер и решил: «Военная служба», а показали «Дежнева» — наоборот: «Иду на торговые суда»!

— Не дразнитесь уж, Петр Ильич, — умоляюще сказал Алеша, — и сам знаю, что я тряпка!

— Да нет, милый, не тряпка, а, как говорится, сильно увлекающаяся натура. Тряпка — это человек безвольный, неспособный к действию, а ты вон как руля кла-

дешь — с борта на борт! Только, по-моему, ты и сейчас на курс еще не лег. Раз тебя что-то грызет — значит, нет в тебе полной убежденности, что иначе поступить никак нельзя. А раз убежденности нет, какая же решению цена?

— А как же узнать, убежденность это или еще нет? — уныло спросил Алеша. — Вон после Севастополя уж как я был убежден!

Ершов успокоительно поднял руку:

— Не беспокойся, узнаешь! Само скажется. И ничего тебя грызть не будет, и никакие сомнения не станут одолевать, и на всякий свой вопрос ответ найдешь, а не найдешь, так ясно почувствуешь, что иначе нельзя, хотя объяснить даже и самому себе не сможешь... А разве тогда у тебя так было?

— Нет, — честно признался Алеша.

— То-то и есть. Кроме того, когда человек убежден, он просто действует, а не копается в себе. Колеблется тот, кто еще не дошел до убежденности. Вот и ты: раз еще думаешь — так или этак, — значит, решение в тебе не созрело, ты сам ни в чем еще не убежден. Ну и подожди. Решение придет.

— А если не придет?

— А это тоже решение, — улыбнулся Петр Ильич, — только называется оно «отказ от действия». Но ты-то, повторяю, не тряпка и решение свое обязательно найдешь. Не сам отыщешь, так жизнь поможет. Вот для того я тебе «Дежнева» и подсунул: поплавай, осмотришь, примерься...

— Так что же тут примеряться, Петр Ильич? — вздохнул Алеша. — Раз «Дежнев» — значит, с боевыми кораблями всё...

— Почему же это?

Алеша запоздало спохватился, что заговорил о том, чего вовсе не собирался касаться.

— Ну, так уж оно получается, — уклончиво ответил он.

Ершов пожал плечами:

— Уж больно решительный вывод. Для того тебе «Дежнева» и предлагаю, чтобы ты разобрался.

— Да, Петр Ильич, мне не там разбираться надо, а здесь. Ведь пойду на нем плавать — на крейсер уж никак не вернусь.

— Вон как! Что же тебе «Дежнев» — монастырь? По-стригся — и всему конец, так, что ли?

— Не очень так, но вроде,— принужденно усмехнулся Алеша.— Ну, в общем, решать все приходится именно теперь, а не в плавании...

— Непонятно почему. Говори прямо, что-то ты кру-тишь!

— Так я же и говорю: раз «Дежнев» — это уже не на лето, а на всю жизнь...

— Вот заладил! — недовольно фыркнул Ершов.— Да кто тебя там держать будет? Ну, почувствуешь, что это не по тебе или совесть тебя загрызет,— сделай милость, иди в училище имени Фрунзе! При чем тут «на всю жизнь»!

Алеша невольно опустил глаза и замедлил шаг, что-бы, несколько отстав от Ершова, скрыть от него свое смущение и растерянность. Ответить что-либо было чрез-вычайно трудно.

Дело заключалось в том, что у него был свой тайный расчет. Довольно быстро поняв, что предложение пойти в поход на «Дежнев» было ловушкой, Алеша решил использовать хитрость отца в своих собственных целях. Для этого следовало делать вид, что ничего не замеча-ешь, согласиться «поплавать летом», а потом как бы неожиданно для себя очутиться перед фактом невозмож-ности попасть к экзаменам в Ленинград и — ну раз уж так вышло! — волей-неволей идти в мореходку в самом Владивостоке... Тогда получилось бы так, будто профес-сию торгового моряка он выбрал не сам, а принудили его к тому обстоятельства. Иначе говоря, Алеша старал-ся сделать то, что делают очень многие люди: избежать необходимости самому решать серьезнейший вопрос и свалить решение на других. Поэтому-то он и молчал, не зная, что ответить, так как ему приходилось либо откро-венно сознаться в своем тайном и нечестном замысле, либо солгать.

И он собрался уже сказать что-нибудь вроде того, что он-де не додумал, что Петр Ильич, мол, совершенно прав,— словом, как говорится, замять разговор и отве-сти его подальше от опасной темы. Но опущенный к земле взгляд его опять заметил, как распрямляется тра-ва, отклоняемая ногами Ершова, закрывая следы, и

сердце снова невольно сжалось тоскливым и тревожным чувством, что вот-вот следы эти исчезнут и он останется один на один с собою, а разговор этот нельзя уже будет ни продолжить, ни возобновить целый долгий год. И ему стало безмерно стыдно, что драгоценные последние минуты он готов оскорбить фальшью или ложью... Нет уж, с кем, с кем, а с Петром Ильичом надо начистоту, без всяких уверток...

Одним широким шагом Алеша решительно нагнал Ершова и взглянул ему прямо в лицо.

— Петр Ильич, да как же я «Дежнева» после такого похода брошу? — воскликнул он в каком-то отчаянии откровенности. — Я еще ни океана не видел, ни одной мили не прошел, а о крейсере и думать перестал. Что же там будет? Ну ладно, предположим, на «Дежнев» решу, что все-таки надо идти в училище имени Фрунзе. Так ведь, Петр Ильич, я же не маленький и отлично понимаю, что к экзаменам никак не успею. Это же факт: хорошо, если к сентябрю вернемся! Значит, год я теряю. А что я этот год стану делать? Дома сидеть? Или опять на «Дежнев» плавать? А зачем, если решил на военный флот идти? Так, для развлечения, потому что время есть? Нет, Петр Ильич, я верно говорю: раз «Дежнев» — значит, на всю жизнь. Да вы и сами это понимаете... Вот я и решил, честное слово, решил: иду в мореходку — и очень доволен, что именно так решил, все правильно! Вот только внутри что-то держит, не пускает. То есть не что-то, а чувство долга, я уже сказал... И так мне трудно, Петр Ильич, так трудно, и никто мне помочь не сможет, кроме меня самого... А что я сам могу?..

Он махнул рукой и замолчал. Ершов тоже помолчал, разжег потухшую трубку, потом серьезно заговорил, взглядывая иногда на Алешу, который шел рядом, снова опустив голову:

— Вот ты сказал — долг. Попробуем разобраться. Долг — это то, что человек должен делать, к чему его обязывает общественная мораль или собственное сознание. Воинский долг — это обязанность гражданина целой собственной жизни с оружием в руках защищать свое общество, свою страну. У нас и в Конституции сказано, что это священная обязанность. От этой священной обязанности ты никак не уклоняешься, если идешь на

торговый флот. Ты и сам знаешь, что там тебя обучат чему нужно и сделают командиром запаса военно-морского флота, а во время войны, если понадобится, поставят на мостик военного корабля. Выходит, что ты своему воинскому долгу ничем не изменяешь. Тебе и самому, конечно, это ясно, и говоришь ты, видимо, совсем о другом долге. Не о долге советского гражданина, а о своем, личном, к которому обязывает тебя не общественная мораль, а собственное понимание исторического хода вещей. Так, что ли?

— Так,— кивнул головой Алеша.

— Тогда давай разберемся, что именно ты считаешь для себя должным. Я так понял, что ты очень ясно видишь неизбежность войны с фашизмом. Ты даже считаешь, что видишь это яснее других. Те, мол, не понимают этой неизбежности и потому могут спокойно заниматься строительством, науками, обучением детей, даже искусством. А ты знаешь, что ожидает и всех этих людей и все их труды, и не можешь ни строить, ни учить, ни плавать по морям с грузами товаров, потому что тобой владеет ясная, честная, мужественная мысль: ты должен стать тем, кто будет защищать и этих людей и их мирный труд. Ну, а раз так, то надо научиться искусству военной защиты. А этому, как и всякому искусству, учатся всю жизнь. Следовательно, надо получить военное образование и стать командиром, то есть посвятить этому важному, благородному делу всю свою жизнь. Вот это ты и считаешь своим долгом, который обязан выполнить, а если уйдешь на торговые суда, то изменишь своему долгу. Так?

— Так,— снова кивнул Алеша, с нетерпением ожидая, что будет дальше.

Ему показалось, что, если уж Петр Ильич так здорово разобрался в его мыслях, значит, наверняка знает и какой-то облегчающий положение выход. Он даже поднял глаза на Ершова, как бы торопя его.

Но тот неожиданно сказал:

— Ну, раз так, тогда ты совершенно прав: никто тебе не поможет, кроме тебя самого.

На лице Алеши выразилось такое разочарование, что Ершов усмехнулся, но закончил снова серьезно:

— А как же иначе? Сам ты этот долг на себя при-

нял, сам только и можешь снять. Вот если на «Дежнев» ты поймешь, что в жизни может оказаться и другой долг, не менее почетный и благородный, который заменит для тебя тот, прежний, тогда все эти упреки исчезнут. Во всех остальных случаях они тревожить тебя будут, и ничего с этим не поделаешь, сам ли ты себя уговаривать станешь, другие ли тебе скажут: «Да иди ты, мол, плавать, не думай о военном флоте!» Это все равно что о белом медведе не думать.

— О каком медведе? — рассеянно спросил Алеша, занятый своими мыслями: получалось, что все опять валилось на него самого, даже Петр Ильич не знает, чем помочь.

— Это знахарь один мужика от грыжи лечил: сядь, говорит, в угол на корточки, зажмурь глаза и сиди так ровно час, через час вся болезнь выйдет. Только, упаси бог, не думай о белом медведе — все лечение спортишь. Вот тот весь час и думал, как бы ему не подумать невзначай о белом медведе. Нет, уж если тебя лечить, так совсем наоборот: надо, чтоб ты о своем белом медведе побольше думал. Вот тебе на «Дежнев» время и будет. Кто знает, вдруг ты там обнаружишь, что не такой уж это великий соблазн — океанское плавание, чтобы ради него поступиться своим долгом. Да и своими глазами увидишь старый мир, которого ты и не нюхал, а это для политического развития — занятие весьма полезное. Возможно, к твоей мысли о неизбежности войны кое-что и добавится, укрепит ее. Убедит тебя в своей правоте, что не путешествиями по морям-океанам надо развлекаться, а всерьез к защите готовиться... Может так случиться, тут-то настоящая убежденность в тебе и возникнет. Правда, цена этому — потерянный год. Но, во-первых, это вовсе не потеря, а приобретение морского опыта, который и командиру пригодится. А во-вторых, одно другого стоит: ну, станешь командиром годом позже, зато настоящим командиром, убежденным в том, что другого дела ему в жизни нет. Вот так-то, милый мой: уж коли на всю жизнь — давай всерьез и решать, то есть не сейчас, а своевременно, и не вслепую, а с открытыми глазами... Ну, что-то наш «газик» застрял, уж солнце садится.

Петр Ильич остановился и обернулся к машине. Они отошли уже довольно далеко, но можно было различить,

что Федя копошится почему-то не в моторе, а под «газиком», лежа на земле.

— Вон что твой чий наделал, этак еще и к поезду опоздаешь,— укоризненно покачал головой Ершов.— А впрочем, в машине мы бы по душам не поговорили... Ну, так что ты молчишь? Видно, не согласен с тем, что я говорю?

— Да нет, наверное, согласен,— раздумчиво ответил Алеша.— Видимо, все это правильно...

— Энтузиазма не отмечается,— улыбнулся Ершов и, полуобняв Алешу, ласково встряхнул его за плечи.— Эх ты, многотумный товарищ! Не мучайся ты никакими изменами, до измены еще очень далеко! И пойми простую вещь: от «Дежнева» тебе отказываться никак нельзя. Лучше от того не будет ни тебе, ни военному флоту, наоборот, тебе испортит жизнь, а флоту — командира. Как бы ты ни любовался собой — вот, мол, чем пожертвовал для идеи! — а внутри будешь себя проклинать,— значит, и служить не от души станешь. Пройдемся еще, нагонит...

Они медленно двинулись вдоль накатной колеи дороги. Солнце, ставшее теперь громадным багровым шаром, уже коснулось нижним краем горизонта и начинало сплющиваться; небо над ним постепенно приобретало краски — желтую и розовую, густеющие с каждой минутой, и неподалеку от солнца заблестало расплавленным золотом невесть откуда взявшееся крохотное круглое облачко.

Рассеянно глядя на него, Алеша шел молча, пытаясь разобраться в себе. Странно, но беседа эта успокоила его, хотя он сам лишил себя уловки, облегчавшей его положение, и теперь вынужден был решать действительно сам — по-честному, не сваливая на других. Удивительно радостное чувство облегчения возникало в нем, и он понимал, что этому чувству неоткуда было бы взяться, не появившись в его жизни Петр Ильич.

Капитан, шагавший рядом тоже молча, сказал вдруг тоном сожаления:

— А с «Дежневым»-то я, кажется, и в самом деле что-то неладное наворотил. Видишь ли, я думал, дело обычное: ну, играет мальчик в пушечки, предложить ему пройти по трем океанам — вопрос и решен. Никак не мог я предполагать, что у тебя с крейсером так всерьез. И, может, зря я тебе душу смутил, не надо было в твою жизнь

соваться. Уж ты меня извини. Пожалуй, «Дежнев», честно говоря, и вправду свинство...

Признание это прозвучало так откровенно и просто, так по-товарищески, что у Алеши дрогнуло сердце.

— Петр Ильич,— сказал он, подняв на капитана блестящие от волнения глаза и всячески стараясь говорить спокойно и сдержанно,— Петр Ильич, вы даже сами не знаете, как все правильно получилось... Очень здорово все вышло! Ну, в общем, конечно, в поход я пойду, а там выяснится, куда мне жить...

Алеша хотел сказать «куда идти», но слова сейчас отказывались его слушаться. Однако нечаянное выражение ему понравилось, и он повторил его уже сознательно:

— Я ведь все пытался решить тут, теперь же, куда жить. А разве здесь угадаешь? Если бы не вы, я бы никогда этого не понял... Так что я вам очень... ну, очень благодарен... И за то, что приезжали, и за все...

— Добре. Тогда хорошо, а то я уж подумал: вдруг все тебе испортил,— сказал Ершов и улыбнулся.— Ну, давай в степи зеленый луч искать!

Алеша рассмеялся. Они остановились, провожая взглядом солнце. Багровая горбушка его быстро нырнула за край степи без всякого намека на изменение цвета.

— Считай: раз!.. — поддразнил Петр Ильич.— Когда увидишь, телеграфируй: мол, на пятьсот сорок втором наблюдении замечен зеленый луч. В науку войдешь...

Сзади раздался хриплый сигнал «газика», и оба одновременно обернулись.

— Что ж ты застрял? — недовольно спросил Алеша, когда Федя затормозил возле них.— Минутное дело — карбюратор продуть, а ты...

— Болтик упал,— хмуро пояснил Федя.— Тут же трава. Пока всю степь на пузе облазил — вот тебе и минутное дело... Хорошо еще, нашел, а то прошлый год...

— Ну ладно, поехали, поехали! Жми на всю железку. Петр Ильич беспокоится — поезд...

— Поспеем,— ответил Федя и, едва они сели, должно быть, и впрямь нажал на всю железку: «газик» с места помчался по темнеющей степи так, что у обоих захватило ветром дыхание.

Первые три недели после отъезда Ершова прошли для Алеши в удивительном внутреннем покое. Правда, вна-

чале он все боялся, что та радостная уверенность в будущем, которая возникла в нем тогда, в степи, вот-вот исчезнет. Но, к счастью, необыкновенное это состояние не проходило, а, наоборот, с каждым днем все более крепло, становилось своим, привычным. Вскоре Алеша заметил, что оно как бы обновлялось всякий раз, когда он начинал думать о той беседе с Петром Ильичом. Тогда в сердце подымалась теплая волна, а в сознании возникала не очень ясная, но растроганная, благодарная и словно бы улыбающаяся мысль: как здорово все получилось и до чего же правильно, что есть на свете Петр Ильич Ершов, капитан дальнего плавания! И не успевал он додумать это до конца, как чувство радостного спокойствия и уверенности овладевало им с еще большей силой.

Впервые Алеша мог смотреть в будущее без тревожного беспокойства. Все теперь представлялось ему простым, осуществимым, возможным, только бы иметь в этом будущем рядом с собой Петра Ильича, чтобы всегда можно было получить ответ, пусть иногда насмешливый, но всегда объясняющий и потому спасительный. И тогда ждущая впереди жизнь, сложная, полная трудновыполнимых требований, непонятная еще жизнь, станет простой и ясной, не будет ни сомнений, ни колебаний...

Но об этом, так же как и о беседе с Петром Ильичом и об их уговоре, Алеша не говорил ни отцу, ни Анне Иннокентьевне. Что-то мешало ему быть откровенным: то ли внутренняя целомудренность, которая препятствует порой человеку говорить о некоторых движениях души даже с очень близкими людьми, суеверная ли боязнь, что драгоценное для него новое чувство тотчас улетучится, если о нем сказать вслух, а может быть, просто ревнивое мальчишеское желание скрыть от всех замечательные свои отношения с Петром Ильичом. Так или иначе, дома и не подозревали, что он решил отказаться от мысли о военном флоте.

Тем более не касался он всего этого при встрече с Васькой Глуховым, к которому собрался лишь на десятый день. Он не только не поделился с ним новостью о «Дежнев» (Петр Ильич на прощание посоветовал держать ее при себе до того, как подтвердится возможность устроить его юнгой), но даже о самом пребывании у них такого необыкновенного гостя сообщил вскользь, мимоходом.

Вообще встреча приятелей, первая за это лето, прошла как-то вяло. По обыкновению, они сразу же пошли на «вельботе» в поход, но к ночи вернулись: игра явно потеряла свою увлекательность — не то оба выросли, не то Васька чувствовал, что Алеша чего-то недоговаривает, а тот с трудом заставлял себя держать обещание, данное Ершову.

Поэтому утром он с облегчением сел на велосипед и отправился домой, увозя, впрочем, ценнейшую для него сейчас добычу: атлас мира, только что полученный по подписке Васькиным отцом. Едва перелистав карты, Алеша тут же выпросил его на недельку, соврав, что готовит к осени доклад на военно-морском кружке о стратегических базах империалистических флотов. Атлас был необычайного формата, размером с газетный лист, и его никак не удавалось пристроить ни к багажнику, ни к раме. Алеша решил было держать его всю дорогу под мышкой, но Васька предложил ему «присобачить» атлас на спину вроде панциря черепахи. Сравнение это Алеша оценил уже на втором часу езды, когда скорость велосипеда заметно снизилась, но нисколько не раскисался в том, что повез этот громадный фолиант.

Атлас стал первым его другом и собеседником. Алеша мог сидеть наедине с ним целыми часами, изучая вероятный маршрут «Дежнева» и стараясь вообразить, что таят в себе условные очертания островов, капризные зазубрины береговой черты, алые извивы теплых течений, синие пучки трансокеанских линий, мелкий шрифт бесчисленных названий. Скоро у него появились свои любимцы. Это была, во-первых, «Карта океанического полушария», построенная в такой хитрой проекции, что на нее попали лишь белое пятно Антарктиды, куцый хвостик Южной Америки да Австралия с Новой Гвинеей и Борнео. Все же остальное пространство этой половины земного шара было залито благородной и вольной синевой трех океанов — Тихого, Атлантического, Индийского, и, когда Алеша всматривался в нее, у него захватывало дух: так величественна и громадна была эта соленая вода, где темнели километровые глубины глубокой голубизной сгущенной краски.

Другим любимцем оказалась «Карта каналов и проливов». Крупными бесценными жемчужинами они нани-

зывались на то волшебное ожерелье, которым путь «Дежнева» охватывал Евразийский материк от Ленинграда до Владивостока: Зунд, Каттегат, Скагеррак, Па-де-Кале, Ламанш, Мозамбик, Малаккский, Сингапурский, Фуцзяньский, Цусимский... Названия эти звучали как стихи. Глядя перед собой затуманенным мечтою взглядом, Алеша повторял их наизусть, и перед ним, накрываясь, неслась по крутым волнам шхуна под штормовым вооружением. Впрочем, она была не видением грезы, а картинкой на этикетке того флакона, который позабыл Петр Ильич или просто бросил, так как одеколону в нем было чуть на доньшке. Алеша нашел его по возвращении со станции и тут же поставил к себе на стол. Порой он вынимал пробку, удивительный корабельный запах снова распространялся по комнате, и тогда казалось, что Петр Ильич бреется у окна и за спиной вот-вот раздастся его рокошущий голос.

Вскоре Алеша не на шутку начал тосковать по нему и потому страшно обрадовался, когда наконец пришло из Ленинграда письмо.

В нем Ершов суховато сообщал Сергею Петровичу, что обстановка несколько изменилась: его срочно посылают в рейс, не очень длительный, хотя и хлопотливый, отчего ему пока не пришлось разузнать, как будет с Алешей, но так как капитаном «Дежнева» он остается, то по возвращении надеется все уладить и получить согласие начальства.

В письме ясно чувствовались какие-то недомолвки. И тот внутренний покой, в котором жил Алеша все это время, исчез. Начало казаться, что с «Дежневым» ничего не получится: начнут гонять Петра Ильича с рейса на рейс, а там и вовсе забудут, что он капитан «Дежнева»... Алеша совсем было загрустил, но через два дня пришла открытка, адресованная уже прямо ему. На ней был белый медведь, житель Московского зоопарка, и короткая шутливая фраза: «Не думай о нем — и болезни конец!» Открытка была послана из Одессы, и Алеша понял, что это прощальный привет перед выходом в рейс. Он повеселел, посмеялся над своими опасениями насчет «Дежнева» и с прежним увлечением вернулся к атласу; отвезти его в погранотряд он никак не мог решиться, хотя обещанная «неделя» давно кончилась. Приближалось

Васькино рождение, и он решил еще задержать атлас: не ездить же два раза подряд!

Утром седьмого августа он засел за атлас сразу же, как проснулся, чтобы напоследок заняться им всласть. Он попрощался со своими любимцами, еще раз проследил весь свой будущий путь, изученный уже основательно, и стал переворачивать одну страницу за другой. В этом занятии он не слышал, как в комнату вошел отец, и поднял голову только тогда, когда тот положил ему на плечо руку.

Сергей Петрович был бледен, губы у него как-то странно прыгали.

— Алеша,— сказал он негромко, не глядя на сына,— письмо тут пришло. Из Ленинграда.

У Алеши вдруг пересохло горло. Он молча смотрел на отца, торопя его взглядом.

— Петр Ильич погиб,— с трудом сказал Сергей Петрович и почему-то добавил: — Значит, вот так.

Он положил на атлас листок почтовой бумаги. Алеша прочитал короткое письмо, подписанное незнакомой фамилией, ничего не понял, заставил себя сосредоточиться и прочел еще раз. Только тогда до него начал доходить смысл.

Кто-то сообщал, что судно, которое Петр Ильич повел в рейс из Одессы в Барселону с грузом продовольствия для испанских детей, было торпедировано фашистской подводной лодкой. Четырех человек подобрал позже французский пароход, и эти люди рассказали, что взрыв пришелся прямо под мостиком, где был капитан.

Листок продолжал лежать на карте. По верхнему полю ее тянулся длинный заголовок: «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности». Алеша механически прочел эти слова несколько раз подряд и потом, избегая глядеть на листок, закрывавший Гренландию, перевел взгляд на середину карты, привычно следя за движением «Дежнева» вдоль берегов Европы и Африки.

Но все было залито кровью. Средиземное море, Бискайский залив, сам Атлантический океан — все было разных оттенков красного, кровавого цвета. Местами вода темнела сгустком свернувшейся уже крови, местами але-ла, словно текла из свежей раны. Везде, куда ни смотрел

Алеша, была кровь. Материки купались в крови. Только безлюдная Арктика и такая же безлюдная Антарктида выделялись белыми и желтыми пятнами. Нигде не было благородной вольной синевы океанов. Материки купались в крови. Это что-то напоминало, что-то такое уже было. Ах да, бойня. Синей воды нет. В воде мины. А где плавать? В воде подлодки. Плавать-то где? Но почему все-таки все кровавое — и Атлантика и Тихий? Ах да. Это же средняя температура июля, а в июле жарко. Но войны же нет? Почему же взрыв прямо под мостиком, где был капитан? Ох, как хочется заплакать, а почему-то не хочется плакать! «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности»... Жалко, что с «Дежневым» теперь уж не выйдет. Надо не об этом жалеть, а о Петре Ильиче. В общем, нужно, наверное, что-то сказать: стоит, ждет. Наверное, ему тяжело, все-таки друзья давно. «Средние температуры воздуха...»

— Ну, в общем, что ж тут сделаешь,— сказал наконец Алеша чужим голосом.— Наверное, ничего уже сделать нельзя. Я поеду. Обещал Васке.

Он осторожно взял листок и, не глядя, отдал отцу. Потом закрыл атлас, но руки его не слушались — громадный альбом двинулся по столу и углом толкнул флакон со штормующей шхуной на этикетке. Флакон упал на пол, и тотчас же по комнате распространился удивительный корабельный запах смоленого троса, угольного дыма, свежей краски. Алеша ахнул и кинулся к флакону. Горлышко его было отбито, и последние капли одеколона вытекали на пол, пропадая в щелях досок. И, словно только сейчас поняв то, что произошло, Алеша упал лицом на флакон и зарыдал отчаянно, безудержно, бурно, не видя и не понимая ничего, кроме своего страшного, громадного, давящего горя.

Очнулся он в объятиях матери. Она не говорила никаких успокоительных слов — она просто гладила его по голове и порой наклонялась к нему, легко касаясь губами затылка, но постепенно Алешей овладевала усталость и тяжелый, нерадостный покой. Он в последний раз судорожно всхлипнул, потом встал и пошел к умывальнику.

— Так я все-таки поеду к Васе,— сказал он, входя с полотенцем в руках.— Ты не беспокойся, все уже прошло.

— Когда вернешься?

— Не знаю. Дня через три, как всегда.

— Если лучше, поезжай.

Алеша долго, с неестественной аккуратностью обертывал атлас газетами, потом привязал к нему лямку и перекинул ее через плечо. Анна Иннокентьевна вышла его проводить.

За совхозной рощей, как раз в том направлении, куда надо было ехать Алеше, темнела огромная, в полнеба, туча.

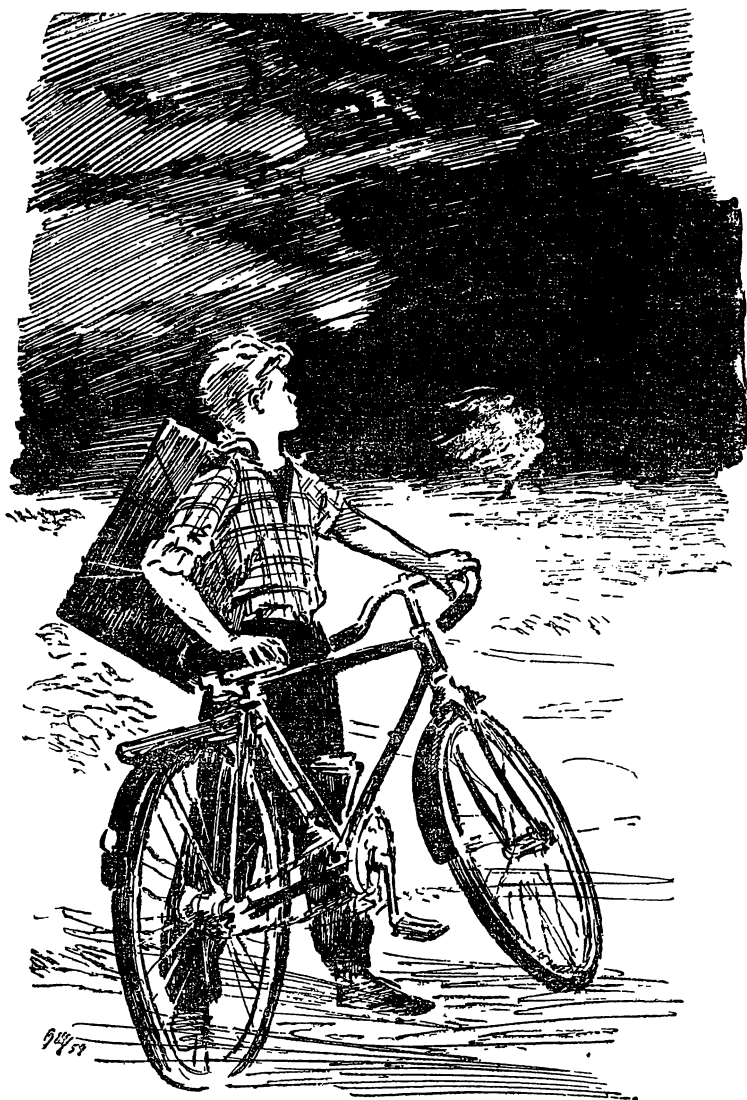
— Алешенька, остался бы,— сказала мать, беспокояно глядя на него,— куда ж ты поедешь, гроза же непременно будет!..

— Надо, мама,— ответил он с непривычной для Анны Иннокентьевны твердостью.— А вот дожdevик, пожалуй, возьму.

Он снял в сених брезентовый плащ, затянул его в ремни багажника, обнял мать и уехал, придерживая локтем громоздкий свой груз. Лохматый Буян увязался было за велосипедом, но, раздумав бежать по такой жаре, гавкнул: «Счастливого пути!» — и опять развалился в пыли, высунув язык.

Анна Иннокентьевна долго стояла у крыльца, глядя вслед. Дорога начиналась в самом совхозе, уходя в степь прямой стрелой, и Алешу видно было до тех пор, пока он не превратился в пятнышко, различить которое на черном фоне тучи стало уже невозможно. Но, и потеряв его из виду, она все еще с тяжелым и тревожным чувством всматривалась в темную громаду, которая как бы поглотила в себе ее сына.

Туча и в самом деле была необычайна. Черно-коричневая в середине и серо-фиолетовая по краям, она вылезала из-за горизонта, словно какое-то гигантское чудовище, готовое навалиться на степь, чтобы крушить, ломать, давить все, что окажется под тяжелым его брюхом. В мрачных недрах ее что-то пошевеливалось, ворочалось, будто перед тем, как начать разрушительные действия, там разминались под толстой кожей могучие мышцы. Солнце освещало тучу сбоку, и потому громадная объемность ее хорошо ощущалась и шевеление это было особенно заметно: из середины к краям выползали переваливающиеся клубы, уплотнялись и, в свою очередь, выпускали из себя новые клубящиеся массы, непрерывно увеличивая



За рощей, как раз в том направлении, куда надо было ехать Алеше, темнела огромная, в полнеба, туча.

размеры тучи. Порой в ее толще чуть видимой тонкой нитью голубого света сверкали беззвучные молнии.

И это пошевеливание, и эти мгновенные молнии, и неостановимое увеличение размеров — все было угрожающим, зловещим, бедственным. И, хотя над совхозом солнце светило ярко и беспечно, небо бездонно голубело и жаркий ленивый воздух не двигался, было понятно, что далекая эта безмолвная еще туча в конце концов нависнет и над совхозом и что гроза обязательно будет. А Алеша, конечно, попадет в нее гораздо раньше.

Но не это тревожило Анну Иннокентьевну. Вещим сердцем матери она чувала, что тяжелый нынешний день произвел в Алеше какой-то неизвестный ей переворот. Четверть часа назад на коленях ее лежал рыдающий мальчик, которого можно успокоить ласковым объятием, а сейчас на велосипед сел мужчина, принявший свое, мужское решение, о котором она не знала, но которое ощущала во всем: и в твердом его тоне, и в том, что он поехал навстречу грозе, хотя, видимо, она будет страшной. Но ни удержать, ни вернуть его было уже не в ее силах.

И она стояла у крыльца, глядя в степь, где давно уже исчез Алеша, стояла и глядела, как через несколько лет будут стоять и глядеть вслед своим сыновьям сотни тысяч матерей...

Догадка ее была верна. Конечно, по степи навстречу грозе ехал уже не прежний Алеша. Теперь, когда первое тупое ошеломление горем прошло и первая судорога отчаяния отпустила сердце, он мог уже осмыслить происшедшее. Он мужественно попытался определить размеры своего несчастья. Они были невозможно громадные: только что сломалась вся его будущая жизнь. Потерян друг, первый взрослый друг. Рухнула мечта об океанах. Думать об этом было так же ужасно, как и бесполезно.

Тогда он заставил себя думать о будущем. Что же делать и куда теперь жить? Но он никак не мог представить себе будущего. Еще утром оно было видно вперед на целые годы, до диплома штурмана дальнего плавания во всяком случае, а сейчас... Дальше сегодняшнего вечера мысли его не шли. Вот приедет к Ваське, расскажет все, может быть, тогда что-нибудь станет ясно. Но что может сказать Васька? Нет, надо искать самому. Никто

ему не поможет, кроме его самого. Петр Ильич верно сказал. Значит, надо думать.

И Алеша думал — настойчиво, стиснув зубы, наперекор всему, что болело в сердце и повергало в отчаяние. Подобно погорельцу, который, бродя по пожарищу, отыскивает, что же уцелело от огня, он искал в своей опустошенной душе то, с чем можно было продолжать жить.

Сперва ему казалось, что найти хоть что-нибудь годное среди обломков детства, взорванного час тому назад, невозможно. С печальным удивлением он вспоминал плятку на озере, серо-голубой севастопольский крейсер, спор с отцом в сосновом бору, военно-морской кружок, хлопоты с Васькой в горькоме о путевках... Все это было паивным, мальчишеским, все было звеньями распавшейся цепи. Потом в сознании его всплыло суровое и требовательное слово «долг». И тогда звенья эти неожиданно стали соединяться. Задымленные взрывом, залитые кровью, они снова складывались в цепь, порвать которую было уже невозможно.

Мысль за мыслью, довод за доводом в нем созревало решение. Оно не было новым. Новой была та убежденность, которую Алеша впервые в жизни ощущал в себе всем своим существом и о которой, наверное, и говорил ему Петр Ильич. Вот она и пришла, пришла сама, и он тотчас угадал ее, как те, кто, никогда еще не испытывал любви, угадывают ее приход. Ни в объяснениях, ни в доводах не было надобности. Была одна чрезвычайная простота: иначе нельзя. Вот и все, все доводы и доказательства. Он знал, что другого для него в жизни нет.

Нет — потому, что в жизни нет жизни. Нет — потому, что делать, создавать, совершенствовать что-либо невозможно, если над тобой, над всей жизнью висит вот такая набухшая молниями туча. Она не может развеяться, она должна разразиться грозой, которая уничтожит все, что ты делал, убьет твоих друзей и тебя. «Гроза же непременно будет», — сказала мать. Удивительно, как люди видят грозу и не видят войны! Она вроде эгой тучи. Ведь где-то там, у озера, уже гремит гром, льет ливень, и если здесь еще жара и солнце, так это не значит, что грозы нет. Впрочем, и сам он не понимал этого до сих пор. «Война непременно будет» — вот что он понимал. А оказывается — не будет, а есть. И все дело лишь в том,

успеет ли он занять свое место в строю, когда туча придвинется сюда, где солнце и тишина.

Так решающий этот час в жизни Алексея Решетникова навсегда связался в его представлении с видением зловещей тучи, в недрах которой шевелилась мрачная сила и проблескивали молнии.

Год за годом война придвигалась. Там, где он жил и учился, была тишина и солнце, а где-то далеко, у озера Хасан, молния уже убивала и гром разрушал. Потом все чаще стали сверкать вокруг эти молнии, предвещавшие близость грозы: на реке Халхин-Гол, у Карпатских гор, в снегах Карельского перешейка,— пока июньской короткой ночью не разразился разрушающий, смертоносный ливень бомб и снарядов.

Глава пятая

Если в купе железнодорожного вагона потолок понизить до уровня багажных полок, само купе расширить настолько, чтобы между спальными полками разместились вдоль окна еще две, одна над другой, а свободное пространство занять столом с опускаемыми крыльями и двумя узенькими шкафами у дверей, в точности получится кормовое помещение сторожевого катера, носящее громкое наименование «кают-компания».

Как известно, кают-компания предназначается для принятия пищи, для отдыха, для занятий, но уж никак не для ночлега. Поэтому на катерах это помещение следовало бы называть просто шестиместным кубриком, ибо здесь по малости катера отведены места для сна боцману, старшине-минеру и старшине-радисту на нижних диванчиках и трем матросам — на верхних. Но поскольку на день верхние койки опускаются, образуя собой спинки дивана, уютно расположенного в виде буквы «П» вокруг стола, за которым можно обедать, пить чай или играть в шахматы и писать письма, то помещение это в конце концов исправно выполняет функции нормальной кают-компании.

Сходство с железнодорожным купе на решетниковском катере подчеркивалось еще и тем, что на ходу вся кают-компания тряслась мелкой непрерывной дрожью.

Это досадное свойство не было врожденным недостатком «СК 0944» — он получил его в бою, подобно нервному тик у после серьезной контузии. На больших оборотах правый гребной вал его приобретал надоедливую вибрацию, что сильно огорчало механика катера главного старшину Быкова, которому всякая неполадка в машине была как нож острый. В каких только переделках не побывал катер! Кажется, нельзя было найти на нем хоть один механизм, кабель или прибор, который так или иначе не пострадал бы в бою, — но все это было залечено, исправлено и доведено «до нормального порядочка» пожженными и изуродованными быковскими руками, умными и неутомимыми. И только эта контузия не поддавалась их искусству: для ликвидации «трясучки» катер следовало поднять на береговой эллинг, что можно было сделать только в главной базе, а это отняло бы много времени. Катер продолжал ходить с «трясучкой», которая почти не сказывалась ни на скорости, ни на стрельбе. Но каждый раз, когда с мостика давали телеграфом «самый полный» и стрелка тахометра подползала к тому проклятому числу оборотов, при котором корму катера начинала трясти лихорадка хуже малярийной, Быков мрачнел и демонстративно переходил из отсека бортовых моторов к своему любимцу — среднему мотору, который, как и полагается всякому кореннику, отличался от горячих и своенравных пристяжных добросовестностью в работе и уравновешенностью характера.

Особенно сильно сказывалась эта тряска в корме, то есть в кают-компании. Все предметы на столе, позвякивая или побрякивая, бойко передвигались по линолеуму в разнообразных направлениях, пока не упирались в медный бортик по краям стола, специально сделанный Быковым. Поэтому многие из функций кают-компаний на походе отпадали. Писать письма, например, было бы неосторожно: родные, увидев дрожащий почерк и наскакивающие друг на друга буквы, могли решить, что любимый сын или муж заработал на катере сильнейшее нервное расстройство. Шахматы тоже бесполезно покоились в шкафчике с того дня, когда на «СК 0944» произошел редчайший в истории шахматной игры случай. Прокурор базы и флагманский врач, шедшие на катере «с оказией», вздумали провести время за доской, но в середине партии

обнаружили, что стараться, собственно, нечего: оба короля давно уже получили мат. Произошло это потому, что ладьи, слоны, пешки и даже солидные ферзи дружно отплясывая на доске во время размышлений партнеров диковинную кадрили, своевольно переменили позиции, позорно открыв противнику своих королей. Таким образом, в кают-компании «СК 0944» на походе можно было только принимать пищу, и то при условии самой скупой сервировки. Впрочем, ни командиру, ни его помощнику, ни механику на ходу было не до писем и шахмат, а случайным гостям предоставлялось коротать время по своему усмотрению.

На этот раз в кают-компании гостей было двое — командир группы разведчиков лейтенант Воронин и майор Луников, командир прославленного отряда морской пехоты, оба в ватных куртках и штанах, в грубых сапогах с низкими голенищами. Все, что было навешано на них, когда они появились на катере, — сумки, гранаты, каски, фонари, вещевые мешки, флаги, бинокли, автоматы, запасные диски, котелки, — теперь лежало грудой на диванчике левого борта. Казалось удивительным, что все это снято с плеч всего-навсего двоих.

Тому занятию, которое они нашли себе, «трясучка» нисколько не препятствовала: Воронин держал в руках карту крупного масштаба, а майор, подняв глаза к подволоку, неторопливо и обстоятельно описывал местность, по которой группе придется пробираться ночью. Походило, будто на подволоке была копия карты, с такой точностью перечислял он приметные места, способные служить в темноте ориентиром: резкие повороты ущелья, по которому придется уходить от места высадки, аллею, ведущую к сгоревшим домам совхоза, откуда лучше взять прямо на север, чтобы пересечь шоссе в наиболее пустынном месте. Он добрался уже до виноградника, означавшего место безопасного подъема в горы, когда в кают-компанию вошел лейтенант Решетников.

— Складывайте карту, товарищ Воронин, хозяин кушать пришел, — сказал майор, отодвигаясь к середине дивана.

— Мы и гостей кормим, — улыбнулся Решетников, снимая ушанку.

— Да мы, собственно, кончили, — сказал Воронин, за-

пихивая карту в планшет.— До гор уже добрались, а там и рассвет застанет.

Майор посмотрел на него сбоку и усмехнулся, отчего сухая и как бы выветренная кожа худощавого лица собралась в уголках глаз в мелкие морщинки, что сразу изменило его выражение: напряженная сосредоточенность, с какой майор искал на подволоке детали невидимой карты, исчезла, и теперь оно было лукавым и хитровато-насмешливым.

— Кончили? — спросил он.— Это мы с вами пока без противника разгуливали, как на кроссе в Сокольниках... А если возле шоссе — помните, высотка там удобная — немцы заставу догадались выставить? Поищите-ка, лейтенант, куда нам тогда подаваться... Нет, нет,— остановил он его движение,— вы карту не трудитесь доставать, бы на нее уже насмотрелись. Припоминайте без карты.

Лейтенант Воронин поднял глаза к подволоку, будто отыскивал там магическую карту майора, но, видимо, для него она оказалась что-то не очень разборчивой, так как он вздохнул и покрутил головой:

— Трудновато, товарищ майор...

— А если на берегу придется вспоминать? Тут-то легче: никто не стреляет и не торопит... Вспоминайте, лейтенант, пока время есть. Карта у командира должна вся в мозгу быть, мало ли что! А если вы ее потеряете?

— Я старшине Жукову вторую дал,—обиженно сказал Воронин.

— Подумаешь, сейф нашли... А если ваш Жуков на мину наступит? Нет уж, давайте-ка без карты, а я пойду погуляю, пока светло...

Воронин откинулся на диване и плотно закрыл глаза — очевидно, так вспоминать карту ему было удобнее,— а майор надел каску и хотел встать, но, взглянув на него, передумал, достал железную коробку с табаком и деловито начал скручивать впрок папиросы, ловко приминая табак тонкими и нервными пальцами, совсем не похожими на выдавшие виды пальцы окопного воина.

Решетников тоже закурил, с любопытством разглядывая Луникова. Он слышал о нем многое, но видел его лишь второй раз. Впервые он встретился с ним утром у командира дивизиона при получении задания. Тогда Луников его разочаровал. Рядом с Владыкиным, всегда под-

тянутым, выбритым, почти щеголеватым, всегда свежим даже после бессонной ночи похода (чему Решетников втайне завидовал), майор в своем мешковатом и сильно потертом кителе, в порядке заношенных брюках, заправленных в сапоги, казался тусклым и незапоминающимся. И его манера говорить — медленно, негромко, как бы раздумывая вслух, перебивая себя бесконечными «а если?» — тоже невыгодно отличалась от ясной, четкой речи Владыкина и была совсем невоенной. Решетников даже удивился: неужели это тот самый Луников, о мужестве и решительности которого с восторгом рассказывали матросы, вернувшиеся на крейсер из Севастополя, где они были в его отряде морской пехоты? Из этих рассказов Решетников знал, что Луников пришел на флот из запаса в начале войны, что сам он инженер, и даже не с производства: не то плановик, не то редактор какой-то технической газеты. Может быть, этим и объяснялось его невоенное многословие и этот «глубоко штатский вид», как со всей беспощадностью молодого офицера определил Решетников свое впечатление, слушая разговор майора с Владыкиным.

Вопрос, правда, был путаный и сложный.

Потеря шлюпки с катера старшего лейтенанта Сомова, происшедшая неделю тому назад, показывала, что бухточка (которую Луников предложил для удобства разговора именовать «Непонятной») перестала быть тем надежным местом связи с партизанами и подпольщиками Крыма, каким ее считали до сих пор. Здесь было сделано уже больше десятка удачных высадок разведчиков или людей, направляемых в партизанские отряды, здесь же принимали на катер тех, кто возвращался с задания, и все обходилось как нельзя лучше. Этому способствовало самое расположение бухточки: она была скрыта в высоких и обрывистых прибрежных скалах, навигационный подход к ней был очень удобен благодаря приметному мысу, расположенному возле нее; кроме того, бухточка находилась вдали от деревень и курортных местечек, и немецких гарнизонов тут не было. Все это Решетников оценил на собственном опыте, посетив бухту трижды: два раза в порядке обучения ремеслу — на катере лейтенанта Бабурчёнка, высаживавшем разведчиков и на четвертую ночь пришивавшем их обратно, и один раз вполне само-

стоятельно, незадолго до сомовской неприятности, доставив в бухту пять человек и благополучно дождавшись шлюпки.

Что произошло в бухте во время высадки очередной группы старшим лейтенантом Сомовым — и с группой ли самой или только со шлюпкой, — могло стать известным очень не скоро: разведчики должны были возвращаться через фронт на «малую землю» у Керчи, а радиосвязь им была запрещена. Но обстоятельства особой важности (какие именно, Решетникову не сообщалось, хотя он знал, что майора вызывал к себе сам командующий флотом) вынуждали нынче же ночью не только высадить в бухте Непонятной разведчиков из отряда Луникова, но и принять их там же на катер следующей ночью.

Последнее было возможно лишь при условии, что шестерка, высадив группу, благополучно вернется к катеру. Если же она не вернется, то это будет означать, что немцы и впрямь устроили в бухте Непонятной какую-то ловушку. Тогда придется посылать с тем же заданием новую группу, но высаживать и принимать ее в другом, более отдаленном месте.

Владыкин показал его майору на карте. Тот прикинул расстояние (здесь Решетников впервые обратил внимание на его пальцы — тонкие пальцы кабинетного работника) и сказал, что тогда дело затянется на восемь-девять суток, а может быть, и больше, так как точный срок прихода группы к месту посадки указать невозможно, и получается форменная ерунда. Так же придирчиво обсуждая каждый вариант и ставя Владыкина в тупик своими надоедливymi «а если?», Луников забраковал и другие предложенные тем места побережья, и Решетников начал терять терпение. Выходило, что майор хочет организовать путешествие своих разведчиков по тылам врага со всеми удобствами и без всякого риска, почему Решетников мысленно обозвал его перестраховщиком.

Однако майор закончил разговор неожиданно: он положил на карту циркуль и объявил, что, видимо, придется рискнуть на высадку в бухте Непонятной сегодня же ночью и что он пойдет со своими людьми сам. Если никаких приключений не произойдет и шлюпка благополучно вернется к катеру, то для обратной посадки катер должен быть у бухты на следующую ночь и выслать

шлюпку к тому же месту. Ну, а если катер сегодня шестерки не дожидается, — значит, на бухту Непонятную надо окончательно плюнуть, разведчики займутся своей судьбой сами. Но в этом случае надо тотчас же доложить командующему флотом, что задание не выполнено, и немедленно высылать катер с другой группой в предложенное Владыкиным запасное место.

На этом разговор наконец закончился, и Решетников пошел на катер, с досадой думая о том, что и на походе и при высадке Луников порядком еще причинит хлопот своим слишком обстоятельным и дотошным отношением ко всякому делу.

Однако, к удивлению его, майор ничем никого не беспокоил. Появившись на «СК 0944», он деловито осмотрел шестерку, погруженную на катер, прикинул, как удобнее разместить на ней разведчиков, попросил Решетникова дать им всем возможность за время похода хорошенько выспаться, после чего спустился в кают-компанию и лег поспать сам. Сейчас он сидел спокойный, отдохнувший и даже веселый, занимаясь папиросами и насмешливо поглядывая на Воронина, который мучился с незримой своей картой.

Майор выглядел теперь совсем иначе, чем утром. Ватная куртка — одеяние неказистое и неуклюжее — удивительно шла к нему, и было件нятно, что в этой одежде он чувствует себя свободнее и привычнее, чем в кителе. Она плотно и удобно облегла его грудь и плечи, чем-то напоминая средневековые латы, вернее — выпуклую, в тисненном узоре кирасу. Может быть, этому впечатлению способствовало то, что майор забыл снять каску, и лицо его, обрамленное военным металлом, стало мужественнее и воинственнее. Ему было, вероятно, порядком за тридцать, может быть, под сорок, но, когда быстрым, живым движением он поворачивал к Воронину голову и усмехался, каска скрывала его сидящие виски, складки в углах рта — беспощадный знак прожитых годов — расходились, и он казался совсем молодым. Да и сам он весь как-то подобрался, посвежел, повеселел, как человек, развязавшийся с надоедливой обязанностью и приступающий к интересной, приятной ему работе. Разговор его показался теперь лейтенанту тоже иным: хотя Луников по-прежнему злоупотреблял своими «а если?», так раздражавшими

утром, теперь Решетников со стыдом подумал, что необходимую для всякого решения обстоятельность и взвешенность он принял за перестраховку.

В том спокойствии, с каким Луников перед уходом на опасный берег занимался заготовкой папирос, в той уверенности, с какой он, не глядя на карту, видимо отпечатанную в его мозгу со всеми деталями, отыскивал ночной путь, в той настойчивости, с которой он заставлял Воронина запоминать маршрут, как и во всем его поведении с момента прихода на катер, чувствовался совсем другой человек. Было ясно, что теперь, когда все варианты высадки обсуждены, отброшены и оставлен только один, наилучший, майор будет делать именно то, что решено. Эта спокойная уверенность настолько подкупила Решетникова, что Луников внезапно ему понравился.

— Поздно собрались выйти, товарищ майор, — сказал он с сожалением. — Закат нынче выдавали мировой!..

Луников улыбнулся:

— Да вот мы тут с картой подзадержались. Долго вы там, лейтенант? Вас давно уже немцы окружили, и разведчики с вами пропали, и я влип.

Воронин виновато открыл глаза.

— Слева балочка есть удобная, а куда она выводит, хоть убей, не вспомню, — сказал он, сердясь на себя. — Придется обратно в карту лезть, товарищ майор...

— Что ж, лезьте, — вздохнул Луников. — Только в последний раз. Коли и потом не доложите, оставлю на катере.

Воронин поспешно зашуршал картой, и по тому, с какой яростью накинулся он на злополучную балку, Решетников понял, что угроза майора не была шуточной, и это тоже ему понравилось. Он с гордостью подумал, что спроси его самого, как подходить к бухте Непонятной, никому не пришлось бы дожидаться, пока он сбегает в рубку за картой, и с насмешливым сожалением покосился на Воронина, который снова откинулся на диване, закрыл глаза и зашептал что-то про себя, будто повторяя урок.

В кают-компанию вошел главный старшина Быков, стеснительно держа за спиной трижды вымытые руки, на которых все же остались черные и желтые пятна — неистребимые следы вечной возни с моторами

— В цейтнот попали, лейтенант, посудой уже гре-

мят,— сказал Луников, убирая коробку с табаком.— Вот мы с хозяевами сейчас ваши сто грамм разопьем, чтобы у вас голова свежее была!

Он снял каску и рассмеялся, и в этом смехе Решетникову снова показалось что-то необыкновенно привлекательное. Теперь майор уже окончательно его покори́л.

Решетников был еще в том возрасте, когда человек бессознательно ищет среди встречающихся ему людей того, кому хочется подражать,— вернее, того, кто своим примером может показать, как обращаться с людьми, любить их или ненавидеть, командовать, драться с врагом,— словом, научить, как вести себя в той непонятной еще, сложной и полной всяких неожиданностей жизни, которая открывает перед молодым человеком свой таинственный простор. Он сменил уже несколько таких образов, увлекаясь ими при первом знакомстве и разочаровываясь при ближайшем, но каждый из них оставил в его характере свой след — в жестах, в манере говорить, в понимании людей. И сейчас ему стало жаль, что Луников мелькнет в его жизни одной вот этой встречей; очень захотелось быть с ним в одном отряде или на одном корабле, и он всем сердцем понял, почему с таким восторгом отзывались о майоре те, кто его знал.

Решетников тоже рассмеялся:

— Не пьем, товарищ майор! Такая у нас катерная служба: бережем на случай купанья или на шторм. Но для гостей...

Он приоткрыл дверь в коридорчик, где и в самом деле кто-то гремел посудой, и крикнул:

— Товарищ Жадан, гостям по сто грамм!

В дверях появился Микола Жадан — единственный на катере матрос строевой специальности, он же кок, он же вестовой кают-компании, он же установщик прицеда кормового орудия: на катерах, по малости их, и люди и помещения выполняют одновременно несколько разнообразных функций. В руках у него был дымящийся бачок с супом, а на мизинце висел котелок. Как ухитрился он спуститься по отвесному трапику, было загадкой.

— Сейчас достану, товарищ командир, ужю вот накрою,— с готовностью ответил Жадан и, поставив суп на стол, начал расставлять тарелки и раскладывать вилки и ложки, которые, подвергаясь трясуемому закону кают-

компании, немедленно зазвенели и поползли по столу, как крупные бойкие тараканы.

— Нет, нет, не нужно,— поспешно сказал Луников.— Это я больше для красного словца. Нам с лейтенантом по возрасту вредно: я для этого староват, а он молод. А вот почему вы, моряки, не пьете, удивительно...

— У каждого своя привычка,— объяснил Решетников серьезно, подхватывая ложку, которая вовсе уже подобралась к краю стола.— Вот наш механик, например, предпочитает накопить за неделю и уж заодно разделаться, а то, говорит, со ста грамм одно раздражение... Так, что ли, товарищ Быков?

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант! — сконфузился Быков.— Один только раз и случилось, а вы прекращаете...

— А я вот сейчас майору расскажу, как случилось,— пригрозил Решетников.— Хотите?

Быков затамился, но, на его счастье, Жадан закончил нехитрую сервировку и придвинул котелок к тарелке Решетникова. Тот нахмурился:

— В честь чего это мне особая пища? Что я, больной?

— Так, товарищ же лейтенант,— возразил Жадан, ловко разливая суп из бачка по тарелкам,— на базе нынче обратно пшено на ужин выдали, вы ж его не уважаете. А тут консервный суп с обеда, кушайте на здоровье...

Луников быстро вскинул глаза на Жадана и усмехнулся, как бы отметив что-то про себя. Решетников, увидя это, вдруг вспылил:

— Опять вы фокусы показываете! Сколько раз вам говорить: давайте мне что всем! Безобразие... Гостям одно, хозяину другое...

— А вы о гостях не беспокойтесь, мы как раз пшенный суп больше уважаем,— успокаивающе сказал майор и протянул руку к тарелке: — Довольно, товарищ Жадан, хватит...

— Кушайте, кушайте,— гостеприимно отозвался Жадан,— можно и добавки принести, я лишнего наварил. Когда еще вам горяченького приведется...

Он постоял у двери, посматривая то на гостей, то на командира. Широкое веснушчатое его лицо выражало полнейшее удовлетворение тем, что все со вкусом принялись за еду. Потом он сообщил тем же радушным тоном:

— На второе капуста с колбаской и какава.

— Откуда какао? — удивился Быков.

— Шефская какава. Я как в госпиталь к Сизову ходил, у врачей выпросил. Сказал, в такой поход идем, что без витамина не доберешься.

Решетников посмотрел на него, собираясь что-то сказать, потом сердито махнул рукой и уткнулся в свой «особый суп». Жадан исчез. Луников посматривал ему вслед и перевел взгляд на Решетникова:

— Ну, чего вы на него накиннулись? Жадан ваш — душа-человек, и плохо, если вы этого не видите... Да вы отлично видите, только ершиться перед гостями...

— Конечно, вижу, — сказал Решетников, не поднимая головы, — только все-таки...

— И небось приятно, что о вас на катере так заботятся?

Решетников улыбнулся:

— Почему же обо мне? Вас он и в глаза не видел, разведчиков тоже, а лишнего наготовил. Характер у него такой, заботливый.

— Одно дело — забота, а другое... как бы сказать... ну, душевное тепло, что ли, — раздумчиво сказал Луников. — Это и в семье великая вещь, а в военной семье особенно. Командиру, которого бойцы любят, просто, по-человечески любят, воевать много легче... Это для командира счастье...

Решетников хотел было возразить, что уж кому-кому, а самому майору жаловаться не приходится, потому что те, кто был с ним в Севастополе, видимо, так его и любили, но это показалось ему неловким, и он промолчал. Майор с аппетитом доел суп, положил ложку в опустевшую тарелку, и она тотчас тоненько зазвенела. Он взглянул на нее с удивлением.

— С чего это у вас такая трясушка? На всяких катерах ходил, такой не видывал...

Решетников обрадовался перемене разговора.

— Боевое ранение, — оживленно сказал он. — Это еще до меня было, пусть механик расскажет, он тогда катер спас.

Но Быкова никак нельзя было раскачать. Несмотря на подсказки Решетникова, которому, видимо, очень хотелось показать майору, какое золото у него механик, он

сообщил только, что правый вал был поврежден в октябре прошлого года, когда катер сидел на камнях и что своими средствами его исправить нельзя. Наконец Решетников взялся рассказывать сам.

Оказалось, что Парамонов вместе с другим катером своего звена снимал с Крымского побережья группу партизан, прижатых немцами к морю. Парамонов для скорости подвел катера прямо к берегу, партизаны, прыгая с камня на камень, добрались до катеров, и тут немцы открыли огонь. Уже выходили на чистую воду, когда катер сильно стукнулся кормой о камень и, если бы не главный старшина, так бы и остался у камней: заклинило рули, и через дейдвуд правого вала в машинное отделение стала быстро поступать вода. Быков сумел не только...

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант! — перебил Быков, с некоторой тревогой ожидавший этого места рассказа. — И воды-то было пустяки, и рули...

— А вы не перебивайте, — оборвал его Решетников. — Воды хватало, могли и остальные моторы заглухнуть... Так вот, главный старшина Быков, наш механик, ухитрился...

Тут Решетников, желая во что бы то ни стало показать майору таланты Быкова, пустился в такие технические подробности, которых ни Луников, ни Воронин не поняли. Ясно было одно: что полузатопленный катер все же смог дать ход, однако рули еще не действовали. Другой катер, которым командовал лейтенант Калитин, тоже навалился на камни носом и сам сняться с них не мог. Парамонов, маневрируя без руля двумя моторами, кое-как подошел к нему и сдернул с камней. Калитин предложил повести на буксире парамоновский катер, пока на нем не ликвидируют поломку рулей. Уже начали заводить концы, когда выяснилось, что партизаны недосчитываются еще восьми человек. Тут новая ракета осветила катера, стоящие рядом, и огонь немцев усилился. Парамонов, как старший в звене, приказал Калитину отойти мористее и отвлекать на себя огонь, чтобы поврежденный катер мог спокойно исправить рули и дожидаться оставшихся партизан. Уловка подействовала: едва Калитин отошел, немцы перенесли весь огонь на него, решив, что сидящий на камнях катер они прикончить успеют, а этот может уйти в море. Скоро вдалеке от камней вспыхнуло на черной воде

яркое дрожащее пламя и очередная ракета осветила калитинский катер, весь окутанный белым дымом, из которого временами взвивался высокий язык пламени. Но горящий катер все еще маневрировал с отчаянным упорством, сбивая пристрелку и ухитряясь ловко уходить от залпов. Немцы, торопясь прикончить его, оставили в покое парамоновский катер, и тот, исправив рули и забрав партизан, вырвался под двумя моторами в море...

— А калитинский? — спросил Луников, живо заинтересованный рассказом. — Так и сгорел?

Решетников, видимо ожидавший этого вопроса, с удовольствием улыбнулся:

— Он, товарищ майор, гореть и не думал... Это Парамонов приказал: как поближе разрыв ляжет, зажечь на корме дымовую шашку да тряпку с бензином и охмурять немцев... Калитин на этом деле две свои простыни погубил...

— Здорово!.. — расхохотался Воронин.

Засмеялся и майор.

— Парамонов, Парамонов... — сказал он, вспоминая. — Постойте-ка, это не тот Парамонов, который из Севастополя чуть не по сто человек сразу вывозил?

— Точно, товарищ майор, — подтвердил Быков. — Сто не сто, а одним рейсом шестьдесят семь взял, вторым шестьдесят шесть, а третьим восемьдесят семь.

— Восемьдесят семь? — удивился Воронин. — Где же они тут поместились?

— По кубрикам да тут, в кают-компании... Локтем к локтю стояли, как в трамвае, до самого Новороссийска...

— Ну-ну, — покачал головой Воронин. — Этак и перекинуться недолго...

— Если на палубе держать, очень просто. Только старший лейтенант Парамонов всех вниз послал, ну и шел аккуратно — больше пяти градусов руля не клал, а погода тихая, все шло нормально... — Быков усмехнулся. — То есть нормально, пока моряков возили. А на третьем рейсе армейцев взяли, так с ними целая сцена вышла. Никак вниз не идут: натерпелись люди, нервничают, да и наслышаны о всяком. Кому охота в мышеловку лезть? Иван Александрович и так и сяк, а они стояли наверху, вот-вот перевернемся. Тогда он как крикнет на весь катер: «Приготовиться к погружению!» Я пошел по палубе.

«Ну, говорю, кто собирается поплавать, оставайтесь наверху, а мы сейчас подводным рейсом пойдем, светает, самолеты налетят!..» В момент палуба чистая, мы люки задраили, и метацентр на место стал.

— Здорово! — опять восхищенно воскликнул Воронин.

Майор изумленно уставился на Быкова и вдруг расхохотался, да так, что на глазах его выступили слезы. Он взмахивал рукой, пытаясь что-то сказать, но снова принимался хохотать настолько заразительно, что даже Решетников, не раз слышавший эту историю, невольно засмеялся сам. Наконец Луникову удалось вставить слова между приступами смеха:

— Так и я... И я... Я тоже полез!..

— Куда? — изумился Решетников.

— В кубрик... Там где-то, на носу...

Быков оторопело на него посмотрел:

— И вы тогда с нами шли, товарищ майор?

— Выходит, шел, — сказал Луников, переводя дух. — Это первого июля было? В ночь на второе?

— Точно...

— Из Стрелецкой бухты?

— Точно, товарищ майор.

— Ну, значит, так и есть... Тьма была, толчея, крики... Меня мои ребята куда-то сунули с пристани — ранен я был, в плечо и в голову; очнулся — сижу у какой-то рубки, кругом чьи-то ноги да автоматы, теснота. Вдруг все ноги исчезли, я обрадовался, дышать есть чем, а сверху вдруг голос, да такой строгий: «Хочешь, чтоб смыло? Слышал, на погружение идем? Сыпсья вниз!..» Это уж не вы ли меня шуганули, товарищ Быков?

Теперь пришла очередь расхохотаться Решетникову:

— А вы и поверили?

— Да мне тогда не до того было — опять худо стало, а вот эти слова запомнил. Потом, в госпитале, все спорил: мне говорят — вас парамоновский катер вывез, а я говорю — подлодка... Все в голове перепуталось, так и не знал, кому спасибо сказать... Ну ладно, хоть теперь знаю...

Майор потянулся в карман за папиросой и добавил уже серьезно:

— Смех смехом, а выходит, Парамонову я жизнью обязан. Меня ведь одним из последних на катер взяли...

Помню, кто-то кричит: «Больше нельзя, ждите еще катеров!», а кто-то говорит: «Командир еще троих разрешил, раненых!» Тут меня и перекинули на борт... А ребят своих, кто меня до бухты донес, я так потом и не сыскал... Обязательно надо мне Парамонова поблагодарить. Где он теперь? Небось дивизионом командует?

— Погиб он,— коротко сказал Быков.

— А,— так же коротко отозвался Луников, и внезапная тишина встала над столом. Лишь тоненько позвякивали в тарелках ложки да гудели за переборкой моторы низким своим и красивым трезвучием, похожим на торжественный органый аккорд.

Удивительно и непередаваемо то молчание военных людей, которое наступает после короткого слова «погиб». Те, кто знал исчезнувшего, думают о нем, вспоминая, каким он был. Те, кто не знал его, вспоминают друга, которого так же вырвала из семьи товарищей быстрая и хваткая военная смерть. И оттого, что смерть эта всегда где-то рядом, всегда вблизи, те и другие одновременно с мыслью о погибших думают и о самих себе: одни — удивляясь, как это сами они до сих пор еще живы; другие — отгоняя от себя мысль о том, что, может быть, завтра кто-то так же скажет и о них это короткое, все обрывающее слово; иные — с тайной, тщательно скрываемой от других и от себя радостью, что и на этот раз военная смерть ударила не в него, а в другого. А кто-то в сотый раз испытывает при этом известии необъяснимую уверенность, что погибнуть в этой войне могут все, кроме него самого, потому что его, именно его, лейтенанта или старшину второй статьи, здорового, сильного, удачливого человека, который привязан к жизни тысячью крепких нитей, кого мать называет давним детским именем, а другая женщина, более молодая, — новым, ласковым, ею одной придуманным и только им двоим известным, и кому нужно в жизни сделать так много еще дела, узнать так много чувств и мыслей, — именно его военная смерть не может, не должна, просто не имеет права коснуться. А кто-то, напротив, в сотый раз подумает о смерти со спокойным равнодушием человека, уставшего от давнего непосильного боевого труда и согласного на любой отдых, даже если отдых этот — последний. Но все эти люди, думающие так по-разному, одинаково замолкают и отводят друг от друга глаза, ухо-

дя в свои непохожие и различные мысли, и молчание это становится непереносимым, и хочется что-то сказать — о том, как жалко погибшего, о том, как вспыхнуло сердце холодным огнем мести, о многом, что рождает в душе это короткое слово «погиб», но все, что можно сказать, кажется невыразительным, бедным и пустым, и люди снова молчат, ожидая, кто заговорит первым.

Воронин вздохнул и, деловито зашуршав картой, пристально взглянул на нее, потом зажмурил глаза, отпечатаывая в памяти тропинки и склоны. Быков прислушался к гулу моторов и, видимо уловив какой-то не понравившийся ему новый звук, привстал и, спросив у Луникова: «Разрешите, товарищ майор?» — быстро пошел в машинный отсек. Решетников взглянул на часы и тоже привстал.

— Разрешите на мостик, товарищ майор? — сказал он, потянувшись за ушанкой.

— А капусты с колбаской и какавы? — без улыбки спросил Луников.

— Темно уже.

— Когда рассчитываете подойти?

— Часа через три, если ни на кого не напоремся.

— Я не спросил, кто с нами на шлюпке пойдет?

— Боцман наш, старшина первой статьи Хазов, и Артюшин, старшина второй статьи, рулевой. Люди верные, не раз ходили.

Луников подумал.

— Пришлите ко мне боцмана, если не спит. Потолкуем с ним, как все это лучше сделать.

— Пожалуйста. Он сейчас спустится ужинать с моим помощником, — отозвался Решетников не очень приветливо.

Луников вскинул на него глаза, снова отметив что-то про себя, и сказал с той побеждающей ласковостью, с какой говорил о жадановском котелке:

— Да вы не беспокойтесь, товарищ лейтенант, я в ваши командирские дела вмешиваться не стану. Просто любопытно с ним поближе познакомиться. Как-никак мы ему жизни доверяем, а также успех всего дела, так интересно, кому...

Он говорил это, как бы оправдываясь, хотя мог просто приказать, ничего не объясняя, и Решетников снова

почувствовал расположение к этому седеющему спокойному человеку.

— Боцман у нас неразговорчивый, вроде Быкова... Ну что ж, попробуйте,— улыбнулся он, шагнув к двери, и чуть не столкнулся с Жаданом, который нес чайник и бак.

— Куда ж вы, товарищ лейтенант? — спросил тот испуганно.— Какаву же несу!

— После какао поью, товарищ Жадан,— ответил Решетников, надевая ушанку.— Вот гостей проводим на бережишко и поьем, а вы пока их угостите как следует.

Он закрыл за собой дверь и остановился в коридорчике у трапа, выжидая, пока глаза, ослепленные яркими лампами кают-компаний, привыкнут к темноте, которая ждала его за крышкой выходного люка.

Глава шестая

В самом деле, наверху уже совершенно стемнело. Южная ночь быстро вытеснила за горизонт остатки света на западе, соединив небо и море в одну общую тьму, окружавшую катер. Но если сперва Решетникову казалось, что тьма эта непроглядна и что она начинается у самых ресниц, словно лицо упирается в какую-то мягкую стену и от этого хочется плотно зажмурить бесполезные глаза, то потом, когда он постоял на мостике, стена эта незаметно исчезла, будто растаяв. Море и небо разделились. Темнота получила объемность, ожила, и ночь открылась перед ним в своем спокойном, молчаливом величии.

Огромный купол неба весь шевелился в непрестанном мерцании звезд. Яркие и крупные, они вспыхивали то здесь, то там, отчего казалось, будто они меняются местами. Млечный Путь, длинным светящимся облаком пересекавший весь небосвод, тоже как бы колыбался, в нем все время происходили какие-то бесшумные изменения: голубоватый его туман непрерывно менял очертания, усиливая бледный свет в одной своей части, чтобы тотчас же мягко просиять в другой. Темноте (в собственном, прямом смысле этого слова) на небе не

находилось места. Лишь кое-где глубокие беззвездные мешки зияли действительно темными провалами в бесконечность. Все же остальное небесное пространство мерцало, вспыхивало, искрилось и переливалось живыми, играющими огнями далеких бесчисленных звезд.

В этом удивительном свете темной южной ночи глазу скоро стало видно и море. На горизонте трудно было отличить его от неба, потому что в плотных нижних слоях атмосферы звезды светились не так ярко, как в чистой высоте, и небо здесь как бы продолжало собою море. Зато вблизи катера можно было уже видеть черную маслянистую массу воды и даже угадывать на ней мерное колебание пологой зыби, покачивающей на себе отраженный свет звезд. Ветерок, слегка усилившийся к ночи, передвигал над морем невидимый воздух, и вся мерцающая и дышащая тьма, казалось, жила своей особой, таинственной жизнью, не обращая внимания на крохотный катерок, пробиравшийся в нем по каким-то своим делам.

Решетников уже долго пробыл на мостике. Холодные струйки, обдувая лицо, забирались в рукава и под воротник, но не студили тело, а вливали в него особую, энергическую свежесть, от которой он чувствовал в себе приятную живую бодрость. Некоторое время ему казалось, что все идет прекрасно и что поход не может закончиться неудачно. Так огромна и спокойна была жизнь, наполнявшая небо, воздух и море, такая величественная тишина стояла в ночи, что война, которая в любой миг могла ворваться в нее огненным столбом мины или желтой вспышкой залпа, казалась невероятной и несуществующей.

Но вскоре это полное, почти блаженное чувство покоя стало исчезать, и он заметил, что ночь не так-то уж хороша. Белая пена, неотступно сопровождавшая катер, была видна за кормой слишком отчетливо. На палубе действительно почти ничего нельзя было различить, но то, что виднелось на фоне освещенного звездным сиянием моря — оба орудия, комендоры в тулупах, шестерка на корме, — выделялось из темноты еще более плотной тенью. Значит, со стороны так же можно было заметить и силуэт самого катера.

Чем ближе подходил катер к местам, где он мог

встретить противника, тем светлее казалась Решетникову ночь, хотя всякий назвал бы эту темноту крошечной. Он с досадой подумал, что такой бесстыдно сияющий планетарий годится для курортной прогулки, но совершенно неуместен в войне, где надо проводить скрытные операции. Для этого много удобнее небо, сплошь затянутое облаками. Тогда и в самом деле было бы темно и, кроме того, мог лить нудный холодный дождь, который загнал бы немцев в землянки. Так же, будь на то его воля, Решетников охотно заменил бы эту пологую вздыхающую зыбь хорошей волной, чтобы береговой накат заглушал гудение моторов приближающегося катера.

Впрочем, рев катера теперь значительно уменьшился: сразу по выходе на мостик Решетников приказал перевести моторы на подводный выхлоп. Отработанные газы прекратили свою оглушительную пальбу, пробираясь теперь через воду с недовольным урчанием, и по темному морю разносился только ровный низкий гул моторов. Однако сквозь него нельзя было расслышать такой же гул моторов противника. Поэтому Решетников вызвал на мостик старшину сигнальщика Птахова (того самого, у которого было «снайперское зрение»), предупредил людей, стоящих у орудий и пулеметов, чтобы и они наблюдали по бортам и по корме, потом еще раз обошел палубу, осматривая затемнение. Ни одного лучика света не вырывалось из плотно закрытых люков, из двери рубки, и только на мостике смутным и бледным кружком чуть теплилась слабо освещенная изнутри картушка компаса.

Резкая свежесть ночи охватывала лейтенанта, но он так и не накинул на себя тулупа: каждый момент могла произойти встреча с катерами или сторожевиком противника, и тулуп мог помешать нужным движениям. Мысль о возможной встрече порождала в Решетникове все нарастающую тревожность, и он пристально вглядывался в темноту. Уже не раз дрогнуло у него сердце, когда на черной воде ему мерещился еще более черный силуэт, и не раз готов он был командовать руля и открыть огонь, предупреждая первый залп врага. Но каждый раз силуэт расплывался и исчезал и становилось понятно, что он был лишь игрой утомившегося зрения и натянутых нервов. Наконец Решетников поймал себя на том, что снова окликает комендоров у орудий: «Внимательнее за гори-

зонтом смотреть!» — и со стыдом понял, что начинает нервничать и суетиться. Надо было взять себя в руки, довериться Птахову и думать о другом, постороннем, чтобы сохранить глаза и нервы для настоящей, не кажущейся встречи. Он нагнулся к компасу, проверяя, как держит рулевой, и картушка изменила ход его мыслей.

Еще недавно Решетников, убежденный артиллерист, относился к компасам равнодушно. Он даже слегка презирал этот слабенький прибор, нервы которого не могут выносить обыкновенной артиллерийской стрельбы. Извольте видеть, стрельба «изменяла магнитное состояние катера», и после нее компас начинал показывать черт знает что — количество осадков в Арктике или цену на мандарины в Батуми, и приходилось просить дивизионного штурмана снова поколдовать с магнитами и уничтожить девиацию, им же недавно уничтоженную. Но, став командиром катера и проведя наедине с компасом долгие часы походов в огромном пустынном море, в тумане и в ночи, Решетников подружился с ним и научился его уважать. Компас стал для него частью его командирского «я», органом нового для него чувства ориентировки в море, необходимым и неотъемлемым, как рука, глаз или ухо. Поэтому, выходя в море, Решетников всякий раз точнее определял его поправку и, освежив в памяти забытую еще в училище науку о компасах — теорию девиации, однажды удивил штурмана дивизиона просьбой посмотреть, как он попробует сам наладить компас на вверенном ему катере. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: ощутив компас как часть своего командирского организма, Решетников хотел владеть им с той же свободой и легкостью, с какой владел своими жестами или мыслью. С этого дня компас стал для него еще ближе, понятнее и роднее, как живое существо, которое он сам выходил в серьезной болезни.

И сейчас, глядя на голубоватый круг картушки, который, казалось, перенял на себя сияние ночного неба, Решетников так и думал о компасе, как о живом существе — слабеньком, маленьком, но обладающем поразительной настойчивостью и силой характера.

В самом деле, шесть крохотных, со спичку величиной, магнетиков, везущих на себе бумажный кружок с напечатанными на нем градусами (картушку), окружены

массами металла, огромными по сравнению с ними самими. Рубка, орудия, пулеметы, моторы — всяк по-своему тянут эти магнетики к себе, а равные, но обратно направленные силы магнитов-уничтожителей, хитро размещенные в нактоузе под картушкой так, чтобы противодействовать вредному влиянию судового железа, — к себе. Этот невидимый двойной вихрь силовых линий плотным слоем заслоняет от картушки магнитный полюс земли, расположенный у черта на куличках, где-то в Арктике, у берегов Северной Америки, в пятнадцати тысячах километров отсюда. И было поразительно, как магнетики картушки могут различать его далекий, едва слышный призыв: куда бы ни поворачивались катер и связанные с ним массы металла, картушка неизменно и упорно смотрит концом магнитиков на этот далекий полюс — на север.

Именно эта настойчивость и поражала Решетникова всякий раз, когда он начинал думать о компасе. Хорошо было бы иметь и в себе такую же стойкую и ясно направленную «лямбду-аш» (как называлась в теории девиации направляющая сила земного магнетизма на корабле).

Решетникову все время казалось, что в нем самом такой «направляющей силы» — ясной целеустремленности, уменья без колебания идти к тому, чего хочешь достигнуть, — нет. Поэтому всякому человеку, в котором подозревал наличие этой самой «лямбды-аш», он завидовал со всею страстностью молодости, жадно отыскивающей в жизни образцы для себя, и пытался сблизиться с ним, чтобы тот научил его, как пробудить в себе эту великую направляющую силу. Нынче его особенно поразил майор Луников: судя по всему, этот человек должен был иметь в себе такую «лямбду-аш». И, если бы Решетников мог, он сейчас пошел бы в кают-компанию, чтобы попытаться заговорить с ним на волнующую его тему.

Море, корабли, походы, бои и штормы, дружный мужественный коллектив флотских людей, даже самый его китель и нашивки, — все это было ему очень близко и дорого. Он отчетливо знал, что, если почему-нибудь ему придется этого лишиться, он станет самым несчастным человеком. Но в то же время он подозревал, что, случись с ним такая беда, жизнь его не опустеет. А вот для других, кого он наблюдал рядом с собой, — для того же Владыкина или старшего лейтенанта Калитина, командира

его звена, или, скажем, для боцмана Хазова — это означало бы потерю смысла жизни: они были настоящими военными людьми, а он, наверное, только притворялся таким перед другими, да и перед самим собой.

Это ощущение и беспокоило его, особенно в первые недели командования, когда он остро переживал свою неспособность быть командиром катера. Его начала преследовать горькая догадка, что он действительно не был настоящим военным человеком, а то, что померещилось ему шесть лет назад у зеленых склонов Алтая, было только мечтой, ошибочной и неверной.

К догадке этой он приходил всякий раз, когда начинал думать о будущем и примериваться, что же станет он в нем делать. Для многих, кого он видел вокруг себя, это будущее было заслонено кровавым и дымным туманом войны, для них оно заключалось в одном страстно желанном понятии: победа. Для него же война пылающим светом своих пожаров и взрывов ярко освещала будущее, стоящее за победой. Представить его себе сейчас было невозможно, он мог лишь угадывать впереди нечто огромное, счастливое, ликующее: жизнь. И вопрос состоял в том, что же станет он делать в новой мирной жизни, где города будут строиться, а не разрушаться, где металл будет пахать землю, а не уродовать ее воронками, где пламя будет согревать, а не сжигать и где человеческая мысль обратится к созиданию, а не к разрушению.

Если, как он подозревал, качеств военного человека в нем не нашлось, его настоящее место, может быть, и окажется там, в этой гигантской и радостной созидательной работе. А возможно, он все-таки из тех, кто, умея хорошо владеть оружием, должен будет защищать труд многих людей, которые станут строить эту новую, необыкновенную послевоенную жизнь? Вряд ли после победы настанет вечный мир, и кому-то все равно придется оставаться у пушек в готовности снова вести бои за счастье огромного количества людей. Но тогда сможет ли он сказать, не обманывая ни себя, ни других: «Да, я тот, кто до конца своих дней будет убежденно делать именно это — защищать свою страну и ее труд, в этом и мое призвание, и моя гордость, и мое счастье»?..

Короче говоря, Решетникова мучила та самая болезнь,

которой, как корью, неизбежно заболевает всякий способный к размышлению молодой человек, вступающий в жизнь: сомнения в том, правильно ли он угадал свой собственный путь.

Обо всех этих смутных, но сложных и важных вопросах говорить можно было только с другом, то есть с тем, кому доверяешь свое самое тайное и дорогое, не боясь показаться ни смешным, ни глупым, и с кем говоришь не словами, а мыслями — порой недодуманными, неоконченными, но все же понятными ему. Такого друга у него в жизни пока что не было, и к каждому, кто ему встречался, Решетников присматривался именно с этой точки зрения: выйдет или не выйдет?

При встрече с Владыкиным ему показалось, что «выйдет», и поэтому он в первом же разговоре так быстро и охотно раскрыл перед ним свою мечту о катерах. Но, попав к нему на дивизион, Решетников увидел, что «выходит» с Владыкиным многое, но не главное. Обо всем, что касалось катера, флота, боя, тактики, с ним говорилось просто и душевно, как будто Владыкин был не капитаном третьего ранга и не начальником, а именно другом, понимающим и отзывчивым, более взрослым и потому более разбирающимся в жизни. Но когда, засидевшись как-то в уютной его комнатке, которая, как и все, что окружало Владыкина, была необыкновенно чиста, аккуратна и празднична (что особенно поражало взгляд в том полуразрушенном санатории, где размещался штаб дивизиона), Решетников вздумал затронуть эти свои вопросы и путано заговорил о далекой цели, которую ему хочется поскорее увидеть в жизни, Владыкин поднял брови:

— А чего ж тут видеть? Победа — вот цель.

— Так это-то я как раз и вижу, — сказал Решетников, мучаясь, что не так выражает важную для него мысль. — Победы мы добьемся, это факт, а вот что за ней? Потом-то тоже придется жить... Так — куда жить?

Он повторил это свое любимое выражение, потому что именно оно несло в себе понятие курса и направленности, и надеялся, что Владыкин сразу его поймет и тогда можно будет говорить с ним обо всем.

Но Владыкин рассмеялся:

— То есть как это куда жить? Это вы о смысле человеческой жизни, что ли?.. Давайте-ка, Решетников,

воевать, а философию пока отложим. Сейчас об одном думать надо — о победе. Понятно?

Решетников, вздохнув, ответил для простоты, что понятно, и опять остался один на один со своими вопросами, странными и смешными для других. И случилось так, что именно на том катере, где он учился быть дельным офицером и хорошо воевать, ему довелось найти человека, которого он смог назвать в душе другом: боцмана Никиту Петровича Хазова.

Это пришло не сразу. Наоборот, вначале отношения Решетникова и Хазова никак не походили на дружеские.

Как-то так получалось, что впечатление первой встречи, когда во взгляде боцмана Решетников прочел убийственный для себя приговор, никак не исчезало. Первую неделю командования катером лейтенант видел в неразговорчивости боцмана и в постоянной его сумрачности молчаливый укор своим действиям, нежелание сблизиться и терпеливое ожидание того счастливого для катера дня, когда на него придет наконец настоящий командир. Потом, когда из своей каюты он случайно услышал разговор Хазова с механиком Быковым и уловил неохотную, как всегда, фразу боцмана: «Ну и что ж, что суетится, дай ты человеку привыкнуть...» — это ощущение сгладилось.

Но самолюбие вскоре подсказало другую обидную мысль: выходило так, что катером командует не он, лейтенант Решетников, а боцман Хазов. Катер стоял еще в ремонте после боя, в котором погиб Парамонов, и нужно было думать о сотне мелочей, как раздобыть необходимый компрессор, воспользоваться ремонтом для смены правого вала или решиться ходить и дальше с «трясучкой», как вовремя кормить людей (катер стоял в углубухты, вдали от общего камбуза), что делать с покраской, ждать из госпиталя радиста Сизова или просить о его замене. И все, что он как командир катера должен был сам предусмотреть или приказать, все было подсказано или уже сделано боцманом. Правда, вел себя Хазов очень тактично и, щадя самолюбие командира, советы и предложения свои облакал в форму вопросов, которые незаметно наталкивали того на верное решение, но легче от этого не было: Решетников чувствовал себя на катере явно лишним.

Чувство это скоро стало унижительным и дополнительно повлияло на безнадежные ночные мысли Решетникова о том, что из него никогда не получится настоящего командира. Оно преследовало его все настойчивее и наконец воплотилось во сне кошмаром.

Лейтенанту приснился его первый поход на «СК 0944» и первый бой. Боцман стоял рядом с ним на мостике и удивительным шепотом, который перекрывал и гул моторов и трескотню стрельбы, подсказывал ему: «Право на борт... все три мотора стоп... теперь одним левым, круче выворачивайтесь...» И катер, вертясь, действительно избегал бомб, которые, пронзительно свистя, шлепались поодаль. И не успевал он подумать, что пора скомандовать перенести огонь по второму самолету, как Хазов уже стоял у пулемета и сам, без приказа, стрелял и тем же шепотом (которого, видимо, никто из матросов не слышал) снова подсказывал: «Все три мотора полный вперед... Руля право скомандуйте...» — и он, командир, чувствовал, что иначе сделать ничего нельзя. Но ему страшно хотелось сделать что-то по-своему. Он собрал в себе всю силу воли и рванул рукоятки телеграфа на «полный назад», но тут же с ужасом увидел, что Быков высунулся из машинного люка и грозит ему пальцем, как мальчишке, а боцман улыбается, качая головой, и показывает на бомбу. Та не падала, а медленно опускалась с неба, как бы плыла, и ему стало ясно, что она неотвратно коснется кормы. Он понимал, что надо дать ход вперед, но стоял как зачарованный, не в силах пошевелить рукой. Тогда Хазов внимательно посмотрел на бомбу, сделал пальцами какой-то неторопливый таинственный знак (который был понятен всем, кроме него, потому что все они облегченно улыбнулись), и, хотя винты работали на задний ход, катер вдруг сделал огромный прыжок вперед, и бомба разорвалась за кормой... От грохота ее он проснулся с заколотившимся сердцем и решил, что дошел до ручки. Однако, услышав отдаленный лай зениток, понял, что наверху в самом деле что-то происходит.

Полуодетый, Решетников выскочил на палубу, и ему показалось, что идет крупный налет, когда катерам по инструкции полагалось отходить от пирсов, чтобы не попасть всем под одну бомбу. По темному небу перекидывались прожекторы, с берега били зенитки, и на мысу,

метрах в пятистах от катера, разрастался высокий столб огня — видимо, там горел один из деревянных домиков, лепившихся по склону горы вокруг бухты. У машинного люка он заметил темную фигуру, которую принял за механика, и тотчас крикнул:

— Товарищ Быков, какой мотор сможете завести? Давайте хоть один, скорее!..

— Это я, товарищ лейтенант, — ответил голос, и Решетников узнал боцмана Хазова.

Подойдя, он увидел, что тот стоит у своего пулемета, подняв к небу лицо.

— Еще мину спустил, — сказал боцман неторопливо и описательно, как бы не замечая взволнованности Решетникова. — Глядите, товарищ лейтенант, ее тоже к берегу тянет... Дурак какой-то нынче прилетел — вторую мину уже губит. Ветра не рассчитал.

В самом деле, белый парашют, яркой точкой сиявший в луче прожектора, медленно опускался за мыс к горе. Решетников со стыдом сообразил, что это не бомбежка, а обычный визит одного-двух самолетов, пытавшихся, как всегда, загородить минами выход из бухты. Он догадывался также, что необычная общительность боцмана объясняется только одним: тот косвенным образом хотел показать командиру совершенную ненужность заводить моторы, когда все вообще в порядке.

Мина ударилась где-то на склоне горы, грохот разрыва потряс катер, и Решетников искусственно зевнул.

— Ну, чего тут смотреть, холодно... мины как мины, — сказал он и повернулся, чтобы уйти.

Но боцман с той же подозрительной словоохотливостью и прежним тоном стороннего наблюдателя сообщил:

— Второй гудит. Наверное, тоже мины спускает... А глядите, товарищ лейтенант, как от нас хорошо фарватер видно...

И опять Решетников понял, что уходить ему никак нельзя: отсюда действительно фарватер был виден лучше, чем с базы, и можно было проследить, на каком его участке опустятся парашюты, а утром доложить об этом Владыкину, чтобы облегчить траление после ночного визита...

Стиснув зубы, он стал рядом с Хазовым, ища в небе отблеск парашюта, попавшегося в луч прожектора, но все

в нем восставало и кипело при мысли, что новый урок, как всегда, правилен. Единственное, что он мог сделать сам,— это крикнуть на мостик Артюшину, чтобы тот снял с компаса колпак и пеленговал опускающиеся в воду парашюты. Боцман, продолжая не замечать его состояния, молча стоял возле. Потом повернулся к акустике, скупавшему у пулемета, и негромко сказал ему:

— Реглан командиру принеси.

— Отставить, мне тепло! — резко перебил Решетников, и ему показалось, что боцман в темноте улыбнулся и покачал головой совсем так, как делал только что в приснившемся кошмаре.

Кошмар будто продолжался наяву. Решетников вдруг поймал себя на том, что он готов скомандовать огонь, совершенно бесполезный для гудящего высоко во тьме самолета,— скомандовать только для того, чтобы показать, что командир здесь он, а не боцман. Ночь была очень холодная, и его здорово прохватывало в кители, но он упрямо оставался на палубе, пока самолеты не ушли.

Сообщив в штаб замеченные пеленга и вернувшись в каюту, он лег в койку, натянул на себя реглан и, согревшись, попытался спокойно обдумать, что же, собственно говоря, получается у него с Хазовым и как выйти из этого положения, становящегося невыносимым.

А получалось черт знает что.

Просить о переводе Хазова на другой катер было бы несправедливо по отношению к нему и, кроме того, просто вредно для катера и его экипажа: другого такого знающего и опытного боцмана не найти. Говорить о своем переводе на другой катер — значило углубиться в психологические дебри ночных кошмаров и, вероятно, вызвать во Владыкине недоумение и насмешку. Сказать же ему честно и откровенно, что с командованием катером что-то не получается и что поэтому он просит вернуть его на большие корабли, означало прямую капитуляцию. Кроме того, такая просьба перед самым окончанием ремонта (а стало быть, перед началом походов и боевых действий) могла вызвать подозрение, при одной мысли о котором Решетников вспыхнул.

Оставался один выход — необычайный, но совершенно справедливый: надо было просить Владыкина присвоить

Хазову лейтенантское звание и назначить его командиром «СК 0944», который он знает вдоль и поперек и где каждого человека экипажа изучил, как самого себя. Ведь бывали же на флоте случаи, когда младшие командиры без всякой волокиты и даже без экзамена получали лейтенантское звание прямо в бою или сразу после боя?..

Мысль эта понравилась, и он долго обдумывал, как убедить Владыкина передать «СК 0944» человеку, который действительно сможет заменить на нем старшего лейтенанта Парамонова, а его, Решетникова, перевести на другой кагер. Это показалось ему настолько логичным и убедительным, что, повеселев, он заснул, решив сегодня же поговорить об этом с Владыкиным, когда пойдет к нему докладывать о ночных наблюдениях за парашютами.

Он так и сделал и, покончив с докладом, объяснил, что наблюдать за минами догадался, собственно, не он, а боцман Хазов и что Хазов — совершенно готовый офицер и поэтому с ним очень трудно, так как ему уже тесно в боцманском деле и его вполне можно продвигать выше. Так он подошел к теме своих взаимоотношений с Хазовым, и тогда полились уже откровенные жалобы.

Владыкин слушал его внимательно и сочувственно, даже понимающе улыбался, когда Решетников для убедительности привел два-три случая, особо задевавших его самолюбие.

— Мне в свое время такой дядька тоже жизнь отравлял,— сказал он, протягивая Решетникову портсигар, что на условном коде дивизиона означало переход с официального разговора на дружеский.— Только не боцман, а главный старшина рулевой Родин. Я думал, что я уже штурман и пуп земли, а он меня учил... Боже мой, как учил! И теперь вспомнишь — краснеешь... И тоже, старый черт, все обиняком, вежливенько, ни к чему не придерешься... А этот ваш — как на людях себя держит? — перебил он себя.— Тоже учит?

— Нет,— признался Решетников и вдруг неожиданно для себя чихнул. Справившись с платком, он гордо добавил: — Ну, тогда я бы сразу его оборвал...

— Вот и молодец,— похвалил Владыкин.

И Решетников скромно опустил глаза:

— Так я же понимаю, товарищ капитан третьего ранга...

— Да не вы молодец,— сердито усмехнулся Владыкин.— Вы, извините, просто мальчишка, и притом бестолковый и неблагодарный. Вам на такого боцмана молиться надо, а вы... Подумаешь, самолюбие заело!.. Самолюбие, по-моему, не в том, чтобы обижаться, когда тебя учат, как что сделать, а в том, чтобы поскорее научиться так самому все это делать, чтобы тебя никто не смел носом ткнуть... И чем это, позвольте вас спросить, вам в себе любоваться? Самомнением своим, что ли? Или самонадеянностью?.. Флот, милый мой, на том и стоит, что офицер у всех учится — и у начальников и у подчиненных. К старым морякам и адмиралы прислушиваются. Самонадежности море ох как не любит!

— Да я учиться и не отказываюсь, товарищ капитан третьего ранга,— сказал Решетников, удивленный резкостью, с которой Владыкин его отчитал.— И самонадежности во мне никакой нет, наоборот...

Но тут он снова чихнул, что на этот раз оказалось вполне кстати: по крайней мере, он имел время сообразить, что говорить сейчас о потере им всякой надежды стать когда-либо настоящим командиром, пожалуй, не очень-то выгодно,— и повернул фразу на ходу:

— Наоборот, я очень ему благодарен за поддержку... Только боюсь, он так меня к помочам приучит, что я потом и шагу без него не сделаю.

— Ну, и грош вам цена,— спокойно сказал Владыкин.— По-моему, если у человека есть характер, он в лепешку расшибется, чтобы такую опеку поскорее с себя скинуть.

Решетников обрадовался, что разговор подходит именно к тому, что ему нужно, но Владыкин продолжал:

— Я, например, своего Родина чем с себя скинул? Как бы это сказать... стрельбой по площадям... Вот увижу, он стоит и, скажем, на механический лот смотрит, а у меня внутри уже все томится. Понимаю, что он, старый черт, у него в самых кишках что-то приметил и сейчас меня носом ткнет. Ну, с отчаяния возьмешь и прикажешь: «Товарищ главный старшина, надо лот разобрать, тросик смазать и барабан покрасить. Смотрите, в каком он виде!»... Так сказать, вроде стрельбы по площади: куда-ни-

будь да попадешь... И точно, он, оказывается, и собирался предложить именно тросик промазать, да уж поздно: инициатива-то за мной осталась, за штурманом!.. Вот так и привык к решительности. И подмечать все научился. Ходишь и думаешь: неужто он раньше меня что-нибудь заметит?.. Да чего вы все время чихаете? — вдруг посмотрел он на лейтенанта. — Ночью, что ли, простыли? Небось голым выскочили?

— Да нет,— сказал Решетников, закрыв лицо платком: признаваться в своем упрямстве с регланом, пожалуй, не стоило.

— Хватите на ночь сто грамм, да побольше, и горчицы в носки насыпьте, пройдет,— посоветовал Владыкин, на все имевший ответ. — Так вот... Будьте вы смелее, инициативнее. Над пустяками не раздумывайте, быстрее решайте. В мелочах ошибаться не бойтесь, убыток небольшой, а мелочи вас приучат и в крупных делах смелее решать... Да он вас и поправит, Хазов-то, поправит тактично, осторожно, в этом я вам ручаюсь. Оно и лучше, чтоб он вас поправлял, а не подсказывал. Понятно? А обижаться на него нечего: он для вас все то делает, что хороший коммунист должен делать для комсомольца и опытный моряк для такого... ну, скажем, молодого моряка, как вы. Чего же вам еще надо?

Решетников собрался сказать, что надо-то еще очень многое: самому почувствовать в себе ту смелость, решительность и самостоятельность, которые он в нем предполагает. Но это опять упиралось в ночные мысли, говорить о которых было нельзя, чтобы не погибнуть в его глазах окончательно. Однако, представив себе, что разговор сейчас кончится ничем и ему придется вернуться на катер, где ждет его Хазов и все связанные с ним неприятности, он поднял глаза.

— У меня есть предложение, товарищ капитан третьего ранга... Может быть, вы и согласитесь...

— Самостоятельное или тоже боцман подсказал? — весело улыбнулся Владыкин.

— Да нет... самостоятельное... — не в тон ему серьезно ответил Решетников и начал излагать свой план.

Но, по мере того как он говорил, вся убедительность и логичность ночного проекта исчезали вместе со сползающей с лица Владыкина улыбкой.

— Так,— сказал Владыкин, когда он закончил, и стал долго закуривать папиросу. Потом защелкнул зажигалку и внимательно посмотрел на Решетникова.— Значит, в кусты?

— Почему же в кусты? На любом другом катере...

— На другом катере вам механик будет жизнь задавать, на третьем — помощник. Так и будете катера мепить, словно сапоги,— искать, который не жмет?.. М-да... Решение, и, видно, самостоятельное...

Лейтенант почувствовал, что краснеет, и с отчаянием подумал, что остается одно: признаться и просить вернуть его на крейсер.

— Ну ладно,— сказал вдруг Владыкин жестко.— Я вам карты открою, чтоб понятнее было.

Он посмотрел в сторону, как бы обдумывая, с чего начать, и Решетников насторожился.

— Меня что в вас заинтересовало: то, что я в вас любовь к катерам почувствовал. Помните, как вы мне о пятьсот девятнадцатом рассказывали? Я вам тогда сказал: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. А сейчас я этой твердости в вас не вижу. И, пожалуй, скоро так обернется, что мне будет все равно, есть на свете лейтенант Решетников или нет... Ну, это пока мимо... Так вот. Вы о катере мечтали и думали, что вам катер на блюде поднесут. Так, понятно, не бывает. Я о вас с контр-адмиралом поговорил — бой ваш на пятьсот девятнадцатом в вас кое-что показал... Дали вам время с катерами ознакомиться. Все-таки месяца четыре вы артиллеристом там были — значит, вопросы техники да и тактики катерной освоили, и, знаю, освоили неплохо... К тому времени этот случай у нас вышел... с Парамоновым...

Он замолчал, и Решетников почувствовал, какой потерей была для командира дивизиона гибель Парамонова. Потом Владыкин поднял голову и посмотрел лейтенанту прямо в глаза:

— Так вот. Я все это время о вас соображал и выбирал, какой катер вам дать. Ну, и дал парамоновский катер. Поняли вы, что это за катер?

— Понял,— тихо ответил Решетников.

— Знаю, что поняли. И за портрет вам спасибо...— Он невесело усмехнулся.— Вот вы говорите: учиться... Этим портретом вы меня многому научили. Я приказал

вести на дивизионе в традицию: чтобы на каждом катере портреты погибших героев были. Память о них боевая...

Он опять помолчал.

— Так вот... А почему именно этот катер? Не только потому, что на нем вам легче в первый бой пойти — не гастролером, а настоящим командиром, — а потому еще, что на нем такой боцман, как Никита Петрович Хазов. Я вас в верные руки отдал, и в какие руки!.. А вы...

Он не договорил, заметив, что Решетников помрачнел и, видимо, принял упрек всем сердцем. Потом открыл ящик стола и вынул папку, на которой была наклейка «На доклад контр-адмиралу», сделанная, как и все владыкинское, с аккуратным и скромным щегольством.

— А Хазова из-за вас я в продвижении задержал. Это вам тоже нужно знать, коли разговор всерьез пошел. Читайте.

Решетников взял листок. Это был заготовленный приказ по базе о том, что за отличные боевые заслуги и проявленные знания старшина первой статьи Хазов Н. П. назначается помощником командира «СК 0944» с присвоением не в очередь звания мичмана. В заголовке приказа стоял прошлый месяц, но числа и подписи не было.

— Если бы Парамонов из боя вернулся, это было бы подписано, понятно? — сказал Владыкин, взяв обратно приказ. — Но когда он... когда с ним это случилось, речь зашла о вас, и я контр-адмиралу доложил, что приказ придется пока задержать. Одно дело — быть Хазову помощником у Парамонова, а совсем другое — у вас. Вы его ничему не научите и ничем на первых порах не поможете. Да и для вас лучше: боцманом он вам больше даст, чем помощником. Боцман — он король, а помощником — сам еще цыпленок. И для катера лучше, а то и помощник учиться будет, и командир, и новому боцману к команде привыкать. Этак у нас не боевой корабль получится, а неполная средняя школа... Ну, а дать ему только офицерское звание и оставить при вас боцманом — тоже не выходит. Не тот эффект получается: этот приказ должен был всем катерным боцманам перцу подбавить, ну, и гордости: вот, мол, как наши на мостик прыгают! И боцмана веселей бы служили. Понятно?

— Понятно, — взволнованно сказал Решетников.

То, что Владыкин на миг приоткрыл для него завесу, скрывающую неведомый ему еще мир, где решаются судьбы флотских людей, и он краем глаза увидел, что таится за маленьким листком приказа, сильно его поразило. Как-то по-новому увидел он и Владыкина, и контр-адмирала, и Хазова, и всю катерную дружную семью, и весь тот умный, рассчитанный ход флотской службы, где взвешивается все, и где каждому человеку есть своя особая цена, и где каждый человек судьбой своей неразрывно связан с судьбами других во имя боеспособности одного только катера.

Владыкин заметил, очевидно, его взволнованность и дал ему время подумать над тем, что пришлось узнать. Он не торопясь уложил приказ обратно в папку и только потом продолжал:

— Хорошо, если понятно. Я вам всю эту механику для того рассказал, чтобы вы одну важную вещь поняли. Вот уперлись вы в свои отношения с боцманом и делаете две ошибки, непростительные для командира. Из-за этого вашего самолюбия вы в боцмане живого человека не видите. А боцман для командира катера первейшим другом быть должен. Иначе катеру — ни плавать, ни воевать. А что вы о Никите Хазове знаете, кроме того, что он вам на нервы действует? Ничего вам в нем не интересно, вы собой заняты. А что у него на душе, почему он такой хмурый да необщительный, на это вам наплевать. Не хотите вы к нему путь искать. Первая ваша ошибка.

Он сунул папку в стол и щелкнул замком.

— Вторая. Боцман вам все на катере заслонил, всех людей. А как, спрашивается, вы будете командовать катером в бою, если не знаете, кто у вас — кто? Кто чем дышит, чем живет, как фашиста ненавидит? Кого вы можете на смерть послать, чтобы он жизнью своей катер спас, а за кем в бою присматривать надо? Кому надо душевным разговором помочь, а на кого рывкнуть? Да, наконец, просто: кому водку можно перед походом дать, а кому после?.. Знаете вы все это? Ничего вы не знаете, а на катере уже две недели. Если бы контр-адмирал и командир дивизиона так же, как вы, людьми интересовались, торчал бы Хазов безвылазно в боцманах, а вы на крейсере так и мечтали бы о катере. Вторая ваша ошибка.

Он встал и тотчас привычно одернул китель, который

и так сидел на нем без складочки. Решетников тоже встал: этот жест Владыкина означал возвращение к официальному разговору.

— Так вот, товарищ лейтенант,— сказал Владыкин сухо.— Вы остаетесь командиром «СК 0944», и старшина первой статьи Хазов остается боцманом там же. От вас зависит срок, когда он получит звание мичмана и станет помощником командира. На сорок четвертом или на другом катере — это тоже зависит от вас. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан третьего ранга,— ответил Решетников.— Разрешите идти?

— Если действительно понятно, идите,— сказал Владыкин.

Не видя в глазах его ни улыбки, ни тепла, Решетников понял, что нынче с ним говорилось без всяких скидок на молодость и неопытность. Все в нем было растревожено и болело. Впервые в жизни он почувствовал, что с его поведением и поступками тесно связана чужая судьба, и непривычное это чувство никак не могло в нем уложиться и давило на сердце тяжелым грузом. Он как будто повзрослел за этот разговор.

— Разрешите вопрос, товарищ капитан третьего ранга? — сказал он, подняв опять глаза на Владыкина, и взволнованно спросил: — А Хазов... он об этом приказе знает?

— Знает вряд ли,— по-прежнему холодно ответил Владыкин.— А догадывается несомненно. Все к тому шло, он не маленький.

— Так как же мне с ним теперь, ведь это... — начал Решетников и вдруг опять глупо и смешно чихнул.

Владыкин не улыбнулся, но в глазах его проскочила искорка откровенного смеха, и Решетников понял, что не все еще потеряно.

— Вы в водку обязательно перцу подсыпьте, это лучше помогает,— сказал Владыкин.— Болеть вам теперь некогда. Понятно?

Но Решетников, не ответив на этот раз, что понятно, пошел к двери, понимая одно: что Хазов стал для него совсем другим человеком.

Глава седьмая

Разговор этот как бы встряхнул Решетникова. Вся его «ночная психология», как не без некоторого презрения расценивал он сейчас свои недавние переживания, казалась ему теперь мальчишеской и вздорной. На что потратил он драгоценное время? Целых две недели глубоко-мысленно решал вопрос, командир он или не командир, когда надо было просто становиться им. Он внутренне поклялся себе немедленно, сегодня же, начать вести себя как взрослый человек и прежде всего изменить свое подозрительное отношение к боцману, которое, вероятно, для того просто обидно.

Резкий ветер дул с моря холодно и ровно, и солнце светило не грея, но так сильно и ярко, что в воздухе стояла отчетливая прозрачность. Дорожка, ведущая в глубину бухты, где стоял «СК 0944», петляла среди низкорослых деревьев, еще лишенных зелени. Сквозь черное кружево сухих, голых ветвей странно белели гипсовые девушки с мячами и веслами — напоминание о том, что здесь когда-то был парк санатория. Домики его зияли теперь провалами вырванных рам или просто лежали на земле невысокими печальными грудями камней и досок. Но за черными ветками и разваленными стенами неотступно — то слева, то справа, то впереди, в зависимости от того, как поворачивала дорожка, — виднелось море. Море, от которого не уйти и к которому все равно придешь, как бы ни крутило тебя по жизни и как бы ни заслоняла его от тебя путаная сеть мыслей и сомнений...

Но хотя в воздухе была свежая, отрезвляющая прозрачность, мысли оттого не становились яснее. Наоборот, полная неизвестность, как же быть теперь с Хазовым, с katerом и вообще с морем и флотом, беспокоила Решетникова.

И словно в ответ его мыслям дорожка, повернув, поднялась на горку, и такая живая синяя ширь ударила ему в глаза, что он невольно остановился.

Пестрея по склонам домиками, садами, дворцами санаториев, которые издали казались целыми и нарядными, горы круто сбегали к воде, окружая бухту с трех сторон и обрываясь двумя мысами. Море, гонимое с юго-запада ветром, вкатывало сюда крупные, в барашках валы. По-

пав из вольного простора в тесноту бухты, они вырастали, выгибая спины, накатывались на берега и расплескивались по ним длинными шипящими языками, раскачивая по дороге все, что попадалось навстречу. И все в бухте шевелилось, билось, прыгало...

На середине ее мерно покачивался на якоре большой транспорт. Ближе к берегу быстро кланялись мачтами три серо-голубых миноносца. Возле них вздымались на волну наката сторожевые катера, ставшие на якорь подальше от пирсов, где их могло бить друг о друга. У пристаней, колотясь бортами и наскакивая на соседей, беспокойно кишели стайками мелкой рыбешки мотоботы, шхуны, сейнера и те маленькие катерки, чьи прозвища — «казмки» и «зисенки» — показывали их размеры. Неуклюжие гидросамолеты давно уже выбрались из воды и теперь, присев на песке, как большие нахохлившиеся пгицы, терпеливо выжидали, когда прекратится этот сумасшедший накат и можно будет сползти на притихшую воду, чтобы, с шумом пробежав по ней, вдруг оторваться и взлететь, потеряв кажущуюся свою грузность.

Накат и в самом деле был сильный, и привычное уже чувство беспокойства за катер охватило Решетникова. Вспомнив вдобавок, что боцман с утра ушел на базу раздобывать какую-то особую краску, он почувствовал, что ноги сами понесли его по дорожке. Однако, сообразив, что катер, наверное, уже перетянули за баржу со снарядами (как, по счастью, догадался он приказать перед уходом в штаб), лейтенант успокоился и снова повернулся к бухте, привлеченный действиями того единственного в ней корабля, который сейчас не отскаивался на якоре.

Это был сторожевой катер — совершенно такой же, как «СК 0944». Он полным ходом носился между мысами, зарываясь в волне, порой совсем исчезая в поднятых им брызгах, и время от времени за кормой его вставал черно-белый пузырь взрыва глубинной бомбы. Вдруг новый высокий столб воды, огромный и широкий, вырос совсем рядом с катером. Секунду-две он стоял в воздухе неподвижным толстоствольным деревом, настолько могучим и крепким, что ветер, не в силах его согнуть, лишь пошевеливал дымную черную листву. Потом в уши ударил тяжелый, медленный и раскатистый грохот, и звук этот словно подрубил фантастическое дерево: оно тотчас дрогнуло,

черно-белая пышная листва начала быстро осыпаться, обнажая голый ствол вертикально стоящей воды. Затем и он рухнул и рассыпался, открыв за собой катер, и Решетников облегченно вздохнул. Катер развернулся на обратный курс и упрямо сбросил одну за другой еще три бомбы.

Это называлось боевым тралением. Оно заключалось в том, что взрыв глубинной бомбы должен был заставить мину сдетонировать и взорваться в стороне от катера, который уже успел убежать вперед.

Угадать заранее, где именно взорвется очередная мина — поодаль от катера или прямо под его днищем, — никто не мог. Это зависело столько же от умения командира и от быстроты хода, сколько и от случая. Однако такое занятие считалось на катерах пустяком, не стоящим внимания, надоедливой, будничной работой, и ему не придавали значения.

Но в Решетникове, который ни разу еще не выходил на боевое траление, картина эта вызвала откровенную зависть и знакомое нетерпение. Ему уже хотелось скорее вывести катер из ремонта и начать боевую работу. Один такой пробег по воде, начиненной минами, сразу поставит всё на свои места и покажет, что же такое, в конце концов, лейтенант Решетников — командир корабля или существо в нашивках... Вот где по-настоящему командир проявляет себя!.. Именно в такой поединке со смертью, когда только его воля гонит катер на возможную гибель, когда малейшее колебание и неуверенность будут замечены всеми, когда позорная мысль...

Но тут он сморщился и звонко чихнул — и тотчас услышал за спиной знакомый голос:

— На здоровье, товарищ лейтенант...

Он обернулся. Его нагнал Хазов с большой банкой краски в руках.

— Спасибо,— сконфуженно сказал Решетников, внезапно сброшенный с облаков на землю.

Краска и боцман напомнили ему, что до «поединка со смертью», собственно, еще очень далеко и что покамест его ждут не подвиги, а обыкновенный командирский труд.

Некоторое время они стояли молча, Хазов — по всегдашней своей неразговорчивости, Решетников — не зная, что и как говорить после того, что услышал от Владыки-

на. Он искоса поглядывал на красивое, как бы печальное лицо боцмана, испытывая неловкость и смущение, и вдруг ему пришло в голову, что выражение постоянной печали и задумчивости, поразившее его в лице Хазова с первой встречи, может иметь неожиданно простое объяснение: не вызывалось ли оно тем, что своим появлением на катере он, Решетников, надолго отодвинул от боцмана близкую, почти схваченную мечту — быть самому командиром катера?.. Смешанное чувство стыда, виноватости и запоздалого раскаяния шевельнулось в нем, и он повернулся к Хазову, чтобы тут же душевно сказать ему что-то хорошее, дружеское, с чего мог бы начаться серьезный разговор, но в носу его опять нестерпимо защекотало, и он чихнул — громко, раскатисто, самозабвенно.

— Простыли вы, товарищ лейтенант, — сказал Хазов.

Еще утром Решетников, конечно, увидел бы в этом очередной урок и насмешку: вот видишь, мол, чего ты своим упрямством добился... Но теперь он услышал в этом что-то совсем другое — живое, простое, человеческое — и неожиданно для самого себя ответил:

— Вот не послушался вас, Никита Петрович, теперь и чихаю как нанятый...

Все было ново в этом ответе: и признание своего упрямства, и самая интонация, свободная и дружеская, и то, что впервые назвал он боцмана Никитой Петровичем. И Хазов, очевидно, понял все это, потому что посмотрел на него так же открыто и дружески и — удивительная вещь! — улыбнулся. Засмеялся и Решетников, почувствовав, что какая-то стена между ним и боцманом рухнула и что жить теперь очень легко.

— Капитан третьего ранга советует на ночь сто грамм хватить, — так же свободно продолжал он, сам удивляясь тому, как просто, оказывается, разговаривать с боцманом. — Поможет, как вы думаете?.. И горчицы в носки...

— Должно помочь. Только лучше в бане попариться, — ответил боцман.

И они двинулись вместе к катеру.

Чувство радостного облегчения продолжало веселить Решетникова, и он шел, поглядывая сбоку на боцмана, осторожно несшего банку с краской, и удивленно спрашивал себя, что же изменилось в Хазове, из-за чего с ним сразу стало так легко и просто? И вдруг догадался,

что изменилось что-то не в боцмане, а в нем самом — в его собственном отношении к Хазову.

Странное дело, тот не вызывал в нем теперь обычной настороженности и болезненного ожидания укола самолюбия. Наоборот, боцман, казалось, с явным любопытством и сочувствием слушал веселый вздор, который он понес, придя в отличное настроение. Ему почему-то вздумалось рассказать, как зимой приятели взялись в момент вылечить его от гриппа способом, похожим на тот, что рекомендовал Владыкин, и как лечение закончилось тем, что «врачи» без задних ног остались на городской квартире, а пациент зачем-то поплелся на крейсер, но ночевал не в каюте, а у коменданта города... Рассказывая это, он весело, счастливо и жадно посматривал на небо, на море, на боцмана, на улицу городка, в который они вошли.

Все, что попадалось ему на глаза, — безобразно разваленные бомбежкой домики, воронки в мостовой, грузовик, чавкающий в грязи и рыдающий шестернями сцепления, пехотинцы, варившие что-то в котелке на костре, разложенном в подъезде обвалившегося дома, корабли, качающиеся в бухте, голые тополя, гнущиеся от ветра, который продувал все небо, холодное и синее, — все это казалось ему интересным, примечательным, по-новому занимало и останавливало взор. У ворот дома, уцелевшего более других, стоял часовой в необъятном овчинном тулупе с косматым воротником. Решетников с тем же счастливым любопытством посмотрел и на часового.

— Вот это постройка. Глядите-ка, товарищ Хазов! — рассмеялся он, точно в первый раз увидел постовой тулуп, но тут же замолчал.

Неожиданная мысль осенила его. Он остановился перед часовым и так внимательно начал его рассматривать, что тот засмутился и на всякий случай стал «смирно», опустив огромные рукава, в которых винтовка выглядела зубочисткой. Хазов выжидательно вскинул глаза на лейтенанта, но тот щелкнул языком и двинулся вперед, увлекая его за собой.

— А что, боцман, — сказал он хитро и задорно, снова необычно (без прибавления «товарищ») обращаясь к Хазову, — а что, боцман, если нам штуки три-четыре таких на катер раздобыть, а?.. Чем вам не индивидуальная ходовая руска? И тепло, и сухо, и ветер не прошибет,



— А что, боцман, если нам три-четыре таких тулупа на катер
раздобыть?

и в любой момент скинуть можно. Подумайте, рулевому в такой хате стоять — красота!

Боцман оглянулся, окинул взглядом часового и второй раз за этот примечательный день улыбнулся.

— Соседи на смех подымут. Тулуп-то больше катера.

— Ну и пусть смеются да мерзнут,— убежденно возразил Решетников и с прежним оживлением продолжал: — Значит, рулевому — раз, командиру — два, сигнальщику... нет, сигнальщику не годится, в таких рукавах бинокля не подыметь... Вам — три...

— Мне-то ни к чему, товарищ лейтенант, а вот комендорам вахтенным... — перебил Хазов, видимо начиная соглашаться.

— Правильно, и комендорам — два. Значит, пять штук,— категорически сказал Решетников и тут же с удовольствием подумал, что это не владыкинская «стрельба по площадям», а прямая наводка.— Завтра же вырвите на базе, не дадут — сам пойду. Да они дадут, весна на носу, куда им беречь...

Постовые тулупы и точно на другой же день появились на «СК 0944», немедленно павлекши на его команду прозвище «дворники», пущенное штатным острословом дивизиона, командиром катера «0854» лейтенантом Бабурчёнком. Отношения же Решетникова с боцманом резко изменились, как будто прогулка эта имела решающее значение.

Собственно говоря, боцман вел себя по-прежнему, но Решетников не чувствовал уже давления на свою волю, как и не видел более в боцманских советах желания унижить нового командира и доказать его непригодность к командованию катером, что мерещилось ему раньше. Поэтому, не боясь, он сам теперь встречал боцмана по утрам целым залпом приказаний. И каждый раз, когда по одобрению, мелькнувшему в глазах Хазова, понимал, что приказанием предупредил его совет, новая нужная мысль осеняла его, и смелости и решительности в нем все прибавлялось.

Он чувствовал себя теперь как человек, который долго боялся поплыть без пузырей и пояса и вдруг, отважившись попробовать, с удивлением обнаружил, что вода его держит и что вовсе не надо думать, какой рукой и ногой когда шевелить. Чувство это было настолько замечатель-

ным, что Решетников, и по натуре человек веселый и живой, стал еще веселее и общительнее, что сильно помогло ему ближе знакомиться с командой катера.

Этому способствовало еще и то, что катер из-за ремонта стоял вдали от дивизиона и того полуразрушенного санатория, где, отдыхая от тесноты и сырости катеров, катерники обычно жили между походами. Поэтому весь экипаж «СК 0944» жил на катере (для чего Быков приспособил отопление и даже расстарался светом от движка соседнего армейского штаба), и Решетников проводил с командой целые дни. Он появлялся в машине у мотористов, занимался с комендорами у орудий, с минерами у стеллажей глубинных бомб, засиживался в кубрике по вечерам. В этой совместной работе и в разговорах он незаметно для себя все ближе узнавал людей и, хотя по-прежнему мечтал о первом походе, в душе был благодарен ремонту.

За это время он обнаружил, что те двадцать человек, которых до сих пор он объединял в смутном и безличном понятии «команда катера», все очень разные, все сами по себе, каждый со своим характером, привычками, взглядами, достоинствами и недостатками, и что у каждого из них до флотской службы была уж совсем не известная ему жизнь «на гражданке», определявшая их свойства. Оказалось еще, что знание сильных и слабых сторон каждого, а также и понимание их взаимоотношений, дружеских, неприязненных или безразличных, может значительно помочь в командовании катером.

Конечно, это была не очень-то свежая мысль. И, наткнувшись на нее в своих ночных размышлениях, Решетников справедливо подумал, что хвастаться этим очередным «открытием Америки» ни перед кем не стоит и лучше оставить его для личного употребления. Но старая истина, до которой он дошел своим умом, увлекла его своей непреложностью, и он стал пользоваться всяким случаем, чтобы разгадать внутреннюю сущность каждого из своих моряков.

Здесь его ожидали удивительные неожиданности. Так, например, выяснилось, что рулевой Артюшин, балагур и весельчак, разбитной и несколько нагловатый красавец, которому катерная молва приписывала неисчислимое количество жертв среди женского населения базы, на самом

деле отпрашивается каждый вечер на берег вовсе не для посещения очередной дамы сердца, в качестве которой все называли некую санитарку. Он действительно проводил отпускные часы в госпитале, но не у санитарки, а у радиста Сизова (раненного в том же бою, в котором был убит Парамонов), таскал ему скудные лакомства, какие можно было раздобыть в разоренном войной городке, и отчаянно ссорился с дежурными врачами и санитарями, которые, по его мнению, не обеспечивали Сизову должного комфорта и лечения.

Об этом Решетников узнал при своем посещении госпиталя, когда он пошел туда познакомиться с Сизовым и кстати поговорить с врачами — ожидать ли его поправки или требовать в штабе другого радиста. После, в разговоре с Артиушиным о Сизове, лейтенант выяснил еще одну важную подробность: в свое время, при уходе из Севастополя, Артиушина сбросила за борт взрывная волна, и он мог бы вовсе пропасть (ибо контузия, по его словам, «отшибла всякое политико-моральное состояние» и он плавал, «как бессознательное бревно»), если бы не Сизов, который кинулся за ним в воду, поймал его и держал на себе, пока катер не изловчился их подобрать.

— Значит, с тех пор и подружились? — спросил Решетников, которому психологическая ситуация показалась вполне ясной.

Артиушин посмотрел на него с ироническим удивлением.

— А с чего ж он тогда за мной спикировал? Мы давно с ним дружки, с самой Одессы.

Решетников смутился.

— Да, паренек действительно ничего, — сказал он, что-бы что-нибудь сказать. — Сколько ему лет-то?

— Шестнадцать. Морячок хороший. Тихоня только.

— Какой же тихоня, если за вами кинулся?

— Это он со страху.

— Непонятно, — сказал Решетников.

— За меня испугался. А для себя он ничего не делает, больно тихий. До того тихий, аж злость берет. За ним не присмотришь — вовсе пропадет... Да вот, возьмите, товарищ лейтенант: вчера прихожу, а ему всё этого не достали... как его... сульфидину. Главный врач уже когда приказал, а они чикаются.

Решетников самолюбиво вспыхнул: как и при первом знакомстве, в словах Артюшина ему снова почудился прямой упрек — какой же, мол, ты командир, если не знаешь, что твоему моряку нужно?..

— Я спрашивал, не надо ли чего, а он не говорит.

— Он скажет!.. — зло фыркнул Артюшин. — Я на его месте дал бы жизни, все утки в палате взлетели бы, а он лежит да молчит... Гавкнули бы там на кого, товарищ лейтенант, этак его два года на катер не дождешься...

— Я разберусь, — сказал Решетников. — Завтра там буду.

Артюшин помолчал и потом, глядя в сторону, спросил совсем другим тоном:

— Боцман говорил, замену ему в штабе хотите просить?

— Не знаю еще. Как с поправкой пойдет.

Артюшин поднял на него глаза:

— Дождаться б лучше... Радист больно боевой, без него катеру трудно будет, — сказал он, убедительно глядя на лейтенанта, но по взгляду его Решетников понял, что трудно будет не катеру без такого радиста, а самому Артюшину без друга.

Он усмехнулся:

— Ну вот... А говорили — тихий.

— Так он для себя тихий, — оживился Артюшин, — а для немца гроза морей и народный мститель, ей-богу! Старший лейтенант Парамонов два раза его представлял — за Керчь да за Соленое озеро, а он все с медалькой ходит, я уж смотреть не могу, перед людьми стыдно... Да ему за один последний бой орден полагается — поспрошайте ребят, как он ползком снаряды подавал, когда ему ноги посекло... У него к фашистам особый счет...

И он рассказал одну из тех тысяч юношеских трагедий, на которые так щедра оказалась война.

В сентябре 1941 года «СК 0944» конвоировал пароход, увозивший из Одессы раненых и эвакуируемые семьи. На рассвете «юнкеры» — три девятки против трех катеров — утопили пароход и потом прошлись над морем, расстреливая из пулеметов тех, кто ухватился за обломки. Катера подобрали уцелевших. Среди них «СК 0944» нашел паренька — одной рукой он держался за пустой ящик, а другой поднимал над водой голову девочки лет

десяти, стараясь дать ей дышать и не замечая, что она убита. До самой Ак-Мечети он так и просидел на корме молча у маленького мокрого тельца, а когда подошли к пристани, выскочил и побежал к двум другим катерам. Те выгрузили спасенных и ушли в Севастополь, а «СК 0944» остался чинить повреждения, и утром Артюшин снова заметил паренька: он сидел на пристани и молча глядел в воду. К обеду, увидев его на том же месте и в той же недвижной позе, Артюшин пошел к нему, чтобы затащить его на катер поесть. И тут выяснилось, что паренька зовут Юра Сизов, что убитая девочка была его сестрой, что на катерах он не нашел среди спасенных ни матери, ни отца (его везли в Севастополь с оторванной при бомбежке завода ногой) и что теперь ему, Юрке, остается одно: прыгнуть в воду, откуда он не сумел вытащить никого из родных.

Внезапная пустота, которая разверзлась в мире перед Юрой, потрясла и Артюшина, а неподвижный взгляд, каким подросток уставился в воду, рассказывая все это, не на шутку его испугал. Он уговорил командира катера не бросать паренька в Ак-Мечети, а взять с собой в Севастополь и куда-нибудь пристроить. Ремонт затянулся на четыре дня, и за это время Артюшин, который, «сам не зная с чего», привязался к Юрке, узнал, что тот — радист-любитель, коротковолновик с дипломом. Артюшин снова пошел к командиру, и все обошлось как нельзя лучше: Сизова оставили на катере добровольцем, а веселый он стал штатным радистом и вполне себя оправдал и как моряк и как техник...

Артюшин говорил о Сизове так тепло и душевно, что Решетников подивился, откуда в этом насмешнике и зубоскале, попасть кому на язык опасались все на катере, взялось такое глубокое, почти отцовское чувство. Слушая его, Решетников особенно остро ощутил свое одиночество — вот не дает же ему судьба иметь в жизни такого друга, который и жалел бы его и думал бы о нем... Он настроился было посочувствовать самому себе, но с удивлением заметил, что думает совсем о другом: о том, что просить о замене радиста будет вовсе неправильно. Во-первых, неизвестно, кого еще дадут, а Сизов, видимо, парень стоящий, во-вторых, и на Артюшине разлука, несомненно, отразится, и тот потеряет свой веселый харак-

тер (который он, Решетников, в нем ценил, рассматривая артюшинские шутки как необходимые «психологические витамины»), и все это вместе взятое помешает катеру в бою.

Придя к такому выводу, Решетников поздравил себя с тем, что начинает наконец думать как командир: ход мыслей у него получился совершенно владыкинский. Обрадовавшись этому, он немедленно начал действовать. Сульфидин ему удалось раздобыть в армейском госпитале, наградные листы, залежавшиеся в штабе, произвели свое действие, и Владыкин лично вручил Сизову орден Красной Звезды. Об Артюшине же думать не приходилось: тот сиял как медный грош, работа в его руках кипела, и «психологические витамины» выдавались без карточек, поднимая настроение команды в трудном деле ремонта.

Как обычно бывает, успех подстегнул Решетникова, и он, что называется, «с ходу» выправил и свои отношения с главстаршиной Быковым, которые неожиданно разладились на пятый или шестой день его командования катером. Вначале они были хороши: механик нахвалиться не мог новым командиром, ибо тот с места горячо взялся за ликвидацию окаянной «трясучки», из-за которой «СК 0944» на дивизионе называли «маслобойкой» или «трясогузкой» с легкой руки лейтенанта Бабурчénка. Решетников собирался уже доложить командиру дивизиона о необходимости поднять катер на эллинг, но, узнав, что для этого надо идти в Потти, наотрез отказался говорить о «трясучке» с Владыкиным. Быков нахмурился, и отношения его с новым командиром заметно окислились.

Это обстоятельство, правда, беспокоило Решетникова не так, как начавшие тревожить его в ту пору непонятные взаимоотношения с боцманом Хазовым, но все же мысль о том, что механик смотрит на своего командира косо, была ему неприятна. Поэтому лейтенант прилагал все силы, чтобы помочь катеру в другой его беде — в замене компрессора, необходимого при заводке моторов.

Дело это было нелегкое. Компрессор на северной базе катеров считался едва ли не самым дефицитным механизмом, а, кроме «СК 0944», он пришел в негодность еще на трех катерах. При каждом посещении штаба Решет-

ников обязательно заходил к дивизионному механику (которого командиры катеров почему-то называли между собой не по должности или по фамилии, а просто Федотычем). Но тот только молча отмахивался от него, как от мухи. Да Решетников и сам понимал всю ничтожность своих шансов на получение компрессора: конкурентами его были известные всем командиры заслуженных боевых катеров, а один из них вдобавок — лейтенант Бабурченок, который славился на дивизионе не только как признанный остролов, но и как безотказный «доставала» всяких дефицитных материалов.

Доставал их, собственно, его механик, мичман Петляев. До призыва из запаса он работал заведующим отделом снабжения крупной механической мастерской и навыки свои перенес на катерную службу: у него и здесь завелись всюду знакомства, он в точности знал, куда и когда прибывает какое-либо сокровище по механической части, а также от кого именно зависит получение его для катера. И тогда в дело вступал уже Бабурченок, добивавшийся необходимой резолюции. Сообразно разведывательным данным Петляева, лейтенант, попадая в Потн, появлялся в очередном кабинете — директора завода, флагманского механика Управления тыла или какого-нибудь начальника склада — и получал необходимую резолюцию, влияя на их психику либо природной своей веселостью и удивительным, ему одному присущим обаянием, либо прибегая к некоему безотказному приему.

Он заключался в том, что, обычно жизнерадостный и шумный, Бабурченок входил в кабинет, как в воду опущенный, и начинал вздыхать и горько жаловаться на то, что из-за отсутствия на базе дивизиона каких-нибудь паршивых прокладок или несчастного карбюратора боевой, заслуженный катер не может выйти на важное задание (в разговоре с людьми, далекими от оперативной жизни флота, Бабурченок тут таинственно намекал на особое значение этого похода, от которого зависят события ближайших месяцев войны). При этом его круглое, живое лицо с тугими, похожими на румяные яблоки, щечками, между которыми торчал смешной востренький носик, непостижимо приобретало такое унылое, даже трагическое выражение, что обычные жестокие слова отказа самый бездушный страж дефицитных богатств про-

износил с трудом и даже почему-то оправдывался. Слушая его неловкие объяснения, Бабурченок сочувственно кивал головой и время от времени повторял убитым тоном одно и то же:

— Вот ведь беда какая, а нам нужно... Как же быть?

Видимо, в хитрой этой формуле была заключена какая-то гипнотическая сила, потому что, услышав в пятый или в седьмой раз такое заклинание и чувствуя на себе взгляд этих чистых и ясных глаз, устремленных на него с печальной надеждой и почти детской верой в чудо, любой охранитель механического добра ловил себя на том, что рука его тянется к перу, перо — к бумаге и что на заявке, каким-то образом очутившейся на столе, перо это само, как бы помимо его воли, выводит разрешительную надпись: «Отпустить»...

Примечательно было то, что лейтенант Бабурченок и сам толком не знал, зачем ему, собственно, все эти разнообразные дефицитные богатства, и добывал их из какого-то спортивного азарта. Зато пользу этого хорошо понимал мичман Петляев: обменивая у механиков других катеров, в зависимости от спроса, клингерит на сверла, баббит на карбюраторы, асбест на какие-нибудь торцовые ключи, он постепенно создал свой золотой фонд материалов и инструментов, благодаря чему мог считать себя независимым от случайностей снабжения. И, узнав (как всегда, первым), что из Поты прислали один-единственный на весь дивизион компрессор, Петляев тотчас подсказал своему командиру, что тому следует сделать, чтобы заполучить компрессор для катера.

До «СК 0944», стоявшего в ремонте вдали от штаба, эта новость дошла много позже. Еще неделю назад Решетников покорно примирился бы с мыслью, что компрессор все равно ухватит Бабурченок, следующие дадут Усову и Сомову и уж только тогда вспомнят об «СК 0944» с его никому не известным командиром. Но в том новом для него состоянии уверенности в себе и в своей удачливости, которое стало для него уже привычным, Решетников помчался в штаб. В крохотной комнатухе Андрея Федотыча он застал всех троих конкурентов, каждый из которых действовал своим способом.

Аккуратный и выдержанный старший лейтенант Сомов пытался получить компрессор в полном согласии с

установленным служебным порядком. Главным и единственным его оружием были акты об окончательной непригодности компрессора, подписанные самим же Андреем Федотычем.

Другой претендент, лейтенант Усов, рассудительный и тихий юноша с двумя орденами, избрал обходный маневр: он великодушно предложил снять свой катер с повестки дня, что заставило Андрея Федотыча вскинуть на него глаза. Тогда Усов так же негромко и спокойно пояснил, что компрессор у него не так уж плох и в умелых руках может работать как часы и если Андрей Федотыч пообещает присматривать за ним сам при возвращениях катера в базу, то нового и не потребуется (говоря это, Усов отлично знал, что Федотыч уже трижды копался в его компрессоре и, выбившись из сил, обозвал его «дырявым примусом»).

Бабурченок же выдвинул совсем новое предложение. По его мнению, решить, кому нужнее всего этот окаянный компрессор, без катерных механиков невозможно. Надо собраться с ними на какую-нибудь конференцию круглого стола и договориться по-хорошему — в конце концов, им виднее, ведь командиры катеров говорят с их слов. И тут же, забавно морща носик, добавил, что так как утром на контрольном тралении у него на катере наглушили мировую рыбу, то эту конференцию он предлагает устроить нынче же вечером, для чего приглашает обоих своих конкурентов и их механиков, а также и самого Федотыча «на классную уху под юбилейным соусом», намекая на коньяк, снова присланный женой из Тбилиси.

Эта конференция была подсказана ему Петляевым, который уже договорился с обоими механиками (решетниковский катер он в расчет не принимал по причине отсутствия на нем серьезного командира). Смысл пакта заключался в том, что Петляев предоставляет им из своего золотого фонда множество мелких, но позарез нужных обоим приборов, инструментов и материалов. За это те обязуются не только не драться за компрессор, но, наоборот, убедить своих командиров, что можно пока походить и со старыми, а присланный уступить Бабурченку, которому без него просто труба.

Однако ни документация Сомова, ни тихая подначка

Усова, ни дипломатия Бабурчёнка никак не срабатывали. Федотыч, соображая что-то свое, молча копался в потрепанной записной книжечке, где у него значились бедствия и претензии всех катеров, и, не дослушав Бабурчёнка, рассеянно махнул рукой на всех троих:

— Не скулите в служебном помещении. Думать мешаете. Тут по справедливости надо. Дам, кому всего нужно.

— Тогда, значит, мне,— в каком-то внезапном вдохновении сказал Решетников из-за спин своих конкурентов, и все трое возмущенно обернулись.

Федотыч, прищурясь, устало на него посмотрел:

— А в честь чего же именно вам?

— Очень просто,— уверенно ответил Решетников.— Вот вы послушайте, товарищ капитан-лейтенант, и сами согласитесь.

— Попробуйте,— сказал Федотыч, не без любопытства рассматривая Решетникова.

— Ну вот, скажем, старший лейтенант Сомов: он ведь последние ресурсы добывает, все равно скоро поставите его на переборку моторов. Зачем же ему сейчас новый компрессор, так ведь?

— Допустим, так,— кивнул головой Федотыч.

— А лейтенанту Усову на днях «катюшу» будут устанавливать, все уж ему завидуют,— значит, тоже на приколе будет пока. Привезут из Потти еще компрессор, ему и дадите, а этот мне: я скоро из ремонта выхожу, мне плавать, а не стоять...

— Здравсте, Настя! — вскипел Бабурчёнок.— Что же, на всем дивизионе одна ваша маслобойка в строю? А я, например, не плаваю, что ли?

Решетников, благоразумно пропустив мимо ушей «маслобойку», миролюбиво повернулся к нему:

— Плаваете, Сергей Матвеевич, да еще как плаваете, сами того не знаете! С контр-адмиралом нынче ночью идете, вас оперативный уже ищет...

— Неужто в Потти? — оживился Бабурчёнок.

— Сам слышал,— подтвердил Решетников и с непонятной самому себе отвагой добавил: — Вот вы хвастаетесь, что все умеете достать. Неужели компрессора там себе не достанете?

Он ожидал какого-нибудь ядовитого ответа, но, к

удивлению его и всех остальных, Бабурченок вроде даже сбридовался и весело подхватил:

— Факт достану, и даже в целлофане с бантиками! Все ясно, более того: ясно и понятно. Товарищ капитан-лейтенант, отдайте компрессор юноше — неплохо товарищ воображает. А себе я уж как-нибудь раздобуду...

Федотыч помолчал и, пометив что-то у себя в книжке, поднял глаза сперва на Решетникова, потом на Бабурченка:

— Добро. Присылайте Быкова, завтра и начнем менять. А вы через час зайдите, бумажку флагмеху возьмете.

— Да мне не надо, я и так достану,— самонадеянно сказал Бабурченок.

— Нет, возьмете,— настойчиво повторил капитан-лейтенант,— для всех троих будете доставать. Хоть раз для общества постарайтесь, не всегда же для своего хутора... У меня все. Не мешайте работать.

И Федотыч опять уткнулся в свою «колдовку», где значились ранения, контузии, увечья и болезни, приобретенные катерами в боях и в походах,— никому не видный и мало кем знаемый боевой послужной список маленьких героических корабликов, второй год ведущих большую и тяжелую войну.

Каким-то образом — может быть, благодаря Федотычу, которому Решетников на этот раз понравился,— о находчивости и энергии нового командира «СК 0944», сумевшего отнять компрессор у самого Бабурченка, стало известно на дивизионе. Дошел этот случай, конечно, и до Быкова, и тот по-своему оценил его, увидев в поступке Решетникова самое драгоценное, по его убеждению, командирское свойство: заботу о машине корабля. За долгую службу Быков повидал и таких командиров, которые считали, что их дело — играть на мостике рукоятками машинного телеграфа, а как ответит машинное отделение—это уж дело механика, с которого нужно только построже спрашивать. Новый командир опять приобрел его расположение, а о случае с ремонтом вала Быков великодушно забыл, тем более что, по совести говоря, с «трясучкой» можно было и плавать и воевать, а с ненадежным компрессором нельзя было ожидать безотказной заводки мотора, что, понятно, было важнее.

И это свое расположение Быков выразил в удивительной форме. Дня через три Решетников ушел на весь день в море на катере Сомова (Владыкин все чаще стал посылать его на других катерах — «для освоения ремесла»). Вернувшись к ночи и ложась в свою узенькую и короткую койку, он с удивлением почувствовал, что ноги его не упираются, как обычно, в переборку, а свободно вытягиваются в каком-то невесть откуда взявшемся пространстве. Лейтенант включил свет и рассмеялся: часть переборки была вырезана, и к отверстию был приварен аккуратный, даже покрашенный железный ящик, для которого видимо, пришлось занять в кают-компании низ левого посудного шкафчика (что утром и подтвердилось). Он снова лег, впервые за все это время с наслаждением протянув усталые ноги, и заснул вполне счастливым, успев только с гордостью подумать о том, что, кажется, и впрямь сжился со своим экипажем и что с каждым днем ему на катере все интереснее и легче.

Глава восьмая

В детстве человек обладает удивительной способностью одухотворять окружающие предметы и явления, видеть в вещах живые, лишь не умеющие говорить существа и воображать в них свойства почти человеческие. С годами эта способность обычно теряется: жизнь заставляет трудиться, бороться, иные, серьезные заботы занимают ум, сердце черствеет, воображение вянет — человек разучается творить из порядком надоевших ему за долгие годы предметов и явлений особый мир, чудесный, волнующий, отдохновительный. И только в состоянии высокого напряжения всего существа, в моменты большого подъема — будь то любовь, вдохновенный труд, какое-то громадное горе или такая же огромная радость — человек вновь обретает забытую способность преображать мир. И мир снова, как в детстве, разделяет его чувства — все смеется, торжествует или рыдает вместе с ним и говорит о его любви, замысле, горе, победе.

Но спадает подъем, проходит любовь, закончен труд, утихает горе — и мир снова тускнеет. Краски его гаснут,

мечта отлетает, предметы теряют свой голос, и чудесные их шепоты более не слышны: платок становится простым куском материи, чертеж — листом бумаги, орден — привычным отличием, знаком заслуг. И порой, глянув на них, затоскует человек о том прекрасном, совершенном, волнующем, что было в нем самом тогда, когда целовал он этот платок, спорил с чертежом и видел капли горячей своей крови в эмали ордена. Хотел бы он оживить вновь эти предметы, придать им прошлую силу рождения чувств, но сердце уже закрыто, и лишь воспоминание кольнет его тонким и острым своим жалом.

Алексей Решетников был как раз в том приподнятом состоянии нравственного подъема, когда восприятия обостряются, углубляются чувства, ум становится гибким и быстрым, что объясняется высоким напряжением всех духовных и умственных сил человека, и когда жизнь, работа, люди, природа — все кажется ему в особом, одухотворяющем свете. Обычно такое состояние и рождается успехом и само рождает новый. Так было и с Решетниковым: словно пелена какая-то спала с его глаз, будто путы свалились с рук, — он видел ясно, что ему надо делать, и всё, даже мелочи, делал удачливо, верно, как бы вдохновенно. Он сам не смог бы сказать, когда это началось. Видимо, один успех дополнялся другим, тот — третьим, подобно тому как первые гребки разгоняют тяжелый баркас, пока он не наберет ход и не приобретет того запаса движения, при котором гребцам остается лишь подгонять легкими ударами весел грузный его ход, разрезающий воду.

В этом счастливом состоянии Решетников сумел взять в руки свой первый в жизни корабль значительно скорее, чем мечтал об этом сам. Решающим обстоятельством было, несомненно, то, что с тех пор, как отношение его к Хазову после разговора с Владыкиным резко изменилось, он неустанно и действенно искал в отношениях с остальными подчиненными верного и точного своего места. Так ему удалось это сперва с Артюшиным, потом с Быковым, так продолжал он узнавать, определять остальных — и скоро небольшое его войско начало для него проясняться.

Он не мог еще, конечно, сказать с уверенностью, кого, по выражению Владыкина, можно на смерть послать, а за кем в бою присматривать надо, но многое уже знал

из своих постоянных встреч с людьми на занятиях, на ремонте и на отдыхе, из шуточных или серьезных бесед на пирсе в вечерние часы, когда бухта сумеречно темнела, но до очередного визита самолетов было еще далеко. Все это нужно было как-то свести в систему, подытожить, запомнить. Так возникла у Решетникова мысль завести записную книжку вроде той, которую он часто видел в руках Владыкина и в которую тот при разговоре порой вписывал что-то своим мелким, но очень четким почерком.

Эту книжку лейтенант Бабурченок по аналогии с известными «Мореходными таблицами», предусматривающими все случаи штурманской жизни, называл «психологическими таблицами». Он утверждал, что по ним Владыкин мог определить, кто с кем поругается завтра из-за приемки горючего, кто когда может рассчитывать на орден, а кто — на штрафной батальон, и кому какой сон приснится в будущую среду, — до того, мол, подробно и точно составлены там характеристики всех офицеров дивизиона, непрерывно дополняемые.

Впрочем, что именно помечал там командир дивизиона, никому не было известно, в том числе и Решетникову, и, подумав, он решил сделать свою книжку вроде той, о которой читал, кажется, в биографии Золя, куда знаменитый романист записывал о своих героях решительно все, начиная с цвета волос. Каждому из своих подчиненных Решетников отвел по равному числу страничек и для начала два вечера подряд добросовестно заносил туда их анкетные данные, места по боевому расписанию и продолжение службы.

При этом занятии выяснилось, что на катере все, за исключением лишь Сизова и Жадана, были старше своего командира. Хазову оказалось на десять лет больше, Быкову — на восемь, а «годок» лейтенанту нашелся только один: командир отделения минеров, старшина второй статьи Антон Чайка, с которым Решетников действительно чувствовал себя свободнее, может быть, потому, что Чайка был секретарем комсомольской организации дивизиона и с ним еще в первые дни Решетников заговорил по душам. Именно Чайка раздобыл по его просьбе маленькую фотографию Парамонова, с которой и был увеличен портрет, висящий в восьмиместном кубрике. Обнаружилось еще одно не очень приятное для Решет-

никова обстоятельство: не говоря об остальных, даже Микола Жадан был в своем первом бою уже тогда, когда новый командир катера еще сдавал государственные экзамены при окончании училища...

На третий вечер дело дошло до главного: теперь можно было коротко и точно записать под фамилией каждого, что же представляет собой ее владелец как советский человек и как военный моряк. И тут Решетников понял, что никакой он не Владыкин и даже не Золя.

Начал он с лейтенанта Михеева, который по должности помощника командира катера открывал собой книжку. Решетников жил с ним бок о бок, все время наблюдал его и в повседневной службе, и на ремонте, и в отношениях с командой, но ничего не мог придумать, что о нем написать. Все в Михееве было в меру правильно, спокойно, как говорится, нормально, ни плохого, ни хорошего. Судя по рассказам матросов, в бою, где погиб Парамонов, держался он неплохо. Но был какой-то «обтекаемый» — не привлекающий к себе ни внимания, ни участия и в то же время не отталкивающий от себя. Бывают же такие люди, о которых решительно нечего сказать...

Решетников вздохнул и перешел к Быкову, фигура которого с недавнего времени стала для него совсем ясной. Он уверенно начал писать: «Патриот машины. Угрюм, но отзывчив. Скромн, неразговорчив...» — и вдруг вся эта затея показалась ему вовсе не нужной.

Лейтенант в сердцах захлопнул книжку. Вероятно, Владыкин записывал как-то иначе (он дорого бы дал, чтобы взглянуть, что там говорилось о нем самом), — а тут получалась какая-то унылая казенщина, вроде классического сочинения на тему «Характерные черты героев романа «Обрыв». Да и к чему, собственно, эти записи? Не знает он, что ли, своих людей? Неужели надо записывать, что при первой возможности следует списать с катера моториста Лужского, проныру и шептуна, который никак не может примириться с тем, что он, в прошлом шофер какого-то ответственного трестовского замзава, прозябает на катере в должности рядового моториста и поэтому подкапывается под старшину Ларионова и капает на Быкова? Или то, что Петросяна, заряжающего кормового орудия, при ночной стрельбе надо ставить к

прицелу, потому что он горец-пастух и ночью видит лучше штатного наводчика Капустина?.. Нет, книжкой можно только засушить то живое и ясное, что пробуждается в памяти при каждом имени... Ну ее, эту литературу!..

Рассуждая так, он разделся и лег в койку, с удовольствием чувствуя, что ноги никуда не упираются даже кончиками пальцев, и уже совсем собрался заснуть, как вдруг его осенила неожиданная мысль. Он зажег свет и на странице книжки, отведенной Быкову, неторопливо и аккуратно написал одно только слово: ногохранилище.

Этим словом лейтенант Бабурченок, который после случая с компрессором почувствовал к Решетникову внезапное расположение, перешел с ним на «ты» и стал захаживать на «СК 0944», окрестил быковское изобретение. Конечно, нельзя было короче и выразительнее записать всю историю взаимоотношений механика катера с новым его командиром и одновременно объяснить, что за человек этот «угрюмый, но отзывчивый» Быков. Решетников поздравил себя с очередным открытием: вот так и надо вести эту книжку — записывать в ней не «характеристики» людей, а их поступки, которые именно и характеризуют их!.. И тут же написал на странице Артюшина: сульфидин. Так же быстро нашлась запись и для Жадана: магнит. Впрочем, подумав, Решетников написал то же слово и на страничке Антона Чайки. Это было справедливо: именно Чайка пришел на помощь Жадану, когда тот ошалело смотрел в воду у пирса, куда только что в спешке вывернул бачок, в котором были им же самим положенные вилки, ложки и ножи со всего катера. Свидетели этого несчастья покатывались со смеху, глядя на его растерянное лицо, а Жадан чуть не плакал, ненавидя себя за растяпистость и ужасаясь, как же будет он сейчас кормить матросов ужином. И, когда Чайка, полностью оценив положение, не поленился притащить из мастерских намагниченную болванку и начал удить ею погибшую было утварь, Жадан ожил — и с тех пор говов был за Чайку в огонь и в воду.

Так начала заполняться решетниковская «колдовка», которую он носил всегда при себе. То и дело в ней появлялись записи — короткие и никому не понятные, но для него означавшие события, поступки людей, их свой-

ства. И только странички, отведенные боцману Хазову, оставались пустыми.

С каждым днем боцман становился Решетникову все ближе остальных. Лейтенант настоял на том, чтобы он обедал и ужинал в кают-компании вместе с остальным командным составом, утверждая, что боцман, какое бы звание ни имел, по существу является вторым помощником командира, и, подчеркивая это, называл его вне службы Никитой Петровичем. Вечерами он часто уводил его к себе в каюту или тащил прогуляться перед сном по стенке — и там они разговаривали на самые разнообразные темы.

Обычно говорил Решетников, а Хазов больше молчал. Но молчал он как-то особенно: в самом молчании его чувствовался несомненный интерес, а в коротких репликах было явное понимание, и порой они наводили Решетникова на новые мысли. Ничего другого для него пока не требовалось: он был из того сорта людей, которым необходимо думать вслух и мысль которых в молчании сбивается или вянет. Наоборот, в разговоре она в нем играла, он делал тогда счастливые для себя находки и лучше их запоминал, а то, что собеседник молчал, его даже устраивало.

Конечно, Решетников мог записать на боцманских страничках уже много выразительных слов, которыми, как вехами, отметился бы его далеко не прямой путь сближения с Хазовым. Но оттого ли, что из них трудно было отобрать наиглавнейшее, самое определяющее, или из какой-то почти суеверной боязни испортить едва начинающие крепнуть отношения, которые были для него так дороги и которые он не смел еще называть дружескими, — он не решался начать. Ему казалось, что если найденным им способом можно обозначить свое отношение к любому другому человеку, то к Никите Петровичу, к его поступкам или суждениям ярлычка никак не прилепишь, и что это так же невозможно, как записать словами музыку.

Но, впрочем, он все-таки сделал первую запись, хотя событие, отмеченное ею, само собой врезалось в память как некое открытие.

Произошло оно после одного значительного разговора с лейтенантом Бабурчёнком. Тот нравился Решетникову все больше. Ему начинало даже казаться, что Сережа

Бабурченок в какой-то степени может заменить ему Ваську Глухова, который теперь воевал на Балтике. Решетникову явно недоставало именно такого дружка-сверстника, с которым можно было и пооткровенничать, и посмеяться, и посоветоваться о разных пустяках, но от которого не к чему требовать того, что связано с большим и значительным понятием «друг». А именно такие беспечные, приятельские отношения у них сами собой и налаживались.

Однажды, возвращаясь с командирских занятий (Владыкин собирал на них всех, кто не был в море, и строго за этим следил), Решетников припомнил почему-то разговор у Федотыча и поинтересовался, как же это Бабурченок так легко, без боя, уступил тогда такую драгоценность. Тот, посмеиваясь, признался, что новый компрессор, который он сумел в свое время раздобыть, давно уже ждал его в Потти, но катер все не мог туда попасть, а когда Решетников сообщил о походе с контр-адмиралом, обстановка изменилась.

— Повезло тебе, Сергеич,— заключил он, подчеркивая этим обращением свое особое расположение к Решетникову,— прямо сказать, повезло... Кабы не это, не видать тебе компрессора как своих ушей,— такую хитрую механику мой механик тогда подстроил...

Однако этой хитрой механики Решетникову он не раскрыл, умолчав и о пакте Петляева, и о дипломатической ухе, за которой пакт должен был оказать свое рассчитанное действие. По правде говоря, рассказывать об этом Решетникову ему совсем не хотелось: было в петляевском замысле что-то циничное, отталкивающее, нечестное по отношению к товарищам, таким же командирам катеров; и еще тогда, у Федотыча, лейтенант Бабурченок раскаивался, что послушался Петляева и заварил эту паршивую уху. Потому так и обрадовала его новость о походе в Потти, развязавшая ему руки, и потому же, вероятно, он чувствовал невольную благодарность к Решетникову, который, сам того не зная, помог ему выпутаться из неприятного положения.

И тут же, как бы в отплату, Бабурченок великодушно предложил Решетникову любую помощь в ремонте материалами и деталями.

— Твой этот Быков какой-то малахольный, с ним пропадешь,— сочувственно сказал он.— Никакой оперативно-

сти, я еще Парамонову это говорил. Все он в стороне, все в одиночку... А механикам дружно падо жить, колхозом, делиться друг с другом: нынче я тебе клапан, завтра ты мне какую-нибудь, черт ее знает, фасонную прокладку... У настоящих механиков, кто за свое дело болеет, вообще между собой всегда какая-то спайка, товарищество, взаимовыручка, а у нас на дивизионе, ты приглядишься, особенная. А кто этого добился? Мой Петляев. Вот твоего Быкова недолюбливают, а Петляева на руках носят. Чуть что — к нему: всем поможет, все раздобудет, чего другим и не снилось. Настоящий хозяин!.. Я тебе по дружбе говорю, Сергеич: простишься ты со своим мямлей, подыщи молодого, шустрого, делового — тебе же легче служить будет... Да что далеко искать? — вдруг воодушевился Бабурченок, решившись окончательно облагодетельствовать нового приятеля. — Хочешь, я тебе своего Слюдяника отдам?.. Старшина первой статьи, орел, мотор знает — прямо жуть! Второй год у меня командиром отделения мотористов плавает, я бы из него уже механика себе сделал, если бы не дали из запаса Петляева... Да он ему и не уступит, Петляеву, — ртуть-парень, и работа в руках горит, и все из-под земли достанет, это тебе не Быков! Его давно пора в главстаршины произвести да в люди выводить!.. Я весной его Парамонову сватал, да покойник привык к своему Быкову — и ни в какую... А тебе зачем к нему привыкать?.. Ну, так сговорились, что ли? Завтра к Владыкину, доложим — он тут же и приказ: обожает выдвиненцев — из матросов да в офицеры, из мотористов — в механики...

Бабурченок навалился на Решетникова со своим неожиданным предложением так напористо, что тот растерялся и даже обещал подумать. И, только добравшись до катера и оставшись один, он точно пришел в себя, и ему стало стыдно и неловко, будто, не сумев сразу ответить отказом, он как бы предал Быкова.

Но, словно нарочно, утром Быков принес ему на подпись повторную заявку Федотычу на всякие мелочи, из-за которых задерживалась сборка левого мотора, и Решетников предложил ему сперва поспросить у мичмана Петляева, не выручит ли тот чем сможет. Быков, и так озабоченный своими неполадками, еще больше насупился.

— Нет уж, товарищ лейтенант, как хотите, а к Пет-

ляеву я на поклон не пойду,— твердо сказал он.— Выручить-то он выручит, да потом за два болта цельный мотор из меня вытянет.

— Как знаете,— несколько раздраженно ответил Решетников, подписывая заявку, и подумал, что Бабурченок, пожалуй, прав: тяжел Быков, неуживчив с другими и, конечно, катеру от этого пользы мало.

И вчерашнее предложение показалось ему не таким уж диким. Во всяком случае, о Слюдянике стоило подумать, примериться, взвесить...

Но ни примерять, ни взвешивать ему не пришлось — так неожиданно повернулось все дело.

Это произошло дня через три-четыре на партийно-комсомольском собрании, втором за время службы его на дивизионе. На повестке стоял доклад инженер-капитан-лейтенанта Менделеева (Решетников не сразу сообразил, что это просто Федотыч) о мерах ускорения и улучшения послебоевого ремонта. Прения пошли с места как-то вяло: словно на каком-нибудь производственном совещании тянулась нудная перебранка мотористов, механиков и снабженцев, упрекавших друг друга в технических неполадках, интересных лишь им самим, в каких-то недоделках и недодачах. В зале (собрание шло в холодном, но зато просторном зале полуразрушенного санатория) стоял шум, мешавший слушать, и Решетников вдруг обнаружил, что его занимает не плохая отливка никому не известной детали, а то, откуда это тянет подлая, тонкая струйка сквозняка, леденящая колени. И, встретившись взглядом с лейтенантом Бабурчёнком, который сидел поодаль, на подоконнике, он похлопал себя по губам, как бы прикрывая зевок, в ответ на что Бабурченок завел глаза под лоб, смешно клюнул носом, словно заснул, и, встряхнувшись, сделал преувеличенно-внимательное лицо.

Наконец Владыкин, который, недовольно хмурясь, слушал выступления и не раз уже наклонялся к другим членам бюро, встал и призвал коммунистов говорить о главном, а не мельчить вопроса: главное — люди, а тут говорят только о технике. Едва он сел, в пятом ряду поднялся со скамьи Хазов и попросил слова, предупредив, что именно о людях и будет говорить.

Решетников не представлял себе, как Никита Петро-

вич разговаривает на народе, и потому с любопытством приготовился слушать. Первые же слова Хазова насторожили его: тот, видимо, собрался говорить о том же, что недавно так нахваливал Бабурченок, — о спайке и взаимной поддержке механиков дивизиона.

Начал он с того, что всякий хороший механик, как и всякий толковый боцман, обязательно старается прикопить на черный день и инструмент, и материалы, и все, что нужно ему в его хозяйстве: снабжение, мол, — дело хорошее, а свой запас кармана не тянет. Не с нас это началось, не нами и кончится («Может, только при коммунизме, когда даже механикам всего будет хватать», — добавил Хазов). Видимо, с такой запасливостью приходится мириться, да, по совести говоря, неужели за каждой шайбой бегать к начальству? Вот и получается, что у катерных механиков свои склады, без всяких там накладных и фактур, а на веру, по товариществу: я тебе помогу, ты мне. Дело не в самих запасах, а в людях, которые их создают, и в том, как их создают.

И тут он неожиданно назвал мичмана Петляева, который ухитрился нахватать столько дефицитного добра, что это создало ему среди катерных механиков особое и не очень понятное положение.

— А чем плохо, что Петляев не такая шляпа-растяпа, как другие? — вызываясь спросил с места лейтенант Бабурченок.

Хазов повернулся к нему и некоторое время молчал, отчего Решетников с беспокойством подумал, что реплики, наверное, сбивают его. Но тут же Хазов сказал спокойно и жестко:

— Хотя бы тем, что такой вопрос задает коммунист и морской офицер.

Бабурченок покраснел, и Решетников заметил, что Владыкин одобрительно кивнул головой. Хазов продолжал говорить, смотря на лейтенанта Бабурченка, как будто ему удобнее было беседовать с одним человеком, чем держать речь.

По этому вопросу видно, сказал Хазов, что чуждые флоту деляческие привычки Петляева, которые он принес с собой с «гражданки», не тревожат даже командира катера, который наблюдает их чаще и ближе других. Чего же тогда удивляться, что они не тревожат осталь-

ных,— больше того, забавляют и вызывают одобрение: вот, мол, деляга, все умеет достать, нам бы на катер такого!.. И за что, собственно, придирается к человеку? Не ворует, не мошенничает, просто умеет вовремя разузнать и вовремя раздобыть! Ну, а раз к Петляеву так добродушно относятся, понятно, что у него уже появились последователи, вроде, скажем, Слюдяника или механика «СК 0874» Страхова,— а это еще хуже и опаснее. И уж совсем плохо, что никто не говорит о том, как методы Петляева отражаются на боеспособности катеров.

— При чем тут боеспособность? — выкрикнул Бабурченок так, что Решетников невольно обернулся на него. Весь красный, зло сощурившийся, наклонившийся с высокого подоконника вперед, он чем-то напоминал сейчас рассерженного, фыркающего кота, готового прыгнуть с забора.— Наоборот, только из-за Петляева у меня катер и ходит без отказа, все знают!

— Точно, товарищ лейтенант,— ответил Хазов,— так это ваш катер. А другие?

И он заговорил о том, что «золотой фонд» Петляева (или, как он назвал его, «петляевский лабаз») служит не для помощи другим, а именно для обеспечения своего катера. Вот тут всё валили на недодачи, на нехватки, дивизионный механик руками разводил: не присылает, мол, главная база. А никто не сказал правды, что зависит все не от главной базы, а от «лабаза»: получают там механики дефицитную деталь — выйдет катер на боевое задание, а невыгодно окажется хозяину «лабаза» расстаться с ней — катер будет ждать, когда пришлют из Поты. Вот и получается, что боеспособность катеров зависит не от штаба, а от Петляева: как захочет, так и будет. И ведь об этом знают все механики и мотористы, знают, да молчат. Почему молчат? Не хотят лишаться такого удобного «лабаза», где на менку все достанешь? Или побаиваются его хозяина, который такую силу забрал, что даже коммунисты о нем только шепотком говорят, и то по уголкам? Известно ли коммунистам дивизиона, каким не очень товарищеским способом кандидат партии Петляев недавно собирался отнять у других катеров единственный присланный главной базой компрессор, хотя, как потом оказалось, один они с командиром катера сумели уже раздобыть в Поты?

Теперь уже все посмотрели на Бабурчёнка. Тот сидел, неестественно выпрямившись, щеки его побелели и как бы опали, и Решетников с каким-то странным чувством неловкости отвел взгляд.

Слушая Хазова, он стал понимать, что скрывалось за шутилым выражением лейтенанта Бабурчёнка «хитрая механика моего механика».

Оказалось, что в безобидном «золотом фонде» Петляева были такие детали, из-за отсутствия которых другие боевые катера подолгу не могли выйти в море, то есть получалось так, что, припрятывая эти детали для себя или для выгодного обмена, Петляев, по существу, играл на руку фашистам. Оказалось, что эти дефицитные детали для «золотого фонда» послушно раздобывал офицер-коммунист и что это занятие не было ни веселой игрой, ни своеобразным спортом, каким оно казалось всем, в том числе и Решетникову: оно было, по существу, грабежом других катеров, нуждавшихся в том, что перехватывал у них «доставала» Бабурчёнок. Оказалось еще, что никакой взаимной поддержки и товарищества среди катерных механиков не было и в помине: по существу, здесь бытовали древние отношения оборотистого кулака и зависящих от него бедняков, и Быков был прав, говоря, что за два болта Петляев вытянет потом целый мотор...

И тут же Решетников с внезапным стыдом вспомнил, что вот-вот готов был сменять Быкова на Слюдяника, который принес бы с собой на катер дух беспокойного и алчного стяжательства, воспитанный в нем Петляевым, дух грязной спекуляции на чужой нужде, отвратительный блатмейстерский дух, который, как раковая опухоль, пополз бы с бабурчёнковского катера на решетниковский, заражая людей...

После тех удивительно счастливых, каких-то светлых и чистых дней, которые последнее время Решетников провел в начинающейся дружбе со своим катером и его людьми, все это так ошеломило его, почти потрясло, что весь дальнейший ход собрания пошел как-то мимо него, параллельно его смятением и трудным мыслям. И поэтому, когда внезапно захлопавшие залпы и вой сирены прервали собрание, он выскочил из санатория, словно обрадовавшись.

Налет был не очень серьезный, но настойчивый: несмотря на плотный огонь катеров, расползшихся на ночь по всему побережью бухты, самолеты пять или шесть раз принимались кидать бомбы на транспорт, пришедший под вечер с боеприпасами. Решетников добрался до своего катера к третьей агаке.

Стрельба как бы облегчила Решетникова, но, придя после отбоя в каюту, он снова вернулся мыслями к тому, что происходило на собрании до сигнала тревоги.

Все вспоминалось ему в каком-то тумане. Больше других запомнился Бабурченок, растерянный, какой-то непривычно жалкий. Он подтвердил историю с «пактом» и очень искренне сказал, что только из слов Хазова понял свою глупую и позорную роль «доставалы» и что, не разобравшись в существовании петляевского «золотого фонда», казавшегося ему невинной забавой, простым удобством для катера, он был плохим офицером и слепым коммунистом.

И в глазах Решетникова Бабурченок — беспечный, вечно веселый и самонадеянный удачник, покоряющий каким-то особым своим обаянием, смелый и страстный боевой командир катера, Бабурченок, еще вчера казавшийся тем, кто может стать отзывчивым, надежным, веселым дружкой, — стал совсем не таким, каким представлялся воображению, вдруг потускнел, увял, сник.

Вся ночь понадобилась Решетникову, чтобы осмыслить то, что вызвали в нем эти открытия, и заснул он лишь под утро. Больше всего он думал о самом Хазове, который в обыкновенном как будто блатмейстерстве Петляева сумел разглядеть угрозу боеспособности и жизненности всего дивизиона, и, увидев эту угрозу, немедленно показал ее всем коммунистам и комсомольцам.

Почему именно Хазов сделал это? Ведь, кроме него, многие хорошо знали о петляевском «лабазе», но либо боялись заговорить о нем, либо не видели и не понимали опасности, какую таил в себе этот чуждый боевому коллективу обменный центр — какая-то черная биржа, тайный рынок, подобный тем, что, словно поганки на сырости, вырастают возле больших гаражей, всюду, где есть механизмы и машины и где для них не хватает нужных деталей и материалов. Даже Быков и тот, отлично понимая природу и самого Петляева и его «лабазу», тоже мол-

чал. Почему — было непонятно, но, уж конечно, не из страха перед Петляевым.

И Решетников долго искал слово, каким можно было бы обозначить это самое «то», чего не хватало ни Быкову, ни ему самому, ни десяткам других коммунистов и комсомольцев дивизиона. Так и не найдя такого слова, он заснул.

Но для самого события определяющее слово он нашел (впрочем, сказал его Никита Петрович): л а б а з.

Этим словом Решетников и открыл наконец записи на страничках, отведенных Хазову. Слово было странное, мертвое, вылезшее из старого, разрушенного революцией мира купли-продажи, обмана, скопидомства, стяжательства, — чужое, опасное слово, порождающее чужую, огравляющую человека психологию. Однако найдено оно было удивительно правильно и означало для Решетникова очень многое.

Хазов стал еще ближе, еще необходимее ему. И, хотя думал он теперь о боцмане с чувством глубокого уважения, как о человеке, который стоит в нравственном отношении много выше его самого, в вечерних разговорах их появилась какая-то новая близость. Новостью в них было и то, что порой — особенно когда бухта, притихшая и задумчивая, бесшумно сверкала лунной дорогой, а в высоком светлом небе не брунчал еще надоедливый гул немецких самолетов, выжидавших более выгодного освещения, — Никита Петрович начинал говорить сам. То ли поддавался он молодой, петерпеливой жажде Решетникова знать и понимать все, что его окружает, то ли подкупала его сердечность, с какой рассказывал тот о семье, о детских своих годах на Алтае, о Ваське Глухове, с кем мечтал о флоте, но Хазов начинал отвечать на его вопросы охотнее и открывать кое-что и в себе.

Так Решетников узнал, что Хазов был из старинной флотской семьи. Домик в Севастополе, в Петровской слободке, в котором выросло четыре поколения черноморских магросов, пережил обе осады; по крайней мере, еще в июне, в дни самых ожесточенных бомбежек, Хазов нашел его пустым, но уцелевшим. Только выбиты были все стекла, развалено крыльцо да в садике вырваны снарядами деревья и исчезла скамейка под грушей, где слушал он рассказы деда Аникия Ивановича о Севастополь-

ской обороне и о бастионах, куда тот вместе с мальчишками таскал арбузы и воду для отца и других матросов. Там, на Четвертом бастионе, французская бомба убила прадеда, артиллерийского квартирмейстера с «Уриила», и место это Хазов отлично помнил, хотя дед привел его на бастион лишь однажды, когда ему было всего восемь лет,— ровно столько, сколько было самому деду в год Севастопольской обороны.

Утром того дня к ним пришел усатый матрос, весь обвешанный пулеметными лентами (всего неделю назад в Севастополь ворвались полки Красной Армии), и Никита, закричав на весь садик: «Батяка приехал!» — кинулся к нему, потому что именно таким и представлял себе отца, которого плохо помнил, расставшись с ним шести лет от роду. Но матрос тихонько отстранил его и, подойдя к Аникию Ивановичу, сказал, чтоб Петра больше не ждали, так как он погиб на бронепоезде «Вперед за революцию!» почти год назад на Украине в боях с немцами. Мать упала на траву и закричала диким, истощенным голосом, а дед взял Никиту за руку и повел на Четвертый бастион.

Всю дорогу Никита плакал, а дед спотыкался, будто плохо видел дорогу, и, добравшись до бастиона, долго сидел на старинном орудии, молча глядя на край бруствера, где из белых камешков был выложен в земле аккуратный крестик. Потом вздохнул и сказал, что вот, мол, отец и сын его — оба погибли в бою, как полагается матросам, а он все коптит небо в тягость себе и другим. Он, кряхтя, наклонился, подправил выбитые чьей-то неосторожной ногой камешки и сказал Никите, чтобы тот приходил сюда присматривать за крестиком, потому что ему самому сюда больше не добраться. И правда: с того дня дед либо сидел на скамейке под грушей, либо лежал на койке и года через полтора умер, так и не добравшись больше на бастион.

Дед в рассказах боцмана занимал главное место. От деда Никита узнал и об отце — рулевом унтер-офицере миноносца «Гаджибей» и члене судового комитета, а также о многих неизвестных событиях и понятиях. Отец, оказывается, тонул в Цусиме — и Никита узнал, что такое Цусима. Второй раз Петр Аникиевич тонул на миноносце «Живучий» — и так Никита услышал о первой мировой

войне. Отец топил в Новороссийской бухте «Гаджи-бей» — и Никита узнал о революции и о том, почему и зачем черноморские матросы своими же руками взрывали и топили свои же корабли. А погиб отец далеко от моря, в степи, — и так из слов деда Никита стал понимать, что такое гражданская война и что такое матросы революции. Дед же рассказывал ему о флоте, о кораблях, о машинах, минах и орудиях, о турецкой войне, которую провел на пароходе «Великий князь Константин», откуда спускали маленькие минные катера, об офицерах, которых любили и уважали матросы, и об офицерах, которых ненавидели. Флотское мужество, матросская крепкая спайка и гордость за флот переходила из дряхлеющего сердца в открытое миру, жадное к жизни, маленькое и горячее детское сердце, и к десяти годам Никита уже знал, что его жизнь пройдет на флоте так же, как прошла жизнь отца, деда и прадеда.

Ремонт катера подходил уже к концу, и для таких долгих душевных разговоров времени было все меньше. Последние недели Владыкин то и дело посылал Решетникова в море — то на катере старшего лейтенанта Сомова, то с Бабурчёнком, который, отделившись в петляевской истории выговором, как-то повзрослел, но в бою стал еще отчаяннее, то с командиром звена Калитиным. Задание всегда давалось одно: присматриваться ко всему, что делается на катере в походе, а случится — и в бою, и мотать все это на ус.

Сперва Решетников даже обиделся: не мальчишка же он, в самом деле, чтобы изображать экскурсанта из подшефного колхоза... Но на первом же походе понял, что такого рода «экскурсии» были на владыкинском дивизионе вроде тех полетов, когда испытанный боевой летчик «вывозит» молодого. На этих походах Решетников узнал все особенности дневного и ночного входа в бухту, тонкие, лишь командирам катеров известные приметы навигационно-боевого характера — вроде затопленной у Седьмого мыса канонерской лодки, возле которой надо сразу ворочать на курс 84°, чтобы избежать прямой наводки скрытой за мыском немецкой батареи. На катере Калитина, с уважением наблюдая мастерские действия своего командира звена, он понял, что собственный бой его на «СК 0519» был чистейшей удачей и неприличным

везньем. Сомов познакомил его с ночным десантом, а Бабурчёнок — со своим способом разведки огневых точек противника: для этого он полным ходом трижды прокатил Решетникова ночью вдоль берега, переведя моторы с подводного выхлопа на надводный, чем вызвал яростный огонь, вспышки которого оставалось только засекать. Кроме таких поучительных примеров, Решетников на этих походах слышал кучу разнообразных советов на все случаи беспокойной жизни сторожевого катера в море.

Все это, возвращаясь к себе, Решетников пересказывал Никите Петровичу: Хазов окончательно сделался самым необходимым для него собеседником.

Чем ближе узнавал его Решетников, тем чаще думал о том, что, конечно, из всех, кого он видел вокруг себя, Никита Петрович больше всего подходит к понятию «друг», несмотря на большую разницу в годах и на то, что подчинен ему по службе, хотя по справедливости должно было быть наоборот. Только настоящий друг мог так бережно и заботливо поддерживать его на первых, трудных порах командования кораблем, да вдобавок впервые в жизни. Владыкин был, конечно, прав, говоря, что Хазов делает для него все то, что хороший коммунист должен делать для комсомольца, а боевой моряк — для такого (тут Решетников, не щадя себя, поправил владыкинские слова), для такого салажонка, как он... Нет, даже больше: Хазов делал для него то, что мог сделать самый верный, самый преданный и бескорыстный друг.

Но главнейшее во всем этом для Решетникова заключалось в том, что Хазов все больше напоминал ему дорогого его сердцу Петра Ильича Ершова, оказавшегося для него ближе и дороже отца, — человека, который сыграл в его жизни решающую роль и которого так не хватало ему все эти годы самостоятельной жизни.

Глава девятая

О той скрытной ночной операции, для которой «СК 0944» приближался к занятому противником берегу, известно было, конечно, довольно значительному числу людей, но знали о ней все они по-разному.

Команда катера видела в этом обычный ночной поход в глубокий тыл врага для высадки разведчиков в той самой бухточке, где две недели назад катер проделал это без особых хлопот. Боцману Хазову, которому было поручено доставить разведчиков на берег и привести шестерку обратно к катеру, было ясно, что нынче там могут встретиться любые неожиданности и что поэтому надо быть особо осторожным.

Командир группы разведчиков лейтенант Воронин знал, что в горах, в небольшом партизанском отряде, куда пробираться придется, может быть, с боем, находится один товарищ, которого надо доставить в бухту Непонятную или в другое, более отдаленное место, если здесь высадка пройдет негладко.

Командиру катера лейтенанту Решетникову было известно, что товарищ этот располагает какими-то очень нужными сведениями, отчего с группой разведчиков идет в операцию сам майор, и что в случае неудачи с высадкой в бухте Непонятной нужно дать условное радио, по которому будет выслан еще один катер, с другой группой, в другое место, чтобы попытаться все же получить вовремя эти сведения.

Для командира дивизиона сторожевых катеров капитана третьего ранга Владыкина операция была связана с готовящимся десантом морской пехоты, так как ожидаемые сведения могли облегчить боевую задачу катерам его дивизиона, который намечался штабом флота для первого броска десанта.

В штабе флота с разработкой этого плана торопились потому, что морской пехоте необходимо было закрепиться на новой «малой земле» к определенному сроку, когда там должен будет высадиться крупный армейский десант с боевой техникой и артиллерией.

Командующему флотом было известно, что высадка этого десанта, имеющего задачей продвижение к осажденному Севастополю, связана с подготавливаемым новым ударом, развивающим успех недавней Сталинградской победы, и зависит от обстановки на всем приморском фронте.

Командующий же этим фронтом знал, что в ходе нового наступления все его действия, в том числе и десант, будут лишь демонстрацией, отвлекающей внимание и си-

лы противника? от подлинных намерений Главного командования.

А об этих действительных намерениях никто даже из самых крупных военачальников, управляющих ходом войны, не мог сейчас с уверенностью сказать, осуществляются ли они именно в тот срок и именно так, как намечает их новый обширный оперативный замысел, который сам был лишь одним из звеньев общего стратегического плана. Это зависело от многих причин: и от того, как осуществляются другие такие же намерения Главного командования на других участках фронта от Белого моря до Черного; и от того, сумеет ли Советская страна вовремя прислать своей великой армии необходимое для того количество боевых машин и припасов; и от того, до какой степени дружеского предательства, дозволенной традициями военных союзов, дойдут генеральные штабы капиталистических стран, вынужденных сражаться в одном лагере с социалистической державой; и от того, окажется ли в свое время единственно верным именно то направление главного удара, которое подготавливается сейчас и для организации которого среди тысяч других предварительных действий потребовалось послать в бухту Непонятную «СК 0944».

Из всех людей, по-разному знавших о ночном походе катера, одному майору Луникову, кроме командования флотом, было известно, что товарищ Д., возвращающийся из крымского подполья, помимо сведений, полезных для десантной операции, имеет еще и другие, важнейшие, интересующие непосредственно Главное командование. Поручая майору лично доставить на Большую землю товарища Д., за которым из Москвы уже выслан самолет, командующий флотом особо подчеркнул, что это надо сделать как можно скорее. Именно поэтому майор и выбрал бухту Непонятную, хотя из всех предложенных Владыкиным вариантов она казалась наименее надежной и безопасной.

Дело заключалось в том, что, когда сведения попали в руки товарища Д., партизаны, отесненные в горы, лишились посадочной площадки для «У-2», и ему пришлось просить о присылке за ним катера. Для этого он указал известную ему бухточку, удобную тем, что до нее было пять-шесть часов хода от скрывающегося в горах не-

большого партизанского отряда, где он очутился, уйдя из Севастополя. Этой бухтой оказалась та самая, в которой на днях произошел случай с катером «0874» (чего, конечно, он знать не мог) и которую Луников назвал Непонятной.

В беседе с Владыкиным майор выяснил, что из других возможных мест высадки до товарища Д. придется добираться шесть, а то и восемь суток да столько же потратить на обратный переход с ним самим. Тогда он решил рискнуть и если не всю операцию выполнить в бухте Непонятной, то хотя бы начать ее здесь. В глубине души он был убежден, что все обойдется сравнительно просто. Ведь и в самом деле было непонятно, что же могло случиться с группой, высаженной здесь неделю назад. По характеру задания она не имела возможности дать знать о себе, и приходилось только гадать. Расспросив Владыкина об известных тому вариантах неудачных высадок, майор понял, что все они обязательно отмечались шумом — взрывом, автоматными очередями или хотя бы одиночными выстрелами. Тишина, сопровождавшая прошлую высадку, показывала, что, вернее всего, произошло что-то не с разведчиками, а со шлюпкой, когда она возвращалась с гребцами к катеру. Поэтому много шансов было за то, что нынче группе удастся благополучно подняться в горы. А там можно будет рискнуть на радиосвязь и запросить Решетникова, вернулась ли шлюпка, и, если обратная посадка в бухте Непонятной состояться не сможет, сразу же, не теряя времени на ожидание второй посланной группы, повести товарища Д. навстречу ей к другому, дальнему месту посадки. Это ускорит доставку сведений ровно вдвое, что, конечно, для Главного командования очень важно.

Но такой неудачный вариант представлялся майору маловероятным, и мысли его все время вертелись вокруг шлюпки и ее возвращения, так как основной задачей было обеспечить обратную посадку тут же, на следующую ночь. Именно поэтому он и просил Решетникова прислать к нему того, кто назначен старшиной шлюпки.

И, едва дождавшись, пока Хазов допьет «какаву», Луников стал донимать его расспросами. Как там придется высаживаться — прямо в воду? Прыгать по камням? Или можно приткнуться к гальке? Остается ли

шлюпка хоть ненадолго без охраны во время высадки? Какие берега внутри бухты: пологие или обрывистые? Не нависают ли скалы над водой? Как шлюпка возвращается: посередине бухты или должна идти возле берега, чтобы найти выход в море? Каким образом она находит катер, стоящий на якоре в миле-полуторы? Можно ли каким-нибудь ложным сигналом направить ее мимо катера? Или перехватить на пути?..

Вопросы его были неожиданными, порой наивными и даже, с точки зрения Хазова, просто нелепыми, но за ними он чувствовал такую серьезную озабоченность, что и в его глазах предстоящая высадка стала приобретать какую-то необыкновенную значительность. И, хотя Луников не говорил прямо, боцман понял, что весь разговор потому и начался, чтобы, не раскрывая того, чего ему знать не положено, показать всю важность операции и его, Хазова, особую роль в ней. Под конец майор подтвердил это сам.

— Вот ведь какая штука, товарищ Хазов,— сказал он совсем не по-военному,— все дело, видите ли, в том, уцелеет нынче ваша шлюпка или исчезнет вроде той. Черт их знает, что они могли с ней там устроить... Вот вы говорите: скалы и шлюпка совсем рядом проходит. А разве нельзя гребцам на головы свалить камешек кило на полтора? Или, скажем, прыгнуть на них без шума с ножами?

Хазов сдержанно улыбнулся, но майор укоризненно качнул головой:

— Думаете, кино? На войне всякое бывает. Вот на Мекензиевых горах кок у нас наладился на передний край борщ горячий таскать. Ну, видно, проследили, захотели «языка» взять. Идет Мельчук по дубняку, тропка знакомая, своя, вдруг из дубнячка автомат: «Хальт! Рус, сдавайся!» Он было решил — пропал, но глядит — немец-то всего один. Тогда он будто оробел, лопочет: «Битте, капут, яволь»,— и руки вверх тянет вместе с борщом. Немец вышел на тропку, только подошел — Мельчук ему все ведро и вывернул на башку, а борщ жирный, горячий, только что с огня, чуть глаза не сварились. Так и привел его к нам — всего в капусте, а на голове ведро. Выходит, что и борщ — оружие...— Луников загасил папиросу и неожиданно закончил: — Значит, мы с вами договори-

лись: поведете обратно шлюпку — держитесь от скал подальше. На высадке мы за вами присмотрим, — хоть и очень некогда будет, подождем, пока отвалите. Остальное от вас зависит, гадать нам сейчас ни к чему. Только крепко помните: не доберется шлюпка до катера — большие дела задержатся. Очень большие. А пока давайте приспнем, вот товарищ правильно поступает, — кивнул он на лейтенанта Воронина, который, закинув голову, похрапывал, не обращая внимания на бивший в лицо свет. — Где у вас тут выключатель?

Луников потушил верхний плафон и прикорнул в углу дивана, закрыв глаза.

Но отдыхать ему пришлось не очень долго. Низкий мощный гул моторов, наполнявший кают-компанию, внезапно утих, и трясушка, от которой все звенело и подрагивало, так же внезапно прекратилась, отчего показалось, будто настала полнейшая тишина, хотя моторы продолжали урчать довольно внятно. Луников открыл глаза и вопросительно взглянул на Хазова, но тот спал крепким сном сильно уставшего человека. До назначенного времени подхода к Непонятной оставалось еще более полутора часов. Майор подумал, что происходит какая-то неприятность, и, ожидая, что вот-вот загремит звонок боевой тревоги, привстал с диванчика. Но тотчас будто невидимая мягкая рука посадила его обратно, а кают-компания вся наклонилась — катер делал крутой поворот. Звонков, однако, никаких не было, и Луников решил подняться наверх и спросить командира, что означает этот странный маневр катера.

Решетникова он нашел в штурманской рубке, куда провел его вахтенный комендор, пребольно ухватив за локоть, — видимо, на тот случай, чтобы, споткнувшись на темной палубе, майор не свалился за борт. Лейтенант стоял один у высокого прокладочного стола, отмечая что-то на карте.

— Подходим, командир? Не рановато ли? — спросил Луников, дождавшись, когда он закончил запись.

— Все нормально, просто ночь нынче светлая, — ответил Решетников и показал карандашом на мыс, далеко выдвинувшийся в море. — Удалось сразу за него зацепиться, а то, бывает, часа полтора возле него танцуют... Продержимся пока тут, а через час — к бухте, до нее от

мыса малым ходом около сорока минут. Станем вот здесь, так шлюпке вход отыскать будет легко...

Он коснулся тупым концом карандаша кружка с якорьком и, показывая путь шлюпки, повел его по карте к береговой черте, а потом влево вдоль нее, следя за ее изгибами, пока она сама не завела карандаш в бухточку.

— Легко-то оно легко, да, как говорится, вход бесплатный, а выход — рупь, — медленно протянул Луников, глядя на карту. — Выглядит она тут у вас красиво, а вот что в ней там на самом деле... Как вы это понимаете, товарищ лейтенант?

— Никак, — резко ответил Решетников, с раздражением кидая карандаш на карту. — А что я могу понимать? Хуже нет — чужие дела расхлебывать! Сомов потерял шлюпку, а мне своими людьми рисковать...

И тон, которым он это сказал, и смысл сказанного, и этот несдержанный жест так отличались от той ровной, веселой приветливости, с которой недавно он разговаривал в кают-компании, что Луников удивленно взглянул на него. Конечно, он не мог знать, что за два-три часа лейтенант передумал и переживал многое.

Как ни странно, но в начале похода Решетников вроде бы не воспринимал всерьез того, что происходит. Может быть, главнейшей причиной было то, что из шести катеров, находившихся в базе, Владыкин выбрал для важной операции именно его, решетниковский. Это не могло не польстить самолюбию лейтенанта, и он пришел в отличное настроение, в котором все кажется простым и легко выполнимым. Поэтому поход этот представлялся ему какой-то спокойной, почти веселой прогулкой по спокойному морю, чуть вздыхающему пологой зыбью, а сама операция — ночная высадка, ожидание в море до следующей ночи и новый приход в бухту за разведчиками — пустяковым и занятым делом. Счастливое состояние уверенности в себе и в неременной своей удачливости не оставляло его, и он мог с любопытством подстергивать зеленый луч и шутить за ужином.

Но, оставшись на мостике один и думая о бухте Непонятной, ожидающей где-то в звездной этой тьме, он начал чувствовать нарастающую тревогу. Она беспокоила его все больше, пока он не понял (вполне и во всем зловещем значении, поразившем его), что бухта перестала

быть надежным местом для высадок, что ночью предстоит действительно опасная операция и что в эту операцию, тревожащую и томящую скрытой, неизвестной опасностью, он сам — своей волей, своей командирской властью — назначил человека, жизнь которого должен был особенно беречь: недавно найденного друга.

И тогда весь тот мальчишеский задор, все удалое легкомыслие, с какими он выслушивал подробные указания Владыкина и с какими начал поход, мгновенно слетели с него. Теперь Решетников искренне не понимал, как мог он в глупом этом задоре, в какой-то театральной роли решительного, быстро соображающего командира, увлекшей его, — как мог он на вопрос Владыкина, кого думает назначить на шестерку, ответить: «Боцмана Хазова». Дорого дал бы он сейчас, чтобы вернуть этот бравый ответ!.. Но слова были произнесены — не слова, а решение командира корабля, которое не может быть отставлено или изменено без всяких и важных причин. А причин этих не было, кроме одной — боязни за Хазова, в чем признаваться было нельзя.

То, что он ответил Луникову, было неправдой: конечно же, с самого того момента, когда Решетников понял, что сам обрек Хазова на опасность, он не переставал думать о бухте, о высадке, о ловушке или о несчастье, случившемся там. Десятки догадок, и правдоподобных и фантастических, перебрал он в голове, не остановившись ни на одной. В воображении его, ничуть не помогая делу, возникали десятки планов, как обеспечить возвращение шлюпки из бухты. С поздним раскаянием он думал, что все это следовало обсудить с Владыкиным, и тогда, может быть, нашелся бы способ облегчить ночную операцию в бухте. Из всех, кто был на катере, ему мог бы помочь толковым советом один лишь боцман. Но, уж конечно, как раз ему-то и нельзя было показывать даже намека на то тревожное беспокойство, с которым думалось теперь о высадке: Решетникову казалось, что оно может передаться и Хазову, вселить в него неуверенность перед самым уходом в опасную операцию.

Пожалуй, впервые за этот счастливый месяц Решетников почувствовал себя снова таким же растерянным и беспомощным, каким был в первую неделю командования катером, и с горечью подумал, что ему еще очень далеко

до того, чтобы назвать себя настоящим командиром корабля. Ведь едва только пришлось ему решать без Никиты Петровича... И тут же он оборвал себя, поняв, что и в самом деле может оказаться без Хазова — не только сейчас, но и всю остальную жизнь — и что виной этому будет он сам.

В этом состоянии его и застал Луников у штурманского стола, когда, оставив за себя на мостике Михеева, лейтенант зашел в рубку, чтобы проверить на карте тот новый способ ориентировки шлюпки при возвращении, который только что пришел ему в голову. Конечно, вопрос майора никак не мог подействовать успокоительно, однако тут же Решетников сам почувствовал, что допустил резкость, и добавил совсем другим тоном:

— Правильно вы ее назвали, товарищ майор: Непонятная и есть...

— Непонятная, да не очень... — в раздумье сказал майор. — А что, если такой вариант: не на фокус ли они пошли? Группу нарочно пропустили, не тронули, а шлюпку поймали.

— Для чего? — хмуро удивился Решетников.

— Для психики.

— Неясно.

— Очень ясно. Чтобы мы с вами головы ломали и боялись этой бухты. Вот я, например, попался — сам ее Непонятной прозвал. И ваш Владыкин попался: начал мне такие места для высадки предлагать — триста верст скачи, не доскачешь. И вы попались: боитесь своими людьми рисковать. А на деле там ничего нет. Бухта как бухта.

— Все равно неясно. Проще было группу уничтожить, вот вам и «психика»: больше не полезешь.

— Как раз нет: обязательно полезем. Нам ведь понятно, что постоянного гарнизона там нет, разгром группы — случайность; значит, можно высадку повторить. А тут полная неизвестность: ни стрельбы, ни взрыва... А неизвестная опасность в десять раз страшнее. Не знаю, как вы, а я все время думаю: куда шлюпка девалась? Наверное, это штатская профессия во мне работает. Я, видите ли, инженер-плановик, вот меня варианты и одолевают. На всё тридцать два варианта, на выбор. Вот и эта чертова бухта: ведь через час в ней высаживаться и

своими боками тридцать третий вариант узнавать, а я все догадки строю...

— И я, — откровенно признался Решетников.

Майор вроде обрадовался.

— Да ну? А я-то вам завидовал: вот, думаю, что значит профессионал военный! В такую непонятность идет — и все ему ясно, не то что мне, штатскому вояке, — и спокоен и весел...

Теперь улыбнулся Решетников.

— Ну, а я за ужином вам завидовал — мне бы такое спокойствие и уверенность...

— Значит, договорились! — рассмеялся Луников. — Такая уж у нас с вами командирская должность — все внутри переживать, а наружу не показывать... Я как этот китель надел, так ни минуты себя наедине не чувствую. Все кажется, будто на меня в триста глаз мои моряки глядят: как, мол, там командир отряда, не дрейфит? И ведь хуже всего, что их показным бодречеством не обманешь. Им все настоящее подавай: и спокойствие, и мужество, и решительность. А где, спрашивается, мне их взять? От меня жизнь до сих пор другого требовала. Вот и приходится на ходу эти командирские качества в себе воспитывать, а у меня и годы не те, и навыков нет. Поневоле вам, военным, позавидуешь...

Решетников внутренне поморщился. Ему показалось, будто майор напрашивается на возражения — ну зачем, мол, вы так про себя, все же знают, что вы настоящий боевой командир!.. Но тот с искренностью, не вызывающей сомнений, продолжал:

— Очень трудная эта профессия — командовать. Рядовому бойцу на всю войну одна смерть положена, а командиру — тысячи: столько, сколько раз он своих людей на смерть посылал. На кораблях много легче — там командир в бою со всеми вместе. Вам не очень и понятно, до чего это трудно — посылать других под снаряды, а самому отсиживаться в блиндаже...

— Чего же тут не понять, понятно, — сочувственно сказал Решетников, думая о Хазове и о шлюпке.

Майор махнул рукой:

— Ничего вам не понятно! Вот будете командовать дивизионом и придется вам какой-нибудь катер в серьезное дело посылать, тогда меня и припомните... Нынче мне

повезло — вместе с группой пошел. А сиди я на берегу, такого бы себе навоображал — вконец бы извелся, разве что Сенека помог бы...

— Какой Сенека? — не понял лейтенант.

— Был такой римский философ, воспитатель Нерона. Рекомендовал не представлять себе неприятностей, пока они не случились. В жизни, мол, и реальных пакостей хватает, чтобы еще воображаемыми огорчаться. Совет правильный, но человечество почему-то им мало пользуется, и я в том числе. Только что с вашим боцманом обсуждал варианты ночных хлопот. Впрочем, он, видно, и сам философ: выслушал молча — и заснул. Да так, что и поворот не разбудил...

Упоминание о Хазове заставило Решетникова снова помрачнеть. Но майор, не заметив этого, закончил тем же шутливым тоном, который ему не очень удавался, но которым он, вероятно, хотел скрыть свою озабоченность:

— Не расспросил я его, как он катер найдет. Ночь-то темная, а море-то Черное. Придется вам мне растолковать.

— А я как раз этим и занимаюсь, кое-что новое в голову пришло, — ответил Решетников.

Среди тревожных догадок, которые бесполезно осаждали на мостике его воображение, одна показалась ему дельной: а что, если сомовская шлюпка просто не нашла катера?

При всех своих несомненных преимуществах как места для скрытной высадки бухта Непонятная имела одно значительное неудобство. Гряда подводных камней вынуждала катер становиться здесь на якорь в порядочном расстоянии от берега, и поэтому гребцам, уводившим шлюпку после высадки, приходилось брать с собой шлюпочный компас, выходить из бухты, справляясь с ним, и отыскивать потом катер по условному огню. Обычно для этого в целях маскировки пользовались синей лампой, свет которой можно было заметить лишь вблизи. Решетникову пришло в голову, что, лишившись компаса (скажем, утопив его при спешной высадке или разбив), гребцы сомовской шестерки пошли к катеру, ориентируясь по звездам. В этом случае шлюпка могла отклониться от верного направления настолько, что заметить слабенький синий огонек было уже невозможно.

Представив себе, что Хазов очутился в таком же положении, лейтенант уже не думал о степени вероятности своей догадки. Ему казалось важным одно: если такая возможность была, следовало ее исключить, хотя для этого ему приходилось решать задачу, подобную квадратуре круга: как усилить свет, одновременно замаскировав его?

Катер уже приближался к берегу, а Решетников все еще ничего не мог придумать. Он совсем было отчаялся, когда в дело вмешалась случайность, что, как известно, бывало причиной многих важных открытий. Роль ньютонова яблока тут сыграл ратьер (как с давних пор называют на кораблях сигнальный фонарь, уже позабыв о том, что это фамилия его конструктора): когда лейтенант придвинулся к обвесу мостика, чтобы удобнее было отыскивать горы, темнеющие на фоне звездного мерцания, ратьер загремел у него под ногами железным своим ящиком и натолкнул на решение вопроса.

Фонарь этот устроен так, что свет яркой лампы, заключенной в его ящике, бьет сквозь узкую щель, прикрытую вдобавок щитками, что придает ему направленность и препятствует видеть свет с боков. Щель по надобности можно прикрывать красным, зеленым или белым стеклом с помощью нехитрого рычажного устройства. Мысль, осенившая Решетникова, состояла в том, что этот луч можно направить параллельно береговой черте. Тогда ни со стороны моря, ни с берега его не будет видно, зато яркая полоска света будет непременно замечена гребцами шлюпки даже в том случае, если они станут пересекать этот луч и вдали от катера. Маскировка вдобавок удачно обеспечивалась тем, что если направить луч на норд-ост, он будет светить как раз вдоль рифа, где никак не могло оказаться ни немецкого катера, ни тем более корабля.

Этот свой план лейтенант не без гордости и объяснил Луникову, показав на карте, где станет катер, куда будет направлен луч ратьера и как должна грести шестерка. Майор некоторое время молча рассматривал схему, потом сказал:

— Имеется вариант: шлюпка почему-либо оказалась с другого борта — с запада. Вот и пропал ваш план.

— Вариант исключенный, — в тон ему ответил Ре-

шетников.— Для этого ей надо ошибиться не меньше чем на двадцать градусов. А курс я даю ей, как видите, простой: чистый зюйд. Даже если без компаса останутся, держи по корме Большую Медведицу, тут спутаться трудно... Имеются другие варианты?

— Пока нет. А предложение есть. Раз у вас там цветные стекла, не лучше ли дать зеленый огонь? Рифы рифами, а от греха подальше. Красный сам в глаза кидается, белый — очень ярко, а зеленый — вроде и звезда какая... Все-таки маскировка...

— Согласен, пусть будет зеленый,— ответил Решетников и, явно повеселев, взглянул на часы.— А что, товарищ майор, может, пораньше подойдем?

Луников искоса взглянул на него и усмехнулся:

— Пожалуй, правильно... Зачем нам лишние полчаса томиться? Уж рвать зуб, так сразу...

Решетников несколько смутился, поняв, что майор разгадал его нетерпение. Как бывает это в подобных случаях, ему уже невольно было дожидаться того, что все равно должно случиться, и хотелось, чтобы это поскорее началось. Он дунул в свисток переговорной трубы на мостик и приказал Михееву ворочать на обратный курс и при подходе к мысу пробить босвую тревогу, а сейчас прислать в рубку Хазова и Артюшина.

Майор хотел было уйти, но дверь отворилась, выключив свет. Когда он зажегся, в рубке стояли и тот и другой.

— Ясно,— недовольно сказал Решетников.— Было приказано спать, а они уже на палубе.

— При повороте с койки скинуло, товарищ лейтенант,— сразу же ответил Артюшин.— Я и вышел Зыкину сказать, что со штурвалом аккуратно надо обращаться. Не выйдет из него рулевого, как хотите, его бы в авнацию списать, пусть там виражи закладывает...

— Товарищи старшины, получите новый приказ на возвращение,— перебил его лейтенант, и Артюшин тотчас подтянулся.— Подойдите к карте...

Он подробно, с излишней даже обстоятельностью, объяснил им свой план, подчеркнув, что уклоняться вправо ни в коем случае нельзя, чтобы не проскочить катер с его темного борта, и закончил обычным:

— Все ясно? Вопросы имеются?

Он сказал это четко, по-командирски, и Артюшин так же четко ответил, что все понятно. Но Хазов неторопливо сказал:

— Есть, товарищ лейтенант.

— А что, Никита Петрович? — совсем другим тоном спросил Решетников, и Артюшин, спрятав невольную улыбку, заметил, что он с беспокойством покосился на левую руку боцмана.

Тот и в самом деле поднял ее к подбородку привычным жестом и в раздумье потер ладонью бритую щеку.

— Маловато запаса. Тут грести порядочно, шлюпка курса точно не удержит. Можем и правее катера пройти.

— Вот товарищ майор того же опасается, — сказал Решетников озабоченно. — Я и сам хотел для верности поставить катер западнее, да боюсь — увидите ли вы тогда огонь? Далековато на луч выйдете.

— Увидим, — с уверенностью сказал Хазов.

И Артюшин подтвердил:

— Ратьер увидим. Его из Поти увидишь, это не синий ночничок, прошлый раз все глаза проглядели...

— Ясно, — подытожил лейтенант и нарисовал на карте новый кружок с якорьком. — Вот так у вас запаса будет за глаза — градусов тридцать... Всё, товарищи старшины. Помните — на вас вся операция держится. Потеряем нынче шлюпку — весь смысл потеряется: разведчиков надо обязательно завтра на борт принять. Ну... желаю успеха.

Он пожал руку обоим. Хазов достал из реглана аккуратный клеенчатый бумажник и молча передал его командиру катера. То же сделал и Артюшин, но у него документы оказались в кокетливом кисетике, сшитом, очевидно, женскими руками. Потом оба вышли из рубки, а за ними — и Решетников с майором.

На палубе чувствовалось присутствие в темноте многих людей. Сквозь мягкий рокот одного мотора, под которым шел сейчас катер, слышны были негромкие голоса, какие-то тени уступали дорогу офицерам, направившимся на корму к шестерке. Очевидно, второй поворот дал знать команде и разведчикам, что время высадки приближается, и боевой тревоги уже не требовалось: все оказались на своих местах, шлюпку готовили к спуску и разведчики подтаскивали к ней громоздкий инвентарь пе-

хотного боя и окопной жизни, который им придется скоро разместить на своих плечах.

Тот незаметный, но ясно ощутимый всеми переход из одного жизненного состояния в другое, который начинается собой всякую боевую операцию задолго до ее фактического начала, уже произошел. И, хотя люди держались по-прежнему, спокойно разговаривали, шутили, выполняли порученное им дело, во всем этом теперь была особая значительность, которую все чувствовали, но которой не подчеркивали и даже как бы не замечали, словно уговорились между собой делать вид, что решительно ничего не происходит. Между тем часть этих людей уже переступила ту грань, за которой могла встретиться военная смерть, тогда как другая часть оставалась еще по эту сторону грани, где такая смерть была маловероятной. И как ни старались те и другие держаться естественно, быть такими, какими были пять минут назад, это у них не очень получалось, и усилие над собой выражалось у кого повышенной веселостью, у кого нарочитым спокойствием, у кого смущенностью и неловкостью. И всем, как недавно Решетникову, уже хотелось, чтобы действия, связанные с возможностью гибели, начались поскорее, если уж все равно они должны начаться.

Катер снова повернул, на этот раз на малом ходу, плавно. Звезды, качнувшись, расположились над ним так, что Большая Медведица оказалась по правому борту, и все на палубе поняли, что теперь катер идет вдоль берега к бухте. Однако никто не сказал об этом вслух: разведчики негромко обсуждали с лейтенантом Ворониным — взять лишнюю «цинку» с патронами или добавить гранат, Жадан приставал к боцману, чтобы подкормили разведчиков — есть, мол, лишний суп, — и только Сизов, оказавшийся каким-то образом рядом с Артюшиным, спросил его упавшим голосом:

— Подходим, что ли?

— Ты откуда тут взялся? — удивился тот.

— Радиограмму на мостик носил. Так, верно, подходим?

— Когда еще подойдем... «Последний час» успеешь выдать.

— «Последний час» еще через час.

— Тогда не успеешь. Сыпся на место.

Сизов помолчал, потом тронул его за локоть.

— Артюш... Ты, значит... это самое...

— Ну, чего тебе?

— Нег, ничего. Ну, счастливо, мне слушать надо.

— Счастливо. Иди слушай.

Артюшин постоял в темноте, потом, словно пожалев, его отпустил Сизов, негромко крикнул вслед:

— Юрка!

— Есть! — ответил голос рядом.

— Ты еще тут? — опять удивился Артюшин.

— Тут.

— Иди на место, я сказал.

— Я и шел, а ты зовешь.

— Ну, счастливо! Эх ты... герой...

— Командира отделения рулевых Артюшина на мостик! — донеслась до кормы голосовая передача.

— Есть на мостик! — отозвался Артюшин и, охватив Сизова за плечи, ласково потряс его худощавое, еще мальчишеское тело. — Вот теперь и в сам-деле подходим, раз самого маэстро приглашают... Будь здоров, Юра!

Артюшин угадал: командир катера приказал ему стать на руль, как это бывало всегда при сложном маневре. После поворота катер начал слегка рыскать на зыби, а ему следовало идти точно по курсу, чтобы попасть в намеченную его командиром точку несколько западнее бухты Непонятной.

Всё на мостике было сейчас подчинено этой задаче. Лейтенант Михеев следил за равномерностью хода, то и дело справляясь о числе оборотов мотора. Птахов, доверяясь своим глазам больше, чем биноклю, всматривался в темную грядку берега, чуть различимого на фоне звездного неба, надеясь опять, как и в прошлый раз, приметить зубец вершинки, находящейся неподалеку от бухты. Сам Решетников, положившись на его снайперское зрение, наклонился над компасом: несмотря на все искусство «маэстро», картушка медленно ходила около курсовой черты, и лейтенант внимательно следил, не уводит ли это рысканье в какую-либо одну сторону. Избежать его можно было, лишь прибавив оборотов, чего сделать было нельзя: подходить к месту высадки полагалось тихо, и катер, чуть поводя носом

вправо и влево, словно приныкивался к чьему-то следу, продолжал медленно красться вдоль берега.

В таком напряжении прошло более получаса. Наконец Птахов негромко, но с нескрываемым торжеством доложил:

— Вершина, справа восемьдесят.

Решетников посмотрел в бинокль туда, куда показывал Птахов, и, хотя, кроме темной полосы, закрывавшей на горизонте звезды, ничего не увидел, облегченно вздохнул: вершинка означала, что до якорного места оставалось идти только шесть минут. Хитря с самим собой, лейтенант добавил к ним две-три для верности, чтобы шестерка не проскочила катер с запада. Тогда он поставил рукоятку машинного телеграфа на «стоп», негромко скомандовал: «Отдать якорь!» — и пошел на корму, где вокруг шлюпки сгрудилась уже почти вся команда, готовясь с помощью разведчиков спустить ее на воду.

Это было проделано неожиданно быстро. Командирская рационализация с поясами вполне оправдалась — корма, поддерживаемая пробкой, даже не черпнула, и, когда Хазов отдал хитро завязанный им конец и пояса вытащили на катер, разведчики один за другим прыгнули в шестерку и начали разбирать весла, не тратя времени на отливание воды.

Майор подошел к Решетникову и, не отыскав в темноте его руки, дружески пожал ему локоть:

— Ну, товарищ лейтенант, спасибо за доставку. Значит, до завтра... Сенеку почаще вспоминайте, — добавил он улыбаясь, что было понятно по голосу, потом шагнул к борту. — Орлы! Хватайте ногу, поставьте ее там куда-нибудь не в воду...

Он не очень ловко слез в шестерку, и из темноты донесся спокойный голос Хазова:

— Разрешите отваливать, товарищ лейтенант?

— Отваливайте, — так же спокойно ответил Решетников.

Все, что передумал и перечувствовал он на мостике перед поворотом у мыса, вновь взмыло в нем из самых глубин души, куда он постарался это запрятать. Если бы он мог, он задержал бы шестерку, заменил бы Хазова кем угодно или пошел бы сам. Но ничего этого сде-

лать было нельзя, как нельзя было хотя бы затянуть уход шлюпки бесполезными расспросами, все ли нужное взято, помнят ли Хазов и Артюшин, как в случае чего держать по Большой Медведице. Можно было сказать лишь одно это командирское слово «отваливайте» — роковое слово, решающее судьбу людей и судьбу друга.

Его он и сказал спокойным, обыденным тоном.

Несколько сильных рук оттолкнули шестерку от борта. Темный силуэт ее на секунду закрыл собою звездный отблеск, мерцающий на выпуклой маслянистой волне зыби, и сразу же растворился в остальной черноте, окружающей катер.

Какое-то очень недолгое время оттуда доносились тихие равномерные всплески весел. Наконец и этот слабый звук погас, как гаснет тлеющая искра, — незаметно, но невозстановимо. И тогда над катером встала та удивительная тишина уснувшего моря, которая не может нарушиться ни шелестом листвы, как то бывает в лесу, ни шорохом сорвавшегося камешка, как в горах, ни встрепетом птицы в траве, как в степи. Беззвучность черноморской ночи была настолько совершенной, что слабое движение воздуха, едва ощущаемое кожей лица (и то лишь потому, что оно несло с собой холод), улавливалось слухом, как звук чьего-то близкого легкого дыхания. И казалось совершенно невероятным, что в этой безмятежной, спокойной тишине могут сухо затрещать выстрелы, застучать автоматная очередь или плотно ухнуть взрыв.

Но именно это и опасался услышать Решетников, присевший на освобожденные от шестерки стеллажи, и того же опасались те люди, которых он оставил на верхней палубе, запретив двигаться, кашлять и шептаться, чтобы не заглушить хоть малейшего звука, который мог донестись с берега или с воды. То и дело лейтенант отворачивал рукав шинели и смотрел на светящиеся стрелки. И чем ближе время подходило к тому, когда, по его расчету, шестерка должна была начать высадку в бухте, тем тревожнее вслушивался он в морскую тишину.

Наконец, не в силах сидеть неподвижно, он встал, словно так было лучше слушать. По времени получалось, что там, в бухте, шестерка уже подошла к берегу.



Разведчики один за другим спрыгнули в шестерку.

Ночь по-прежнему была беззвучна. Он опять взглянул на часы: наверное, теперь все уже выскочили на гальку. Никита Петрович прошлый раз говорил, что в бухте есть такой ровный пляжик, очень удобный для высадки. Ну, еще три минуты — сталкивают шлюпку. Все тихо. Сердце стало биться ровнее. Он простоял неподвижно еще пять минут, слыша только легкие вздохи ветерка. Ветерок был холодным, резкая свежесть забиралась за воротник кителя и почему-то главным образом ощущалась у затылка. Теперь шестерка, видимо, подходила к выходу из бухты. Сердце его опять тревожно заколотилось: а вдруг он так тянул со временем, что она давно уже вышла и сейчас ищет свет ратьера? Лейтенант снова взглянул на часы: нет, до этого еще далеко, не меньше двадцати минут, но для верности — пора.

— На мостике! Включить зеленый луч! — негромко скомандовал он и удивился: вот ведь неожиданно вышло! И как ему раньше не приходило это в голову — и верно, зеленый луч... Он усмехнулся про себя и закончил команду: — Влево не показывать, держать на норд-ост!

— Есть включить зеленый луч, влево не показывать! — весело откликнулся голос Птахова.

Катер стоял носом к востоку, и потому с кормы огня нельзя было увидеть. Но матросы, услышав команду, облегченно зашевелились. К лейтенанту подошел Чайка, потом сразу двое, потом кто-то споткнулся в темноте, и голос Сизова спросил:

— Возвращаются, товарищ лейтенант?

— Будем думать, — осторожно ответил Решетников.

— Товарищ лейтенант, — сказал Сизов уже совсем рядом, — старшина второй статьи меня сменил и приказал спать. А разве сейчас уснешь? Разрешите на палубе подождать, пока Артюшин вернется?

— Ну что ж, подожди. Сядь тут, тебе долго стоять нельзя. Ноги-то как?

— Совсем приросли, товарищ лейтенант, порядок!

— Ну ладно. Сиди и слушай!

Но сам Решетников не мог оставаться на месте. Теперь, когда напряженность положения несколько разрядилась, им все больше овладевало нетерпение. Ведь тишина еще ничего не доказывала: сомовская шлюпка ис-

чезла в такой же мирной тишине. Оставалось ждать, а ждать в этих условиях было очень трудно. Еще труднее было выкинуть из головы беспокойные мысли о том, увидит ли шестерка зеленый луч. Это походило на то, чтобы заставить себя не вспоминать о белом медведе. Все самое далекое, самое постороннее, что ему удавалось вытащить из памяти, чтобы отвлечься от этих тревожных мыслей, тут же, подобно свитой в тугую спираль пружины, которую согнуть невозможно, немедленно выворачивалось и неизменно приводило к тому, что он отгибал рукав шинели и убеждался, что прошло всего две или три минуты.

Решетников поднялся на мостик, заглянул в узкую щель ратьера, откуда весело и ярко бил зеленый свет, проверил по компасу, верно ли Птахов его направляет, поговорил с самим Птаховым и только потом рискнул взглянуть на часы. Оказалось, все это заняло четыре минуты. Время тянулось невозможно медленно.

Лейтенант вздохнул и решил зайти в рубку, где оставил сданные Артюшиным и боцманом документы. Они лежали на слабо освещенной карте, на которой карандашной чертой был отмечен условный луч ратьера, проходивший почти параллельно берегу. Глядя на него, Решетников вспомнил, как он рассказывал Никите Петровичу о зеленом луче и как убеждал не пропускать ни одного заката на море, чтобы все-таки поймать его. Кажется, это было в тот самый примечательный день, когда они с боцманом впервые заговорили по душам. Да, правильно. Они пошли вместе в штаб договариваться о дне первого выхода на пробу механизмов после ремонта. С утра резко похолодало, и над горами, обступившими бухту, нависли плотные белые облака. Их становилось все больше, они как бы давили друг на друга и к обеду сели на вершины гор, совершенно скрыв их от глаз. Бухта и море приобрели неприятный мертвенный оттенок залежалого свинца. Норд-ост переваливал облака через горы к морю. Текущие плотные туманы безостановочно скатывались по склонам к городку. словно какая-то густая холодная жидкость, они наливали доверху всякую впадину, лощину, седловину, выпуская к домикам и к садам шевелящиеся щупальца. Потом белая масса выплескивалась из впадин и, клубясь, кати-

лась вниз, готовая поглотить городок. Но едва она достигала какой-то черты, ветер, вырывавшийся из бухты, вздымал ее вверх и там яростно и быстро разрывал в клочья.

Глядя на это, Никита Петрович сказал тогда запомнившиеся Решетникову слова: «Ну и силища, вроде фашистской. А глядите — тает». Действительно, хотя белые массы, завалившие собой горы, были неисчислимы и хотя за плотной их стеной угадывались новые, еще бóльшие массы облаков, гонимых на город невесть откуда, было несомненно, что, сколько бы их ни оказалось, сильный и верный ветер с моря разорвет их в клочья и рассеет в небе грязными слоистыми облачками.

А Решетников, смотря на эту белую тучу, вспомнил о другой — черной, висевшей над алтайской степью. Тут он впервые рассказал Хазову о своем детстве и о том, как решил стать командиром военно-морского флота. И ему показалось, что Хазов как-то по-новому, с уважением, на него посмотрел и, вероятно, изменил свое мнение о нем, потому что с этого дня он чувствовал совсем иное отношение к себе. Именно тогда он и понял, что Хазов может быть для него тем же старшим другом, каким так недолго был для него когда-то Петр Ильич.

Перебирая это в памяти, Решетников машинально открыл клеенчатый бумажник. Там лежали партийный билет, удостоверения о награждении, выдававшиеся вместо орденских книжек, какие-то справки, видимо нужные боцману. Решетников с удивлением заметил, что на фотографии в партбилете Хазов выглядел не только моложе, что было понятно, а просто совсем другим человеком. Карточка была маленькая, но очень четкая: можно было различить даже выражение глаз. Они были спокойными, веселыми, а на лице совсем не замечалось сосредоточенной задумчивости и хмурой замкнутости, какие Решетников привык видеть на нем с первой же встречи, — видимо, все это сделала война. В бумажнике нашлась еще небольшая фотография. На ней был снят подросток, и сперва показалось, что это сам Никита Петрович, настолько все в лице мальчика напоминало его, но не теперешнего, а такого, каким он снимался несколько лет назад для партбилета. Однако на обороте оказалась надпись неровными буквами: «Косте Чиги-

рю — Петр Хазов», а ниже этого якорь, на лапах которого стояли цифры — 1940, а под ними — слово «союз» с восклицательным знаком.

Этому романтическому Петру было на взгляд лет десять-одиннадцать. Предположить, что это сын Хазова, о существовании которого никто на катерс не знал, было трудно: получалось, что он родился, когда Никите Петровичу было восемнадцать-девятнадцать лет. Видимо, это был его младший брат, о котором он тоже никогда не упоминал. Решетников еще раз посмотрел на открытое, смелое и удивительно привлекательное лицо, которое невольно запоминалось, вложил фотографию в бумажник и спрятал его в карман.

Но и на это все ушло едва три минуты. Лейтенант вышел из рубки, постоял возле нее, давая глазам привыкнуть к темноте, потом опять пошел на корму и сел рядом с Сизовым.

Тот немедленно же спросил:

— Долго ждать еще, товарищ лейтенант?

Решетников взглянул на часы:

— Недолго. Минут через десять должны подгрести.

— Скорей бы,— вздохнул Сизов совсем по-детски.

И Решетников улыбнулся. Видимо, Артюшин был для Юры тем же, чем в свое время был для него самого Ершов. Но прошло и десять минут, и двадцать, а шестерка не возвращалась.

На палубе снова появились люди, и снова они замерли в неподвижности. Опять настала полнейшая тишина — все слушали, не возникнет ли в ней слабый, чуть слышный звук равномерного всплеска весел.

Сроки, которые лейтенант ставил для своего успокоения, проходили один за другим. Пошел уже второй час с того времени, когда шестерка должна была подойти к катеру. Страшное волнение охватило Решетникова. Хорошо, что было тепло: все в нем трепетало, дрожало, ходило ходуном, и это, несомненно, могли бы заметить. Догадки и подозрения снова, как и в походе, осаждали его. Самой грозной из них была мысль, что шестерка прошла к западу от катера — там, где не было зеленого луча. Этого не могло быть, он отлично знал, что не могло быть, так как для этого шлюпка должна была бы держать Медведицу не по корме, а почти по правому

борт. И, зная это, он все же поймал себя на том, что соображает крикнуть на мостик: «Включить второй ратер на зюйд-вест!» Но это могло бы погубить катер: такой огонь наверняка был бы замечен. Решетников не мог этого сделать, как вообще не мог ничего сделать. Все его действие заключалось в бездействии. Чтобы помочь Хазову в беде, он готов был кинуться под снаряды, под пули, в воду, но должен был только ждать.

За все это время ни один человек из его команды не задал ему пустого и бесполезного вопроса: где же шестерка? Все молчали, но Решетников знал, что вопрос этот у всех на языке. Молчал и он сам.

Теперь его грызла нестерпимая по силе упрека мысль, ужасное для него сознание, что он сам, своим приказом, лишил себя только что приобретенного друга.

Он горько усмехнулся, вспомнив майора с его Сенокой: посмотреть бы, как Луников справился бы с той стаей грозных видений, которая вилась вот тут, в этой морской тишине, поглотившей без звука шестерку!..

Воспоминание о Луникове заставило его взять себя в руки. «Такая уж наша командирская должность...» Он командир, и он обязан что-то объяснить своей команде.

Усилием воли он подтянулся.

— Что-нибудь произошло, — сказал он матросам, стоявшим рядом, сам удивляясь своему спокойному тону. — Ну что ж, время у нас есть, рассвет еще не скоро. Будем ждать до рассвета.

И он опять сел на стеллажи глубинных бомб, зябко передернув плечами — то ли ночь, перевалив за свою половину, стала много холоднее, то ли это был нервный озноб. Он застегнул воротник шинели и замер в неподвижной позе.

Ему уже столько раз мерещился дальний, чуть слышный всплеск весел, что он решил не напрягать более слуха: если что будет — скажут другие. Теперь он вспоминал то, что сказал ему вчера Владыкин, давая боевое задание: «Пора, пожалуй, о том приказе подумать. Лучше будет, если вы сами поднимете вопрос. Пишите рапорт после первого же боя». А когда он спросил: «Может быть, после этого похода?» — Владыкин усмехнулся и сказал, что присваивать офицерское звание за такие прогулки по морю не полагается... Все ду-

мали, что это будет прсгулкой. И сам он тогда, на берегу, думал так же.

Все это проносилось у него в мозгу как бы по верхней части экрана,— остальная была занята неподвижной, безответной мыслью: где же шестерка? И так же неподвижно, как неподвижна была эта мысль, взгляд Решетникова упирался в темноту по носу катера, где мог показаться темный силуэт шестерки, заслоняющий собой отраженное водой звездное мерцание. Но это желанное пятно на воде все не появлялось, и было ужасно допустить мысль, что никогда и не появится.

Время тянулось так медленно, что казалось — оно вообще остановилось. Но, видимо, оно все же шло: звездное небо уже значительно повернулось, изменив свой яркий пунктирный узор. Решетникову даже почудилось, что оно бледнеет. Неужели уже рассвет, и с ним — конец ожиданию, в котором была хотя бы надежда? Нет, созвездия были по-прежнему яркие, а небо на востоке и не начинало сереть. Темнота эта успокаивала: значит, время еще есть, можно еще ждать и надеяться. Он смотрел в эту темноту, желая только одного — чтобы она не светлела.

Внезапно в ней беззвучно вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Вспыхнул и исчез. Не успел Решетников подумать, показалось это ему или было на самом деле, как в небе треснуло и раскатилось.

Взрыв словно сорвал лейтенанта со стеллажей. Он вскочил на ноги, собираясь кинуться сам не зная куда, но рядом с ним очутился Сизов.

— Товарищ лейтенант, что же это? Наши?.. — выкрикнул он.

Матросы, стоявшие на корме, молчали, но чувствовалось, что и они спрашивали то же.

— Ничего сказать еще нельзя,— заговорил Решетников каким-то чужим голосом.— Может быть, просто совпадение, а может быть... Подождем. Я сказал: будем здесь до рассвета.

Сизов вдруг зарыдал. Лейтенант охватил его дергающиеся узкие плечи.

— Ну, Юра, Юра... Ты же матрос... И ничего еще пока не известно... Держись, Юра!

Но успокоить того было невозможно.

— Ну-ка, кто-нибудь, возьмите его в кубрик, — сказал Решетников опять тем же чужим голосом и добавил громко: — На мостике! Держать луч точно на норд-ост, берегу не показывать!

— Есть берегу не показывать! — ответил Птахов.

И лейтенант снова сел на стеллажи. Если бы мог он дать себе сейчас волю!.. Зарыдать так, как рыдал Юра, как сам он плакал семь лет назад...

Но он мог только сидеть молча или говорить вот этим чужим голосом, твердым голосом командира корабля. И, как командир корабля, он не мог спрятаться со своим несчастьем в рубке или в каюте. Он должен быть здесь, на верхней палубе, среди своего экипажа. Должен смотреть на это бессмысленное сияние звезд и слушать спокойную тишину уснувшего моря, в которой такие взрывы кажутся невероятными. И должен делать вид, что ничего не известно, что можно еще чего-то ждать, когда сам прекрасно понимал, что взрыв был почти у выхода из бухты, если не в нем самом.

Но думать он мог.

А о чем думать? Как тогда — как же теперь жить?

Нет, теперь это вовсе не вопрос. Второго друга отняла у него война. Надо жить, чтобы ей не давать убивать. Надо жить, чтобы покончить с нею, — вернее, с теми, кто выпускает ее на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит, взрывает. Надо жить, чтобы отомстить за обоих.

Впрочем, это личности. Свое горе. А чужого горя полны целые города, области, даже республики.

И дело не в мести, а в том, чтобы предупредить убийства. В том, чтобы удавить эту войну и не дать выскочить на волю новой. Другого дела в жизни нет.

Вот и опять ты повзрослел. Тогда кончилось детство, теперь — молодость.

Что ж, будем ждать до рассвета. А с рассветом ты снимешься с якоря и уйдешь, так и не узнав, что случилось со вторым твоим другом. Ты офицер, и у тебя, кроме этих двоих, еще целый корабль со своей командой.

В спокойной, беззвучной и звездной черноморской ночи стоял у южного берега Крыма маленький военный корабль, и на корме его, опустив голову и глядя в мас-

лянисто-черную воду, как в открытую могилу, сидел молодой человек в шинели с офицерскими погонами. А с мостика крохотного корабля, не то забытый, не то упрямо оставленный, бесполезным сигналом светил вдоль рифов побережья тонкий и яркий зеленый луч

Глава десятая

Отойдя от катера, шестерка повернула почти на север и ходко пошла к берегу под сильными, протяжными гребками шестерых разведчиков. Двое остальных и лейтенант Воронин сидели с автоматами на носу шлюпки, а в корме разместились майор Луников, Хазов, Артюшин и шлюпочный компас.

Этот маленький прибор был нынче на шестерке в особом почете. На кормовом сиденье ему отвели отдельное место; ради него все оружие было отправлено на бак, чтобы вредным своим соседством не мешать его важной работе. И ему одному разрешалось пользоваться светом: картушка его была освещена синим лучом карманного фонарика, хитро вставленного в нактоуз, в футляр компаса. Здесь было свое штатное освещение потайной масляной лампочкой, но слабый свет ее не устраивал Артюшина, и он приспособил фонарик, чтобы точнее держать на курсе.

Вход в бухту Непонятную осложнялся тем, что перед нею, как бы отгораживая ее от моря, параллельно берегу тянулась высокая подводная гряда, доходящая почти до поверхности воды и небезопасная даже для шлюпок. Ее приходилось обходить, оставляя слева, а потом идти между нею и берегом до входа в бухту. Так и шла сейчас шестерка, держа курс по компасу.

Все в шлюпке молчали. В тишине повторялись ритмичные, однообразные звуки гребли: всплеск лопастей, поскрипывание деревянного набора шлюпки, содрогающегося в конце каждого гребка, когда весла, вылетая из воды, делают последний рывок. Хазов, сидевший рядом с Артюшиным, всматривался вперед. Наконец он молча положил руку на румпель, и Артюшин так же молча снял с него свою и потушил фонарик в нактоузе: шлюпка приближалась к берегу, начиналось лоцманское пла-

вание, для которого не нужно ни компаса, ни искусства классного рулевого и где «лоцманом может быть даже боцман» — как еще на катере сообщил это Артюшин майору.

Подведя ее почти вплотную к скалам, закрывавшим собою звездное сияние неба, боцман повернул влево и повел шлюпку вдоль них. Потом скалы стали отходить, и шестерка, словно они притягивали ее к себе, тоже стала склоняться вправо, сперва понемногу, потом все круче, покамест Большая Медведица не оказалась снова у нее прямо по носу.

Это и был вход в бухту. Хазов вполголоса скомандовал:

— Суши весла...

Разведчики перестали грести. Шестерка продолжала бесшумно двигаться вперед с поднятыми над водой веслами. Воронин и оба матроса на баке привстали с автоматами в руках. Артюшин шепнул загребному: «Оружие сюда», — и гребцы передали с бака два автомата и несколько гранат.

Дав шестерке дойти до середины бухты, о чем он догадался по каким-то своим признакам, Хазов положил лево руля и так же негромко скомандовал:

— Левая табань, правая на воду... — И, выждав, когда шлюпка развернулась носом к выходу из бухты, добавил: — Табань обе... Помалу.

Теперь шлюпка медленно пошла к берегу кормой, готовая в случае опасности быстро отойти от него. Боцман без стука снял с петель руль и положил его в шлюпку, потом взял в обе руки по гранате и повернулся к берегу. Артюшин и майор уже пристроились с автоматами к за спинной доске кормового сиденья.

В бухте было совсем тихо, только плескалась вода у камней: зыбь образовала здесь легкий накат. Резкая прохлада ночи чувствовалась меньше, может быть потому, что воздух тут был почти неподвижен. Вода, лишенная отблеска звезд, закрытых нависающими над ней скалами, казалась черной. Подгоняемая бесшумными гребками, шлюпка осторожно приближалась к берегу. Вглядываясь в проступавшие в темноте камни, боцман молча, не оборачиваясь, трогал гранатой колени то правого, то левого загребного. По этому знаку то один, то

другой борт переставал грести, отчего шестерка изменяла направление, отыскивая известный боцману каменный пляжик.

Наконец корма ее приткнулась к гальке. Шестерка остановилась, чуть пошевеливаясь на лепивой волне, пабегающей на отлогий берег. Майор собрался шагнуть в воду, но Хазов удержал сго. С полминуты он стоял неподвижно, вслушиваясь в темноту, потом обернулся и шепнул:

— Шабаш... Легче с веслами, не стучать!

Он перекинул ноги через фальшборт, осторожно ступил в холодную воду и рывком потянул на себя шлюпку. Корма вылезла на гальку.

— Теперь сходите,— шепнул он Луникову.

Сама высадка заняла не более двух-трех минут. Выскочив на берег, первые двое разведчиков тотчас исчезли в темноте, разойдясь по берегу, чтобы выяснить обстановку. Остальные без звука разобрали оружие и весь свой пехотный груз. Майор потянул к себе Хазова за рукав ватной куртки:

— Спасибо, боцман, кажется, сошло... Желаю счастливо добраться. И помните—завтра нам обязательно на катере надо быть. Ждать будем тут же.

— Помню,— коротко ответил Хазов.— Счастливо вам, товарищ майор.

— Осторожнее из бухты выходите. Хотя,— тут в голосе Луникова послышалась усмешка,— хотя насчет ножей-то я и впрямь кино сочинил... Тут такая тьма, что шлюпки на воде и не различишь... Ну, будем думать, и дальше все хорошо сойдет. Отваливайте, не теряйте времени.

Хазов легко вскочил в шестерку. Артюшин, не выходящий из нее, теперь пристроил компас на первой с кормы банке, опять приладив к нему свой фонарик. Это было его собственное изобретение, которое прошлый раз вполне оправдалось: сидя с веслом на второй банке, он мог следить за курсом, не прекращая гребли, чего при тусклом штатном освещении делать было невозможно.

Разведчики подошли к корме, чтобы столкнуть шлюпку в воду, но Артюшин зашипел на них:

— Не май месяц—купаться, сами сойдем! Ну, от важная морская пехота, замцарица полей, желаю!..

Уперев весла вальками в грунт, они вдвоем легко сдвинули облегченную шлюпку. Она быстро отошла от берега, и фигуры людей сразу исчезли в темноте. Артюшин сел на банку и вложил весло в уключину.

— Значит, уговор прежний: в бухте ты лоцман, а в море я штурман. На воду!

И они сделали первый дружный гребок.

Идти на шестерке без руля под двумя веслами — дело не очень простое. Гребцы должны работать очень слаженно, хорошо чувствуя друг друга, чтобы не перегребать соседа и не уводить этим шлюпку с намеченного курса. У неопытных порой получается так, что в стараниях сравнять силу гребков оба быстро выдыхаются или, наоборот, уступая друг другу, теряют ход шлюпки, не могут держать заданное направление и дело кончается тем, что оба бросают весла и со злыми глазами переходят к взаимным упрекам.

Хазов и Артюшин, моряки умелые и бывалые, даже и не думали обо всем этом. Едва они начали грести, мышцы их сами нашли некоторый общий, наиболее выгодный для обоих уровень усилий, отчего ритм гребли сам собою установился и шестерка пошла ровно, без толчков и рыскания, но, конечно, уже не так быстро, как входила она в бухту под всеми шестью веслами. Согласно уговору вел ее сейчас боцман. Это означало, что Артюшин должен был грести ровно, с одинаковой силой, а Хазов по мере надобности либо ослаблял свои гребки, либо усиливал их для того, чтобы сохранить направление хода шлюпки или, наоборот, изменить его.

Сидя по левому борту на третьей с кормы банке, он греб, повернув голову направо, вглядываясь в скалы, хорошо различимые в звездном свете. Шлюпку нужно было вести вплотную к ним, чтобы сперва найти выход из бухты, а потом то приметное место берега, где обрывистые их стены сменялись отлогим галечным пляжем. Тут, уже не опасаясь камней подводной гряды, можно было поворачивать в море, и здесь лоцманские обязанности Хазова заканчивались: шлюпка ложилась на курс чистый зюйд, и вести ее по компасу до встречи с лучом ратьера должен был «штурман» Артюшин.

Они гребли молча. Скалы неясными громадами медленно проходили по левому борту. Приподнимаясь на

зыби, шестерка то чуть ускоряла, то чуть замедляла ход. Потом Хазов перестал грести, и шлюпка под ударами одного весла начала забира́ть влево, выходя из бухты. Вдруг, коротко ругнувшись, Артюшин рывком поднял весло на сгибе локтя, задрал его лопасть.

Хазов обернулся:

— Чего ты?

— Чего... Мина... И здоровущая, тварь!

Мимо шлюпки, у самого борта, проплывала черная круглая масса. Артюшин увидел ее, вернее, почувствовал, когда, повернув голову к левому плечу, заносил весло. Движение, которым он вырвал его из уключины, получилось у него помимо воли. От легкого удара веслом мина вряд ли сработала бы, вот если бы шестерка с ходу наткнулась на мину форштевнем...

При этой мысли Артюшин покрутил головой и, сделав гребок, не очень естественно засмеялся.

— Повезло нам с тобой, боцман, прямо скажем... И откуда ее черт принес! Тут и заграждений-то нет...

Хазов промолчал. Артюшин хотел добавить, что завтра, выходит, снова придется дважды проходить мимо этой окаянной мины, раз она болтается в бухте и деваться ей некуда. Но, подумав, он оставил это открытие при себе: неписанные правила поведения людей на войне воспрещают делиться с товарищами такого рода соображениями, — догадался, ну и помалкивай, нечего других расстраивать. Да и сам он постарался не думать об этом. Все равно ничего тут сделать было нельзя: ни расстрелять ее, ни разоружить. Чтобы отвлечься от этих бесполезных мыслей, он начал считать гребки. Досчитав до двухсот, когда, по его соображениям, шестерка должна была уже миновать подводную гряду, он окликнул Хазова:

— Не пора ворочать, боцман?

— Скалы еще.

— Долго нынче идем.

— Зыбь.

— Тогда давай навалимся.

Боцман даже не ответил.

Считать гребки надоело, но, пожалуй, их набралась еще добрая сотня, когда Хазов наконец сказал:

— Галька. Давай на курс.

Артюшин оставил весло и наклонился к компасу, что-

бы включить свое хитрое освещение. Боцман двумя гребками развернул шлюпку кормой к берегу.

— Ну, скоро ты там? — спросил он.

— Техника на грани фантастики, — смущенно ответил Артюшин. — Наверное, проводок отскочил. Говорил Юрке — подлиньше припайвай...

— Зажги лучше маслянку, вернее будет.

— Да тут делов на момент, зато потом спокойней пойдем. Сейчас прикручу.

Фонарик Артюшина, подаренный ему кем-то из разведчиков, заряжал обычно Сизов, загоняя туда элементы из «Бас-80» — «батареи анодной сухой восьмидесятивольтовой», которых у него, как у всякого радиста, было предовольно. Но потому ли, что Юра был расстроен предстоящей высадкой, или потому, что Артюшин торопил его, фонарик нынче отказал. Артюшину пришлось открывать дверцу и на ощупь прикручивать проволочку к контактной пластинке.

Хазов не торопил его: минута-две ничего не меняли, а удобства артюшинского освещения стоили этой задержки. Он сидел, отдыхая, спокойно положив руки на валеки весла, и смотрел на Большую Медведицу, свесившую хвост как раз над кормой. Шлюпка лениво шевелилась на зыби. Глубочайшая тишина стояла вокруг; даже того легкого плеска воды о камни, который слышался в бухте, здесь не было.

Вдруг ему показалось, что часть звезд ниже Медведицы скрылась. Он присмотрелся. Звезды на краю неба исчезали одна за другой, словно на них надвигалась непроницаемо плотная туча. Прошло еще с минуту, когда стало ясно, что закрывает их скала — та самая скала, которую они уже проходили, приближаясь к отлогому берегу.

— Артюшин, садись за весло! — тревожно сказал он.

— Сейчас. Уже наладил, включаю...

— На воду, говорю! Шлюпку сносит!

Артюшин схватился за весло. Они развернули шестерку снова вдоль берега, продвинули ее вперед, потом Хазов приказал сушить весла, всматриваясь в скалы. Едва они перестали грести, шестерка сразу же пошла назад. Чтобы удерживать ее на месте, приходилось делать довольно частые гребки.

— На воду! — сказал Хазов. — К гальке приткнемся...

Они снова начали грести. Шлюпка пошла к тому же месту, где недавно разворачивалась. Но все то, что тогда не привлекало их внимания, сейчас доказывало скорость этого неожиданного течения: и медленность, с какой уходили назад скалы, и количество лишних гребков. Артюшину даже померещилось, что вода за бортом журчит, как будто шлюпка идет не по морю, а по реке, и довольно быстрой. На самом деле так оно и было: шестерку спосила назад невидимая река.

Накануне того дня, когда «СК 0944» вышел к бухте Непонятной, только что утих зюйд-вестовый шторм, доходивший до семи-восьми баллов. Трое суток подряд все то огромное количество воды, которое образует собой Черное море, находилось в непрерывном сильнейшем движении. Вряд ли на всем его пространстве от Босфора до Керчи оставалась в покое хоть одна капля. Тяжелые массы соленой воды колыхались, вздымались, опадали, сшибались, превращались в зыбкие крутые горы, в пологие ложбины, в холмы и обрывистые овраги. Ветер, пролетая над созданным им клокочущим кипением, гнал громадные валы в одном направлении. Украшенные белопенными султанами, они как бы догоняли друг друга, мчась в стремительном беге вслед за низкими рваными облаками, пронесившимися над ними к северо-востоку.

На самом деле неслись туда только эти облака. Волны же, вопреки сложившемуся поэтическому представлению о них, никуда не стремились, не катились и не бежали чередой: вода, составляющая их, стояла на месте, лишь перемещая свои текущие частицы вверх и вниз по замкнутым круговым орбитам, безостановочно меняя этим свою форму и создавая впечатление быстрого бега волн. Однако некоторый тонкий слой ее и в самом деле передвигался вслед за ветром к берегам Крыма и Таманского полуострова. И так велико было Черное море, что этого тонкого слоя, сдвинутого ветром в северо-восточный его угол, оказалось достаточно, чтобы порядком поднять там уровень воды и образовать обратное течение.

Оно началось сразу же, едва напор ветра ослаб. Море еще продолжало вздыхать невысокими волнами зыби, постепенно успокаиваясь, а те значительные массы воды, которые шторм нагонял сюда целых три дня, уже стремились обратно, на юго-запад. Медленными невидимыми

реками они текли по Черному морю в разнообразных и капризных направлениях, зависящих от местных береговых ветерков, температуры встречных слоев воды и рельефа дна.

Одно из таких обратных течений, зародившееся в Феодосийском заливе, куда шторм нагнал особенно много воды, направилось вдоль берега Крыма. Сильные его струи шевельнули встреченную на пути тупоголовую черную мину, плавающую на поверхности. Та сперва только лениво повернулась, но потом, словно надумав, сдвинулась и поплыла вместе с течением. Короткий обрывок троса болтался у нее под брюхом: два дня назад шторм сорвал ее с якоря, на котором, охраняя от советских кораблей советские же берега, она простояла более года, так и не дождавшись толчка, который разбудил бы дремлющую в ее утробе черно-желтую тротильовую смерть. Плавно покачиваясь на затихающей зыби, мина весь следующий день плыла вдоль берега на запад. В сумерках ее поднесло к бухте, у входа в которую выдвигались в море скалы. Отброшенное ими течение образовало здесь довольно крутой изгиб. На повороте мину вынесло из движущихся струй в неподвижную воду бухты. Вернуться в протекающий мимо поток она уже не смогла и, подталкиваемая случайными струями, заглядывающими сюда, начала описывать между скалами неправильные кривые, петли и спирали, мягко вздымаясь и опускаясь на зыби.

Именно с ней, едва не столкнувшись, и встретилась выходящая из бухты шлюпка. И точно так же, как появление здесь мины было полной неожиданностью для сидящих в шлюпке двоих людей, не меньшей неожиданностью для них оказалось и то, что вдоль берега шло сильное течение на запад. Они пытались все же с помощью двух тяжелых весел продвигать навстречу ему неуклюжую шлюпку, не понимая, что, по существу, вступают в поединок с Черным морем, которое, восстанавливая свой нарушенный штормом уровень, перемещает из одного своего угла в другой безмерно громадные массы воды.

Не вдаваясь в истинные причины сноса шлюпки, Хазов, едва обнаружив его, тотчас стал действовать так, как в этих условиях было единственно правильно и необходимо. Нужно было немедленно же зацепиться за берег,



Мимо шлюпки, у самого борта, проплывала мина.

чтобы удержать шестерку там, куда им удалось ее довести, и тогда уже пытаться понять, что же происходит и что им следует делать. Гладкие скалы берега и камни возле него не давали этой возможности. Но, как только шлюпка, с трудом выгребая против катящегося навстречу ей неукротимого потока, миновала наконец последнюю скалу, Хазов повернул и приткнул ее носом к гальке отлогого берега, начинавшегося отсюда.

— Ну, старшина, давай соображать. Время для пачала заметь,— сказал он обычным своим спокойным тоном.

Артюшин посветил фонариком на часы.

Оказалось, на переход сюда из бухты они потратили почти вдвое больше времени, чем при прошлой высадке,— около получаса. Это был уже достаточный показатель силы течения, вполне определивший серьезность положения. То обстоятельство, что течение шло как раз вдоль берега, то есть на запад, вносило уже окончательную ясность. Это означало, что, когда шлюпка начнет грести к катеру, снос будет наибольшим из возможных, так как течение придется под прямым углом к курсу.

— Выходит, пронесет нас мимо катера,— сказал Хазов, произведя в уме несложные расчеты.— Не выгрести.

— Сюда же выгребли,— возразил Артюшин.— Это у берега так тянет. Если б в море так сносило, мы бы на камнях сидели.

— А мы через них и проскочили.

— Скажешь тоже! — обиделся Артюшин.

— Я срамить тебя не хотел. Ты куда шестерку вывел? Я думал, компас у тебя врет, а получается — снесло.

Артюшин вспомнил, что шлюпка и точно вышла не сюда, к отлогому берегу, куда в обход подводной гряды был проложен курс, а на какую-то высокую скалу. Тогда он подумал, что это была первая скала рядом с пляжем, и не придал значения небольшой неточности курса. Теперь он оценил это иначе.

— Получается так,— согласился он.— Градусов на пятнадцать снесло, не меньше. И как это нас на камни не посадило?

— Бывает. С миной же вот разошлись.

— Ну, возьмем на снос тридцать градусов, вот и выйдем на катер,— уверенно сказал Артюшин.— Конечно, грести уж на совесть придется.

Хазов покачал головой:

— Сил не хватит. Почти час грести. Не выйти на двух веслах: на шести — и то куда снесло.

Некоторое время они сидели молча. Потом Артюшин сказал:

— Наверное, с Азовского тянет, штормом туда нагнало. Вполне понятное дело.

— А нам с того легче?

— Все-таки научное открытие. И ту шестерку, видно, так же унесло. Помнишь, накануне тоже шторм был?

— Вот и унесло, раз к катеру пошли. Ну, так что делать будем? Время идет.

Глубокая, полная тишина стояла над ровным каменистым пляжем, уходящим на восток. Чуть пошевеливалось за бортом оставленное в уключине весло, лопасть которого лежала на воде, катившей мимо шлюпки быстрые струи невидимой реки. И берег и море, как бы отдыхая после недавнего потрясения штормом, сохраняли удивительный покой, следя за бесшумным ходом звездного неба, которое поворачивало над ними свою мерцающую, светящуюся, играющую огнями дальних миров сферу. И двое людей, сидевших в шлюпке, тоже как будто отдыхали в неторопливом ожидании кого-то, кто должен подойти сюда, в условленное место, — так спокойны были те короткие фразы, которыми они время от времени перекидывались, и так обыденны были их позы. Один полулежал на банке, как бы рассматривая звезды, другой сидел, удобно облокотившись и медленно поглаживая ладонью подбородок и щеку.

Между тем в звездной спокойной ночи по скалам берега пробирались в горы моряки, успех трудного военного дела которых зависел от этой шлюпки, а в море, в миле от берега, стоял катер, дальнейшие действия которого были связаны с ее возвращением, а далеко отсюда, в Москве, люди, управлявшие ходом войны, ожидали результатов того, что должны были выполнить разведчики морской пехоты и моряки катера и что было нужно для улучшения военной службы огромной страны и ее многомиллионного населения. Рассчитанный и проверенный ход этой незначительной маленькой операции, имеющей столь значительный и большой смысл, вдруг нарушился стихийным обстоятельством, которое невозможно было

предвидеть: капризным поворотом отливного послештормового течения в северо-восточной части Черного моря.

Исправить этот нарушившийся ход операции не могли ни командир катера, ни высадившийся с разведчиками боевой офицер майор Луников, ни те обладающие громадной властью, опытом и знаниями военные и государственные люди, которые управляли ходом всей войны. Сделать это могли только эти два человека, сидевшие в шлюпке, — два советских человека, носящих военно-морскую форму, два матроса, два коммуниста.

И они пытались решить, что же можно сделать в данном сложнейшем положении. И, хотя в тех коротких фразах, которыми они перебрасывались, не было и намека на то, что оба понимают и чувствуют ответственность за успех операции, важный смысл которой был им даже неизвестен, — все, что они говорили, было направлено к одной цели: исправить ход этой операции, нарушенной последствиями шторма.

Они обсудили и отвергли уже несколько решений. Круг все сужался. Сперва стало ясно, что возвращение на шлюпке к катеру сейчас невозможно. Ожидать же, когда течение прекратится или хотя бы ослабнет, было тоже невозможно: это могло произойти одинаково вероятно и через час и через сутки. Тогда в обсуждение вошла другая тема: остаться со шлюпкой здесь, спрятав ее в камнях, а завтра, с темнотой, привести в бухту, куда должны вернуться разведчики. Предложил это Артюшин, и Хазов сперва ухватился за эту мысль. Конечно, в этом был серьезнейший риск: если бы шлюпку заметили, то разведчикам неминуемо устроили бы засаду. Но потом Хазов припомнил, что сегодня, выводя шестерку из бухты, он случайно обнаружил под нависшей скалой нечто вроде грота, где вполне возможно спрятать шестерку, залив ее водой, чтобы понизить борта.

— Ну и притопим, — весело сказал Артюшин, — а завтра, как стемнеет, начнем отливать. Согреемся, по крайней мере... Значит, пошли?

Он взялся уже за весло, как бочман остановил его вопросом:

— А на катере?

— Что — на катере?

— Откуда на катере будут знать, что завтра надо за нами вернуться?

Артюшин молча отпустил весло. Повиснув в уключине, оно легло лопастью на струившуюся мимо борта воду и снова начало пошевеливаться на ней.

В самом деле, прождав шлюпку до рассвета, лейтенант Решетников будет вынужден уйти, как неделю назад ушел старший лейтенант Сомов, также не дождавшись своей шлюпки. Артюшин знал, что утром майор должен будет связаться по радио с катером, тогда Решетников сообщит ему о пропаже шлюпки, и тот не приведет разведчиков в бухту! Таким образом, получалось, что прятать шлюпку вдвойне бессмысленно.

— А фонарик? — сказал вдруг Артюшин.

— Что — фонарик?

— Поморзим на катер, вот и узнают.

— Нельзя.

— Знаю, что нельзя. Да бывает, что и нельзя — можно.

— А тут нельзя. Сказано — ничем себя не обнаруживать.

— Так ведь момент, боцман: мигну — Птахов враз примет.

— А что ты мигнешь?

Артюшин задумался. Но как ни вертел он слова, составляя донесение, все-таки выходило, что морзить придется далеко не «момент», а больше минуты. Кроме того, и катер должен был ответить на вызов. Этого за глаза хватало, чтобы провалить всю операцию. Он с сожалением повертел в руках фонарик и положил его на банку.

— Значит, фокус не удался. Давай дальше думать.

И он снова вернулся к мысли, как бы все-таки довести шестерку до катера. Теперь он предложил податься против течения вдоль берега на милю. Это займет, правда, около часа, зато даст полную гарантию, что шлюпку не пронесет мимо катера. Однако, когда Хазов спросил его, способен ли он будет грести два с лишним часа подряд, не отдыхая ни минуты да еще наваливаясь, так как каждая минута отдыха и каждый слабый гребок означали дополнительный снос, он тут же отказался от этого своего предложения и выдвинул новое, прямо противоположное:

— Тогда затопим шлюпку и уйдем в горы. Авось найдем к утру партизан, майор передаст, чтобы катер пришел завтра с другой шлюпкой,— всего и делов.

Хазов помолчал.

— Не знаем мы, где их искать,— не годится. А вот насчит другой шлюпки — ты это верно.

— Что — верно? — не понял Артюшин.

— Сходить катеру за ней в базу, вот что. Вполне до завтрашней ночи может обернуться.

— Так и я про то говорю.

— Про то, да не так. Плыть надо на катер, вот как.

Теперь помолчал, соображая, Артюшин.

— Так ведь тоже снесет,— возразил он наконец.— Хуже, чем шлюпку.

— А если против течения подняться, как ты говорил? Только не по воде, а по берегу. Быстро, и не устанем.

Артюшин опять помолчал, взвешивая его слова.

— Километра полтора пройти — тогда не пронесет. Вода вот холодна.

— Быстрее поплывем — согреемся.

— Это верно. Так решили, что ли?

— Видно, надо решать,— сказал Хазов.

— Обожди. Плыть недалеко — мило, да вода холодна. На шлюпке все же вернее. Давай еще подумаем.

Они посидели молча с минуту, перебирая в уме уже отвергнутые варианты и ища новые. Вдруг Артюшин засмеялся и хлопнул себя по коленке.

— Ну и головы!.. Чего тут думать: садись на руль, а я фалинь на плечо — и рысью по берегу!

Он сказал это с такой веселой уверенностью, что Хазов невольно привстал на банке, собираясь пересест на корму. Конечно, вернее всего было проташить шестерку вдоль берега на фалине — конце, которым привязывают шлюпку,— подобно тому, как ведут на бечеве лодку против течения. Это сохранило бы им и время, и силы, и самую шлюпку.

Но для этого требовалось, чтобы отлогий берег тянулся по крайней мере полтора километра. Между тем боцман, которого Решетников, по примеру Луникова, тотчас после ужина заставил хорошенько рассмотреть карту, помнил, что галечный пляж метров через пятьсот

снова переходит в скалистый берег. Пройти там пешком было можно, но тащить за собой шлюпку на коротком фалине никак не удалось бы, и грести все равно пришлось бы минут сорок.

Все это боцман немногословно объяснил Артюшину. Тот молча выскочил из шлюпки.

— Куда ты? — спросил Хазов.

— Камней наберу, а ты пока оружие вытаскивай.

Оба взялись за дело, стараясь наверстать время, ушедшее на поиски выхода. В шлюпку для верности наложили камней, потом спрятали в скалах оба автомата, гранаты и компас, чтобы завтра, если все обойдется благополучно, захватить с собой на обратном пути. Масляную лампу Артюшин вынул из нактоуза и положил на гальку в бескозырке вместе с фонариком.

Хазов вывинтил чоп — пробку в днище, — и вода журчащим фонтаном забила в шлюпку. Выскочив из шестерки, боцман сильным ударом толкнул ее на глубину под скалы.

— Как там время? — спросил он.

Артюшин зажег свой фонарик. На их военный совет, на переноску оружия и камней ушло двадцать четыре минуты.

— Долго провозились, — недовольно сказал Хазов и тут же двинулся широким шагом по берегу. — Пошли? Быстрее пойдем! И прогреемся, и время наверстаем.

Артюшин подобрал бескозырку и компасную лампу и, почти бегом догнав боцмана, подлачился ему в ногу и зашагал рядом. Галька, стуча, откатывалась из-под их подошв. Боцман действительно дал хороший ход, и обоим стало тепло, потом жарко. Так они шли молча минут пять. Хазов увидел, что Артюшин несет что-то в руке.

— Ты что тащишь?

— Лампу взял из нактоуза.

— Фонаря тебе мало?

— Маслом намажемся. Я об одном проплыве читал, обязательно мазаться надо. От холода спасает. Плынешь, что в фуфайке.

Больше за все время этого стремительного хода по пустынному ночному берегу они ни о чем не говорили. Только хрустела и стучала галька, отмечая каждый их шаг. Порой она сменялась песком, плотно укатанным

волнами, и тогда идти становилось легче, ноги упруго отталкивались от него, но затем опять вязли в сыпучей массе мелкой круглой гальки. Потом все чаще стали попадаться большие камни, которые приходилось обходить, чтобы не лезть по грудь в воду, потом берег стал обрывистым и раза три-четыре пришлось карабкаться на скалы. Они снова сменились отлогим галечным пляжем, и тут боцман остановился так же решительно, как начал этот ночной переход вдоль берега.

— Сколько прошли?

— Восемнадцать минут.

— Хватит?

— Ход был хороший. Километра полтора с гаком отхватили.

Хазов повернулся к Большой Медведице:

— Давай курс, штурман.

Они легко нашли Полярную звезду. Боцман стал лицом к ней, Артюшин — спиной к его спине. Выбрав среди звезд перед собой одну поярче, которая была градусов на двадцать левее, он показал ее Хазову.

— На нее и будем держать, запомни, лоцман. Ну, на старт, что ли? До чего же неохота, братцы... Холодна же, окаянная.

Они быстро разделись. Свежий ночной воздух охватил разгоряченные тела. Артюшин, разделив пополам масло, налил его на ладонь боцману и себе. От масла стало еще холоднее. Но надо было связать одежду в узел, набить брюки галькой. В последний раз взглянув на часы, Артюшин отчаянным жестом далеко закинул в море фонарик, но часы оставил на руке, надеясь сам не зная на что.

Взяв узлы с одеждой, они вошли в воду, и вначале показалось, что в ней теплее, чем на воздухе. Дно быстро понижалось. Зайдя в море по грудь, они забросили вперед свои тяжелые узлы, и те сразу затонули.

Мягкая волна зыби оторвала их от песчаного дна, и они поплыли.

Артюшин легко нашел избранную им яркую звезду и повернул прямо на нее. Боцман, держась с левой его руки, поплыл рядом. И так же, как на шестерке, они, не уговариваясь, нашли общий, наивыгоднейший для обоих ритм, так и сейчас, проплыв минуточку-две в некотором раз-

нобое, то отставая, то перегоняя друг друга, оба вскоре широкими и свободными движениями поплыли голова в голову.

Помогало ли артюшинское масло или в телах их был еще достаточный запас тепла, но первое время холод окружающей их воды почти не ощущался. Они плыли брассом, самым экономным и выгодным для далекого проплыва стилем, плыли не торопясь, сберегая силы. Несколько мешала зыбь. Она приподымала их — и тогда движения затруднялись, потом мягко опускала — и тут рукам было легче разгрести воду. Наконец оба приладились и к этому.

Монотонность плавательных движений убаюкивала. Ра-аз, два-три — пауза. Ра-аз, два-три — пауза... Сто, двести, тысячу раз... Казалось, думать о чем-нибудь было невозможно, кроме этого подчиняющего себе ритма. Однако Хазов думал.

Он думал все о том же, о чем думал почти всегда и отчего на лице его было то постоянное выражение сосредоточенности или, наоборот, рассеянности, которое обращало на себя внимание всякого, кто смотрел на него. Эта постоянная, неотвязная мысль никому не была известна. Он хранил ее в себе, не делясь ни с кем, потому что никто в целом мире не мог бы помочь ему ни дружеским, ни любовным словом утешения. Она была привычна ему, как дыхание, как биение сердца. И так же как без них он не мог бы жить, так и без этого воспоминания он не мог бы продолжать жизни. Он отлично понимал всю бесполезность этой мысли, всю беспомощность воспоминания, которое никогда не может восстановить прошлого. Но вместе с тем он боялся, что настанет время, когда постоянная эта неотвязная мысль покинет его, когда воспоминание, потускнев, исчезнет, и тогда Петр действительно умрет, действительно уйдет из его жизни.

Есть люди, для которых горе — как ураган. Оно разрушает все вокруг, оно способно убить самого человека, переживающего это горе, оно делает из молодого — старика. Но, как ураган, оно проносится, и солнце вновь проглядывает на небе, и только далекий отзвук горя, с такою страстной мукой перенесенного, грохочет где-то вдали мягким рокотом ушедшей грозы. А воздух полон уже свежести, и трава, прижатая ураганом к земле, подни-

мается в необыкновенно яркой своей зелени, и жизнь возвращается — может быть, даже с большей силой.

Но есть люди, для которых горе — как осень, долгая, тяжелая, холодная осень беспросветных дней и длинных пустых ночей, лишенных сна и покоя. Горе, которое поселяется в душе по-хозяйски, надолго, с которым человек свыкается, как с непроходящей болезнью, горе, так давно потерявшее свою остроту, что его, быть может, уже и не надо называть горем. Чаще всего такое горе приживается в материнском сердце, которое не умеет забывать. Воспоминания живут в нем, подсказывая исчезнувший голос, зажигая угасший взгляд, восстанавливая тысячи мелочей, связанных с детством ушедшего ребенка, который умер совсем не ребенком. Ни с кем не говорит об этом мать, все хранит в себе, и только задумчивость или рассеянность укажут порой другим, что милое видение все живет в ее печальном сердце.

Такое непроходящее, постоянное горе и поселилось в душе Никиты Хазова. Может быть, потому, что отцовское чувство его было более материнским.

Разглядывая фотографию Петра Хазова, лейтенант Решетников подсчитал, что он никак не может быть сыном Никиты Петровича: получилось, что тот стал отцом в восемнадцать-девятнадцать лет. Между тем так оно и было. Никита Петрович (тогда еще Никитка) женился именно восемнадцати лет, женился по какой-то ошалелой, внезапной, не желающей ни с чем считаться любви. И Наташе было столько же. Никита только что кончил школу, собирался держать экзамены в училище имени Фрунзе, а она — в медицинский институт. Что и как случилось, теперь уже невозможно было ни понять, ни вспомнить. Была севастопольская весна с сиренью, цветущим миндалем, с воздухом, живительным и томящим, была юность, честная, не знающая сделок с совестью. И была любовь, цельная, уносящая, всенаполняющая. Когда выяснилось, что у них — самих почти детей — будет ребенок, Никита сказал, что надо пожениться. Она пусть идет в институт, а он будет работать — его звали на Морской завод. Ждали почему-то девочку, а родился сын. Наташа уехала в Москву, потеряв год, Петр остался на руках бабушки и самого Никиты. В тот год, когда его призвали во флот, Наташа умерла, порезав на вскрытии палец.

По-настоящему Никита Петрович узнал сына, когда тому минуло пять лет: тогда, оставшись на сверхсрочную, он стал бывать дома почти каждый день. Он таскал мальчика на катер, ходил с ним в порт, и скоро на дивизионе привыкли, что Петр целые дни проводит тут. И так же как в свое время Никита Петрович знал, что жизнь его пройдет на флоте, так теперь знал он, что сын его непременно будет флотским командиром. Все мысли и действия обоих были направлены к тому самому училищу имени Фрунзе, поступить в которое отцу сын помешал своим появлением на свет.

Петр погиб в марте сорок второго года. Он оставался в Севастополе, прибывшись к морякам Седьмой бригады морской пехоты, не считая возможным для себя эвакуироваться с мальчишками. Война щадила его, хотя он был в довольно горячем месте — у Чоргуна, напрашивался в разведку, ходил в атаку с полуавтоматом. Потом начальство распорядилось отправить его на Большую землю. Дважды он убежал с кораблей, увозивших семьи и раненых. На третий раз его все-таки удалось отправить на госпитальном судне. У мыса Меганом судно это потопили торпедоносцы.

Петр тонул в такой же холодной воде, в какой плыл сейчас он. И привычная внутренняя тоска, почти не выражавшаяся вовне, теперь усиливалась ощущением этой холодной воды.

Может быть, вот так же плыл и Петр, разводя в ней тонкими, еще не окрепшими руками подростка: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Но впереди у него была безнадежность. Не только невозможность доплыть до берега, но и бессмысленность этого: на берегу был враг.

Что он думал, что переживал? Как он пошел на дно? Изнемогли от усталости или сознательно, бросив ненужную борьбу?

Станным образом Решетников с некоторых пор напоминал Хазову сына. Все было не похоже — возраст, характер, биография, — но было между ними что-то общее. Как будто Петр вырос и стал лейтенантом и командиром катера. Хазов долго не мог понять: что же именно? И только когда Решетников рассказал ему о «вельботе», об озере, о разговоре в степи и о туче над ней, Хазов по-

нял, что общим у них с Петром была та еще не осознанная, необъяснимая, почти инстинктивная любовь к морю и флоту, которая двигала их поступками. Он вспомнил, как в один из приходов катера в Севастополь отпросился на берег и нашел сына в окопике у Чоргуна. Тогда в ответ на уговоры отца эвакуироваться на Кавказ, где он сможет продолжать учиться, Петр ответил: «А флот кто защищать будет? Дядя? На корабли не пускают, так я здесь с моряками бок о бок дерусь, и сам моряк!..»

Ра-аз, два-три — пауза... Ра-аз, два-три — пауза... Конечно, через десять лет он стал бы таким, как Решетников. Такой же ершистый, самолюбивый, прямой, смелый.

— Боцман! — сказал вдруг рядом Артюшин.

Хазов повернул голову:

— Ну что?

— Знаешь, как в обозе кричат? На заднем возу хреновинка вышла, батька помер...

— Не пойму, о чем ты.

— Судорога меня прихватила, вот что. Руками плыву. Отстану.

— Хватайся за меня.

— Не. Плыви вперед. Справлюсь, доберусь.

— Хватайся, говорю.

— Слушай, боцман... Ты со мной тут прочикаешься, а катер уйдет. Ждать не будет.

— Никуда он не уйдет до самого рассвета.

— Ну да. Пождет да и даст ходу.

— Ты глупостей не говори,— сурово сказал Хазов.— Не такой у нас командир. Хватайся за шею.

— Снесет нас. Вперед плыть надо.

Хазов подплыл к нему и силком положил его руку к себе на плечо.

— Тогда погоди,— смирился Артюшин.— Дай я попробую ногу растереть. Вот тебе и масло, черт его...

Он забарахтался в воде, энергично растирая ногу. Хазов держался на месте, медленно разводя руками. Зыбь покачивала их, течение поворачивало в воде. И тогда перед глазами Хазова над водой вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Потом по воде докатился плотный гремучий звук взрыва.

— Что это? — спросил Артюшин.

— Твоя хлопнулась. Завтра чисто в бухту входить будем,— спокойно ответил Хазов.— Ну, подправился? — Погоди, сейчас.

Все еще держась за его шею, Артюшин сделал несколько движений ногой, потом отпустил Хазова.

— Порядок! Полный вперед! Ложусь на курс!

Он повернул снова на избранную им звезду и опять оба вошли в одинаковый, выгодный для обоих ритм: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Зыбь подымала и опускала их так же, как еще недавно подымала она и опускала в бухте большую тупоголовую мину, пока на каком-то стотысячном подъеме не поднесла ее к мелкому месту и не опустила на подводный камень. Собственным своим весом мина произвела необходимый толчок ударного приспособления и взорвалась, никому не причинив вреда.

Сколько времени они плыли, ни тот, ни другой сказать бы не мог. Не признаваясь друг другу, они уже начинали отчаиваться. Видимо, расчеты их оказались неверны и их уже пронесло мимо катера. Но они упорно двигали руками и ногами в этом монотонном, почти безнадежном ритме: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Безмерная усталость сказывалась на сердце, на дыхании, на мышцах.

И тогда боцман сказал, словно невзначай:

— На катере, пожалуй, больше нас переживают. Мина-то в самой бухте хлопнула, на нас подумали. Надо доплыть, Степан, а то никто ничего не поймет. И бухту загубят. А она правильная.

Эту длинную для пловца речь он произнес по крайней мере в десять приемов. Артюшин ответил короче:

— Факт, надо. Мы и плывем.

Они проплыли еще минуты три, и вдруг Артюшин заорал так громко, как только можно заорать в воде:

— Боцман, вижу! Зеленый ратьер вижу! Провались я на этом месте, вижу! Братцы, что же это делается? Вижу! Гляди правее, вон туда!

Хазов рывком выбросил плечи из воды и тут же увидел зеленую точку. Она светила на самом краю воды, до нее, казалось, было безмерно далеко, но она светила!

Они повернули на нее. И тут оказалось, что она совсем не так далеко. Зыбь приподымала их, и всякий раз

зеленая точка сияла им верным светом надежды и спасения. С каждым движением рук они приближались к ней, к катеру, к теплу, к продолжению жизни.

Теперь, когда великий их воинский долг был выполнен, когда самым появлением своим они вносили ясность в запутанную обстановку бухты Непонятной, когда важнейшее задание, имеющее государственное военное значение, было обеспечено, они думали о том, о чем до сих пор ни у одного из них не мелькнуло и мысли: что они спасены, что они не утонут, что в этом громадном ночном море они не проскочат мимо крохотного катерка, стоящего в нем на якоре. Время пошло в тысячу раз быстрее. Они не успели опомниться, как зеленый огонь достиг нестерпимой яркости и руки их коснулись благословенной, желанной твердости борта.

И тут Артюшин не удержался.

— На катере! — закричал он слабым голосом. — Прошу разрешения подойти к борту!

На палубе зашумели, раздался топот многих ног, потом послышался тревожный голос Решетникова:

— Оба здесь? Боцман где?

— Здесь, товарищ лейтенант!

Сильные руки вытянули их на борт.

Через минуту блаженное тепло охватило их иззябшие тела. Остро пахло спиртом: видимо, их растирали. Хазов поймал чью-то руку, больно царапавшую кожу на груди.

— Командира позови...

— Здесь я, Никита Петрович, слушаю.

— Товарищ лейтенант, в бухте все в порядке... Течение, не выгresti... Надо идти в базу, взять другую шлюпку... Завтра проведем туда... Мина была... Взорвалась... Чисто...

— Понятно, Никита Петрович, сделаю.

Но Хазов уже ничего не слышал. Сознание его провалилось в мягкую, но сухую и теплую бездну. «Ра-аз, два-три — пауза... Ра-аз, два-три — пауза...»

Решетников вышел на палубу из отсека среднего мотора, куда внесли боцмана и Артюшина. Полной грудью вдохнув свежий воздух, он громко скомандовал:

— Радиста ко мне! На мостике! Выключить зеленый луч!

ПИСАТЕЛЬ И МОРЕ

Леонида Сергеевича Соболева с первых, давних лет знакомства с ним я зауважал не только как замечательного писателя, большого мастера литературы, но и как отважного моряка, навсегда связавшего себя с жизнью советского военного флота и гордо несшего в собственной жизни и в своих книгах сине-белый, краснорубашечный «серпастый, молоткастый» морской флаг. Верность флоту нашему и советской военно-морской службе Соболев сохранял всегда истово и беззаветно, где бы он ни был.

На берега Невы и Балтики он приехал из сибирского города Иркутска, где родился 20 июля 1898 года в семье отставного артиллерийского офицера. В Петербурге он учился сначала в кадетском корпусе, а потом — в Морском училище. И, окончив его в 1918 году, пошел добровольцем служить на Красный флот. Довелось ему быть на одном из советских линкоров, в который угодила торпеда, пущенная неожиданно прорвавшимся на Кронштадтский рейд вражеским катером...

Соболев оставался в строю военных моряков до 1931 года. Но еще лет за пять до этого стал параллельно с путями, ведущими в море, прокладывать свой путь в литературе. В печати появились рассказы, очерки и статьи Леонида Соболева. Все они были, как правило, посвящены морю, советскому флоту, его людям.

В 1933 году мы уже с захватывающим интересом и благодарным чувством к автору читали его роман «Капитальный ремонт». На страницах этого быстро завоевавшего широкую известность талантливого произведения раскрывались мастерски написанные картины жизни предреволюционного русского флота, судьбы людей, отдавших себя морю и серьезно задумавшихся над тем, что происходит на земле.

До войны мы были с Леонидом Сергеевичем Соболевым соседями в писательском подмосковном городке. 22 июня 1941 года, в первом часу дня, я, ворвавшись к Соболеву в рабочий кабинет, первым сообщил ему о начавшейся войне, только что услышав о ней по радио. И мы долго стояли молча друг перед другом и думали о том, что нас всех ждет...

А потом, когда война разметала нас по разным краям своим, до меня долетел слух о том, что Соболев якобы погиб. Я все переспрашивал, правда ли это, не веря... Но когда услышал, что погиб Соболев вместе с военным, подорванным торпедой кораблем, на борту которого мужественно оставался вместе с командиром до последней минуты, пока палуба не ушла в море, когда сказали мне об этих подробностях, тогда поверил!.. И как же несказанно был вскоре обрадован, узнав, что сообщение вызвано какой-то путаницей, что это — ложный слух, что писатель жив, здоров, остается верен своему моряцкому долгу и разделяет трудную и славную боевую судьбу своих любимых героев-моряков. А по старой флотской примете считается, что если о человеке пойдет неверный слух, будто он погиб в море, значит, жить ему долго еще и счастливо. Вот я и позволил себе тут вспомнить о том переполюшавшем нас слухе, который, по морскому поверью, считается добрым предзнаменованием, подобным зеленому лучу закатного солнца... Но о заветном луче речь будет несколько позднее.

А сейчас я хочу сказать вот о чем.

Война страшна, трудна, опасна и на твердой земле. Но не даром пословица говорит: «Кто на море не бывал, тот и страха не знал».

Во флотской службе ко всем военным испытаниям неизменно присоединяется еще и тяжкое испытание человека морем. Тут и пугающая отдаленность от родных берегов. И обнаженная пустыньность разверстых горизонтов, подчеркивающая неукрытость и незащищенность человека. И бездонность глубин, над которыми ощущаешь себя таким утлым...

Солдат, даже сраженный пулей в бою на суше и падающий на твердую землю, еще не чувствует себя погибшим, пока у него не остановилось сердце или не померкло сознание. Моряк, идущий «подзаныр» со своим кораблем, большею частью уходит в пучину смерти вместе со своими товарищами.

Это порождает особый морской характер. Так рождается железное братство моряков, скрепленное единством общей палубы и судьбы. Вот она — морская душа! Леонид Соболев давно прославился в нашей литературе как певец этой размашистой, будто широкая океанская волна, и в то же время предельно собранной, словно экипаж одного корабля, морской души.

Недаром одну из своих лучших книг, удостоенную Государственной премии, книгу о советских моряках, сражавшихся с врагом на суше и на море, Леонид Соболев назвал «Морская душа». А как известно, именно так прозвали знаменитую полосатую, как прибор на

море, моряцкую тельняшку, с которой, если человек хоть раз носил ее по службе, он никогда уже не расстанется.

Не буду скрывать, что я тоже был горд возможности при встрече с Леонидом Соболевым года через полтора после начала войны показаться ему в военно-морской шинели, только что вернувшись из Заполярья, с действующего Северного флота, самого крайнего северного участка Великого фронта — с Рыбачьего полуострова. Соболев взыскательно, как будто я стоял в строю на палубе боевого корабля, а сам он был командиром, оглядел меня и сказал добродушно:

— Выправка вполне приличная.

И это была для меня похвала, может быть, еще большая, чем та, которую я ощущал в добрых оценках Леонидом Сергеевичем моих скромных книг.

А Соболев — человек в литературе очень взыскательный. Ведь недаром на Первом нашем Всесоюзном писательском съезде в 1934 году он произнес с трибуны слова, которые потом в своей речи, закрывая съезд, повторил Горький. Слова эти, чуть ли не ставшие нашей писательской поговоркой, напоминали о том, что партия, Советская власть, народ дали нам, писателям, все права, кроме одного: плохо писать. Соболев пишет скупое и немного, очень тщательно выверяя каждую страницу, каждое слово своих книг и не торопясь выходить с ними к читателю. Он никогда не забывает о высоких правах советского писателя и о взыскательных требованиях нашего многочитающего народа, народа-книголюба.

С присущим Соболеву безукоризненным знанием моря и наших людей, защищающих родные берега, написана и повесть «Зеленый луч». По сюжету своему, захватывающему читателя с первых же страниц, по насыщенности и энергии стремительно развивающихся событий книга эта по праву занимает видное место среди самых увлекательных произведений советской приключенческой литературы. Но у Леонида Соболева приключения никогда не выглядят преувеличением или присочинением. Героические поступки, подлинные подвиги и бесстрашные действия командира сторожевого катера «0944» лейтенанта Алексея Решетникова и его товарищей — это не нагроможденные хитроумно случайности, а некая закономерность, проявления определенных характеров в событиях, полных высокого драматизма по существу своему. В решении этих напряженных коллизий проявляется истинное величие того мужества, что проявил наш народ в дни войны на суше и на море, хотя события, составляющие фабулу повести, имеют внешне весьма скромный масштаб.

Матросское поверье о добром зеленом предзакатном луче, предвещающем удачу и счастье, по-своему и поэтично озаряет эту по-

весть. Но, конечно, не утешительная примета, столь желанная, хотя и редко уловимая, решает дело в повести Леонида Соболева. Братство, характеры и поступки героев ее венчает не изумрудный прощальный луч заката, а целая радуга пленительных чувств и душевных черт, свойственных людям, которых так любит и так живо рисует Соболев. И спасает героев не мифический луч заката, а указавший местонахождение катера дальнотзорный зеленый луч корабельного ратьера.

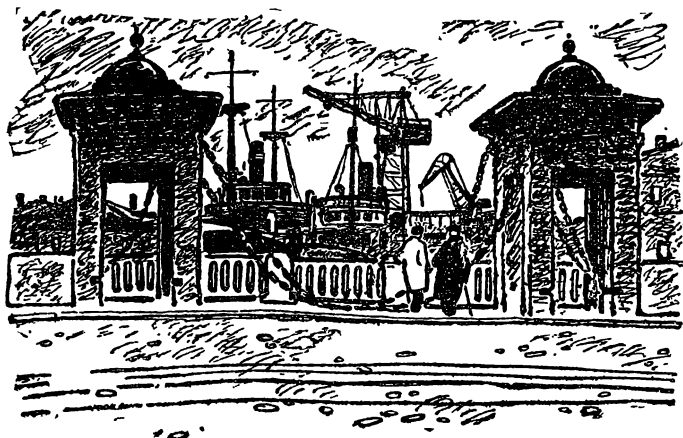
У знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя есть известная книга «Старик и море». Это горькая повесть о тщете людских усилий, результат которых все равно пожирает алчное море, кишашее жадными акулами. Перед ними оказывается бессильным даже самый многоопытный человек-одиночка.

Книги Соболева можно было бы объединить под общим названием: «Человек наш и море». Повесть «Зеленый луч», как и другие произведения Леонида Соболева, воспевают крепкое, немногословное братство и мужественную сплоченность советских людей, утвердивших свою трудовую власть на родной земле и бесстрашно побеждающих врага как на ее тверди, так и в зыбких необъятных просторах моря.

Лев Кассиль

*Вс. Воеводин,
Евг. Русс*





« обыкновенные человеческие свойства
приняли характер возвышенный».

Бальзак

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСТРЕЧИ

Глава I

МЫСЛИ О МОРЕ

Ленинград — город приморский, но не все ленинградцы помнят об этом. Я думаю, что в Ленинграде есть люди, которые прожили в нем всю свою жизнь и никогда не видели моря.

Я ленинградец. Я родился и вырос в этом удивительном городе, но, так же как большинство моих сверстников, школьных друзей, море знал только по книгам.

Несколько лет назад был такой случай. После школы мы с товарищами решили побродить по улицам. Мы шли не торопясь, и часу не прошло, как очутились в незнакомой части города. С любопытством я оглядывался по сторонам и вдруг прямо перед собой, над крышей трехэтажного дома, увидел корабль. Он показался мне выброшенным на берег; его острый нос врезался прямо в крыши.

Я опешил от неожиданности. Сначала я даже не мог понять, каким образом здесь, во дворе обыкновенного ленинградского дома, оказалось это огромное морское судно, покрашенное в белый и красный цвета. А потом я сообразил, что мы уже забрели в портовую часть города и там, за домами, не дворы, а доки и корабельные верфи.

Тут был мост с четырьмя башнями посередине. Красивая трехмачтовая шхуна стояла у моста, всеми своими мачтами отражаясь в окнах домов, выходящих на набережную. Был ясный вечер. Во всех этажах окна пылали закатом. В ту сторону, где садилось солнце, было больно смотреть глазам; неясно я различал там, на реке, большие и малые суда, и стеклянные крыши цехов, и черные, изогнувшиеся над водой подъемные краны. Мы хотели скорей перебежать мост, чтобы вблизи разглядеть трехмачтовую шхуну, как вдруг кто-то из моих товарищей крикнул: «Смотрите, море!»

В самом деле, это было море; кусочек моря, открывшийся нам с обыкновенной ленинградской улицы, с моста, по которому то и дело пробегали трамваи и автомобили. Он был очень невелик, этот кусочек сверкающей солнцем морской глади,— слева от нас его заслоняли дома, справа — доки. Когда ребята уже тянули меня за рукав, торопили идти дальше, я все еще стоял у перил и смотрел, смотрел во все глаза на эту далекую полоску воды, терявшую свой блеск, по мере того как наступали сумерки.

Так впервые в жизни я увидел море. Потом из пригородного поселка, где одно время был наш пионерский лагерь, я видел его много раз и вскоре уже привык равнодушно смотреть на проходящие мимо корабли. О море, о морской службе я стал думать гораздо позже.

Мне самому сейчас видно, что в этих мыслях не было ничего хорошего. Не море меня соблазняло, а моряки, вернее — некоторые моряки.

В последнем классе школы я стал учиться небрежно, завел новых приятелей, гораздо старше меня по возрасту. Среди них были матросы, служившие в торговом флоте. В дни междурейсовых стоянок эти ребята появлялись расфранченные, в мягких шляпах и долгополых плащах, таких блестящих, что даже в солнечную погоду казалось, будто бы они попали под хороший дождь и еще не успели обсохнуть. Парням этим было лет по восемнадцати, од-

нако они корчили из себя людей, выдавших виды в своей жизни. Все они любили выпить, посквернословить, а при случае и подраться из-за какого-нибудь пустяка. И, прямо надо сказать, эти пустые и не очень умные парни мне ужасно нравились.

Изю всех сил я подражал их ухваткам, их особенной манере цедить сквозь зубы слова, держать в зубах папиросу и даже плевать. Я завидовал тому, что вот недельку-другую они погуляют в городе, а потом опять уйдут в море, увидят новые города, веселые и шумные порты южных морей, о которых я читал в книжках, а потом вернутся и за бутылкой пива будут рассказывать всякую всячину таким вот, как я, мальчишкам. Правда, те ребята, которых я знал, ни разу не рассказывали мне что-нибудь очень интересное. Выходило так, по их рассказам, что в тех местах, где они побывали, кроме закусовых да галантерейных лавок, ничего любопытного и нет. Зато у каждого по возвращении оказывалась в кармане какая-нибудь необыкновенная трубка или зажигалка, которой они чиркали кстати и некстати.

Все-таки выпускные экзамены я кое-как сдал. Все мои товарищи по школе уже твердо решили, кто кем будет: одни собирались стать инженерами, другие врачами, несколько человек хотели поступить в военные училища, было двое и таких, которые спали и видели во сне Академию художеств. В этих разговорах о будущем я участия не принимал. Если ко мне обращались с вопросом, что я все-таки собираюсь делать дальше, я отвечал: не знаю, не решил еще — или просто отмалчивался. Бездельником в глазах товарищей мне не хотелось казаться, а ничего путного сказать о себе я не мог.

Время шло. Я продолжал бездельничать. Стыдно об этом говорить, я потерял зря почти целый год — все лето, осень и зиму. Новые мои приятели показывались редко, но зато когда показывались, то случалось так, что я и дома не ночевал.

Наконец эта бестолковая жизнь кончилась.

Отец и мать давно уже косо поглядывали на мое безделье. Мать стеснялась заговорить со мной о моих делах, а отец явно копил свое неудовольствие для решительного разговора. Когда по вечерам мы всей семьей садились за ужин, отец разговаривал с Виктором, сест-

риным мужем (они работали на одном заводе, отец — мастером, а Виктор — инженером), ко мне даже не обращались.

Как-то раз, сразу же после ужина, я встал и попросил у матери ключ от квартиры, чтобы не будить ее ночью, когда я вернусь домой. За столом весь вечер шел оживленный разговор, как назло, все о наших общих знакомых, каждый из которых чем-нибудь да отличился у себя на работе. Сестра вспоминала свою подругу по школе, агронома, недавно награжденную орденом; отец, важно насупив брови, говорил о своем ученике-слесаре, который, работая на заводе, сумел окончить институт. Виктор помалкивал, но все понимали, что ему просто неудобно говорить на эту тему, так как на днях его, двадцатитрехлетнего парня, назначили начальником большого цеха. И вот, как только я сказал матери, что вернусь домой ночью, за столом сразу стало тихо.

Я надел пальто, сунул ключ в карман и пошел к выходу. В это время отец меня окликнул:

— Погоди, я тоже сейчас иду.

Он редко выходил из дому в такой поздний час. Сразу же я понял, что на улице мне предстоит не очень-то приятная беседа.

Мы вышли на улицу. «Ты в какую сторону?» — спросил отец. Я наудачу махнул рукой, и не торопясь мы зашагали по панели.

Наверное, полчаса мы шли молча и только яростно попыхивали папиросами. С отцом была его старая железная палка, с которой он ходил каждый день на работу, лязгала она по камням невыносимо. С центральных улиц мы свернули в темные переулки, пошли по безлюдной в этот поздний час набережной канала. Над крышами домов еще стояла бледная апрельская заря. Время от времени отец бормотал что-то под нос и тогда еще громче стучал по камням своей железной палкой. Каждую минуту я со страхом ждал, что вот-вот он начнет меня отчитывать — сурово и резко, как он это умел. «Куда он меня ведет? — думал я с тоской. — Уж стал бы ругаться, что ли, чем так выматывать душу!»

И тут он заговорил. Он говорил, не глядя на меня, и я сначала даже не мог разобрать, что это он там бормочет себе под нос. Прислушиваясь к его сердитой вор-

котне, я понял, что он вспоминает свою покойную сестру, которая воспитывала его после смерти их родителей, и какого-то инженера, господина Штрауха, и его собаку. Отец вспоминал свое детство. В ногу шагая со мной, он говорил о том, как остался тринадцати лет сиротой, как вынужден был бросить городское училище и проситься учеником в заводские мастерские. Трижды сестра ходила с ним на поклон к начальнику мастерских инженеру Штрауху, и трижды инженер говорил ей: «Ступай, своих хватает». Но им повезло. Наконец им очень повезло. Сестра нанялась прислугой к тому же господину Штрауху, а у того был крупнейший пес, дог Карл. Пса нужно было купать раз в неделю. Молоденькой девушке было не под силу справиться с трехпудовым псом, и вот отец приходил к ней на кухню, помогал купать хозяйского пса. Там его однажды увидел инженер и сказал: «Это и есть твой брат? Молодец мальчик! Ну ладно, я уж что-нибудь для него сделаю».

Отец шагал, стучал палкой по камням. Даже теперь, чуть ли не сорок лет спустя, он ненавидел и этого инженера и его мордастого пса Карла, будь он трижды неладен. Все руки он ему искусал! Вдруг отец обернулся ко мне, и я с испугом поднял глаза ему навстречу. Я ожидал увидеть сердитое, красное от возмущения лицо, а вместо этого увидел усы, растянутые в усмешке, и ласковые глаза, которые смотрели на меня слегка исподлобья. На работе и дома отец носил очки, и это была его всегдашняя привычка смотреть в лицо собеседнику поверх очков, чуть наклонив голову.

— Я это вот к чему говорю,— тихо сказал он и, переложив палку из одной руки в другую, взял меня за локоть.— От глупых случайностей прежде зависела наша жизнь. Рассудим так: не попади моя сестра в прислуги к этому инженеру, не будь у инженера этого скверного пса, я, может быть, и не попал бы учеником на завод. Кто знает, что было бы тогда со мной? А теперь каждый человек, старый он или молодой, имеет право на такую жизнь, какая ему нравится. Каждый может выбрать себе любое ремесло или занятие, и ему обеспечена всякая помощь. Каким же нужно быть дрянным и неблагодарным человеком, чтобы не ценить такую жизнь! В твои годы я и мечтать не смел о ней.

Все это отец говорил, ведя меня под руку, и, когда кончил говорить, остановился посреди тротуара. Я смотрел себе под ноги и не отвечал. Вдруг с меня слетело все раздумье. Только теперь я заметил, что мы стоим на мосту с четырьмя башнями посредине и под нами река, в которой колыхались и плыли бесчисленные отражения огней. Черные контуры корабельных мачт и подъемных кранов выступали на затухающем небе. Лед шел под мостом. Невидимые в темноте льдины царапали каменные устои моста, плескались и трещали, наскакивая друг на дружку. Я вгляделся туда, в черноту, и все у меня поплыло перед глазами, все сдвинулось с места — мост, огни, дома вдоль набережной и корабельные мачты. А дальше, совсем под самой зарей, светлела узкая полоска воды, и ничего не было над ней, только небо и небо.

Море! Я шел с отцом наугад, сам не зная куда, и мы пришли с ним на тот самый мост, с которого много лет назад впервые в жизни я увидел море.

— Так вот,— продолжал отец,— надо выбирать. Думай, брат, думай, и уж если выбирать себе дело, так раз и навсегда.

— Я хочу в море,— сказал я.

Даю слово, в ту минуту я забыл о своих веселых приятелях, обо всем том, что втайне соблазняло меня последние годы. Далеко перед собой я видел ясную полоску воды и зеленое сияние над ней, и меня охватывало чувство, пожалуй, самое сильное из всех тех, которые я когда-либо испытывал. Очутиться там, в этом вечернем просторе, стоять на ветру, чувствуя под руками холодок железных поручней, и видеть далекий огонек маяка, и звезды, и белокрылых морских птиц, садящихся к ночи на мачты,— в ту минуту я не представлял себе большего счастья.

Уверенно я повторил:

— Я хочу стать моряком.

— Что ж,— помолчав, ответил отец.— Моряки бывают всякие. Боюсь только, что ты будешь плохим моряком.

Не глядя на меня, он пожал мне руку и медленно побрел к трамвайной остановке.

СЕВЕРНЫЕ КАПИТАНЫ

Утро двадцать четвертого марта 193... года навсегда останется в моей памяти. Не каждый день просыпаясь в таком чудесном настроении.

Я проснулся в поезде дальнего следования. Хвойные леса, занесенные снегом, тянулись за окном. Небо было низкое, хмурое. Иногда лес редел, и огромные глыбы гранита, все в трещинах, все в снеговых прожилках, вплотную подступали к железнодорожному полотну. Я ехал на Север.

Все вышло совсем не так, как я рассчитывал в тот вечер, когда отец предложил мне пройти с ним по улице. В Ленинградском порту, куда я пошел наниматься на какое-нибудь судно, мне сказали, что сейчас у них нет нужды в матросах. «Если не терпится,— сказали мне,— поезжай в Заполярье, там возьмут». Мне в самом деле не терпелось получить поскорей «мореходку» — матросскую карточку, и я сказал отцу, что в Ленинграде мне делать нечего и — решено — я еду на Север. Отец смолчал, однако дал мне денег на билет и еще на полмесяца жизни — на тот случай, если я сразу не попаду в плавание.

Никто не провожал меня на вокзале. С родителями я попрощался дома, и расставание было не очень теплое. Я отлично понимал, что у отца и у матери из-за меня, как говорится, «сердце не на месте», но так как оба они делали вид, что им решительно все равно, куда и зачем я еду, то и я, прощаясь с ними, был сух и немногословен. Глупо было с моей стороны вести себя таким образом. Как покажет дальнейший мой рассказ, наше прощание едва не оказалось последним.

Итак, меня никто не провожал, только минуты за две до отхода поезда на вокзал прибежала сестра с Виктором, сунула мне в руки пакетики с какими-то сладостями на дорогу и еще сто рублей денег. А на следующее утро я был уже далеко, за много сот километров от моего дома, сидел у окна и смотрел на пронесившиеся мимо меня обрывы серого камня, леса, занесенные снегом, и хмурые, облачные дали в просветах между лесами. Снега, замшелые камни, сосны... Я ехал на Север!

Ко всему этому мне остается только прибавить, что ехал я в мягком вагоне, один в четырехместном купе, так как пассажиров в поезде было немного. Дело в том, что мне никогда не приходилось ездить в мягких вагонах, а тут уж я решил: раз я еду на Север, к морю, начинать новую жизнь, то заодно доставлю себе и это удовольствие — куплю билет в мягкий вагон.

Я встал рано и вышел в коридор покурить. Дремучие леса за окном сменились унылой равниной, на которой кое-где торчали одинокие чахлые сосны. Поднималась пурга. Снежные вихри ползали по равнине. Я долго стоял у окна один, в поезде еще спали.

Вдруг в соседнем купе с грохотом отворилась дверь, и в коридор выскочил пассажир.

— У вас есть спички? — крикнул он.

Я протянул ему коробок.

— Гром и молния! — сказал он, раскуривая трубку. — Может быть, у вас, молодой человек, есть лишний коробок?

Я сказал, что у меня есть запас спичек на дорогу и этот коробок он может взять себе. Никогда я не слышал, чтобы в наше время люди так забавно бранились, как этот гражданин с трубкой. Да и весь он был очень забавен.

Он раскурил трубку и стал рядом со мной у окна. Настроение у него, по-видимому, сразу исправилось. Ростом он был примерно мне до бровей, хотя сам я не очень высокого роста. Искоса поглядывая на него, я пытался угадать, сколько ему может быть лет и кто он такой по профессии. Лицо у него было румяное, без единой морщины, я бы сказал — мальчишеское лицо, и, если бы не огромные белобрысы усы, ему нельзя было бы дать больше тридцати — тридцати двух лет. Но самым занятным в нем был его голос — грубый, зычный бас, такой зычный, что даже не верилось: неужели этот маленький румяный человек может говорить таким басом?

В петлице его пиджака был орден.

— Дрянная погода, — прогудел он, глядя, как на равнине завиваются снежные вихри, — заметет пути, опоздаем. Вы далеко едете?

Он посмотрел на меня.

— До конца, — сказал я.

— По делу?

— Да. Хочу устроиться плавать.

На лице у него обозначилось легкое любопытство и — хотя это мне, может быть, только показалось — усмешка.

— Вы моряк?

— Да, — ответил я и удивился самому себе: зачем же это я вру? — Моряк.

Вагон трясло и раскачивало. Я еле удержался на ногах, так меня качнуло.

— Гром и молния! — проворчал пассажир с трубкой. — Для старого моряка вы не шибко-то справляетесь с качкой.

Я покраснел. Разумеется, стоило только на меня поглядеть, чтобы каждому стало ясно, что я и не нюхал моря. Врать было глупо, и я сказал, что он меня неправильно понял. Я еще не моряк. Я только прошлой весной окончил десятилетку, а в Мурманск еду для того, чтобы наняться матросом на какое-нибудь судно, так как больше всего хочу стать моряком. Все это он внимательно выслушал и напоследок одобрительно проворчал:

— Ну вот это другой разговор. Пожалуй, кое в чем я смогу быть вам полезным.

— А вы сами моряк? — спросил я.

— Я? — сказал он и усмехнулся. — Я служил на флоте юнгой, матросом, штурманом и капитаном дальнего плавания. Я не плавал только в Австралию, молодой человек, а что касается южноамериканских, азиатских и европейских портов, то мне случалось туда заходить, да, случалось...

Я с недоумением смотрел на его самый что ни на есть сухопутный пиджачок и не знал, верить мне или не верить. Этот маленький человек с трубкой совсем не был похож на капитана дальнего плавания, хотя он и бранился как-то не «по-сухопутному» и в петлице у него был орден.

— Почему вы так странно ругаетесь? — сказал я. — Мне никогда не приходилось слышать, чтобы в наше время люди говорили «гром и молния».

Он вытащил трубку изо рта и рассмеялся. Потом сказал:

— Я терпеть не мог грубости, даже когда еще был простым, необразованным матросом. Но человеку иногда необходимо отвести душу крепким словом. Знаете ли вы, как я ругаюсь, когда бываю очень сердитым? Не знаете?

Ни с того ни с сего он вдруг сделал свирепые глаза, сдвинул брови и гаркнул на весь вагон:

— Огонь и сера! Что вы тут пристали ко мне с расспросами?

Я даже от него попятился, так этот странный пассажир испугал меня своим «огнем и серой». А он продолжал смеяться. Давно я не слышал такого славного, добродушного смеха. Затем он взял меня за локоть и подтолкнул к своему купе.

— Вы, милый юноша, хотите стать моряком? — бросил он. — Сейчас я вам покажу уж самого настоящего, самого морского моряка!

Грузный человек в капитанском кителе сидел у окна и держал в руках бутылку с чем-то очень похожим на подсолнечное масло. Неторопливо он взял со столика столовую ложку, налил ее до краев золотистой и тягучей жидкостью, выпил и облизал губы. Потом, так же не торопясь, он поставил бутылку на стол, вытер ложку клочком газеты и обернулся к нам. Глаза у него были голубенькие, мечтательные и, как мне показалось, подернутые такой же маслянистой влагой, как та, которую он только что проглотил.

— Аристарх Епимахович, — сказал пассажир с трубкой, — этот молодой товарищ едет к нам в Заполярье, чтобы поступить во флот. Я обещал ему показать настоящего северного моряка. Да познакомься же с ним, зеленая лошадь!

Толстяк в капитанском кителе протянул мне огромную волосатую руку, точь-в-точь моржовый ласт, и буркнул:

— Сизов.

Я назвал свою фамилию и поклонился. Мы сели. С почтительным любопытством поглядывал я на этих двух капитанов, так непохожих друг на друга. Один — моложавый, маленький, в простом пиджаке без всяких нашивок, — посмотришь на него, ни за что не скажешь, что это моряк; другой... Но о другом я еще ничего не

мог сказать, хотя видел, что у него тоже был орден в петлице. Орден Ленина.

— Вы тоже ходили вокруг света? — робея, спросил я.

Аристарх Епимахович покосился на меня так, как будто бы я сказал очевидную глупость, и пробормотал что-то вроде «гитары и попугаи».

— Что? — переспросил я.

Маленький капитан с трубкой рассмеялся.

— Аристарх Епимахович называет морем только ту соленую воду, в которой водится треска и селедка. Он северный моряк и тех, кто плавает южнее Полярного круга, даже и за моряков не считает. Он уверен, что в южных широтах умеют только брэнчать на гитарах да разводить попугаев в своих каютах.

Аристарх Епимахович равнодушно смотрел в окно и жевал губами. Тем не менее я разобрал несколько слов. Казалось, они выходят у него не изо рта, а откуда-то из-под ложечки, из-под огромных рук, которые он сложил на своем животе.

— Рубку... в декабре... льду на два пальца... Накось, выкуси...

— Это правильно,— кивнул головой маленький капитан.— Зимой плавание в наших водах тяжелей, чем где бы то ни было. Рейсом вокруг Азии мне случалось попадать в тайфун. Ерунда. Наши зимние шторма хуже.

— Как называется судно, на котором вы плаваете? — спросил я Аристарха Епимаховича.

— «Скат»,— донеслось с дивана.

— Не верьте,— строго сказал маленький капитан.— Он уже больше не капитан на «Скате». С завтрашнего дня у него под командой новенький, только что спущенный со стапелей кораблик.

Я покосился на толстого капитана. Он — или это мне послышалось? — проорчал в ответ только одно слово: «бабушка».

— Что?

— Это, говорю, бабушка надвое ворожила.

Аристарх Епимахович вздохнул, глаза у него сузились, снова стали нежными и маслянистыми. Причмокнув, он облизал губы, потом протянул руку к бутылке, стоявшей перед ним на столке, и взял ложку. Капитан

с трубкой приснул. По-видимому, моя растерянность доставила ему живейшее удовольствие.

— Лопнешь, зеленая лошадь! — хохотал он. — И так без малого восемь пудов в человеке.

Аристарх Епимахович, смущенно улыбнувшись, налил полную ложку тягучей, маслянистой жидкости, проглотил ее и вытер ложку газетой.

— Что это? — спросил я.

— Разрешите предложить? — сказал он с ударением на «о» и вежливо протянул мне ложку. — Тресковый...

Я не понимал.

— Жир, — пояснил Аристарх Епимахович, облизывая губы.

У меня на лице, должно быть, появилось такое отращение, что он сразу же положил ложку на стол и отвернулся. В самом деле, я с ужасом смотрел на этого человека, который так запросто может глотать омерзительный рыбий жир, да еще при этом вздыхать и причмокивать от удовольствия.

— Нам без трещочки жизни нет, — усмехнулся маленький капитан. — Аристарх Епимахович коренной помор, настоящий северный моряк.

Сразу же он стал очень серьезным и ласково положил свою руку толстяку на колено.

— Новые суда, Аристарх, нужно испытывать. Один переход вокруг Норвегии нам ничего не покажет. Я это дело могу доверить только человеку с твоим опытом. — Он покосился на меня и добавил: — А для начала вот тебе и новый матрос. Пусть попробует соленой водицы.

Он снова потянулся за трубкой. Я понял, что мне тут больше неудобно засиживаться, и встал, чтобы уйти.

— Пойдете в траловый порт, — сказал маленький капитан, — скажете там, что капитан Сизов приказал записать вас на свое судно.

Я поблагодарил его и попросил сказать мне, где и как я могу его найти, если возникнут какие-либо недоразумения.

— Я вам больше не нужен, — сухо сказал он. — Вы будете иметь дело с капитаном Сизовым. Впрочем, если понадобится, — Московская, семь, спросить товарища Голубниченко. Ясно?

Мне было ясно только то, что с завтрашнего дня я —

матрос, что мне повезло, удивительно повезло, еще до того, как я добрался до Заполярья. Но на каком судне я все-таки пойду в море, было совсем неясно. У капитана Голубничего уже пропала охота шутить, и он ответил коротко:

— Судно называется просто «РТ 89». Не очень красиво, но другого названия мы ему еще не подыскали. Не думайте, что это гигант-ледокол или океанский корабль. Это обыкновенный рыболовный тральщик на сорок человек команды.

Я пожал руки обоим капитанам, еще раз поблагодарил их и ушел. Последнее, что я слышал уходя,— это сладкий вздох Аристарха Епимаховича и легкое позвякивание ложечки о бутылку с тресковым жиром. В том замечательном настроении, в которое привели меня эта неожиданная встреча и разговор, мне не хотелось сидеть одному в своем купе, и я стал взад-вперед бродить по коридору. Час прошел, а я все еще бродил из одного конца вагона в другой, подолгу стоял, прижавшись к окошку. Но на это у меня были особые причины.

Глава III

СПУТНИЦА

Когда я бродил по вагону, все купе были заперты, кроме одного. Занятый мыслями о своей удаче, я несколько раз прошел мимо полураскрытой двери, а потом случайно заглянул в нее и увидел девушку. Мне трудно сейчас сказать, что именно тогда меня поразило, почему я быстро проскочил мимо двери и поторопился скорей вернуться обратно, чтобы заглянуть в нее еще раз. Девушка сидела вполоборота ко мне. Она глядела в окно, подперев подбородок переплетенными пальцами и положив локти на столик. Я видел только край ее щеки да лоб с прядью темных волос, соскользнувших ей на руку.

Не знаю опять-таки почему, но мне очень захотелось увидеть ее лицо. Я уже не мог уйти к себе до тех пор, пока она не обернется.

Прошло, наверное, около часа, а я все слонялся из одного конца вагона в другой, краснея при мысли, что

проводники насмешливо поглядывают на меня — дескать, знаем, зачем вы тут разгуливаете, молодой человек, — а девушка все смотрела в окошко. Один раз она откинулась к спинке дивана, чтобы поправить волосы. Подняла обе руки к узлу на затылке, причем шпильки держала губами, а затем подобрала спустившуюся прядь, скрутила узел и быстрым движением рук вколола шпильки обратно. Когда я опять прошел мимо, она, подперев щеку ладонью, по-прежнему смотрела в окно и грызла яблоко. Но здесь, должно быть, она расслышала мои замедленные шаги, потому что, как только я прошел мимо, дверь за моей спиной закрылась.

Делать было нечего. Я выругал себя за дурацкое времяпрепровождение. В самом деле, человек едет работать, плавать, впервые в жизни выйдет в настоящее море, а вместо того чтобы радоваться этому обстоятельству, битый час думает черт знает о чем! Какой нос и какие глаза у этой девчонки, которая дожует свое яблоко и, может быть, слезет на следующей станции!

Из соседнего с моим купе бочком выбрался в коридор Аристарх Епимахович и следом за ним маленький капитан Голубничий. Он был явно на что-то сердит. Не глядя на меня, они прошли по вагону, и я расслышал, как Голубничий ворчал, уходя:

— Наши верфи давно уже не хуже заграничных, и незачем было...

Они открыли дверь на площадку, и конец фразы пропал в грохоте бегущего поезда. Капитаны отправились обедать в вагон-ресторан, и я сообразил, что, собственно говоря, не ел еще со вчерашнего вечера и что не худо бы и мне закусить.

Каким удивительным показался мне этот ресторан на колесах, мчавшийся к Северу лесами, заметенными снегом! Он был битком набит пассажирами, и я не сразу отыскал себе место. Каких только людей тут не было! Рядом со мной сидел огромный человек в меховой шапке с ушами до колен и в меховых сапогах выше колен, подвязанных к поясу ремешками. Он ел борщ и читал книжку с фотографиями оленей. Тут были летчики и военные моряки. Компания бритых людей в нарядных костюмах усиленно пила пиво, потом один, уже пожилой, со смешным толстым носом, запел на весь вагон «Сильва, ты меня не

любишь», и я понял, что это опереточные артисты едут выступать в Заполярье. Никогда я не видел так много людей с орденами, собравшихся вместе. У некоторых было даже по два ордена, и я напрасно пытался отгадать, кто же это такие. Зимовщики? Исследователи пустынных тундр? Инженеры — строители северных городов? Мои капитаны сидели неподалеку от меня, многие из проходивших по вагону останавливались возле них, и тогда я сквозь гул голосов слышал басистые восклицания маленького капитана: «А, гром тебе и молния, ты откуда?» Казалось, эти люди, возвращавшиеся на Север, все между собой приятели, все знают друг друга.

А за окном без конца бежали леса. Стремительно они уносились назад и вдруг отступали до самого горизонта, открывая болото или замерзшее озеро с островками, и здесь, на просторе, казалось, что поезд сразу теряет свою скорость.

Я быстро окончил обед и вернулся в свой вагон. Все двери до одной были плотно закрыты. Закурив, я прислонился к окошку.

Не помню, долго ли я стоял так, — должно быть, долго. Несколько раз за моей спиной стучала дверь и проходили люди, но я не оборачивался по какому-то непонятному мне смущению. Вдруг я почувствовал, что рядом со мной кто-то стоит и тоже смотрит в окошко. Я быстро обернулся и тотчас же опять отвел глаза в сторону. Рядом со мной стояла девушка.

Мысли у меня в эту минуту были примерно такие: «Почему я краснею? Дурак! Почему у меня язык точно прилип к небу? Ну что тут особенного — взять да обернуться, сказать, например, что на пути очень много снега и — вот ведь какая неприятность — поезд, наверное, опоздает, спросить, наконец, далеко ли она едет».

Но как я ни ругал сам себя, как ни злился, все, что я мог сделать, это закурить еще одну папиросу и, засунув руки в карманы, изобразить собою человека, чрезвычайно заинтересованного тем, что он видит в окошко: снегом, елками, гранитными валунами.

Удивительно! В школе я, правда, не дружил с девочками, но никогда и не отличался особой робостью в разговорах с ними. А последний год на всяческих вечеринках бывал даже очень ловок, по крайней мере самому мне

как казалось. Тут же, как назло, я не мог слова выдать.

С досады на самого себя я стал отсчитывать километры. Двадцать восьмой километровый столб проскочил за окном, а я все стоял, красный до ушей, все делал вид, что снег да елки интересуют меня больше всего на свете.

Снег вдоль железнодорожного полотна был всюду исчерчен звериными и птичьими следами. Редко-редко по этой снежной целине пролегал лыжный след и еще реже — тропинка или санная дорога. Два или три раза я видел зайцев, которые со всех ног удирали от поезда, а один раз с высокой осины сорвалась вдруг огромная черно-белая птица и, неуклюже хлопая крыльями, улетела в лес.

Я выкрикнул:

— Глухары!

— Тетерев, — спокойно сказала девушка.

С этого и началась беседа. Всего два слова было сказано, но у меня сразу полегчало на душе. Я обернулся к своей соседке уже без всякого смущения. Я смотрел на нее и думал о том, что именно таким я и представлял себе ее лицо, когда она сидела там, на диване, вполоборота ко мне, — да, именно таким: блестящие серые глаза и рот, который, казалось, все время сдерживал улыбку. Даже то, что на взгляд ей было лет двадцать, то есть больше, чем мне, теперь меня никак не смущало.

Я попробовал было пошутить насчет того, как ловко она разбирается в лесных птицах.

— Видать старую охотницу, — сказал я.

— Немножко охотилась, — небрежно сказала девушка. Губы ее опять тронула чуть заметная улыбка.

Я прикинулся удивленным.

— Скажите пожалуйста! В самом деле — охотница? Зайцев била, медведей...

— Ну, медведей мне мало приходилось бить, — сказала девушка. — Всего двух.

Тут уж мне не пришлось прикидываться удивленным. Я в самом деле удивился тому, с каким небрежным видом моя собеседница, попросту говоря, пыталась втереть мне очки. Должно быть, она заметила недоверие на моей физиономии, рассмеялась и, глядя в окошко, стала быстро говорить:



— Немножко охотилась,— небрежно сказала девушка. Губы ее тронула чуть заметная улыбка.

— Видите следы, вон — вдоль ельника? Точно собака пробежала? Это лисий след. А этот маленький след змейкой — это горноста́й.

— Ловко,— пробормотал я, не зная, что мне и думать. Девушка оглянулась на меня.

— Я ведь знаю, о чем вы думаете сейчас. Скажите честно, на кого я похожа?

Смех так и скользил у нее по лицу, искрился в глазах, даже ноздри слегка вздрагивали от смеха.

— Ну? На кого?

Глядя на ее смеющееся лицо, на волосы, красиво начесанные на уши, я вспомнил нашу соседку по квартире — молоденькую машинистку, которая одно время мне ужасно нравилась,— и пробормотал:

— Да так — на обыкновенную служащую.

Девушка серьезно кивнула головой.

— А между тем я составила атлас птичьих следов, и теперь у меня на очереди — звери.

— А! Стало быть, вы преподаватель естествознания?

— До прошлого года,— сказала девушка,— я была работницей на чулочной фабрике. А три года назад я окончила заводское училище и больше еще нигде не училась. Нет, до естественницы мне далеко.

Задумавшись, она отвернулась от окна и вошла в свое купе. Я двинулся следом за ней, даже не подумав о том, что меня, собственно говоря, никто туда не приглашал. Мы сели. Неловко было сидеть так, молча уставившись на свою соседку. Я отвел глаза и увидел на багажнике кожаный пояс с патронташем и ружье в чехле.

Ясно,— девушка про себя говорила правду.

— Простите,— сказал я, забыв тот шуточный тон, в котором началась наша беседа.— Вы не скажете, как вас зовут?

— Лиза.

Мне очень хотелось ее расспросить, как же это так: работница чулочной фабрики и вдруг — она же охотник и следопыт, с ружьем и полной охотничьей снастью едет в Заполярье? Но Лиза, пока я собирался с духом, сама спросила меня, кто я такой, куда и зачем еду. Очень неинтересным показался я сам себе и без всякого увлечения рассказал ей о том, что решил поступить во флот матросом и что, по-видимому, мне это уже удалось с помощью

моих новых знакомых капитанов, которые едут в нашем вагоне.

— А вы любите море? — вдруг перебила она меня.

При слове «море» во мне ожило мое прежнес волнение, и я ответил с горячностью:

— Да, очень. Очень люблю. Еще когда в школе учился, тоже любил.

Она улынулась моей горячности, но так хорошо и ласково, что с меня слетела последняя пеловкость. Не дожидаясь моих вопросов, Лиза сама стала рассказывать мне свою историю.

Она училась в заводском училище и вот однажды, совсем еще девочкой, вместе со своим пионеротрядом пошла в зоологический сад. Ревели зубры, клекотал орел, выла пантера. Девочка стояла растерянная, как будто бы прямиком с трамвайной остановки она попала в сказочный мир. Больше всех ребят радовалась она разноцветным попугаям, смешным движениям слонихи, глотавшей хлеб, обезьяньим прыжкам и ужимкам. Тут какой-то незнакомый гражданин посмотрел-посмотрел на нее и сказал: «Тебе нравятся звери, девочка? Я зоолог, научный сотрудник этого сада. Хочешь, приходи к нам, у нас тут много ребят, которые кормят зверей и изучают их привычки». Лиза сказала: «Очень хочу», — в выходной день пришла в зоосад, и ей поручили ухаживать за маленькими рыжими лисятами.

А потом ее и других ребят повели в лес, и старый егерь, лесной человек, показывал им на коре деревьев следы медвежьих когтей и на мху отпечаток лосиного копыта. И еще он обучал их — городских ребят — распознавать птичьи голоса, так что все они очень скоро узнали, как свищет зяблик и кричит сойка.

А потом им дали настоящие ружья. Они пошли бить зайцев. В первый же день охоты Лиза убила зайца.

Это было давно. Годы спустя она работала на фабрике чулочницей, а по вечерам — уже опытная охотница и следопыт — составляла атлас птичьих следов, разумеется, не всех птиц, а только тех, которые водятся под Ленинградом. Она мечтала поступить в университет и, работая на фабрике, сама училась целую зиму. Этой осенью так и должно быть: она поступит на первый курс биологического факультета, а нынче едет в Заполярье,

потому что профессор, который занимался с ней еще в школьном кружке, сам едет на Север и взял ее в экспедицию коллектором. Экспедиция выедет месяца через полтора, в ней будут геологи, и зоологи, и географы. Она же поехала вперед, чтобы заранее изучить местные условия и, главное, подобрать необходимых для экспедиции людей — проводников, возчиков и лодочников.

У нее щеки горели, когда она мне рассказывала обо всех этих делах.

— Не мне вам объяснять, как я счастлива, — говорила она. — Кто-кто, а уж вы-то меня поймете. Ведь вы сами со школы мечтали о море — и вот, пожалуйста, с завтрашнего дня вы моряк.

— Да, — кивал я головой, — я-то вас понимаю...

Я вовсе не думал о себе, о своей собственной удаче. Я просто радовался тому, что вижу эту веселую, милую девушку, слушаю ее, сижу с ней рядом. Должно быть, в какой-то момент она заметила счастливое и, надобно полагать, несколько глупое выражение моего лица, с которым я смотрел на нее, потому что вдруг замолчала и быстро поднялась с дивана.

— Я проголодалась, — сказала она. — Если вы еще не обедали, пойдемте вместе.

— Пойдемте. Ужасно хочется есть.

Мы пошли, и я пообедал еще раз вместе с ней, хотя был совершенно сыт. После обеда мы опять стояли в коридоре у окна и говорили, говорили, как мне казалось, без конца.

Потом мы оба молчали. Уже смеркалось, однако проводник еще не включил свет в вагоне. Небо было зеленое и прозрачное. Поезд шел снежной равниной, на которой кое-где я различал какие-то темные полосы и трещины, похожие на разводья.

— Где мы? — спросил я.

— Это Белое море, — ответила Лиза. — Льды. Если бы было немного светлей, мы видели бы уже тюленей на льдинах.

Долго тянулась эта мертвая, ледяная равнина, потом совсем смерклось, берега отошли, и за окном опять побежали леса.

Вдруг за окном мелькнул какой-то столб или обелиск, мелькнул и пропал,

Проводник прошел по вагону.

— Полярный круг, молодые люди,— сказал он.— Мы уже пересекли Полярный круг и едем по Заполярью.

Только сейчас я подумал о том, что пройдет еще одна ночь и мое путешествие окончится. Сойдет с поезда Лиза, сойду я. Мне стало грустно.

— Лиза,— торопливо заговорил я,— вы говорите, что экспедиции нужны люди. Знаете что? Возьмите меня с собой.

Две минуты назад ни о чем таком я даже не думал, это пришло в голову внезапно, и так же внезапно я все это ей сказал. Она обернулась ко мне. Даже в сумраке я видел, как у нее широко открылись глаза.

— Вас? Вы же хотите поступить на судно матросом?

У меня был наготове ответ: «Мне не хочется расставаться с вами, это главное, а увижу ли я море или тундру, сейчас мне это, в сущности, все равно». Но я сказал только конец этой фразы:

— Мне все равно.

Некоторое время она смотрела на меня, потом усмехнулась, и сразу же у нее на лице появилась скука.

— Я думала, что вы — как бы это сказать? — человек более стойкий в своих желаниях.

Она зевнула и отошла от окна. Я схватил ее за руку.

— Herl — сердито крикнула она. — Зачем вы нам? Что вы умеете делать? Что вы, наконец, хотите делать?

— Дайте мне объяснить, Лиза,— пробормотал я.

Но она уже вырвала руку, ушла и захлопнула за собой дверь.

Глава IV

СТРАХ

Коля-из-Азова был в некотором роде человек знаменитый. По профессии он был матрос первого класса, а по характеру пьяница и скандалист. Он умел выпить больше всех, пошуметь больше всех, хорошо угостить приятелей и сам угоститься.

Двадцать четвертого марта 193... года круговым рейсом вокруг Европы Коля-из-Азова пришел в Мурманск.

Когда судно швартовалось у причала, он стоял на нижней палубе и на нем была мягкая французская шляпа, пушистое английское пальто, английский костюмчик и новые голландские полуботинки. Кроме того, в кармане у Коли-из-Азова было семьсот рублей советскими деньгами, его получка за время плавания.

Как только он сошел на берег, то сразу же услышал: «Коля-из-Азова! Здоров будь, друг!» Еще в порту он встретил трех «корешков», потом за воротами еще двоих, потом еще трех, и не прошло получаса, как вся компания уже сидела в ресторане «Северное сияние» и три официанта ходили вокруг них ходуном, потому что гулял не кто-нибудь, а сам Коля-из-Азова.

Еще по городу Коля-из-Азова шел очень веселый и довольный. Но, когда графины опустели в первый раз, он решил, что нигде все-таки нет таких чудесных ребят, как в Заполярье, и что вообще его, Колина, жизнь складывается на редкость хорошо. Вот он сидит за столом, молодой, красивый, с красиво повязанным галстуком, и все вокруг уважают его и немножко завидуют. В большие окна ресторана он видел под горой весь порт и город. Рейд, полный судов, был голубой, скалы на том берегу залива золотились, а снег блистал. Коля-из-Азова послал музыкантам тридцать рублей,— так все было хорошо, и музыканты, тоже свои ребята, сыграли в благодарность его любимую песенку:

Милая моя
Прелестна, как свинья,
Танцует, как чурбан,
Поет, как барабан,
И все-таки она милее всех...

Затем графины были снова наполнены и снова опорожнены, и Коля-из-Азова внезапно убедился в том, что радоваться, в сущности, нечему и, наоборот, все очень скверно. Приятели, которые чокались с ним наперебой, были нудные до тошноты, неинтересные люди; залив, видимый из окон, был мутно-зеленый, как пивная бутылка, скалы — рыжие, а снег — закопченный. И собственная жизнь представилась Коле-из-Азова куда не такой нарядной: впереди обратный рейс на Новороссийск, пустота и

скука многих морей, бестолковые дни на берегу, и снова море, и снова берег, и так до самой смерти.

Моя красавица-а,
Она мне нравится-а! —

пели в оркестре. «Болтаешься, моряк, по белу свету, как цветок в проруби», — с горечью подумал Коля и велел подать пива, потом шампанского — словом, пил и гулял по своему обыкновению.

Вдруг все куда-то провалилось. Когда Коля опять собрался с мыслями, он с удивлением заметил, что уже ночь и он стоит на улице под фонарем вместе со всеми своими приятелями. Сыплется мелкий снежок, и на улице нет никого, кроме них.

— Ну, мы пошли, — говорит кто-то из дружков и хлопает его по плечу. Трое уходят, шестеро остаются.

— М-мы, — мычит Коля-из-Азова, — мы тоже пошли. — Он поднимает воротник пальто, потому что ему очень холодно, шагает и падает. Однако его поднимают и ставят на ноги. Он опять падает, его опять поднимают, на этот раз за шиворот.

Коля-из-Азова хочет проучить наглеца, который смеет хватать его за шиворот, он ругательски ругается — и вдруг видит черта. Черт сидит на плече у приятеля, вернее — не черт, а небольшой гладкокожий чертик зеленого цвета, вроде ящерицы, которых Коля ловил в детстве под Азовом в жаркой южной степи. Коля попробовал было схватить чертика, занес сбоку ладонь, как ловят мух, но тот куда-то юркнул и сразу же очутился на соседнем заборе.

Коле-из-Азова и раньше случалось видеть чертей после хорошей встречи с друзьями, но тут почему-то ему стало очень страшно. Он закутал лицо новеньким французским шарфом, зажмурился и побежал, а черт, как собачонка, хватал его сзади за икры, и Коля оборачивался на бегу, пытался по улице задом и снова бежал. Друзья следовали за ним, хохоча во все горло. Им было очень весело, что человек так, запросто, ловит чертей на улице.

Наконец Коля споткнулся и упал лицом в сугроб.

О чем он думал там, в сугробе, лежа на снежку? Может быть, он решил, что уже добрался до своей матрос-

ской койки и никакой черт ему больше не страшен? Скорее всего, ни о чем он не подумал — по той простой причине, что был пьян, как свинья, мерзко, отвратительно пьян. Он протянул ноги поудобней, подпер щеку ладонью и крепко уснул...

И вот Коля-из-Азова спит в сугробе под черным полярным небом, а друзья стоят над Колей, расставив ноги, пошатываются и рассуждают примерно так:

«Разбудить его сейчас нет возможности — не такой человек, а тащить на плечах тоже трудно. Так уж лучше пусть полежит до утра на снежку, пока проспится».

Пир продолжался всю ночь на частной квартире. Ночью кто-то сказал:

— Слушайте, а может, он замерз?

Все отставили стаканы, и гитарист опустил гитару. Вышли на улицу. Падая мелкий снег. За три квартала в сугробе по-прежнему спал Коля-из-Азова. Он спал, и глаза ему запорошило снегом, снег лежал у него на лбу, на губах и не таял. Друзья потянули его за руку, однако рука не гнулась. Коля-из-Азова в самом деле за ночь замерз.

— Вот чудак,— удивились приятели.— В самом деле замерз. Но как бы нам из-за него не угодить в отделение... За такое дело дадут лет пять.

На исходе ночи Колю-из-Азова повезли хоронить. Гроб ему не заказывали, а просто взвалили окоченевшее тело на санки, прикрыли сверху чем пришлось и отвезли за город на кладбище. Разумеется, приятели до земли не докопались, но так как снег лежал метра на полтора в глубину, то, в общем, могилка получилась вполне приличная. А чтобы покойнику на том свете не сразу пришлось отвыкать от своих привычек, ему в могилку опустили литр водки, и когда уже засыпали Колю снегом, то и снег окропили водкой.

Среди участников этой дикой гульбы было трое, о ком следует сказать особо. С того самого часа, как пьяница из Азова сошел на берег, они не расставались с ним. Они гуляли и безобразничали всю ночь напролет.

Фамилии их были — Мацейс, Шкебин и Егешко.

Сутки назад в траловом порту стал у стенки новенький тральщик «РТ 89». Он пришел из своего первого рейса, только что спущенный со стапелей,— новенькое, све-

жевыкрашенное судно, заказанное нами на одном иностранном кораблестроительном заводе.

На берег вместе со всей командой сошло трое: второй механик Мацейс, младший штурман Егешко и третий механик Шкебин. Эта троица два с половиной месяца проболталась в иностранном порту, пока происходил прием и спуск судна. В плавании наши моряки, как правило, ведут себя достойно и скромно, и трое приятелей из команды нового советского корабля если и нарушали этот обычай, то все было так шито-крыто, что командование тральщика ни к чему не могло придраться. Являясь на борт, все трое бывали, что называется, «в порядке». Но как только они очутились на своем берегу, тут-то и пошло веселье.

Впрочем, это было не совсем обычное веселье. Трое приятелей — механики и младший помощник — то громче всех галдели за столом, то вдруг один замолкал, хмурился и тотчас мрачнели остальные. Потом опять начиналась гульба, нелепые и дикие шутки.

Характер каждого из них в этих шутках раскрывался как на ладони.

Это младший штурман Егешко, тщедушный, заискивающий перед своими приятелями человек, первый стал хохотать и издеваться над обезумевшим пьяницей, когда тот в горячке бежал по мостовой и, наконец, повалился в сугроб. Будь тот в своем уме, Егешко, разумеется, не посмел бы и рот раскрыть, чтобы пошутить на его счет.

Это Шкебин, самый грубый и туповатый человек из всех троих, предложил оставить уснувшего на снегу товарища и продолжать веселье. И самый озорной из всех самый наглый, механик Мацейс (Жорка, Жорочка Мацейс, как звали его на юге, откуда он перекочевал в Заполярье) поддержал предложение Шкебина и придумал потом потеху с зарытым в могилу литром вина, и он же первый вспомнил об этом вине, когда свое было выпито.

Снег не падал в этот вечер, как накануне. Высокая луна стояла над городом, и тут, на кладбище, светлынь была такая, что можно было прочесть за несколько шагов любую надпись на крестах и деревянных столбиках надгробьях, украшенных еловыми венками, и — куда ни посмотри — отчетливо были видны на снегу следы птичьих лапок.

Спиной прислонясь к кресту, сидел механик Мацейс, смотрел вниз на город. Шкебин и Егешко разлеглись рядом с ним на снегу, поодаль от могилы приятеля. Они сторонились остальной компании, угрюмые, усталые после суточного разгула. Даже друг на друга они старались не смотреть.

Захмелевшие гуляки заспорили о том, что означают облачные кольца вокруг луны — мороз или ветер. Они задирали головы к небу и галдели все разом. Молчал только один. Хмель клонил его ко сну, изо всех сил он боролся с хмелем. Совсем еще мальчик, он сидел в стороне, по временам с испугом оглядываясь на кресты и могилы и с любопытством прислушиваясь к спорщикам. Он только с утренним поездом впервые попал в Запольярье и вот чуть ли не прямо с поезда очутился на этом сборище.

— Пять лет — чепуха, — бормотал Егешко. — Прах их возьми, я боюсь другого.

Глядя на город под горой, Мацейс молчал. Казалось, он не слышал разговоров своего товарища.

— Ты меня слышишь, Жорочка! — между тем продолжал Егешко, толкая его носком сапога. — Я боюсь другого. Могут начать с этого, а кончат...

— Заткнись, — негромко сказал Мацейс.

Егешко покосился на его сжатый рот, на желваки, прыгавшие под скулами, что означало скрытое бешенство, и испуганно замолчал. Но и минуты не прошло, как опять послышалось его чуть слышное бормотание:

— Я боюсь, Жорочка, я боюсь...

— Да, кончить могут совсем другим. Не нужно было затевать эту прогулку, когда тебя тут знает в лицо каждая собака... О, черт! — выругался он, со злобой глядя на споривших. — О чем они там галдят?

— Ветер, ветер, ого, какой будет ветрище! — выкрикнул парень в норвежском вязаном берете, кокетливо спущенном на правое ухо.

— Ветер! — Егешко вдруг обхватил голову руками и рассмеялся. — Ну, на шторма-то мне нынче плевать!

Он сидел на снегу и раскачивался из стороны в сторону, как ванька-встанька.

— Заткни рот! — крикнул Мацейс, толкая его кулаком в плечо.

Егешко качнулся от толчка и снова забормотал, моргая красными от хмеля и от бессонницы глазами:

— Чего ты кипятишься, Жора, какой ты, ей-богу... Что я сказал? Я ж ничего не сказал...

И вот здесь их окликнули: «На кладбище! Что за люди?» Спор оборвался тотчас же, сидевшие на снегу вскочили, потом кто-то свистнул, и вся компания, как по уговору, вихрем сорвалась с места. Их было семь человек, а тех, что проходили мимо, вдвое больше.

— Я боюсь,— задыхаясь, бормотал на бегу Егешко.— Жорка, это ребята с верфи. Они могли узнать нас.

— Беги! — стиснув челюсти, шептал Мацейс.— Это ночная смена, им некогда, они скоро отстанут.

У первых заборов, которыми здесь начинался город, погоня отстала. Остановились и бежавшие. Их было только трое, остальные рассыпались кто куда — может быть, перемахнули через заборы или залегли под сугробами.

— Я плевал на всех,— сказал Мацейс.— Но куда же нам пойти?

Они топтались посреди улицы и не знали, куда им деться. Улица была длинная и безлюдная. В редких деревянных домах кое-где еще светились окна, и, может быть, оттого, что луна светила над городом, зеленая и холодная, особенно приветливыми казались эти домашние огоньки, просвечивавшие сквозь занавески и горшки с цветами. Вдруг они погасли все разом, точно кто-то увидел нехорошие лица людей, в раздумье стоявших на улице, и поторопился погасить свет в домах и притвориться спящим, чтобы те поскорей прошли мимо.

— Собственно говоря, мы еще можем пойти на судно,— продолжал Мацейс.— Мы можем переночевать на судне, и это будет очень хорошо. Найдутся ребята, которые, в случае чего, подтвердят, что мы обе ночи ночевали на своих койках.

— Я на судно не пойду,— глядя под ноги, ответил Шкебин.

Егешко смолчал, он только зябко передернул плечами и помотал головой. Казалось, он опять сейчас станет бормотать: «Я боюсь, Жорочка, боюсь...»

Долго они молчали, наконец Мацейс выругался:

— Хорошо. Но я еще не настолько пьян, дорогие мои,

чтобы валяться в сугробе. С некоторого времени вам нервы не позволяют ночевать на борту. Я вас спрашиваю: куда пойти?

Кто-то негромко окликнул его: «Мацейс? Жора?» — и еще двое из тех, что гуляли с ними на кладбище, осторожно перелезли через забор и, по колени в снегу, выбрались на середину улицы. Один был матрос в ободранном бушлате и в норвежской вязаной шапочке, другой — тот самый мальчишка, который только полсуток назад впервые попал в Заполярье.

— Дело такое, — сказал Мацейс. — Нужен ночлег.

Он знал: у парня в шерстяном берете должен быть ночлег на берегу. Месяца два назад за озорство его списали с судна.

— Своих коек нету? — проворчал шерстяной берет. Его сонные и пьяные глазки вдруг заморгали от любопытства. Он что-то понял и даже присвистнул от удовольствия.

— Списали всех троих?

— Об этом — после, — со злостью ответил Мацейс. — Списали или сами списались — твое дело маленькое.

Он повел бровью в сторону незнакомого парня. Берет чуть заметно махнул рукой: дескать, а что он поймет-то? Сам видишь, еле на ногах стоит.

— Что ж, придется пойти до Юшки.

— Я слышал, что его уже...

Теперь Мацейс сделал жест рукой, который мог означать: «Его уже как ветром сдуло».

— Врут. Никуда не делся.

— Значит, под бочками?

— Нет, под соломой.

Приезжий парень тер лоб ладонью, точно хотел стереть с себя все: и головную боль и одурь этой ночи. О чем шел разговор? Он ни слова не понимал. Между тем шерстяной берет скомандовал: «Ну, пошли!» — и первый двинулся с места. И опять Мацейс слегка повел бровью в сторону пятого в их компании, и опять берет махнул рукой: дескать, что ж попишешь, не оставлять же его здесь, чтобы еще один замерз, а парень пьян, ничего не соображает.

Они пошли мимо заборов, обтянутых по верху колючей проволокой, мимо цейхгаузов и барачных, они переходили

дили под шлагбаумами железнодорожные пути и перебирались через остановившиеся на путях товарные составы. Долго они шагали по шпалам, пока караульный стрелок не согнал их окриком на протоптанную в снегу тропинку. Тогда они пошли в затылок друг другу, не оборачиваясь и не переговариваясь, пять человек, пять сутулых теней на снегу, с руками, засунутыми в карманы. Уже не попадались по пути жилые дома; здесь, обнесенный глухими заборами, на километры тянулся торговый порт, и, хотя была ночь, по ту сторону заборов непрерывно визжали лебедки, шипел пар, перекликались гудки и лязгало железа.

Набежали внезапно облака, стало темно.

— Я говорил: будет ветер,— проворчал шерстяной берет, запахивая свой драный бушлат и остальные, не отвечая, тоже запахнули пальто и бушлаты и подняли воротники.

— Мне рассказывал один капитан, что в зимние штормы...— заговорил вдруг приезжий и ничего больше не сказал, потому что его ударили кулаком в спину.

— Ну? — взвизгнул Егешко.— Что в зимние шторма? Мы не интересуемся зимними штормами. Что вы еще можете нам рассказать?

Голос Мацейса негромко окликнул его из сплошной темноты:

— Прекратить истерику! Пускай болтает.

Опять они зашагали молча. Луна выглянула еще раз и осветила вокруг какие-то огромные снежные глыбы. Можно было подумать, что необычной силы метель прошла здесь и навалила сугробы на высоту трехэтажных домов. Тут из-под снега торчали ящики, тысячи ящиков, наваленных друг на друга, рядом — глыбы пиленого льда, еще дальше — бочки, горы льда и горы бочек. Где здесь могло быть жилье среди этого нагромождения льда, ящиков, бочек, строительных материалов, заваленных снегом? Далеко на железнодорожных путях светилось окошко в будке стрелочника и перемигивались разноцветные огоньки семафоров,— тут было безлюдье. По временам на территории порта вспыхивало дрожащее зеленое сияние и пронзительно скрежетали по железу электрические сверла, и тогда зеленоватые отсветы прыгали по этим снежным конусам.

— Здесь-то здесь,— пробормотал шерстяной берет,— да не так просто сыскать его берлогу.

Странный шум надвигался со стороны залива. Все разом подняли головы к небу. В разорванных, стремительно набегавших тучах металась луна. Снова стало темно, и кто-то крикнул в темноте: «Так и есть — шквал! Не теряйте друг дружку!» А затем налетела метель.

Она обрушилась мгновенно, как это бывает в Заполярье. Снег и ветер ударили с такой силой, что люди качнулись, сцепились за руки, и уже ничего не стало видно на расстоянии вытянутой руки. Надо было кричать в уши, чтобы расслышать друг друга.

Люди не двигались. Сбившись в кучу, они стояли на месте, снег слепил их, забивался за воротник, бил в лица, хлестал по ногам. Полчаса продлись такая метель, и вокруг них накидало бы сугробы, но метель прошла так же внезапно, как и началась. Да и не метель это была, а так — снежный заряд, как называют на Севере эти короткие шквалы со снегом. Ветер еще бесповался, но уже ни одна снежинка не падала с черного, к самой земле привалившегося неба.

И тут закричал Шкебин. Обеими руками он схватил Мацейса за плечи, тряс его и выкрикивал ему в лицо бессмысленные ругательства. Не сразу тот понял, что случилось. Их только четверо стояло на пустыре среди бочек и ящиков, громоздившихся к небу; пятый — штурман Егешко — пропал.

— Куда он сбежал? Ты стоял рядом с ним! — кричал Шкебин. — Я знаю, зачем он сбежал!

— Я знаю одно,— Мацейс вырвался,— ему же будет хуже.

Они покричали в темень: «Юрка! Юрка!» Но громко кричать Мацейс не велел, а их приглушенные голоса тотчас же относил ветром. Потом кто-то сказал: «Погодите, никак, отвечает?» Они замолчали, и в самом деле где-то слышались невнятные звуки, будто кто-то всхлипывал и бормотал, зажимая рот самому себе: «Я боюсь, Жорочка, боюсь...»

Это ветер обманывал их. Он сорвал с ящиков, замеченных снегом, кусок брезента и хлопал им, и шелестел, и, продираясь сквозь щели в заборе, передразнивал человеческий плач.

— Ему же будет хуже,— угрюмо повторил Мацейс.— Идем.

Они обогнули сугроб — снежную гору. Снег местами осыпался, и тюки прессованной соломы, которой летом покрывают лед, высывались наружу. Гора была соломенной горой.

— Как будто здесь,— сказал шерстяной берет. Он разворотил с края солому, закопался в нее с головой, и вдруг в глубине этой соломенной горы мелькнула узкая полоска света.

Глава V

МОРЕХОД КОНОНОВ

Туманы и снегопады делают опасным плавание в узких губах западного Мурмана, и часто пассажирские суда чуть ли не сутками отстаиваются на якорях перед заходом в губу, ждут у моря погоды.

Как только «Ястреб» отдал трап, пассажиры гуськом повалили с палубы, и пограничники в краснофлотской форме стали проверять пропуска и документы. Народ на «Ястребе» пришел обычный, всё обитатели становищ, погостов и факторий — рыбаки, районные работники, учителя и оленеводы, механики и строители.

Последними сошли на берег старик и мальчик лет тринадцати. «Кононов,— прочитал пограничник в паспорте,— Александр Андреевич. Год рождения 1872-й»,— и, как полагается, поднял глаза, чтобы сверить фотографию в документе с «подлинной личностью».

Старик стоял, посасывая финскую трубку-кривульку. Он был невысок ростом, в ушастой шапке и в рыбацких сапогах выше колен, подвязанных ремешками к поясу — чтобы не спадали. Шерстяной свитер обтягивал его выпяченную грудь под полушубком, распахнутым по случаю совсем пустынного мороза, так градусов на двенадцать. Оттого что за плечами у старика был дорожный мешок, держался он особенно прямо и высоко задрал свою маленькую, чуть-чуть седую бородку.

«Экий крепкий старичина!» — с удовольствием подумал краснофлотец и козырнул, возвращая старику его документы.

В самом деле, что-то такое было в этом старике с бережья, такая статность, такое спокойствие и приветливость в глазах, что когда он шагал от порта в город, то чуть ли не каждый прохожий обязательно окидывал взглядом его маленькую стройную фигуру и, встречая спокойный взгляд старика, шел дальше своим путем с неясным ощущением того, что ему удалось увидеть что-то на редкость приятное и хорошее.

Свернув в переулок, вышедший на центральную площадь, Кононов, Александр Андреевич, остановился.

— А! — вскрикнул он весело, будто бы увидев старого знакомого. — Цел еще! Это хорошо, что цел.

— Чего ты? — спросил мальчик, внук старика. — О ком ты говоришь?

Они стояли перед домом, вернее, лачугой необычайного вида. Снаружи эта лачуга походила на старый пассажирский вагон, который сняли с колес, обили со всех сторон рифленным железом, оставив только крошечные прорези-окошечки, и вытащили эту железнодорожную рухлядь в центр города.

— Мэд ин Инглянд, — с усмешкой сказал старик. — Сборный дом, весь из железа. Англичане привезли в восемнадцатом году свое личное недвижимое имущество. Только приколотили занавесочки, только блох развели, а тут — иф ю плиз — седайте обратно на свои миноноски. Мы вернулись!

Он полюбовался этой ржавой железной лачугой, последней из тех, которые поставили здесь интервенты. Затем покачал головой и прибавил:

— Вид у него, конечно, поганый, но пускай, пускай стоит на месте. Все-таки — память.

Он шел дальше, читал все вывески и афиши, разглядывал все витрины, иногда одобрительно поматывая своей ушастой шапкой и бормоча под нос неразборчивые похвалы вроде: «Это правильно!» или «Молодцы, молодцы, хорошо придумали!»

У игрушечного магазина он забрал бороду в кулак и насупился (это означало раздумье), а затем заявил, что в Вардзё и в Тромзё — старинных норвежских городах, где он бывал еще в царское время, — он что-то не помнит игрушечных магазинов.

Когда он проходил мимо табачного ларька, его узнал



Как только «Ястреб» отдал трап, пассажиры гуськом
повалили с палубы.

продавец и окликнул радостно: «Товарищ Кононов! Александр Андреевич!» Он протянул руку в окошечко, они поздоровались, и продавец выразил удивление: почему это товарища Кононова не видать в городе уже третий год? Они поболтали о том о сем, потом продавец предложил гостю табачок лучшей марки.

— Дорого,— сказал гость, отодвигая коробку.

Продавец ахнул:

— Вам-то дорого, товарищ Кононов? В третьем годе по несколько пачек у меня брали!

— То в третьем годе, а нынче, милый человек, совсем не то...

— Вот те на! Обеднели, товарищ Кононов?

Продавец рассмеялся. Рассмеялся и старик. Однако табак взял не самый дорогой, а подешевле, но тоже хороший.

Он спрятал покупку в дорожный мешок, вскинул его на плечо и двинулся дальше. А продавец, высунув голову из окошечка своего киоска, сейчас же позвал соседа, продавца минеральных вод, который тоже высунул голову из окошечка. «Папиросы высших сортов и табачи лучшей марки» объяснили «газированным водам на натуральных сиропах», что дед с мешком — это Кононов, колхозник Кононов, тот самый бригадир рыболовецкой бригады, который за одну весну два года назад заработал на селедке чуть ли не сорок тысяч. Вот какой старик, хотя и невзрачный на вид! И долго торчали из окошечек две головы и покачивались, как маятники, от удивления, пока какому-то пешеходу не понадобился коробок спичек, а другому — стакан воды с малиновым сиропом.

Ровным шагом шел старик по городу, не торопясь, с толком, с расстановкой, как по выставке. Он осмотрел восьмиэтажные дома на главной улице, одни еще в лесах, другие уже окрашенные, с цветами и занавесками в окнах, и так же коротко одобрил эти дома.

Потом его внимание привлекла женщина, которая с опаской перебиралась через переулок, заваленный обледелым строительным ломом. Она была в шляпке, в ботиках, в нарядном меховом пальто, в одной руке тащила тяжелый чемодан, в другой — корзинку. Движения ее были смешны и неуклюжи.

— Из Ленинграда, наверное, дамочка,— усмехнулся

старик. Он поравнялся с приезжей, сказал: «позвольте» и легко перенес ее чемодан через развороченную мостовую.

— Что тут делать таким? — презрительно проворчал мальчишка. — Едут-едут губки красить на краю света.

— Чудило ты, — сказал старик, — и пускай, на здоровье, едут. Значит, город у нас как город, а не дыра по пути к моржам.

Часу во втором дня он вошел в подъезд невысокого дома, возле которого стояло в линейку много легковых машин. Он поднялся на второй этаж, внук шел за ним. В большой приемной он подошел к женщине, сидевшей за столом; у женщины было озабоченное лицо, но, как только она увидела старика, через стол протягивавшего ей руку, сразу же улыбнулась и поднялась с места.

— Редкий, редкий вы у нас гость.

— Начальник у себя? — спросил старик.

— Заходите, товарищ Кононов.

Она распахнула дверь в соседнюю комнату. Это был просторный кабинет; прямо от двери, во всю длину кабинета, стоял стол, накрытый красной тканью, а поперек — другой, письменный, на тяжелых тумбах, и за столом сидел белобрысый человек с орденом на лацкане пиджака.

— Гром тебе и молния! — крикнул он, поднимая голову навстречу вошедшему. — Садись.

Старик сел. По всему было видно, что тут, в кабинете директора рыболовецкого треста, только что окончилось заседание. Стаканы с недопитым чаем стояли на столе, и пепельницы полны были окурков. Народ еще не разошелся. Тут были люди в штатском, в полувоенных гимнастерках, были моряки промыслового флота, военные моряки и морские летчики.

— Не берет тебя время, мореход, — сказал Голубничий, оглядывая спокойное лицо гостя. (Старые рыбаки-поморы называют себя мореходами.)

Старик сощурился:

— А я так думаю, что уже обманул свою смерть. Памятник-то мне уже поставлен...

Толпившиеся в кабинете люди перестали разговаривать между собой и оглянулись. Голубничий захохотал.

— Это он правду говорит, зеленая лошадь! Памятник-то ему уже поставлен!..

И он рассказал, что в Архангельске в самом деле стоит

монумент партизанам, убитым белогвардейцами, в том числе и партизану Кононову. А партизан Кононов вовсе и не погибал; ему прострелило грудь навывлет, он отлежался у какого-то мужичка в амбаре и месяца через полтора явился в Архангельск. Смотрит, а уже на мраморной доске его имя, отчество и фамилия — полностью,

Все развеселились, потом Голубничий спросил:

— Так как живешь все-таки?

— А не так, чтобы очень,— сказал старик.

— Это почему же?

Старик покосился — дескать, шутишь, пустой разговор ведешь, а я не желаю шутить — и смолчал.

— Рыбы нет,— ответил за него Голубничий.— Знаю. Всё ждете, пока сама не зайдет в губу, чтобы ведрами брать, как в позапрошлом лето. В море надо уметь брать рыбу!

— В море,— проворчал старик. Уж кто-кто, а он-то, кажется, знал море. Море не подчиняется человеку,— так было, так оно и будет. Он хотел сказать, что вот всё у них, рыбаков, теперь имеется: и самая лучшая снасть и моторные боты, по сравнению с которыми их прежние шнёки и ёлы просто рухлядь, кухонные лоханки,— а рыба обойдет берега стороной, и морю не закажешь повернуть косяки обратно. Вся их снасть тогда ни к чему. А захочет рыба, и зайдет в губу, как два года назад, и так набьется в губе, когда ее с моря запрут неводом, что в малую воду народ по колено ходит в рыбе. Нет, рыбак морю не хозяин, море само по себе: захочет — подарит, захочет — оставит на бобах.

Однако он ничего не высказал вслух из этих мыслей. В том, что он прав, думая так о море, старик не сомневался, но в то же время испытывал про себя какую-то безотчетную неловкость, стыд за эти мысли. Уж очень они были ленивые, стариковские, и он это чувствовал.

— В море,— ворчал старик.— Море велико.

Голубничий взглянул на моряка в военной форме.

— Расскажи товарищу, Старицын, некий случай из твоей подводной практики.

Моряк усмехнулся. Да, случай с ним был занятный. Его подводная лодка вышла в учебный рейс. Они шли под водой за несколько десятков миль от берега, когда он дал приказ подняться на поверхность. Стали всплывать, вдруг

что-то прижало лодку сверху и не пускает. Он не мог понять, что случилось. Лед? Может быть, они зашли под ледовое поле, но откуда быть льдам в этих незамерзающих водах! Он приказал идти вперед — лодка стояла на месте. Он велел изменить курс — рули не слушались. Как парализованная, лежала его лодка под водой и не могла ни всплыть, ни двинуться дальше. Он, командир, уже начал втайне нервничать, как вдруг освободились рули, и лодка свободно всплыла на поверхность. Спрашивается, что же это было?

— Что же это было? — повторил старик.

— Сельдь, — ответил подводник. — Мы врезались в косяк сельди. Она шла такой массой, что даже наша лодка не могла пробить ее. Двадцать четыре минуты по часам над нами, и под нами, и со всех сторон была не вода, а сплошной слой рыбы.

Тут заговорили все разом. Летчики стали рассказывать наперебой, как во время полетов над морем они видели вдаль от берегов огромные косяки путешествующей рыбы. За ними гнались касатки и целые тучи морских птиц. Рыба шла с востока на запад, минуя губы, где поджидал ее рыбацкий флот.

— Что проку? — угрюмо сказал старик. — В море к ней не подступишься.

— А если зайдет в губу?

— Зайдет — обратно не выйдет. Да ведь не послушается рыба твоего приказа. Тут, милый человек, надо щучье слово знать.

— Щучье слово или не щучье слово, а вот приведем тебе рыбу в губу, тогда посмеешься.

— На веревочке или как? — поинтересовался старик.

— Зачем на веревочке? — Голубничий был совершенно серьезен. — Электричеством.

Старик насупился и засопел. Искося он огляделся вокруг. Все смотрели на него молча, с улыбкой, но эта была снисходительная, а не издевательская улыбка. Нет, с такими лицами не врут.

— Сельдь идет косяком, — сказал Голубничий. — Сотни тысяч рыб. Впереди идут вожаки, начальники всех сельдей, даже величиной своей они во много раз превосходят обычную рыбу. Куда повернут вожаки, туда поворачивает весь косяк. Если пустить прямо в воду электри-

ческий ток, вожак бегут на источник тока. Теперь представь себе. Мы отправляем в море судно, снабженное мощной электрической машиной. Наши подводники и летчики разведывают в море, где путешествует рыба. Не ухмыляйся, зеленая лошадь! Что, мы не можем снабдить рыбаков своими самолетами и подводными лодками? Рыба разведана. Судно становится в голову косяку, ток идет в воду, вожак идет на источник тока. Как на веревочке, мы заводим сельдь в ближайшую губу, а там уж дело ваше. Там поспевайте вы со своими запорными неводами. Можешь не сомневаться, рано или поздно так оно и будет. Довольно нам зависеть от игры стихий. Хозяйничать на море так хозяйничать.

Все ждали, что ответит старик. А он вдруг обвел глазами собравшихся, засмеялся, вскинул на плечо свой мешок и сказал:

— А пес вас знает, может, и в самом деле приведет рыбу. Народ теперь такой...

Все заговорили, зашумели разом, но Голубничий, одной рукой названивая по телефону, другой уже выпроваживал собравшихся из кабинета: до свиданья, товарищи, до свиданья!

— Ты по какому делу ко мне? — спросил он гостя, когда все разошлись.

Старик объяснил, что у них в становище неожиданно ушел с работы портовый надзиратель и, стало быть, им нужен новый.

— Подберем, — сказал Голубничий.

Он набросал на листке из блокнога несколько слов, объяснил старику, куда следует обратиться, и, когда тот уже уходил, сказал:

— Всегда заходи прямо ко мне, всегда рад тебя повидать.

Начальник отдела, к которому старик обратился со своей просьбой, поначалу только развел руками. Людей, как всегда, была нехватка. Однако старику повезло. как раз накануне из тралового флота списался один штурман, просил по состоянию здоровья дать ему работу на берегу. Битый час старик беседовал с этим штурманом, потом бродил по городу и, когда стемнело, пошел в гостиницу обедать. После обеда внук пил лимонад, а старик — пиво и время от времени все еще усмехался.

— Меня, чего доброго, посадят на самолет сеledку высматривать.

— А что ж? — соглашался внук. — И посадят.

Перед тем как улечься спать — спозаранку, как укладываются в становищах, — старик еще раз проверил, все ли он сделал в городе дела, и нашел, что всё в порядке. Новый портнадзиратель, правда, ему не слишком нравился. Портовый надзиратель — должность очень серьезная. Он следит за погодой и смотрит за тем, чтобы боты и механизмы были в исправности. Рыбачья жизнь во многом зависит от его глаза. А этот, хоть у него и было штурманское свидетельство и порядочный морской стаж, старику определенно не понравился. Слишком уж он лебезил перед ним и чересчур торопливо соглашался с тем, что «рибочку надо уметь брать». Нехорошо было и то, как он нянчился со своим здоровьем, по которому будто бы и списался на берег. «Я боюсь, товарищ Кононов, боюсь, — приговаривал он, кашлял и указывал на грудь, — легкие у меня слабые». Когда человек слишком заботится о своей собственной персоне, будет ли он думать о других? А должность портнадзирателя требует большой заботы о людях.

Старик попытался вспомнить, как зовут этого штурмана, и не мог.

— Как его фамилия-то? — спросил он у внука.

— Кого?

— Да этого... щуплого... Который у нас будет работать.

Внук уже засыпал.

— Который у нас будет работать? — переспросил он сонно. — Егешко.

Глава VI

РАЗГУЛ

Лиза простилась со мной равнодушно. Выходя из вагона, она кивнула мне головой и сразу же затерялась в толпе пассажиров.

Так же коротко простились со мной капитаны. Голубничий только крикнул на прощание:

— Так запомните: «РТ 89», капитан Сизов.

Пожалуй, если бы я не спрашивал дорогу у встречающих, я все равно нашел бы промысловый порт по запаху свежей рыбы, которой тут пахло все — дощатые мостки, рабочие в брезентовых робах, даже стены домов и складов. Выпотрошенную рыбу везли на вагонетках, тащили в корзинах, и — батюшки! — что это была за рыба! Груда серых хвостатых, распластанных в лепешку чудовищ — каждое длиной метра в три — лежала прямо на мостках; как ни спешил я в управление флота, однако не мог не спросить у пробежавшего мимо матроса: что это такое?

— Акулы, — был ответ.

А дальше, в проулках между домами и складами, лесом вставали мачты и корабельные трубы. Запах рыбы, оглушительный крик чаек, носившихся вокруг, гудки и грохот разгрузочных кранов, — это и был порт.

Все вышло так, как сказал маленький капитан. В управлении флота меня без разговоров записали в команду 89-го и не позже завтрашнего утра велели явиться на судно. Теперь я сколько угодно мог называть себя моряком. Матросская карточка лежала у меня в кармане.

Это было примерно около часа дня. А в три часа дня, когда я, осмотрев добрую часть города, искал какую-нибудь столовую, чтобы пообедать, мне повстречался матрос.

До сих пор я со стыдом вспоминаю все то, что произошло после этой встречи. Ведь такой чудесный был день! Я шел по незнакомому мне городу, видел залив и корабли, видел снежные горы, обступавшие город, разглядывал дома, улицы, прохожих, и все было чудесно. Солнце, пизкое, полярное солнце, грело и светило вовсю. Капало с крыш на солнечной стороне улиц. Несколько раз мне казалось, что впереди себя в толпе я вижу Лизу, я ускорил шаг, нагонял и убеждался в том, что это знакомая мне девушка. Нет, я не грустил тогда. Я просто думал и думал о том, как мы все-таки встретимся с ней, и, уж конечно, это будет не такая обычная встреча на улице. Смешно говорить — я додумался даже до кораблекрушения! Пассажирское судно, на котором едет она в становище, садится на скалу, а мы, матросы случившегося неподалеку тральщика, молодцы в брезентовых робах, снимаем пассажиров на шлюпки. Когда впервые в жизни

идешь по незнакомому городу, да еще в такой солнечный день, простительны самые глупые мечты. А город вокруг меня был новый, день солнечный, и море лежало совсем близко. Вот-вот поднимаешься повыше в гору — и увидишь.

Но я уже сказал, что мне навстречу попался матрос.

Он стоял на перекрестке, засунув руки в карманы, потухшая папироса торчала у него во рту. С первого взгляда было ясно — делать ему совершенно нечего. На ногах у него были высоченные сапоги с приспущенными и вывернутыми наизнанку голенищами, так что пониже колен образовались огромные раструбы. Выглядело это очень лихо. А на голове у матроса был красный шерстяной берет, тоже очень лихо нахлобученный на ухо.

Лениво он оглянул меня с головы до ног. Физиономия у него была сонная, мятая, небритая. Он зевнул, и за два шага от него запахло спиртом.

— Аркашка! — крикнул я, хватая его за руку.

Он сощурился.

— Ну,— процедил он сквозь зубы,— действительно, меня зовут Аркадием Семенychем. А если вы меня знаете, то где же ваше «здравствуйте»?

В школе мы с ним никогда не дружили. Аркашка был на четыре класса старше меня, и вот уже три года, как бросил школу. Я знал, что он где-то плавает, но у меня и в мыслях не было, что мы с ним столкнемся в Заполярье. Я ужасно обрадовался. С каким восторгом разглядывал я его сапоги с раструбами и заломленный на ухо шерстяной берет! Аркашка был настоящий моряк.

Наконец он соблаговолил меня узнать, и на его сонной физиономии даже появилось нечто вроде приветливой улыбки. Я рассказал ему все: как и зачем я попал в Заполярье и на какое судно приписан,— а потом стал расспрашивать сам о море, о плавании, обо всем, что меня интересовало.

С первых же слов он меня точно холодной водой облил.

Я спрашиваю, например:

— Как в плавании — не тяжело?

— А что — плавание! Мура все это...

— Погоди,— говорю,— почему же мура? Все-таки море...

- Навоз — твое море!
- Но ребята-то на судах хорошие?
- И ребята,— говорит,— навоз.

Я сначала испугался его мрачности, а потом она меня рассмешила. Казалось, спроси его: «А как тут весной, Аркашка, солнце греет?» — он сплюнул бы и пробубнил: «Солнце — навоз, и весна — навоз, всё, брат, навоз».

— Что ты, Аркашка, такой злой? — удивился я.

Он покосился на меня и ответил:

— Я не злой, но не люблю трепать зря языком. Разговаривать нужно по-деловому. Деньги у тебя есть?

Деньги у меня были. Рублей сто с лишним, все, что осталось от моего путешествия в мягком вагоне.

— Так в чем же дело? — крикнул он. — Ставь! Раз ты с нынешнего дня — матрос, такое обстоятельство полагается вспрыснуть! А то что — море да море...

До темноты оставалось еще несколько часов, но день — ослепительный мартовский день — для меня уже кончился. Ресторан оказался близехонько, за углом. Мы вошли, сели, Аркашка распорядился с обедом, и через час я уже ничего не соображал. Помню одно: Аркашка рассказывает мне, что месяца два назад его списали с судна за какое-то веселое приключение со скандалом и с дракой и что сейчас он не работает, а так, бродяжит. Я же люблю его беретом и сапогами с раструбами и выше головы доволен тем, что я сам матрос и гуляю на равных правах с настоящим матросом.

И еще я помню, что нужно платить, а я никак не могу сосчитать свои деньги, и Аркашка говорит: «Давай я сочитаю». Когда по выходе на улицу я хотел купить в ларьке папиросы, денег у меня не оказалось ни копейки. Аркашка сказал: «Дурак, руки дырявые, обронил, наверное, сдачу».

Вспоминая эту встречу, я не могу избавиться от ощущения тяжелого непрерывного бреда с редкими минутами просветления.

Смутно мне представляется длинный и полутемный коридор в гостинице, и я иду, иду по этому коридору черт знает куда и черт знает зачем. Вдруг я вижу Лизу. Я вижу совсем близко ее глаза, которые смотрят на меня с ужасом и отвращением.

Потом я слышу ее голос:

— Какая мерзость! Посмотрите, на кого вы похожи? Где вы остановились? Сейчас же ступайте к себе.

При этом она трясет меня за руку, как будто бы хочет разбудить.

— Я уже матрос, Лиза, можете меня поздравить, и скоро отправляюсь в море,— бормочу я и шарю по карманам, ищу свою мореходку.— А что мы гуляем с приятелем, так это сущие пустяки, ей-богу! Я скоро — в море...

Аркашка хохотал, приподнимая свой берет, и требовал, чтобы я его познакомил с «дамой».

— Это мой большой друг, Лиза,— бормочу я.

Но ее уже не было с нами. Мы опять шли по длинному и полутемному коридору, потом сидели за столом с какими-то незнакомыми мне людьми, чокались, галдели, и Аркашка рассказывал мне про какого-то Колю, замечательного пария, который будто бы умер нынешней ночью. Потом я очутился на кладбище, потом от кого-то бежал, и все это мне помнится смутно, как сквозь сон.

Я пришел в себя на пустыре, ночью. Ужасно болела голова, и я озяб так, что меня знобило. Нас было четверо, и мы стояли перед громадной соломенной горой, занесенной снегом.

Здесь мы собирались заночевать, это я твердо помню. Но где? Я не видел вокруг жилья. Стоя на четвереньках, Аркашка разрывал солому, закапывался в нее с головой, и вдруг внутри этой соломенной горы мелькнул огонек.

«Как странно,— подумал я.— Откуда там огонек?» Но не успел ничего спросить.

— Ну, ползи,— сказали мне, подталкивая меня в спину.

В первый раз за этот вечер я подумал о том, что весь этот разгул — сущее безумие, что мне нужно было бы пойти на судно и просто-напросто лечь спать. Вместо этого я стою на пустыре перед грудой соломы, в которой, неизвестно почему, горит огонек. Мне стало тоскливо и страшно. Но отступить уже было некуда. Двое подталкивали меня в спину и говорили: «Ну, ползи!»

ХОЗЯИН СОЛОМЕННОЙ ПЕЩЕРЫ

Это была пещера, низкая, тесная пещера, вырытая в соломенной горе, и посреди нее горел ветровой фонарь. На брюхе я прополз по узкому ходу-норе, который вел внутрь пещеры. Снаружи бесновался ледяной ветер, здесь была духота. От спертости, как в глубоком погребе, воздуха мне сразу же перехватило дыхание. Фонарь горел тускло. В этом зверином жилье нечем было дышать, и я со страхом подумал, что слабенький огонек фонаря мигнет сейчас и погаснет.

Мы все собрались здесь: два парня — их звали Мацейс и Шкебин, — Аркашка и я. Мои спутники чертыхались, соломенная труха запорошила им глаза и ноздри. Потом Аркашка поднял с земли фонарь и осветил самый дальний угол пещеры. Я увидел опрокинутый ящик, на котором валялись длинный нож, вроде кухонного, и жестяная кружка. Ящик, должно быть, заменял стол хозяину этого жилья. А дальше, в самом углу, лежала кипа соломы, заваленная сверху мешками и облезлыми оленьими шкурами.

— Спит, — проворчал Аркашка.

Шкебин выругался.

— Так разбуди его.

Аркашка, с фонарем в руке, шагнул к мешкам, валявшимся на соломе. Это жилье было таким низким, что головой он задевал потолок, то есть тяжелые соломенные своды, нависшие над ним. Огромным своим сапогом он ударил наотмашь по груде мешков и шкур, и сразу же она рассыпалась, развалилась, и лысая человеческая голова выснулась наружу.

Темно было по углам. Лысая голова, отсвечивая под фонарем, точно торчала из-под земли, точно висела в воздухе.

— Будет спать, — сказал Аркашка. — Гости пришли.

Голова чуть заметно ворочалась. Она разглядывала нас, а я разглядывал ее. Старое бледное безбровое лицо, все в морщинах, все в белой щетине, красные глазки, бескровные отвисшие губы — вот что я увидел. И эти красные глазки смотрели совсем по-звериному — испуганно и злобно.

А затем произошло превращение: отвисшие губы растянулись в усмешке, и глаза совсем пропали в морщинах. Хозяин этой берлоги, должно быть, остался доволен осмотром своих гостей.

— Какое общество! — нараспев сказала голова и затряслась от кашля. Мешки и шкуры в углу снова пришли в движение. Кашляя и сплевывая на землю, хозяин выбрался ползком на середину пещеры. Он выхватил из рук Аркашки фонарь и осветил наши лица.

— Какое общество! — повторил он. — Не ждал, вот уж не ждал!

— А кого ты ждал? — резко спросил Шкебин.

— Все стали очень серьезными, ах, какими серьезными! — непонятно почему захохотал хозяин. — Такая беззаботная птичка, как я, такой воробушек нынче портит кровь серьезным людям.

— Ну, довольно, — сказал четвертый в нашей компании, молчаливый парень, по фамилии Мацейс. — Трещишь, как заводная машина.

Хозяин еще раз поднял фонарь и осветил лицо гостя. Из всех моих новых приятелей, с которыми случай свел меня в этот вечер, Мацейс мне нравился больше остальных. На меня, правда, он обращал мало внимания, мне же нравилось его суровое красивое лицо и тот уверенный, повелительный тон, с которым он обращался к своим товарищам.

— Да, — продолжал хозяин, еще раз внимательно осмотрев гостей. — Такие франты у меня теперь бывают не часто. Юшкой нынче брезгают, а уж если вспоминают о Юшке — значит, что-то стряслось. Ну, выкладывайте, мальчики, начистоту, что стряслось?

Аркашка нагнулся к его уху и стал что-то быстро бормотать. Я расслышал только слова: «замерз», «Колька» — и понял, что он рассказывает о смерти того самого матроса, которого мы провожали нынче на кладбище.

Юшка внимательно выслушал его рассказ, после чего неодобрительно покачал головой:

— Он стоил всех вас, вместе взятых, вот что я вам скажу. Умел, умел жить этот моряк!

Вздыхнув, он полез в угол на свое прежнее место. Долго он кряхтел и кашлял, роясь в набросанных на солому мешках и облезлых шкурах; потом повернулся

к нам, и в одной руке у него была большая свежая рыбина, а в другой — флакон одеколона.

— Помянем покойничка, мальчики? — сказал он со вздохом. — Хотя ваш организм, наверное, не привык к такому угощению. Вам надо, детки, что-нибудь полегче. Ну, уж пес с вами, найдется что-нибудь и по вашему слабому здоровью.

Сидя на мешках, он прямо из горлышка стал пить одеколон и закусывать с хребта сырой рыбой. К вони, которая была тут в пещере, прибавился еще невыносимый запах парикмахерской. Тошнота комом подступала у меня к горлу. С ужасом я смотрел на этого отвратительного старика, который то запрокидывал по-куриному свою голову так, что была видна только дряблая шея да острый кадык, и маленькими глоточками тянул это мерзкое пойло, то, ухватив рыбину за хвост, вгрызался ей в спину своими гнилыми зубами. Всем трем моим приятелям это зрелище, по-видимому, было не в диковинку. Они рассказывались поудобней, в то время как Аркашка откуда-то из-под соломы выкапывал большую бутылку с вином, резал хлеб и обдирал ножом копченого окуна.

— «Ночная фиалка», — разглагольствовал старик, помахивая обгрызенной рыбой, — превосходный сорт. Но, по правде говоря, мальчики, тройной одеколон вкуснее всего.

Аркашка протянул было и мне жестяную кружку с вином, но я отказался наотрез. Меня занимало только одно: что за человек хозяин этой берлоги, кем он мог быть? Аркашка, пока все угощались, наклонился к моему уху и скороговоркой объяснил, что хозяин этой берлоги — это Юшка, знаменитый Юшка, по прозвищу Дивертисмент, которого до сих пор помнит вся Одесса. При слове «Одесса» Аркашкин голос дрожал от восхищения. С Черного моря Юшку убрали года четыре назад, и с тех пор он обосновался в Заполярье. Он был матросом, но уже лет сорок назад списался с корабля и с той поры не ударил палец о палец. Живет, как птичка, — не сеет, не жнет.

— Бич, — сказал Аркашка, — это настоящий бич. Можешь не сомневаться, он взял свое от жизни.

Позже я узнал, что «бич», «бичкомер» — это прозвище портовых бродяг.

Между тем Юшка, заметно охмелев, стал опять жаловаться, что ему выпала неважная старость, что он при-

вык к хорошему, веселому обществу, а времена пошли такие, что он вынужден сидеть как крыса в норе. Как ни мутило меня от запаха гнилой рыбы пополам с парикмахерской, но здесь, в этой берлоге, было тепло, и после нашей прогулки под снежными шквалами мне больше всего хотелось вытянуться и уснуть. Мало-помалу Юшкины причитания становились все тише и тише, и я задремал. Уснуть мне, конечно, не пришлось, очень скоро я очнулся и первым делом увидел Юшку. Старик, пошатываясь, стоял посреди пещеры и кричал:

— «По Пешеновской!»! Я вам буду плясать «По Пешеновской на велосипеде»! Никто из вас, дураков, понятия не имеет об этом танце, а между прочим им восхищалась вся Одесса!

Вскидывая руками, он стал скакать вокруг фонаря, стоявшего на земле, и тут только я заметил, что он хром. А мои приятели сидели на корточках вдоль стен и хлопали в ладоши. Лица у них были красные, зубы оскаленные. Что-то собачье было и в их позах и в выражении лиц. Я зажмурил глаза: мне не хотелось видеть этого безобразного старика, который скакал, взмахивая руками и тонким голосом выкрикивая слова какой-то бессмысленной песни. Вскоре он раскашлялся и повалился на свои мешки. Аркашка восторженно хохотал, бил его по спине кулаком и целовал в лысый череп.

— Мы сегодня гуляем,— хрипел старик.— Не каждую ночь у Юшки такие гости. Мацейс, Жорочка, я ведь знал твоего отца, ей-богу! Мы делали с ним на пару неплохие дела с чулками и сигарами. Угощаю вас, мальчики. На, хватай!

Он размахивал толстой пачкой денег. Аркашка, восторженно хохоча, пытался выхватить у него бумажки. «Откуда у этого грязного, страшного бродяги такая масса денег?» — удивлялся я, а глаза у меня снова слипались. Смутно я слышал разговор.

— Иди к вдове. Скажешь — от меня. Мы с ней дружки. Она сама из сахара гонит...

— Кусок идиота! — слышал я Аркашкин смех.— Как это вам нравится, он выжил из ума! Вдову еще позапрошлую осень прикрыли со всей ее лавочкой. Ты один отсиделся.

— У меня не осталось моих «дружков», — снова за-

причитал старик.— Вдова Палисадова, сестрички Лепешкины — ах, что это были за люди! Всех разогнали, Юшкина очередь...

Звякнули пустые бутылки, и кто-то на четвереньках прополз мимо меня, разворачивая солому. Это Аркашка выбирался из пещеры, шел за угощением, и угрюмый голос Шкебина ворчал ему вслед: «Уж достань ты ему «фиалку», пес с ним...»

Забывье продолжалось. Это было именно забывье, а не сон,— я все время слышал голоса, но смысл разговора доходил до моего сознания урывками. Один раз, приоткрыв глаза, я не закрыл их тотчас же потому, что даже сквозь эту сонную, полупьяную одурь меня поразило выражение лиц Мацейса, Шкебина и Юшки, склонившихся над фонарем. Все трое были очень озабочены и угрюмы. Юшка держал в руках грязную тряпку, в которой были завернуты какие-то книжки.

— Возраст подходящий, это же самое главное,— говорил Юшка.

Мне показалось, что книжки, завернутые в тряпку,— паспорта, обыкновенные паспорта в серой обложке. И опять я удивился: с чего вдруг они занялись разглядыванием своих документов?

— Мы оставим в залог часы,— тихо сказал Мацейс, снимая с руки браслетку с часами. Шкебин тоже вынул из кармана часы.— Но слышишь ты — в залог! Это золото...

— Я привык к доверию, мальчики,— забормотал Юшка,— имейте это в виду.

Голоса их стали совсем тихими, а я снова перестал различать все вокруг себя.

Следующее мое возвращение к сознанию было совсем неожиданным. Юшка стоял посреди пещеры, размахивая руками, а Мацейс и Шкебин лежали рядышком на мешках и, как мне показалось, спали.

— Это мне нравится! — сердито кричал Юшка.— Люди приходят ко мне, людям нужна моя помощь, а разговаривать со мной они не желают. На все у них один ответ. Какой-то пьяница замерз, так, видите ли, им уже понадобились новые...

— Молчать,— негромко сказал Мацейс.

Нет, он не спал. Я видел его глаза. Поблескивая в тем-

ном углу, они в упор смотрели на расхोдившегося старика, и тот, должно быть, тоже их увидел, потому что сразу же обмяк и даже попятился к стенке пещеры. Медленно он опустился на корточки.

— В конце концов, что наша сегодняшняя встреча? Простая игра случая! — забормотал он как нельзя более дружелюбно. — Но я привык к доверию. Деловые люди в Одессе верили мне на слово, хотя мы с ними обделывали посерьезнее дела. Можешь спросить у своего отца, Жорочка, если он жив.

По-видимому, хмель в нем боролся с благоразумием. Благоразумнее было, судя по резкому окрику Мацейса, помолчать, но хмель его подстрекал на разговоры, и старик все еще петушился. Говорил он спокойно, неторопливо, но я-то, лежа на соломе, видел, как у него рот кривился от злости.

— Как вам гулялось за границей, мальчики? — невзначай спросил он. — Вы ведь недавно там побывали?

Из угла ответили:

— Молчи, Юшка.

— Господи Иисусе! — притворно удивился старик. — Уж нельзя спросить моряка о том, как ему гулялось в последнем рейсе! Я люблю, дорогие мои, европейские порты. Веселые места, я там бывал лет этак тридцать пять назад. И в Глазго, и в Штеттине, и в Осло. У меня там тоже водились дружки, славные такие ребятки...

Он говорил, зажмурив глаза и по-куриному запрокинув голову, точно в самом деле перебирал в памяти свои прошлые путешествия. Но я видел, что краем глаза он все время косится в угол.

— Инженер-механик Вельц, например. Он приезжал сюда по делам года два назад и, понимаете, узнал меня, бродягу, когда мы с ним случайно столкнулись на улице. Вы ничего не слыхали о таком инженере, а?

В углу было тихо. Я подумал, что, пока старик болтал, Мацейс и Шкебин уснули. Но, мельком взглянув в угол, я вдруг увидел, что оба они приподнялись с места на локтях и молча смотрят на старика, а тот ерзает под этим пристальным взглядом, шарит возле себя рукой, точно что-то ищет, и все дальше и дальше отодвигается к стенке. Обыкновенный кухонный нож, которым Аркашка чистил копченого окуна, валялся на земле. Юшка нащу-

пал его и быстро сунул под солому. Дальше произошло совсем непонятное: Шкебин, за все это время не сказавший ни слова, рывком сорвался с места и опрокинул старика на спину. Как шапкой он накрыл его череп своей огромной ладонью. Он вертел этот лысый яйцевидный череп из стороны в сторону, будто бы это была не живая человеческая голова, а некий предмет, который можно разбить, сломать, вышвырнуть, словом, обойтись с ним как заблагорассудится.

— Я молчу,— чуть слышно бормотал старик.— Я — могила...

И, опрокинутый на спину — точь-в-точь нашкодившая собака, когда она просит прощения,— в подтверждение своих слов поднес к губам палец: «Молчу, молчу».

— На место, Григорий! — скомандовал из угла Мацейс.— Сядь.

Шкебин отошел в угол, слегка пошатываясь. Крупные капли пота выступили у него на лбу, он дышал хрипло, со свистом. Мацейс полулежал на мешках и по-прежнему смотрел в упор на распластанного у стены хитрого старика.

— Да,— сказал он задумчиво и кивками головы точно подтверждал каждое слово.— Ты — могила. Запомни — могила.

Именно в эту минуту я закрыл глаза. Я не спал и не хотел больше спать, но чувствовал всем своим существом, что мне нужно сейчас же, немедленно притвориться спящим. Лучше бы мне не быть свидетелем тому непонятному, что здесь творилось. Должно быть, я вовремя это понял, потому что разговор вокруг меня сразу же оборвался, и кто-то совсем шепотом сказал:

— Спит без задних ног.

Снова звякнула бутылка, и невыносимый в этом звякином жилье запах одеколона ударил мне в ноздри. Ссора кончилась миром, хозяин и гости продолжали угощаться. Тогда я умышленно громко зевнул и поднял голову. Все смотрели на меня.

— С какого ты судна? — ни с того ни с сего спросил Юшка.

Я вдруг удивился сам себе — ведь Мацейс и Шкебин были механиками на 89-м, на том самом новеньком тральщике, на котором не сегодня-завтра я пойду в море. Это

у меня совершенно вылетело из головы, пока мы кочевали с места на место суматошной нынешней ночью.

— Я вместе с ним,— сказал я, кивая головой на Мацейса.— Я приписан на 89-й.

Впервые я заметил, что они смотрят на меня с любопытством. Мацейс даже присвистнул, словно бы от удивления, и сразу же покачал головой.

— Нет, мы уже списались с 89-го. Не сошлись характерами с капитаном.

Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он уже перестал смотреть на меня и, растянувшись на мешках, закинул руки под голову.

— Не сошлись характерами с капитаном,— повторил за ним Юшка.— Ну ладно. Капитан так капитан. Мне-то что, спрашивается? Верно я говорю, матросик?

Ох, как я его ненавидел в эту минуту! Он обсасывал сырую рыбью голову, явно наслаждаясь этой мерзкой закуской, но по смеющимся его глазам я видел, что он издевается и надо мной и над обоими механиками, которые совсем перестали обращать на него внимание. Ни кровинки не было у них в лицах. Круглые черные тени пятачками легли им на глаза. «Почему они такие усталые и злые?» — подумал я, но не успел ни до чего додуматься. Солома, закрывавшая выход наружу, развалилась, и Аркашка, задыхаясь, просунул голову к нам в пещеру.

— Гасите свет и все наверх,— сказал он.— Юшка-таки накликал себе гостей.

Глава VIII

БЕГСТВО ПО ЗАЛИВУ

Я помню, как Юшка пополз на коленях к своей соломенной подстилке, как он хныкал и шарил руками под соломой, хватал какие-то узелки и свертки. Ударом сапога Мацейс опрокинул на землю фонарь и раздавил его каблуком. В крошечной темноте, хватая друг друга за ноги, мы выползли по узкому ходу-норе из пещеры. Все вокруг было замечено толстым слоем снега. Снежные швалы, должно быть, проходили всю ночь. Выпрямив-

шись, я напрасно вглядывался в темноту, ища глазами, каких же гостей дождался, наконец, Юшка.

— Идут цепью с трех сторон,— торопливо говорил за моей спиной Аркашка.— Можно еще податься к заливу.

Луна скрывалась в стремительно набегавших облаках. По снежным склонам гор скользили светлые пятна — лунные отсветы, и казалось, что горы шевелятся в темноте. Вдруг на полминуты, не больше, разорвались облака, и я увидел шагах в ста от нас цепь черных фигур, медленно окружавших пустырь. Это были милиционеры — вот каких гостей опасался Юшка.

Странная слабость появилась у меня в коленях. Мгновенно я понял всю глупость, весь стыд моего положения. Через несколько минут я буду задержан вместе с этим старым бродягой, может быть, вором — и прощай мое судно, прощай море! Не сразу же выяснится, что я ничего не сделал плохого, что я случайно, сдуру, можно сказать, попал в компанию этого омерзительного человека.

Все эти мысли пронесли у меня в голове за полминуты, пока луна освещала пустырь. Потом стало опять темно, и кто-то крикнул: «Беги!»

Куда мы побежали, я не знаю. Помню, что нужно было перебираться через высокий забор, перевитый по верху колючей проволокой, и я порвал себе рукав и здорово оцарапал руку. Юшка, прихрамывая, бежал последним. Когда мы перебирались через забор, я слышал, как он хныкал и просил «мальчиков» посадить его снизу. Кажется, Аркашка, сидя на заборе верхом, протянул было ему руку, но тут снова проглянула луна, и в цепи милиционеров раздались свистки и крики. Чертыхнувшись, Аркашка скатился с забора, а что случилось с тем хромоногим бродягой, я не знаю. Думаю, что он тут же и попался.

Трудно было бежать по рыхлому снегу, на каждом шагу я проваливался чуть ли не по колено. У меня даже появилась отчаянная мысль: плюнуть на все, отстать от моих дружков — и будь что будет. Но под ногами неожиданно захлюпала вода, и я сообразил, что мы выбрались на берег залива.

Потянуло гнилью и резким запахом йода. Был отлив, мы бежали теперь прямо по морскому дну, которое в малую воду обнажается здесь чуть ли не на километр. То

и дело я спотыкался о камни, поросшие скользкими водорослями. Какие-то белые пятна смутно обозначались на выступивших из воды камнях. Пробегая мимо такого камня, я поднял целую стайку мирно дремавших чаек. Долго в темноте раздавались их пронзительные крики, а потом опять посветлело, и прямо перед собой, в лунной дорожке, протянувшейся по заливу, я увидел дощатые мостки и несколько шлюпок, привязанных к сваям.

Откуда Аркашка достал весла, я не заметил. Мы прыгали в крайнюю шлюпку. Я растянулся прямо на дне, Шкебин сел на весла, Мацейс — на нос. Кучка милиционеров появилась на берегу в тот самый момент, когда Аркашка, грудью навалившись на корму, гнал шлюпку на глубокую воду. Нам что-то кричали с берега, но уже Аркашка перевалился через борт и взялся за руль. В наступившей затем темноте мы быстро отошли от причала.

На всю жизнь осталась в моей памяти эта прогулка. Мы молчали все четверо. Только по временам Мацейс, лежавший на носу, негромко подавал команду: «Право руля — льдина», — и Аркашка круто клал руль направо, а льдина с шуршанием и звоном проходила под самым бортом нашей шлюпки. Залив был неспокоен. Мелкая зыбь подбрасывала шлюпку, и по временам нас раскачивало так, что я в страхе хватался руками за борта, как будто бы качка от этого могла уменьшиться. Куда мыплыли? Последние остатки хмеля вылетели у меня из головы, и я все отчетливее и отчетливее понимал нелепость моих ночных походов.

— Аркашка, — спросил я шепотом, — куда мы?

— Заночуем у кого-нибудь из ребят в каюте, — хмуро ответил он и вдруг судорожно рванул руль в сторону. Что-то заскрежетало по днищу. Мы едва не наскочили впопыхах на камень.

— Уснул, что ли? — зло крикнул Аркашка.

С носа ему ответил ленивый голос Мацейса:

— Да, хорошо бы сейчас соснуть часок...

Я не мог не восхититься про себя спокойствием, с каким это было сказано. Мы удирали черт знает куда, впопыхах, по заливу, нас швыряло в шлюпке из стороны в сторону, а этот парень уже пристраивается, как бы ему вздремнуть на часок! Но в то же время мне стало совсем не по себе при мысли, что если Мацейс не хвастает и в

самом деле заснет, то в этой темноте мы обязательно на что-нибудь наскочим и перевернемся. Теперь, как только Аркашка начинал ерзать за рулем и вглядываться в темень, сердце у меня просто замирало. И хоть бы опять выглянула луна, хоть бы на полминуты! Но мы шли впотьмах по огонькам, цепочкой протянувшимся на том берегу залива.

Вдруг я вскрикнул и от неожиданности даже вскинул руку. Толстая чугунная цепь наклонно прошла над шлюпкой, и какая-то черная масса надвинулась на нас из темноты.

— Поори ты тут,— проворчал Аркашка.— Хочешь, чтобы вахтенные услышали?

Мы проскользнули под якорной цепью огромного океанского судна. Высоко над головой в два ряда светились редкие огоньки иллюминаторов: кое-где в каютах, по-видимому, еще не спали. Я так загляделся на эту черную громадину, что не заметил, как справа от нас выступила другая такая же, если еще не больше. Луна, которую я ждал, выглянула наконец, и сразу же Аркашка налег на руль, и шлюпка скользнула в тень к самому борту судна. Точно по улицам затопленного города, мы проходили на шлюпке среди многоэтажных морских гигантов, стоявших у причалов, скользили у них под кормой и пробирались под якорными цепями. Тут были суда с надписями, помоему, на языках всех стран мира и наши, не уступавшие им по размерам. Не больше буйка, раскачивавшего на волне свой красный фонарик, казалась рядом с ними паша шлюпка. Аркашка с неудовольствием поглядывал на освещенные луной облака и все время норовил держать курс тенью, чтоб нас не заметили с палуб, а я забыл все свои страхи. Я мог дотянуться рукой до ржавой, изъеденной морской солью железной обшивки бортов. Они были так высоки, стены этого водяного города, что за ними совсем не чувствовалось ветра. Между тем он налетал порывами, и высоко над нами я слышал его свист в снастях и мачтах. Ветер гулял там среди корабельных мачт, как в голом зимнем лесу, здесь же, у ржавых железных бортов, мимо которых пробиралась наша шлюпка, только плескалась мелкая зыбь да потрескивали битые льдины.

И снова нас раскачивало и швыряло из стороны в сто-

рону, и к ледяным брызгам, летевшим через борта, прибавился мокрый снег. Опять мы шли по открытому заливу. Я не мог открыть глаз, от снега и ветра у меня свело все лицо.

— Аркашка, скоро ли? — взмолился я.

— Мы уже пришли, — сказал он. — Надо ждать, когда опять посветлеет.

Не знаю, что было бы с нами в эту ночь, если бы опять не пронесло облака. Мне казалось, что битый час мы качаемся на короткой зыби с залива, что убывающая вода мало-помалу все дальше уводит нас от берегов. (На самом деле уже начинался прилив, и Шкебин все время подгребал, чтобы нас не выбросило на берег.) Наконец на том берегу опять осветились снежные вершины, и лунная дорожка стремительно пересекала залив.

Я опять увидел суда. Но как они были не похожи на те, мимо которых мы только что проходили на шлюпке!

Длинные, с низкими палубами, они стояли по двое, по трое, тесно прижавшись борт к борту. Это было сборище судов, обледеных до кончиков мачт, пудовыми льдинами обвешанных по снастям и железным поручням, точно иллюминированных льдом к какому-то удивительному морскому празднику. Можно было подумать, что это затонувший флот, который отлив поднял со дна, а налетевший ветер сбил в кучу.

Так вот как они выглядели, эти промысловые суда — рыболовы и зверобои, возвратившиеся из зимних рейсов! Никогда я не думал, что судно может так обледенеть в плавании, нести на себе такую тяжесть льда и смоченного водой, обмерзшего снега. Борт о борт с ними были пришвартованы другие — чистенькие, окрашенные в черно-красный цвет, еще только собиравшиеся в море. У одних на бортах были написаны их названия: «Краб», «Пикша», «Акула», «Пинагор», «Палтус», у других обозначены были только номера. Я смотрел на эти маленькие, с низкими палубами суда, на одном из которых мне предстояло пойти в море, и не прислушивался к тому, что происходило в нашей шлюпке. Где в этом сборище судов стоял мой 89-й? Напрасно было его искать: суда теснились борт к борту, все, как один, с одинаковыми трубами и мостиками.

Между тем в шлюпке происходило что-то очень тре-

возное. Аркашка вдруг толкнул Шкебина сапогом, и тот быстро заработал веслами. Мы опять скользнули в тень к борту крайнего судна. Шлюпка замерла.

Я спросил: «Что случилось?» — и мне никто не ответил. Аркашка прислушивался, вертя своим беретиком из стороны в сторону, у Шкебина на лице было такое выражение, как будто бы он хотел сказать: «А ну вас всех, делайте, что хотите, надоела мне эта волынка». Мацейс — я это только теперь заметил — в самом деле спал, закрыв лицо локтем.

— Так и есть, — проворчал Аркашка. — Портовый надзор или сам капитан порта. Это их катер. Черта ли им не спится?

Где-то совсем близко трещала моторка. Она шла по ту сторону обступавших нас судов, и нельзя было разобрать на слух, идет ли она от нас или приближается к нам. Однако Аркашка, по-видимому, лучше меня разбирался в стуке мотора, потому что физиономия у него стала совсем растерянной.

— Надо его будить, — сказал он, кивая на спящего Мацейса.

— А чего будить? — огрызнулся Шкебин. — Заметят — сами разбудят.

Опять я представил себе, как все-таки нас заметят с моторного катера, как начнутся расспросы, зачем мы ночью на шлюпке попали в порт, и как я буду беспомощно отговариваться и оправдывать свое присутствие в шлюпке. Теперь и у меня не было никаких сомнений, что катер приближается к нам и через минуту-другую выйдет на открытое место. Проснулся Мацейс, которого его приятель несколько раз толкнул веслом. Пока они о чем-то переговаривались, прислушиваясь к все приближавшемуся стуку мотора, я с тоской оглядывался по сторонам. Свежеокрашенный судовой борт поднимался над шлюпкой. Там, где мы притаились, он отстоял от воды не выше человеческого роста. Подтянувшись на руках, можно было легко перескочить на палубу. Но что дальше? Что я сказал бы вахтенному матросу, очутившись на чужом судне? Скользя глазами по бортам, нависшим над шлюпкой, я вдруг увидел на самом закруглении бортов номер судна. Я видел его снизу и чуть сбоку, и цифры почти сливались. Но все-таки я разобрал буквы РТ и

цифры 8 и 9. Я искал мое судно по сторонам, а оно было рядом, до него можно было дотронуться рукой.

— Аркашка,—заговорил я, встряхивая его за плечо,— послушай...

Не обращая на меня внимания, он смотрел в небо. Опять набегали облака.

— Луна сейчас спрячется,—громко сказал он.— Ей-богу, они проскочат мимо!

Все так и произошло. Набежала темнота, и одновременно с темнотой громкий стук мотора послышался совсем рядом. Нужно было действовать быстро и решительно. Только это могло меня спасти. Я больше не стал раздумывать. Ухватившись за фальшборт, я подтянулся на руках и, в то время как моторка огибала судно, мешком свалился на палубу. Я упал на что-то мягкое — это были сети, растянутые вдоль борта,— и моего падения не было слышно. Я думаю, что оставшиеся в шлюпке даже не заметили, как я из нее удрал,— не до того им было в ту минуту. Ощупью я двинулся вдоль железной стены, замыкавшей с носа нижнюю палубу, и вскоре нащупал наглухо закрытую дверцу. Она отворилась без стука. В освещенном прямоугольнике дверей стоял долговязый матрос в зюйдвестке и робе и сощурился вглядываясь в меня через порог.

— Кто тут?

— Свой.

— Кто свой?

— Матрос Слюсарев,—ответил я.

Он посторонился и пропустил меня в коридор, который в нескольких шагах от входа обрывался у лесенки, уходящей вниз, в трюмные помещения. Дверца захлопнулась.

— Слюсарев? — задумчиво повторил долговязый матрос, оглядывая меня с головы до пят.— Не слыхал про такого. Новенький, что ли?

Я не ответил. После всех мытарств и страхов этой ночи я только теперь по-настоящему понял, какое это счастье — очутиться, наконец, на судне, на своем судне. Долговязый, по-видимому, обиделся на мое молчание.

— Я — вахтенный,— строго сказал он.— Если ты матрос Слюсарев, предъяви свою матросскую книжку. И скажи на милость, как ты попал на палубу? Трап снят,

а до «Шуки», которая стоит у причала, полтора метра чистой воды!

— Перепрыгнул,— сказал я, смеясь и протягивая ему свою мореходку.— Очень просто, взял да и прыгнул. Полтора метра — пустяк.

Опять он с сомнением посмотрел на меня, однако в мореходку заглянул больше для порядка и, возвращая мне ее, спросил совсем добродушно:

— Вещи твои где? А койку свою знаешь?

Я сказал, что вещи мои остались в управлении флота у сторожа, а спать в эту ночь буду так, без вещей. Он отворил дверцу, выходящую в коридор, под номером пять, и я прошел в свою каюту.

Кабюта была на две койки, с маленьким круглым иллюминатором над столом. На верхней койке спал, с головой завернувшись в одеяло, матрос, нижняя была свободна. С каким восторгом оглядывал я и железные стены с заклепками, и койки, похожие на ящики с низенькими бортиками по краям, и стол, на котором лежали шахматная доска, кист с табаком, колбаса, нарезанная на кусочки газеты, хлеб и сахар. Здесь несколько часов назад ужинали матросы и перед сном играли в шашки. В каюте было жарко и накурено, но самый этот запах крепкого табака, запах простого человеческого жилья мне был приятен.

— Твоя нижняя,— сказал вахтенный, кивая на койку. Он еще раз внимательно оглядел меня и повторил: — Слюсарев, Слюсарев... Ты, наверное, третья вахта, тогда вались, брат, спать. В восемь подъем, а сейчас уже четвертый.

Я сказал, что еще хочу выйти на палубу — подышать. Мы вышли с ним вместе, я — на палубу, а он, зевая и почесывая затылок через зюйдвестку, поплелся куда-то по коридору.

— Схожу к засольщикам,— сказал он.— Если что, кликнешь меня.

Все еще было темно, и первое, что я услышал, выйдя за дверь, это плаксивый, нудный Аркашкин голос, который в чем-то оправдывался и ругался на чем свет стоит. Стало быть, с катера их все-таки заметили — я вовремя успел удрать к себе на судно. На секунду у меня екнуло сердце: а ну как Аркашка сболтнет, что в шлюпке их бы-

ло не трое, а четверо? Неприятностей все равно не обобратиться: станут расспрашивать, почему не пришел на судно, как все, через портовые ворота, а пробирался черт знает как — водой, на шлюпке. То, что Аркашка попал в эту скверную историю, прямо надо сказать, меня ничуть не огорчало. Ему наука, думал я, больше не будет якшаться с такими красавцами, как этот лысый бродяга из соломенной горы. А Шкебина и Мацейса мне было определенно жаль. В конце концов, рассуждал я, вся их вина в том, что парни чересчур крепко загуляли.

Пока я раздумывал таким образом, где-то по железным ступенькам загромыхали шаги, и два голоса, переговариваясь между собой в темноте, стали приближаться к тому месту, где я стоял.

— Вахтенный! — громко сказал кто-то. Я не видел лица говорившего, но почему-то он представился мне непременно в капитанской фуражке и в шинели с золотыми нашивками на рукаве. Очень уж по-начальнически прозвучал этот окрик: «Вахтенный!» — Вахтенный! Где он тут?

Совсем близко вспыхнула спичка. Моя физиономия, освещенная слабеньким огоньком, выглядела, должно быть, очень растерянной.

— Куда вы пропали, вахтенный? — выговаривал мне в темноте начальнический голос. — Нельзя отлучаться с палубы. Никто не поднимался на судно?

Прежде чем я успел что-либо сообразить, я уже ответил:

— Нет, никто.

— Вы уверены?

Я был уверен в этом. Спичка погасла. Кто-то другой сказал, что в такой темноте сам черт ничего не разберет, надо садиться на катер и отходить. Я слышал, как оба они, путаясь в растянутых по палубе сетях, стали перелезать за борт, и сразу же застучал мотор. Долго я слушал его удаляющийся стук. Опять посветлело, и на рейде, освещенном луной, отчетливо был виден катер и позади него, на буксире, пустая маленькая шлюпка. Спутников моих увезли всех до одного, эта ночь для них плохо окончилась.

Долговязый матрос вышел на палубу. Он посмотрел вслед уходящему катеру и проговорил:

— Новый капитан порта. К нам не подходил, не окликал вахтенного?

— Нет.

— Говорят: строгий начальник.

— Вот как? — сказал я.

Глава IX

ШЛЮПКА, НАКРЫТАЯ БРЕЗЕНТОМ

Спал я, наверно, часа три, не больше. Меня растолкал незнакомый матрос.

— Через два часа отходим. Ребята говорят, у тебя вещи на берегу.

Спросонья я ничего не мог понять. Как так отходим, когда ночью об этом и разговору не было? Но по коридору гулко топали люди, на палубе пронзительно скрежетала лебедка, и, приподнявшись на своей койке, я увидел, что моего соседа и след простыл.

Спал я не раздеваясь, только снял сапоги. Через минуту я уже был на палубе.

Утро едва начиналось. Высокое розовое небо стояло над заливом, и всюду — на деревянных причалах, на палубах, на сетях лежал ровный белый снег. Судя по тому, как суетились на судах люди, принимавшие какие-то грузы, и как орали чайки, в самом деле мы собирались отходить.

За десять минут я успел сбегать на берег в управление флота и вернуться на судно с моим чемоданчиком. Долговязый матрос встретил меня как старого знакомого. Он подмигнул мне и сказал:

— Сопляков набирают в команду, сопляки в рубке стоят. Потеха!

Он намекал на меня и на кого-то еще, но я не понял его намека.

Я мог опять завалиться на койку: я был назначен не в третью, а во вторую вахту, и наша вахта начинала свою работу с шестнадцати; но мыслимое ли это дело — проспать свой первый выход в море! Конечно, я не пошел в каюту. В капитанской рубке взад и вперед расхаживал с рассеянным видом какой-то человек, сквозь стекла было видно только его насупленное лицо да фуражка с «капу-

стой». Что делалось на палубе, его, по-видимому, ничуть не занимало, но, когда я нечаянно попался под ноги матросам, тащившим какую-то кладь, он вдруг опустил стеклянное окошко и гаркнул на меня так, что я немедленно поспешил перебраться на дек, на верхнюю палубу.

Но и тут все время сновали люди. Мимо меня прошел Голубничий, скользнул глазами по моему лицу и не узнал. С ним рядом шагал молодой паренек с четырьмя золотыми нашивками на рукаве, на вид чуть ли не однолетка со мной, совсем мальчишка. Он слушал внимательно, что говорил ему на ходу Голубничий, как вдруг остановился и, перегнувшись через поручни, закричал вниз зазевавшегося у лебедки матросу:

— Трави, трави,— не видишь, что ли!

Я ничего не увидел и не понял, что значит «трави», но матрос, по-видимому, понял, потому что многопудовый ящик, болтавшийся на тросах у самого окна капитанской рубки, плавно пополз вниз.

— Самое главное в этом деле,— одобрительно пробасил Голубничий,— это хозяйский глаз. У тебя есть хозяйский глаз, зеленая лошадь. А возраст — это пустое обстоятельство.

Я удивился, что в эти часы суматохи и хлопот, связанных с отходом судна, нигде не видать нашего капитана. Спустя некоторое время, когда в каюте, выходящей на верхнюю палубу, стукнула дверца, я обернулся, ожидая увидеть усатого толстяка — капитана Сизова, который бочком вылезает из своей каюты и еще облизывает усы, засаленные тресковым жиром. Но из капитанской каюты вышел все тот же молодой паренек с золотыми нашивками на рукаве и, заложив руки за спину, нервно стал прохаживаться по мостику. Уже когда мы отошли от берега, мой давешний приятель мне сообщил, что капитан Сизов неожиданно захворал, что капитаном у нас назначен его старший помощник Николай Николаевич Студенцов и что новому капитану всего-навсего двадцать четвертый год от роду.

— Потеха! — сказал он, выложив мне все эти новости.

И вот наконец на палубу подняли трапы, и команда «Щуки», соседнего тральщика, к борту которого было пришвартовано наше судно, отдала стальные тросы. Прощальный салют — трехкратный гудок — оглушил меня.

В морозном утреннем воздухе эти гудки откликнулись далеко на том берегу залива. Палуба под ногами стала мелко-мелко дрожать: это заработали машины. В небольшой кучке провожающих на причале, среди которых были главным образом женщины — жены уходивших в рейс, — взмахнули платками и шапками. И я, хотя меня никто не провожал, тоже поднял руку и помахал шапкой на прощание. Причалы, замеченные снегом, мачты, пароходные трубы — все сдвинулось с места, медленно стало отходить назад. Все сильнее и сильнее дрожала палуба, все чаще звякал телеграф — сигнал в машинное, — и глухой голос вахтенного штурмана кричал в трубку: «Задний!.. Стоп!.. Тихий задний!..» Мы выходили на рейд.

Отсюда, с палубы уходившего судна, я впервые увидел город — весь разом. В розоватом утреннем тумане он на километры растянулся по берегу залива, вставал по склонам гор, воронкой спускавшихся к заливу, и не различить было, где на берегу кончались дома и где начинались корабли, доки, причалы. Внезапно с особой ясностью я понял, что это последний, самый северный город на Большой земле, что дальше на тысячи морских миль к востоку и северу — океан и ледяная пустыня. Эти многоэтажные каменные дома, обращенные своими балконами к снежным тундрам, — последние городские дома, которые мы видим, уходя в плавание. Этот поезд, совсем крошечный на расстоянии, который выбежал из-за мыса и вог уже остановился, — остановился оттого, что здесь кончается рельсовый путь, что дальше ему уже нет дороги. И каким огромным, каким многолюдным был этот город, выстроенный на краю полярной пустыни!

От бессонной ночи (те три часа, что я провалялся, не раздеваясь, на койке, не в счет) у меня болели глаза. Впереди мне предстояла вахта, но я все-таки не отходил от поручней.

Куда хватал глаз, тянулись пологие горы, изрезанные кое-где глубокими бухтами. Ни деревца не росло на этих горах, только в лощинах торчали какие-то редкие кусты. Стайки птиц, похожих на диких уток, иногда взлетали под самым носом судна и низко над водой уносились к берегу.

Два обледеневших тральщика прошли, обменявшись с нами гудками, а затем, раскидывая по обоим бортам

пенящуюся воду, стремительно пронесся узкий, серый, как вода, миноносец.

Мне стало холодно. Я все-таки решил пойти к себе в каюту, раздеться и выспаться за те часы, что мне остались до вахты.

Чудесным было мое пробуждение! Голова была ясная, свежая. Одним прыжком я соскочил с койки и первым делом заглянул в иллюминатор. Я увидел только ровную водную гладь да белокрылых морских птиц, которые, пролетая мимо, солидно вытягивали шеи, как будто бы хотели заглянуть ко мне в каюту.

Море! Пока я спал, мы вышли в море!

Пол под моими ногами слегка покачивался и оседал, как будто бы я стоял не на железном полу, а на зыбком, пружинном матрасе. Стена то медленно-медленно кривилась в сторону, и так же медленно кривилась в иллюминаторе четкая линия горизонта, то вдруг переваливалась обратно. Я потянулся за своими непромокаемыми сапогами, но они неожиданно отползли от меня в самый дальний угол каюты. Я протянул к ним руку,— они, точно играючи, слегка подвинулись ко мне. Я рассмеялся. «Кис-кис-кис»,— поманил я их пальцем, и послушные сапоги подползли прямо к моим ногам.

А на столе позвякивали кружки и блюда, черные и белые шашки ползали по столу, как тараканы, и все было чудесно. Ни слабости, ни головокружения не испытывал я от этой плавной, ласковой качки. Я быстро оделся и, выскочив из кубрика, потер лицо снегом — чистым, пушистым снегом, который лежал тут же на сетях.

Море было вокруг. Говорили, что оно серое, хмурое, некрасивое, это полярное море. Оно было голубым и зеленым, голубое и зеленое шло по нему полосами, и легкие весенние облака летели от горизонта навстречу нашему судну. Я перегнулся через борт, чтобы посмотреть, далеко ли мы отошли от берега. Отвесные черные скалы со снеговыми прожилками были еще отчетливо видны.

— Слюсарев! — крикнул мне парень в таком же, как у Аркашки, вязаном берете.— Возьмешь метлу, обметешь снег с ростр.

Я не знал, кто этот парень и что такое ростры, но тотчас же схватил метлу, валявшуюся на палубе, и опрометью полез вверх по трапу. Началась моя первая вахта.

— Горе мое, не туда! — захохотал он, указывая пальцем в противоположную сторону. — Знаешь, где шлюпки? Вон куда!

Теперь я подхожу к самому поразительному случаю, который произошел в этот день, первый день моего плавания. Я поднялся на остры, то есть на ту часть верхней палубы, где закреплены судовые шлюпки. Эта палуба, иначе называемая полуютом, реже всего посещается командой. Снег тут лежал гладкий и неистоптанный, и, когда я поднялся наверх с метлой, несколько чаек, отдохавших на поручнях, взлетели при моем приближении. Даже голоса матросов, работавших на палубе, сюда почти не доносились. Только каждую минуту тихонько позвякивал колокольчик: это лаг, измеритель хода нашего судна, отсчитывал за кормой пройденные футы и мили.

Я обмел снег с палубы и подошел к шлюпкам: их нужно было тоже привести в порядок. Я не думал ни о чем, кроме того, как бы поаккуратней и поскорей прибрать порученную мне палубу. События прошлой ночи, гульба, соломенная пещера и омерзительный ее хозяин, мои товарищи по разгулу, ночной побег — все это было далеко позади, все улетучилось из моей памяти.

И вот, когда я подошел встряхнуть брезент, которым были накрыты шлюпки, я увидел кисть человеческой руки, неподвижно лежавшую на борту.

В первую минуту я чуть было не бросился бежать с палубы, так испугала меня эта рука, высовывавшаяся из-под брезента. Она была бледная, с синевой у ногтей, точно неживая. Но я не побежал. Пересилив испуг, я приподнял брезент и увидел на дне шлюпки Мацейса и Шкебина.

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, лицами вверх. Шкебин слегка посапывал и жевал губами, так что не было никаких сомнений в том, что они не замерзли, а просто спали — глубоким, мертвецким сном.

Невозможно было понять, как они здесь очутились. Я припомнил все, что произошло после того, как я выскочил из шлюпки, скрывавшейся под бортом нашего судна. Припомнил Аркашкин голос, оправдывавшийся перед командой портового катера, опрос в темноте, шлюпку на буксире — и ничего, ничего не мог понять. Неужели эти двое переметнулись на судно следом за мной

и, когда катер подошел к борту, притаились, залегли в этой шлюпке и, обессиленные двухдневным разгулом, просто-напросто уснули? Но сколько же времени они спали здесь? Все это происходило часа в четыре ночи, а теперь пятый час дня: стало быть, они спали двенадцать часов подряд — все время, пока шла погрузка, пока тральщик шел по заливу к морю! Мертвецкий сон, если подумать, какой холод был ночью.

Осторожно я потянул Мацейса за руку. Он заворчал со сна, заворочался, потом сел. Неузнающими глазами смотрел он на меня, потом перевел взгляд на мачту, на птиц, носившихся за бортом, на плавно качавшийся горизонт, и я видел, как на его лице явно проступает безумие.

— Море? — сказал он, с трудом шевеля губами.

Я подтвердил:

— Море.

Он вылез из шлюпки. По-видимому, он все-таки здорово ооченел, проспав двенадцать часов на морозе, хотя под брезентом и толстым слоем снега никак нельзя замерзнуть. Проснулся и Шкебин, зевая вовсю и протирая кулаками глаза.

— Ты видишь? — крикнул ему Мацейс. — Видишь?

Он дул на свои ооченевшие пальцы, мям их, ломал и вдруг рассмеялся.

— О, черт! Никогда не слыхал ничего похожего! Так заснуть!

— Какое это судно? — спросил он потом.

Так же коротко я ответил:

— 89-й.

Никогда не забуду их лиц. С минуту они смотрели на меня, и у них дрожали и кривились губы. Потом Мацейс, пригнувшись, бросился бежать по палубе. Здесь висел круг, обыкновенный спасательный круг с надписью красной краской «РТ 89». Обеими руками он сорвал этот круг с крючка, смотрел на него пристально, долго, и я видел, что губы у него все еще дрожат и кривятся.

Я крикнул, тряся его за плечо:

— Мацейс!.. Мацейс!

Он не слушал меня. Он отшвырнул круг, вцепился в поручни и так стоял, глядя на черный скалистый берег, от которого мы уходили все дальше и дальше.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

М О Р Е

Глава X

НА КРАЮ СВЕТА

Метель прямо с ног валит, а солнце ясно. Тучи, набегавшие с моря, едва-едва задевают его своими дымящимися краями, и снег валится золотистый, и тучи тоже золотисто-рыжие, легкие, насквозь пронизанные низким весенним солнцем.

Весной чуть ли не каждый час меняется на Мурмане погода. Прокинуло снежок — снова голубеет небо. Ночью высокая заря, прозрачная и зеленая, как морская вода, стоит над тундрами. Загораются звезды. Неярко они светят: с каждым сутками все ширятся по небу вечерние зори. Скоро солнце только спустится на гребень береговых гор и уж не зайдет, так и будет сиять по ночам — низкое, прохладное, в золотисто-розовых туманах.

Но это — летом, а ранней весной чернеют к вечеру

горы, глубоким и прозрачным, как морская вода, становится небо. И какие чудеса творятся на нем в эти ясные апрельские ночи! Вдруг от края до края раскинется по небу легкое облачко. Взглянешь — и кажется, что облачко дышит, ширится, набухает светом. Вот оно уже раскинулось на полнеба, колыхается, как полог на ветру; широкие лучи тянутся к нему из-за горизонта, сталкиваются между собой, шарят, как пальцы, по небу, а светозарное облачко-полог свивается в кольца, дрожит и трепещет от их прикосновений. Тускнеют его края. Меркнут лучи, уходя за горизонт. Еще что-то дымчатое, светлое вздрагивает в ночном небе — и вот все пропало, только мерцают тусклые звезды.

В апреле на Мурмане не часты северные сияния, но, когда заря не сходит с неба за полночь, они бывают особенно прекрасными. Впрочем, рыбаков-поморов не радует их игра. Сполохи играют к морозу и ветру — это древняя и верная примета.

Рыбачьи становища с моря не видны, они попрятались от северного ветра в глубокие расселины береговых гор: губы — по-нашему, фиорды — по-норвежски. Большая морская волна туда не заходит, бесчисленные корги (риффы, подводные скалы) и егры (отмели) защищают с моря эти узкие, глубоко врезавшиеся в берег заливы. Чуть крепче ветер — рыбачьи боты уже убегают с промысла в губу. Там тихо. Там внезапно налетевший шквал не страшен рыбакам. Мотор и парус быстро несут их к берегу, а на берегу, на песчаной косе, раскинулись тесовые домики, дружно дымят трубы, сети сохнут на заборах, красный флажок полощется по ветру над брюгой (пристанью). Когда позади уже бушуют и ревут буруны, хорошо с качающейся палубы увидеть дымок над крышей своего дома.

В апреле становища еще в снегу. Некоторые домики поприземистей замело вровень с крышами. Идет по улице человек, а со стороны видать одну ушастую шапку, бороду да трубку. Потом пробегут, покачиваясь над сугробами, две пары ветвистых кустиков: это упряжка оленей возит тес от пристани на стройку какого-нибудь нового дома, — проскрипит под полозьями нарт снежок, и снова тишина, снег, несмолкающая переключка чаек.

Галдят на перемене школьники, гурьбой сбегая с

крыльца прямо в сугробы. По речке, впадающей в губу посреди становища, плывут с тихим звоном льдины; иной раз проплывет, развалившись на льдине, молодой тюлень, оглянет любопытными глазами рыбаков, которые возятся возле брюги на своих ботах — смолят, строгают, конопатят, — и бултых в воду! А чуть подальше отойти от брюги — берег лежит пустынный, скалы все ближе и ближе подступают к воде. Они уступами громоздятся друг на дружку, заходят в воду и лежат там черные, голые, похожие на стадо каких-то невиданных окаменелых чудовищ. Тут под боком у рыбаков пропасть всякого зверья и птицы. Один раз из домика, где живет секретарь сельского Совета, вдруг грянуло подряд два выстрела, а затем, без шапки, без пальто, с крыльца скатился сам секретарь, кинулся на берег и грудью повалился прямо в воду. Повыскакивали соседи, а он, мокрый с головы до пят, орет не своим голосом: «Выдру взял, во какая красавица!» Оказывается, на бережок действительно вышла выдра поискать мелкой рыбки, которая в малую воду застревает между камнями. Секретарь ее и положил прямо из форточки.

К вечеру мореходы возвращаются с моря. Натоплены бани, жара в бревенчатых домиках. В одном таком доме, ставленном не больше года назад, так что сосновый тес еще сохранил лесной смолистый запах, к вечеру хозяйка накрывает стол холщовой скатертью с прошвами, вынимает из печи большую глиняную миску ухи. В просторной комнате светло и тепло, цветные половики проложены по полу, герани и фикусы стоят на подоконниках. Забежишь сюда с ветра — и кажется, будто ты не у Ледовитого океана, на краю света, можно сказать, а в обыкновенной квартирке обыкновенного поселка где-нибудь под Псковом или Череповцом, только что на гвоздике висит высушенный краб да связка акульих зубов — украшение, которого не встретишь под Псковом. А так — все чисто, все прибрано: видно, что люди тут живут не кое-как, лишь бы передохнуть от промысла до промысла, но живут прочно, оседло, как говорится, «полностью». В углу прибита полка с книжками, на стенах развешаны фотографии и картинки, которыми бот «Книжник» — плавучая канцелярская лавка с парусом и мотором — круглый год торгует по всему побережью. На фотографиях сняты боро-

дате мореходы-поморы и женщины в темных платьях с косынками, откинутыми на плечи, чтобы были видны гладкие, зачесанные на затылок волосы; тут же красуются два молодца в красноармейской форме (надо полагать, хозяйские сыновья или племянники), стоящие с шашками наголо на фоне каких-то дворцов необычайной красоты, кипарисовых аллей, озер и фонтанов, причем на озере, вместо лебедя, плавают четырехтрубный дредноут. Картин по стенам немного, и во всех рыбацких квартирах они одни и те же: на одной изображена «Вакханалия» знаменитого голландского художника Рубенса, на другой — «Запорожцы, пишущие письмо турецкому султану». Под «Вакханалией» сидит на лавочке сам хозяин в тугом свитере, в сапогах выше колен и ест уху с «балкой» — тресковой печенкой. Он закусывает и разговаривает с гостями.

Что рассказывает гостям **Александр Андреевич Кононов**

Перед самой войной он работал «корщиком», то есть старшим, на шнёке у купца Епимаха Могучего.

Епимах Могучий был самый богатый купец на всем Мурманском побережье. Отец его умер неизвестно где и когда, мать служила прислугой у одного промышленника, и ее задавило насмерть моржовой шкурой, сорвавшейся с «козла»¹. Сироту взял на воспитание добрый старичок, по фамилии Могучий, проживавший на Семи Островах, а когда он умер, то оставил своему воспитаннику в наследство небольшой капитал. Епимах, уже пришедший в возраст к этому времени, купил на завещанные ему деньги несколько норвежских ёл, быстроходных парусных ботов, и вот с этих-то ёл и началось его богатство.

Дело в том, что в прежнее время поморы ловили треску только на яруса (крючки с наживкой), другой снасти они не знали. Между тем случается так, что треска ходит у западных берегов, а на западных берегах как раз нет ни песчанки, ни мойвы — мелкой рыбешки, которой наживляют снасть. Или наоборот: треска гуляет на

¹ Деревянная установка для просушки шкур морских зверей.

востоке у Иоканьги, а песчанка и мойва — в Ура- и Ара-губе. Епимах стал покупать наживку там, где она есть, и продавать поморам там, где ее нет; он на этом деле так нажился, что через несколько лет у него уже появились свои пароходы, и магазины, и фактории.

В четырнадцатом году Александр Андреевич Кононов проживал, как и все мореходы-поморы, под Архангельском в беломорских посадах, а с весны ходил промышленя за семьсот верст на Мурман.

В конце июля он и его трое камратов¹ вернулись с промысла в становище. День был трудный, и все они очень устали. Прежде чем лечь отдохнуть, следовало бы, по заведенному порядку, ошкерить² рыбу и сдать ее купцу, но они решили все-таки сначала поспать, и Кононов, как старший, сказал камратам:

— Повалитесь.

Стан³ у них был от купца — один на шестнадцать человек. Повалившись по нарам на свои тулупы, они все разом уснули.

Ночью Александра Андреевича разбудил тревожный людской говор под окошком избы. Люди не галдели — наоборот, говорили тихо, приглушенно, будто боялись, чтобы кто-то не подслушал, о чем они говорят. Корщик выскочил за порог, спросил, что случилось.

— Беда, — ответили ему. — Война объявлена. Уже удирают люди: кто — в Бело-море, кто — по губам. Надо и нам удирать.

— У меня рыба в шнёке навалена, — сказал Александр Андреевич. — Куда же я могу деться?

Больше уже никто не ложился спать в эту ночь, и все — всё становище, все рыбаки — стояли на брюге, поглядывая вдаль, туда, где в расселине между скалами бледной, отраженной зарей, всю ночь не сходявшей с неба, светилось море. Вполголоса передавали вслух о том, что рейсовый пароход «Николай» не дошел до Колы, что будто бы у острова Еретик за ним погналась неизвестная

¹ Товарищей. В говоре поморов сохранилось много иностранных слов с тех давних времен, когда на Мурмане хозяйничали главным образом иностранцы.

² Выпотрошить.

³ Временное (летнее) жилье.

миноноска, и еле-еле «Николай» убежал от нее в губу. Потом гурьбой подходили к телеграфной конторе, с опаской заглядывали в окошко. Там за столом вокруг перепуганного телеграфиста ночь напролет сидели купцы, угрюмо уставившись на бездействовавший телеграфный аппарат.

В середине ночи Кротов, хозяин главного магазина в становище, вышел к рыбакам и сказал:

— Вот что, мужички, если к завтраму не придет телеграмма, что Англия или кто там другой закроет ход в наше море, тогда, значит, точка. Подгоняйте тогда по полной воде свои шнёки, забирайте провизию, муку, снасть, что хотите.

Никто не обрадовался даровой провизии, всем только стало еще страшнее. Если уж купец говорит такие слова, стало быть, дело совсем пропащее. Люди с тоской поглядывали на бледную, отраженную зарю, на голые скалы, обступившие становище, и было у них такое чувство, как будто бы все они уже попались в плен, и некому их защитить, и никогда им больше не видать своих семей, оставшихся далеко от них, в беломорских деревнях и посадах. Кто защитит их тут, кучку русских мужиков-мореходов, забравшихся со своими карбасами на край света? Ближайший солдат, можно сказать, за тысячу верст; ни городов, ни железных дорог нет вокруг — хоть голыми руками бери эти берега со всем их народонаселением.

Светало. С берега потянул ветерок. То один камрат, то другой, поскидав рыбу на берег, снимал с якоря свою шнёку и убегал под парусом в море. Круглым путем через горло Белого моря отчаявшиеся рыбаки пытались пробраться к родным местам, и несколько дней спустя в шторм у Святого Носа половина их погибла.

Прошло еще время. Рыбу купцы не покупали; печищенная, она лежала в шнёках. На промысел никто не выходил. По-прежнему купцы сидели на телеграфе, а рыбаки бродили по берегу, угрюмые, потерявшие себя люди. Многие напились пьяными и спяна плакали.

Вдруг под вечер из телеграфной конторы выбежал Елимах Могучий, и по лицу его было видно, что наконец пришли хорошие новости.

— Англия объявила войну немцам! — крикнул он. — Можете промышлять.

Александр Андреевич спросил у купца: раз Англия вступилась, то, стало быть, тресочку он все-таки у него примет? Епимах объяснил, что тресочку-то он примет, но только нынче будет платить не по рубль восемьдесят за пуд, а по рубль пятнадцать. Время все-таки ненадежное, сказал купец, война, и хоть Англия и вступилась, но как-никак он рискует своими деньгами. Рыбаки обалдели от такой цены, однако делать было нечего. Через час они уже выходили с ярусами в море, ругая на чем свет стоит и войну, и Англию, и купца, и свое рыбацкое счастье.

А через четыре года, когда последние белогвардейцы удирали из Колы на английских крейсерах, Епимах Могучий запряг в кибитку тройку коней. От самого Архангельска по всему поморью промчался он к норвежской границе, и никто не видел его лица, потому что с четырех сторон он занавесил свою кибитку коврами и шальями, чтобы спрятаться от людского глаза. Сам Александр Андреевич этой кибитки не видал, жена его видела и старший сынишка, который как раз шел с матерью по дороге, когда купец стрелой промчался через их посад. Мальчик бросил было вслед ему камень, но не попал: так гнал купец свою тройку в чужую страну...

* * *

Гости посмеялись рассказу Кононова о том, как промышленники даже войну сумели обратить к своей выгоде и как беззащитен был народ в этом дальнем углу Российского государства. Гостей было трое: приезжая из Ленинграда девушка, которая познакомилась с Кононовым на пароходе и временно проживала у него в свободной комнате, и двое краснофлотцев. Никто ничего не сказал по поводу рассказа, все только невольно взглянули в окно, выходявшее на губу. Там неподалеку от берега подряд лежали четыре длинных серых рыбообразных тела, похожих на спящих китов или морских ящеров, чудом сохранившихся в этих холодных северных водах. Ночью в губу зашла и стала против становища на якорь флотилия подводных лодок.

Приближались сумерки. Гости, краснофлотцы-подводники, распрощались с хозяевами: им было пора возвращаться на борт. Александр Андреевич пошел их прово-

дять. Вечер был ясный, теплый, но над губой тревожно вились и перекликались чайки.

— Чайка колокольню вьет,— сказал Кононов.— Ветерок будет ночью.

Краснофлотцы сказали, что ветер для них ничего не значит. Поднимется зыбь— пойдут на погружение, заберутся на глубину, а там даже в шторм тишь да гладь. Они поинтересовались, отчего, собственно говоря, товарищ Кононов решил, что будет ветер. Судя по сигналам, вывешенным возле брюги на мачте, погода намечается ровная. Кононов посмотрел на сигналы, нахмурился, но сказал только то, что птицы не врут.

Как только шлюпка с краснофлотцами отвалила от брюги, он постучался в дверь одноэтажного домика, в котором жил портовый надзиратель. Внутри было душно и накурено. Окурки, рыбы кости и корки хлеба валялись по полу: видно было, что комнату эту не подметают сутками. Сам хозяин лежал на кровати голый до пояса, однако в болотных сапогах, заскорузлых от грязи. Его плечи, руки, хилая грудь— все было густо разукрашено рисунками и надписями большей частью самого неприличного содержания. Пониже груди, на месте, называемом «под ложечкой», орел уносил в когтях девицу с распущенными волосами, и вдоль ребра шла надпись: «До свиданья, Нюрочка»; на плечах главным образом были изображены якоря и рыбы, а против сердца красовалась такая пакость, что даже и сказать нельзя. Живое человеческое тело напоминало поганый забор, на котором упражнялась в остроумии компания хулиганов.

— Товарищ Егешко,— сказал Кононов,— какую погоду передают на ночь?

Портовый надзиратель даже головы не повернул. Видно было, что человеку скучно и тошно до чертиков.

— Сводка на столе,— буркнул он.

Кононов взял со стола телеграфную сводку.

— Ост-зюйд, зюйд-зюйд-ост, семь-восемь баллов¹, облачность, снегопад...

Он вздохнул и отложил телеграмму. Егешко лежал, уставившись в потолок.

— Семь баллов,— точно про себя сказал старик,—

¹ Направление и сила ветра.

это плохой ветер. Ботам выходить из губы в такую погоду нельзя.

Кровать даже не скрипнула.

— Почему, штурман, сигналы в порту не переменыны? — обернувшись к неподвижно лежавшему на кровати Егешко, резко сказал старик. — Людей погубить хочешь?

Егешко вскочил. Синие рыбки и якоря прыгали у него на плечах, девица с распущенными волосами и «До свиданья, Нюрочка» змеей извивались между ребер, когда он, кашляя, натягивал через голову рубашку и все никак не мог найти рукав. Торопливо он бормотал какие-то оправдания, говорил, что телеграмму принесли только четверть часа назад, а к ночи все равно никто не пойдет на промысел. Когда наконец из ворота рубашки высунулась голова с взлохмаченными волосами и забормотала с виноватой улыбкой, что Александр Андреевич волнуется совершенно напрасно, — Кононова уже не было в комнате.

Глава XI

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ПЕРЕПРАВЕ

На «Ястребе», рейсовом пароходе, с Лизой разговаривал старик помор. Сразу же выяснилось, что Лиза направляется именно в то самое становище, где рыбачит старик, что знакомых в этих местах у нее нет и, стало быть, остановиться ей негде. Само собой получилось так, что прямо с парохода Лиза вместе со стариком отправилась к нему на квартиру, а когда увидела цветные половики, накрахмаленные прошвы, «Вакханалию» и «Запорожцев» на бревенчатых стенах, поужинала ухой с «балкой», то и сама не захотела уходить. Антонина Евстахиевна Кононова, жена хозяина, долго ахала и качала головой, узнав, что ее молоденькая гостя намерена через несколько дней отправиться на оленях в тундру, и уговаривала Лизу поесть еще и еще горячей ухи.

А дальше все пошло совсем не так, как предполагала Лиза. Подули теплые западные ветры, по становищу побежали ручьи. Иван Сергеевич — саам-колхозник, который должен был отвезти Лизу на погост¹, отстоящий от

¹ Погостами на Севере называются селенья.

побережья километров на полтораста,— заявил, что по такому снегу оленям уж трудно бежать, и теперь надо ждать заморозков либо подниматься на карбасе по реке, когда верховья очистятся от ледяного покрова. Наступала весна — пора «с гор вода», долгие дни снеготаяния, когда вглубь полуострова нельзя забраться даже на самолете. Все взрыхлено, все размякло — ни на поплавах, ни на лыжах, ни на колесах нельзя приземлиться; отдаленные погосты и поселки неделями, а то и месяцами бывают отрезаны от побережья влажной полярной весной.

Старик Кононов с утра уходил на промысел, внук в школу, Антонина Евстахиевна хлопотала по хозяйству. Лизин день заполняли поиски людей, нужных для экспедиции, — лодочников и рабочих — да писание писем в Ленинград. Когда делать было нечего, она уходила на песчаный берег губы и дальше, в скалы, подолгу сидела там и следила, как чайки хватают мелкую рыбу, застрявшую в отлив на отмели. Иногда она брела следом за убывающей водой прямо по дну. Розовые и белые раковины-жемчужницы валялись на песке, разбитые прибоем. Потом в эти одинокие прогулки по берегу она стала брать ружье, мечтая убить песка или выдру, но когда Кононов, узнав о ее охотничьих замыслах, посмеялся и сказал, что вот он полвека скитается по этим берегам и ни разу не видел песцов своими глазами — такая это хитрая зверюга, — Лиза с досады расстреляла по глупышам с полдюжины патронов и на том успокоилась.

Несколько раз, когда она бродила по становищу, ей попадался навстречу невзрачный на вид человек в шинели со штурманскими нашивками. Вскоре при встрече с ней он, еще шагов за двадцать, начинал скалить зубы и, поравнявшись, прикладывал руку к козырьку. Кто этот штурман, Лиза не знала. Неясно ей помнилось, что видела она его еще при посадке на пароход, но весь путь до становища, по-видимому, он не вылезал из своей каюты. Александр Андреевич как-то шел с ней на пристань и, заведя улыбающегося штурмана, очень сухо кивнул ему головой. Лиза спросила, что это за человек. Кононов ответил, что это новый портнадзиратель Егешко, пустой, по его мнению, человек и к тому же заливающий пьяница, которого он и на пушечный выстрел не подпустил бы к рыбакам, будь на то его воля.

— Душа из него вон,— сказал Кононов,— тут пришла сводка, что ночью ожидается ветер, а он даже не потрудился сменить сигналы на мачте! Шутка сказать, ведь это под какой риск можно подставить людей в рыбацком деле.

В том, что новый портнадзиратель на самом деле дрянной и пустой человек, Лиза очень скоро сама убедилась. Она проходила берегом губы и остановилась еще раз полюбоваться зрелищем, открывающимся здесь у самого устья речки. Множество рыбацких ботов с маленькими мачтами, с маленькими шлюпками на кормах стояло возле брюги, другая часть их, зайдя в пролив выше по реке на мелководье, лежала на боку с обнаженными и обсохшими днищами. На брюге со скрипом крутилось подъемное колесо: там разгружали боты, пришедшие с моря; вокруг стояли приземистые сараи и домики, до самых крыш заметенные снегом, и эти карлики-дома и этот лесок корабельных мачт, маленьких, с маленькими флажками на клотиках¹, выглядели как самый взаправдашний морской порт, только уменьшенный во много-много раз, словно его построили лилипуты. Взад и вперед мимо пристани сновали упряжки оленей, везли в кооперацию муку, вино, мыло, спички. С трубкой в зубах на оленях проехал Иван Сергеевич, важно сказал: «Здравствуй, Лизавета»,— а Лиза все стояла и смотрела на этот карликовый морской порт, прислушивалась к веселому треску льдин, стуку топоров, скрипению колеса на брюге.

Портовый надзиратель появился на пристани и поначалу не заметил Лизу. Он стоял, растопырив щуплые ножки и плавно пошатываясь на ветерке.

— Моряки! — потешался он, указывая пальцем на рыбаков, которые, по колено в воде, смолили и конопатили днища своих суденышек, лежавших на отмели.— Трескоеды! Какие вы моряки? Моряк — это кто тропик Рака и Козерака прошел...

Южный тропик, как известно, называется тропиком Козерога, а не Козерака, и кто-то из молодых ребят поправил завравшегося портнадзирателя, но тот, по-видимому, был пьян, и до него это не дошло. Он продолжал юродствовать перед рыбаками, передразнивая их северный говор:

¹ К л о т и к — верхняя часть мачты,

— Трещоцки не поел — голоднехонек! Вали на тацку боцку трещоцки!

Лизе стало противно, она повернулась, чтобы уйти. Тут он ее заметил. Он приложил пальцы к козырьку и, осклабившись, заступил ей дорогу. Он сказал:

— Гуляете? Можьно, и я буду с вами гулять?

— Нет, — отрезала Лиза.

Он ничуть не смутился, напротив, подошел еще ближе. Стоило Лизе взглянуть прямо в глаза этому улыбающемуся хлипкому человеку, стоявшему перед ней, как он начинал смотреть куда-то мимо ее лица — на крыши, на корабельные мачты. Но, отвернувшись в сторону, Лиза чувствовала на себе его пристальный взгляд, больше того — чувствовала, как взгляд этот обходит, точно обшаривает ее лицо: вот прополз по щеке, вот задержался на губах и уже скользит ниже, по подбородку. Это было очень противно. Ни слова больше не сказав, она повернулась к штурману спиной и пошла к дому.

— А у меня шямпанськое есть! — крикнул ей вслед Егешко. — Очень прошю пожяловать ко мне на бокал!

Эти глупые разговоры, улыбки, пристаивания повторялись изо дня в день, и Лиза начала уже не на шутку сердиться. Но тут случилось такое, что портовый надзиратель неожиданно стал чуть ли не героем в становище.

Лизе понадобилось попасть на ту сторону губы, где, по словам Кононова, проживал один старичок, который охотно нанялся бы к ней в экспедицию лодочником. На ту сторону губы попадали так: у пристани садились в шлюпку, переправлялись через речку, дальше по берегу шла пешеходная тропинка. Высокая утренняя вода начала уже спадать, когда Лиза подошла к пристани. В устье реки уже обнажились подводные камни, сваи, вбитые у пристани, выступали из воды, на четверть покрытые зеленой слизью. На берегу было безлюдно, боты ушли в море, даже перевозчик куда-то пропал. Его маленькая шлюпка и два весла лежали на песке.

Кононов как-то говорил о том, что в отлив нет никакой возможности переправиться на веслах через устье реки. Стремительный спад воды выносит шлюпку в губу, и бывали случаи, что чудаков, рискнувших на переправу в это неподходящее время, боты перехватывали в горле губы,

у самого выхода в море. Небольшой шквал — и дело для них кончалось совсем плохо.

Лиза прикинула глазами расстояние до другого берега. Речка была вовсе не широка, на взгляд переправа была, самое большее, пятиминутным делом. Глядя на битый лед, неспешно уплывавший в губу, трудно было поверить в эти рассказы о шлюпках, унесенных в море. Лиза подобрала весла и столкнула шлюпку на воду.

Сваи и дома на берегу сразу же сдвинулись в сторону: стало быть, шлюпку подхватило течением. Этого Лиза ждала. Она решила пересечь речку наискосок и пристать к берегу как раз против пристани.

С первыми же ударами весел, рассказывала она потом, у нее сердце замерло. Она не хотела верить, она уговаривала сама себя, что это пустяк, что вот сейчас ее вынесет из устья в губу и там, по спокойной воде, она спокойно доберется до берега. До боли в плечах она налегала на весла, жмурилась, открывала глаза и опять видела, как дома, пристань, сваи — все, все отходит в сторону, как, удаляясь на полметра от берега, она на десяток метров неуклонно приближается к губе. Казалось, что весла загребают не воду, а воздух, что они гнутся в руках, как хлыстики, а между тем какие-то непонятные силы, мертвой хваткой ухватив шлюпку за киль, тянут ее прочь из реки в широкое водное пространство. Черная гряда камней, через которую с журчанием перекачивалась вода, вынырнула из-под правого борта. Это был риф, корга у самого выхода из реки. Берег, обставленный домами и сваями, оборвался. Длинная песчаная коса, уходящая к дальним скалам, открылась за ним. Шлюпка была в губе.

Лиза видела ребят, бродивших вдоль берега; если бы закричать, они бы услышали ее крик. Но кричать почему-то было стыдно, и вместо этого она еще раз попробовала уговорить себя, что ничего страшного не происходит, что сейчас она повернет шлюпку к песчаной косе и не торопясь, спокойно догребет до мелководья. В самом деле, ей стало гораздо спокойней, когда, заработав веслами, она повернулась к берегу спиной. Чтобы совсем успокоить себя, она стала отсчитывать удары весел, однако, не досчитав и до тридцати, не выдержала и обернулась.

— Этого не может быть, — сказала она вслух. — Не может этого быть.

Она гребла прямо на берег, а фигурки ребят, бродивших по отмели, уменьшились чуть ли не вполовину, и пристань и дома — все точно отскочило от нее еще дальше. Подняв весла, уже не сопротивляясь непонятной силе, которая уносила ее из губы в открытое море, смотрела она на берег. Крошечные фигурки ребят, как-то смешно размахивая руками, суетились у самого края убывавшей воды; один — мальчишка в больших сапогах, это Лиза отчетливо видела — забежал в воду чуть ли не по колени и тотчас же опрометью кинулся обратно. Ей показалось, что ребята кричали «те-тя! те-тя!», но их беспорядочная суетня и этот жалобный крик не доходили до ее сознания. Медленно она скользила глазами по удалявшимся домам, крышам в снегу, дымкам над крышами, потом опять взглядела на ребят и удивилась тому, что они куда-то исчезли все до одного, потом увидела пристань и на пристани маленького человечка. Без шапки, в расстегнутой куртке, так что даже на расстоянии была видна сорочка с распахнутым воротом, он метался по брюге взад и вперед, а затем одним прыжком перескочил на берег и тотчас же очутился в шлюпке.

Лиза услышала крик:

— Иду! Иду!..

Только сейчас она поняла, что это кричат ей, что с пристани ее заметили и идут к ней на помощь. Снова она схватилась за весла, но руки не слушались. Да и незачем было выбиваться из сил: шлюпка подходила, была совсем рядом. Человек, сидевший на веслах, обернулся.

— Иду! Иду! — кричал он.

Лиза увидела реденькие волосики, торчавшие во все стороны, тощую шею, высовывающуюся из воротника, умильную улыбку и узнала портового надзирателя Егешко.

Он приказал ей ухватиться рукой за корму его шлюпки и так держать, пока он будет грести.

— Глупенькая девочка, — бормотал он, налегая на весла, — вот какая глупенькая. Ну ничего, ничего, сейчас доставим девочку на берег в полном порядке.

Лиза закрыла глаза. Страхи окончились, сейчас этот смешной штурман доведет ее шлюпку до берега, и все будет хорошо. Она даже не сердилась на то, что он называл ее «глупенькой дсвочкой» и говорил ей: «Непормально,

милая барышня, гулять одной. И зачем? Юрий Семеныч Егешко всегда готов вас провожать».

Голос был ласковый, под веслами равномерно всплескивалась вода. С каждым ударом весел борта вырывались у Лизы из рук, и ей уже становилось трудно держаться за шлюпку. «Скоро ли?» — подумала она и снова приоткрыла глаза — посмотреть, близко ли берег.

Перед ней сидел щуплый человечек в сорочке и распахнутом кителе. Он тяжело загребал веслами, смеялся и болтал какую-то чепуху. А пристань и дома отошли еще на полкилометра, даже людей уже нельзя было разглядеть на берегу. Лиза обернулась назад. В расселине между скалами синела неширокая полоса моря с белыми бурунами в горле губы.

— Девочка опять стала бледненькой? — глядя ей прямо в лицо, улыбался и бормотал Егешко. — Сейчас конец. Чего вы боитесь?

— Неужели вы не видите, — шепотом сказала Лиза, — что нас выносит в море?

Он даже не покосился в ту сторону. Он смотрел ей в лицо с той же неподвижной усмешкой и все твердил: «Сейчас, сейчас...»

У Лизы мелькнула мысль, что в лодке сидит сумасшедший, и больше она ничего не помнит.

Моторный бот «Форель», возвращавшийся с промысла, подобрал их обоих в самом горле губы. Пологая волна высоко подбрасывала обе шлюпки, но не захлестывала через борта, — только поэтому они и уцелели. Лиза лежала на дне, уткнувшись в руки лицом, Егешко кружился вокруг и все пытался ремнем зацепить ее шлюпку на буксир. Когда рыбаки поднимали их на борт, он, веселый, размахивал руками и без умолку болтал, что помощь, в сущности, им не нужна, что он и сам бы очень просто выбрался на берег и все это — напрасное беспокойство. К общему удивлению, при всем том он был совершенно трезв.

В этот день по становищу только и было разговоров о том, как приезжую девушку унесло отливом в губу и как портовый надзиратель погнался за ней на шлюпке. В становище его недолюбливали, с первого дня приезда он пришелся не по вкусу рыбакам, но тут случай был такой, что хочешь не хочешь, а о человеке приходилось говорить с уважением. На маленькой шлюпке выйти в отлив

з губу, спасая глупую девчонку,— отважиться на такой поступок мог только по-настоящему крепкий человек. От щуплого, вечно пьяного портнадзирателя никто не ожидал такой прыти, поэтому, обсуждая этот случай, все испытывали некоторую неловкость. Одним было просто неловко за прошлые свои нападки на него, другие, вынужденные согласиться с тем, что парень в самом деле показал себя молодцом, втайне, про себя, не знали, что о нем и думать.

Меньше всего об этом говорила и думала Лиза. Когда ее, бледную и ослабевшую от пережитого страха, привели на квартиру Кононовых, ей вообще было не до того. Антонина Евстахиевна, увидев свою гостью в таком состоянии и узнав о том, что случилось, рассердилась ужасно, просто из себя вышла. Она велела ей немедленно лечь в постель, зачем-то укутала ее двумя ватными одеялами и с этого самого часа раз и навсегда перестала называть на «вы».

А герой пропал на весь день. Стучались к нему,— он не отпирал и не подавал голоса. Закинув руки под голову, неподвижный, он лежал на кровати, и только физиономия его все время менялась самым странным образом. То вдруг ее кривило от бешенства, и, зажмурив глаза, он кусал себе губы, то вместо бешенства на лице его появлялось отчаяние, и воспаленные глазки слезились и краснели еще больше, потом мгновенно высыхали слезы, и крупные капли пота проступали у него на лбу.

Подошли сумерки, совсем стемнело, крысы подняли возню на полу, а он все лежал так — то трясся, то всхлипывал в темноте, то скрипел зубами.

Глава XII

ПЛОХИЕ ПРИМЕТЫ

Длиннее становились дни, ярче светило солнце, камни и мхи обнажились на проталинах. Но чуть подальше от побережья тундра еще была в снегу. Нечего было и думать о том, чтобы двинуться из становища вглубь полуострова. Лизе оставалось одно — ждать, пока не очистят от льда верховья реки.

После происшествия на переправе она два раза встречала портового надзирателя. Он попался ей возле почты, сухо кивнул головой и хотел было проскочить мимо. Она

сама его окликнула. Необходимо было поблагодарить человека, который ради нее пошел все-таки на такой риск. Егешко с достоинством сказал несколько слов, полагающихся в этих случаях, о том, что все это не стоит благодарности, что каждый, по его мнению, поступил бы точно так же. Он ушел, оставив Лизу в полном смущении. Этот суховатый вежливый моряк никак не походил на того взъерошенного человечка, который, сидя в шлюпке, смотрел на нее остановившимися глазами и, в то время как их уносило в море, хихикал и бормотал какую-то непонятную чепуху.

Следующий день был ветреным и пасмурным. Лиза вышла на берег. Волны грядой бежали по отмели, ветер рвал с них белые гребешки и далеко уносил прочь. Пусто было на берегу, даже птицы куда-то попрятались.

Незаметно подошел Егешко и сказал:

— Все скучаете? Мне вот тоже очень скучно.

Лиза нахмурилась. Это начало разговора было ей хорошо знакомо. Однако на этот раз Егешко держался необычайно почтительно и робко.

— Да,— ответила Лиза,— так глупо получается — не могу ехать дальше. Дорог нет, да и лодочника все никак не найти.

— Я здесь как на острове,— не глядя на нее, продолжал Егешко.— Живу совершенно один. Это ничего, когда есть о ком думать. У меня была девушка в Ялте. Прежде, когда я уходил в плавание, я всегда думал о ней. А теперь она вышла замуж, и у меня никого нет. Я совершенно одинок.

Лиза молчала, удивленная этой внезапной откровенностью.

— А вы... у вас кто-нибудь есть? Вы думаете о ком-нибудь?

Егешко добавил, что пусть она простит его вопрос. Они — люди чужие друг другу, встретились и разойдутся, как корабли в море.

— Или как эти волны,— добавил он грустно, указывая пальцем на волны, белой пеной растекавшиеся по отмели.

Лизу рассмешил его вопрос и цветистое сравнение с кораблями и волнами, но в то же время ей не хотелось обижать портового надзирателя. Очень уж он был печален. Улыбнувшись, она ответила, что нет, думать ей тоже

не о ком, да это ее и не огорчает. Ей в дорогу пора. Нашел бы он ей лодочника — вот что.

Мертвая гага, выброшенная морем, валялась на песке. Егешко перевернул птицу носком сапога. Перышки на ее груди были окровавлены, ястребы или поморники выклевали ей сердце.

— Судьба тоже так ранит людей, — сказал он, тыча сапогом в окровавленную птичью грудь. — Но, можете себе представить, люди живут, и о к р у ж а ю щ и е даже не замечают того, что делается у них внутри.

— Нашли бы мне лодочника, — сказала Лиза.

Все в этом человечке было смешно, даже походка. Глядя, как он по-птичьи переставляет и волочит ноги, она посмеялась ему вслед. «Думаете ли вы о ком-нибудь?» — спросил он ее. Мельком ей вспомнился ее спутник в поезде, мальчишка, который ни с того ни с сего попросил взять его в экспедицию. Как он запинаясь и краснел, заговорив об этом, когда они в сумерках стояли вдвоем у окошка! Она ответила ему, пожалуй, слишком резко: «Зачем вы нам?» — и вырвала руку, когда он хотел ее удержать. Сейчас, пожалуй, она поговорила бы с ним гораздо спокойней.

Улыбаясь, она перебирала в памяти весь их дорожный разговор. Егешко дважды ее окликнул, прежде чем она его заметила. Лиза удивилась: значит, он не ушел, а все время бродил возле нее? Ни следа мечтательности, с которой он только что разговаривал с ней, не было у него на физиономии. Егешко был хмур, строг; плотно сжав губы, смотрел ей под ноги. Деловито он объяснил, что у него на примете имеется человек, который, может статься, пошел бы к ней проводником и лодочником. Пускай она пойдет к нему — Егешке — на квартиру, а он сейчас же сбегает за лодочником, чтобы они тут же и сговорились. Занятая своими мыслями, Лиза сказала: «Хорошо», — и молча они зашагали к пристани.

Ход с улицы вел в темные сени. Только когда за ее спиной захлопнулась дверь, Лиза подумала, что, в сущности, не было никакой надобности идти к портовому надзирателю на квартиру. Проще было расспросить его, где живет лодочник, и все.

— Не ушибите плечико, — сказал Егешко, открывая впотьмах вторую дверь.

Прокуренная, сутками не проветривавшаяся комната, незастланная постель, пол, заваленный всякой дрянью,— одного этого было достаточно, чтобы повернуться и уйти, сказав: «Я лучше подожду вас на крылечке». Между тем Егешко притворил уже и вторую дверь и, обмахнув стул фуражкой, пододвинул его гостю. Он попросил простить ему беспорядок в комнате. Что поделать,— живет холостяком, один как перст.

— Озяб,— сказал он, скидывая бушлат,— разрешите немного согреться?

Он стал ходить взад и вперед по комнате, тер щеки, дул на пальцы, как будто бы на улице в самом деле был мороз. Он даже не смотрел на Лизу,— можно было подумать, что он забыл о ней. Потом он принялся грызть ногти, потом круто остановился перед Лизой и вдруг схватил обе ее руки.

— Божже, какие холодные ручки!

Лиза даже не сразу вырвала свои руки, так это было неожиданно. А он уже сидел рядом на табуретке и бормотал:

— Милая девочка, божже, какие холодные ручки! Я люблю милую девочку, только не смотри на меня так испуганно. Слушай-ка, мне нельзя тут оставаться — есть причины. Мне очень плохо здесь, я хочу отсюда удрать, совсем удрать. Понятно?

Лиза вскочила. С дергающейся щекой, с выпученными глазами, в которых не было ни одной живой мысли, он стоял против нее. Точно такое же безумное лицо было у него тогда, в шлюпке.

— Я люблю мою девочку, чего ты? — бормотал он ласково, как обычно разговаривают с маленькими детьми. — Сядь и дай мне свои ручки. Я удеру отсюда в Ленинград, только это еще секрет. Миленькая, миленькая моя девочка, все будет очень хорошо. Мы сядем с тобой на пароходик... Поедем с тобой в Ленинградик...

Размякнув от нежности, он так и сказал: «В Ленинградик». Речь его становилась совсем бессвязной. Не отвечая, Лиза бросилась к выходу. Щелкнула задвижка. Егешко спиной прислонился к дверям и пригнул голову, как перед дракой.

— Пустите,— сказала Лиза.

— Зачем?



В следующую минуту Егешко уже лежал на полу рядом с опрокинутой табуреткой.

— Я разобью окошко и закричу.

— Мне все равно. Я ничего не боюсь.

Он засмеялся, потом хитро подмигнул.

— Там, в шлюпке еще, когда нас уносило в море,— шепотом сказал он,— неужели вы не поняли, что я уже могу играть даже своей жизнью, что я уже ничего не боюсь?

На какую-то кратчайшую долю минуты у него передернулось лицо, и это был страх, самый отчаянный страх, какой только может испытывать человек. Но сразу же Егешко опять засмеялся и опять подмигнул.

«Сумасшествие!» — подумала Лиза. Теперь она была очень спокойна.

— Так сядь и не дури,— сказал он, шагая от двери.

Все произошло мгновенно. В следующую минуту Егешко уже лежал на полу рядом с опрокинутой табуреткой и тупо смотрел, как Лиза отпирает на дверях задвижку. Шека, по которой пришелся точно рассчитанный удар кулаком, медленно багровела; падая, он еще больно расшиб себе локоть.

Лиза распахнула дверь.

— Если вы хотите уехать,— сказала она,— я думаю, вам лучше уехать сегодня же. Здесь вы работать не будете.

На улице она едва не расплакалась — так это всё было обидно и противно. Кононов в этот день в море не выходил: с утра погода была не промысловая. Когда Лиза вернулась домой, он искоса оглядел ее и спросил: не случилось ли чего-нибудь? Она ответила: нет, ничего,— рассказывать о том, что произошло, ей почему-то было стыдно. Полдня она просидела за книжками, делая вид, что читает, но ни одна строка не лезла ей в голову, слезы то и дело навертывались ей на глаза. Наконец Александр Андреевич сам подсел к ней, вынул книжку из ее рук и сказал напрямик: «Чего молчишь? Говори уж, что стряслось».

Посасывая трубочку, молча он выслушал ее рассказ, потом только крикнул и покрутил головой. Не нравился ему этот штурман, давно не нравился.

— Обидел, говорят, бог черепаху, и получилось ползучее существо. Так вот и этот. Кому нужен такой человек?

Он задумался, потом спросил:

— Так, стало быть, и заявил: «Решительно ничего не боюсь»? На все наплевать?

Лиза повторила разговор с Егешко.

— На Севере это иногда случается с пришлыми людьми,— сказал старик.— От нашей суровой природы у них как бы затмение получается в мозгах. Всякая блажь тогда может найти на человека, и пьют тогда и озорничают,— я выдывал таких. К нашему краю некоторым трудно привыкнуть.

— Я вот уже привыкла, а тоже пришедшая,— возразила Лиза.

— Ну, ты! — Старик не нашел слов и, поглядев на свою гостью, улыбнулся.— Ты дело другое. У тебя характер вроде моего — бойкий. А вот старуха моя девятнадцатый год на Мурмане и сама с Поморья, а все не может привыкнуть. И сейчас тянет на родные места — едем да едем: там, дескать, и местность ровная, и лужки, и березки,— а тут что? Мох, вода да камень. Бывает, что очень сильно тоскует.

— Нет, у того не тоска,— сказала Лиза.— У того безумье какое-то. И я не понимаю, как это можно сходиться с ума хотя бы из-за камней да мха. Тут надо искать другие причины.

— Какие же еще могут быть причины?

— Я не знаю.

— Может, натворил чего и скрывает? — хмурясь, сказал старик.— Вот со страху-то и бесится...

Долго он мямл и скреб свою бородку. Видимо, эта мысль впервые пришла ему в голову. Потом он потрепал Лизу по руке и сказал:

— Как бы там ни было — нечего расстраиваться из-за такого проходимца. А тут ему не работать. Сегодня же доложу правлению, и письмо о нем напишем в политотдел.

К вечеру ветер спал, прояснилось небо; Кононов ушел в правление; Лиза осталась вдвоем с Антониной Евстахиевной.

Часу так в десятом в дверь постучали. Лиза отперла и отступила — на пороге стоял Егешко.

— Тише,— сказал он, приложив палец к губам,— ради бога, говорите тише. Я пришел попросить у вас прощения за мой утренний поступок. Извиняюсь тысячу

раз. Я болен, мысли у меня путаются. Рассказывали ли вы кому-нибудь о том, что...

Он запнулся.

— Еще раз вам говорю, если вы хотите уехать отсюда, лучше уезжайте сегодня же. Вам здесь не место,— твердо сказала Лиза.

— Тсс...— повторил он, испуганно заглядывая внутрь кононовской кухни. Злость и желание казаться почтительным попеременно отражались у него на лице.— Я спрашиваю: что вы наговорили про меня? Ответьте же: вы видите, в каком я состоянии.

— Я рассказала все, повторила все ваши слова, Егешко. Думаю, что вам несдобровать. Уходите теперь...

С ненавистью он смотрел на Лизу, потом грубо выругался и ушел. Лиза следила через окно, как он спускался с крыльца и шел по улице. Был уже вечер, прояснилось и похолодало. Лиза увидела, что лужи от крыльца до поворота замерзли.

С тяжелым чувством отошла она от окна, смутно и тревожно было у нее на душе.

Поздним вечером вернулся Кононов. Поужинав, все стали укладываться спать — в шесть утра Кононов собирался уйти в море,— только Антонина Евстахиевна долго еще возилась в кухне, брэнчала кастрюльками и тарелками. Наконец легла и она. Старик, однако, не спал. Он вздыхал и ворочался, то выше, то ниже перекладывал подушку. Антонина Евстахиевна даже рассердилась:

— Чего тебе не спится? Спи...

Вдруг он ее обнял. В темноте Антонина Евстахиевна видела, что он внимательно смотрит на нее.

— Ой, старое ты чудо,— сказал он,— как же ты будешь жить без меня, если я помру?

Старуху даже затрясло. Никогда она не слышала от него таких слов. Снова она стала уговаривать мужа вернуться в родные архангельские места.

— Никто не знает, что ждет человека на море. А ты уже седой. Хватит тебе испытывать море.

— Я три раза тонул,— ответил старик,— и три раза выплыл. Стихия — неопасная. Опасен только злой человек.

Вскоре он уснул, но Антонина Евстахиевна уже не могла спать. С тревогой вглядывалась она в его спокойное лицо; он спал крепко и дышал ровно.

— Старый, старый ты,— сказала она с упреком.

Сердце у нее так ныло, что она поднялась с постели, накинула платок и зажгла лампу. В кухне спал внук, лицо у мальчика было тоже спокойное. Антонина Евстахиевна заглянула за шкаф, где стояла Лизина кровать. Девушка спала крепко, но брови у нее были сурово сдвинуты — должно быть, что-то нехорошее ей снилось. Старуха погладила ее лоб своей рукой, точно хотела снять эту морщинку, и ей стало совсем тоскливо. Тогда она надела пальто, обулась в валенки и, осторожно приоткрыв дверь, чтобы скрип не разбудил мальчика, вышла на улицу.

По всей улице были погашены огни, ни одно окно не светилось, только далеко, у самой брюги, горел огонек — должно быть, в домике портового надзирателя. Старуха постояла на крыльце. Ночь была ясная и тихая. Еще капало с крыши, но вскоре оборвался и этот слабенький звук.

На той стороне улицы трое женщин молча сидели на скамье. Они потеснились, освобождая ей место. Кто-то из соседок спросил: «Не спится?» Она ответила: «Под старость и сон плох»,— и снова все замолкли. Но по молчанию женщин старуха понимала, что и у них нехорошо на душе.

Вдруг светлое облачко дугой перекинулось по небу, завилось, всколыхнулось, широкие лучи, покачиваясь, протянулись к нему из-за черной горы, закрывавшей губу с моря.

— Опять сполохи играют,— сказала Антонина Евстахиевна.

Женщины исподлобья смотрели на колебавшиеся над горой лучи, а те поднимались все выше и выше, все небо теперь полыхало неровным голубоватым светом.

Старуха спросила: какое нынче число? Ей ответили: двадцать третье. Она покачала головой, точно уговаривая самое себя.

— Не может в эту пору быть сильный ветер. Не зима.

Женщины молчали. Все думали о том, что по здеш-

ним местам все может статься, что штормы и метели могут еще двадцать раз прийти и уйти.

Огонек возле брюги мигнул и погас. На улице стало совсем глухо.

— Пойду лягу,— сказала старуха.— Мореходы-то наши завтра промышлять собрались.

Она вернулась домой, еще раз заглянула за шкаф и постояла возле спящего мальчика. Потом погасила лампу и улеглась сама, а голубое сияние бродило по комнате, и, когда старуха уже спала, трезожные отсветы все еще скользили по лицам спящих людей.

Глава XIII

МОЯ ПЕРВАЯ ВАХТА

Негромко стучала машина, мимо шли берега, однообразные снежные горы, поросшие редким кустарником, не торопясь отходили назад, и казалось, что они медленно поворачиваются, лениво смотрят на нас и отворачиваются так же медленно.

Мацейс и Шкебин, стоя перед капитаном, смущенно объясняли ему, что они загуляли накануне и по привычке пришли на старое свое судно. Я стоял сзади, слушая их неуверенные голоса и разглядывая рулевую рубку. С восторгом смотрел я на большое штурвальное колесо, на тихо покачивающийся перед ним котелок в нактоузе компаса, на исколотую циркулем морскую карту, разложенную на столике. Свежий морской воздух врывается в полуотпущенное окно, солнце сияло над ослепительно белым берегом, над голубой, гладкой до маслянистости водой.

— Так,— сказал капитан, вынул изо рта трубку, внимательно на нее посмотрел и сунул обратно в рот.— А чего ж это вы, ребята, списались с нашего судна?

— Да знаете, Николай Николаевич,— улыбаясь объяснил Мацейс,— подкопили деньжонок, робу кой-какую приобрели, думали месяц погулять, за девчонками поухаживать.— Он рассмеялся и развел руками.

— Все пропили? — спросил капитан.

— До копеечки,— подтвердил Мацейс и сам рассме-

ялся над своей матросскою незадачливостью и неумением беречь деньги.

Шкебин все это время молчал, переминался с ноги на ногу и с тоскою смотрел на удалявшийся берег. Опять капитан вынул трубку и стал ее разглядывать. Что-то, видимо, в ней не ладилось.

— Так как ты считаешь, Платон Никифорович? — спросил он, глядя в трубку.

Человек, стоявший у окна, обернулся. Я увидел худощавое молодое лицо, глаза черные и блестящие, темные волосы, зачесанные наверх, расстегнутый воротник кителя. Я знал этот тип. У отца на заводе я видел много таких ребят, торопливо вытиравших паклей замасленные руки, чтобы не опоздать на заседание комсомольского бюро, назначенное сразу после конца работы. В дальнейшем оказалось, что я не ошибся: Платон Никифорович Овчаренко, помполит «РТ 89», был слесарем Кировского завода и попал в траловый флот по комсомольской мобилизации.

— Напились и забыли, что уволились с тральщика? — переспросил он. — Хорошо. Но ведь и у второго механика и у третьего есть свои койки. Каким же образом вы оказались в шлюпке?

Мацейс пожал плечами.

— Ну, а почему же все-таки вы списались? — спросил Овчаренко. — Погулять захотелось? Но почему именно сейчас, когда Сизова назначили? Ведь капитан Сизов из лучших капитанов. У него всегда план перевыполнен, заработки хорошие. К нему все стремятся попасть.

Мацейс замаялся, помолчал и вдруг, подняв голову, посмотрел в глаза Овчаренко прямым и открытым взглядом.

— Я врать вам не буду, — сказал он. — Вы клоните к тому, что просто, мол, мы привыкли бездельничать, а Сизов требует настоящей работы. Поэтому, мол, и не ужились. Не буду скрывать. Так это на самом деле и есть.

Вскинув брови, Овчаренко сверкнул глазами. Они смотрели друг на друга, и первый отвел глаза помполит.

— Ну, — сказал он, глядя в сторону, — как же это вышло?

Так же прямо глядя на него, Мацейс продолжал объяснять:

— Наш капитан, который вел тральщик после приемки знал, что он на нем не останется, и здорово распустил команду. Ему лишь бы до Мурманска дойти. Ну, мы и привыкли, по совести говоря, кое-как работать. Особого блеска не добивались, грязь развели и больше в «козла» играли. А когда Сизова назначили, мы и задумались. Всем известно, какой капитан Сизов. Уж он-то не допустит грязи или упущений. Нам, после вольной жизни, показалось обидным опять привыкать к порядку. Мы и списались. Не знаю, правы мы были или нет, а уж как вышло — так вышло. Я сам знаю, что работать надо как следует, но характер у меня отчаянный: если загнусь — не рассуждаю. Так что как хотите, так и поступайте с нами. А напились мы со злости, что уйти пришлось.

— Как же? — негромко спросил Овчаренко. — Напились вы со злости, что уйти пришлось, а напившись, забыли, что ушли с тральщика. Как-то не вяжется, а?

Мацейс усмехнулся очень смущенно.

— Видно, что вы допьяна не допивались, — сказал он. — Тут уж голова ни при чем. Ноги на тральщик принесли, а откуда ногам знать, что мы с капитаном Сизовым служить не хотим.

Все это время Студенцов курил трубку и, казалось, не слышал разговора. Теперь Овчаренко обратился к нему:

— Я не знаю, Николай Николаевич, что с ними делать. Не возвращаться же из-за них в порт! Пассажирами возить тоже бессмысленно. Пусть поработают этот рейс, а в порту поговорим серьезно. Как ты думаешь?

У него было сейчас брезгливое, злое лицо, и он очень не нравился мне. Я подумал, что, наверное, это один из тех скучных и нравоучительных людей, которые считают, что на берегу моряк должен проводить все свое время, слушая беседы и лекции и изредка танцуя падекатр под руководством специально приглашенных затейников. Об этих скучных людях мне с большим негодованием рассказывали мои ленинградские приятели-моряки.

Капитан сунул трубку в карман и внимательно осмотрел Мацейса и Шкебина.

— Механиками зачислить вас я не могу, — он говорил

недовольным и резким тоном.— Если хотите, идите матросами, а не хотите — пассажирами четвертого класса! В трюм! — Видно было, что он очень сердится.— Моряки, в рюмке вам плавать,— буркнул он под нос, потом скомандовал: — Пойдете к старшему помощнику, скажете: я приказал зачислить вас в первую вахту,— отвернулся и, вынув из кармана трубку, снова начал ее разглядывать.

— Есть, товарищ капитан,— весело загремел Мацейс, и все трое мы вышли из рубки.

Солнце светило вовсю. Внизу на палубе стояли матросы и громко смеялись чьей-то шутке. Море чуть-чуть колебалось, белые чайки покачивались на еле заметной волне, нос тральщика спокойно и ровно резал гладкую масленую воду. Берег был с другого, с левого борта. Перед нами море шло до самого полюса.

— Рассердился старик,— улыбаясь сказал Мацейс,— такое его капитанское дело.— И вдруг толкнул Шкебина в плечо: — Чего приуныл, нюня?

— Отстань! — буркнул Шкебин.

— Не горюй,— смеялся Мацейс.— Что-нибудь да придумаем.— Потом он повернулся ко мне, и лицо его снова стало серьезным.— Вот что, Женька,— сказал он,— ты моряк еще молодой, можешь лишнее ляпнуть. Прото, понимаешь, где мы гуляли, ну и все такое — молчок. Такое уж морское правило — языком зря не трепать. Увидел ты нас впервые вот здесь, в шлюпке, а что за люди, откуда — знать не знаешь, ведать не ведаешь.

— Мне таких вещей говорить не нужно,— обиделся я.

Мацейс засвистел и, взявшись за поручни, скользнул вниз по трапу. Шкебин последовал за ним, громко стуча подкованными железом сапогами. Я смотрел им вслед, как они шли по палубе, два здоровяка, уверенные, крепкие, настоящие моряки, и вдруг услышал за спиной разъяренный голос:

— Слюсарев, ты на вахте или под вахтой?

Я обернулся. Молодой парнишка, очень похожий на молочного поросенка, розовенький, с пухлыми щеками и вздернутым кверху носом, сурово и недовольно смотрел на меня.

— Ты что думаешь — тут за тебя работать будут?

Он повернулся и побежал по палубе. Быстро спустившись по трапу, я побежал за ним.

На тральщике кипела жизнь. Возле левого борта была разложена большая сеть, и несколько матросов, сидя прямо на палубе, чинили ее. Большие деревянные иглы мелькали у них в руках. Усатый пожилой человек всеми командовал, всех торопил и сам с удивительной быстротой орудовал деревянной иглой. Впоследствии я узнал, что это Силин, тралмейстер, главный начальник над тралом — огромною сетью для рыбы. На палубе матросы снимали брезент и крышки с люка, ведущего в трюм. Я стал помогать им. Мы устанавливали на палубе загородки, в которые будут сваливать рыбу из трала. Должен сознаться, что в первую свою вахту немало огорчений доставил я своим сотоварищам. Мне не хочется вспоминать те бранные слова, которые сыпались, и вполне заслуженно, на мою несчастную голову.

— Принеси лопарь! — кричали мне.

Я начинал носиться по палубе, как подбитая птица, надеясь, что каким-нибудь чудом по внешнему виду определю этот неизвестный мне лопарь. Спрашивать у кого-нибудь было бессмысленно. Все были заняты, а когда я, набравшись храбрости, все же спросил у матроса, по фамилии Донеико, что такое лопарь и где я его найду, он торопливо бросил мне:

— Вот дуб на мою голову. Лети в сетевую.

После этого я еще пять минут искал, у кого бы мне спросить, что такое сетевая и где мне ее найти.

— Слюсарев, — орали на меня, — тащи бобенцы!

С решительным видом я помчался по палубе в неизвестном мне направлении и, забежав за столовую, остановился, чтобы отдышаться. Я так и не знаю, кто именно притащил эти таинственные бобенцы, потому что, когда я стоял, прислонившись к стене столовой, на меня налетел свирепый дядька с проволочным канатом в руках и рявкнул:

— Слюсарев, крепи конец!

Он умчался, оставив у меня в руке конец проволочного каната, а я стал раздумывать, к чему бы мне его прикрепить. Я уже почти окончательно решил намотать на ручку двери, как вдруг что-то зашипело, загремело, трос, больно хлестнув меня по рукам, как взбесившаяся

змея, помчался по палубе, и я, растерявшись, побежал сго догонять. Мое появление произвело удивительный эффект. Со всех сторон меня стали ругать. Оглядываясь вокруг, я с удивлением увидел, что даже Донеико, повисший на большой доске над водой и, кажется, совершенно углубленный в завязывание узла, и тот, не глядя, ругает меня на чем свет стоит. Матросы, чинившие сеть, ругались лениво и спокойно; матросы, стоявшие у лебедки, ругались яростно и торопливо; матросы, возившиеся с досками и канатами, ругались походя, между прочим, и, наконец, из люка, ведущего в трюм, выскочил, как черт из коробочки, сердитый засольщик без четырех передних зубов, крикнул мне: «Сляпа цертова» — и скрылся обратно в трюм.

«Ну что ж, — думал я, — спишут в пассажиры четвертого класса. Доживу в трюме до берега, потом поступлю конторщиком. Хорошо, спокойная работа. Или выучусь писать на пишущей машинке». Я уже почти примирился с этой скромной, но достойной будущностью, когда вдруг откуда-то сверху загредел решительный бас:

— Бы что, с ума сошли? Донеико, Свистунов, Ерофеев! Прекратите сейчас же ругань!

На палубе стало значительно тише. Я поднял голову кверху. Из окна рубки торчали плечи и голова капитана.

— Парень делает первый рейс, — гремел он, — а вы тут базар устраиваете! Донеико, покажите Слюсареву работу, и без ругани. Ясно?

Голова и плечи исчезли в окне.

Снова загредела лебедка. По палубе, топоча сапогами, человек пять матросов потащили конец толстого проволочного каната. Канат медленно разматывался с лебедки, его натягивали на ролики, и, obeжав палубу, он протянулся к огромной, нависшей над бортом, окованной железом доске, на которой возился Донеико.

«Ну, — подумал я, — теперь зададут мне ребята жару за то, что им из-за меня попало. Молчал бы уж лучше капитан».

— Слюсарев, — крикнул Донеико, — поди сюда!

Стараясь не наткнуться на людей, на канаты, на ролики, я подбежал к нему. Доска висела у высокой железной дуги, наклонившейся над морем. Было совершенно непонятно, благодаря каким физическим законам До-

нейко держался на ней и не только не падал в воду, но даже, кажется, не замечал рискованности своего положения.

— Смотри, Слюсарев,— сказал он,— вот этот трос называется ваер. На нем держится трал. Ясно? А эта доска называется «доска». Запомнишь? У трала две доски. Вторая на корме. Во время хода вода толкает их в разные стороны, и они распирают трал. Понятно? А этот ящик называется «ящик». Гото-овсь! — неожиданно крикнул он и соскочил на палубу.

Загрохотала лебедка. Два матроса пронесли что-то вроде крышки большого стола и положили на столбики около трюмного люка.

— Это называется рыбодел,— сказал Донеико.— На нем шкерят рыбу. Понятно? Пора! — крикнул он, глядя поверх меня на рубку, и побежал к колоколу, висевшему около мачты.

С первым же ударом суетня на палубе прекратилась. Матросы, чинившие сети, встали. Из трюма полезли засольщики, и стоявшие у лебедки отошли от нее. Первая в моей жизни вахта кончилась.

Все вместе пошли мы в сушильную камеру, и я повесил сушиться свои рукавицы рядом с рукавицами моих товарищей. Очень приятное у меня было чувство. Сейчас, когда я не боялся попасть впросак, когда меня не оглушали непонятными приказаниями, уверенность снова вернулась ко мне. Я держался как все, громко стучал подбитыми железом сапогами, широко расставлял ноги и старался выглядеть человеком, хорошо поработавшим, немного уставшим и собирающимся хорошо отдохнуть. В таком настроении направился я к столовой, но около двери остановился. Я вспомнил, каким, мягко говоря, болваном я был на вахте, представил себе, как набросятся на меня эти сердитые люди, которым доставил я так много неприятностей, и решил, что, пожалуй, благо-разумнее будет сегодня не обедать. Набравшись мужества, я все же вошел. Меня оглушил шум разговоров, смех, звяканье тарелок. Вахта моя обедала. Я взял у кока тарелку супа, присел в уголке и стал есть, внимательно оглядываясь вокруг. За столом сидели крепкие, веселые люди. Широко разложив локти, они пожирали, именно пожирали обед. За ложкою супа отправлялся в

рот такой кусище черного хлеба, что казалось — его должно было хватить на два дня сухопутному человеку. На тарелках с жарким высились горы жареной картошки и огромные ломти мяса, и, право, я никогда не думал, что можно так быстро уничтожить такую порцию да еще, как делали многие, попросигь кока подбросить рыбки. Компот подавался в налитых доверху глубоких тарелках, но, съев его, многие задумчиво смотрели на дно тарелки и, покачав головой, наливали еще кружечку чаю со сгущенным молоком размером, я думаю, на пол-литра, не меньше. Еда не мешала разговору. Все говорили громко, во всю могучую силу своих здоровых, проветренных морским ветром легких. Соседи шумно беседовали друг с другом, сидевшие за разными столами перекликались, приходившие вновь сразу вмешивались в разговор. Из окошечка, которое соединяло столовую с камбузом, время от времени высывалась голова кока, человека с худым, унылым лицом и грустно свисающими усами, и тоже высказывала свои суждения. Разговор шел, разумеется, о случае с Мацейсом и Шкебиным. Все подробности были уже известны через рулевого. Каждый раз, когда вспоминали о том, сколько проспали Мацейс и Шкебин, все начинали хохотать. Потом кто-нибудь представлял себе, с какими лицами они проснулись и что почувствовали, увидя открытое море, и все начинали хохотать снова. Особенный восторг вызывала мысль о том, что, удрав от работы механиков, показавшейся им тяжелой, они теперь должны будут работать просто матросами, что, конечно, гораздо труднее. Слушая все эти разговоры, я понимал, что действительно положение наказанных пьяниц очень комично.

Исчерпав эту тему, заговорили о том, что погода благоприятствует промыслу, но только хорошо бы немножко ветерку, а то без волны, хоть небольшой, тяжело вытаскивать трал.

— Волны, волны! Вот оставлю я вас без супа, — сказал кок, исчезая в камбузе, и загрохотал там кастрюлями. Ему качка затрудняла работу.

Потом розовощекий курносый парень, тот самый, который так сурово напоминал о моих обязанностях, стал дразнить пожилого матроса с добродушным и некрасивым лицом какими-то девушками с посол-завода, кото-

рые поголовно в него влюблены. Пожилой матрос беззлобно отшучивался и, кажется, был даже доволен этой полемикой.

— Не верьте Балбуцкому,— крикнул повар, высунувшись в окошечко,— он по злобе: Свистунов у него невесту отбил!

Сказал, загрохотал кастрюлями и исчез. Это, видимо, был намек на известную всем историю, потому что все рассмеялись, я только подивился — такой это был громкий, здоровый, веселый смех. Затем поговорили о том, какие кинокартины взял с собой Донеико (оказывается, он был председателем судкома), и я впервые узнал, что во время рейса в столовой устраиваются киносеансы. Потом обсудили поведение капитана и решили, что «старик» держится ничего и, видимо, капитан будет хороший.

Я слушал все эти разговоры и старался быть как можно менее заметным. Хотя я теперь и видел, что мои товарищи только на вахте такие нервные и нетерпеливые, а в свободное время, наоборот, очень веселые, добродушные люди, все-таки страх быть окончательно посрамленным не покидал меня. Поэтому я даже вздрогнул от испуга, когда курносый Балбуцкий, обсасывая баранью кость, подмигнул мне и сказал:

— Ну как, Слюсарев, будешь матросом или пойдешь на берег работать?

Сразу же я сделался темой общего разговора. Никогда я не думал, что над одним человеком можно столько смеяться. Обо мне говорили, как будто меня здесь не было. Вспоминали, как я побежал за бобенцами,— оказывается, вовсе не в ту сторону, где они находятся,— какой у меня был вид, когда я держал лопарь, и другие подробности моей работы. Повар и тот не отстал от других. Высунув голову, он рассказал, как я собирался намотать конец на ручку двери. Оказывается, он в это время смотрел в иллюминатор из камбуза. Это вызвало такую бурю смеха, что мне стало совсем нехорошо. Я сидел красный, робко улыбался, и вид у меня был, вероятно, жалкий. Свистунов, пожилой матрос с добродушным и некрасивым лицом, посмотрел на меня и, видимо, угадал мое состояние.

— Да ты не кисни,— сказал он.— Ты не смотри, что

мы смеемся. Посмеяться всегда полезно. А так-то говоря, ты ничего для первого раза. Моряк получится.

К моему удивлению, эти слова были единодушно всеми поддержаны.

— Выйдет моряк,— говорил Донеико, с аппетитом доедая компот,— не горюй. Все такими были.

— Конечно,— рассуждал Свистунов,— наших слов он не знает. Ему что лопарь, что бобенцы, что рыбадел — все равно. А научится — и будет справляться. — Он говорил неторопливо, как будто разговаривал со мной наедине. И самый тон его успокаивал и утешал меня.

— Ничего, ничего,— говорили вокруг,— вырастет — моряком будет.

Вдруг Балбуцкий снова расхохотался.

— Ой, не могу,— надрывался он,— конец от него, а он за концом, как кошка за мышью.

И все начали снова смеяться, и даже Свистунов, в котором я уже видел поклонника моих морских талантов, весь трясся от хохота. Он прислонился к стене, потому что ему трудно было стоять на ногах. Смеялся он очень заразительно, и я вдруг сам понял, что действительно это очень смешно, и стал смеяться вместе с Балбуцким, Донеико и Ерофеевым. Все вспоминали, что я сказал, и что сделал, и как побежал, и снова смеялись. С хохотом мы вышли на залитую солнцем палубу. Море мягко качало белых чаек, и ослепительно белый мимо шел берег. Мы так громко смеялись, что было далеко слышно, и я снова подумал, как на море весело и громко смеются.

На палубе работала третья вахта. Лебедка то начинала греметь, то затихала. Ваеры обегали геперь всю палубу. Они заворачивали у больших роликов, и один из них шел вдоль фальшборта к корме, где на большой железной дуге висела доска. Палуба у левого борта была разгорожена на клетки, и мы, громко стуча сапогами, прыгали через загородки. В окне рулевой рубки торчало незнакомое мне полное красное лицо. Это был второй штурман Бабин. Этот рейс он шел старшим, так как Студенцов заменял капитана. Ребята из третьей вахты носились по палубе, что-то тащили, что-то устанавливали, перекликались и переругивались, мы же, свободная вахта, весело переговариваясь, расположились у левого борта, где было свободно и мы не мешали работе. Кто рас-

селся прямо на палубе, кто сидел на борту над ровной голубой водой. Все те же скалы, белые, с кое-где выступающей мелкой рябью кустарника, шли мимо нас. Воздух, холодный и свежий, был тих и спокоен. Глядя на берег, я думал о том, что это и есть конец света. Вот так обрывается у холодного моря земля. Где-то позади поля, деревни и города, а сюда доползли только каменные щупальца материка и здесь застыли, не в силах двинуться дальше. Гордое чувство наполняло меня. Мне казалось, что я стою один на еще не исследованной земле и смотрю, узнаю, исследую. А человечество спрашивает: «Ну как, Слюсарев, ничего? Можно жить?» — «Ничего,— отвечаю я,— живите. А я дальше пойду, к неизведанным землям». Но тут у меня защемило сердце, потому что я вспомнил узел волос на затылке и рот девушки, сдерживавшей улыбку. Незаметно я отошел от товарищей и поднялся по трапу на ростры. Здесь я уселся на свернутый канат. Внизу подо мной товарищи из моей вахты болтали, шутили смеялись, здесь, наверху, я был один. На фоне ясного голубого неба я видел шлюпку, затянутую брезентом, высокую трубу, мачту, флагшток. Иногда из рулевой рубки доносился звон машинного телеграфа, тихо поскрипывали цепи, соединявшие руль со штурвалом, начинала греметь лебедка, и снова было тихо, только внизу разговаривали и смеялись матросы. Потом, я услышал, заиграли на гитаре. Кто-то перебирал струны. «Давай, давай, салогрей»,— сказал Донейко, и гитара стала играть незнакомый мне грустный мотив. Чайка, пролетев надо мной, закричала резким, скрипучим голосом и улетела в открытое море. Внизу матросы под аккомпанемент гитары запели песню. Я сидел на свертке каната и думал, где я ее теперь встречу, эту девушку, охотницу и слепопыта. И грустно мне было, что так мы расстались, и радостно оттого, что совсем ясно я видел будущие свои плаванья, штормы, туманы, подводные скалы. В песне, которую пели матросы, рассказывалось о девушке-пассажирке, о молчаливом капитане, полюбившем ее, и о том, как утром она сошла в порт, а капитан остался один. Песня, если говорить правду, была глупая, пошлая песня, но так хорошо звучала она над морем, так грустно выводили матросы мелодию, что я сразу представил себе, как Лиза сходит в

порту, а я стою на мостике, курю трубку, смотрю на звезды, а внизу размеренно дышит море.

Я долго сидел задумавшись, как вдруг над самым моим ухом загудел гудок, да так громко, что я чуть не свалился со своего каната. Прямо из самых скал напереизрез нам шел тральщик. Казалось, он вышел из камня. Только всмотревшись внимательно, я заметил, что скалы расступались, открывая узкий залив. На палубе поднялась суета, в рубке зазвонил телеграф, заскрипели цепи, и я торопливо сбежал вниз. Матросы толпились у борта. Тральщики сближались. Там тоже толпились матросы на палубе, и мы приветствовали друг друга взмахами рук и криками. Скоро мы были совсем близко. На мостик вышел капитан и, приложив ко рту металлический рупор, заорал во весь голос:

— Здорово, Ткачев!

— Здорово, Коля! — донеслось с того тральщика.

Я поднял глаза. Там на капитанском мостике тоже стоял капитан с рупором, такой же молодой, как наш, а может быть, еще моложе.

— Как рыба? — орал Студенцов.

— Плоховато, — отвечал Ткачев. — Думаю податься на Кильдинскую банку. А ты?

— Я в Мотку.

— Корешки встретились, — сказал стоявший рядом со мной Донеико, кивая на капитанов, — самые первые друзья. Вместе учились, вместе плавали, в соседних квартирах живут. — И вдруг заорал, перевалившись через борт: — Здорово, Сере-ежа!

— Свистуно-ов! — орали с встречного тральщика. — Как жив?

— Балбуцкий у вас? — кричали нам.

— Здесь, здесь, — отвечал Балбуцкий, прыгая и размахивая руками.

— До свиданья! — кричал Студенцов.

— Счастливо, Коля! — расслышал я голос Ткачева. — Как мое семейство?

— Все здоровы, — отвечал Студенцов. — Ходили с моими в театр. Наташа говорила: тебе письмо от отца.

Отложив рупоры, капитаны, улыбаясь, кивали друг другу.

Звякнул телеграф, и расстояние между тральщиками

стало увеличиваться. Перегнувшись через борта, матросы еще перекликались, но постепенно голоса доносились все глуше, и скоро уже трудно было разглядеть лица. Матросы, один за другим, отходили от борта, обедавшие ушли в столовую, вахтенные продолжали работу. Мы с Донеико еще стояли, глядя на удалявшийся тральщик.

— «РТ 90»,— прочитал я.— Странно, почему у него тоже нет названия?

— Новенький,— объяснил Донеико.— Брат нашего, тоже заграничный. Обоих несколько дней назад пригнали с верфи.

Глава XIV

МЕНЯ БЬЕТ МОРЕ

До четырех часов ночи я был свободен и решил хорошенько поспать. Партнера моего по каюте не было, да я и не знал, кто именно из товарищей моих помещается со мной. Было жарко. Внизу под настилом я слышал монотонный плеск. Я думал, что плещут волны Баренцева моря, и гораздо позже узнал, что это просто цистерна с питьевой водой. Я снял сапоги и, перед тем как лечь, взглянул в иллюминатор. Море было совсем близко. Наверное, я мог бы достать его рукой. Чайка сидела на воде, чистила перья желтым загнутым клювом и, кажется, не замечала, что вода плавно поднимает ее и опускает. Сняв сапоги и брезентовую рубашу, я лег на койку и с наслаждением вытянулся. Необычайно уютно чувствовал я себя. На койке было мягко, плеск воды успокаивал и баюкал. Я стал высчитывать, сколько мне осталось до вахты, и заснул, не успев высчитать.

Проснулся я с очень странным ощущением. Что-то было нехорошо. Я не мог понять, что случилось, пока я спал. Вода под полом каюты плескалась удивительно громко. Я сел и почувствовал, что лечу вниз. В испуге я ухватился за койку—чувство падения прошло. Вместо этого тело мое стало очень тяжелым, что-то давило на меня и прижимало, и сердце сжалось, как от тоски. Потом я опять полетел вниз, и опять на меня навалилась непонятная тяжесть. Я огляделся. Лампа над столом, чуть поскрипывая, наклонялась то в одну, то в другую

сторону. По стеклу иллюминатора стекали капли. Потом вода закрыла иллюминатор. «Как аквариум», — подумал я, летя вниз, и снова отяжелел, и вода отошла от иллюминатора, и по стеклу побежали капли. С трудом я встал на ноги. Сапоги мои бежали по каюте. Я поймал их и стал натягивать, но пол наклонился. Я сел на койку и почувствовал, что встать не могу. Снова меня придавило книзу, а потом я почувствовал такую легкость в груди, что меня чуть не вытошнило. «Прилягу на минутку», — решил я и лег. Странная слабость охватила меня. Я лежал и не мог пошевелиться, и туман бродил у меня в голове. Монотонно и громко под полом плескала вода, и с глухим, еле слышным плеском волна разбивалась об иллюминатор.

«Надо выйти на палубу, — думал я. — Интересно посмотреть».

Думал — и не шевелился.

«Надо узнать, в чем дело, — думал я, — открыть дверь и спросить».

Думал — и не шевелился. Впрочем, скоро я перестал и думать. Я лежал, вытянувшись на койке, и негромко стонал каждый раз, когда летел в пропасть, и каждый раз, когда тяжесть наваливалась на меня.

Не знаю, сколько времени я лежал. Где-то били склянки; грохоча сапогами, по трапу сбегали люди. Я слышал обрывки разговоров, ни о чем не думал и только чувствовал, что мне очень плохо. Время текло, и положение к лучшему не изменялось.

Не знаю, который был час, когда дверь в каюту открылась. Я с отвращением слушал плеск воды под полом. Щелкнула ручка, чья-то голова просунулась в щель. Потом яркий свет залил каюту. Донеико с любопытством глядел на меня.

— Ты спишь? — спросил он. — На вахту надо.

Я молча спустил ноги на пол. Пол был очень холодный. Я чувствовал сырость сквозь шерстяные носки. Опять на меня навалилась тяжесть, и вслед за тем стремглав я помчался вниз. Кажется, я застонал. Вид, наверное, был у меня очень красноречивый, потому что Донеико присвистнул и сказал:

— Э, брат, да тебя море бьет. Встать можешь?

Я попробовал. Опираясь о стол, я встал. Но стол ух-

дил у меня из-под рук. Он опускался, и я со стоном сел на скамью. Мне не было стыдно моего бессилия. Такие тонкие чувства, как стыд, в то время не доходили до моего сознания. Я сидел, тупо смотря на Донейко, и боюсь, что у меня отвисал подбородок и рот был по-дурацки открыт.

— Герой,— усмехнулся Донейко,— ложись, отлежишься.

Я перебрался на койку и лег. Донейко, вероятно, сразу ушел. Когда я в следующий раз открыл глаза, в каюте никого не было. Ярко горело электричество. Донейко не погасил его. Мне было все равно. Я опять погрузился в тупую, сонную одурь. Может быть, я заснул. Вероятно, я несколько раз засыпал и просыпался. Один раз я увидел две ноги, свисавшие с верхней койки. Меня это не заинтересовало, а когда я в следующий раз открыл глаза, ног уже не было. Может быть, человек просто лег, а быть может, он уже выпался и ушел на вахту. Откуда я мог знать? Иногда я слышал грохот лебедки и голоса на палубе. Визжали ролики, кто-то кричал: «Потравливай!.. Сто-оп!» Иногда я различал стук многих молотков. Что это было — меня не интересовало. Однажды, открыв глаза, я увидел Свистунова. Он доставал из шкафчика хлеб и сгущенное молоко. Встретив мой взгляд, он сказал:

— Плохо? Ничего, пройдет, моряком будешь.

Когда я снова открыл глаза, его уже не было. И снова гремела лебедка, и стучали на палубе сапоги, и кто-то кричал: «Потравливай!.. Сто-оп!», и плескалась вода под полом, и тяжесть наваливалась на меня, и я летел куда-то, как во сне, когда просыпаешься от падения, только здесь я никак не мог проснуться.

Сколько времени провел я в таком состоянии? Сейчас я знаю, что сутки, но когда дверь каюты распахнулась и вошел Мацейс, я твердо был убежден, что лежу дня три, а может быть, и четыре.

Мацейс сел на скамейку и очень ласково посмотрел на меня. Я ответил ему невидящим, равнодушным взглядом. У меня не хватило сил даже улыбнуться.

— Плохо, Женька? — спросил Мацейс.

Я пробормотал нечто совсем неразборчивое.

Мацейс положил руку мне на плечо.

— Вот что, тебе надо поесть черного хлеба с солью. Я молчал. Слова его до меня доходили с трудом.

— Ты меня слушай,— продолжал Мацейс.— Я знаю, что тебе не хочется. Пересиль себя. Заставь. Ты увидишь,— это поможет.

Меня раздражал его голос. Меня раздражало, что мне не дают погрузиться снова в сонную одурь. Застонав, я отвернулся. Наверное, я задремал. Мне показалось, что прошла секунда, не больше, когда Мацейс снова затеребил меня за плечо.

— Ешь,— сказал он.— Ешь. Ну!

Я повернул голову. Большой кусок черного хлеба, густо посыпанный крупной солью, был у него в руках. Вид хлеба вызвал во мне отвращение.

— Ешь, ешь,— повторил Мацейс.— Я тебе говорю, ешь.

Снова я полетел вниз, потом на меня навалилась тяжесть. Мацейс засунул мне в рот ломоть хлеба. С отвращением я стал жевать. Кое в чем Мацейс безусловно был прав: кислый хлеб и соль приятно освежали рот, только глотать было трудно. Все-таки с трудом я проглотил первый, второй и третий кусок. Когда я глотнул в третий раз, Мацейс, все время внимательно на меня смотревший, громко свистнул, и неожиданно дверь распахнулась настежь. Я увидел Донеюко и Свистунова, Балбуцкого, засольщика и кладовщика. Вся моя вахта стояла в коридоре, и все улыбаясь смотрели на меня.

— Кис-кис-кис,— сказал Донеюко, маня меня пальцем.— Сапожки на ножки — и топ, топ, топ.

Я ничего не понимал, да, по совести говоря, все было мне безразлично. Как я себе сейчас представляю, удивительно глупый был у меня вид.

— Вставай,— сказал Мацейс,— приходится идти на вахту.— И он расхохотался весело и беззлобно, как человек, хорошо состривший. И все стоявшие в дверях тоже смеялись, и только я никак не мог понять, что, собственно говоря, случилось смешного.

— Сто вы, с ума сосли,— заговорил засольщик без четырех передних зубов,— помощь ему надо. Парнишка посевелиться не мозет, а вы сутки сутите.— И он решительно двинулся ко мне.

Равнодушно я смотрел, как засольщик и Донеюко на-

тягивали мне сапоги, а Свистунов в это время спокойным, дружеским голосом объяснял:

— Видишь ли, это уж правило такое, как бы обычай. Если кого море бьет,— пожалуйста, ложись, отлеживайся. Никто тебе слова не скажет. Но только тогда ничего не ешь. А если что съел, хоть хлеба кусочек,— значит, шалишь, пожалуйста на работу. Так и с тобой. Хотя, конечно, тебе бы следовало дать отлежаться, но раз уж такой обычай — тут ничего не сделаешь. Придется идти на вахту! Если бы не обычай, так что ж, лежи себе. А уж раз обычай...

— Салис, церт,— подтвердил засольщик,— нищего не пописес,— и, хлопнув меня по плечу, добавил:— Готово.

Меня подняли под руки. Бережно, как будто я был дряхлой, почтенной старушкой, по трапу подняли на палубу. Свежий ветер подул мне в лицо. Волна разбилась о борт, и холодные брызги заставили меня поежиться. И в это же время ударили склянки. Началась моя вахта.

Об этой вахте, равно как и о нескольких последующих, у меня сохранилось очень туманное воспоминание. Донейко и Свистунов провели меня в сушилку и надели на меня проолифленные штаны, которые, я теперь знаю, называются буксы, проолифленную куртку — рокон и широкополую проолифленную шляпу — зюйдвестку. Я подчинялся всему безропотно, я просто не соображал, что именно со мной происходит. Потом меня снова вытащили на палубу. Холодный ветер бросил каждому в лицо по горсти брызг, море было черно-серое. Белые барашки курчавились далеко, до самого горизонта. Нос тральщика то поднимался вверх, то, с шумом расплескивая воду, опускался. И каждый раз, когда он опускался, за бортом вырастала темная большая волна. Она заглядывала через борт, как любопытный морской зверь, и бросалась на палубу с шумом и плеском. Она окатывала матросов и рыбу, волочила по палубе рыбы внутренности и головы и, когда нос тральщика снова шел вверх, пригибалась к палубе и начинала искать выхода, как зверь, напуганный и укрощенный.

Теперь она была тихая и прозрачная. Растекаясь струйками, высматривала она, куда бы бежать, и, найдя в фальшборте специально сделанные отверстия, с радостным журчанием устремлялась в них. Но уже снова

опускался нос тральщика, и снова за бортом вырастал любопытный зверь и с шумом и плеском обрушивался на палубу.

Меня поставили в загородку и дали мне в руки деревянный шест с железным загнутым концом.

— Вот тебе пика,— сказал Донеико,— будешь поддевать ею рыбин и класть на рыбодел. Работенка не хитрая, но требует терпения.— Потом подумал, взял веревку и, сделав скользящую петлю, привязал меня за пояс к протянутому неподалеку тросу. Под Ленинградом так привязывают цепных собак. Я мог передвигаться вдоль троса, но не мог отойти далеко.

— Чтоб волна не снесла,— пояснил Донеико.— Таких пистолетов, как ты, она любит.

Склонив голову, он полюбовался на свою работу и отошел.

Матросы выстроились вдоль рыбодела. Я стоял по колено в рыбе, широко расставив ноги, с трудом удерживаясь, чтобы не упасть. Снова я полетел куда-то вниз. Потом меня окатило ледяной водой, и, хотя на мне была непромокаемая одежда, холод пронизал меня с головы до ног. И снова на меня навалилась страшная тяжесть, это палуба пошла вверх, и струйки воды просачивались сквозь рыбу, обтекали мои сапоги и, журча, устремлялись к отверстиям в фальшборте.

— Рыбы,— крикнул Свистунов,— рыбы давай!

Я наклонился, но в это время сзади на меня обрушилась волна, и, уронив пик, я стал на четвереньки, глубоко уйдя руками в трепещущую скользкую рыбу. С трудом я встал, чувствуя, что сердце мое летит вниз, потому что палуба опять поднималась.

— Рыбы, рыбы! — кричали матросы, стуча ножами о рыбодел.

Я выпрямился и взял пик. Вода и ветер не излечили меня от дурноты, но все же привели меня в состояние, при котором я мог хотя бы внешне бодриться. Поэтому я улыбнулся и, подхватив пикой какую-то черно-зеленую рыбу, бросил ее на рыбодел.

— Ох, горе мое! — заорали на меня.— Да ведь это же пинагор, чтоб тебе им на том свете каждый день обедать!

Пинагор полетел за борт, а я, поняв, что он не съедо-

бен, ткнул снова пикой и выловил какую-то странную плоскую четырехугольную рыбку с крысиным хвостом и ртом посредине живота. Даже в моем затуманенном мозгу мелькнула мысль, что рыба эта несъедобная, но в это время меня поддало сзади волной; стремясь удержаться, я вытянул вперед пику, и рыбка скользнула на рыбодел.

Удивительно, какой гвалт поднялся из-за несчастной маленькой рыбки. Так как меня опять облило волной, я не слышал, что мне кричали. Может, оно и к лучшему, Судя по выражению лиц и по широко открытым ртам, ничего приятного я бы и не услышал. Волна схлынула. Ледяные струйки побежали по моей спине, и я услышал спокойно сказанную фразу:

— Вы что же думаете — он от рождения породы рыб знает или как?

Я обернулся — передо мной в зюйдвестке и в широком брезентовом плаще стоял Овчаренко. Взяв из моих рук пику, он стал перебирать рыбу.

— Вот эта большая серебряная — треска. Эта, поменьше, с темной полосой на спине, — пикша. Большая, с круглой головой, пятнистая — зубатка, плоская — камбала, большая плоская — палтус, а розовая колючая — морской окунь. Это все годится. Это на рыбодел. А вот это, — он поднял четырехугольную рыбку со ртом на животе, — это скат. Его за борт. Он не годится. И эти — губки, морские звезды, крабы тоже пойдут за борт. Или их можно оставить Аптекману. Он собирает коллекцию. Понятно?

— Понятно, — кивнул я, упираясь, чтобы не быть сбитым волною.

Овчаренко отдал мне пику, хотел, кажется, еще что-то сказать, но вдруг круто повернулся и очень быстро пошел по палубе.

— Рыбы, рыбы! — кричали матросы, стуча ножами.

Тогда, подцепляя пикой за жабры огромных рыб, я стал одну за другой бросать их на рыбодел. Балбуцкий, стоявший первым с краю, одним ударом отрубал рыбине голову и передавал ее дальше. Тот, кому она попадалась, распластывал ее пополам, вынимал внутренности, отделяя печень, бросал ее в корзину, а внутренности сбрасывал на палубу, после чего рыба падала в люк к засольщикам. И все это делалось с такой быстро-

той, что у меня сердце замерло от ужаса. Быстро я наклонялся, подцеплял рыбину, бросал ее на рыбодел, но все равно не мог успеть за семью парами рук, за семью мелькающими ножами. И опять начинался стук и монотонный крик: «Рыбы, рыбы, рыбы!»

Скоро я изловчился подхватывать несколько рыб сразу. Дело пошло лучше, но уже через полчаса у меня заболела спина, и с каждым разом все труднее становилось нагибаться. Поистине положение мое было незавидно. Меня тошнило, и кружилась голова. Каждые несколько секунд меня окатывало ледяной водой. С трудом я удерживался на ногах, ныла спина, болели руки, я задыхался, не умея экономить движения, но как только я замедлял темп, я слышал стук ножей и монотонные возгласы: «Рыбы, рыбы, рыбы!»

«Болван,— думал я,— нужно было тебе идти в море. Нет для тебя на земле профессии. Все люди как люди, живут, не рыпаются...»

— Рыбы, рыбы, рыбы! — кричали мне.

Задышавшись, я наваливал на рыбодел целую гору рыбы и, с тоской глядя, как быстро она тает, продолжал свои размышления:

«Мог бы поступить в институт. Сиди себе, слушай лекции. Или на завод. И что за муха меня укусила?»

— Рыбы, рыбы! — кричали мне.

«Ой! — думал я.— Не могу. Вот лягу и умру сейчас. Хоть бы сердце скорей разорвалось, что ли. («Рыбы, рыбы!») Ох, не могу, сейчас падаю. Ну вот, тридцать секунд продержусь и упаду. Раз, два, три, четыре... («Рыбы, рыбы!») Еще минуту. Вот новое положение, при нем не так ноет спина. И трещины, как назло, все по пуду. («Рыбы, рыбы!») Сейчас упаду. Теперь уж наверняка».

В это время в рубке зазвенел телеграф.

— Стой, довольно! — крикнул Свистунов.

Обливаясь потом, я разогнул усталую спину. Матросы убирали рыбодел. Загремела лебедка, ваеры, подрагивая, поползли, огибая палубу, от дуг к лебедке.

— Трал поднимать будут,— объяснил мне Донеёко.

Долго гремела лебедка. Мы стали вдоль борта, и я смотрел, как рушились волны и ваеры, дрожа, ползли из воды. Потом в нескольких метрах от тральщика из воды

вынырнул большой красный шар, похожий на детский мяч в сетке. Это от морских окуней он был красен. Из воды вылезли доски и, гремя, лезли к дугам. «Сто-оп!» — закричал кто-то. Началась суетня. Как и в прошлую вахту, я не понимал, кто куда бежит и зачем и что, собственно, происходит, и только метался взад и вперед, когда мне приказывали что-нибудь сделать.

Потом мы стояли все вдоль борта и большими железными крюками подтягивали сеть, когда волна поддавала трал, и удерживали ее на месте, когда волна спадала. Я понял тогда, почему в тихую погоду трал выбирать труднее. Впрочем, и сейчас это было не легкое дело. Крюк застревал в сети, а пропустив секунду, сеть уже невозможно было удержать.

— Слюсарев, — орали на меня, — Слюсарев, бабушка твоя ведьма!

Закусив губу, я прижимал коленом выбранную сеть и тянул крюком и все равно путал, и крюк вырывался из моих рук, и на меня орали, и Силин, тралмейстер, главный хозяин трала, грозил мне кулаком и что-то кричал. Что — я не слышал, но, наверное, ничего хорошего. Теперь у меня не было времени даже подумать о том, почему я такой несчастный и какой черт меня дернул идти в моряки. Под сеть продели трос, и снова загремела лебедка, и огромный трал пошел вверх. Раскачиваясь, повис над палубой мешок с рыбой. Донеюко дернул узел на конце мешка, и в загородку на палубе хлынула рыба. Огромные пикши, трехпудовые палтусы, розовые окуни, крабы, губки, морские звезды. Это было необыкновенно красивое зрелище, но, каюсь, глядя на него, я думал не о красоте.

«Какой ужас, — думал я, — столько рыбы, и всю ее мне придется перекидать на рыбодел!»

Отчаяние овладевало мною, но в этот момент ударили склянки, и я помчался снимать рокон и буксы. Не помню, как я дошел до койки. Свалившись, я заснул как убитый, и мне показалось, что сразу же кто-то закричал над моим ухом: «На вахту, на вахту!» Снова напаялил я проолифленную робу и снова стал в загородке — теперь я узнал, что она называется ящик, — с пикой в руках. И опять я задыхался, и опять кричали мне: «Рыбы, рыбы!», и ледяная волна бросалась мне на плечи, и ныла спина, и опять

ташил я крюком трал, и Силин, грозный тралмейстер, кричал на меня, и я в тысячный раз удивлялся, кой черт заставил меня пойти в моряки.

Но, задыхаясь, чуть не плача, с трудом разгибая спину, считая секунды до конца вахты, подставляя спину холодной волне, все реже я вспоминал о качке, все реже чувствовал, что лечу в неизвестность, все реже ощущал страшную тяжесть, когда нос тральщика поднимался кверху.

Глава XV

Я ПРИХОЖУ В СЕБЯ

Все-таки прошло несколько дней, прежде чем я окончательно пришел в себя. Мне трудно сейчас восстановить в подробностях, как это было. Первые дни покрыты в моей памяти туманом, и я вспоминаю только суету, тошноту, усталость и отдельные, выхваченные из тумана частности. Так, помнится мне молчаливый маленький человек, которого все называли Наум Исаакович. Выпачканный маслом, он вылезал из недр машинного отделения каждый раз после подъема трала. Молча он рылся в ящике и вытаскивал то большого красного краба, то морскую звезду, то маленького колючего ежика. Осмотрев добычу, он хмыкал и молча уходил. Однажды я нечаянно проткнул пикой огромного краба, которого Наум Исаакович, видимо, собирался забрать. Став передо мной, он ткнул пальцем мне в лоб, потом постучал о мачту, покачал головой, присвистнул и, выбросив краба за борт, сказал: «Вещь испортил». Я стоял растерянный, удивляясь тому, как много сказано при таком малом количестве слов. Матросы помирали с хохоту. Наум Исаакович, забрав двух морских звезд и ежа, ушел.

Конечно, помню я стук ножей и крик: «Рыбы, рыбы!» Сколько уже лет прошло, а этот крик до сих пор ясно звучит у меня в ушах. Очень ясно вспоминаю я первую беседу свою с капитаном и помполитом. Как-то — кажется, на третий или четвертый день после начала лова — я почувствовал себя окончательно выбившимся из сил. Рыбы было особенно много, вахта казалась мне необычайно длинной, и, как я ни напрягался, я не мог поспеть

за шкерщиками, работавшими сегодня, как мне казалось, особенно быстро. И вот наступил момент, когда шкерщики напрасно стучали ножами о рыбодел. Я стоял неподвижно, опершись о пику, и чувствовал, что если даже весь океан ринется на меня, я не смогу подать ни одной рыбы. Я даже не думал о том, что сделать. Сказаться больным? Объяснить, что больше я не могу? Броситься от позора за борт? Я просто стоял и чувствовал, что не могу двинуться. И вот в эту тяжелую для меня минуту меня окликнули: «Слюсарев!» Я поднял голову. Кричал капитан, высунувшись в окно рубки. «Идите, станьте на руль».

Почувствовав, что подавать рыбу больше не надо, я снова обрел силы. Бросив пику, я побежал.

— Сними рокон и буксы! — кричали мне.

Я их сбросил в сушилке и быстро взбежал по трапу. В рубке было чисто и тихо. Покачивался компас, на столе лежали исколотые циркулем карты. Рулевой передал мне штурвал, сказал: «Двести восемьдесят» — и ушел. Я остался стоять с довольно растерянным видом. Действительно, на компасе были какие-то цифры, но что нужно делать, я не знал. Студенцов шагал взад и вперед, курил трубку и поглядывал на меня. Мне казалось, что в глазах у него усмешка.

— Если говорят: курс двести восемьдесят, — сказал он, когда я с горя резко крутанул колесо, — значит, вот эта черта должна находиться над названной цифрой. — Потом он взялся за колесо и минут пятнадцать показывал, как делать, чтобы судно не рыскало и шло точно по нужному направлению.

По совести говоря, стоять у штурвала показалось мне довольно легко. Скоро я уловил механику этого дела и вел тральщик без особенно заметных ошибок.

Сейчас, впервые за эти дни, я снова оглядывал океан. Он волновался, темный и хмурый, под ровным серым небом. Я с удивлением увидел, что волны вовсе не «ходят», как это говорится обычно. Мне казалось, скорее, что беспорядочно в разных местах поднимаются водяные горы, как будто их тянут к тучам невидимые нити, и опускаются вниз, как будто нити рвутся одна за другой. Иногда поднимались они так высоко, что снежные шапки покрывали их сверху: это белая пена пенилась на

вершинах, и к белой пене, к вершине водяной горы, став на дыбы, карабкался тральщик. Но рвалась нить, гора рушилась вниз, и волна хлестала на палубу, обливая матросов и рыбу, волоча рыбы головы, крабов, звезды, большие круглые губки. И снова тральщик полз на волну, высоко поднимая нос.

— Трудновато приходится? — услышал я негромкий голос.

Я обернулся. Капитан Студенцов внимательно разглядывал трубку. Я сразу отвел глаза. И так уже я долго смотрел на море, и черта на компасе отошла от цифры 280 довольно далеко.

— Немного заело, товарищ капитан, — ответил я, ворочая штурвал.

Пытаясь раскурить трубку, он подтвердил:

— Бывает, бывает. — За спиной я слышал, как он недовольно сопит, и краем глаза видел, что он копается в трубке. — Вы насчет качки не беспокойтесь, — рассуждал он спокойно и неторопливо. — У некоторых это бывает врожденное, но у большинства просто с непривычки. У вас-то пройдет. Я наблюдал за вами. Вам уже и сейчас легче. Вы, главное, не думайте, что вас качает. Ведите себя так, будто вы раскачиваете тральщик. Активнее, понимаете? И уверенно. Не то, чтобы не замечать качки, а наоборот, принаравливаться...

До того, как он начал говорить, я и не думал о качке. Теперь, вспомнив о ней, я с испугом посмотрел на нос корабля. Он шел вниз. Я ждал, что сейчас опять появится это невыносимое чувство падения в пустоту, но тело мое наклонилось вместе с тральщиком, и произошло это помимо моей воли, по незаметно для меня создавшейся привычке. И когда в следующий раз опустился тральщик, я предупредил его. Я нажимал ногою на палубу, и мне действительно показалось, что это я раскачиваю судно. Я удовлетворенно хмыкнул и повернулся, услышав стук открывшейся двери. Вошел Овчаренко. Молча кивнув мне, он уселся на табурет.

— Вот, — сказал капитан, — учу парня, как качку переносить. Может, послушаешь?

Не глядя на меня, Овчаренко усмехнулся.

— У него — что! У него пройдет. — Потом повернулся ко мне и сказал: — Слушайте, Слюсарев.

Я поднял глаза. Он смотрел на меня, и от сдерживаемого смеха у него подрагивали уголки губ.

— Слушайте, Слюсарев, я только сегодня узнал, что вас, можно сказать, силою, помимо вашей воли, выволокли на палубу и поставили к рыбобделу. Это форменное безобразие. Я решил принять строжайшие меры в отношении виновных. Но сейчас я смотрю на вас и сомневаюсь. Вас, кажется, не укачивает. От работы вы устаете, но, по-моему, меньше, чем раньше. Сегодня, мне кажется, вы больше от однообразия одурели. Надо вам шкерить учиться. А это, конечно, черт знает что. Возмутительная история, надо было сразу мне заявить. Но, если уж так случилось,— он замялся,— так, может, оно и к лучшему? А?

Я посмотрел на палубу. Товарищи мои, оживленно беседуя, работали за рыбобделом. Парень, которого я сменил у руля, ровно и быстро кидал рыбу. Океан был очень красив. Волна плеснула на палубу. Свежий, пахнущий морем ветер ворвался в рубку. Глядя прямо в улыбающиеся глаза Овчаренко, я ответил ему очень серьезно:

— По-моему, к лучшему, товарищ Овчаренко.

Капитан сунул трубку в карман и неожиданно громко и весело расхохотался.

Я стоял на руле до самого конца вахты, мы разговаривали все трое весело и дружелюбно, как давно знакомые люди. Меня расспросили, кто я, откуда, и я рассказал им свою историю, умолчав только о встрече с Лизой. Оба они одобрили мое намерение начать свою морскую службу на промысловом судне. По совести говоря, я не очень напирал на то, что это вышло случайно. В моем рассказе мое поступление на тральщик казалось следствием глубоко продуманного решения. Капитан сказал по этому поводу так:

— Видите ли, Слюсарев, работа на тральщике труднее работы в торговом флоте. Кроме обычной матросской работы, вы здесь возитесь с тралом и обрабатываете рыбу. И согласитесь, что из ваших обязанностей это самые трудные. Кроме того, условия плавания на Севере значительно тяжелей, чем в средних широтах. Поэтому я и говорю, что вы правильно сделали. Если вы выдержите здесь, а я, честно говоря, думаю, что выдержите, то

любой рейс покажется вам пустяком. Траловый флот — это хорошая школа.

— Да,— сказал Овчаренко,— траловый флот...— Лицо его изменилось, и он быстро вышел из рубки.

Капитан наклонился над компасом, проверяя курс, и не обратил внимания на мой удивленный взгляд.

— Вам повезло,— продолжал он, отойдя от компаса,— что вы встретились с Голубничим. Голубничий — замечательный человек. Он настоящий моряк, любит и понимает море.

Тогда я рассказал, что Голубничий не одобрил моего намерения идти матросом, вместо того чтобы учиться водить корабли. В это время вернулся Овчаренко. Он сел на табурет около стола с картами и, внимательно дослушав меня, сказал:

— Я думаю, что в этом Голубничий не совсем прав. Он сам начал с матроса, и, кажется, это не помешало ему стать капитаном. Да и Студенцов, который, как видите, умеет водить суда, был несколько лет назад матросом. Неважно, с чего начать. Важно, чем кончить.

Так мы беседовали, и, когда пробили склянки, я, сдав штурвал матросу третьей вахты, впервые за три дня с удовольствием, не торопясь пообедал. Мне кажется, что именно с этой вахты я стал по-настоящему приходить в себя, и мои воспоминания с этого времени становятся гораздо ясней. Произошло это главным образом потому, что я наконец заметил: меня не укачивает. Пропал страх перед волной, перед плеском воды, перед опускающимся носом тральщика. Кроме этого, разговор с Овчаренко и Студенцовым сильно поднял меня в собственных моих глазах. «Они-то понимают,— рассуждал я.— Уж если они думают, что моряк из меня получится,— значит, так тому и быть». А когда я решил, что работа мне удастся, она и в самом деле начала удаваться.

Уже в следующий раз, когда меня позвали на вахту, я довольно спокойно и ровно стал кидать рыбу и без особого труда додержался до подъема трала. После подъема осталось до конца вахты два часа, и я окончательно успокоился. Кидая рыбу, я даже стал прислушиваться к разговору, который вели между собой матросы. Работа шкерщика — механическая работа. Поэтому за шкеркой на тральщике самое «беседовое», как говорили

матросы, время. Плескала волна, океан хмурился за бортами, а здесь, на палубе, монотонно и успокаивающе стучали ножи и текла спокойная, неторопливая беседа. Я смотрел на своих товарищей, стоявших вокруг рыбододела, и меня охватывало чувство спокойствия и уюта. Много было смеха и шуток, много рассказывалось историй о капитанах и штурманах, о старых мореходах, знающих каждый камень у берега, каждый кусочек дна, о знаменитых тралмейстерах, у которых трал за сто миль притягивает рыбу, о хороших матросах, из-за которых ссорятся капитаны, о юнгах, ставших начальниками флотий.

С интересом слушал я разговоры, и время текло незаметно, и ящик пустел, и, когда ударили склянки, мне даже стало обидно, что я не услышу конца истории о семи мореходах, бот которых занесло ураганом на Новую Землю.

Соседом моим по каюте был Свистунов. Стыдно сказать, но я только сейчас узнал об этом. Прежде я так торопился заснуть и так старался встать как можно позже, что не интересовался, кто спит наверху. Только сейчас, впервые перед тем, как лечь спать, мы с ним побеседовали.

— Знаете,— сказал я,— меня уже не укачивает. И работать мне теперь кажется не тяжело.

— Что ж,— ответил он, неторопливо стягивая сапог,— дело хорошее. Вот, значит, из тебя и выходит моряк. Теперь тебе надо шкерить.

На следующую вахту я стал к рыбододелу. Шкерку освоил я довольно быстро. Дня через два я если и не мог состязаться с такими мастерами, как Донеико или Свистунов, то, во всяком случае, не отставал от Балбуцкого и от многих других. Время шло, и все больше я втягивался в матросскую жизнь, и все больше находил в ней радостного и интересного. Вместе с другими становился я за рыбодел и вместе с другими стучал ножом и кричал: «Рыбы, рыбы!», когда подавальщик задерживался. При подъеме трала я уже не метался без толку, а точно знал свое место, бежал заносить лопарь, потом стоял у лебедки, потом выбирал себе крюк получше и становился подтягивать сеть. Особенно я любил развязывать узел на конце трала. Дернув за веревку, я отскакивал в сторону,

и на палубу изливался серебряно-красный дождь; рыбы скакали, крабы шевелили клешнями, морские звезды пытались присосаться к палубе. Иногда падала темная большая акула. Ее оттаскивали в сторону, и она лежала, вздрагивая, и била хвостом о палубу, и мы обходили ее, потому что удар мог быть опасен.

Я узнал по фамилиям и по прозвищам почти всех матросов. Со многими из них у меня установились дружеские отношения. Кроме Донейко и Свистунова, к числу моих друзей примкнул еще медлительный, очень высокий парень со странным прозвищем Полтора Семена,— тот самый, которого я первым увидел ночью, попав на тральщик. Однажды он подсел ко мне, когда я в свободное время развлекался швырянием разных предметов в глупышей, удивительно глупую и надоедливую разновидность чаек, посопел огромным своим, уныло свисающим носом и спросил:

— Как тебя дразнят?

— По-разному,— покраснев, объяснил я.— Шляпой, оболтусом, размазней, еще несколькими словами. А такого, постоянного слова как будто пока нет.

Он засопел еще громче, внимательно на меня посмотрел и часто-часто замигал. Глаза у него от природы были удивленные, какого-то белесого цвета.

— Как тебя дразнят,— пояснил он,— это значит, что я тебя спрашиваю, как тебя зовут. Это выражение такое, понятно?

Покраснев еще больше, я объяснил, что зовут меня Женья, после чего он научил меня ловить глупышей. Надо было навязать на конец веревки рыбы внутренности и бросить на палубе. Проглотив их, жадная птица ловилась, как рыба на удочку. Это очень веселое, но бесцельное занятие: поймав глупыша, мы сразу же его выпускали. У нас с Семеном установились дружеские отношения. Я любил в нем спокойствие и неторопливость, ему нравилось объяснять неопытному мальчишке всякие морские слова и обычаи.

Еще мне очень нравился наш тралмейстер Силин. Во время работы он был свиреп и придиричив. Он носился как бешеный, на всех орал и сам работал за десятерых. Если кто-нибудь медленно тащил тали, он хватал их сам и мчался с невероятной скоростью. Если кто-нибудь не

успевал зачинить трал, он вырывал иглу и чинил сам, при этом он страшно ругался, и чувствовалось, как он злится на всех, потому что все, с его точки зрения, работают плохо, медленно и лениво. Иногда он впадал в исступление, а иногда доходил до отчаяния. Тогда он останавливался, наклонял голову набок, и руки его повисали как плети.

— Человек ты или не человек? — плачущим голосом говорил он Балбуцкому, зазевавшемуся у лебедки. — Будешь ты вирать, когда тебе говорят вирай, или не будешь? — И всегда во время работы усы его топорщились вверх.

В свободное время это был скромный, стеснительный человек, очень молчаливый и тихий. Смущенно улыбаясь, подсаживался он к собравшимся кружком матросам, молчал, с удовольствием слушал разговоры и песни и краснел, когда к нему обращались.

Раздавался сигнал к подъему трала. Вихрем начинал носиться тралмейстер по палубе, и громкий голос его далеко разносился над океаном.

В свободное от вахты время мне не приходилось скучать. После обеда мы обычно играли в «козла», громко стуча костяшками о стол, издеваясь над проигравшими и ругая друг друга за промахи. Часто и много пели. Иногда мы располагались на палубе, а чаще на рострах, где нам никто не мешал. Дня через два после того, как я пришел в себя, ветер утих, и океан снова стал светло-голубым, спокойным и гладким. Глупыши покачивались на еле заметной волне, и воздух был так чист, что все было видно во много раз ясней, чем обычно. С украшенной бантом гитарой поднимался на ростры салогрей, толстяк, у которого ярко блестела кожа не то от рыбьего жира, не то от своего собственного. Настроив гитару, он начинал петь мягким, красивым голосом. Некоторые подпевали ему, другие слушали, полулежа на свертках канатов, следя за драками и суетней глупышей вокруг рыбьих внутренностей.

Слышен звон телеграфа в машине,
Это значит — машину готовь,
И механик кричит кочегару:
«Подшуруй и забудь про любовь». —

с надрывом пел салогрей, весь отдаваясь грустному настроению песни, и лицо его, румяное, блестящее от жира, становилось выразительным и красивым. С палубы доносился до нас стук ножей, приглушенная беседа шкерщиков и крики дерущихся глупышей. В рубке звонил телеграф, молодой парень «маркони» — радист — выходил из своей каюты и, облокотившись о поручни, смотрел, как ровно колыхается море, матросы молчали, некоторые смотрели на океан, другие следили за неторопливым полетом поморника, большой горделивой птицы, медленно пролетавшей над мачтами нашего судна.

«Все кончено! — представлял себе я. — Вежливо простившись с Лизой, не дав ей почувствовать, какое горе сжимает мне сердце, я ухожу на корабль. Пора. Убраны сходни, берег скрывается вдалеке. Я, как обычно, спокоен и весел, только, может быть, иногда дольше, чем обычно, смотрю на океан. Никто не знает, что после последнего разговора с Лизой, когда она, засмеявшись, отрицательно покачала головой, душа моя умерла и только оболочка шагает взад и вперед по мостику». Потом мне все-таки становилось обидно, что никто этого не знает, и я представил себе, что, наоборот, все заметили это и восторгаются моей выдержкой.

Раскинулось море широко,
Берега исчезают вдали.
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от нашей земли...—

пел салогрей.

Отчего это в юности всегда представляются события грустные и трагические? Может быть, оттого, что они требуют от человека мужества, а в юности очень хочется быть мужественным.

Свистунов пел совсем не так, как салогрей.

— А вот еще есть старая песня, — говорил он очень деловым тоном, — про одного беднягу штурмана в прежнее время.

Потом он начинал петь, слегка жмурясь, очень четко выговаривая слова и в такт покачиваясь. В песнях его обычно рассказывалась какая-нибудь история, и главное было не настроение, а излагаемые факты. Так как мно-

гие из песен были непомерно длинны, часть песни он иногда излагал своими словами.

Он пел:

Классы кончивши, штурманом звался я,
Ну, а плавать матросом пошел...—

И тут переходил на прозу: — Дальше он поступает матросом, и к нему очень придираются и не дают ходу, так что потом он...— И снова шла песня:

...С мачты бросившись вниз головою...

Слушали его из уважения. Песни салогрея любили больше.

Иногда затягивали песню все вместе, хором, и тогда у всех становились серьезные лица, и все старательно выводили каждое слово. Иногда, в свободное время, Шкебин и Мацейс, работавшие в первой вахте, присоединялись к нам. Оба они любили компанию. Мацейс чаще пел веселые, шуточные песни. Знал он их бесконечное множество. Взяв у салогрея гитару, он начинал:

В тресково-окуновом госрыбтресте...

Или клятву моряка:

Клянусь я шкертиком и вахтой,
Клянусь нактоузным котлом...

Мне не особенно нравились его песни. Слушая их, я не мог представить себе ничего мужественного и героического из своей будущей жизни. Но сам Мацейс был красивым и обаятельным парнем. На каждое слово у него находился ответ, все он знал и все делал уверенно и спокойно.

Ко мне он относился дружелюбно. Звал меня Женькой, порою со мной шутил, иногда, подойдя сзади, неожиданно изо всей силы хлопал меня по плечу и, когда, вздрогнув, я оборачивался, объяснял с очень серьезным лицом:

— Спас тебе жизнь. Убил на тебе ядовитую муху цеце,— и сдувал с руки воображаемую муху.

Однако, при всей внешней фамильярности наших отношений, я всегда в тоне его чувствовал, что он знающий, опытный моряк, а я «пистолет» и мальчишка. О встрече нашей до судна мы не вспоминали ни разу. По совести говоря, я вообще как-то забыл береговые свои приключения. Вернее — не то чтобы забыл, а как-то ни разу о них не подумал. Очень уж оттеснили их новые события и новые люди. Незначительный случай заставил меня все снова вспомнить.

Однажды, приладив на мостках бочонок, разложили мы небольшой огонек и коптили четырех свежих морских окуней. Это мы делали часто. Рыбы на тральщике сколько угодно, а ничего вкусней только что закопченного морского окуня я, по-моему, в своей жизни не ел. И вот Донеико забеспокоился, успеют ли закоптиться окуни до нашей вахты.

— Который час, ребята? — окликнул он матросов, работавших на палубе.

Мацейс оттянул рукав и взглянул на часы. Я не слышал, что он ответил. Я вздрогнул. На его руке были золотые часы, те самые, которые — я это точно помнил — он оставил Юшке. Почему же часы опять у Мацейса? Не нужно было быть сыщиком, чтобы догадаться: значит, когда началась суматоха, Мацейс часы сунул в карман. Не моральная сторона этого поступка смущала меня. В конце концов вор у вора дубинку украл. Мне-то какое дело? Но сразу в памяти моей с удивительной ясностью встала соломенная пещера, и поблескивавшие в темном углу глаза Мацейса, и обрывки разговоров, один другого подозрительнее.

Я огляделся. Солнце светило вовсю. Белые глупыши летали над светло-голубым морем. Чистый, нетронутый снег лежал кое-где на палубе и на чехлах шлюпок. Весело стучали ножи шкерщиков, и Жорка Мацейс, может быть, самый веселый и славный из этих парней, между делом взбегал к нам по трапу и с интересом заглядывал в бочонок. Здоровьем, силой так и веяло от его статной, крепкой фигуры. Смеясь, он рассказывал что-то Донеико. Но, глядя на него, я видел соломенную пещеру, отвратительного старика, кусавшего сырую рыбу, и Жору Ма-

цейса, склонившегося над тряпкой, в которой завернуты какие-то документы.

Я не мог этого вынести. Не дождавшись, когда закоптит окунь, я встал и ушел в кубрик и до самой вахты провалялся на койке, в тысячный раз заново вспоминая и передумывая мои приключения на берегу.

Глава XVI

В ГОРОДЕ БЕЛЫХ ПТИЦ

Слишком много было вокруг интересного и увлекательного, чтобы скверное мое настроение могло продержаться долго. Постепенно Юшка, лица, склоненные над фонарем, соломенная пещера — снова забылись. Да и что я, в сущности говоря, знал об этой ночи? Что хоронили какого-то замерзшего человека? Что ребята, которым негде было ночевать, пошли ночевать к подозрительному старику в соломенную пещеру? Что велись подозрительные разговоры? Что доставались зачем-то паспорта? Но насчет паспортов я вовсе не был уверен. Я был тогда в таком состоянии, что мне могло показаться все, что угодно. Может быть, ни о каких паспортах и речи не было. Может быть, никто и не давал Юшке часы в залог. Может быть, мне это просто привиделось, и тогда ничего удивительного нет в том, что часы оказались на руке у Мацейса.

Так успокаивал я себя и успокоил, и только одно оставалось на память об этой ночи — неприятное и страшное ощущение, что случайно, сам не желая этого, я заглянул в темную яму и увидел что-то грязное и отвратительное. И как ни старался спокойно посмотреть на Мацейса и Шкебина, как ни любовался их ловкостью и уверенностью, все равно за веселым лицом Мацейса, за грубоватым и добродушным Шкебиным я видел копошащуюся фигуру в лохмотьях, тусклый свет фонаря, глаза, блестящие в темном углу, руку, лихорадочно ищущую нож. Тогда тоска сжимала мне сердце, и от бессмысленного ужаса холодела спина.

Впрочем, ощущение это появлялось только тогда, когда я видел Мацейса и Шкебина. В остальное время

погода была прекрасная, океан красив и спокоен, а матросы, засольщики и кочегары были хорошими моими товарищами, вместе с которыми мы много работали, много ели, много смеялись, пели песни, коптили окуней, солили икру зубатки и пинагора, разговаривали, шутили, рассказывали истории — словом, занимались интересным и увлекательным делом — рыбным промыслом. Часто теперь вызывал меня капитан к рулю. Он относился ко мне очень дружелюбно, много дал мне полезных советов, как лучше шкерить, как удобней захватывать трал крюком, как коптить окуня, как обработать морскую звезду и краба так, чтобы можно было послать их родным на память.

Однажды я заглянул в каюту «маркони» — так моряки называют радистов. Радист, совсем молодой парень, видимо, очень скучал. Он не имел права надолго уйти из каюты, потому что всегда мог его вызвать берег. Мы разговорились. Он показал мне аппаратуру, поймал Финмаркен, потом Осло, потом Стокгольм. Мы слушали музыку, летящую над океаном, песни норвежцев и шведов. Потом берег стал передавать сводки, и, хотя маркони просил меня не уходить, потому что ему надоело быть одному, я, соскучившись, убежал. Все-таки с тех пор я обязательно каждый день забегаю к нему на часок послушать музыку, половить разные станции и поболтать. Он был очень неплохой парень. Мы скоро подружились, но имя его я узнал значительно позже. На судах так привыкли звать радистов «маркони», что, кажется, им и не нужно другого имени.

Я окончательно освоился с морем. Я чувствовал, что тральщик — это мой дом и нет у меня более близких людей, чем команда «РТ 89». Я развязно начал себя держать. За шкеркой теперь больше всех трепались я и Балбуцкий. Мы вдвоем вели длинные шуточные диалоги и никогда не упускали случая поиздеваться над кем только можно. Я вообще заметил, что новички, которые сначала смущаются, обычно потом впадают в противоположную крайность. Теперь я болтал без удержу. Я острил над Донеико и Свистуновым, показывал, как Свистунов поет, как говорит засольщик, у которого не было четырех передних зубов, и, когда Наум Аптекман рылся в ящике, выискивая морские редкости, я передразнивал обезьянью его походку, его странную манеру говорить и жестикули-

ровать. Надо сказать, что мне многое спускали с рук. Свистунов только улыбался, выслушивая мои шутки, Донеико довольно беззлобно отшучивался, Аптекман просто не обращал на меня внимания, а засольщик, правда, грозил иногда кулаком, но, кажется, больше для порядка, чем по злобе. Один только раз меня поставили на место, и я всегда с чувством стыда вспоминаю об этом случае. После нескольких дней тихой погоды океан снова заволновался, волна стала захлестывать палубу, и ветер свистел в снастях. На меня в этот раз перемена погоды не произвела впечатления. Я уже знал, что это не шторм, а «ветерок баллов на пять», и что он только поможет выбирать трал. Рыбы в это время было много, тралы поднимали по три, по четыре тонны, и ее с большим трудом успевали обработать. Никто поэтому не удивился, когда Овчаренко, надев широкий брезентовый плащ, взял нож и стал к рыбоделу. Когда рыбы бывало много и матросы не справлялись, свободные от вахты штурманы, механики и даже сам капитан часто шли шкерить. Овчаренко поработал минут тридцать, не больше. Он шутил и смеялся, работал быстро и хорошо, потом вдруг положил нож, повернулся и быстро пошел по палубе.

— Что с ним? — спросил я, когда он скрылся за надстройкой.

— Море бьет, — негромко сказал Свистунов, расплывая огромную зубатку. — Никак у человека организм привыкнуть не может.

Мне это показалось ужасно смешным.

— Ах, боже! — сказал я, подражая голосу некоего воображаемого маменькиного сынка. — Мамочка, сунь мне два пальца в рот. Если бы ты знала, как тяжело плавать! Мне бы сидеть, дурачку, дома, а я не послушал тебя, пошел в море...

Никто даже не улыбнулся. Как будто не слышали моих слов. Стучали ножи, распластанные рыбыны падали в трюм.

— Помнится мне, — негромко сказал Донеико, задумчиво глядя на свой нож, который, казалось ему, затупил, — помнится мне, маменькины сынки, когда их бьет море, лежат на койке без задних ног. Помнится мне, что еще недавно нам пришлось одного такого силою поднимать на палубу.

Краска бросилась мне в лицо. Я стоял, сгорая со стыда, и никак не мог распластать небольшую пикшу. На меня никто не смотрел, как будто меня не было. Все молчали, и только монотонно стучали ножи. Потом заговорил Свистунов — спокойно, лениво, как будто он ни к кому не обращался, а только рассуждал сам с собой.

— Что ж,— сказал он,— если человека бьет море, ничего в этом такого нет. Бывают хорошие моряки, старые капитаны, которых еще как бьет. Тут надо смотреть на выдержку. Если человек держится, в этом геройства больше, чем если у него организм сам морю не поддается.

Он замолчал, сбросил в трюм кучу рыбы, накопившуюся на рыбоделе, и спокойно продолжал шкерить. Больше на эту тему не было сказано ни одного слова. Когда вернулся Овчаренко, завязался общий разговор, в котором я не принимал участия. После конца вахты я спустился в кубрик. Мне было очень стыдно. Я притворился спящим, когда Свистунов вошел в каюту. На следующую вахту я вышел, немного взбодрившись, но уже никого не передразнивал, помалкивал и слушал, что говорят другие.

— Что это вы, Слюсарев, приуныли? — услышал я неожиданно ласковый голос.

Овчаренко стоял возле меня и улыбался. Я вспыхнул весь и стоял, не зная, что ответить.

— Не выпался,— выручил меня Донеико.— Молодой еще. Все на море глядит.

— Ничего,— сказал Овчаренко,— образуется. Моряком будет.

Я пролепетал что-то непонятное. Вскоре Свистунов попросил меня подвинуть ему рыбу, а потом незаметно меня втянули в разговор, и тяжелое чувство стыда сгладилось. Но больше я зря не болтал, как прежде.

Удивительно, как быстро меняется в Баренцевом море погода. Снова сияло солнце, и море лежало светло-голубое, гладкое, как будто и не бывало волн и ветер не свистел в снастях. Однажды мы увидели берег. Белые, покрытые снегом скалы тянулись по горизонту. К вечеру они были совсем близко. Весна уже изменила их. Снег сходил, и кое-где виден был голый черный гранит. Водопады свергались с обрывов, потоки, бурля, вливались

в море. Ночью мы вошли в губу. Утром берега были с обоих бортов. Снова пошел под воду трал, мы описывали большие круги по широкой губе. Моя вахта кончилась в восемь часов. Донеико отправился к капитану и через пять минут, гремя сапогами, скатился по трапу вниз.

— Старик разрешает! — орал он, размахивая вязаной шапкой. — Собирайся!

Из рубки высунулось веселое лицо двадцатитрехлетнего капитана.

— Это вы меня стариком величаете? — спросил он, старательно хмуря брови.

— Простите, Николай Николаевич, — крикнул Донеико, — оговорился! — промелькнул и исчез в кубрике.

На тральщике поднялась суета. Мы носились взад и вперед, сталкивались друг с другом, беззлобно переругивались. Свистунов выторговывал у кока лишнюю буханку хлеба. Полтора Семена тащил трех окуньков свежего, собственного копчения, Донеико с засольщиком подготавливали к спуску шлюпку, Балбуцкий, торопясь, нес какие-то ведра. Скоро мы все собрались у шлюпки. Развернулись шлюпбалки, шлюпка повисла над водой.

Мы отправлялись на птичий базар собирать яйца. Тральщик должен был нас забрать, когда он, сделав круг, снова пройдет мимо этих крутых, обрывистых берегов.

Старший штурман Бабин, молчаливый человек с очень красным лицом, командовал спуском шлюпки, проверяя скорость работы по часам.

Шлюпка коснулась воды. Матросы быстро спустились по лопарям талей. К рулю сел Бабин. Сверху нам передавали веревки и ведра. Мацейс, низко наклонившись, укладывал их под банки. Какой-то матрос — я видел только его спину — стал с багром на носу, приготовившись оттолкнуть шлюпку при отходе от борта.

— Отваливай! — скомандовал Бабин.

Отдали фалини.

— Весла!

Весла откинулись в уключины.

— На воду!

Бабин спрятал часы. Лопасты весел легли на воду, напряглись спины гребцов, и шлюпка, рванувшись, по-

неслась к пустынному берегу. Матрос, который отталкивался шестом, обернулся, и я узнал Шкебина. «Раз — два, раз — два», — негромко отсчитывал Бабин, и лопасти весел поднимались и опускались в такт, и тральщик все удалялся от нас, и голые, дикие скалы становились все ближе, и струйки воды журчали за кормою шлюпки.

— Донейко, в чем дело? — крикнул вдруг Бабин.

Я оглянулся. Донейко сидел неподвижно, высоко подняв весло.

— Что за черт, — услышал я его приглушенное бормотание, — ведь ты же не из нашей вахты, как же ты тут очутился?

Ответил ему уверенный голос Мацейса:

— Ну так что ж? Мы из первой вахты. Нам вступать в двенадцать часов. Разве мы не успеем вернуться?

— Как это — мы? — строго спросил Бабин. — Кроме вас, есть еще кто-нибудь?

— Я и Шкебин. Больше, кажется, никого. Да в чем, собственно говоря, дело?

— «В чем дело, в чем дело»! — взревел Бабин, и красное его лицо стало от гнева лиловым. — В том дело, что Студенцов заберет нас часов в четырнадцать, а то и в пятнадцать. А вам в двенадцать на вахту. И вы мне не заливайте, будто вы не знали. Погулять захотели?

— Пожалуйста, — загнузил Мацейс, и лицо у него стало очень обиженное, — если вы так считаете, верните нас. Большой интерес, подумаешь. Не видали мы птичьих базаров. Мы ведь только, за компанию.

Тральщик дымил уже так далеко от нас, что с трудом можно было различить людей на палубе. Конечно, Мацейс прекрасно понимал, что вернуться нет никакой возможности. Понимал это и Бабин. Он выругался, пригрозил, что «ничего, Студенцов вам покажет, где раки зимуют», и перестал обращать внимание на непрошенных спутников. Лодка шла ровно и быстро, и скоро берег был совсем близко. Даже отсюда скалы казались не очень высокими и прибрежные камни — совсем небольшими камешками. Когда шлюпка подошла к ослепительно белому берегу прибрежному камню, зашумели тысячи крыльев, и стая птиц поднялась над нами. Я никогда не думал, что птицы могут сидеть так густо. Они покрывали камень сплошным белым покровом, и, когда поднялись ра-

зом, камень оказался черным. Мы вытащили шлюпку на каменистый берег. Здесь, в губе, прибор был еле замечен. Чистая, прозрачная вода плескалась между камнями. И камни теперь уже не казались маленькими. Мы терялись, крошечная группа людей, среди бесконечного нагромождения гранита. За неширокою гранитною полосой высились гигантские обрывы. Камень лежал пластами, и обрывы состояли из многих сотен пластов, круто обрезанных гигантским ножом. И вот на этих обрывах, на выступах и в углублениях неровно обрезанных пластов гнездились птицы. Птицы! На тысячи метров вдаль, на сотни метров вверх теснились одно к одному их гнезда. Птицы кружились стаями в воздухе, и если, стоя у обрыва, запрокинуть голову, то казалось, что облако висит над головой, вечно бурлящее, необыкновенное облако. Камень внизу был густо покрыт птичьим пометом, непрерывно шумели тысячи крыльев, не смолкал унылый и резкий крик тысяч и тысяч птиц. Мы стояли внизу, маленькая группка людей, а кругом была каменная пустыня, первобытная порода обрывалась, дойдя до конца света; птицы, извечные хозяева этих мест, носились в холодном северном воздухе и так настойчиво и громко кричали, будто заклинали нас удалиться.

Настроение было у нас прекрасное. Мы прыгали по камням, гонялись друг за другом, резвились, как маленькие дети. Свистунов, присев на край прибрежного камня, закурил трубку и жмурился на солнце, на море, на скалы и птиц, на нас, казавшихся меньше самого маленького из камней. Бабин в бинокль смотрел на бесчисленные этажи птичьих гнезд, на облепленный гнездами обрыв, на то, что коротко называется птичьим базаром.

Но вот, напрыгавшись по камням, двинулись мы на завоевание чудесного города белых птиц. Мы гуськом шли по пологим пластам гранита, чтобы обходным путем подняться на вершины скал и сверху напасть на город. Через плечи надеты были на нас свертки канатов, в руках мы несли ведра, чтобы складывать в них добычу. Мы шли, и все дальше открывался перед нами берег — голый гранит во все стороны без конца. Впереди маршировал Донеико, отбивая о дно ведра барабанную дробь. Мы шли один за другим, и не знаю, как другие, но я

чувствовал себя смелым исследователем, победителем диких пустынь. Так поднялись мы на вершину скалы и огляделись. Губа лежала далеко внизу, окруженная скалистыми берегами, освещенная солнцем, и все вокруг было так пустынно и дико, будто никогда еще здесь не ступала нога человека. Потом я увидел далеко-далеко крохотное суденышко, ползущее по голубой воде, и позади него — еле заметный дымок. Это наш тральщик удалялся от нас; и каким же маленьким казался он мне отсюда!

Странно — в этом пустынном месте нам всем захотелось кричать. Мы орали друг другу «ого» и «эгей» или просто кричали бессмысленные слова, чтобы услышать, как их повторяет эхо. Даже Бабин, которому штурманское достоинство не позволяло поддаваться таким легкомысленным желаниям, и то вдруг заорал во весь голос: «Видимость отличная, ого-го-о-о», — после чего страшно смутился и из красного сделался совершенно лиловым. Так мы дурачились, пока Свистунов не сказал сердитым голосом:

— Пора, ребята, пора, а то не набираем ничего.

Тогда, осмотрев лежавший под нами город, мы двинулись в наступление. Донеико, Свистунов и Полтора Семена обвязали себя веревками, а мы, остальные, прилегли за камнями, чтоб нас не стянуло вниз, и тихо потравливали концы. Охотники ползли по обрыву, у каждого ведро привязано к поясу, у каждого нож в руке, чтобы обороняться от птиц. Скоро они, один за другим, закричали «сто-оп», мы закрепили концы за камни, и я подполз к краю обрыва. У меня закружилась голова, когда я посмотрел вниз. Я не думал, что мы забрались так высоко. Отсюда прибрежные камни казались совсем маленькими, а шлюпку я с трудом разыскал — такою ничтожною точкой казалась она. Около шлюпки копошились две еле заметные фигурки: это были Мацейс и Шкебин, которых Бабин оставил следить, чтоб шлюпку не разбило приливом. Назначил он на эту скучную должность именно их, видимо, в наказание за самовольную отлучку с судна. Губа видна была далеко-далеко, и вдали медленно двигалась точка с длинным хвостом дыма — наш тральщик. Я вздрогнул от резкого крика. Большая белая птица пронеслась перед самым моим ли-

цом и ринулась вниз. Вцепившись руками в гранит, я проследил за ней взглядом. Какая страшная паника царила в городе белых птиц! Чайки, гагары, кайры, глупыши суетились, кричали, в тоске носились взад и вперед. На еле заметных уступах лепились Донейко, Полтора Семена и Свистунов. Втянув голову в плечи, порой прислоняясь лицом к скале, порой взмахивая зажатой в руке ножом, чтобы защититься от когтей, клювов и сильных крыльев, они очень медленно пробирались вдоль гранитных пластов, одно за другим очищая гнезда. Вокруг них вилась туча, огромная, густая туча птиц. Воздух дрожал от взмахов тысяч крыльев, тысячи криков сливались в один монотонный крик. Иногда, видел я, пара глупышей или гагар отлетала в сторонку. Присев на выступ, они взволнованно беседовали гортанными голосами и, обсудив ужасные новости, снова снимались с места, чтобы принять участие в общем гвалте и суматохе. Я отполз от края обрыва. По совести говоря, мне стало как-то не по себе.

«Что это, в самом деле,—думал я,—живут себе птицы, никому не мешают, ничего дурного не делают...» — словом, я не мог избавиться от неприятного чувства и, отойдя в сторонку, лег на мох, выросший на граните. Воздух был свеж и прозрачен. Солнце грело меня, издалека доносился негромкий говор матросов и приглушенный крик птиц. Скоро глаза мои закрылись, и я уснул.

— Вставай! Ишь, как тебя разморило. Не добудиться.

Я сел и огляделся сонными еще глазами. Меня тряс за плечо Донейко. Матросы стояли, готовые, видимо, идти вниз. Канаты были свернуты и надеты на плечи. Трое держали полные ведра яиц.

Донейко, Свистунов, Полтора Семена, веселые, оживленные, пошли вниз, рассказывая о том, как «он, черт, чуть-чуть не в глаз клювом», или: «Я ступил, а камень из-под ноги. Хорошо, веревка держала, а то бы — конец». Их окружали лежавшие наверху и тоже рассказывали, как чуть не пополз канат, как закрепили его за камень, а камень стал подаваться, и как сверху видно было, что птицы одолевают ребят, так что Бабин чуть было не велел тащить канаты. Мы шли, и море было

все ближе, и вот наконец показалась шлюпка. Увлечшись разговором, мы подошли к ней почти вплотную и тут только, удивленные, остановились. Шлюпка была на месте, две буханки хлеба, три окуня свежего, собственного копчения, большой чайник для воды — все, все было на месте. Но, как мы ни оглядывались, вокруг не было никого. Мацейс и Шкебин исчезли.

Глава XVII

ВЗГЛЯД ИЗ РАССЕЛИНЫ

Сначала мы не придали этому никакого значения. Просто пошли ребята к водопаду попить или прогуляться по берегу. Бабин только был недоволен, что они оставили шлюпку. Впрочем, у него, как и у всех, было слишком хорошее настроение, чтобы долго сердиться. Мы покричали, приложив руки ко рту, и, не дождавшись ответа, решили есть без них.

— Сами себя накажут,— решил Бабин,— придется им доедать объедки.

Мы нарезали большими кусками хлеб, разложили на камне бумажку с солью и, сполоснув руки в холодной морской воде, стали расправляться с окунями. Удивительно, какой у нас был аппетит. Очень скоро мы обсосали кости, обгрызли кожу и головы, съели еще по ломтю хлеба, уже просто так, и только тогда почувствовали себя более или менее сытыми. Остатки были брошены в море, жадные чайки расхватили их хищными своими клювами, и мы расположились отдохнуть.

Мы лениво поговорили о том о сем, еще раз обругали Мацейса и Шкебина, попробовали запеть. Пение не получилось. То один, то другой отставал от хора, храп стал примешиваться к мелодии, дольше других держался Свистунов, но скоро и он затих, раскинул руки и заснул глубоким, спокойным сном. Я выспался, и мне спать не хотелось. Я побродил, поболтал ногами в воде, благо сапоги не промокали, набрал, неизвестно зачем, кучу водорослей и возился с ними, пока они мне не надоели. Время от времени я поглядывал на скалы. Я ждал все время, что покажутся, наконец, Мацейс и Шкебин. Где они могли столько времени пропадать? По-

том я перестал о них думать и размечтался о том, как я стану очень хорошим матросом и капитан будет со мной советоваться, где спускать трал, через сколько времени поднимать его и какой будет завтра ветер, судя по облакам на закате. Я решил, что Лиза, наверное, встретится с капитаном и он ей расскажет, какой я хороший матрос. Эта мысль привела меня в очень бодрое настроение. В нем я и пребывал, пока меня не окликнул Бабин:

— Не приходили?

Я сразу понял, о ком идет речь, и ответил, что нет, не приходили. Он посмотрел на часы и вскочил, очень взволнованный.

— Вставайте, вставайте! — закричал он. — Надо отправляться на поиски!

Было уже пятнадцать часов. Где-то за поворотом губы, наверное, уже шел за нами тральщик, а двое матросов бесследно исчезли. Кажется, Бабин чувствовал себя виноватым, что сразу не придал значения отсутствию Шкебина и Мацейса. Подчиняясь коротким его приказаниям, мы разбрелись в разные стороны. Мы обошли узкую полосу вдоль берега. Здесь обрыв подходил к самой воде. Не могли же они уйти по обрыву. Мы поднялись на самый верх гранитной гряды. Дальше шла ровная, покрытая подталым снегом тундра. Вдали бродило стадо оленей, но нигде не было следа человека. Не могли же они уже скрыться за горизонтом. Мы кричали и звали их. Эхо повторяло наши крики, птицы, волнуясь, отвечали нам резкими голосами, прибой монотонно ударял о гранит. Но пропавшие наши товарищи не отзывались. Прошло часа полтора, и мы снова собрались около шлюпки. Бабин места себе не находил. Мы уже опаздывали на вахту. Самым ужасным была полная необъяснимость исчезновения. Они не могли никуда уйти. На них никто не мог напасть, потому что вокруг никого не было. Наконец, не могли они оба одновременно свалиться, скажем, в расселину, да и не видно было вокруг таких опасных расселин. Солнце уже опускалось, тени от скал удлиннились. Теперь пейзаж, нас окружавший, не казался мне сияющим и веселым. Я смотрел на обрывы и скалы, на обточенный морем гранит, и жуть охватывала меня. Мы были окружены, казалось мне,

молчаливыми, застывшими существами. Пока мы не отошли, не отвернулись, не перестали на них обращать внимания, они стояли неподвижно, а как только отвернулись, они набросились на двух наших товарищей и утащили, а может быть, уничтожили их и сейчас, наверное, давятся от сдерживаемого хохота, глядя на нашу растерянность и испуг.

Издаലെка донесся гудок. Это тральщик нас окликал, предупреждал, чтобы мы выходили на рейд. Бабин посмотрел на часы. Ждать больше было нельзя.

— Мы пойдем на судно, — распорядился он, — а Сви-
стунов, Балбуцкий и Слюсарев останутся здесь. Я до-
ложу капитану и вернусь за вами.

Мне не очень-то хотелось оставаться на берегу, но я, разумеется, не показал этого. Кажется, и Сви-
стунов и Балбуцкий были бы больше рады очутиться поскорей на борту. Но делать было нечего. Сви-
стунов крикнул, сел на камень, вытер со лба пот и сказал, обращаясь ко мне:

— Сходил бы ты, дорогой, на водопад, водички при-
нес бы.

Молча я взял чайник и пошел. Водопад падал сов-
сем близко от нас, да, в сущности, это был и не водо-
пад. Просто весенние ручьи, собравшись вместе, устре-
млялись нешироким потоком вниз. Там, где низвергался
поток, скалы сближались. Солнечные лучи не проникали
сюда, здесь было сыро и сумрачно. С очень неприятным
чувством вошел я в тень. Хотя товарищи мои были со-
всем близко, голоса их доносились ко мне приглушен-
ными. Стараясь не смотреть по сторонам, я подошел к
струе. Мелкие брызги обдавали мне руки и лицо, здесь
было значительно холодней, и я вздрогнул — то ли от
холода, то ли от невольного страха. Мне было неудобно
стоять, и в чайник попадала только маленькая струйка
воды. Он наполнялся очень медленно. Я старался не ду-
мать о страшных вещах, но вдруг чувство, что за мной
следят, заставило меня оглянуться. Чайник выпал из
моих рук и, звеня, покатился по граниту. В узкой рас-
селине за моей спиной было совсем темно. И из темно-
ты, отсвечивая, смотрели на меня чьи-то неподвижные,
внимательные глаза.

— А-а-а! — закричал я срывающимся от страха го-

лосом и побежал. Мне навстречу уже мчались Бабин и Свистунов, Донейко, Балбуцкий и все остальные. Я был настолько взволнован, что, ничего не объясняя, только пальцем указывал на расселину. В два прыжка Свистунов был около нее. Он заглянул внутрь, и мы услышали громкий, раскатистый его смех.

— Эй! — кричал он. — Просыпайтесь вы, сони. Наши время заснуть.

Уже за его спиной толпились матросы и вытягивали шеи, стараясь увидеть, что там такое. И один за другим присоединялись они к хохоту Свистунова. Окончательно осмелев, я тоже подошел к ним. В темной расселине, широко раскинув руки и ноги, громко храпя, беспомощно раскрыв рты, спали рядом Шкебин и Мацейс. Очень долго не могли мы прийти в себя от смеха. Мы смеялись и потому, что действительно было смешно смотреть, как они безмятежно храпели и какие у них были дурацкие лица, но еще больше смеялись мы потому, что у всех у нас камень с души упал, — товарищи нашлись. Смехом разрешились наши волнения, наши опасения и беспокойства.

Бабин наконец перестал смеяться. Взяв Мацейса за плечи, он начал трясти его, но тот не просыпался и только пробормотал сквозь сон: «Пошел к черту! Дай человеку поспать». После этого мы смеялись еще, наверное, минуту.

Не легкий был это труд — разбудить их. Первым проснулся Мацейс. Он сел и глядел на нас тупыми, заспанными глазами.

— Вернулись уже? — спросил он наконец.

И опять все мы согнулись от хохота. В самом деле, целые часы мы их искали, беспокоились, волновались, а он, видите ли, удивлен, что мы уже вернулись. Мацейс смотрел, не понимая, чему мы смеемся. Продрав глаза, он объяснил:

— А мы решили вздремнуть в холодке полчасика.

Вдоволь мы посмеялись над ними. А когда проснулся Шкебин, как смешно он тарасил на нас глаза, пока сообразил, где он, и как захохотали все, когда он, думая, что мы только что вернулись и хотим есть, вырвал у меня чайник и побежал к водопаду.

Надо сказать, что им обоим здорово бы попало, если

бы уж очень не были они смешны, сонные, растерянные, глупо хлопающие глазами. Когда мы всласть посмеялись и торопясь пошли к шлюпке, Бабин все-таки обругал их, и они даже не оправдывались. Тральщик торопил нас протяжными гудками, и, оттолкнув шлюпку, мы понеслись к нему по гладкой, спокойной воде. Еще издали было видно: у борта стояли матросы и, видимо, в предвкушении яичницы, размахивали зюйдвестками, приветствуя нас. Еще издали было слышно — нас спрашивали: много ли набрали яиц, и все ли благополучно, и не поклевали ли нас птицы, и какого черта мы копались так долго на берегу? Когда мы подошли ближе, мы увидали, что с борта свисали, раскачиваясь, два унылых уса нашего кока, который, растолкав всех, потребовал ведра с яйцами и, опустив усы в каждое поочередно, неодобрительно покачал головой, сказав, что все мелочь и что не стоило за такой ерундой ездить. Все-таки он унес их к себе, тщательно оберегая от жадного любопытства команды, и скоро мы услышали яростный грохот сковородок.

Бабин, снова с часами в руках, отдавал короткие команды. Подняли шлюпку. Мы пошли в столовую. Бабин собирался спуститься в каюту, но Студенцов, наклонившись с мостика, окликнул его:

— Зайдите в рубку. Мне надо поговорить с вами. Бабин поднялся по трапу и исчез в рубке.

Матросы, работавшие у рыбодола, встретили нас руганью и криками.

— Мальчиков нет на вас работать! — кричали нам. — Можете на берегу прогуливаться. Таких-то охотников на чужой счет по шеям надо гнать.

Красные и смущенные, прошли мы в столовую, и долго еще через открытые иллюминаторы доносились в столовую неласковые слова моих товарищей по вахте. Однако в команде нашлись охотники заменить нас на вахте с тем, чтобы мы отработали за них после.

Мы все чувствовали себя усталыми, но никто не пошел в кубрик, боясь пропустить яичницу. Мы сидели в столовой и играли в «козла», громко ударяя костяшками о столы, а из камбуза слышалось соблазнительное шипение и вкусно пахло яичницей.

Повар, однако, не торопился. Он хотел накормить за-

одно обе вахты. Как мы ни умоляли, какими обидными словами не называли его, он был неумолим.

— В девятнадцать тридцать,— говорил он, высунувшись в окошечко и покачивая усами,— вы поедите, а тут и вторая вахта придет. А то что же — для каждой отдельно жарить? Не-ет.

Мы беззлодно ругали его и стучали костяшками, заглушая голод увлекательной игрою в «козла» на щелчки. Мне не везло, и меня здорово отщелкали по лбу, когда наконец на столах очутилась яичница. Она дымилась и пахла великолепно, и мы глотали слюну, пока Свистунов, как старший, делил ее на равные порции. Впрочем, яиц было, наверное, сотни четыре, так что задача Свистунова оказалась не очень трудной. Все уже были сыты, набивали трубки или свертывали козьи ножки, а еще много было яичницы на сковородах, и кок, укоризненно покачивая усами, стыдил нас:

— Жадины! Пристали — побольше, побольше,— а что я теперь буду чаек кормить, что ли? Ведь вторая вахта придет — потребует свежей, горяченькой.

Он был прав. Ударили склянки, и, громко требуя свежей яичницы, ввалились ребята из второй вахты. Они рассаживались, хлопая рукавицами, теснили нас, торопя на вахту, дразня обжорами и лентяями. Нам в самом деле не хотелось идти работать. Нас разморило от сытной еды, мы наслаждались отдыхом и покоем. Под разными предлогами мы оттягивали неприятную минуту.

— Шалопай! — кричал Мацейс. — До чего ленивый народ! Гришка, тащи шланг! Их надо гидравлическим способом на работу гнать.

Он был опять таким же, как всегда, уверенным и нагловатым парнем. Можно было подумать, что полчаса назад его не срамили на всю палубу здоровые глотки матросов. Разумеется, ему не замедлили напомнить об этом, но он только отшучивался и гоготал, и мы сами смеялись его шуткам, потому что уж кто-кто, а Мацейс за словом в карман не лазил. Он стоял, широкоплечий, здоровый парень, цедя из бачка воду в кружку, и, глядя на него, я думал: буду ли когда-нибудь таким же уверенным, здоровым и сильным? Скинув сытую одурь, мы нехотя собирались и, пожалуй, немного медленнее, чем можно было бы, убирали свою посуду, отыскивали

рукавицы, застегивали ворот брезентовой робы. Наконец мы направились к выходу, но столкнулись с только что сменившимся рулевым. Он вошел и заорал:

— Мне без очереди. Я с новостями.

Мы остановились. Нельзя было уйти, не узнав новостей.

— Ну что такое, в чем дело? — орали мы ему. — Не задерживай. Видишь — на вахту пора.

— Облегчение выходит нашему брату, — объяснял рулевой, принохиваясь к яичнице. — Решено больше рыбку не ловить, а пойти погулять по морю.

— Слушай, — оборвал его Свистунов, — нам времени нет языком трепать. В чем дело? Шторма ждут, что ли?

— Так точно, — подтвердил рулевой, — баллов, говорят, на двенадцать. Так что мы этот трал поднимаем и в открытое море — штормовать. А то, капитан говорит, как бы на берег не бросило.

Кружка, из которой Мацейс, запрокинув голову, пил воду, упала на пол и разлетелась в куски. Я обернулся. Мацейс стоял неподвижно, с белым как снег лицом, и смотрел в одну точку мутными, стеклянными глазами. Я подбежал к нему: «Что с тобой, Жора?» Он смотрел, не видя меня. Я взял его за руку, рука была холодна. Я испугался ужасно. Вот тебе и здоровяк! «Мацейс! — тряс я его за плечи. — Что с ним, ребята?» Я огляделся. Матросы смотрели на него растерянно и удивленно.

— Припадок, что ли? — протянул Свистунов. — Надо старшему доложить. Пусть отпоит каплями.

Но краска возвращалась в лицо Мацейса.

— Ерунда, — сказал он негромко. — Это у меня с детства бывает. — И усмехнулся неуверенною улыбкой.

В столовой было еще тихо, когда вдруг, расталкивая всех, быстро прошел к выходу Шкебин и, не оборачиваясь, вышел на палубу. Мы смотрели ему вслед, недоумевая, что еще с ним случилось, но нас вернул к жизни резкий голос Бабина. Бабин вошел в столовую с другой стороны. Он был красен от злости.

— Интересно, вы что же — собираетесь в столовой вахту стоять? — спросил он.

Толкая друг друга, торопясь, бросились мы на палубу. Уже минут двадцать прошло с тех пор, как склянки ударили вахту.

НОЧЬ ПЕРЕД ШТОРМОМ

Вахта выдалась нелегкая. Трал был поднят, и мы топились убрать рыбу с палубы. Убрали мы ее всю, и даже минут за тридцать до конца вахты. Потом мы мыли палубу водой из шланга, смывая рыбы внутренности, маленьких звезд и ежей. Мы убрали трал, сняли стенки ящиков, задраили брезентом люки. Когда пробили склянки, доски палубы были скользкими и блестящими. Мы здорово все устали, и, дойдя до койки, я очень быстро разделся и лег. Сквозь сон я слышал еще, как раздевался Свистунов, как он кряхтел, стягивая сапоги. Кажется, он что-то мне сказал, но я уже заснул, с наслаждением вытянувшись на койке.

Я спал. Черная ночь навалилась мне на глаза. Приятно было вытянуться на койке, но сон не давал мне отдыха. Тяжесть давила на грудь, и я задыхался и порою не мог понять, то ли я сплю, то ли просто темно в каюте, и лежу я, открыв глаза, и думаю, и в темноте мелькают обрывки виденного сегодня. Я видел уродливо изогнувшиеся пласты гранита, грязно-серые гнезда, черный камень удивительных форм, без конца черный камень, бесконечно разнообразный и бесконечно однообразный. Гранитные волны ходили в моих глазах, гранит колебался, смещались его пласты, они волновались, они изгибались, как змеи, мокрые змеи на черном сыром граните. Я видел тенистые, серые ущелья, какие-то закоулки, тенистые и сырые, какие-то темные струйки воды, плесень, копошащуюся, живую плесень, смотрящую на меня неподвижными, холодными, злыми глазами. И тут я начинал метаться по койке, и страх душил меня, как будто страх был живым человеком, прыгнувшим мне на грудь. Я чувствовал его тяжесть, метался и не мог освободиться от него. И за мной следили холодные, злые глаза. Может быть, я просыпался и кричал, может быть, мне снилось, что я кричу.

И снова в темноте мелькали обрывки виденного мною сегодня.

Белые крылья без устали взмахивали передо мной. У меня рябило в глазах и голова кружилась, а крылья все

взмахивали, монотонно и ровно, и странно — меня не усыпляла эта монотонность. В ней было нехорошее что-то, — я скоро увидел, что у птиц не было ни туловищ, ни голов, только крылья и между крыльями по одному глазу, зло и внимательно смотревшему на меня. Крыльев было, наверное, тысячи, и тысячи было этих внимательных глаз. Они смотрели на меня, и я метался по койке, кричал, или мне снилось, что я кричу, и задыхался.

Стих шум крыльев. В тишине я шел по тенистому ущелью. И, не поворачивая головы, как-то спиною видел, что на меня смотрят из темноты расселины два очень внимательных глаза. Я чувствовал их, я ясно представлял себе, как они глядят на меня, и я не мог обернуться. Проснувшись, я слышал еще свой крик. Мой голос, негромкий, тонкий, дрожащий от ужаса, казалось, еще звучал в темной и спокойной каюте. Я был весь в поту. Я сел на койке и перевел дыхание. Наверху посапывал Свистунов, под настилом плескалась вода в цистерне, все кругом было обжитое, знакомое и уютное. Я сидел, и у меня колотилось сердце, и нога неслышно и мелко стучала о пол. Я начал думать, что было страшного в моем кошмаре. Не гранит, не белые крылья, не плесень и сырость. Я вспомнил, как у меня сжалось сердце, как будто я узнал ужасные новости. Я вспомнил глаза, не дававшие мне покоя. Уже не во сне — наяву видел я их в тенистом ущелье около водопада. Ну, конечно, как мог я о них не думать. Я вспомнил заспанные лица Мацейса и Шкебина, их удивительно крепкий сон, и смешные фразы, сказанные ими, теперь казались мне нарочитыми. Да, минуту назад они следили за мной бессонными злыми глазами, а через минуту, как убитые, спали, храпели и никак не могли проснуться. Тяжесть кошмара прошла окончательно. У меня была ясная, холодная голова. От этого мне было еще страшнее. Я сопоставлял факты, такие ясные, такие бесспорные, и удивлялся, как раньше я не сопоставил их. Соломенная пещера. Паспорта... Теперь я был уверен, что это мне не привиделось. Парни, списавшиеся с судна, случайно попавшие на него. Их ужас, когда они увидели цифру 89 на спасательном круге. Их самовольная отлучка на берег. Не могло же, на самом деле, им, опытным морякам, так хотеться на птичий базар, чтобы они пошли на такое серьезное

нарушение дисциплины. Их исчезновение на берегу. Почему они выбрали для сна самое неудобное, холодное и сырое место? Да, наконец, они не спали, а притворялись спящими. Они прятались. Они хотели остаться на берегу. Они боялись моря? Нет, они боялись именно 89-го. Я быстро одевался, думая об этом. Мне трудно было застегнуть пуговицы: так у меня прыгали пальцы. Я уже натянул сапоги, когда вспомнил самый последний случай. Я вспомнил кружку, выпавшую из рук Матейса, белое его лицо. Шкебина, быстро вышедшего из столовой. О чем говорили перед этим? О том, что пора на вахту, что мы шалопай? Нет, о шторме, о двенадцатибалльном шторме, идущем на нас. Они боялись шторма? Ерунда, шторма никто не боится. Они боялись шторма на «РТ 89». Я понял, что должен торопиться. Я был одет. Что делать? Идти к капитану? Свистунов ровно и спокойно посапывал носом. Я взял его за плечо.

— Свистунов,— сказал я,— дядя Коля, проснитесь.

Он сонно посмотрел на меня и пробормотал:

— Уйди ты!

Но я продолжал его тормошить:

— Слушайте меня, ну! Только выслушайте и будете опять спать.

Зевая, приподнялся он на локте, и я, сбиваясь и торопясь, стал говорить о глазах в расселине, о том, что Матейс и Шкебин не спали, о том, что они боятся шторма. Впрочем, я скоро замолчал. Голова Свистунова опустилась на подушку, глаза закрылись, он похрапывал спокойно и ровно.

Махнув рукой, я вышел из каюты. Куда идти? К капитану? Я с детства боялся глупых и смешных положений. Я снова перебирал все факты. Что я, в сущности, мог ему рассказать? Что они испугались, попав на тральщик? Это было естественно. Даже то, что с ужасом смотрели они на круг с номером тральщика, тоже было понятно. Кому же хочется оказаться на судне, с которого он только что списался? Рассказать про глаза, смотревшие из расселины? Странная история, и почему я тотчас же не сказал об этом? Мне могло показаться. Я был в нервном, приподнятом состоянии. О кружке, выпавшей из рук? Смешная улика. Мало ли у кого падают из рук кружки. Сейчас, когда я стоял в пустом ко-

ридоре кубрика, мне все это казалось совсем не таким уже ясным.

Я открыл было дверь в каюту, решив лечь снова спать, но сразу же закрыл ее. Так или иначе, а спать я не мог. Я решил найти Мацейса и Шкебина, посмотреть на них, убедиться, что с ними все в порядке.

Я обошел кубрик. Заглядывая в каюты, я видел сонных, раскинувшихся на койках людей, открытые рты, свесившиеся с коек руки, я слышал храп и сопение, иногда сонное бормотание спящих. Здорово люди спят на море. Кажется, только я не спал в эту предштормовую ночь. Нет, Мацейса и Шкебина не было в кубрике. Их койки были помяты, но пусты. Мне казалось, что они хранят еще тепло тел.

Беспокойство не оставляло меня. Я вышел на палубу. Белый молочный туман стоял в воздухе. Я закрыл за собою дверь, и она исчезла за белой стеною. В двух метрах я уже ничего не видел. Тральщик шел спокойно и ровно. Я обошел палубу и полубак — ни души. Только наверху сквозь туман пробивался еле заметный свет.

Я зашел в столовую. Вахта сидела за столами и, разделившись на партии, играла в «козла». Что было делать во время перехода? Судно было готово к шторму, все было убрано, вымыто и вычищено. Еще стоя в дверях, я был уверен, что Мацейса и Шкебина нет в столовой. Их и в самом деле не было. Я убедился в этом с первого взгляда.

Беспокойство овладевало мною все сильнее и сильнее. Пройдя мимо запертого камбуза, я быстро взбежал по трапу на полуют. Фонарь на корме бросал вялый и тусклый свет. Я видел еле заметные светлые пятна в иллюминаторах машинного люка. Осторожно нащупывая дорогу ногами, я шел к корме и вдруг остановился. Мне послышался шум. Я стоял неподвижно. Нет, все было тихо. Сейчас я должен коснуться шлюпки. Я искал ее, протягивая руку, но шлюпки не было. Что такое? Я сделал еще шаг. В это время сильная рука зажала мне рот. Еще секунда, и я лежал, крепко схваченный кем-то, и с трудом различал склонившиеся надо мной тени. У меня ныли затылок и плечо, ушибленные при падении. Мне очень хотелось глубоко и сильно вздохнуть, но рот мой по-прежнему был зажат.

— Кто это? — услышал я отрывистый шепот.

— Жора, — это был уже другой голос. Это говорил Шкебин. — Жора, не все ли равно.

— Кто это, ослиная голова? — отчетливо повторил Мацейс.

Надо мною склонились две головы, два лица, нахмуренных и серьезных. Они узнали меня, и я узнал их. Меня поразило в них выражение деловитости и полного лично ко мне равнодушия. Будто я не был пока еще живым человеком, их товарищем, с которым они болтали, пели, играли в «козла». Будто я был неодушевленным предметом, вещью, не думающей и не чувствующей.

— Это Женька, — сказал Шкебин. — Ты поддержи его.

Ужасное у меня было чувство. Я не мог пошевелиться, не мог крикнуть, не мог ничего сказать, я вообще ничего не мог сделать. Так бывает в кошмарах, но здесь у меня не было надежды проснуться. Я слышал возню: это, понимал я, Шкебин достает нож. Я дернулся, но меня крепко держали. Потом я услышал шепот Мацейса:

— Не могу. Отставить. Это грязное дело, Гришка.

— Ты точно барышня, — упрямо сказал Шкебин, — а я считаю — лучше сразу. Уж это я знаю и знаю.

Мацейс не ответил ему. Наклонившись ко мне, он зашептал:

— Женька, ты не злился, что мы так на тебя напали. Нам в тумане-то не видно. Мало ли кто мог прийти.

— Уж что знаю, то знаю, — упрямо шептал Шкебин. — Ты меня хоть тысячу раз ругай.

— Может, мы начнем споры? — прошептал Мацейс. — Может, мы откроем дискуссионный клуб?

— Делай, как хочешь, — слышал я бормотание Шкебина. — Пожалуйста. А уж только что я знаю, то знаю.

— Женька, — опять зашептал Мацейс, — надо тикать. Мы как раз хотели сказать тебе. Понимаешь, нам тут знакомый парень дал радиogramму. На условном, конечно, языке. В общем, там раскрылись большие дела на берегу. Юшка оказался чуть не шпионом. Нас ищут. Аркашка, сволочь, все выболтал, все имена. С минуты на минуту надо ждать приказа об аресте, понятно? Нас всех ищут и особенно тебя. Так там и сказано, в радиogramме: «Особенно кланяйтесь Женьке», — понятно? Это значит: особенно, мол, ищут Женьку. Мы тут уже почти

что спустили шлюпку. До берега-то рукой подать, а там до становища дойдем. Есть такие ребята — спрячут. Гришка говорит: вали, отваливай, а я говорю: надо Женьку искать. А тут ты как раз. Я ото рта отниму руку, а ты только скажи: тикаешь с нами?

Действительно, рука, лежавшая на моем лице, отпустила меня. Но я ее чувствовал. Она была здесь, в одном сантиметре, готовая зажать мне рот при первом же громком звуке. Я перевел дыхание. Ноги у меня затекли. На них сильно давило колено — не знаю, Шкебина или Мацейса. Надо мной нависла белая пелена. Было ужасно не видеть ничего, кроме безразличной белизны. Казалось, в мире ничего больше нет. Только белизна, я и два моих врага. Я вздрогнул — так это было страшно. Чтобы успокоиться, я представил себе спокойное море, тральщик, неторопливо режущий воду, уютные огни иллюминаторов, позевывающего рулевого в рубке. Я представил себе свое перекошенное лицо, и двух человек, навалившихся на меня, и шкерочный нож в огромной ручище Шкебина. Теперь они низко склонились. Я увидел их лица. Мне не сделалось оттого легче. Шкебин, казалось, нетерпеливо ждал, когда кончатся эти, с его точки зрения, никому не нужные разговоры и ему позволят ликвидировать раз навсегда досадную, но несерьезную помеху. Мацейса, кажется, раздражало, что разговор затягивается. Видимо, он считал, что времени и так потеряно совершенно достаточно.

— Ну? — резко сказал он. — Надо решать, Слюсарев. Некогда.

— Что ж делать? — сказал я шепотом. — Не хочется, по совести говоря, но если действительно Аркашка проболтался — значит, приходится.

Мацейс отпустил меня. Не имело смысла себя обманывать. Шкебин держал нож с видом, ничего хорошего мне не обещавшим. Я был бы зарезан гораздо раньше, чем мой крик услышали бы в рубке. Я сел и с наслаждением расправил ноги и руки.

— А куда мы пойдем на шлюпке? — спросил я.

— До берега миль десять, — раздраженно ответил Мацейс. — К утру будем. Я украл у Дoneyко карманный компас.

— Ребята, — сказал я дружеским и заговорщицким

тоном.— А еду вы набрали? А то ведь мы на скалах погибнем с голоду.

— Мало,— с сожалением сказал Мацейс,— еще бы буханку хлеба хорошо. Тем более — теперь у нас третий рот.

У меня зашевелилась надежда. Я выразил на лице сомнение и покачал головой.

— Вот черт, у меня в шкафу нетронутая буханка,— мельком я кинул взгляд на Шкебина. Он смотрел зло и подозрительно.— Может, Жора, ты сходишь?

Я подумал, что это предложение не может казаться подозрительным. Пойду ведь не я. Я останусь под охраной второго. С другой стороны, я останусь под охраной одного человека. Тогда уже можно рискнуть. Шансы на успех значительно вырастут.

Но Мацейс покачал головой.

— Мне не стоит идти. Если я буду копать в твоём шкафу, начнутся расспросы, а то еще и на скандал налетишь. Слтай лучше ты.

Я вздрогнул. Мне казалось, что они непременно заметят мою радость.

— Честно говоря, неохота,— замылся я.— Что я скажу, если меня спросят, зачем я на ростры хлеб тащу? — Я испугался серьезности этого возражения и добавил: — Впрочем, можно буханку под робу спрятать. В тумане не заметят.

— Иди,— сказал Мацейс.

— Жора! — простонал Шкебин.— Жорочка!

Мацейс круто повернулся к нему.

— По личному вопросу в конце заседания,— прошипел он.— Ты начинаешь надоедать мне, Григорий. Иди, Слюсарев.

Это было до такой степени бессмысленно, что я растерялся. Не мог же действительно Мацейс мне вдруг до конца поверить. Я смотрел на него, не зная, что и подумать, но он повторил очень резко:

— Ну? Ты идешь или нет?

Я встал. Шкебин, сжимая в руке нож, смотрел то на меня, то на Мацейса, лицо у него было глупое и растерянное. Боюсь, что таким же растерянным было и мое лицо.

— Так я сейчас,— пробормотал я и пошел.



Они хотят мне всадить в спину нож! «Почему?» — думал я.

Я сделал шага два, не больше, когда меня осенило: они хотят мне всадить в спину нож! «Почему? — думал я. В такие минуты думаешь очень быстро.— Мацейс не решился резать приятеля, глядя ему в глаза». Я не оборачивался, я не мог заставить себя обернуться, но ярче, чем я мог бы увидеть, я себе представлял Мацейса: вот он тронул Шкебина за плечо, они понимают друг друга сразу... Шкебин присел, прицеливаясь, и нож направлен мне прямо в спину между лопатками. Это ужасно неприятно — чувствовать спиной нож, на тебя нацеленный, и не иметь мужества обернуться. До трапа было шагов десять, не больше. Мне этот путь показался очень длинным. Я шел, шел и чувствовал, как невольно голова моя вдавливается в плечи и весь я съеживаюсь. Шел я медленно потому, что боялся, как бы они не подумали, что я бегу.

Наконец я дошел до трапа. Отсюда тремя прыжками я мог добежать до двери рубки, однако нож мог догнать меня. Да, кроме того, не было надобности спешить. Неторопливо я спустился по трапу. Я был в безопасности. Странная слабость охватила меня. Держась за поручни, я присел на ступеньку и опустил голову. У меня дрожали колени и тошнота подкатывала к горлу. Надо было идти. Держась за стенку, я пошел вдоль левого борта. Из столовой до меня донесся громкий смех и стук костяшек о столы. Вахтенные по-прежнему играли в «козла». Это меня ободрило. Снова я был возвращен в круг простых, обыкновенных вещей, обыденной жизни промыслового судна. Приятно было осознать, что в мире существуют не только туман, ножи и страхи, что люди могут говорить не только сдавленным шепотом. Я обошел надстройку. За палубой с обеих сторон стояли белые стены. Здесь у правого борта тоже был трап, и очень медленно я стал по нему подниматься. Моя голова показалась над верхней палубой и сразу же опустилась вниз. Это был очень опасный момент. Ростры скрывались в тумане, и я не мог видеть, что делают Шкебин и Мацейс, я же, хотя и тусклым светом, был все-таки освещен. Проходя в рубку, я без труда мог быть ими замечен. Однако другого пути не было. Пригнув почему-то голову, я пробежал несколько шагов и влетел в рубку.

В рубке было уютно и тихо. Спокойно покачивался

в нактоузе котелок компаса. Рулевой стоял у штурвала, Бабин, насвистывая, прохаживался взад и вперед. Он остановился, когда я вошел, и рулевой повернул ко мне голову. Оба они на меня смотрели, а я стоял, не зная, что им сказать.

— В чем дело, Слюсарев? — спросил наконец Бабин. — Что с вами?

Наверное, у меня был странный вид.

— Мне надо капитана по срочному делу, — сказал я.

— Капитан спит. Что случилось? — Я молчал. — Ну? Что случилось? Доложите мне, вахтенному начальнику.

Сейчас я твердо решил, что расскажу все только капитану или Овчаренко. Рассказывая, мне пришлось бы коснуться некоторых фактов, касающихся лично меня, а к ним обоим я чувствовал особенное доверие. Я упрямо молчал и не знал, что сказать Бабину. Конечно, по всем правилам я должен был доложить ему. Он долго смотрел на меня, а потом пожал плечами, подошел к двери капитанской каюты и постучал. Оттуда отозвались не сразу — видимо, Студенцов спал. Была пауза, потом я услышал голос:

— Да! Что случилось?

— Николай Николаевич, — объяснил Бабин. — Тут Слюсарев из второй вахты непременно хочет сейчас же с вами переговорить.

Опять была пауза. Видимо, Студенцов со сна собирался с мыслями.

— Хорошо, пусть войдет, — сказал он наконец.

Бабин указал мне глазами на дверь и отошел к машинному телеграфу, чтобы показать, что его совсем не интересует дальнейшее. Я вошел к капитану. Студенцов спал не раздеваясь. Он лежал на диване в расстегнутом кителе и смотрел на меня сонными еще глазами.

— Николай Николаевич, — сказал я, закрыв за собой дверь. — Мацейс и Шкебин собираются удрать с тральщика. Они почти уже спустили шлюпку и ждут, когда я принесу им из кубрика запасную буханку хлеба.

Студенцов смотрел на меня глазами, в которых не было и тени сна.

— С какого борта спускают шлюпку? — спросил он, застегивая китель.

— С левого.

Он отпер ящик, вынул наган и щелкнул барабаном.
— Идемте,— сказал он.

Вторая дверь из его каюты вела прямо на верхнюю палубу. Мы вышли и очутились в густом тумане. Снова мне показалось, что не бывает смеха, шуток, простой обыденной работы, а есть только туман, и таящиеся в нем люди, и злые дела, ножи и револьверы. Но только теперь мне совсем не было страшно.

Мы шли, и чуть согнувшаяся фигура капитана порой исчезала совсем, но я все-таки знал, что он идет впереди меня, храбрый, уверенный человек, и я ничуть не боялся и шел, готовясь к свалке, к борьбе, к опасности. Мы обошли слева машинный люк и руками нащупали шлюпку. От этой шлюпки до той, которую спускали Мацейс и Шкебин, было несколько шагов. Я шел, стараясь ступать как можно тише, а капитан пропал в тумане. Вот уже где-то здесь должны меня ждать компаньоны мои по побегу. Уже у меня под ногами не железная палуба, а доски. Я остановился. Еще шаг—и я упаду в море. Где же капитан?

Я услышал его голос совсем рядом.

— Черт!— сказал он и зажег карманный фонарик.

Полоска слабого света пробежала по рострам и окунулась в туман. Здесь было слышно, как за кормою шумит вода. Тали, свисавшие со шлюпбалок, тихо покачивались, а шлюпки не было.

Только тогда я понял, что не я обманул Мацейса и Шкебина, а они провели меня, как мальчишку.

Глава XIX

НОЧЬ ПЕРЕД ШТОРМОМ

(Продолжение)

В тумане зажглась спичка. Капитан раскуривал трубку. Спичка полетела за борт, но я видел при слабом свете тлеющего табака нахмуренное лицо капитана.

— Вот что,— сказал он.— Вы пойдете сейчас и приведете Овчаренко. Вы знаете, где его каюта?— Я кивнул головой.— Хорошо. Вы пройдете ко мне прямо с палубы. Я зайду в рубку, а потом буду вас ждать. Понятно? И, конечно, никому ничего не говорите.— Сказав это,

он повернулся и спокойно пошел по направлению к рубке.

Я спустился вниз и вошел к Овчаренко в каюту. Он спал, но сразу открыл глаза, когда я тронул его за плечо.

— Товарищ Овчаренко,— сказал я,— вас капитан просит по срочному делу.

Секунду он смотрел на меня, а потом сел и, не задавая вопросов, стал быстро натягивать сапоги. Я ждал. Через минуту он уже застегивал китель.

— Где капитан? — кинул он, выходя.

— Он просил нас в каюту, но только не заходя в рубку, а прямо с палубы.

Овчаренко остановился и еще внимательней на меня посмотрел.

— Вам приказано явиться тоже?

— Да.

Мы вышли и, поднявшись по трапу, без стука вошли к капитану. Его не было в каюте, но, вероятно, он слышал, как мы вошли, потому что сразу тоже вошел из рубки. Овчаренко сидел в кресле, капитан опустился на стул.

— Мацейс и Шкебин,— сказал капитан,— удрали на шлюпке.

Овчаренко кивнул головой и спросил:

— Давно?

— Минут пятнадцать.

— Преследование возможно?

— При отсутствии прожекторов и в таком тумане бессмысленно. Мы прошли две — две с половиной мили. Не сомневаюсь, что они на шлюпке отошли в сторону. Куда? На ост или вест? Мы можем пройти в полукабельтове и не заметить их.

— Хорошо,— сказал Овчаренко,— тогда займемся следствием. Слюсарев в курсе дела?

— Да. Собственно говоря, только он в курсе дела. Я сам ничего не знаю.

— Ну, рассказывайте.

Я начал со встречи с Аркашкой. К сожалению, все происшедшее на берегу я смог рассказать очень отрывочно и не всегда уверенно. Все-таки, оговорив недостоверность своих воспоминаний, я описал довольно подробно пещеру в соломе и подслушанные мною разговоры.

— В угрозыске почему-то считают,— прервал меня Овчаренко,— что Юшка давно бежал из Мурманска.

Капитан кивнул головой, и я продолжал рассказ. С особым вниманием была выслушана история о том, как я нашел своих товарищей по похождениям спящими в шлюпке и как они были испуганы. Вынув изо рта трубку, капитан задал мне вопрос:

— Они испугались, когда увидели открытое море или номер тральщика?

Я ответил очень уверенно:

— Увидя номер тральщика.

Потом я рассказал про часы, про случай на птичьем базаре, про увиденные мною глаза. Мне осталось самое главное: стараясь ничего не упустить, я передал фразу за фразой весь разговор на рострах, и капитан пускал клубы дыма из трубки, а Овчаренко не отрывал от меня внимательных глаз.

Я кончил. Они помолчали. Потом Овчаренко отвел от меня глаза и, глядя в сторону, сказал, не повышая голоса:

— Вы попали в очень дурную компанию, Слюсарев. Вам придется многое сделать, чтобы это полностью и навсегда забылось.

Наклонив голову, я ответил: «Знаю». На этом разговор обо мне кончился. Мне нравилось в Овчаренко, что он всегда понимал, когда спокойная короткая фраза действует сильнее длинной нотации.

Капитан вышел и через минуту вернулся, держа в руках толстую книгу.

— Запись радиogramм,— сказал он.— Давай проверим?

— Явная ложь,— пожал Овчаренко плечами,— но проверить следует.

Они склонились над книгой и быстро перелистали несколько страниц.

— Конечно, ничего,— сказал капитан,— за два дня вообще ни одной частной радиogramмы.

Они отложили книгу. Овчаренко полузакрыв глаза.

— Почему они не зарезали Слюсарева, тоже ясно?

Капитан кивнул головой.

— Я знаю эту породу. Мацейс легко пойдет на любую подлость и зверство и упадет в обморок от вида

крови. Он, видите ли, брезглив. К тому же убийство в самом деле было бессмысленно. Он понимал, что продолжать мы не можем.

— Конечно,— Овчаренко как бы размышлял про себя,— они боялись 89-го. Почему? Бомба, адская машина? Ерунда. Устаревший способ, во-первых, и, во-вторых, они были спокойны, пока не пришла весть о шторме. Значит, нам угрожает что-то во время шторма. Ты следишь? Кажется, всё бесспорно?

— Пока как будто бесспорно,— согласился капитан.— Но, конечно, может быть, все это совершенная чушь.

Овчаренко тоже согласился.

— Может быть. А почему?

— Потому что вполне вероятно другое: они натворили что-то на берегу, их видели в лицо, но не знают фамилий. Поэтому им необходимо удрать, чтобы не возвращаться в Мурманск. Удрать можно только вблизи от берега. Они пытаются использовать птичий базар, но им не удастся. Они узнают о шторме. Что это значит? Это значит, что мы уходим от берегов в открытое море. Рейс идет к концу, и все шансы за то, что, перенеся шторм, мы будем промышлять там же и, значит, до порта к берегу не подойдем. Остается испуг при пробуждении. Но, во-первых, люди со сна, с перепоя, в полной растерянности. Черт его знает, что их может испугать. А, во-вторых, действительно неприятно попасть на тот самый тральщик, с которого только что списались. Ты следишь? Как будто все очень вероятно?

— Как будто все вероятно,— согласился Овчаренко.— Но, конечно, и это может быть ерунда.

Капитан тоже согласился:

— Вполне возможно. И также вполне возможно, что истина лежит в чем-то третьем, что ни одному из нас не приходит в голову.

Оба они помолчали. Капитан пускал клубы дыма, а Овчаренко сидел, полузакрыв глаза. Потом Овчаренко улыбнулся.

— Мы можем сделать только один совершенно бесспорный вывод,— сказал он.— Количество данных, имеющих у нас, недостаточно для бесспорного вывода. С этим согласен?

— С этим согласен.

— Значит, надо сейчас же радировать в Мурманск, и пусть они там разбираются.

Капитан сел к столу и обмакнул в чернильницу перо.

— Да, да, ты пиши,— продолжал Овчаренко,— а потом мы обсудим еще один вопрос.

Скрипело перо, из рубки чуть слышно доносились размеренные шаги Бабина. Овчаренко сидел, полузакрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. Кончив, капитан отложил перо и прочел текст радиограммы. В радиограмме коротко сообщалось, что два матроса, такой-то и такой-то, бежали с тральщика на шлюпке. Просим произвести расследование и сообщить результаты.

— В конце концов,— сказал капитан,— это единственно бесспорное, что нам известно. Остальное — догадки, на которые в Мурманске люди так же способны, как и мы.

— Да-а,— не очень уверенно протянул Овчаренко.— Пожалуй, это единственный существенный, бесспорный и точный факт.

Оба подписали радиограмму, и капитан отнес ее радисту. Пока он ходил, мы не пошевелились. Овчаренко по-прежнему размышлял, полузакрыв глаза, а я сидел тихо, боясь, что, вспомнив обо мне, меня отошлют. Капитан вошел, держа в руках пачку бумажек.

— Сводки,— сказал он,— видно, серьезный штормяга. Он идет с норд-оста. Новая Земля определяет силу в двенадцать баллов. Надо думать, мы встретим его часов в десять или в одиннадцать. Пока что, я полагаю, можно поспать. Как ты считаешь, помполит?

— Знаешь,— сказал Овчаренко,— мне все-таки кажется, что берег берегом, а нам бы, может быть, следовало принять какие-то меры. А?

— То есть какие меры? Идти в погоню?

— Ты же говоришь, что это невозможно. Но, может быть, они действительно что-то знали насчет шторма.

Снова попыхивала капитанская трубка и клубы дыма медленно растворялись в воздухе.

— Как тебе сказать, Овчаренко,— заговорил наконец капитан.— Плохо мне что-то верится в это. Что могут они знать о штормах и опасностях для судна такого, чего бы не знали ни капитан, ни старший механик? По-моему,

немного ты увлекаешься морскими тайнами, Платон Никифорович. В жизни всегда все оказывается значительно проще. Что же ты предлагаешь? Какие меры мы можем принять? Судно готово к шторму. Промысел был хорош, рыбы много. Судно хорошо нагружено. Это еще повышает его устойчивость. В этом смысле мы ничего больше сделать не можем. Остается берег. Обсудим. Поблизости удобной стоянки нет. Значит, надо идти миль, скажем, восемьдесят или сто. Может быть, мы успеем дойти до шторма, а может быть — нет. Если не успеем — плохо. Не люблю быть в шторм около берега. Мало ли что. Вдруг, скажем, машина сдаст. А если успеем, что мы скажем начальнику флота? Что, испугавшись того, что у нас два матроса сбежали, мы прервали промысел и, вместо того чтобы, перестояв шторм, сразу же спускать трал, сбежали в порт, угробив минимум двое суток и черт знает сколько угля. Так, что ли? Как ты думаешь, Овчаренко?

Помполит встал.

— Ладно, директор, — сказал он, — пожалуй, ты прав. В этих делах ты разбираешься лучше. Ложись, спи. В шторм, наверное, чужие вахты выстаивать будешь.

Мы с Овчаренко вышли на палубу. Туман был уже не так густ. Сквозь белизну, над самой водой, просвечивало красное, тусклое солнце. Вода за бортом была тихая, масляная. Около трапа Овчаренко остановился. Он внимательно посмотрел на меня и сказал очень медленно, как бы подыскивая слова:

— Слушайте, Слюсарев. Не стоит создавать поводов для паники на судне. Давайте условимся так: вы узнаете вместе со всеми о бегстве Мацейса и Шкебина. Я полагаюсь на вас. Судя по тому, как вы долго молчали о ваших похождениях на берегу, вы умеете, когда нужно, молчать.

Я покраснел и кивнул головой. После этой фразы Овчаренко действительно мог вполне рассчитывать на мое молчание. Быстро сбежав по трапу, он пошел к себе. Я спустился вслед за ним. Тихо и монотонно шумела вода за кормой. Я долго стоял, опершись о борт. Гладкое море дышало спокойно и ровно. Тихо было на тральщике, и еще тише было на море. Казалось невероятным, что может быть буря и волны, что могут быть убийства и

преступления. Даже машина стучала ровно и умиротворенно.

Наверху в тумане показалась огромная птица. Она летела медленно, широко раскинув крылья. Она казалась тенью, неясным, расплывчатым призраком. Взмах за взмахом она обгоняла судно и, казалось, не замечала его. Казалось, таким, как она, природным жителям молчаливого океана нет дела до мачт, до труб, до людей.

Два матроса вышли из столовой. Они огляделись и задержались взглядом на птице.

— Поморник,— сказал один из них.— Чует, подлец, штормягу.— Они следили глазами за ним. Поморник, так же не торопясь, обогнал судно. Он уже летел впереди нас и сливался с туманом.

— Сгоняем еще партию? — сказал второй матрос, лениво потягиваясь.

Матросы ушли в столовую. Я еще постоял на палубе. Удивительная тишина и покой были в воздухе и на воде. Поморник скрылся. Я посмотрел на гладкую воду, на туман, зевнул и пошел в кубрик спать.

Глава XX

НОЧЬ ПЕРЕД ШТОРМОМ

(На берегу)

Радиограмма с 89-го о бегстве Мацейса и Шкебина была принята портовой станцией двадцать четвертого апреля в 0 часов 40 минут. Радист присоединил ее к пачке ранее принятых радиограмм и в 0 часов 50 минут, когда позвонил начальник флота Марченко, принес и положил ему на стол всю пачку. Марченко, молодой человек, месяца три назад выдвинутый из капитанов, собирался уже идти домой. Он стоял за столом в пальто и в шапке.

— Ну что, маркони,— приветствовал он радиста,— много принимал?

Он всегда перед уходом просматривал последние сообщения.

— Ерунда,— сказал маркони.— Сводок нет. Суда прекратили промысел. Ждут шторма.

Марченко перебирал бланки. Радист пожелал ему спокойной ночи и вышел. Бланки мелькали в руках Мар-

ченко. Ничего существенного не было. Суда указывали местонахождение, запрашивали прогноз длительности шторма. Радиограмма о бегстве двух матросов с 89-го тоже сначала не привлекла внимания. Уже просмотрев всю пачку, Марченко нахмурился, снова ее разыскал и прочел очень внимательно. Странная история! Он потерял переносицу, как делал всегда в затруднительных случаях, и все-таки ничего не понял. На его памяти ничего подобного в траловом флоте не происходило. «За границу»,— подумал он. Но нет, граница была далеко, на шлюпке наверняка не добраться. Мацейс и Шкебин. Он напряг память. О них в начале рейса сообщал Студенцов. Они спьяну забрались на «РТ» и ушли сверх комплекта. Начальник отдела кадров тогда просмотрел их личные дела. Особых грехов за ними не числилось. Ну, пили, так за это в тюрьму не сажают. Бежать нечего. Может, они уже в рейсе натворили чего-нибудь? Но тогда бы сообщил Студенцов.

«Да ну их к дьяволу,— решил Марченко,— ничего тут как будто нет такого опасного. Заявлю завтра в угрозыск — и всё...»

Он потушил свет, вышел из кабинета, потом вернулся и снова зажег свет. Идиотская эта история раздражала его совершенной своей непонятностью. Он постоял, подумал и, сняв телефонную трубку, потребовал Голубничего.

— Голубничий слушает,— заревел в трубке бас.

— Говорит Марченко. Понимаешь, товарищ Голубничий, странный какой-то случай. Два матроса с 89-го — помнишь, я еще говорил тебе,— которые спьяну по ошибке на тральщик попали, Мацейс и Шкебин...

— Ну, ну, гром и молния, помню.

— Студенцов сообщает, они сбежали на шлюпке.. Ты меня слушаешь?

— Слушаю, слушаю. Дурацкая какая история.

Пауза была очень длинной. Видимо, Голубничий обдумывал новость.

— Так вот я не знаю, что делать,— сказал наконец Марченко.

— «Что делать, что делать»! — недовольно басил Голубничий. — Утром в угрозыск сообщи. Людей надо подбирать лучше, товарищ Марченко. А то никак от бичей

освободиться не можем. Еще за границу их посылаем. Спокойной ночи.

Повесив трубку, Голубничий еще минут двадцать занимался делами, потом запер кабинет и, отдав ключи сторожу, пешком побрел домой. Было уже светло. С улицы видно было: на рейде недвижно стояли суда. Голубничий представил себе, что в сотнях кубриков над гладкой и спокойной водой спят матросы и штурманы и даже вахтенные, наверное, дремлют или задумались о самом главном, о самом важном, что у каждого есть в жизни. Удивительная тишина стояла над городом. Голубничий смотрел на окна. За одними было темно, за другими висели занавески, и странно было подумать, сколько людей спит за пустыми темными окнами, сколько разных снов им сейчас снится.

Прекрасная вещь — предутренний воздух. Хотя Голубничий знал, что заснет сразу же, как только ляжет, сейчас ему совсем не хотелось спать. Он сунул руки в карманы и огляделся. Ни одного человека не было на улицах. Мертвые стояли дома, — казалось, самый воздух застыл и никогда уже ничто не шелохнется. В такие ночи бодрствующему человеку кажется, что он в заколдованной стране единственный живой человек.

В квартире все спали. Жена, когда он вошел, сонным голосом пробормотала, что на столе молоко и бутерброды с сыром. Но Голубничий есть не стал, сразу разделся и лег. По всегдашней своей привычке, перед тем как заснуть, он перебрал в голове все дела, сделанные сегодня, и остановился на звонке Марченко.

«Все-таки, — подумал он, — надо было позвонить в НКВД. Черт их знает, этих беглецов. Больно уж странный случай». Он попытался заснуть, но мысль об этом не давала ему покоя. «Мало ли что, — думал он. — Не будут люди просто так, здорово живешь, удирать с судна». Минут пять он еще полежал, а потом, чувствуя, что все равно не заснет, снял трубку с телефона, висевшего над диваном. «Домой Дубровину звонить не стану, — решил он, — но, может, он еще в НКВД».

— Да, — услышал он голос Дубровина, — это я.

— Понимаешь, — объяснил ему Голубничий. — С одного тральщика в море ни с того ни с сего удрали на шлюпке два матроса.

— С 90-го? — быстро спросил Дубровин.

— Нет, — растерянно сказал Голубничий, — с 89-го.

А ты почему думал, что с 90-го?

— Тут у меня были предположения. Фамилии?

— Мацейс и Шебин.

— Они ходили в иностранные воды принимать тральщик?

— Д-да. — Голубничий совсем растерялся.

— Подробности побега известны?

— Нет, но можно запросить.

— Не надо. Ты прости меня, Голубничий, я сейчас очень занят. Всего. Я позвоню потом.

Повесив трубку, Голубничий откинул одеяло и сел «Черт! — думал он. — Видимо, серьезное дело». Он раскурил трубку. Табак тлел и покрывался пеплом, а Голубничий сопоставлял факты. Как он ни прикидывал, все равно выходило плохо. 90-й и 89-й. Оба только что с иностранной верфи. Фирма солидная, но ведь и там могли поработать кое-какие люди из числа наших «дружков». Какую же именно пакость могли нам подстроить? Голубничий быстро отбросил адские машины и бомбы, однако ничего другого, равноценного им и более вероятного, придумать не мог. Он выкурил трубку, и набил ее снова, и вторую выкурил, и, почувствовав, что все равно не заснет, оделся. Когда он раздернул штору и ясным дневным светом осветилась комната, было три часа десять минут. Голубело небо. Солнце, скрытое от Мурманска горою, уже светило над морем. Воздух был тих и спокоен. На береговых мачтах висели штормовые сигналы, но шторм был еще далеко. Он шел со скоростью тридцати пяти метров в секунду, и за ним трещал лед, ломались гигантские льдины, а перед ним над белыми льдами светило холодное солнце. Моржи, тюлени спускались под воду, слыша его приближение. Он шел с воем и громом, неся тучи снега, крутя и сдвигая ледяные поля. Кончились полярные льды... Перед ним было чистое море. С ревом ринулся он дальше вздымать водяные горы, срывать вершины волн, бить и трепать суда. А суда двигались ему навстречу в полной готовности и не боялись его, потому что сила машин и точность инженерных расчетов были могущественней его.

Впрочем, всюду южнее 78-го градуса была еще ти-

шина и светило солнце, и Голубничий смотрел из окна на ясное, тихое утро.

«В чем же дело?» — подумал он и, не в силах сдерживать нетерпение, вызвал квартиру инженера Алексеева, того самого, который месяц назад принимал за границей 90-й и 89-й. Голубничий думал, что ему долго не будут отвечать, и вообще ему было очень неловко будить человека в такую рань, однако ему ответили сразу.

— Простите меня, пожалуйста, — забасил он. — Нельзя ли товарища Алексеева?

— Алексеева нет.

— То есть как это нет? А где же он?

— Его арестовали час назад...

Голубничий бешено застучал рычагом.

— НКВД! — крикнул он телефонистке. — Дубровина срочно.

— Товарищ Дубровин занят, — спокойно ответил дежурный, — и подойти не может.

— Слушайте, — взмолился Голубничий, — говорит Голубничий. Мне он очень нужен.

— К сожалению, товарищ Дубровин на допросе. Я передам ему, что вы звонили, как только он освободится.

Голубничий повесил трубку. Приходилось, очевидно, ждать. Он попробовал взять книгу. Нет, читать он не мог. Боясь разбудить жену, он на цыпочках стал ходить взад и вперед по комнате. Мысли, одна другой страшней, лезли в голову. Тогда, поняв, что успокоиться все равно не удастся, он натянул пальто, надел фуражку и вышел на улицу.

Небо было совсем такое, как днем, ясное, светло-синее, и только полное отсутствие на улицах людей напоминало, что сейчас ночь, половина четвертого и самое подходящее место для человека — постель.

Голубничий сам не заметил, как оказался у рыбного порта. Стрелок узнал его, и он прошел через караульную будку. В порту было затишье. Из-за предстоящего шторма тральщики не уходили в море. Суда стояли у стенки, вахтенные лениво болтались на палубах, курили или негромко переговаривались. Рейд был спокоен и гладок. Противоположный берег залива освещало солнце. Голубничий решил звонить Дубровину в половине пятого. Сейчас было только четыре десять. Он прошел по при-

чалам, нарочно стараясь идти медленнее, задерживаясь под любым предлогом, чтобы протянуть время. Ровно в половине пятого он сказал дежурному:

— Откройте-ка мне кабинет Марченко.

— Кабинет открыт, товарищ Голубничий,— ответил дежурный.— Начальник у себя.

Марченко шагал по кабинету, засунув руки в карманы. Увидя Голубничего, он, не здороваясь, сразу заговорил:

— Ты знаешь, что арестован Милиус?

— Кто это?

— Бывший старший механик 89-го. Он принимал тральщик.

Ничего не ответив, Голубничий снял трубку и вызвал Дубровина. Дубровин ответил сразу же.

— Слушай,— сказал Голубничий,— время идет. Может быть, надо принять меры?

В голосе Дубровина слышалась страшная усталость и раздражение.

— Мы еще не получили всех данных, придется подождать. Где ты будешь?

— У Марченко.

— Хорошо. Если что-нибудь будет, я сообщу.

Оба повесили трубки. Снова время потекло невероятно медленно для Марченко и Голубничего и невероятно быстро для Дубровина. В шесть часов привезли сводку. Последние из тех тральщиков, которые должны были вернуться в порт, уже вернулись. Те, которые были близко от удобных стоянок, укрылись под защиту берегов. Остальные дрейфовали и ждали шторма. «Окунь», промышлявший в восточных квадратах моря, сообщал, что шторм начался. О том же рапортовал товаро-пассажирский «Двина», подходивший к Пинеге. Маточкин Шар сообщал, что шторм в двенадцать баллов налетел десять минут назад. Видимо, шторм шел огромною полосой, захватив всю ширину Баренцева моря.

Голубничий позвонил в Колхозсоюз. Сводка по станциям была дана еще с вечера. Регистр не выпускал боты. В общем, все было совершенно нормально, и в Колхозсоюзе даже удивились, почему беспокоится Голубничий. Голубничий сам не мог этого объяснить. Сколько раз уже бывали штормы не меньше этого, и никому не

приходило в голову волноваться. В семь часов утра, закончив погрузку, вышел в Лондон теплоход «Ленинград». Капитан, разумеется, и не думал задерживаться из-за шторма, и никого это не удивило. Что такое шторм, хотя бы и в двенадцать баллов, для теплохода?

В половине восьмого Голубничий поехал домой, прилег, не раздеваясь, на диван и заснул тяжелым, беспокойным сном. Марченко прикорнул у себя в кабинете. В половине девятого Голубничий проснулся и позвонил Дубровину. Дубровин был на допросе и подойти не мог. Голубничий поехал на работу. Его уже ждали. Пришли из банка насчет сметы, из бухгалтерии принесли ведомости, профработник жаловался, что у Дома культуры не хватает средств на ленинградский театр, еще кто-то пришел по таким же будничным, обыкновенным делам. Голубничий разбирал дела, решал, с чем-то соглашался и что-то отвергал, однако мысль о бегстве двух матросов и связанных с этим непонятных обстоятельствах все время не давала ему покоя.

В половине десятого инженеру Алексееву были предъявлены следователем отрывки из показаний, данных сутки назад неким хромым бичкомером Юшкой. Инженер Алексеев растерялся, что-то забормотал, потом как-то нелепо взмахнул рукой и начал дрожащим голосом давать показания. После первых же его слов присутствовавший при допросе Дубровин вышел и, пройдя к себе в кабинет, вызвал на допрос механика Милиуса. Механик Яков Иванович Милиус, краснощекий, с пушистыми усами, смотрел на Дубровина ясным, открытым взглядом и все начисто отрицал. Следствие велось с огромным напряжением, потому что следователи начали подозревать, что дорога каждая минута. В десять часов Милиусу и Алексееву была устроена очная ставка. В это самое время шторм дошел до 70-го градуса. Теперь уже почти все Баренцево море шумело и пенилось.

— Да, да, да. Я уж все рассказал, Яков Иванович. Вы как хотите, — сказал Алексеев Милиусу и отвернулся, но Милиус продолжал все отрицать, и потребовалось высокое искусство опытного следователя, чтобы заставить его все же заговорить.

Припертый к стене уликами, Яков Иванович начал давать показания в десять часов сорок минут, и следова-

тель, бледный от утомления, стал быстро заполнять одну за другой страницы протокола. Однако в одиннадцать пятнадцать суть дела была уже настолько ясна, что Дубровин, не дожидаясь конца очной ставки, вышел и позволил Голубничему.

— Я еду сейчас к Марченко,— сказал он,— выезжай и ты тоже. Очень серьезные новости.

Машины Дубровина и Голубничего подъехали к рыбному порту почти одновременно. Голубничий и Дубровин вместе поднялись по лестнице и вошли в кабинет начальника флота. Марченко, увидя их, попросил всех остальных оставить кабинет и запер дверь на ключ. Дубровин заговорил сразу, как только закрылась дверь:

— Коротко говоря, дело в следующем: 89-й и 90-й построены по неверным чертежам. Метацентр¹ обоих тральщиков сознательно рассчитан неверно. В условиях шторма они должны опрокинуться. Можно еще что-нибудь сделать?

Марченко стоял бледный и совершенно спокойный.

— Не знаю,— сказал он.— Не будем терять времени, пойдемте к радистам.

В одиннадцать двадцать двадцать четвертого апреля радиостанция рыбного порта начала вызывать тральщики.

«89-й и 90-й,— отстукивали радисты, сдерживая нервную дрожь.— 89-й и 90-й. Немедленно укройтесь в ближайшей губе. Используйте любую возможность. Не исключен заход в норвежский фиорд. 89-й и 90-й, укройтесь в ближайшей губе.— Дальше шел шифр. Цифру за цифрой отстукивали радисты. Цифра за цифрой летели над морем.— 89-й и 90-й,— кричали цифры,— ваши суда рассчитаны неверно. Опасность опрокинуться исключительно велика. Принимайте меры к спасению команды, вплоть до того, чтобы выброситься на берег. 89-й и 90-й, радируйте положение...»

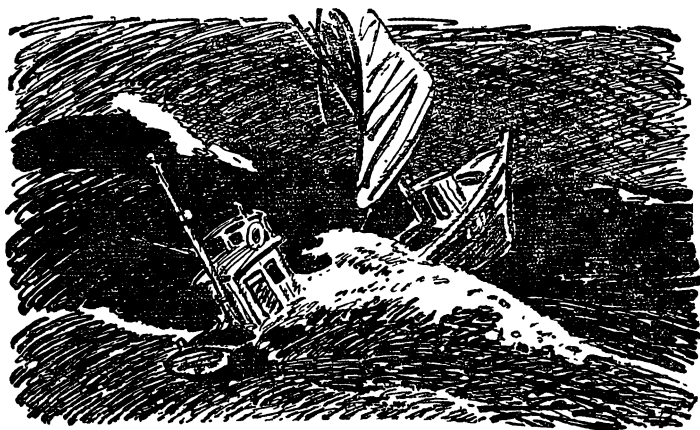
Радисты работали, закусив губы, точно и без ошибок. Голубничий и Марченко стояли у аппаратов, оба сумрачные и очень спокойные.

«89-й и 90-й...— неслось над морем.— 89-й и 90-й, где вы? Радируйте местонахождение».

¹ Метацентр — центр тяжести.

Радиоволны неслись над морем, мощные радиоволны портовой станции. Но уже ревел шторм над обреченными тральщиками, и огромные валы заливали палубы, и все равно, хотя бы все радиостанции мира звали 90-й и 89-й, тральщики не могли повернуться и не могли укрыться в губе.

Шторм ревел над ними, и было поздно, поздно, тысячу раз поздно.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ШТОРМ

Глава XXI

ШТОРМ НАЧАЛСЯ

Проснулся я поздно и в прекраснейшем настроении. Солнце било в иллюминатор, тральщик шел ровно, вода под настилом почти совсем не плескалась. Я с наслаждением потянулся, зевнул и, откинув одеяло, сел на койке. Свистунов, поставив ногу на скамейку, очень тщательно и неторопливо заворачивал портянку согласно всем сложным правилам высокого этого искусства.

— Проснулся? — сказал он. — Пора, пора. Ты чего это ночью беспокоился? Я так и не понял, что ты мне объяснял. Я только от трех вещей просыпаюсь сразу: если сказать: «на вахту», если сказать: «аврал» или если сказать: «спасайся, кто может, идем ко дну». Тогда у меня и голова в одну секунду ясная, и тело само по себе движется. А так меня хоть два часа буди — не добудишься.

Он натянул сапог и, переменив ногу, стал так же нето-

ропливо наматывать другую портянку. Я быстро одевался, боясь, что он повторит вопрос. Он и действительно его повторил.

— Так чего ты меня будил, а? — переспросил он. — Я что-то помню — ты говорил о глазах и шторме. Или я путаю?

Он говорил просто так, ради удовольствия поговорить. Его больше занимали складки портянки, чем мой ответ. Но я залился багровой краской. Что мог я ему ответить?

— Я просто так, — сказал я, торопливо одеваясь. — Сам не помню, глупость какая-то.

Его удивил мой ответ. Не глядя на него, я чувствовал на себе его взгляд. Он не стал, однако, распространяться.

— А-а... — протянул он и взялся за второй сапог.

В самом его молчании я почувствовал: он понимает, что я вру, но считает это моим правом. К счастью, я был уже одет. Пулей выскочил я из каюты, сознавая, что вел себя глупо и подозрительно.

Пока я спал, легкий ветер унес туман, и солнце горело на светлом небе.

Столовая была битком набита народом. Увидя Овчаренко, сидевшего за столом, я сразу понял, что речь идет о Шкебине и Мацейсе.

— Мы сообщили в порт, — говорил помполит. — Думаю, что не сегодня-завтра они будут схвачены.

Матросы слушали молча, внимательно глядя на Овчаренко. Он замолчал, но никто не двинулся и никто не сказал ни одного слова. Все ждали, казалось, объяснения удивительнейшему происшествию.

— Что случилось? — шепнул я Донеюко, вспомнив, что должен притворяться, будто ничего не знаю.

— Мацейс и Шкебин бежали на шлюпке, — также шепотом ответил он мне.

Хорошо, что он не смотрел на меня. Я чувствовал, что притворяюсь плохо и неумело, но все по-прежнему смотрели на Овчаренко, и на меня никто не обращал внимания. Овчаренко понял, что от него ждут объяснений.

— Я не знаю, что они натворили, — сказал он, — но я знаю, что без причин люди не удирают с судна. Я знаю, что среди нас жили два негодяя и мы не замечали этого. Я думаю, что нам должно быть стыдно, нам всем, и мне в первую очередь, что мы позволили им удрать. Я думаю

еще, что это нам должно послужить уроком. Были основания подозревать их. Их появление на судне. Их поведение на птичьем базаре. В конце концов, вообще их быт, их связи на берегу.

В столовую вошел Свистунов. Он удивленно посмотрел на Овчаренко и спросил о чем-то стоявшего рядом кочегара. Кочегар, видимо, объяснил ему, в чем дело, потому что у Свистунова стало совсем удивленное лицо.

— Разве мы не знали о том, что пьют они с темными людьми, с бичами? — продолжал Овчаренко. — И, несмотря на это, их послали за границу. Можем мы ставить вопрос о недостаточной бдительности береговых организаций?

Я все время боялся, что Свистунов на меня посмотрит. И вот он посмотрел на меня. Делая вид, что не замечаю его взгляда, я не отрываясь смотрел на помполита, но не слышал ни одного его слова. Бывает так, что угадываешь чужие мысли. Даже не видя Свистунова, я чувствовал, что он вспоминает ночной разговор, что фраза за фразой встают в его памяти. Я не выдержал и посмотрел на него. Мы встретились глазами, я понял, что он уже все помнит. Тогда, чувствуя, что краснею, что сейчас окончательно выдам себя, я вышел из столовой, зная, что Свистунов смотрит мне вслед.

На тральщике только и было разговоров о бегстве Мацейса и Шкебина. Об этом говорили матросы, убравшие кубрик, в камбузе об этом спорили кок и юнга. В сетевой Силин, по обыкновению возившийся с тралом, выдвигал какие-то свои соображения перед Аптекманом, потрошившим краба, и даже когда я сверху заглянул в кочегарку, я услышал, что кочегары, освещенные пламенем топков, говорили о том же: о таинственном бегстве Мацейса и Шкебина.

Все догадываются, казалось мне, что я знаю больше других. К сожалению, мне скоро пришлось убедиться, что это не только мои подозрения. Пошатавшись по тральщику, я зашел в столовую. Овчаренко уже ушел. Из камбуза торчала голова и усы кока. Еще в дверях я слышал оживленный разговор. Несколько человек, перебивая друг друга, спорили серьезно и увлеченно — очевидно, всё о том же. Когда я вошел, все замолчали как по команде. Кок втянул обратно свою унылую голову, и кончики его

усов исчезли в камбузе. Я увидел Свистунова, и Свистунов избегал моего взгляда. Я увидел матроса, стоявшего на руле ночью, когда я прибежал в рулевую. Он смотрел в сторону. Он потянулся, зевнул и сказал очень равнодушно:

— Сыграем, что ли?

Они врили, они притворялись. Они не хотели, чтобы я слышал, о чем они говорят. Показывая это так явно, как могли они поверить, что я не замечаю этого?

— Донеико здесь нет? — спросил я, чувствуя, что у меня даже уши покраснели.

— Нет, — резко ответили мне.

Я вышел; у меня дрожали руки и сердце билось так, что трудно было дышать. Сквозь дымку, застилавшую мне глаза, я видел сверкающее на солнце море, спиралями вьющихся чаек, добела вымытую палубу тральщика. Мимо меня быстро прошел Овчаренко. Я шагнул к нему, решив просить его: пусть он расскажет, что я ни в чем не виноват, а то не могу же я все время чувствовать недоверчивые, подозрительные взгляды моих товарищей. Пока я собирался, он уже был у кубрика, и навстречу ему вышел Донеико, неся на плечах громоздкий и тяжелый киноаппарат. Я отошел в сторону.

— Покажите хронику, — слышал я голос Овчаренко, — а потом комедию посмешней. Пусть народ повеселится.

Они прошли мимо меня и зашли в столовую, а я, подумав, не решился пойти за ними. Я поднялся на ростры. Здесь, по крайней мере, никого не было. Сев на сверток каната, я задумался о том, как глупо, в сущности говоря, мое положение. Сейчас один я мог думать об этом спокойно. «В чем меня подозревают ребята? — рассуждал я. — Очевидно, в том, что я сообщник Шкебина и Мацейса, что я помогал им бежать. Но, с другой стороны, известно через рулевого, что я ночью был у капитана». Я рассмеялся, подумав о том, как команда, наверное, ломает головы, чтобы связать в одно все факты. Когда я не чувствовал на себе подозрительных взглядов, положение уже не казалось мне столь трагичным. Ну чем это, в самом деле, могло кончиться? Очевидно, в конце концов они пойдут к Овчаренко и всё расскажут ему. Не зная точно, что он им ответит, я был, конечно, уверен, что от меня

он подозрение отведет. Значит, мне нужно ждать, пока это все само созреет.

Решив так, я успокоился окончательно и, усевшись поудобнее, стал наслаждаться открывающимся передо мной видом. Странная вещь. Казалось бы, что может быть однообразнее моря. Гладкое одноцветное пространство, глазу не на чем остановиться, а между тем, сколько ни смотришь на него, оно никогда не надоедает, и всегда кажется, будто сейчас ты впервые его увидел. Может быть, это простор, открывающийся глазам, так действует на человека — ничто ведь не может быть прекраснее неограниченного пространства, — или, может быть, вечный непокой, вечное колебание воды так притягивает к себе неспокойных людей.

Оно еле заметно колебалось передо мной — море. Миллионы солнц подрагивали на светлой его поверхности, а на чуть более светлой неподвижной поверхности неба всюду сияло одно ярчайшее колоссальное солнце.

Я спокойно оглядывал горизонт, когда хлопнула дверь и из рубки вышел штурман. Он приложил к глазам тяжелый морской бинокль и долго смотрел в одну точку. Из своей каюты вышел капитан. Штурман передал ему бинокль.

— 90-й, — сказал ему штурман.

Капитан кивнул головой. Еще раз он осмотрел горизонт и ушел в каюту. Я тоже видел 90-й. Мне он казался игрушечным корабликом на гладком, как на картинке, море. Я долго смотрел на него. Штурман ушел в рубку, сменился рулевой, капитан вышел еще раз, оглядел горизонт и снова ушел к себе. А я все смотрел на тральщик.

Видимо, мы шли с ним не совсем параллельным курсом. Постепенно он становился все больше, мне даже казалось, что я могу различить маленькие фигурки людей, но это, конечно, было только воображение. Оторвав глаза от черного силуэта, я посмотрел вперед.

Там, куда устремлялся нос нашего тральщика, я увидел черную полосу на горизонте. Я шурился и всматривался в нее, а она росла в обе стороны. И она уже была очень длинной, когда вдруг с удивительной быстротой начала расширяться. Капитан вышел из каюты и долго смотрел в бинокль, а потом пошел в рубку. Я понял, что на нас идет шторм, хотя я никогда не думал, что шторм

приходит так. По-прежнему в чистом и светлом небе горело над нами солнце, по-прежнему тысячи солнц сияли в ровной, спокойной воде, а черная полоса занимала уже весь восточный край неба, весь восточный край моря. Казалось, на небо и на океан кто-то со страшной быстротой натягивает черные тенты. Ураган приближался. Конница клубящихся туч мчалась на нас по небу, и черная тень неслась на нас по воде. Уже на горизонте пенились волны, как будто под тучами чудесным образом закипала вода. Очень странно все это выглядело. И на воде и на небе резкой чертой было отделено черное от голубого, и эта черта наступала, передвигалась, мчалась на нас.

Я приглядывался к воде за чертою. Мелкая рябь покрывала ее, от этого она казалась темной, а тень, падавшая от туч, еще темнила ее. Дальше уже маленькие волны неслись на нас. За ними шли большие волны. Вдали наступали валы с белыми гребнями. Я мог только угадывать их высоту: они были еще далеко.

Черная конница туч налетела на солнце, и солнце скрылось, но надо мной по-прежнему было ясное, голубое небо. В лицо мне пахнуло холодом. Черная черта мчалась на нас. Но вот облака закрыли небо над нами, и черная черта прошла по воде. Это было так ясно и отчетливо видно, что, казалось, я уловил момент, когда нос тральщика был уже на черной, а корма была еще на спокойной, на штилевой воде. Но это была одна секунда. Потом с резким свистом на меня набросился ветер, сразу стало темно, и тучи мокрого снега запрыгали вокруг, забираясь за воротник, в рукава, больно кусая кожу. Я стоял ослепленный и оглушенный, кругом меня выло, свистело и грохотало, снежинки прыгали и кружились, но, повернувшись к корме, я еще видел совсем недалеко — быть может, в одном или двух километрах — ясное небо, освещенную солнцем светло-голубую спокойную воду.

Наклонив голову, полузакрыв глаза, я двинулся навстречу ветру и с трудом, спотыкаясь, руками ища дорогу, добрался до трапа. Тут я остановился. Куда мне идти? Я вспомнил недружелюбное молчание в столовой, косые взгляды товарищей, и мне расхотелось спускаться вниз. Тогда, цепляясь за поручни, я добрался до ра-

диорубки, нащупал ручку, с трудом открыл дверь — ветром ее здорово прижимало, — вошел, и ветер захлопнул за мною дверь с такой силой, что задребезжал умывальник, а маркони, сидевший за столом, испуганно обернулся.

— Началось, — сказал он. — Садись, Слюсарев. Теперь пойдет кадриль.

Я взгромоздился на койку. Удивительно приятно было после холода, ветра, снега очутиться в каюте, на мягкой койке и чувствовать под рукой тепло шерстяного одеяла. За стеной свистело и выло. Окно залепило снегом, в полутьме тускло светили лампы радиоприемника. Потом маркони зажег свет, и стало еще уютнее. Мы разговорились. Оказалось, что маркони тоже еще не видывал двенадцати баллов, хотя делал уже четвертый рейс. Он очень жалел, что ему нельзя пойти посмотреть кино.

— Народ, — говорил он, — собирается в бане помыться, а мне и этого нельзя. Такая специфика работы.

Я ему посочувствовал. Мы немного еще поболтали, потом его вызвал берег. Он надел наушники и взял карандаш. Я подумал, что мне скоро на вахту, но решил, что вахтенным, наверное, разрешат посмотреть кино. Все равно делать нечего — шторм. От этих приятных мыслей меня оторвал голос маркони:

— Постучи капитану, Слюсарев.

Что-то было такое в его голосе, такое напряжение появилось вдруг в его позе, что, постучав капитану в стенку, я заглянул маркони через плечо. Он торопливо записывал в журнале.

«Немедленно укройтесь в ближайшей губе, — прочел я. — Используйте любую возможность. Не исключен заход в норвежский фиорд...» Дальше шли цифры, длинный ряд ничего мне не говорящих цифр. Однако того, что я прочел, было достаточно. У меня замерло сердце, я вдруг почувствовал, что тральщик здорово качает. Видно, пока мы болтали, на море разгулялась волна. Открылось оконце из рубки, и просунулась голова капитана.

— В чем дело? — спросил он. — Что-нибудь новенькое?

— Николай Николаевич, — почему-то умоляющим тоном сказал маркони, — зайдите вы, бога ради, сюда.

Капитан посмотрел на него удивленно, однако закрыл окошечко, и через минуту в дверь ворвался ветер, и снег, и холод.

— В чем дело? — спросил капитан, придерживая дверь, чтобы она не хлопнула.

Маркони продолжал записывать цифры. Облокотившись о стол, капитан прочел запись. Я выжидающе смотрел на него. Он выпрямился, вынул трубку и закурил. Я смотрел очень внимательно. Нет, спичка не дрожала в его руке. Мне стало как-то легче на душе. Маркони снял наушники.

— Я сейчас, Николай Николаевич, я быстренько, — сказал он и, справляясь с шифром, стал медленно переписывать цифровые записи.

Капитан сел на диван. Клубы дыма поплыли по каюте. Сквозь вой и свист ветра услышал я плеск волны. Уже начало захлестывать палубу. Маркони встал и протянул капитану бланк с расшифрованной радиограммой. У маркони было белое как бумага лицо. У маркони на лице была жалкая, кривая улыбка. У маркони, я это точно видел, дрожали руки. Он покачнулся и еле удержался на ногах. Это было уже не от страха. Качка усиливалась с каждой минутой. Радиожурнал соскользнул со стола и упал на пол. Из умывальника выплеснулась вода. Ветер с силой бросил в стекло иллюминатора брызги. На палубу с грохотом обрушилась волна.

Капитан взял бланк, прочел, подумал и сунул его в карман.

Маркони и я, мы стояли молча и ждали. Он посмотрел на нас и улыбнулся, — как мне показалось, немного натянуто.

— Чего вы смотрите? — спросил он. Потом добавил, обращаясь ко мне: — Вам повезло, Слюсарев. В первый же рейс попасть в двенадцатибалльный шторм — это хорошая школа. — Трубка его погасла. Вынув спички, он не торопясь раскурил ее, потом встал и сказал совсем обычным своим тоном: — Спуститесь вниз и позовите мне Овчаренко... И еще Аптекмапа... Я буду у себя в каюте...

Я попытался открыть дверь. Ветер нажимал на дверь, и я долго боролся с ним, а когда я все-таки выбрался на палубу, он этой же дверью чуть не прищемил

мне пальцы и с такой силой погнал меня, что, цепляясь за поручни, я еле удержался, чтобы не упасть. Снег слепил глаза, я ничего не видел. Втянув голову в плечи, я ощупью добрался до трапа. Ступенька за ступенькой спускался я вниз, крепко прижимаясь к поручням. Мне казалось, что стоит мне отпустить руки, и ветер подхватит меня и будет долго носить над морем, пока не швырнет в воду. Пожалуй, я был не так уж далек от истины. Унести меня за борт ветер, во всяком случае, мог. Спустившись, я побрел по палубе, и ветер дул мне теперь в лицо, и несколько метров до двери столовой показались мне бесконечными. Тучи брызг носились в воздухе. Я был весь мокрый. Я не отличал уже свист ветра от грохота волны, рушащейся на палубу, от ударов брызг в стены надстройки. Все сливалось в оглушающий рев, и казалось — уши человека не могут вынести такого напряжения.

Наконец я нащупал дверь в столовую. Яркий свет ослепил меня. Пол уходил из-под ног, и стены наклонялись так, что не с моим опытом можно было удержаться на ногах. Но зато отдыхали глаза, и кожу уже не кололи брызги и снег, и мышцам не приходилось бороться с ветром. В столовой было очень много народа. Донеико возился у киноаппарата, и что-то у него не ладилось, потому что он хмурился и, видимо, про себя ругался. Остальные сидели за столами, многие по два на одном стуле, а несколько человек пристроились на полу. Овчаренко сидел рядом с Аптекманом. У меня отлегло от сердца. Очень уж не хотелось мне тащиться еще в каюту к механику. Шагая через сидящих, беззлобно ругавших меня на чем свет стоит, я подошел к Аптекману и Овчаренко и передал им приказание капитана. Оба были, видимо, удивлены, но спрашивать ни о чем не стали и, перешагнув через нескольких человек, вышли из столовой.

Ветер свистел за стенами, с грохотом на палубу рушились волны, брызги били в иллюминаторы, а в столовой молча сидели матросы, и никто не сказал ни одного слова, даже Донеико перестал возиться у аппарата и бормотать ругательства. Он молчал и выжидающе смотрел на меня. Я огляделся — на меня смотрели все, как один человек. И все, как один человек, молчали.

Я почувствовал, что улыбаюсь жалкой, заискивающей улыбкой.

— Интересно, который час? — сказал я, чтобы что-нибудь сказать, и совсем растерялся. Прямо передо мной на стене висели часы. Казалось, никто не слышал моих слов. Казалось, они и не были сказаны. Несмотря на рев моря и ветра, казалось, что в столовой мертвая тишина.

— Ну, Расскажи-ка нам, Женька, что там такое случилось? — тихим, ласковым даже голосом сказал Свистанов.

Краска бросилась мне в лицо. Игра в прятки подходила к концу.

— А что такое? — спросил я фальшивым и неискренним тоном.

И тут заволновался Балбуцкий.

— Как это что такое? — заговорил он, покраснев и размахивая руками. — Как это что такое? Ты что думаешь — нас не интересует?.. Ты думаешь — мы не понимаем, что ты знаешь... что ты болтал Свистанову, а?.. А ну-ка, скажи.

— Заткнись, поросенок, — резко сказал Донеико. — Не в этом дело.

Он подошел ко мне и стал прямо против меня, внимательно глядя в мои глаза. Все остальные молчали, и я чувствовал на себе десятки настороженных, внимательных взглядов.

— Я верю Студенцову, — отчеканил Донеико, — пожалуй, все здесь верят ему. А он нам почему не верит? — Он огляделся. Свистанов за всех кивнул головой. — Что за история с этими двумя, с Мацейсом и Шкебиным? Почему они бежали? Может быть, как крысы с корабля? А?

— Да я-то почему знаю? — пролепетал я.

— Оставь! — Донеико махнул рукой. — Должно рассказывать, но поверь, что это всякому ясно. Да если бы мы и сомневались, так, честное слово, достаточно на тебя посмотреть. Ты что — от холода покраснел, что ли?

Это был очень сильный довод. Я понимал, что мне крыть нечем. Я молчал. В эти тяжелые для меня секунды я снова и снова перерешал: что мне делать? Что я, в сущности говоря, не имел права говорить? На одну се-

кунду мне пришла в голову мысль, что я ничего не знаю такого, чего бы не знали и остальные. Но тут же я понял, что это не так. Дело было не в существенных фактах, дело было в мелочах, в случайных фразах, в тоне, которым со мной говорили беглецы. Само по себе их бегство никого не могло испугать. В обстоятельствах бегства, в совпадении бегства со штормом, в том, что никакой радиогаммы не было и, значит, не было у них оснований опасаться, в их ужасе при пробуждении в шлюпке,— в этом было то непонятное и угрожающее, что могло испугать команду. Именно об этом, понял я, Овчаренко просил меня не рассказывать.

Я молчал, и товарищи мои смотрели на меня зло и внимательно.

— Ты пойми,— сказал Донеико,— тут ребята не из детского сада, и мы — что ты ни говори — хорошо знаем друг друга. Прямо скажу, тут почти все не ангелы, кроме разве Балбуцкого. Но бичей и бандитов тут нет. Тут все свои. И если две сволочи бежали — это касается всей команды. Студенцов нам может не доверять, но ты член команды. Мы тебя спрашиваем: в чем дело?

Я молчал. В этом мучительном положении я сохранил одну только упрямую мысль: «Я не должен ничего говорить». Не знаю, долго ли мы так стояли. Мне казалось, что очень долго. Потом вой ветра усилился. Холод ворвался в столовую. Я обернулся. Овчаренко закрывал дверь. Он повернул ручку, опять ветер завыл глуше. Овчаренко снял фуражку и сбросил с нее мокрый снег. Мельком он кинул взгляд на меня и Донеико, стоявших друг перед другом, на команду, сидевшую неподвижно, и я почувствовал, что он понял мое положение. Донеико повернул к нему спокойное и деловитое лицо.

— Будем начинать, Платон Никифорович? — спросил он.

— Капитан запретил киносеанс,— сказал равнодушным тоном Овчаренко.— Он считает, что команда должна быть на палубе.

Все как молчали, так и продолжали молчать, но такое внимание, такое напряжение было в этом молчании, что общий невысказанный вопрос, казалось, звучал в воздухе. Это чувствовали все, и, хотя вопрос не был задан, все ждали ответа. Один Овчаренко ничего, каза-

лось, не чувствовал. Он выпул платок и вытер мокрое от снега лицо.

— В кубрике много народу? — спросил он, аккуратно складывая платок.

— Двое моются в бане, да человек пять по койкам валяются, — доложил Донеико.

Овчаренко кивнул головой.

— Балбуцкий, — сказал он, — пойдите вниз, скажите, чтобы все шли наверх. Кто моется — тоже. Пусть только мыло смывают, одеваются и на палубу.

Молчание стало еще внимательнее и еще напряженнее. Не отрываясь, смотрели все на Овчаренко, а он не замечал этого.

— Ну? — удивленно сказал он. — Что с вами, Балбуцкий, чего вы ждете? — Балбуцкий оглядел всех растерянными, вопрошающими глазами, поднялся и вышел. — А вы, Донеико, пойдите ударьте склянки. Не видите разве, что время?

— Платон Никифорович! — Донеико шагнул вперед. — Объясните вы нам, что происходит.

Сидевшие на стульях и на полу чуть шевельнулись, подтверждая вопрос, и снова замерли. У Овчаренко поднялись брови.

— Вы насчет чего? — спросил он. — Насчет запрещения киносекансов, бани и прочих штормовых удовольствий? Видите ли, из порта передали новую инструкцию. Знаете, ведь попадают ответственные сотрудники, которые море изучили по картинам в музее, а из рыб видели только балык. Так вот, видимо, из них кто-то выработал эту инструкцию. При шторме свыше десяти баллов все должны быть на палубе и чуть ли не со спасательными поясами. Придем в порт, станем скандалить, а пока приходится подчиняться.

Овчаренко говорил неторопливо и равнодушно, но я видел, что сидевшие пропустили его слова мимо ушей, не придали им значения, не слушали их. Все ждали, что вот сейчас Овчаренко скажет что-то другое, важное, главное, и все продолжали смотреть на него внимательно и выжидающе. Но Овчаренко кончил, он посмотрел на Донеико и сказал сухо и резко:

— Вы опоздали уже на минуту, идите бейте склянки.

Казалось, Донеико еще хотел что-то сказать, но лицо

Овчаренко не располагало к разговору. Проглотив готовые вырваться слова, Донейко вышел. Никто не посмотрел ему вслед. Все смотрели на Овчаренко. Овчаренко повернулся ко мне:

— Вы, Слюсарев, идите к рулю, время сменять рулевого.

Все, как один человек, повернулись ко мне. Чувствуя на себе подозрительные, недоверчивые взгляды моих товарищей, стараясь держаться спокойно и деловито, я вышел из столовой.

Глава XXII

РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ

Волна вырвала из моих рук дверь и хлопнула ею с такой силой, что даже сквозь рев и свист ветра я слышал удар. Оглушенный, я пролетел по палубе и, вцепившись во что-то, что попало мне в руки, стоял съежившись, втянув голову в плечи, пока волна не схлынула и порыв ветра не ослабел. Повернув лицо по ветру, я приоткрыл глаза. В сером свете мимо меня неслись большие снежинки. Казалось, что водят они хороводы, танцуют и кружатся, а ветер поет для них песню, и море медленно и монотонно отбивает им такт. Я чувствовал страшное давление ветра, и, чтобы удержаться на месте, мне приходилось напрягать все свои силы. Сошуренными глазами я видел только маленький кусочек пространства перед собой, несколько ступенек трапа, поручни, часть железной стены с залепленным снегом иллюминатором. Цепляясь за поручни, я поднялся наверх и, закрыв глаза, ощупью добрался до рубки. У меня горело лицо, снег таял на коже, и холодные струйки убегали за воротник. Бабин стоял на руле. Капитан ходил взад и вперед. Рулевого, видимо, уже послали вниз. Я подошел к штурвалу, готовый взяться за его ручки, но капитан, повернувшись ко мне, сказал:

— Не надо, побудьте здесь просто так.— Я стоял, не зная, куда девать руки, а капитан прошел еще по рубке и добавил, глядя на меня, раздраженно и зло: — А то наболтаете там и нагоните панику.— Я покраснел от обиды. Несправедливость капитана больно меня поразила.

Вероятно, он сам почувствовал, что оскорбил меня, поэтому что, пройдясь еще раз, сказал уже гораздо более мягким тоном: — Я ведь знаю, как у нас умеют выпытывать. Вам небось самому не легко пришлось.

После этого наступило молчание. Ветер выл и бросал в стекла брызги и снег; капитан мерил шагами рубку, Бабин, глядя на тихо качавшийся компас, иногда поворачивал штурвал. Был день, но за окном стояла серая полумгла, и за тучею снега я с трудом мог разглядеть нос тральщика, то поднимавшийся высоко вверх, то с шумом опускавшийся вниз. Тогда на судно со всех сторон наступал страшный хаос волн и снежных вихрей.

Маркони открыл окошечко и протянул радиogramму, и хотя в шуме ветра и шторма стук окошечка почти не был слышен, капитан резко повернулся и торопливо протянул руку. Он прочел радиogramму и, присев за столик, написал ответ. Маркони задвинул дверцу, и снова капитан мерил шагами рубку. Бабин тихо поворачивал штурвал, светился компас, и снег и брызги бились о стекла. Но вот снег ворвался в рубку, снежинки, крутясь, полетели на пол, и Овчаренко, мокрый и красный, закрыл за собою дверь. Капитан мельком взглянул на него и отвел глаза, а Овчаренко стряхнул снег с фуражки, вытер лицо и сказал:

— Настроение тяжелое, капитан.

Капитан, казалось, не слышал. Думая о своем, он шагал взад и вперед, шаг за шагом. Овчаренко помолчал и добавил отчетливо и негромко:

— Надо решать, Николай Николаевич.

— Решать нечего,— сказал капитан,— все совершенно ясно.

Я понял, что продолжается спор, начатый раньше, когда меня еще не было в рубке. Казалось, спор опять оборвался. Очень деловым, равнодушным тоном Овчаренко спросил:

— Есть что-нибудь новое?

Капитан протянул ему радиogramму. Овчаренко прочел и кивнул головой. Они помолчали оба, и капитан, сделав еще один рейс по рубке, шел обратно, когда Овчаренко шагнул и стал перед ним. Теперь они стояли друг против друга, оба спокойные и оба настороже.

— Ты неправ, Николай Николаевич,— мягко загово-

рил Овчаренко.— Если ты подумаешь, ты сам согласишься со мной. В этом вопросе я, может быть, даже более компетентен, чем ты, и ты должен поверить мне. Ведь это вопрос политико-морального состояния...

— Это вопрос практики судовождения,— резко персбил капитан.— Я решаю задачу исключительной сложности, я отвечаю за судно и за каждого человека. Я не могу рисковать, ослабляя работоспособность команды.

— Хуже, чем сейчас, она не будет. Пойди в столовую, поговори с матросами.

— Хорошо,— буркнул капитан, поправил фуражку, повернулся и вышел из рубки.

Овчаренко вышел за ним, а за Овчаренко вышел и я, стараясь не обращать на себя внимание Бабина. Я боялся, что Бабин прикажет мне остаться в рубке.

Мы спустились по трапу, переждали, пока с палубы схлынет вода, и, держась за поручни, прошли в столовую. Мы еще слышали общий громкий разговор, но он тотчас же смолк при появлении капитана. Все молчали, и все на него смотрели, а он протиснулся за стол, снял фуражку и оглядел всех.

— В чем дело, товарищи? — спросил он.— Говорят, что у команды несколько нездоровое настроение? Я не совсем понимаю. Вы шторма испугались, что ли?

Мне кажется, что никто не ждал так прямо поставленного вопроса. Я видел, как ребята мялись и переглядывались, и мне кажется — каждый надеялся, что начнет другой. Потом взгляды всех обратились на Свистунова. Видимо, ему, как самому старшему, следовало говорить первому. Он откашлялся и заговорил.

— Вроде как бы побаиваемся, Николай Николаевич,— сказал он, откашлялся и замолчал.

— Ну? — удивился капитан.— Вы что же — больше как при трех баллах не приучены плавать? — Смешок прошел по столовой. Казалось, настроение менялось. Очень уж уверен, спокоен и весел был Студенцов.— Я, по совести говоря,— продолжал он,— думал всегда, что шторм — команде отдых, вроде бы санаторный режим. Оказывается, все не так. Гадалка вам нагадала, что ли, или это у вас на почве переутомления? Получается интересно: вот новичок, Слюсарев, ничего, живет — не боится, а вы, старые трескосты, волны испугались.

Мою фамилию называть не следовало. Капитан понял это сразу и на долю секунды потерял уверенность, и все это почувствовали и еще больше уверились, что дело не чисто. Опять никто не смотрел капитану в глаза, и опять все выжидающе смотрели на Свистунова. Свистунов вежливо кашлянул и сделал очередной ход.

— Ребята беспокоятся, Николай Николаевич,— сказал он,— по поводу разной такой ерунды. Может быть, если бы вы разъяснение сделали...— Он кашлянул и затем вежливо опустил глаза и пожевал губами.

— Что же можно разъяснять насчет ерунды? — попытался пошутить капитан.

Все молчали. Потом вдруг мрачно пробасил Полтора Семена:

— Почему Мацейс и Шкебин удрали как раз перед штормом, а?

Уже после того, как он сказал это, он встал во весь свой огромный рост, молча постоял и, засмутившись, сел снова. Но самое важное было сказано. Теперь захотели говорить все.

— Почему нельзя смотреть кино? — спрашивали из одного угла. — Почему нельзя помыться в бане?

— Почему нельзя сидеть в кубрике?

— Почему Слюсарева забрали в рубку? При такой волне разве вы поставили бы сопляка к штурвалу!

— Что ж, мы не понимаем, что ли!

Потом пошли предположения:

— Может, машина испортилась?

— Может, мало ли какой неполадок?..

Матросы переговаривались друг с другом, и в общем гуле голосов выделялись только два слова: «почему» и «может». Потом курносый, розовый, как поросенок, Балбуцкий вскочил и крикнул взволнованно и громко:

— Может, на тральщике бомба подложена, и все мы сию минуту взлетим на воздух!..

Сразу все замолчали. Эта нелепая мысль, в которой каждому было стыдно признаться, сидела у всех в голове. Сейчас, когда она была высказана, все в упор смотрели на капитана и ждали. И, глядя в глаза, направленные на него, капитан почувствовал готовую разразиться панику и посмотрел на Овчаренко, и Овчаренко ответил ему убежденным, спокойным взглядом. Капитан провел

рукой по голове. Волна обрушилась на палубу — мы слышали, как она ударила в стену столовой, и капитан стукнул ладонью по столу.

— Ладно,— сказал он,— ладно, товарищи, давайте поговорим всерьез.

Сразу у всех изменились лица. Все стали серьезными и внимательными, и кто-то зло цыкнул на Балбуцкого, продолжавшего еще волноваться. Испуганно оглянувшись, затих и он, и капитан начал:

— С бомбами это, разумеется ерунда,— крикнул он Балбуцкому,— но положение, вообще говоря, у нас серьезное. Мацейс и Шкебин бежали даром. Это верно. Если помните, они участвовали в приемке. Они брали 89-й с заграничной верфи. Так вот, выясняется, что тральщик построен вредительски, что метациентр рассчитан неверно.

Самое главное было сказано, но по-прежнему команда не спускала глаз с капитана, и все сидели по-прежнему не шевелясь.

— Суть заключается в том,— медленно продолжал капитан,— что в штормовых условиях тральщик может опрокинуться. По расчетам строителей, это так и должно было быть. Но вот я второй час приглядываюсь к судну. Пока нас кладет не сильно, размахи качки нормальны, и при хорошем правее рулем совсем не кладет. Вот сейчас Бабин сам на руле, и, по-моему, мы идем неплохо. Довольно ровно идем.

Он замолчал. Казалось, все, как один человек, прислушивались к ходу судна. Волна ударяла в нос, переборки столовой наклонялись то в одну, то в другую сторону. Страшная была качка, и свист и грохот, и гребни волн, сорванные ветром, бились в стекла иллюминаторов, но в шуме урагана, в качке была размеренность и монотонность, и она успокаивала, потому что моряки знают: опасность наступает, когда судно теряет ритм, когда, накренившись, оно долго не может выпрямиться, когда каждый следующий удар волны звучит иначе и размах качки больше.

— Да,— задумчиво сказал капитан,— довольно ровно идем,— и продолжал спокойно, как бы рассуждая с самим собой: — В чем же туг может быть дело? Я думал об этом все время и пришел к следующему выводу:

ясно, что грубой ошибки при постройке допустить не могли. Какая бы сволочь ни принимала судно, все равно явную ошибку они вынуждены были бы обнаружить. Значит, ошибка очень маленькая, очень незначительная ошибка. Такая, которая бы не сразу сказалась. Ну вот, а если так — значит, нужен не такой уж большой груз в трюме, чтобы ее уравновесить, чтобы центр тяжести оказался на месте. Я и думаю, что дело, видимо, в том, что трюм у нас почти полон рыбой.

Он помолчал и обвел всех глазами, словно проверяя, все ли усвоили его мысль. Все слушали внимательно, как слушают где-нибудь на берегу очень интересную лекцию, и трудно было поверить, что речь шла о том, доживут ли все здесь собравшиеся до завтра или пойдут через десять минут кормить рыбу на дно Баренцева моря.

— Вот, — сказал капитан, — что мне дает основание в данный момент считать, что непосредственная опасность пока нам не угрожает. Однако теперь вам будут понятны мои распоряжения. Поскольку опасность все-таки есть, и, я бы сказал, большая... Вот, пожалуй, и всё. Еще частный вопрос: не подозревайте Слюсарева и не злитесь на него. Благодаря ему мы их чуть-чуть не поймали. Молчал же он по категорическому моему приказанию.

Капитан кончил и сел. Как всегда после конца доклада, некоторое время все молчали, потом в задних рядах поднялась рука.

— Говорите, — кивнул головой капитан.

Поднялся Полтора Семена.

— А этих приемщиков на берегу посажали? — спросил он мрачным басом.

— Думаю, что посажали, — ответил капитан.

— А этих жуков-механиков поймают?

— Думаю, что поймают.

— Ну, это правильно, — пробасил Полтора Семена и сел.

Выступление моего долговязого друга вызвало оживление в зале.

— Простите его, Николай Николаевич, — сказал Донейко. — Семена-то Полтора, а ум на них всех один. Конечно, ему трудновато.

— Ему сто, церту, — возмутился беззубый засоль-

щик.—Тральщик-то вверх тормасками, а он носками дно достанет. Будет стоять, как буюк.

— А што, а што? — сказал Полтора Семена.— Мне интересно, я и спросил. Подумаешь!

Смех затих, и слова попросил Свистунов.

— Может, нам покидать снег? — спросил он.— Все-таки тяжесть на палубе.

— Думаю, что не стоит, — ответил капитан, — сейчас его ветром все равно сносит. Вот если подморозит, тогда придется.

Больше вопросов не было. Капитан подождал, поднялся и еще раз обвел глазами собравшихся.

— Так как, товарищи, — спросил он, — еще поплаваем?

— Придется, — вставая, сказал Свистунов.— Иной раз, Николай Николаевич, думаешь, что это ты, Свистунов, все ешь да ешь рыбу, не пора ли уж и рыбе тобою закусить. Ан нет. Все, думаешь, я хоть еще пудик-другой съем.

Матросы вставали, распрямлялись, потягивались, в задних рядах кто-то кого-то толкнул, и началась шутливая свалка, однако сразу же прекратилась, когда капитан посмотрел в ту сторону. Снова мне показалось, что только что была проведена беседа на весьма почтенную, но скучноватую тему, что-нибудь вроде «беседы о рациональном использовании отходов рыбного промысла в сельском хозяйстве», и все собираются поскорее забыть все услышанное. Я глядел на моих товарищей, таких равнодушных к только что услышанным новостям, и мне становилось стыдно, что эти же новости произвели на меня такое сильное впечатление. Со страхом прислушивался я к каждому удару волны, и каждый раз, когда наклонялись стены столовой, мне казалось, что на этот раз они наклонились особенно сильно и что на этот раз они уж, наверное, не выпрямятся. Глядя на моих товарищей, я думал, что, верно, все-таки мне не быть моряком, что, видимо, равнодушие к опасности — врожденное свойство человека, которым я не обладаю.

Капитан подошел к дверям и остановился.

— Так, значит, товарищи, — сказал он, — я прошу всех быть на палубе или, в крайнем случае, в столовой.

— Есть, Николай Николаевич! — закричали ему.—

Может, разрешите повару открыть камбуз и приготовить что-нибудь? На полный-то желудок не так скоро утешься.

Снова наклонились переборки столовой, и я подумал, что решительно не способен в такой момент острить на эти темы. С грохотом рухнула на палубу волна. На этот раз казалось — действительно мы слишком долго лежим на борту. По лицу капитана я видел, что он собирался ответить насчет повара и камбуза, но он стоял не двигаясь и молчал: рот, приготовленный для ответа, глаза застывшие и отсутствующие. Он прислушивался к волне и к ветру и наблюдал уклон тральщика. Я посмотрел на моих товарищей. Долю секунды я видел в десятках глаз страх — обыкновенный человеческий страх. Он промелькнул, как тень, и быстро скрылся. На меня опять смотрели спокойные лица людей, совсем не думающих о том, что тральщик на этот раз положило особенно сильно.

— Ладно, — сказал капитан. — Можете вскипятить чайку, а если хотите — пусть кладовщик выдаст мясо.

Медленно выпрямлялся тральщик, и снова его качнуло, но уже капитан улыбался, и смеялись ребята, как будто ничего не произошло. Однако для меня многое изменилось. За эту секунду я усвоил очень важную истину.

Дело не в том, что я от рождения трус, а другие храбрые. Дело в том, что другие умеют сдерживать страх, а я не научился. И я знал, что учиться этому мне придется в ближайшие же часы.

Глава XXIII

МЫ ПЫТАЕМСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

Все-таки, когда мы вышли из столовой, мне было очень страшно. Я не привык еще к штормовой океанской волне. Пока мы сидели в столовой, погода немного изменилась: ураган выль по-прежнему, по-прежнему волна заливала палубу, но снега стало меньше. Он еще неся мимо нас, забирался за воротник и в рукава, холодными иголками колот лицо, но уже можно было различить и нос тральщика, и быстро мчавшиеся по небу тучи, и небольшой участок моря по сторонам. От этого мне не стало легче, даже наоборот. Перед самым носом тральщика

отвесно поднималась водяная стена такой вышины, что мне показалось: еще минута — и она сольется с небом. И она все росла и росла. Или нет. Непонятная сила тащила нас вниз, на дно, с такой удивительной скоростью, что вода не успевала сомкнуться над нашими головами. Потом стена перестала расти. Нос тральщика стал скользить по ней вверх, срезая слой воды, и эта вода, промчавшись по полубаку, низвергалась на палубу, билась о люки, о стену надстройки, всползала по стене вверх и, ослабев, лизала стекла иллюминаторов. Она швырнула меня к корме, и я, уцепившись за поручни, полез по трапу наверх, потому что мне казалось, что наверху не так страшно. Стоя на верхней палубе, крепко вцепившись в поручни, я осмотрелся. Тральщик был сейчас на вершине водяной горы. Глубочайшая пропасть разверзлась под ним. Далеко-далеко внизу ветер швырял горсти снега, пена расплзалась по водной поверхности, белые точки плавали по воде. Я скорее догадался, чем разглядел, — это были чайки, такие спокойные, как будто вокруг не бушевало море. По тому, какими бесконечно малыми и далекими они мне казались, я понял, что волны и в самом деле чудовищной величины. Я хотел оглядеть горизонт, но горизонта не было видно. Чем дальше, тем гуще была пелена снега, тем труднее было разглядеть, что за ней происходит. И вот прямо по траверсу левого борта в снежном тумане я увидел расплывающееся пятно света. Оно не было неподвижным. Оно то поднималось, то опускалось, но, впрочем, может быть, поднимались и опускались мы. Мне трудно было судить.

Капитан вышел из рубки, долго всматривался в пятно и ушел; матросы на палубе показывали на пятно пальцем, и, если бы не рев урагана, я, наверное, услышал бы их возбужденные голоса. Но я ушел в радиорубку. Мне невозможно стало смотреть на волны, каждая из которых могла бы положить десять таких судов, как наш тральщик.

Маркони даже не обернулся, когда я вошел. Надев наушники, он быстро писал. Я уселся, как обычно, на койку — на ней было мягче, чем на диване, — и решил подождать, пока он освободится. Здесь мне казалось не так страшно. Волны метались по палубе, сорванные ветром гребни носились по воздуху и порой с силою удара-

лись о стекла. Но к качке я привык, а ураган выл так же, как где-нибудь в степи. Закрыв глаза, можно было себе представить, что ты не на судне, могущем каждую минуту опрокинуться килем вверх, а в крепко ставленной, жарко топленной избе и ураган не опасен, а даже приятен, потому что приятно вспоминать о ветре и холоде в тепле и уюте.

Когда я открыл глаза, меня поразила фигура радиста. Он стоял у стола, как-то странно согнувшись, руками держась за наушники.

— Маркони,— окликнул я,— в чем дело? Чего ты застыл?

Он повернулся ко мне, но, кажется, меня не увидел. У него было белое, растерянное лицо. Открыв окошечко в рулевую рубку, он вдруг заорал срывающимся голосом:

— Николай Николаевич! Николай Николаевич!

Лицо капитана показалось в окошечке.

— Ну, в чем дело? — спросил Студенцов.— Чего вы разволновались, маркони?

— 90-й подает SOS,— сказал радист. Он вслушивался в точки и тире, звучавшие в наушниках. Медленно он переводил их на слова: — «Кто меня... слушает... прошу сообщить... ваши пункты... позывные...»

— Успокойтесь, маркони,— резко сказал капитан.— Возьмите себя в руки и скажите, какой пеленг направления на 90-й.

Пока радист определял пеленг, я соскочил с койки и, стараясь не обратить на себя внимание капитана, подошел к столу.

— Норд,— сказал радист.

— Значит, он.— Капитан повернул голову назад, и я увидел, что за ним стоит Овчаренко.

— Значит, он,— подтвердил Овчаренко.

Я забыл про осторожность и спросил:

— Это свет 90-го с левого борта?

— Да,— ответил капитан, рассеянно глядя на меня.

Ему, по-моему, просто не пришло в голову, что мне здесь не следует быть.

— Да,— повторил он уже про себя,— это свет 90-го.— Потом резко повернулся к радисту.— Передайте,— сказал он.— «Нахожусь от вас на зюйд, в расстоянии

видимости. Вижу ваши огни. «РТ 89». — Ключ в руке маркони застучал свои точки и тире с такой быстротой, что мне казалось — это просто дрожит рука, лежащая на ключе аппарата, дрожит и отбивает мелкую дробь. — Переведите связь на телефон, — раздраженно добавил капитан.

Снова задрожала рука маркони, и застучал ключ. Тусклым светом горели лампы радиостанции. Левой рукой радист поворачивал регуляторы, лампы загорались и гасли. За переборкой выл ветер, бились волны, а в рубке, казалось, была тишина — так напряженно молчали и вслушивались и капитан, и Овчаренко, и я. И вот в этой кажущейся тишине мы услышали голос маркони:

— Алло, алло, — говорил он. — 89-й слушает. Говорит 90-й? Алло, алло! Абрам, это ты? Говорит Вася. Вася Фетюкович из третьей группы.

— Капитана к аппарату! — рявкнул Студенцов и со стуком задвинул окошечко.

Маркони растерянно поднял голову и сразу опять заговорил:

— Абрам, ваш старик далеко? Позови-ка его. Николай Николаевич просит. Ну да, да, наш старик просит вашего старика. — Дверь отворилась, и вошел Студенцов. — Сейчас подойдет, — сказал маркони, встав и передавая Студенцову наушники.

Он включил в аппарат запасную пару и хотел надеть их, но тут я не выдержал. Стараясь не шуметь, я отнял у него один из наушников. Он удивленно на меня посмотрел — наверное, он забыл, что я в рубке, но спорить не стал. Сблизив головы, прижав каждый по одному наушнику к уху, мы ждали. Какие-то визги и вздохи слышали мы в эфире, как будто в эфире тоже был ураган. Маркони подрегулировал, и визги стихли. Капитан сидел в кресле, прямой, широкоплечий, чуть наклонившись к микрофону. Но вот мы услышали шум — может, это хлопнула дверь в радиорубку на 90-м, — и голос в наушнике отчетливо сказал:

— Алло, говорит капитан «РТ 90» Ткачев.

— Говорит капитан «РТ 89» Студенцов.

— Здорово, Николай.

— Что там такое у вас?

— Да понимаешь, — говорил голос в трубке, — здо-

рово кладет. Сейчас минут пятнадцать пролежали на левом борту с креном около десяти — пятнадцати градусов. — А теперь?

— Пока немного выпрямились. Не знаю, надолго ли. Перекачиваю водяной балласт. Вот опять, кажется, начинается. Ложится теперь на правый борт. Подожди у аппарата. Я еще подойду.

Мы слышали стук — это Ткачев положил наушники. Студенцов сидел неподвижно, не поворачивая головы. Некоторое время было молчание, потом в наушнике я услышал другой голос:

— Алло, алло! Фетюкович, слушаешь?

Фетюкович с опаской покосился на Студенцова, но Студенцов думал о своем и не обращал на него внимания. Тогда Фетюкович изогнулся и, как-то обогнув Студенцова, сказал в микрофон:

— Да, да, Абрам, это я. Ну как там у вас?

Голос Абрама звучал в наушнике глухо и напряженно:

— Ой, Васька, совсем плохо. Я думаю — мы пропали.

— Что ты, Абрам! — заволновался Фетюкович. — Как же можно так говорить!..

Но Абрам продолжал, перебив Фетюковича:

— Если бы ты знал, как страшно. Нас совсем положило, и волнища такая, что прямо смотреть нельзя.

— Это пустяки, Абрам, — сказал Фетюкович, — это тебе кажется так. Мне поначалу тоже все страшно вато казалось. — Он всхлипнул, вытер нос кулаком и добавил с удивительной непоследовательностью: — Мы же совсем рядом, мы же вас видим. Вот чудак какой, ты что ж думаешь, мы вам так и дадим на наших глазах утонуть?

Студенцов шевельнулся в кресле. Он хотел что-то сказать, но смолчал. У него только передернулись плечи. А Фетюкович даже повеселел от этой мысли.

— Да, да, — убежденно говорил он. — Вот увидишь, старики сейчас сговорятся, и пойдет работа.

— Николай, слушаешь? — услышал я голос Ткачева.

Студенцов вздрогнул и быстро ответил:

— Да, да. Ну как?

— Да знаешь... боюсь, понимаешь, что скоро конец...

Казалось, Ткачев извинялся за что-то. Казалось, ему было неловко, что вот силою вещей его тральщику тре-

буется помощь, или, может быть, просто человек, не привыкший к громким фразам, к красивым выигрышным положениям, даже сейчас, накануне смерти, в самую трагическую в своей жизни минуту, не изменил себе и стеснялся откровенной трагичности разговора.

Со стуком открылось окно из рубки. Овчаренко просунул голову, хотел, кажется, что-то спросить, но, увидя лицо Студенцова, промолчал и стал слушать.

— Балласт не помог? — спросил Студенцов.

— Помог немного, но боюсь, что опять положит. Здорово сволочи напортили. Не устоишь. Тебя кладет?

— Пока не особенно. У тебя рыбы много?

— Тонн сто.

— Я думаю, меня спасает, что груз большой. Тони четыреста рыбы.

— А мы позже начали, и промысел был плохой. Ты прав, пожалуй. Я тоже думаю, что дело в грузе.

У меня появилось ощущение нереальности происходящего. Я слышал, как два спокойных, серьезных человека обсуждали техническую проблему. Такой разговор мог бы происходить только между инженерами в конторе треста. Но тогда почему такое умоляющее, испуганное лицо у Фетюковича, тогда почему так сжаты губы у Овчаренко? Я представил себе Ткачева, чей спокойный голос звучал в наушнике, и радиста Абрама, наверное, такого же мальчишку, как Фетюкович, который размазывает по лицу слезы и регулирует радио, чтобы «старика» было лучше слышно, и матросов на палубе, хмурых, напряженных, с серьезными и спокойными лицами, и кочегаров у топок, бросающих уголь и ждущих, что сейчас на них сверху хлынет вода, и механиков, и засольщиков, и штурманов, и бездну под ними, и волны с пятиэтажный дом, и тральщик, поворачивающийся кверху килем и покрывающий всех — и матросов, и штурманов, и механиков, тех самых, которые недавно в солнечный день махали нам с палубы руками и кричали шуточные приветствия. Я представил себе это, и такой дикий ужас охватил меня, что я чуть не закричал. А Студенцов в это время спокойно говорил:

— Костя, с помощью дело как будто организовано широко. Я думаю, часа через три придут спасать. Ты как — не считаешься продержаться?

И Ткачев, помолчав, ответил — опять немного смущенно:

— Знаешь, Николай, пожалуй, не продержусь.— И, откинувшись на спинку стула, Студенцов вытер со лба пот.

— Николай Николаевич, Николай Николаевич, а Николай Николаевич! — зашептал Фетюкович и снова всхлипнул.

— Тише! — резким шепотом бросил ему Студенцов и, рукой прикрыв микрофон, шепнул Овчаренко: — Судовой совет.

Овчаренко кивнул головой и исчез.

— Коля, — слышался негромкий голос Ткачева. — Ты слушаешь?

— Да, да, — ответил Студенцов, — говори.

— Коля... — Ткачев замолчал и сказал очень неуверенным тоном: — Тут, так сказать, насчет семейств, понимаешь, если мало ли что случится... Ну конечно, все будет в порядке. Но знаешь, может быть, с кем-нибудь волокита или бюрократизм какой-нибудь, так чтоб проследить.

— Это можешь быть спокоен, — сказал Студенцов сдавленным голосом. — Тут и говорить нечего.

— Да, да, — согласился Ткачев, — конечно, тут и говорить нечего. И я думаю — семьям подробности рассусоливать тоже особенно не стоит. Знаешь, это всегда волнует...

— Костя, — Студенцов резко наклонился вперед. — Костя, скажи ты, как капитан, делать мне поворот или нет?

— Ну-ну, — мягко сказал Ткачев, — мне трудно судить. Надо подумать. Это очень рискованное дело. У тебя судно ведь тоже неверно рассчитано.

— Николай Николаевич, — шептал Фетюкович. — Николай Николаевич... — и заплакал совсем по-мальчишески, всхлипывая и вытирая слезы.

— Судовой совет в сборе! — крикнул Овчаренко из рубки.

— Да, да, — ответил Студенцов и наклонился к микрофону. — Костя, я минут на пять уйду. Как сейчас у тебя?

— Знаешь, пока ничего. — Ткачев прокашлялся. —

Медленно, но выпрямляемся. Я тоже пойду в рубку. Если что будет нужно, ты вызови.

Студенцов встал. Он провел рукой по лицу. Сделал шаг, остановился, потрепал Фетюковича по волосам, с грудом улыбнулся одними губами и вышел.

Фетюкович еще всхлипнул, кашлянул, шмыгнул носом и сказал в микрофон:

— Вот видишь, Абрам, у вас ничего, неплохо, а ты волновался.

Дальше я не слышал разговора радистов. Прильнув к окну, я смотрел и слушал, что происходило в рулевой.

Наум Аптекман, Свистунов, Бабин, Донеико, второй и третий штурманы, Овчаренко стояли с правой стороны рубки. Дверь отворилась, и слева вошел капитан. Он оглядел собравшихся. Впереди всех, маленький, обезьяноподобный, стоял Наум Аптекман и, склонив голову, сморщив лицо, щурился на капитана. У Свистунова, как всегда, когда он попадал в компанию начальства, был вид подтянутый, услужливый, но достойный. Он откашлялся, когда на нем остановились глаза Студенцова, одернул рокон и стоял, ожидая, пока к нему обратятся.

В обыкновенное время на тральщике довольно простые отношения между командой и начальством. Разумеется, слушаются капитана беспрекословно, но внешние особых формальностей не соблюдается. Однако сейчас я обратил внимание, что, кроме неисправимого Наума Аптекмана, все стояли вытянувшись, почти по-военному, видимо желая этим подчеркнуть, что они понимают всю сложность и исключительность положения.

Капитан обвел глазами собравшихся и заговорил голосом, немного более резким, чем обычный.

— Товарищи,— сказал он,— по левому борту у нас огни 90-го. Вам всем известно, что и они и мы находимся под угрозой быть опрокинутыми.— Капитан говорил неторопливо, и каждое произнесенное слово звучало точно и веско. И все стоявшие перед ним чувствовали, что говорит старший из них, самый знающий, самый умелый, начальник, которому можно верить. И никто не думал о том, что этому старшему от роду двадцать три года, и если не считать Донеико, то он из всех здесь самый молодой.— По-видимому,— продолжал капитан,— неправильный расчет нашего тральщика уравнивается

грузом. Поэтому наше положение лучше, чем их.— Капитан помолчал.— Да,— сказал он очень спокойным голосом,— их положение безнадежно.— Он еще раз обвел всех глазами. Члены судового совета стояли молча и слушали.— Последние сообщения Ткачева не оставляют сомнений...— Опять была пауза; мне казалось, что Студенцову не легко говорить, но продолжал он так же спокойно: — ...не оставляют сомнений в том, что через десять или через пятнадцать минут их опрокинет. Помощь, идущая к ним, прибудет не раньше чем через два с половиной или три часа. Я принял решение,— капитан резко рубил слово за словом,— я принял решение, невзирая на опасность, угрожающую нам, сделать поворот и идти к ним на помощь.

Он помолчал, и все тоже молчали. Все стояли вытянувшись и смотрели на капитана. Капитан снял фуражку и провел рукою по волосам. Я видел теперь его лицо. Медленно менялось его выражение, сходила суровость, и оно становилось взволнованным.

— Ведь там же наши ребята,— сказал Студенцов совсем другим, задышающимся голосом.— Ведь вот же они, мы их видим. Что же — им на наших глазах утонуть? Так, что ли?

И все стоявшие перед ним, штурманы и матросы, механик и помполит, увидели вдруг, что перед ними мальчишка, умелый, сдержанный, знающий, но мальчишка, горячий, взволнованный мальчишка и очень хороший товарищ, и ни один из них не показал виду, что заметил это и понял, потому что все верили в этого мальчишку и полагались на него.

А капитан взял себя в руки. Он откашлялся и сказал солидно и резко:

— Вот по этому поводу я хотел узнать ваше мнение.

Опять была пауза, а потом начал жестикулировать Аптекман. Он кивал головой, щелкал языком, двигал рукой, согнутой в локте, шипел и бурчал что-то непроизносимое.

— Аптекман,— взмолился капитан,— говорите словами.

Аптекман посмотрел очень удивленно и сказал медленно, с трудом подбирая слова:

— Машина... в порядке... можно... полный пар...—

Замолчал и отступил шаг назад, давая понять, что он все сказал.

— Время не терпит, Николай Николаевич,— напомнил Бабин.

— Как команда? — спросил Студенцов, глядя в глаза Свистунову.

Свистунов и Донеико переглянулись.

— Как, товарищи? — спросил Свистунов, глядя на кого-то, стоявшего за спиной Студенцова.

Студенцов резко повернулся. Пока шел разговор с судовым советом, постепенно и очень тихо в рубку набирался народ. Один за другим заходили матросы и молча слушали, и те, кто не поместился в рубке, стояли на палубе. Они, вытягивая шеи, заглядывали в открытую дверь и в окно и слушали и молчали. Пожалуй, если не считать вахтенных, кочегаров и машинной команды, здесь были все. Студенцов подошел к стоявшим впереди.

— Ну как? — спросил он сдавленным голосом.

Из задних рядов вылезла голова на длинной, как жердь, шее, и Полтора Семена пробасил:

— Не тяните вы, Николай Николаевич. Они там потонуть могут, пока мы тут совещаемся.

— Аптекман, в машину,— скомандовал капитан.— Свистунов, к рулю. Бабин, останьтесь здесь. Фетюкович, передайте Ткачеву — делаю поворот, иду на помощь. Всех прошу из рубки на палубу. Приготовьтесь к повороту — момент опасен. Держитесь на подветренной стороне под защитой надстроек.

От медленности, с которой велся разговор с судовым советом и с командой, не осталось следа. Рубка опустела в одну секунду. Матросы срупились на палубе около надстроек, выбирали места, где легче держаться; Фетюкович говорил в микрофон:

— Абрам, слушаешь? Передай старику: делаем поворот, идем к вам на помощь. Слышишь? — И вдруг заорал очень весело: — Не горюй, Абрам, сейчас сойдем вас! Еще погуляем!

Схватив наушник, я услышал голос Абрама:

— Ждем, Вася.— Помолчав, Абрам уныло добавил: — А у нас приказано спасательные пояса надевать.

Потом там хлопнула дверь — мы отчетливо это слышали — и взволнованный голос Ткачева сказал:

— Ребята, если думаете нас спасти, спасайте скорей. Нас совсем положило, судно перестало слушать руля.

Вскочив с кресла, Фетюкович слово за словом прокричал эти фразы в окошечко Студенцову.

— Полный вперед! — скомандовал капитан.

Зазвонил телеграф. Бабин передавал приказание в машину. Звонок повторился. Аптекман докладывал, что полный вперед дан. Капитан вынул трубку и закурил. Он ждал, пока судно приобретет скорость. Свистунов стоял у штурвала. Бабин у телеграфа. Клубами пошел дым из капитанской трубки, она раскурилась.

— Право руля, — негромко скомандовал капитан. Свистунов повернул штурвал. Судно покатилося вправо. — Больше право. Право на борт. — У капитана был очень тихий, казалось, равнодушный голос.

Свистунов, положив руль «право на борт», ждал дальнейшей команды капитана. Не в силах больше оставаться в закрытой рубке, я выскочил на палубу.

Матросы находились на подветренной стороне. Они крепко вцепились в поручни палубных надстроек. Я видел их спины, у всех были втянуты головы в плечи, и я чувствовал, что они держатся изо всей силы, что они приготовились принять удар волны.

Я толкнул Донеико, и он, посторонившись, дал мне место. Я вцепился в поручни и приготовился к удару. Направо от меня стоял Донеико, налево Балбуцкий. Мы не смотрели друг на друга. Мы все смотрели вперед, туда, где сквозь пургу мелькало матовое пятно, где дотягивал последние минуты «РТ 90». Ветер колот снегом кожу, волны бились на палубе, но мы, как загипнотизированные, смотрели на свет в океане. Вот свет поплыл к корме. Мы разворачивались вправо. Ветер дул теперь нам прямо в лицо; я только успел подумать об этом, как вдруг почувствовал, что падаю на спину. Палуба наклонилась так, что мне показалось — я стою на отвесной стене. Я уже не стоял, я висел на поручнях, и поручни были надо мной. Потом из-за стены, возле которой я висел, высунулась гигантская голова волны. Она заглянула через стену и, увидя нас, съезжившихся, готовых принять удар, загрохотала и обрушилась. Вода хлынула мне в рукава. Я закрыл глаза и уже ничего не видел.

Я попытался дышать, но втянул горьковатую соленую воду. Она попала мне в рот. Я задышался, я терял сознание, у меня осталась одна только упрямая мысль — ни в коем случае, ни за что не выпускать из рук холодных металлических поручней.

Глава XXIV

ЭСМИНЦЫ ВЫХОДЯТ В МОРЕ

Голубничий и Марченко сидели друг против друга в помещении радиостанции рыбного порта и ждали ответа. В это же время в окно больницы смотрел Сизов, похудевший, в халате и домашних туфлях, и бормотал что-то о шторме и о том, что дня три промысловых, а то и больше, обязательно пропадут. В это же время ураган неся над 89-м и 90-м, Слюсарев следил за черной полосой,двигающейся по воде, и в радиорубках тральщиков радисты передавали ответы на полученное радио. Содержание ответов обоих тральщиков было таково: «Застигнуты штормом, считаем в настоящих исключительных обстоятельствах делать поворот рискованным, момент пребывания судна лагом к зыби слишком опасен, продолжаем держаться против зыби».

Радисты протянули Марченко и Голубничему полученные ответы, и Марченко и Голубничий не посмотрели друг другу в глаза, потому что каждый боялся прочесть у другого в глазах отчаяние.

В одиннадцать часов Голубничий вызвал Москву. Он изложил вкратце положение дел, и сотрудник наркомата, беседовавший с ним, сказал, что он немедленно доложит. В одиннадцать сорок Голубничего вызвала Москва.

— В каком положении дела, товарищ Голубничий?

Голубничий передал содержание только что полученных ответов тральщиков.

— Сообщите о принимаемых мерах,— потребовала Москва.

— Высылаю на помощь тральщики,— сказал Голубничий.

— Сколько? — спросила Москва.

— Полагаю, четырех будет достаточно.

Голос Москвы звучал отдаленно, но четко; он был настойчив и спокоен.

— Свяжитесь с военным флотом,— говорила Москва,— выясните возможность совместных действий; не буду задерживать вас, вызову через полчаса.

Окончив разговор, Голубничий позвонил командующему военным флотом. Телефон командующего был занят, командующий разговаривал с Москвой. Он сам позвонил пятью минутами позже.

— Я высылаю три эсминца,— сказал он.— Когда выходят тральщики?

— Надеюсь,— ответил Голубничий,— что тральщики выйдут через полчаса.

— Эсминцы выйдут через двадцать минут,— сказал командующий военным флотом,— сообщайте все время координаты.

В кабинете Марченко собирались капитаны тральщиков, срочно вызванные курьерами. Совещание продолжалось восемь минут. Четыре минуты занял доклад Голубничего, четыре минуты капитаны разрабатывали план операции.

В это время курьеры собирали штурманов и матросов, механиков, машинистов и поваров.

За стеной кабинета Марченко текла обычная жизнь учреждения, стучали пишущие машинки, кассиры считали деньги, счетоводы шелкали на счетах. Но в половине двенадцатого слухи стали просачиваться сквозь стены. Трудно сказать, как это произошло. Может быть, показалось подозрительным, почему это вдруг созывают команды, а скрыть это было нельзя, потому что матросов разыскивали дома, в общежитии, в клубе, в столовой — везде, где они проводили свободный свой день. Может быть, излишняя молчаливость капитанов, вышедших с совещания, сама по себе вызвала подозрение. Никто ничего точно не знал, но все знали: что-то произошло.

Для спасательных операций были выбраны четыре тральщика, только что вернувшихся с моря в порт. Срочно качали воду; механики, вымазанные маслом как черти, лазали по машинам; кочегары, два часа назад бросившие лопаты и ломы, опять надевали сапожки.

Слухи, неопределенные слухи о неблагополучии рас-

пространялись с такой быстротой, что к двенадцати часам они проникли даже в тихие больничные палаты. Неопределенное ощущение беспокойства, отдельные вырвавшиеся слова, недомолвки — все это заставляло Сизова большими шагами ходить по больничному коридору, громить про себя докторов, посылать к черту халат и домашние туфли.

Следствием, проведенным в дальнейшем, не было установлено, каким образом Сизов получил все-таки брюки, и китель, и белье, и фуражку, и сапоги. Некоторые говорят, что вахтером в больнице служил старый матрос и что в последний раз, когда видели Сизова в халате, он беседовал о чем-то с этим вахтером. В двенадцать часов тридцать минут ураган ворвался в больничную палату через широко распахнутое окно. Окно распахнул Сизов. Он грузно прыгнул с полуметровой высоты на землю.

Удивительно мало было народу на улице. Редкие прохожие жались к стенам домов, и ветер гнал одних, не давал идти другим, вырывал недавно посаженные березы, выл в трубах, носил тучи песка.

Бормоча про себя что-то о гом, что Сизова, мол, не запрешь и что шторм выздоравливающим полезен, Сизов добрел, стараясь преодолеть слабость и головокружение, до рыбного порта. В кабинете Марченко никого не было. Властным жестом отведя караульного, поставленного у дверей, Сизов вошел в помещение радиостанции. Он сразу понял, что что-то произошло. Он понял это потому, что ни Голубничий, ни Марченко не спросили его, каким образом он ушел из больницы, и не поздравили с выздоровлением. Он понял это и весь подобрался, прошла слабость в ногах и головокружение.

В двенадцать часов пятнадцать минут из военного порта вышли серые эсминцы. Развернувшись один за другим, двинулись они к открытому морю. Ветер рвал дым над трубами, волны разбивались о броню, в кубриках помполиты проводили собрания, командиры стояли в бронированных рубках, гигантские волны носились вокруг, пена ползла по стальной броне. В двенадцать двадцать пять четыре тральщика отошли от стенки и, развернувшись, двинулись к открытому морю. В четырех столовых четыре помполита открыли общие собрания команд. Ма-

тросы слушали задание и молчали, потому что тут говорить было нечего, а нужно было действовать.

О причинах, из-за которых тральщики оказались на краю гибели, ни на одном собрании не было сказано ни одного слова. Дубровин запретил упоминать об этом. Протоколы допросов продолжали заполняться один за другим, у следователей рябило в глазах, время от времени в протоколах допросов мелькала то одна, то другая не названная раньше фамилия.

Дубровин запретил упоминать о причинах спасательной экспедиции, потому что он сам еще не знал всех тех, от кого нужно было скрывать, что дело раскрыто.

Голубничий, Марченко и Сизов сидели друг против друга в радиостанции рыбного порта. Радисты выстукивали радиогаммы и, надев наушники, исписывали бланки сообщениями капитанов, терпящих бедствие. Все было спокойно. Тральщики штормовали, держась против зыби, машины работали хорошо, качка была нормальная. На 89-м капитан в эту минуту докладывал команде о положении. На 90-м капитан просил пеленга и устанавливал свои координаты. Эсминцы вышли в открытое море, тральщики прошли Тюва-губу. Позвонила Москва. Пока все спокойно, сказали ей. Москва спросила, не нужно ли сделать представление норвежскому правительству и вести спасение параллельно и с норвежского берега. Капитаны посоветовались и ответили, что не нужно, потому что все равно наши эсминцы придут скорее. И за стеной портовой радиостанции текла нормальная жизнь учреждения, стучали машинки, кассиры считали деньги, счетоводы щелкали на счетах.

Тринадцать часов. Тринадцать часов десять минут.

Один из эсминцев подобрал команду погибавшего норвежского бота. Бородатые рыбаки в красных шарфах благодарили командира и комиссара и очень удивились, узнав, что эсминцы вышли специально спасать рыболовные суда. Капитан норвежского бота сказал, что, конечно, норвежский военный флот тоже вышел спасать своих рыбаков. Капитан врал и сам знал, что он врет, но ему хотелось поддержать достоинство свое и своей страны, и все понимали это, и всем было его немножечко жалко. Ему прощали наивное хвастовство и говорили, что будто бы кто-то где-то видел что-то похожее на

норвежское судно. И эсминцы шли дальше, один за другим, прорываясь сквозь водяные горы, сквозь пургу и ветер, и сзади шли тральщики, заливаемые волной, скользя с гребня на гребень, и все было в порядке, все было как будто спокойно.

Но вот пришла первая тревожная радиограмма. 90-й сообщил, что судно получило крен до двадцати градусов на правый борт и долго не выпрямляется. Плохо слушает руля.

В этом не было еще ничего крайне угрожающего. Но и Сизов, и Марченко, и Голубничий не глядели друг на друга, потому что каждый боялся выдать ужас, сжавший ему сердце.

— Перекачай водяной балласт,— забасил Сизов, и Голубничий продиктовал радисту:

— «Капитану «РТ 90» Ткачеву. Сизов советует перекачивать водяной балласт».

«Перекачиваем,— ответил 90-й.— Судно понемногу выпрямляется».

Очень быстро шли эсминцы сквозь водяные горы, но каким медленным казалось их движение Голубничему, Марченко и Сизову, склонившимся над картой! Карандашом набрасывали они маршрут и циркулем измеряли расстояние. О, если бы по морю можно было двигаться, как по карте!

90-й опять положило, но уже на левый борт. Вполголоса совещались Голубничий, Марченко и Сизов, и уже не они одни, потому что и секретарь окружкома сидел здесь же, и представитель наркомата, приехавший на обследование, и еще два механика, потому что совет механика может всегда понадобиться. И потом очень долго с 90-го не было вестей. Все понимали: капитан в рубке, капитану сейчас не до того, чтобы говорить с берегом.

«Абрам,— выстукивали радисты,— как там у вас?»

Радист 90-го, всем здесь знакомый Абрам, сообщал, что он, конечно, не капитан и сказать ничего не может, но, по его мнению, дело табак и (это не было высказано, но чувствовалось в каждом его слове) ему очень не хочется умирать.

Нет, 90-й опять выпрямился. Ткачев сообщил, что в результате принятых мер тральщик в нормальном положении.

У всех отлегло немного от сердца, но ужас не проходил, потому что все понимали: уже близка та волна, которая снова положит 90-й набок.

Москва запросила координаты спасательных судов. В Москве также склонились люди над картой и вымеряли циркулем расстояние. Если следовать по карте, казалось, что страшно медленно движутся эсминцы, а между тем механики старались выжать из машин все, что они могли дать.

14 часов 40 минут. 14 часов 50 минут. 15 часов.

89-й идет хорошо, 90-й кладет, но ничего — он держится.

А слухи просачивались сквозь стены, и разговоры о том, что тральщики в опасности, шли по городу. Они проходили мимо квартир тех, кто сейчас на 90-м и 89-м. Кто же мог решиться сказать жене или сыну о том, что происходит в океане! Но слухи шли по общежитиям, по столовым, по квартирам тех, кто был на берегу. Морякам не сиделось дома, они группами собирались у причалов, толкались в конторе рыбного порта, тихо переговаривались, дымили папиросами, трубками, козьими ножками.

Что можно сделать еще? Надо ждать. И вот они ждали. Голубничий не басил свои «гром и молния» и «зеленая лошадь», Марченко не шмыгал носом, Сизов не пил рыбий жир. Они ждали, и это было самое трудное, что может выпасть человеку на долю. Снова клало 90-й, и снова он выпрямлялся. Они теперь шли совсем рядом, два терпящих бедствие судна; они видели сквозь пургу огни друг друга, но это ничему не могло помочь.

В пятнадцать сорок случилось, наконец, то, чего боялись и Марченко, и Сизов, и Голубничий, и секретарь окружкома, и капитаны четырех тральщиков, и командиры трех эсминцев; о чем с тревогой думали люди в Москве, о чем негромкий, но ясный голос Москвы спрашивал все время по телефону.

Радист принял SOS, и все поняли, что дело совсем уже плохо, потому что Ткачев — человек спокойный и выдержанный. Наступила бесконечная пауза. Радисты приняли сообщения, что 89-й и 90-й разговаривают друг с другом и говорить с берегом не могут. Значит, там ждать нельзя ни минуты; значит, речь идет уже о том,

чтоб спасти сейчас же, сию секунду погибающих людей. Но кто будет спасать,— 89-й? Что сделает он, если любая волна может опрокинуть его самого?

Прошло пять минут, и десять минут, и пятнадцать минут. Напряжение в комнате радиостанции было такое, что если б сидели не крепкие, выдержанные люди, а люди обыкновенные, то, наверное, можно было бы слышать, как мелко стучат зубы, как дрожащие руки отбивают дробь по столу. Но нет, все сидели неподвижные, молчаливые и ждали.

Эсминцы движутся, они будут даже раньше, чем предполагали. Идут «РТ». В другое время, услышав об их теперешней скорости, наверное, Голубничий бы удивился и сказал, что, черт их дери, надо их приучить всегда ходить с такой быстротой. Но сейчас Голубничий об этом не думает. Все время эсминцы и «РТ» сообщают координаты. Но их движение даже нельзя вычертить по карте — такой это на карте будет маленький кусочек. И два аппарата — один, работающий с 90-м, и другой, работающий с 89-м,— молчат. Что происходит там сейчас? Об этом лучше не думать, потому что все хорошо знают, что в таких случаях происходит. Но вот аппарат, принимающий 89-й, начинает работать. Так тихо в комнате, что слышны в наушниках у радиста тире и точки, точки и тире. И эти секунды ожидания, пока радист записывает радиограмму, повторяя ее вслух слово за словом, может быть, самые длинные из всех бесконечно длинных сегодняшних секунд. Нет, это еще не сообщение о том, что огни 90-го скрылись. Радирует Студенцов. Он принял решение идти на помощь 90-му, он разворачивается, имея целью подойти к 90-му с кормы.

Всем хочется задать ему массу вопросов. Но, видимо, задавать вопросы некогда, потому что точки и тире говорят: «Разговор прерываю, сообщу по исполнению маневра».

Без конца тянулась тишина, прошло десять минут, и двадцать минут, и сорок минут. Ни 90-й, ни 89-й ничего не передавали. Потом прошел час и полтора часа. Эсминцы пришли на место, где должны были находиться 90-й и 89-й. Тральщиков не было. Четыре «РТ», посланные на спасение, подошли тоже. Семь судов, развернувшись, прочесали, идя в расстоянии видимости друг от

друга, весь квадрат и прилегающие к нему. Ничего не было обнаружено.

В комнате радиостанции началось совещание. Снова позвонила Москва, ей сказали о положении, и по телефону было принято решение немедленно начать розыски. Голубничий выехал в аэропорт. На совещании летчиков он сделал пятиминутный доклад, и летчики решили попробовать. Механики открыли ангары и выкатили самолеты. Но самолеты не стояли на земле. Ветер рвал их и хотел бросить и разбить, и у людей кровь шла из-под ногтей, ветер слепил их, и у них были искаженные от упорства и злости лица, но они ничего не могли поделать, и машины вкатили обратно и заперли ангары, а Голубничий поехал в рыбный порт.

В кабинете у Марченко шло совещание. Опять сидели капитаны и делили море, и каждый взял себе участок, чтобы его обследовать. В это время механики и кочегары налаживали машины, поднимали пар в котлах, матросы переодевались в робу. И еще восемь «РТ» вышли из порта и ушли в режущее море, чтобы обследовать весь район предполагаемой гибели судов. По берегу двинулись поисковые партии, и люди сгибались и старались держаться за камни, чтобы не быть сорванными ветром со скал.

Прошел час, два часа и три часа. Слухи шли по городу один тревожнее другого, но слухи обходили квартиры погибших.

В этих квартирах за столами сидели жены, шили и читали, дети готовили уроки. Прошло еще два часа и еще два часа. Онемевшими руками радисты зачем-то продолжали отстукивать позывные 90-го и 89-го, и Голубничий, Марченко и Сизов сидели друг против друга в радиорубке рыбного порта. Ждали ответа.

Глава XXV

ПОМПОЛИТ ГОВОРИТ РЕЧЬ

Я был еще жив, мог дышать. Носом втянул воздух, и это был воздух, а не вода. Тогда я чуть приоткрыл глаза. И увидел водяные горы, но они были внизу. Снег колот мне лицо, и это было приятно, потому что значило:

я не в воде, волна схлынула, поворот прошел благополучно.

Я несколько раз с наслаждением вдохнул и распрямил уставшее тело. Я даже мог отпустить одну руку, а удержаться второй. Один за другим матросы выпрямлялись, открывали глаза, оглядывались. Слева фыркал и тер глаза Балбуцкий. Сейчас он еще больше, чем всегда, похож был на поросенка. На поросенка, которого насильно окунули в воду и который теперь отфыркивается и отряхивается.

Мне стало смешно. Беспричинная радость охватила меня, и я засмеялся — казалось мне — над Балбуцким, но на самом деле потому, что вот я жив, страшный поворот позади, и я спасен, я существую.

Это же чувство охватило всех. Я видел, как, открыв глаза, матросы улыбались, смеялись, глядя друг на друга, и с восторгом смотрели на безрадостный пейзаж, открывавшийся перед нами.

Это продолжалось очень недолго. У меня, и у всех остальных тоже, вторую мыслью была мысль о том, что с 90-м и где он. Я искал его в океане, но ни одной светлой точки не видел я сквозь брызги и снег. Я испугался и тут же засмеялся над своим страхом, потому что вспомнил: ну да, конечно же, ведь мы развернулись — значит, 90-й должен быть с другого борта. Когда я стал осторожно перебираться через палубу мимо трубы к правому борту, я увидел впереди фигуру Донеико, а сзади лезли Балбуцкий и Полтора Семена и все остальные, стоявшие вместе со мной.

Гигантская водяная стена выросла за кормой. Она поднималась все выше и выше; казалось, скоро она дойдет до неба, потом она остановилась. Секунда неподвижности, и стена рухнула на палубу.

Маленькие волны бежали по палубе, разбивались о машинный люк, ползли вверх по трубе, слабели и стекали струйками вниз. Донеико обернулся и закричал мне:

— Повернули. Видишь — волна с кормы.

Я кивнул головой. Один за другим пробирались мы к правому борту и становились, держась за поручни, и сзади лезли все новые и новые люди. Так мы сгрудились все у борта, мокрые до нитки, дрожащие от холода.

Совсем рядом с собой увидел я Овчаренко. Вероятно, он пришел сюда раньше нас, и инстинктивно мы сгруппировались вокруг него.

— 90-й! — кричал ему, смеясь, Донейко и тыкал пальцем в пятно света, и Овчаренко улыбался и кивал головой.

Из рубки вышел капитан. Он посмотрел в бинокль на 90-й, и Овчаренко подошел к нему. Мы толпились вокруг и слушали.

— Живем! — смеясь, прокричал Овчаренко. — Живем, капитан, а?

Капитан отнял бинокль от глаз и повернулся к нам. Лицо у него было злое и хмурое.

— Нам поломало руль, — прокричал он, — второго поворота мы не можем сделать!

В то время смысл его слов не мог еще до меня дойти. Слишком плохо я знал практику судовождения. Я понял одно: случилось что-то плохое, и, посмотрев на лица моих товарищей, с которых, как ветром, сдуло улыбки, увидя растерянность и испуг в их глазах, я понял, что произошло нечто непоправимое.

— Может, выстоит? — крикнул Овчаренко. Он думал не о нас, он думал о 90-м, к которому теперь мы не могли подойти.

Студенцов махнул рукой.

— Жду большого вала! — крикнул он.

Все молчали. Я стоял совсем близко от Студенцова и видел: глядя на волны, он считал про себя белыми как бумага губами:

— Три... четыре...

Я не слышал. Я угадывал по губам произносимые им слова.

Четвертый вал вырос за кормой и разбился, но только маленькие струйки долетели до наших ног.

— Пять.

Сколько вокруг меня было людей, все они сказали: «Пять», и снова разбилась волна, побежали струйки по палубе.

— Шесть.

Десятки губ шевелились беззвучно, произнося это слово: «Шесть!» Я увидел: Студенцов протянул руку. Мы все повернулись. За седьмой, за восьмой волной шел



Мы не чувствовали холода и, не думая, механически сопротивлялись напору воды.

колоссальный и медленный, покрытый шипящей пеной девятый вал. Он шел как стена, ровно передвигающаяся, неторопливая и неудержимая стена. Он скорее угадывался, чем был виден за снегом, и перед ним, совсем близко, мы видели световое пятно — с трудом различавшиеся огни 90-го. Вал надвигался, и вот огни пропали, захлестнутые волной, и вал был уже ближе к нам, чем 90-й. Вал надвигался. Огромная стена выросла опять за кормой и рухнула, и на этот раз уже не струйки — целый водопад обрушился на нас, но мы не чувствовали холода и, не думая, механически сопротивлялись напору воды. Мы ждали, когда она схлынет, чтобы увидеть снова световое пятно в снежном тумане.

И она схлынула. Струйки, шипя, разбежались по палубе и стекли, и десятки глаз смотрели туда, где должен был быть 90-й.

Нет, ничего не было видно... Как мы ни вглядывались, как ни обводили глазами горизонт, думая, что, мол, может быть, мы ошиблись и не туда смотрим, что вот немножко правей или левей увидим мы знакомые огни и засмеемся, — ничего не было видно. Капитан поднял бинокль и долго смотрел, а потом опустил его. Он повернулся к нам, хотел что-то сказать, но не сказал. Я не мог смотреть на его лицо. Я отвел глаза. Только когда он повернулся, я посмотрел ему в спину. Держась за поручни, он медленно, чуть согнувшись, шел к двери рубки.

Капитан ушел и закрыл за собой дверь, а мы всё стояли и всё смотрели, искали в снежном тумане знакомые нам огни. Потом сквозь свист ветра, сквозь рев волны я услышал голос Овчаренко.

— Нет, — сказал он, — мы вернемся на берег. Непременно вернемся. Как же можем мы не вернуться? — Чтобы не заплакать, он рассмеялся. Я видел, как от смеха дрожат у него плечи. — У нас на берегу есть дела, очень важные, самые важные, какие только могут быть. Мы вернемся на берег, пойдем по следам и будем искать, очень внимательно будем искать.

Он повернулся к нам и стоял теперь спиной к морю, высокий, худой, сжимая руками поручни, с горящими на бледном лице глазами.

— Волк! — выкрикнул он. — Волк и лиса! Волк и лиса погубили наших людей. Ведь они же видели и понимали,

как это все будет происходить. Ведь они же знали, что команда на тральщике — тридцать восемь человек. Они точно себе представляли, как эти тридцать восемь будут тонуть, и как им будет страшно, тяжело, и как они будут захлебываться и задыхаться. Они жили вместе с нами, ели наш хлеб, пожимали наши руки, по фамилиям знали тех, кто должен погибнуть. Ведь они с нами прощались, улыбались, махали платками.

Я видел, с какой силой руки Овчаренко сжимали поручни. Он стоял, откинувшись немного назад, весь напряженный, и, когда молчал, крепко сжимал зубы, а на лице его напрягались скулы. Мы стояли перед ним и слушали, и Овчаренко опять засмеялся.

— Нет,— сказал он,— мы вернемся на берег. Мы выберемся. Это ничего, что волна большая, что сильный ветер, что руль испорчен. Ничего, ничего. Доплывем... За камень схватимся, удержимся... На берег вылезем, пойдем, спросим: где? Где они, эти волки и лисы? Где они? Искать надо? Хорошо, поищем. Год будем искать, два будем искать, пять лет будем искать, но дойдемся, дойдемся до горла...

Овчаренко обвел нас взглядом. Мы стояли перед ним, матросы, засольщики, кочегары, один крепче другого, и некоторые смотрели на него, а некоторые отвернулись и, казалось, не слышали его слов. Но, должно быть, Овчаренко почувствовал, что все слышали и навсегда запомнили сказанное. Круто повернувшись, он ушел в рубку.

Снег не падал больше. Я и не заметил, как он перестал падать. Тучи, клубясь, промчались к западу, и в ясном небе над нами сияло солнце. Странно было в ясный, солнечный день слышать неумолкающий свист и вой урагана. Странно было видеть гигантские водяные горы, ярко освещенные солнцем. Впрочем, тучи брызг по-прежнему пронесли над нами, больно кололи кожу и бились в стены и в стекла иллюминаторов.

Укравкой я посмотрел назад, за корму, туда, где недавно еще был 90-й. Сам не признаваясь себе, я надеялся, что в ясном, солнечном свете увижу если не тральщик, то, может быть, шлюпку, может быть, спасательные круги и цепляющихся за них людей. Но что я мог увидеть в этом ревущем море? Горные цепи сталкивались, провали-

вались и вырастали, и ничего нельзя было разглядеть в этом непрерывном движении водяных масс. Тогда, отвернувшись, я пошел к Фетюковичу в радиорубку, потому что мне тяжело было смотреть на место гибели наших товарищей. Фетюкович сидел у аппарата и вертел регуляторы. Он обернулся, когда я вошел.

— Ты что,— спросил я,— с берегом разговариваешь?

— С берегом нельзя теперь говорить,— ответил он,— у нас антенну сорвало. Передатчик не работает.— И добавил, вдруг улыбнувшись кривой, невеселой улыбкой, будто просил извинения: — Я все думаю: может быть, кто-нибудь передает...

Он замолчал, не договорив, но я понял его. Он все еще пытался поймать в эфире приятеля своего, Абрама, того самого, который качался теперь мертвый где-нибудь на волне или, увлеченный судном на дно, плавал в воде, наполнившей радиорубку.

Я промолчал. Что мог я сказать ему? Я сел на диван, слушал с тоской удары волн и вой ветра и смотрел на согнутую спину Фетюковича, такого смешного и жалкого в наивной своей надежде. Но вот он откинулся на спинку кресла. Руки его отпустили регуляторы. С минуту он сидел неподвижно, потом встал, перешел рубку и сел рядом со мной.

— Ой, Слюсарев,— сказал он спокойным и ровным голосом,— мне их так жалко, так жалко...

Ветер выл, рыдал, горевал за стенами рубки, а мы сидели, прижавшись друг к другу, и тихо говорили о капитане Ткачеве, о молодом радисте Абраме, о матросах, кочегарах, штурманах и механиках с 90-го, о людях на иностранной верфи, спокойно начертивших на бумаге смерть наших товарищей, и о том, зачем нам обязательно нужно выбраться на берег.

Со стуком открылось окно из рулевой, и Студенцов прокричал:

— Фетюкович, поймите берег! Что передает порт?

Фетюкович бросился к аппарату, а я, вспомнив, что мы еще не на берегу, а в открытом море и что шторм не собирается стихать, подошел к оконцу и стал смотреть, что происходит в рулевой.

Студенцов, Овчаренко и Аптекман стояли у стола, склонясь над картой. Рядом с рулевым, спиной ко мне,

стоял Бабин и не отрываясь смотрел в бинокль на черный безрадостный океан под ясным и голубым небом.

— А если попробовать еще раз повернуть? — спросил, не оборачиваясь, Бабин.

Студенцов бросил, глядя на карту:

— Руль не выдержит.

— Ну, если не выдержит, окажемся в том же положении.

Студенцов покачал головой. Он, кажется, думал о чем-то своем, отвечая Бабину, и сейчас принял решение.

— Придется выбрасываться на банку, — сказал он. — По-моему, нас вынесет сюда. — Он показал по карте.

— В куски, — сказал Аптекман и жестом объяснил, как нас разнесет в куски.

— Надо попробовать повернуть, — упрямо повторил Бабин.

Студенцов, казалось, не слышал его. Он продолжал разглядывать карту.

— В открытом месте нас разнесет в куски, — сказал он, — это верно. А если в заветерье за островом? — Пальцем он провел по карте линию. — Проскочить между двумя островами и, скосяв, пробраться сюда, под защиту скалы. Волна здесь не такая большая, и банок на карте показано сколько угодно.

Он посмотрел на Бабина.

— Здесь нам руль и понадобится, — кинул он ему. — Такой поворот он, пожалуй, и выдержит, а полный — никогда.

— Вы правы, — коротко сказал Бабин. — Я с вами согласен.

Студенцов кивнул головой и повернулся к Аптекману.

— Надо будет сразу тушить топки... — Аптекман молчал. — Предупредить машинную команду и кочегаров... — Аптекман молчал. — Это всё.

Аптекман повернулся и обычной своей ленивой походкой медленно пошел к выходу, покачиваясь и размахивая руками.

— Где быть команде? — спросил Овчаренко.

— На верхней палубе.

Овчаренко кивнул и пошел к выходу.

— Ты будешь с командой?

Овчаренко снова кивнул и взялся за ручку.

— Подожди

Овчаренко остановился и выжидающе посмотрел на Студенцова.

— Ты что,— спросил Студенцов,— хочешь предупредить команду?

— Да,— сказал Овчаренко.— Надо же подготовить, чтобы все были на местах.

— Подожди,— сказал Студенцов. Он вынул трубку и медленно стал набивать ее табаком.

— Ну? — спросил Овчаренко.

Студенцов зажег спичку и запыхтел трубкой. Клубы сизого дыма поплыли в воздухе.

— Видишь ли,— неуверенно протянул он,— все это будет очень правильно и хорошо, если я точно определился. А без пеленга, понимаешь, особенно ручаться я не могу. Так что пока подождем сообщать команде. Скоро мы увидим берег и сможем точно сказать, где мы.

Овчаренко отошел от двери и сел на складной плюшевый стул. Студенцов зашагал взад и вперед, дымя трубкой. Бабин не отрываясь смотрел в бинокль.

— Да,— протянул Студенцов, он тяготился молчанием,— тут с такой точностью не определишься.

— Берег,— негромко сказал Бабин.

Схватив бинокль, Студенцов ринулся к окну. Я видел, что Овчаренко схватился за ручку двери, но я уже сам выбежал на палубу и на палубе увидел Овчаренко, закрывавшего за собой дверь. Мы стояли, держась за поручни, он немного впереди, я сзади, и оба смотрели туда, куда ветер и волны гнали наш тральщик. Только волны и пену видел я впереди, но вот нос судна влез на высокую водяную гору. Казалось, взобравшись на высоту, на секунду судно остановилось перевести дыхание. В эту секунду с высокой водяной вершины стало видно далеко, и я увидел мчащиеся холмы и горы, рушащиеся гребни, пену, летящую по воздуху, а вдали, за черной волнующейся водой, еле заметную черную неподвижную гряду. Она тянулась по горизонту, замыкая круг ревущего хаоса, и неподвижностью отличалась от водяных гор. Я успел только кинуть взгляд на нее, как судно ринулось вниз с волны. Резко хлопнув дверью, капитан вышел на палубу. Постукивая пальцами по биноклю, он ждал, когда нас снова поднимет. Кругом бушевали вол-

ны, большие и маленькие, они сталкивались, сливались в одну, разделялись снова. Потом нас подняло и понесло вверх. Море ушло куда-то далеко-далеко, оно бушевало уж где-то под нами, под нами летали чайки и глупыши, а маленькие волны казались еще в десять раз меньшими. Мы опять были на вершине водяной горы. Каменная гряда показалась мне на этот раз гораздо ближе. Она уже не была такой ровной. Я различал отдельные скалы, уступы черного камня. Капитан не отрываясь смотрел в бинокль. Прошла секунда, и судно ринулось вниз. Бабин вышел из рубки.

— Кажется, верно, Николай Николаевич, — сказал он.

Студенцов, не отвечая, наклонился и крикнул вниз на палубу:

— Свистунов, поднимитесь сюда!

Свистунов, весь мокрый, взбежал по трапу.

— Вы видели берег? — спросил капитан.

— Видел.

— Как вы думаете, что за острова?

Мы снова были высоко над морем, и каменная гряда казалась теперь еще ближе. Свистунов, прищулив глаза, глядел на нее.

— Я думаю — Старовер и Ведьма.

Студенцов и Бабин переглянулись. Мы полетели вниз с водяной горы, вода заплескалась на палубе. Студенцов повернулся к Овчаренко:

— Ну, Платон Никифорович, можно действовать. Определились правильно. Будем заходить за Старове-
ра. — Овчаренко кивнул и побежал по трапу. — Товари-
щи! — закричал капитан вниз на палубу. — Сейчас зайдем
за островок и сядем на банку. Маневр серьезный, но до-
вольно безопасный. Всем надеть спасательные пояса.
Собраться на палубе возле лебедки. Паники быть не
должно.

— Не будет паники, — пробасил снизу Полтора Се-
мена.

И матросы, обгоняя друг друга, бросились в кубрик за поясами. Студенцов открыл дверь рубки и в это время заметил меня.

— Вы что здесь делаете? — рявкнул он. — Сейчас же
марш вниз! — Я повернулся, чтобы идти. — Стойте! —
крикнул Студенцов. — Я остановился. — Бойтесь?

У меня было сильное искушение ответить что-нибудь героическое, но я удержался.

— Боюсь,— ответил я.

Студенцов посмотрел на меня с некоторым удивлением.

— Ишь ты, черт,— пробормотал он про себя, а громко спросил: — И здорово боитесь? — Я молчал. — Но держитесь?

— Держусь.

— И будете держаться все время?

— Думаю, что все время.

Студенцов хмыкнул.

— Наденьте спасательный пояс,— сказал он,— и станьте на палубе у столовой. — Он помолчал. — Если держитесь, тогда ничего, что боитесь. Это даже хорошо, что не врете. — Он откашлялся и резко скомандовал: — Ну, марш вниз!

Я быстро сбежал по трапу и, держась за фальшборт, пробрался в кубрик. Донеико выдавал пояса. Очередь вилась далеко по коридору, но двигалась очень быстро, и Донеико, молчаливый и точный, работал, как первоклассный продавец.

В числе последних я получил пояс и вышел на палубу. Матросы толпились возле столовой; на всех были надеты спасательные пояса, и от этого все казались толстыми и неуклюжими. Я стал около лебедки, примерившись так, чтобы при ударе иметь возможность ухватиться за вал. Каменная гряда, раньше еле видная на горизонте, была теперь совсем близко. Молчаливая черная стена сейчас, в шторм, когда она возвышалась над темным и бурным морем, была страшна и неправдоподобна. У меня замерло сердце, как в кошмаре, и стена надвигалась, как в кошмаре, неудержимо. Ветер гнал нас прямо на нее. Много долгих секунд прошло, пока я заставил себя всмотреться внимательнее. Тогда я увидел, что гораздо ближе каменной гряды из темного моря торчат две черные скалы, два острова. В пролив между ними был направлен нос тральщика. Это и были, очевидно, Ведьма и Старовер, о которых капитан спрашивал Свистунова. Я узнал их по названиям, не спрашивая. Действительно, в прямоугольной вершине правого острова, в его широком, устойчивом основании было что-то от коренастого, широкоплечего

старовера, и в острых углах и ломаных линиях левого что-то напоминало остроносую сгорбленную ведьму.

Волны с грохотом разбивались о подножие уродливых огромных фигур из черного камня, в проливе между ними бурлила и пенилась вода; и мне показалось, что стало темно, когда мы вошли в пролив.

— Приготовиться к повороту! — крикнул кто-то сверху, наверное, Студенцов.

Я прижался к валу лебедки. Палуба под моими ногами наклонилась, вода с головой закрыла меня, и я не дыша считал секунды. Я чувствовал: палуба выпрямляется. Вода схлынула. Я открыл глаза и перевел дыхание. Старовер, коренастый, широкоплечий Старовер был с правого борта. Его огромная тень закрывала нас.

— Приготовиться к удару! — крикнул Студенцов. — Держитесь крепче, ребята!

Обхватив руками вал, я изо всех сил прижался к нему и закрыл глаза.

Глава XXVI

ВЕДЬМА И СТАРОВЕР

Силою удара меня прижало к валу. Сердце мое остановилось. Я перестал дышать. Я слышал страшный грохот и рев, но, может быть, это у меня шумело в ушах. Кто-то, почувствовав я, схватился за мою руку, но сразу же отпустил ее. Какой-то твердый предмет больно ударил меня по плечу, потом меня окатило холодной водой, и вода утишила боль. Я втянул голову в плечи и с ужасом ждал, что сейчас рухнут на меня тяжелые обломки надстройки и раздавят, разможат, разнесут в куски.

Постепенно, очень медленно, шум становился тише. Из хаоса возникали отдельные звуки. Я различал удары волн, свист ветра и доносившиеся, казалось издалека, голоса товарищей. Я приоткрыл глаза. Я увидел мокрый и блестящий металл лебедки, руку, такую белую, что не сразу я признал ее своей, кусочек палубы, залитой водой.

— Ну что, Слюсарев, — услышал я веселый голос Овчаренко, — живем, не скучаем?

— Живем помаленьку, — ответил я, очень стараясь, чтобы мой голос звучал так же весело и уверенно.

Голос Овчаренко слышался уже где-то вдали. Он шутил над кем-то, и кто-то — кажется, Полтора Семена — отвечал ему низким басом. Только теперь я открыл глаза широко. К моему удивлению, Овчаренко оказался совсем близко, а Полтора Семена стоял рядом со мной. Палуба уходила наверх, и полубак заслонял половину неба. Казалось, судно, как конь, встало на дыбы, готовое ринуться вперед, и вдруг застыло в этой неудобной, не внушающей доверия позе. Очень странно было чувствовать под ногами неподвижную палубу. Все еще я не мог отделаться от ощущения, что надо за что-то держаться, чтобы не упасть. Все еще мне казалось, что горизонт качается и что сейчас, через секунду, палуба полетит вниз. Я выпрямился. Болело зашибленное плечо, ныла спина, на шее саднила царапина: я и не заметил, как меня оцарапало. Других повреждений не было. Я размялся, подвигав руками и ногами, и пришел к выводу, что отделался очень дешево.

— Сто за цертовстина, — услышал я удивленный голос засольщика, — узели ни одного церта не смыло?

— Все на месте, — ответил Овчаренко. — Не такой народ, чтоб смыться.

— Слезай, приехали! — орал Балбуцкий, размахивая зюйдвесткой. — Вашим билетам станция!

На палубу выскочил Аптекман. Я впервые видел его торопящимся. Он двигался очень быстро, но это совсем не было заметно. Казалось, он так же, как всегда, лениво переваливается с ноги на ногу.

— Кочегары, вниз, — заорал он, — помогать вахтенным тушить топки!

Кочегары один за другим пробежали мимо меня, торопясь и скользя по наклонной палубе. Аптекман заковылял за ними и, странно, не отставал, хотя казалось — он совсем не торопился.

По наклонной палубе поднялся Свистунов. Он взмахнул зюйдвесткой и крикнул: «Товарищи!..» — но в это время машинист уже начал выпускать пар из котлов. Свистунов что-то кричал еще, лицо его покраснело от натуги, губы смешно шевелились, но мы ничего не слышали, всё — и голос его и рев урагана — покрывалось неумолкающим резким шипением пара. Махнув рукой, он отошел в сторону, и в это самое время, как будто издева-

ясь над ним, шипение прекратилось. Из машинного отделения вышли кочегары, механики и машинисты. Они были выпачканы в масле и в копоты, и не то пот, не то водяные брызги мелкими каплями осели на темных лицах.

— Всем собраться здесь! — кричал Свистунов, получивший наконец возможность высказаться.

Мы все собрались на вздыбленной палубе и расположились кому где удобно. Кто стоял, опершись на фальшборт, кто взгромоздился на лебедку, кто уселся на плотно задраенных люках. Я стоял на старом своем месте у вала и оглядывался вокруг.

С грохотом рушились волны на корму. За время шторма ухо уже так привыкло слышать размеренный грохот воды, что перестало замечать его. Сейчас, прислушавшись, я обратил внимание, что здесь грохот гораздо тише, чем был в открытом море. Остров защищал нас, и хотя здесь, в проливе между островом и материком, волнение тоже было большим, но после гигантских валов открытого моря здесь мне казалось тихо.

Налево, километрах в двух или в трех, тянулся каменный берег материка. От нас было видно, как высоко взлетают волны, разбиваясь о камни. У подножия черных скал шла широкая белая полоса. Это была полоса пены и брызг.

Направо, значительно ближе материка — я думаю, не дальше чем в километре, — возвышалась унылая громада острова Старовер. Голый черный камень, холодный и мокрый, без кустика, без травинки, он не был похож очертаниями на человека, но в резких его линиях, в своеобразной посадке вершины была выразительность, свойственная живым существам. Казалось, он смотрел на нас с равнодушным презрением фанатика и мракобеса.

Сзади, за кормой тральщика, хихикала и потешалась над нашей бедой огромная горбатая Ведьма из черного камня. И у ног Старовера и Ведьмы бились и пенились волны, но они были гораздо слабее и меньше тех, которые разбивались о берег материка.

— Товарищи! — услышал я резкий голос Студенцова. Я повернулся. Капитан стоял у фокмачты. Заглядевшись на скалы, я не заметил, как он туда прошел. — В первую шлюпку садятся все кочегары, второй и третий механики, первый помощник и четыре матроса. Командует

шлюпкой первый помощник. Второй помощник остается на борту. Посадка в шлюпку до спуска. Шлюпка направляется на остров Старовер. Кочегарам грузить аварийный запас. Второй вахте приготовиться к спуску шлюпки. Быстрее, товарищи, время не ждет!

Резкими шагами капитан пошел к трапу и поднялся на ростры. Уже с обеих сторон по трапам лезли наверх не только те, в ком была там нужда, но и все остальные, чтобы посмотреть, а если удастся, то и помочь чем-нибудь.

Корма сидела удивительно низко. Она почти касалась воды, как осевший круп вздыбленной лошади. Счастье наше, что волны здесь были меньше, иначе, я думаю, судно бы сразу разбило. Однако и сейчас волны гуляли здесь, разбивались о машинный люк, плясали вокруг трубы. Мы стояли по колено в воде, и волны сбивали нас с ног, так что приходилось держаться, чтобы не быть унесенным за борт.

Один за другим, под командой второго штурмана, прошли кочегары; они несли аварийный запас продовольствия и бочонки с водой. Волны ринулись на них, но они широко расставляли ноги и даже не шатались. Матросы сняли уже чехол со шлюпки, и Бабин указывал, куда класть бочонки и свертки. Работали молча, быстро и точно, и, когда укладывали последний сверток, матросы уже разворачивали шлюпбалки. Шлюпка повисла над водой очень низко. Сразу же волна ударила ей в корпус; она качнулась на таях.

— Садитесь! — крикнул Бабин.

Кочегары, которые, уложив груз, отошли на два шага в сторону, один за другим попрыгали в шлюпку. За ними прыгнули второй и третий механики. Бабин и четыре матроса прыгнули последними. Снова волна ударила в корму, и кочегары, наклонившись, вычерпывали воду. Тали долго травить не пришлось. Шлюпка почти сразу коснулась воды.

— Отваливай! — скомандовал Бабин. Механики шестью оттолкнулись от борта. — Весла, — сказал Бабин и сразу же крикнул: — На воду!

Весла с силою загребли воду. Шлюпка повернулась, гребень волны плеснул через борт, и вот, то скрываясь от нас за волной, то влезая на гребень, шлюпка пошла

к пустынному острову. Мы следили за ней, не чувствуя ветра и воды, каждый раз с облегчением переводя дыхание, когда она, скрывшись от нас за волной, показывалась снова. Не знаю, как они чувствовали себя там, на шлюпке, но отсюда, со стороны, нам было очень страшно на них смотреть. Может быть, более опытные моряки были спокойны, но я лично никак не мог понять, почему она не переворачивается,— на мой взгляд, ее должно было сразу же захлестнуть. Однако она не тонула и каждый раз, скрываясь за волной, показывалась гораздо дальше от нас и, значит, гораздо ближе к острову. По сравнению с ненадежной шлюпкой каким нерушимым, спокойным убежищем казался мне тральщик! Я с удовольствием ощутил под ногами твердую палубу и даже топнул ногой, но тут же испуганно схватился за поручни. Мне это не показалось. Я ясно почувствовал, как двинулась палуба под моими ногами. Гребень разбившейся волны пропелся по палубе, и вода, журча, обмыла мне сапоги. Значит, эта волна сдвинула судно. Значит, следующая сдвинет его еще немного. Значит, сотая или тысячная сорвет его с банки. Удивительно беспокойно почувствовал я себя. Очевидно, раньше, увлеченный спуском шлюпки, беготней, разговорами, я просто не замечал этих тихих, но угрожающих движений. Я окликнул Донеико, стоявшего рядом со мной.

— Слушай,— сказал я очень небрежным тоном,— по моему, нас шевелит немного, а?

Он посмотрел на меня очень внимательно.

— Шевелит? — переспросил он. — Волной? — И, будто только сейчас сообразив, о чем идет речь, протянул: — Ах, шевелит? Ну конечно, это всегда бывает.

Я далеко не был уверен, что он действительно так спокоен, как старается показать. Однако, поскольку изменить я все равно ничего не мог, я сказал успокоенно:

— Ах, всегда так бывает.

На этом разговор кончился, и я опять стал смотреть на шлюпку. Она здорово продвинулась за это время. Она была совсем уже возле острова, и, судя по тому, что и капитан, и Овчаренко, и Аптекман, и третий помощник взялись за бинокли, сейчас предстояло самое трудное — высадка.

Вода пенилась у подножия Старовера. Голый камень

выходил прямо из воды. Только в том месте, куда направлялась шлюпка, я видел нечто вроде маленькой бухточки, и там берег был более полог. Бухточка эта была ограждена от открытого моря коргой — каменистой грядой, и потому в ней было сравнительно тихо. Был ли достаточно широкий для шлюпки проход между камнями, я издали судить не мог, но, наверное, был, потому что Бабин правил прямо на них.

Шлюпка задержалась, видимо ожидая волны. Волна поднялась, весла опустились в воду, и сильным рывком шлюпка проскочила между двумя камнями. Белая пена скрыла ее от нас, волна схлынула, и стало видно: люди прыгали прямо в воду и по пояс в воде выгружали из шлюпки бочонки и ящики. Мы следили очень внимательно. Они стали цепью и передавали груз из рук в руки, так что он как будто сам катился по невидимому мосту. Три человека вылезли уже на берег, принимали груз и складывали его в кучу.

— Готовить запас для второй шлюпки! — крикнул капитан.

Мы бросились в кладовую. Свистунов отбирал ящики, а мы их тащили на палубу и складывали у фокмачты. Когда все было сложено, я посмотрел в море и увидел, что шлюпка уже совсем близко. Бабин по-прежнему сидел на корме. Четыре матроса гребли. Они то показывались, то скрывались за волной, и мне даже с палубы было видно, что у них усталые, красные от напряжения лица.

— Следующим рейсом, — скомандовал Студенцов, — идут оставшиеся матросы первой и третьей вахты, юнга, тралмейстер, машинист, старший механик и третий штурман. Всем названным приготовиться к посадке. Матросам второй вахты принимать шлюпку.

Шлюпка направлялась к борту. Мы, остающиеся, стояли, держа наготове ящики, чтобы сразу начать грузить. Отъезжающие выстроились вдоль борта.

— Все ли здесь? — спросил Студенцов и взглядом окинул стоявших.

— Старшего механика нет! — крикнул Донеико.

— Аптекман! — заорал капитан. — Аптекман! Слюсарев, сбегайте за Аптекманом!

Я собирался бежать, но Аптекман в это время сам по-

явился. Он нес на плече большой фанерный чемодан и шел с таким видом, будто это так и следует, спасаясь с тонущего судна, увозить с собой чемодан.

— Где? Где? — суетился он, как пассажир, становящийся в очередь на посадку. — Сюда?

— Наум Исаакович! — сухо сказал Студенцов. — Наум Исаакович!

— А? Что? — спросил Аптекман, делая вид, что не понимает, о чем сейчас пойдет речь. Он даже перестал объясняться жестами и говорил нормальными человеческими фразами, только немного более короткими, чем обычно говорят люди.

— Наум Исаакович! — в третий раз повторил Студенцов, упрямо глядя на чемодан.

Лицо старшего механика приняло умоляющее выражение.

— Кое-что из моей коллекции, — жалобно проговорил он, — только самое основное. Пустяковый вес.

— Нельзя, — мотнул головой капитан.

— Николай Николаевич! — У Аптекмана стал рыдающий, патетический голос. — Здесь экземпляры, ценные для науки.

Капитан снова мотнул головой. По лицу его Аптекман понял, что просить бесполезно. Он вздохнул, отошел в сторону, поставил чемодан, покрутился, очень растерянный, открыл чемодан, вынул высушенного пинагора, спрятал его на груди, снова закрыл чемодан и снова открыл его. Он стал набивать карманы морскими ежами и звездами, крабами и пластинками акульих зубов. Этими морскими чудесами был доверху набит чемодан.

— На место, Наум Исаакович! — крикнул Студенцов.

Аптекман кинул отчаянный взгляд на свои сокровища, но стал на свое место. Шлюпка была в нескольких метрах от борта. Она то поднималась, то опускалась. Бабин, красный от напряжения, кричал нам что-то, но мы не могли разобрать ни слова. Бросили конец. Шлюпка подошла к самому борту. Мы передавали Свистунову ящики, и Свистунов ловко и точно перебрасывал их матросам на шлюпку. Я наклонился, чтобы взять ящик с палубы, и вздрогнул. Там, где двадцать минут назад были доски настила, теперь была вода. Не волна, нахлынувшая и готовая схлынуть, а просто поверхность моря, которая

была уже выше этой части палубы. Раздумывать об этом мне было некогда.

— Давай! — орали на меня, и я, подняв ящик из воды, передал его Свистунову.

Пока мы грузили на лодку аварийный запас, Студенцов и Бабин перекликались.

— На берегу смените гребцов! — орал капитан в мегафон. — В случае чего, высылайте сигнальщика! Как приставать?

— Трудно, — надсаживался Бабин, — камни частые, падо проскакивать! Начинайте посадку!

Один за другим матросы прыгали в шлюпку. Каждый, став на борт, ждал, пока шлюпку поднимет до уровня борта. Пропустившие момент оступались и падали, и Бабин орал на них, наливаясь кровью от натуги. Прыгнули юнга и салогрей, матросы, тралмейстер и машинист. Должен был прыгать третий штурман.

— Аптекман! — вдруг заорал он. — Черт его задери, опять он пропал!

Мы оглянулись. Аптекман копался в своем чемодане.

— Наум Исаакович! — рявкнул капитан. — Сию же секунду прыгать!

— Ну, ну, ну, — успокаивающе сказал старший механик, явно стараясь протянуть время. — Я же вас слышу. Чего вы кричите?

На него орали со всех сторон, орали свирепо, страшно, надсаживаясь от крика. Но так как орали все сразу, слов разобрать было невозможно, и, пользуясь этим, Аптекман нашел то, что искал. Он вытащил из чемодана краба чудовищной величины и, оглянувшись, сказал кричавшим:

— Вот и все. Я готов. Так надо было кричать, да?

Держа краба в высоко поднятой руке, он прыгнул в полную шлюпку, споткнулся, сломал краба о чью-то голову, бросил обломки в море, махнул рукой и отвернулся; слишком огорченный, чтобы смотреть на людей.

Последним прыгнул третий штурман, и шлюпку оттолкнули баграми. Снова заработали, напрягаясь, гребцы, шлюпка скрылась от нас за волной. Теперь нас осталось на тральщике десять человек. Все мы собрались на палубе и смотрели вслед отходящей шлюпке. Вот снова она показалась, тяжело взобравшись на гребень волны, и снова исчезла. Почувствовав, что ноги мои стынут



Шлюпка уже совсем подошла к острову.

в холодной воде, я отошел и стал на сухое место шагах в двух или трех от воды. Шлюпка двигалась совсем медленно, но все-таки каждый раз, появляясь из-за волны, она была все дальше и дальше от нас. Здорова на этот раз ее нагрузили. Нам было видно, что борта едва возвышались над водой, шлюпку все время заливало, и воду вычерпывало несколько человек. Все-таки теперь нам стало гораздо спокойнее. Если удались два рейса, нет оснований думать, что не удастся третий, а твердая земля под ногами, как я сейчас понял,— это очень существенно для хорошего настроения. Мы уже радовались ей — пусть голой и холодной, но твердой земле.

— Не приходилось еще робинзонствовать,— сказал Донеико,— а в книжках пишут, что дело хорошее.

— В книжках,— сказал засольщик,— писут про зарские страны. А ты на этой цртовой скале позиви, так узнаес.

— Подумаешь, робинзоны,— вмешался Овчаренко.— Всего-то несколько часов посидеть и придется.

Шлюпка уже совсем подошла к острову. Мы видели, как переехавшие раньше собрались на берегу встречать ее. Перед рифом она остановилась, опять ожидая волны, волна подняла ее, весла опустились в воду, сильным рывком шлюпка ринулась в проход между двумя камнями и вдруг наклонилась на один бок и медленно погрузилась в воду.

Никто из нас не сказал ни одного слова. Нам было видно, что несколько человек успели ухватиться за камень, что одна за другой из воды показывались головы, что стоявшие на берегу лезли по камням на помощь.

Мы молча смотрели. Один за другим вынырнувшие из воды хватались за протянутые руки и вылезали на камень.

— Кажется, все,— сказал Студенцов, не отрываясь смотревший в бинокль.

Он сказал это не очень уверенным тоном. Трудно было на таком расстоянии сосчитать, было ли там двадцать восемь, или двадцать семь, или двадцать шесть человек. Нет, очевидно, действительно все. Спасенные и спасавшие гуськом перебирались на берег; они не могли бы уйти так спокойно, если бы кто-нибудь еще остался в воде. Они шли, цепляясь за камни, и поднимались все выше над пе-

нящимися волнами. А волны разбивались одна за другой, и девятая поднялась выше предыдущих. Она высоко подняла шлюпку и бросила ее на риф. Нам было видно, как наша единственная, наша последняя шлюпка разлетелась в куски и несколько досок выбросило на берег.

На скалу, нависшую над морем, взобрался человек. Он быстро взмахивал флагами, и Свистунов повторял слово за словом:

— Шлюпка разбита, все спасены, запасы в достаточном количестве. Сообщите инструкции.

— Доне́йко,— сказал капитан,— возьмите флаги.

Доне́йко поднялся на полубак. Он взмахивал флагами, а капитан диктовал ему:

— Будем ждать помощи на судне. Устраивайтесь возможно удобнее. До свиданья.

И снова на черной скале замелькали флаги сигнальщика:

-- Уходим в закрытое от ветра место. Оставляем дозорного. До свиданья.

Мы следили, как они поднимались на скалу по незаметным нам уступам и один за другим исчезали за камнем. Только дозорный остался на берегу. Берег опустел. Оставшийся стал мерно шагать взад и вперед. Тогда мы перестали смотреть на остров и занялись собственными делами.

— Ну что ж, товарищи,— сказал капитан,— давайте устраиваться. У нас нет оснований беспокоиться. Мы снабжены всем необходимым, а помощь должна прийти с часу на час. Поиски организованы широко.

Я так долго стоял неподвижно, следя за шлюпкой, что у меня затекли ноги. Я подвигал ими, чтобы размяться, и с удивлением почувствовал, что стою по щиколотку в воде. У меня защемило сердце, когда я подумал о том, что всего только двадцать минут назад вода была отсюда в двух или трех шагах.

Глава XXVII

МЫ ОСТАЕМСЯ НА СУДНЕ

Нас осталось на тральщике десять человек: капитан, помполит, Фетюкович, кок, Свистунов, Доне́йко, Балбуцкий, Полтора Семена, беззубый засольщик и я. Проводив

глазами наших товарищей, которые ушли греться на подветренный берег, мы стали устраиваться на опустевшем судне.

Решено было, что сидеть мы все будем в кубрике, сейчас это было самое высокое место, а наверху, на полубаке, будут стоять два дозорных, чтобы не пропустить идущего мимо судна или людей на берегу. Дозорные должны были сменяться каждый час. Таким образом, после часа вахты полагалось четыре часа отдыха. Расписание вахт было составлено сразу же. В первой вахте были Свистунов и Полтора Семена, во второй — Балбуцкий и засольщик, в третьей — Донейко и кок, в четвертой — капитан и Фетюкович, в пятой — Овчаренко и Слюсарев. Я понял, что меня и Фетюковича нарочно присоединили к капитану и Овчаренко, как самых молодых и неопытных. Свистунов и Полтора Семена, получив бинокли, поднялись на полубак, а мы занялись нашим, как говорил капитан, «благоустройством».

Местом для «лагеря» была выбрана большая четырехместная каюта, первая по коридору налево. На нижних койках, расположенных одна против другой, были устроены сидячие места — по четыре на каждой койке. Верхние койки предназначены были для сна, но желающих спать пока что не находилось.

Фетюкович и Балбуцкий притащили аварийный радиоприемник, установили его на столе, и Фетюкович, усевшись на табурете, начал ловить в эфире берег. Я, Донейко и кок пошли за продуктами. Кладовая помещалась внизу, в кубрике. Мы спустились по трапу — он был теперь очень пологим — и поднялись по коридору. Я говорю: поднялись, потому что коридор шел вверх под углом, наверное, градусов в двадцать.

Донейко нагрузился разной провизией, кок стал было наругать и меня, но передумал, все отобрал и сказал:

— Слетай-ка, Слюсарев, в камбуз, принеси — у меня там на полке — примус и две кастрюли.

Я вышел на палубу. Она уходила вниз под моими ногами. Осторожно, чтобы не поскользнуться, я спустился до грузового люка. Здесь начиналась вода. Защищенная надстройкой от ветра и волн, она тихо плескалась, и ролики торчали из нее, похожие на прибрежные камни. Держась за фальшборт, я зашагал по воде, но фальшборт

скоро тоже ушел под воду, и я держался уже за стены столовой.

Странно теперь выглядело наше судно. Прямо из воды поднималась стена надстройки, и пустые глаза иллюминаторов обмывала вода. Рулевая рубка возвышалась как остров. Она откинулась назад, как будто засмотрелась на небо. Из воды торчали труба, мачта, флагшток. Казалось, они поднимаются с морского дна, как гигантские и удивительные растения. Шлюпбалки похожи были на цветы, выросшие из воды и склонившиеся над водой, как где-нибудь в озере под Ленинградом. Трапы уходили прямо в воду, точно в купальне. Снасти раскачивались и плескались в воде. Печать смерти и запустения лежала на всем. Мне казалось, что ветер стих. Во всяком случае, волны были значительно меньше. Они свободно гуляли по судну, как будто уже много лет лежало оно здесь мертвое. Странно было подумать, что только несколько часов тому назад горел огонь в топках, работали машины, шел дым из трубы и, выполняя команду капитана, матросы бегали, смеяся и переговариваясь, по вычищенной до блеска палубе.

Чувствуя, что с каждым шагом палуба под моими ногами уходит все глубже и глубже, добрался я до камбуза. С трудом я открыл дверь и вошел. Вода, плеснув, закрыла ее за мной, и мне стало неприятно, и шевельнулась глупая детская мысль, что сзади бесшумными шагами идет какое-то странное существо, исчезающее, когда обернешься.

В камбузе было полутемно. Свет с трудом проникал сквозь потускневшие стекла иллюминатора. Сюда почти не доносился шум волн и ветра. Я остановился, пораженный царившею тишиной. Неподвижная вода стояла сантиметров, вероятно, на сорок. Она доходила почти до самого верха моих сапог. У меня всю жизнь было предубеждение против стоячей воды. Всегда мне казалось, что в стоячей воде должны прятаться омерзительные и ядовитые существа. Так и сейчас меня охватило отвращение. И все мне казалось, что ногами я чувствую прикосновение скользкого тела. Я сделал шаг, и вода заволновалась, и мелкие волны побежали к плите, к кипятивнику, к раковине. Я сделал еще шаг, и табурет, плававший по камбузу, качнулся и ударился о дверцу духовки. И все эти движе-

ния заставляли меня вздрагивать, и мне даже стало обидно, что я такой трус.

— Вот черт! — громко сказал я.

Звук моего голоса ободрил меня. Я влез на плиту, достал с полки кастрюли и примус и, поднимая волны в маленьком комнатном озере, вышел из камбуза.

Я посмотрел на небо и увидел, что ветер не стих, как мне показалось раньше. Разорванные в клочья облака мчались по небу, как будто спасаясь от нагонявшего их чудовища. Значит, там, наверху, ураган бушевал по-прежнему. Но здесь было сравнительно тихо. Каменные плечи Старовера заслоняли нас, и я только не мог понять, почему полчаса назад, когда мы уже сидели на банке, ветер был значительно сильнее.

Теперь палуба под моими ногами поднималась, и я скоро вышел из воды на сухое место. Свистунов и Полтора Семена стояли на полубаке: один у правого борта, другой у левого. Больше на палубе никого не было. Несмотря на то что без ветра, казалось бы, должно было стать теплее, мне было очень холодно. У меня дрожали руки, и кастрюли, звеня, бились друг о друга. Мне пришлось делать усилие, чтобы не стучали зубы.

«Наверное, это оттого, что ноги мокрые», — подумал я и заторопился, решив в кубрике переобуться.

— Слюсарев! — окликнули меня с полубака. Я поднял голову. Полтора Семена стоял у трапа. — Что там кок готовит? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я. — В кладовой брал баранину — наверное, жарить будет.

Свистунов тоже подошел к трапу. Он ничего не сказал, но у обоих стали грустные, мечтательные глаза. Видимо, им очень хотелось есть. К моему удивлению, я не почувствовал голода даже при мысли о жареной баранине.

Озноб мой усиливался. Весь дрожа, я вошел в кубрик, закрыл за собою дверь поплотней и быстро добежал до каюты. Керосиновая лампа висела над столом, ярко освещая Фетюковича, склонившегося над радиоприемником, кока, укладывавшего на сковороде аккуратно нарезанные куски баранины, Студенцова, Овчаренко, Донейко, Балбуцкого и засольщика, удобно рассевшихся на койках.

— Сто ты сутки сутис? — обрушился на меня засоль-

щик.— Людям кусать хочется, а ты сатаешься церт знает где.

— Там вода, — сказал я дрожащим голосом, — пробраться трудно.

Все повернулись ко мне.

— Продрогли? — спросил Овчаренко.— Снимайте сапоги и лезьте наверх.

— Д-д-да,— сказал я, с трудом сдерживая дрожь,— продрог немножечко.

— Смотайся, принеси сухие портянки,— скомандовал Донейко.

Я отдал коку кастрюли и примус и пошел к себе в каюту. Наверное, не меньше ведра воды вылил я из сапог. Ввиду исключительных обстоятельств я лил воду прямо на пол, и она стекала под койку, потому что пол здесь, как и всюду, шел теперь под уклон. На мне буквально не было сухой нитки. Я заодно переоделся весь. Очень приятно было чувствовать на теле сухое белье.

Переодевание заняло у меня очень много времени. Озноб не проходил, и трудно было трясущимися руками одеваться и особенно застегивать пуговицы. Зато, переодевшись, я почувствовал себя значительно лучше.

Когда я вернулся, меня встретил шум примуса и шипение баранины на сковороде.

— Церт тебя знает, Слюсарев,— сказал засольщик.— Какая ты сляпа. Переодеваешься, как дом строис.

В Ленинграде меня всегда раздражал шум примуса, но здесь, в каюте полузатонувшего судна, примус шумел удивительно весело и приятно. В жужжании его мне слышались такая бодрость и такой задор, что невольно становилось как-то веселей на душе. Пусть судно сидит на банке в холодном море у неприступного берега, пусть на море шторм и шлюпка разбита и на всех надеты спасательные пояса, но шумит примус, шипит баранина, и, значит, мы уже не спасаемся, а живем, не ожидаем, а бытуем, и уже тверже кажется палуба под ногами и не так близка вода холодного моря.

Есть мне не хотелось, мне хотелось только согреться как следует. Я влез на верхнюю койку и закрылся одеялом. Я еще вздрагивал, но щеки мои уже горели.

— Это что,— сказал Студенцов, продолжая разговор, прерванный моим приходом.— Вот если шторм продер-

жится еще дня два, тогда будет волна действительно большая. Мне Сизов рассказывал, что, когда они штормовали у Святого Носа, у них волной залило трубу. Представляете, что за волна была. В этот же шторм у них, между прочим, произошел удивительный случай. Фокина знаете? Он боцманит на «Акуле». Так вот этого Фокина смыло с полубака. Конечно, сразу спасательные круги, то, се, но куда ж тут — дело конченное, тем более что шлюпку спустить невозможно. Ну, ладно. Горюют все — потеряли товарища, и идет на них новая волна, нашла и схлынула. Схлынула, а на корме лежит Фокин. Живой, здоровый и даже не сильно расшибся. Пошел, чаю выпил, переоделся и снова стал на работу.

— Это повезло человеку,— сказал Донеико.

— Сизов говорит,— добавил капитан,— что это все так быстро случилось — они даже не сообразили сначала, что, собственно, произошло. Потом уж смеются: «Ты, брат Фокин, не с того ли света?» А он отвечает: «А ну их, на том свете. Не понравился я им, обратно послали».

— Салопай этот Фокин,— возмущенно сказал засольщик,— только и мозет сутки сутить.

— Ну, ну,— окликнул его кок,— экий ты злобный парень! Иди лучше есть — тебе на вахту пора.

Балбуцкий и засольщик присели к сковороде и стали вылавливать вилками куски баранины пожирней.

— Да,— сказал капитан, посмотрев на часы,— через три минуты надо сменять.

Балбуцкий набил рот булкой и мясом, встал и сказал, с трудом выговаривая слова:

— Ладно, потом доедим.

— Наденьте плащи,— сказал Овчаренко,— все-таки теплей будет.

Балбуцкий стал натягивать огромный брезентовый плащ. Он путался в нем, рукава спускались ниже рук, ноги наступали на полу. Румяная рожа выглядывала из непомерно большого капюшона. Он был похож в этом плаще на мальчишку в отцовском пальто. Засольщик продолжал набивать рот и жевал с невероятной энергией.

— Вот черт,— издевался над ним кок.— Говорить — так зубов нет, а жевать — так находятся.

Ответить засольщик не мог. Из набитого рта выхо-

дили только невнятные звуки. Он погрозил кулаком, с трудом запихал в рот огромный кусок баранины, схватил плащ и вышел. Путаясь в полах плаща, Балбуцкий пошел за ним.

— Можно всем есть, Николай Николаевич,— сказал кок. Он поставил табурет между койками и на табурет сковороду с новой партией баранины и картошки.

— Фетюкович,— крикнул капитан,— идите ужинать! Фетюкович обернулся.

— Сейчас, сейчас, Николай Николаевич,— сказал он.— Кажется, вызывают.— И, отвернувшись, продолжал крутить регуляторы.

Дверь открылась, и вошли Свистунов и Полтора Семена. Они скинули плащи и, ежась и потирая руки, подсели на койки.

— Ну что? — спросил капитан.

— Все то же, Николай Николаевич,— сказал Свистунов.— На Старовере сменился дозорный, сигналият, что все благополучно.— Он взял вилку и с деловым, озабоченным видом приступил к еде.

Полтора Семена уже ел, торопясь и чавкая.

— Слюсарев! — крикнул капитан.— Что же вы?

Я согрелся под одеялом, и мне очень не хотелось вылезать. Приятная дремота охватила меня, и сон прельщал меня гораздо больше еды. Но я понимал, что меня все равно не оставят в покое. Я скинул одеяло и прыгнул с койки.

— Садитесь,— сказал Овчаренко и подвинулся.— Вот вам вилка.

Мне было очень жарко. Мне было так жарко, что у меня запеклись губы. Мне совсем не хотелось есть. Я с трудом жевал маленький кусочек мяса, пока остальные уплетали кусок за куском. Я не принимал участия в разговоре, который касался главным образом вопроса о том, что, кто, где и когда ел. Постепенно вилки замедляли движение, и сковорода пустела. Капитан первый кончил есть и стал набивать трубку. За ним отложили вилки Донейко и Овчаренко, уже и кок и Свистунов с удовольствием пускали дым, и только Полтора Семена тщательно подбирал остатки, когда Фетюкович обернулся и крикнул:

— Вызывают, Николай Николаевич!

Студенцов шагнул к нему, но Фетюкович включил репродуктор, и Студенцов так и остался стоять, жадно слушающая зазвучавший голос.

— Команды «РТ 89» и «РТ 90»,— говорил голос,— передаем сводку спасательных работ. В случае, если вы, не имея возможности передавать, можете принимать на аварийный приемник, прослушайте внимательно местонахождение спасательных судов и поисковых партий.

— Платон Никифорович, карту,— отрывисто сказал капитан.

Овчаренко выбежал из каюты.

— Пройдя район вашего местонахождения на шестнадцать часов, то есть на время получения от вас последних сводок,— продолжал голос,— двенадцать «РТ» и три эсминца дошли до берега. В море была обнаружена разбитая шлюпка и спасательные круги с «РТ 90». Поиски решено продолжать по побережью и островам.

В каюту вбежал Овчаренко с пачкой карт в руке. Студенцов отобрал одну из карт и склонился над нею. Медленно и отчетливо голос из репродуктора перечислял местонахождение и направление пути каждого «РТ», каждого эсминца, каждой береговой поисковой партии. Студенцов отмечал их на карте стрелками. Из-за его спины мы смотрели на карту. Вот за этим маленьким островком находимся мы. Вот из-за этого мыса идет нас искать «РТ». Но нет, он пройдет стороной, он уйдет сюда вот, в залив, и напрасно потратит время. Только что из этой бухты к востоку от нас вышел эсминец. Сейчас он свернет к востоку. «К западу, к западу!» — хочется крикнуть ему, но нет у нас голоса такого, чтобы он услышал. Следя по карте, мы могли представить себе весь план поисков. Тральщики и эсминцы планомерно обходили заливы и губы, мысы и острова. Они двигались вдоль берегов, вызывая нас длинными гудками, и десятки биноклей рыскали по скалам, отыскивая наши сигналы. Берегом шли сухопутные партии, но, конечно, они могли обыскать только маленькую часть берега. Голос в репродукторе монотонно перечислял губы, заливы и острова, а мы все ждали и вот, наконец, услышали.

— Выйдя из губы,— сказал голос,— тральщик направится к островам Старовер и Ведьма и обойдет каждый из них вокруг.

Он продолжал еще говорить, но мы больше не слушали. Капитан циркулем измерял расстояние.

— С изгибами миль тридцать,— сказал он,— четыре часа, ну, будем считать пять.— Он сложил карту и сел на койку.— Отдохнем, позавтракаем — и, пожалуйста, судно подано.

— Подавайте сигналы,— говорил голос,— спокойно ожидайте помощи. До свиданья. Через час вызовем вас опять.

Голос замолчал, и Фетюкович выключил аппарат.

— Электричества жалко,— объяснил он.— Надо экономить аккумуляторы.

Я снова залез на верхнюю койку и с наслаждением вытянулся на постели. Я все-таки очень устал. Я с удовольствием бы уснул, но боялся, что меня не разбудят на вахту, а мне ужасно не хотелось оказаться слабей и беспомощнее других. Внизу подо мной шла неторопливая беседа.

— Вы, Свистунов, в первый раз тонете? — спросил Овчаренко.

— Что вы! В первый раз я семнадцати лет тонул.

— Расскажи, пожалуйста,— попросил Фетюкович.

— Да это долго, и кое-кто уже слышал.

— Подумаешь,— вмешался Донеико.— Я, пожалуй, только один и слышал. Не ломайся.

— Да что ж,— Свистунов пожал плечами,— я могу рассказать.

Рассказ Свистунова о том, как он в первый раз в жизни тонул

Раньше, знаете, зимовали мы у себя в Заонежье или на Печоре, а на лето ездили промыслять сюда, на Мурманский берег. И вот, году не то в двенадцатом, не то в тринадцатом кончили мы осённую, и пора было уезжать, но нам с товарищем, с которым мы промысляли летом, надо было с купцом Милгой кончить расчеты: сколько забрано, сколько рыбы сдано. Пока Милга рассчитывает нас, мы еще промысляли.

Наживили мы ярус, поехали на море часов в семь поутру. Ярус выметали и убежали к острову Олень. Было

на шнёке нас трое: я — мне тогда лет семнадцать было, первый год промышлял — и два камрата: один некто Александр, Сашка, средних лет, хороший рыбак, и второй — Новожилов. Он у купца арендовал шнёку, на которой мы промышляли, и был у нас за старшого.

Убежали мы к острову Олень, и как ехать нам выбирать ярус, пал сильный ветер. Перед вечером ярус мы кое-как выбрали, попало пудов восемьдесят трески. Потемнело, и ветер сильный. Ну куда же нам? В Териберку попадать — ветер против не пускает.

Кинули якорь — под берегом отстояться. Ночь, темно, сентябрь уже, и шторм сильный. Ну, а под берегом тихо — ветер с горы. И на шнёке в концах заборницы — можно укрыться от дождя или повалиться. Мы дождевую одежду раздели, но остались в сапогах.

— Ночь перестойм, — говорит Новожилов, — утром рассветится, в Кильдин или в Териберку попадать станем.

Вот рассветилось. Ветер переменялся, в губу стало забирать. Новожилов говорит:

— Давай будем приготовляться. Из губы выбежим как-нибудь — под парус станем.

Парус приготовили, якорь стали поднимать — канат лопнул. Волна сильная. Парус подняли — брасы порвало, погудало выкинуло за борт, — рулем действовать невозможно. Парус затрепыхался — разорвало его. Нам уже и бежать нечем. Мы давай отгребать — никак невозможно. Волна сильная. Вот нас и прибило на берег. Наш старшой на заборницу выскочил, закричал:

— Ребята, выскакивай на берег!

Я посмотрел — берег крутой, захватиться не за что. Александр кричит:

— Стой, не выскакивай!

А наш старшой, Новожилов, уж выскочил. Его волной с берега сбросило. Он в море попал под шнёку. Там его и зашибло. Мы поглядели с Александром — видно, только дождевой одежды полу понесло. А потом и это исчезло. Вдвоем остались. Не стало товарища. Надо нам, значит, вдвоем спастись.

Александру вера была обронить мачту и положить поперечно, чтоб шнёка не опрокинулась. Он ванты отдал, хотел мачту обронить — его волной из шнёка вон вытянуло. Волна прокатилась, я остался в шнёке один. Стою на

носовой заборнице, вижу — товарищ мой в море сажени за две. Я ему помахал рукой, он мне сигнал подает. У нас буглиный шест был запихан в дырки, чтоб его волна не вынесла. Я этот шест ему и вытянул. Только я до него достал и он на шнёку влез — волна через нас перекатила. Я стою, зуб на зуб не попадает, холодно, и понимаю, что никак не продержаться, а ему еще хуже — фыркает и глаза трет.

— Сашка,— кричу,— скачем на берег!

А он мне кричит:

— Подожди, не выскакивай, пусть волны обойдутся.

Ну, тут как будто действительно тише стало. Мы и прыгнули. Я-то как в воду попал, совсем было и ослеп и оглох, а он изловчился как-то, сам вылез и меня за руку вытянул.

И вот вылезли мы на берег, холодные, мокрые,—и ни спичек, ни хлеба.

Как отлежались немного да отдышались, так меня всего от голода и свело. А кругом от ягод морошки в глазах желтит. Я привалился, ем, отойти не могу, а Александр мне:

— Не ешь, не ешь! Тошому нельзя ягод помногу есть.

Еле он меня оттащил, посадил в заветерье и объясняет.

— Слушай ты,— говорит,— меня, Свистунов. Опомнись ты бога ради, несчастный ты человек. Похлопай ты себя руками, согрейся. Нужно нам идти в становище.

А было это в губе Типонихе, между Малым Шоленьем и Кильдином. И нужно было нам перебрести реку Типонику. А река эта не глубока, а быстра. Нельзя брести — собьет. Пошли мы кверху. Не знали, мелко ли, потом думаем: что ж, давай перебреем. Перебрали кое-как, пошли версты четыре до реки Климовки. Я версту шел, потом изнемог. Молодой еще был, устал, истощал. Александр меня кое подведет за руки, кое волоком подтянет. Еще нам дождя и ветра послало навстречу. Идти тяжело. Голову положишь книзу и так идешь. Я прямо осиротал весь. Дошли до речки, а тут еще с высокой горы спускаться. Александр, меня тнувши, сам стал из сил выбиваться. Усадил он меня за камень в заветерье.

— Не спи,— говорит,— не спи, шевелись, согревайся. Я пойду в жильё и людей пошлю.

Вот я и остался один. Шевелился, согревался и засыпал — и вот уж совсем ослабел, а Александр пошел один в становище.

Он спустился к берегу и увидел — внизу наволочены ёлы и шнёки. Он стал искать хоть какой-нибудь кусок, думал — забыли, но ничего не нашел. Кое-как перебрался через речку. Надо было ему подниматься в гору полверсты, и он за эти полверсты отдохнул раза четыре. Так он выстал, что как зайдет в заветерье, так и засыпает. Но все-таки дошел в становище.

На улицу народ высыпал.

— Откуль, — говорят, — ты такой?

А он говорит:

— Оттуль, из потопа. Там, — говорит, — у столба, за камнем человек есть. Может, он живой или нет.

Ну, тут с него все содрали, сухое надели, накормили. Человек ожил, согрелся, а люди забегали, за мной собираются, и в скором времени вшестером вышли. Нашли меня, еле добудились. Вести хотят — у меня ноги не гнутся. Принесли на носилках, повалили на печку, и я там оттаял. Только потом по всему телу водяные пузыри пошли. Еле вылечился.

Вот и все дело, — закончил Свистунов. — Так я в первый раз в жизни тонул.

Студенцов выпустил тучу дыма.

— Батька мой, — сказал он, — тоже погиб где-то на шнёке.

Полтора Семена сидел все время, забившись в угол. Густая тень скрывала его от нас. Все даже вздрогнули, когда из темноты раздался его голос.

— А у нас в деревне, — пробасил он, — один, некто Федорчук, в озере стал тонуть, а другой, некто Федосеев, протянул ему оглоблю, да не рассчитал и цоп по голове. Федорчук-то не утонул, но от оглобли повредился. Так что вышло одно на одно.

Он замолк. Все помолчали, потом Донейко сказал очень ласковым голосом:

— Зачем ты скрываешь правду и даже выдумал какого-то Федорчука? Ведь это тебя оглоблей стукнули по голове.

Фегюкович тихонько прыснул в кулак, Полтора Семена удивился ужасно,

— Меня? — спросил он. — Почему меня? Я в это время вовсе овец пас.

Свистунов безнадежно махнул рукой.

— Тонул в озере, может, и Федорчук, — сказал он, — а оглоблей тебя стукнули. Это уж сразу видно.

По-моему, Полтора Семена в самом деле усомнился, не его ли треснули по голове.

— Как же так? — протянул он неуверенным тоном. — Я же в это время овец пас.

Вероятно, полемика продолжалась бы еще долго, но капитан поднял руку. Мы замолчали. Стало ясно слышно, что кто-то идет по коридору. Овчаренко открыл дверь. В каюту вошел Балбуцкий.

— Николай Николаевич, — сказал он. — Ветер переменялся.

— Откуда? — спросил капитан.

— Наискосок в корму.

Капитан встал, надел фуражку и вышел. За ним зашагал Балбуцкий. Когда открылась дверь на палубу, мы услышали резкий свист ветра. Дверь закрылась, и снова была тишина. Я перевернул подушку не нагретой еще стороной. Мне было очень приятно и спокойно лежать. Я только боялся заснуть. В то время я еще не понимал, какое может иметь ко мне отношение перемена ветра. Понять это мне пришлось очень скоро.

Глава XXVIII

ВЕТЕР ПЕРЕМЕНИЛСЯ

Пока ветер дул с востока, мы были защищены от него высокими плечами острова Старовер. Если бы ветер не менялся, мы могли бы спокойно ожидать помощи. Но ветер менялся постепенно и неуклонно. Он шел по часовой стрелке — из северо-восточного превратился в восточный и из восточного — в южный. Поэтому сначала, когда мы сели на банку, мы не были полностью защищены от него. Он дул с северо-востока, и Старовер, находившийся от нас прямо на восток, только смягчал его силу. Когда я ходил в камбуз, мне казалось, что ветер совсем стих. В это время он дул с востока, и Старовер принимал на себя всю его силу. Поэтому теперь Старовер оказывался

в стороне и защищал нас все меньше и меньше. Сейчас еще Ведьма смягчала удар, но скоро, когда ветер подует с юга, полузатопленное судно окажется без всякой защиты, под прямым напором ветра.

Я, повторяю, в то время не понимал всего этого. Мне было тепло и удобно; и какое мне было дело, что где-то за крепкими железными бортами меняется ветер. Понимали ли это сидевшие внизу мои товарищи? Понимали, конечно. Теперь, вспоминая эти часы, я вижу, что поняли сразу же, но не показали виду, и никто, казалось, не обратил внимания на поспешный уход капитана. Разговор продолжался, как будто ничего не случилось.

— А много вам приходилось встречаться с купцами? — спросил Овчаренко.

— Да приходилось, — сказал Свистунов. — Я, правда, года с четырнадцатого или с пятнадцатого, когда у нас появились тральщики, пошел в матросы. Ну да ведь раньше были судовладельцы. Все равно те же купцы. Вы видели прежние тральщики?

— Нет, — сказал Овчаренко. — Не видел.

— Комедия! Маленькие, как боты. Общий кубрик поменьше этой каюты. Тут и столовая и восемь коек, чтобы спать по очереди. Тральщик сам деревянный, пузатый; грязница — ужас. Особенно тараканы нас донимали. Трудно поверить, сколько тараканов ползало. А судовладелец был, он же и капитан, некто Лощинин. На редкость жестокий был человек, но, правда сказать, и себя не жалел. Крепыш, такой коренастый, ростом, пожалуй, с Балбуцкого, а плечи необъятные. Был пьяница, но не пьянел. В рейсе две бутылки в день осушал — и хоть бы что. Боялись его у нас ужасно. Чуть что не по его, он так трахнет — только держись. Говорят, не знаю, правда ли, он одного насмерть зашиб и потом за большие деньги от суда откупился.

— Это верно, — вмешался кок, — я тоже слышал.

— Да ты же знаешь, — сказал Свистунов, — Лощинин Иван. А тральщик назывался «Наживка». У нас еще служил матрос один, Синяков, тоже страшной силищи был человек. Вот он один только и не боялся Лощинина. И странное дело, другой только пикнет — уж тут целый скандал, а от Синякова всё терпел. Мы, бывало, спрашиваем: «Как это ты, Синяков, не боишься?» А он говорит:

«Подумаешь, я бы захотел — сам хозяином стал. Мне только противно». Пил тоже здорово этот Синяков. На этой почве у них, между прочим, с Лощининым история вышла. Однажды нам в рейс идти, а Синяков на борт пьяный пришел. Лощинин, как увидел, обозлился. «Сейчас же, говорит, раздевайся и в воду. Купайся, пока не протрезвеешь». Что будешь делать? Мы стоим, слово сказать боимся. А дело было ночью, не то в марте, не то в апреле. Луна светит, и на воде льдинки плавают. Синяков разделся, вещички сложил и по всем правилам с борта в воду. Лощинин на мостике стоит, трубку курит, поглядывает. «Ну ладно, говорит, вылезай, довольно». А Синяков ему кричит: «Что-то не хочется мне вылезать, я еще на льдинке погреюсь». Вылез он на льдинку и лежит на белом льду, голый, под луной, загорает, как тюлень. Тут уж Лощинин испугался. Все-таки он понимал, что мы сейчас хоть и молчим, боимся, а уж на суде-то молчать не станем. А дело все-таки такое, что могло ему дорого обойтись. «Синяков, говорит, вылезай». — «Да нет, — отвечает Синяков, — чего мне, Иван Тимофеевич, на судно лезть, мне здесь лучше». Лощинин замолчал, зашагал по мостику — трубкой дымит. А Синяков плещется в воде. Молчал Лощинин, молчал, но, видно, ему невтерпеж стало. Пошел он к борту и уж совсем другим тоном говорит: «Прошу я тебя, Синяков, вылезай, пожалуйста». — «Да что ж, — говорит Синяков, — пожалуй, вылезти можно. Два стакана коньяку дадите?» — «Дам». — «И будить не будете, пока не просплюсь?» — «Не буду». — «Эх, — говорит Синяков, — поплавал бы еще, да коньячку хочется». Взял конец и вылез. Он совсем синий вылез, выпил коньяк залпом, пошел в кубрик, повалялся и сутки проспал. За весь рейс Лощинин с ним двух слов не сказал, а когда пришли в порт, позвал его и говорит: «Уходи ты от меня, Синяков. Нельзя нам с тобой на одном судне находиться». Синяков вещички собрал, рукою помахал и ушел.

— Да, — сказал кок, когда Свистунов откинулся назад и закурил, показывая этим, что рассказ кончен. — Этот Лощинин был отчаянный тип. Он, между прочим, интересно разбогател. Тут у нас ходили из Архангельска в Кандалакшу два парохода, одинаковой постройки: «Царь» и «Царица». И капитаны этих пароходов были

отчаянные враги. Вечно у них между собой были какие-то недовольства. Вот наконец встретились эти два парохода в море. А капитан на «Царице» был, надо заметить, совершенно, вдребезги пьян. Вот он начинает с мостика в мегафон честить «Царя». «Царь» тоже в долгу не остается, и идет ругань на все Бело море. Наконец капитан «Царицы» дает команду, и «Царица» со всего маха наддаёт «Царю» в бок. «Царь», конечно, охнул и стал тонуть. Тут на «Царице» команда опомнилась, связали капитана и стали спасать кого можно. А между прочим, этот Лощинин был в то время самым что ни на есть мелким промышленником, имел две шнёки, сдавал их в аренду и никаким случаем не брезгал. Ехал он в третьем классе, стоял у борта и помогал пассажирам с «Царя» переползать на «Царицу». А на «Царе» ехал один богатейший купец и вез в чемодане деньги из банка, чтобы скупать рыбу. Ехал он в первом классе, в каюте с семьей. Ему бы семью спасать, а он на первый случай занялся чемоданом с деньгами. Вынес и просит: «Примите, пожалуйста, на «Царице». Лощинин тут подвернулся, принял чемоданчик, а купец побежал за семьей. Только пока он бежал, «Царь» пошел ко дну, а чемодан у Лощинина остался. Правда, кое-кто видел, но доказать было нельзя. Только слухи ходили. А Лощинину, извините, плевать на слухи. Он с этого чемодана сразу и разбогател.

Кок покрутил усы и замолк. Матросы обсуждали странную историю богатства Лощинина, крепкий характер упрямого шутника Синякова, нравы, которые были, но в которые трудно поверить. Я наслаждался на верхней койке теплом и покоем, и мне даже не очень хотелось спать. Я свесил голову с койки, чтобы спросить, который час, и чуть не свалился вниз. Койка дрогнула подо мной, с потушенного примуса свалилась сковорода. Я увидел, как резко качнулась висячая керосиновая лампа и черные тени заскакали по стенкам, по койкам, по лицам. Дверь распахнулась, все обернулись, но за дверью никого не было. Овчаренко захлопнул дверь. Все молча прислушивались и ждали. Но лампа, покачавшись, успокоилась, и тени снова лежали неподвижно.

— Да,— сказал Овчаренко, продолжая разговор.— Иногда интересно послушать о прежних хозяевах. Много было из них диких и странных людей.

— Простите,— спросил я, свесившись с койки,— это что же — судно волной двинуло?

Все повернулись ко мне, и на лицах моих товарищей я прочел недовольство. Казалось, они хотели бы не слышать моего вопроса. Мельком взглянув на меня, они отвернулись, и только Овчаренко задержал на мне пристальный взгляд.

— Вы о чем? — спросил он. — Вы о толчке? Волной, конечно. Сейчас еще ничего. Потом толчки посильнее будут. Без этого на банке нельзя.

Он нарочно не сказал, что это, мол, безопасно, что это ничем не угрожает, что, пока волны сбросят судно с банки, нас наверняка снимут. Он не говорил всего этого для того, чтобы я не подумал, что он меня успокаивает. Он сказал безразличную фразу, чтоб я подумал: вот человек, понимающий больше меня, не придает этому толчку никакого значения — значит, и в самом деле все в порядке.

— Оно и лучше,— сказал я,— а то без толчков как будто и не на море.

Это была наивная хвастливая фраза. Конечно, она не могла заставить Овчаренко подумать, что я поверил ему и совершенно ничего не боюсь. Но она говорила нечто другое и, может быть, более важное: Слюсарев понял, говорила она, что опасность есть, но так как помочь ничем все равно нельзя, лучше поддержать видимость благополучия. Лучше каждому делать вид, что он не понимает и не знает опасности или по крайней мере не хочет, чтобы другие знали о ней. Это дисциплинирует всех и его, Слюсарева, в первую очередь. Я как бы примкнул к соглашению, существовавшему уже раньше между всеми находившимися на судне.

Я так подробно излагаю внутреннее содержание короткого и как будто малозначительного разговора между мною и Овчаренко потому, что понимание не только этого, но и многих других разговоров, происшедших за время шторма, сыграло немалую роль в формировании моего характера. Разумеется, многое, в том числе и этот разговор, я понял значительно позже, но чувствовал, и чувствовал верно, я его уже и тогда.

— Сейчас,— сказал кок, возвращаясь опять к разговору о хозяевах,— как будто и пугаль вся прошла у паро-

да. А в прежнее время у такого хозяина все как под гипнозом ходили.

— А у нас в селе,— вмешался вдруг Полтора Семёна,— один на базаре всех кур загипнотизировал.

— Это как же так?—удивился Свистунов.— Что же— он их отучал курить, что ли?

— Какое там отучал курить. Просто приехал фокусник; вроде цирка — сеансы гипноза. Вечером, скажем, назначен спектакль, а днем выходит он на базар, проходит по куриному ряду и подряд всех кур щупает. И вот какую куру он в руки возьмет, та лежит как мертвая и даже затвердевает. Тут за него, конечно, взялись хозяйки. Пока его там милиция отбивала, он все кричал: «Темнота! Темнота! Это же реклама. Что вы, с ума сошли?» Но только реклама эта оказалась ни к чему. Бабы его так отколошматили, что концерт пришлось отменить, а его забинтовали и в район увезли.

— Вместо «ура», значит, пришлось «караул» кричать,— сказал Свистунов.

— Это вроде нашего кассира,— вмешался Донеёво,— помните, лет пять тому назад пожар был на электростанции, а он тогда там работал. И касса была в пятом этаже. Так вот, на лестницах уже огонь показался, пройти-то еще было можно, но он с испугу не разобрал и в окно полез. Вот он вылез в окно, сорвался, и, к счастью, его каким-то крюком за штаны зацепило. Висит он вниз головой и так растерялся, что хотел закричать «караул», а по ошибке начал орать «ура». Толпа внизу стоит и удивляется: висит человек вниз головой, на высоте пятого этажа, подвешенный за штаны, руками двигает и во весь голос кричит «ура».

Еще не зatih смех, вызванный этим рассказом, как в каюту вошел капитан.

— О чем речь? — спросил он, вытирая платком мокрое лицо.

— Да вот про пожар на электростанции рассказываем, про то, как кассир по ошибке «ура» кричал.

— А,— усмехнулся капитан,— знаю.

Он сел на койку. Была длинная пауза, потом Свистунов между прочим спросил:

— Как там наверху, Николай Николаевич?

Кок в это время разжигал примус, чтобы согреть чай

для засольщика и Балбуцкого. Я видел его скорченную фигуру и руку, быстро качавшую насос. Я видел согнутую спину Фетюковича, снова подсевшего к радиоприемнику и старательно крутившего регуляторы. Свесив голову, я видел всех остальных, сидевших в небрежных позах, но в этой небрежности, в безразличной, казалось, спине Фетюковича, в скорченной фигуре увлеченного своим делом кока я чувствовал напряженное, нетерпеливое внимание.

— Да ничего,— сказал капитан,— задувает с кормы.

Чайник сорвался с примуса, и кок еле успел подхватить его одной рукой, другой придерживая примус. Лампа качнулась, и тени опять запрыгали по каюте. Даже здесь было слышно, как загремело на палубе. Судно сдвинулось. Мы это ясно чувствовали. Казалось, мы слышали скрежет железной обшивки о камень. Судно сдвинулось и снова застряло между камнями, спрятанными где-то под водой. Лампа, качнувшись, остановилась. Тени снова застыли в углах каюты, и кок снова поставил чайник на примус.

— Задувает с кормы,— повторил капитан.— Волна хлещет порядочная, но банка нам попала на удивление. Прямо как кресло.— Он передернул плечами.— Холодовато там только,—сказал он.— Засольщик, бедняга, совсем замерз. «Суточки, говорит, суточки. Субку бы, тогда еще ницево, а так парсиво».

Все рассмеялись. Капитан очень здорово передразнивал засольщика.

— Странное дело,— сказал Овчаренко.— Человек не произносит нескольких букв. Казалось бы, избегай их. Так нет. Как нарочно. Что ни слово, то «ш», то «щ», то «ч».

Донейко и Свистунов переглянулись и прыснули. Овчаренко внимательно посмотрел на них. У обоих стали сразу невинные и серьезные лица.

— Донейко! — сказал Овчаренко.

— Да, Платон Никифорович!

— Расскажите-ка, в чем тут дело?.. Ну, ну, не ломайтесь, рассказывайте.

Донейко и Свистунов снова переглянулись. Оба делали вид, что пойманы и стараются ускользнуть, но, по-моему, обоим самим хотелось рассказать.

— Да знаете,— смущенно начал Донейко,— тут он нам как-то пожаловался, что никак не соберется зубы

вставить и поэтому плохо говорит. Ну мы ему и объяснили, что зубы вставлять даже не к чему, а есть более простой способ. Если постоянно говорить слова с буквами, которые не удаются, то привыкаешь и постепенно начинаешь говорить правильно. Ну вот он и начал...

Смеялись все. Басом хохотал Полтора Семена. Сами Донейко и Свистунов с трудом сдерживали смех. Кок трясся у примуса, дрожала спина Фегюковича, я смеялся у себя на верхней койке, и даже Овчаренко и капитан напрасно старались напустить строгость на лица, и рты у них то и дело расплывались в улыбку.

— И знаете,— продолжал Донейко,— он нас все спрашивал: «Ну как, ребята, лучше?» А мы говорим: «Заметно лучше. Трудись, не унывай».

— Нехорошо,— сказал Овчаренко, осилив улыбку.— Можно ли так издеваться над человеком!

— Конечно, нехорошо,— согласился Донейко.— Да ведь что делать. Бывает, никак не удержишься.

Кок уже надевал брезентовый плащ. Донейко встал и тоже стал собираться. Шумел примус, но, когда открылась дверь, вой ветра заглушил его шум. Может быть, ветер выл не так уж громко, но мы прислушивались к нему, и его вой, казалось нам, заглушал даже более громкие звуки. Дверь закрылась, и в наступившей тишине вдруг пробасил Полтора Семена:

— А я однажды в опере выступал.

Все повернулись к нему.

— В опере? — ласково спросил Свистунов.— Наверное, в декорации колонну изображал?

— Какую колонну? — обиделся Полтора Семена.— Я мертвого князя играл.

— А ну, Расскажи, Расскажи.

Все подвинулись и глядели на него нарочито внимательными, выжидающими глазами.

— Я только пришел из деревни,— начал Полтора Семена,— и на тральщики тогда не набирали. Надо было ждать месяц, а тут слышно стало, что приехал оперный театр и набирает статистов. Ну, я пошел — нанялся. Как раз ставили оперу «Демон» композитора Рубинштейна. И в этой опере убивают одного князя. Его накрывают буркой, выносят на сцену, и над ним плачет невеста, по имени Тамара. И всегда под бурку просто набивали

тряпье, будто труп, а тут увидел меня режиссер и говорит: «Кладите его скорей на носилки. Такого верзилу вам все равно из тряпья не сделать». Ну, хорошо, лег я на носилки, накрыли меня буркой и вынесли на сцену. Я лежу и не шевелюсь. Вот вышла моя невеста, упала на колени, голову положила на бурку и начала рыдать. И вдруг от истерики кулаками по бурке как заколотит, а в бурке в этой пылищи было, наверное, пуда два, и вся эта пылища прямо мне в нос. Я терпел, терпел, да как чихну — и пошел, и пошел, ну никак не остановиться. В публике смеются, хлопают, а я все чихаю. Невеста моя обалдела и даже перестала рыдать. Ну что ж, дали занавес и меня черным ходом вывели из театра. А то тебя, говорят, артисты на куски разорвут. На том дело и кончилось.

Балбучкий и засольщик, вернувшись с вахты, застали нас еще смеющимися над чихающим мертвецом. Видимо, они действительно здорово замерзли, потому что даже не спросили, над чем мы смеемся. Сняв плащ, они налили себе по кружке чая и стали пить, обжигаясь и дуя.

Мне почему-то опять стало холодно. Я весь дрожал и сжимал зубы, чтобы они не стучали. Я съежился и натянул одеяло. Мне очень хотелось спать. Чтобы не заснуть, я поднял голову и, подперев ее ладонью, посмотрел вниз. Капитан стоял около Фетюковича. В приемнике тусклым светом горели лампы.

— Вызывают, Николай Николаевич, — сказал Фетюкович. И включил репродуктор.

— Команды «РТ 89» и «РТ 90», — заговорил в репродукторе голос. — Передаем сводку спасательных работ. Прослушайте местонахождение спасательных судов и поисковых партий.

Отчетливо и монотонно голос перечислял номера «РТ», названия судов. Мы ждали. Мы уже знали, что все, кроме одного тральщика, идут по неверному направлению. Вот наконец мы услышали об этом единственном.

— Тральщик обходит мыс и идет в направлении к Староверу и Ведьме.

— От мыса, — сказал капитан, — миль, надо считать, двадцать. Часа три, не больше. — Он свернул карту и сел на койку с таким видом, как будто и не думал о том, выдержит ли наш тральщик еще три часа.

— Подавайте сигналы,— говорил голос,— спокойно ожидайте помощи. До свиданья, через час вызовем вас опять.

Голос замолчал, передача кончилась, и Фетюкович выключил аппарат.

Каждый искал, с чего начать разговор, и не находил. Видимо, каждый думал о том, продержится ли тральщик до прихода помощи.

— Кончил? — спросил наконец Свистунов засольщика, который поставил кружку и вытер губы.

— Кончил,— сказал засольщик,— а что?

— Есть к тебе разговор.

Засольщик посмотрел на Свистунова подозрительно, но, увидя серьезное его лицо, поверил, что это не трепотня, и сел.

— Слушай.— Свистунов нахмурился и помолчал, как бы с трудом находя слова.— Понимаешь, трудновато об этом говорить, но лучше уж сказать все-таки. Ты сам понимаешь, положение у нас не скажу отчаянное, но, так сказать, угрожающее.— Хотя это была абсолютная и даже смягченная правда, все сидевшие улыбались, будто Свистунов говорил смешные и неправдоподобные вещи.— Так вот,— продолжал Свистунов,— в такую минуту товарищи, как, например, мы с тобой, должны проститься на всякий случай и, если кто в чем виноват, покаяться. Верно?

— Ну сто такое, сто такое?.. — заволновался засольщик.

Все вокруг еле сдерживали смех.

— Прости ты меня,— сказал Свистунов, делая вид, что вытирает покаянные слезы.— Обманули мы тебя с Донейкой насчет твоей шепелявости. Наука по этому поводу говорит, что повторяй ты хоть миллион раз «сутки сутис», все равно никакого толку не будет.

Тут-то и грянул смех, который так долго сдерживали. Кто откинулся назад, хохоча во все горло, кто согнулся в три погибели. Засольщик вскочил красный от злости и, сжав кулак, крикнул:

— Салопай ты парсивый! Церт...

Он спохватился, рассмеялся, махнул рукой и вдруг, отчетливо произнося все буквы, сказал уже без всякой злости:

— Анафема ты! Так людей разыгрывать. Ну да дьявол тебя забери.

Я уже сквозь сон слышал окончательное примирение Свистунова и засольщика и общий веселый разговор, начавшийся после этого. Мне стало опять жарко, дрожь прошла, усталое тело отдыхало, и глаза мои незаметно закрылись.

Проснулся я, казалось мне, от толчка. Толчок был очень сильный. Гораздо сильнее, чем предыдущие. Я мог об этом судить по тому, как долго раскачивалась лампа и прыгали тени после того, как я проснулся. Внизу было тихо. Все молчали, но в ушах моих еще звучали голоса, слышавшиеся мне сквозь сон. Видимо, пауза наступила после толчка. Тени от лампы двигались по стенам все медленнее.

— Так вот,— услышал я голос Овчаренко. Он продолжал разговор с полуфразы:— Этот приятель мой — он теперь следователь НКВД, а тогда работал в погранохране в Баку, Черноков такой, очень хороший парень,— он, значит, и решил их словить. Смотрел-смотрел — не придерешься. Уходят, а куда — неизвестно. И уж как неожиданно ни приезжал катер, как ни обыскивали шхуну — ничего не находили. Прямо все с ног посбивались. Известно, что с этой шхуны идет контрабанда, а поймать невозможно. Черноков думал-думал, даже похудел. Наконец приходит к начальнику, говорит: «Кажется, нашел, разрешите попробовать». Ладно. А в этот день шхуна как раз опять с рейса пришла. Черноков сел в катер, подходит к борту. Встречает его капитан очень любезно — пожалуйста, мол, обыскивайте, а Черноков головой качает. «Нет, говорит, спасибо, я вас обыскивать сегодня не буду, а просто хотел бы попить у вас чайку». Ну, там все удивились, но ничего — пожалуйста, чайку так чайку. Сел Черноков в каюту, пьет чай, с капитаном беседует, а на палубе его сотрудники дожидаются. Час проходит — пьет чай. Два проходит — пьет чай. И видит, что капитан начинает нервничать. «Ага, думает, значит, верно попал». Проходит три часа, капитан говорит: «Простите, мне надо по делу съездить». — «Пожалуйста,— говорит Черноков,— езжайте. Я здесь посижу с вашими товарищами». Капитан не уезжает. Еще час проходит — капитан говорит: «Мне, говорит, надо команду на берег отпустить и самому

ехать, так что извините». Тогда Черноков смотрит ему в глаза и говорит: «Я с вашей шхуны не уеду и вам запрещаю уезжать». Сидят они еще час молча, и вот через час начинают всплывать из воды какие-то бидоны. Быловили их, вскрыли, а они набиты разной контрабандой. Оказывается, шхуна в море с персидского судна получала товар в запаянных бидонах. Как только видят, что катер идет с пограничниками, они к каждому бидону привязывают по мешку с солью — и в воду. Соль тяжелая, тянет бидон на дно. Пограничники поднимаются на шхуну, час ищут, два ищут, а шхуна маленькая — сколько надо, чтобы ее обыскать? Самое большее три часа. Значит, часа через три пограничники уезжают. А еще часа через два соль в мешке растает, и бидон поднимается на поверхность. Черноков за то, что догадался, получил от командования благодарность.

Голос Овчаренко и другие голоса, говорившие с ним, доносились до меня все глуше и глуше. Я уже не мог разобрать слов. Казалось, я уплывал куда-то от них. Меня тихо покачивало и уносило. Вздохнув, я закрыл глаза.

Глава XXIX

МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВАХТА

Я приближался и удалялся снова от разговаривающих внизу, и голоса их звучали то тише, то громче. Порою я слышал только неясный гул, порою до меня отчетливо доносились слова, фразы, целые обрывки разговора. Мне трудно было отличить сон от яви. Не знаю, снилось мне или я действительно слышал отчетливый голос из репродуктора, говоривший: «Подавайте сигналы, спокойно ожидайте помощи, до свиданья, через час вызовем вас опять». Как в тумане, сквозь полуопущенные веки видел я капитана, склонившегося над картой, и снова меня унесло далеко-далеко и тихо покачивало, и издали доносились до меня приглушенные голоса. Все время внизу неторопливая шла беседа, моряки рассказывали друг другу истории грустные и веселые, случившиеся вот здесь, на каменных берегах, или на пустынном холодном море. Сквозь сон обрывками до меня доходили некоторые из этих историй, но я не запомнил их, потому что внимание мое на них не за-

держивалось. Отдельные образы проносились в моем мозгу. Я видел каких-то людей, шагавших по открытому отливом морскому дну, ищущих устриц и водорослей, чтобы не умереть с голоду, длиннорылых моряков, воюющих с волной на крошечном деревянном суденышке, залитые электричеством здания на берегах прекрасных и диких заливов и много еще отрывочных, не связанных друг с другом картин. Чудилось мне, что судно все чаще и чаще, все сильнее и сильнее вздрагивает от ветра, и казалось — я отчетливо слышал громкие удары волн, разбиравшихся на палубе. Потом над самым ухом услышал я отчетливый голос, сказавший: «Спит». С трудом приподняв веки, я увидел голову Свистунова. Она опустилась и исчезла, и я понял, что он заглядывал мне в лицо — проверял, сплю ли я. Я с трудом прогнал одурь, не позволявшую мне шевельнуться.

— Спит, как младенец, — повторил Свистунов уже внизу.

Я не расслышал, что ему ответили, потому что думал о другом. Сейчас, въявь, я заново ощущал приснившееся мне раньше. Койка непрерывно дрожала подо мной, и глухие удары волн, разбивающихся на палубе, действительно были слышны в каюте. Много изменилось за время моего сна. Борта судна уже не казались теперь несокрушимым оплотом против ветра и волн. Они дрожали и вибрировали, и толчки, такие редкие раньше, ритмически повторялись каждые несколько секунд.

— Ничего, ничего, вырастет — моряком будет, — услышал я голос Свистунова. — Сколько ему? Лет восемнадцать? Не больше? Вырос он не на море, а держится ничего. Языком не болтает, не хвастает и, если что скажешь, старается запомнить. Из таких моряки как раз и выходят.

— Да, — сказал Донеико (он, значит, уже сменился с вахты), — повезло же ему для первого рейса: другой всю жизнь проплавает, а такого и не увидит.

— Ну и что же, — вмешался кок. — Ему же и лучше. По крайней мере, всё ясно. Такой рейс выдержал — значит, моряк. А нет, так езжай обратно.

Нетрудно было догадаться, что речь идет обо мне. Я понимал совершенно ясно, что мне следует каким-нибудь образом помешать разговору, но я уже услышал так много лестного, что было бы ужасно неловко и мне и им,

если бы я сказал, что не сплю. Я лежал, боясь шевельнуться, и краснел, как мальчик, которого хвалят чужие люди. Разговор между тем продолжался.

— Потеха была,— сказал Свистунов,— когда мы его тогда с койки подняли и поставили рыбу подавать. Я, между прочим, даже пожалел. Чего, думаю, издеваться над парнем, да Мацейс натрепался с хлебом, а уж раз съел — такой обычай. Ничего не попишешь.

— Ну и что,— подал реплику Полтора Семена,— он вам нос и натянул. Вы небось думали — он заплачет.

— Думал, что заплачет,— ответил Свистунов.— То есть не то что заплачет, а в обморок упадет. Или скажет, что сердце болит, и побежит за каплями к штурману. А может, и действительно с ним дурнота случится. Все время работаю и на него поглядываю. Вижу: плохо приходится. Нет, ничего, стоит. Ну, думаю, и упрямый же черт. Весь белый, губы синие, а работает.

— Да, да,— сказал Балбуцкий,— я уже даже шутку придумал. Если, думаю, в обморок упадет, я под него краба пушу. Как краб его схватит, а он как завизжит — вот будет потеха.

— Ну и что,— буркнул опять Полтора Семена,— пустил краба? Да? Накось, выкуси.

— Нет,— честно сказал Балбуцкий.— Извините, ошибся. Парень оказался без липы.

Удивительно приятно мне было их слушать. И даже не потому, что меня хвалили, хотя, по-моему, каждому приятно, когда его хвалят и он знает, что хвалят искренне. Но главное было не это. Мне было очень приятно узнать, что в те тяжелые для меня минуты, когда я стоял по колено в воде и слышал монотонный стук ножей и крики: «Рыбы! Рыбы! Рыбы!» — что в эти минуты на меня смотрели не равнодушные, а внимательные глаза. Что страшные усилия, которые я прилагал, чтобы не сдать, были всеми одобрены и поставлены мне в заслугу. За сегодняшнее признание я даже простил Балбуцкому его замысел насчет краба.

— А то, знаете, бывает,— сказал Донеико,— придет такой пистолет и начинает вола вертеть: «Я, мол, уже плавал, и качки я не боюсь, и работа эта мне пустяки». Все ему хочется как-нибудь героизм свой показать. К нам на 27-й один такой заявился. Пока шли до промысла, он

нам такого набрехал, что у нас прямо дух занялся. Черт сго знает, думаем, может, он вправду знаменитость какая морская. Как начали промышлять, так его и море бить стало. Лежит пластом, не ест, не пьет, не работает. «Если б, говорит, меня море не било, я бы вам показал». Пробовали мы эту шугку с хлебом. «Нет, говорит, уберите хлеб, мне на него смотреть противно». Так бы он весь рейс и провалился, только его однажды ночью кок в камбузе застукал. Он, оказывается, каждую ночь, пока кок спал, пролезал в камбуз и нажирался. Капитан как узнал — обозлился. К чертям, говорит, в пассажиры четвертого класса, в трюм. Туда его и списали.

— Бывает,— согласился Овчаренко.— Трепачи по всему свету водятся. А насчет Слюсарева я согласен. Мне он тоже нравится. Когда случилась эта история с Мацейсом и Шкебиным, он, во-первых, сумел их все-таки выследить, и не его вина, что немного поздно; во-вторых,— простите, товарищи,— когда вы на него наседали и требовали, чтобы он вам рассказал, что и как, уверяю вас, ему было нелегко. И я думаю, вы сами теперь согласитесь, что поступал он правильно.

Все засмеялись.

— Глушили парня здорово,— пробасил Полтора Семена.

— Да,— сказал Донеико.— Налегли мы тогда на него. Прямо так навалились, что лучше не надо. А как он стоял, Свистунов, помнишь? Красный, растерянный, врать-то он, по совести говоря, не умеет, по виду его и осел бы понял, что что-то неладно, а молчит. С характером. Товарищей потерять всякому страшно, а такому мальчишке особенно. Наверное, уж ему представлялось, что никто с ним не говорит и все его презирают. Я и не спорю. Он молодец, что смолчал.

— Вы скажите,— настаивал Овчаренко,— правы были вы, когда к нему приставали?

— Да знаете,— Донеико замялся,— пожалуй, что и не правы. Только очень уж любопытно было.

Все засмеялись, но смех сразу же оборвался. Вошел капитан.

— О чем беседуете? — спросил он.

— О Слюсареве.

— А он спит?

— Спит.

— Ничего парнишка,— сказал капитан.— Когда вы брасывались на банку, я его спрашиваю: «Бойтесь?» А он мне и отвечает: «Боюсь». Я даже растерялся. «А держаться, говорю, будете?» — «Буду». Это мне понравилось.

Тральщик задрожал сильнее. Он двинулся. Я это точно почувствовал. Он двинулся так сильно, что я ухватился за край койки. Снова замерло судно, и только мелко дрожью дрожали перегородки. Понимая, что движение мое было видно снизу, я привстал, как будто только проснулся, и свесил ноги вниз, кулаком протирая глаза.

— Проснулся? — спросил Свистунов.— А мы уж решили, что ты там умер.

Вероятно, оттого, что я долго лежал неподвижно, у меня немного кружилась голова и горело лицо, и удивительную слабость чувствовал я в руках и в ногах.

— Вахту не проспал? — спросил я нарочито сонным голосом.

— Проспал бы, так разбудили б,— сказал Дoneyко.

Я слез с койки, ноги у меня подогнулись, и я сразу сел, чтобы скрыть охватившую меня слабость.

— Придется вам нас немного пораньше сменить,— сказал капитан,— чтоб Фетюкович не пропустил передачу.

Мы с Овчаренко оделись и пошли на вахту. В коридоре было темно. Когда Овчаренко зажег спичку, я увидел, что около двери на палубу тихо плескалась черная вода. Я не предполагал, что за время моего сна она зашла так далеко. Зыбь побежала по воде, когда Овчаренко открыл дверь. Снег ворвался в коридор, снежинки ринулись на нас, как будто они ждали, сидя в засаде.

— Опять пурга,— сказал Овчаренко.

Палуба была уже вся под водой. Из воды торчали только полубак и надстройка. Я стоял, ожидая, пока Овчаренко поднимется по трапу, когда увидел за надстройкой огромную водяную стену. Она рухнула, разбившись о рулевую рубку, долетела до полубака и притиснула меня к стене с такой силой, что мне казалось — я буду сейчас расплюсчен. Ухватившись за ступеньку трапа, я стоял не дыша, ожидая, пока вода схлынет. Она схлынула с шумом, и сквозь этот шум я с трудом услышал крик: «Слюсарев, Слюсарев!» Я поднял голову. Это кричал Овчаренко. Перегнувшись через поручни, он звал меня.

Слабость моя не проходила. Страшное усилие нужно было мне сделать, чтобы заставить себя ползть по скользким крутым ступенькам. Овчаренко мне подал руку. Я влез на полубак, и было самое время, потому что снова рухнула водяная стена. Волна промчалась над рубкой, и гребень ее ринулся на полубак и с ног до головы окатил нас водой. Вцепившись в поручни, я опять не дышал, но вот волна схлынула, снег с яростью колос мне лицо, капитан что-то кричал нам, но мы не разбирали слов и только видели — он указывает пальцем на надстройку.

Страшно жалкой казалась надстройка, удивительный домик, выросший из ревающего моря.

— Труба,— долетел до меня голос капитана.

Я тогда только заметил, что за рулевой рубкой больше не было судовой трубы. Фетюкович спустился вниз по трапу. Я пошел к борту, туда, где полагалось стоять вахтенному. Стало тише. Мелкие волны бились о тральщик, и еще далеко был идущий на нас гигантский вал. В тишине бесконечным потоком мчались снежинки, били в лицо, кружились, проносились дальше, таяли на палубе. Но мне было тепло. Мне было даже жарко. У меня горело лицо, и вода, струйкой лившаяся по спине, мне совсем не казалась холодной. Рухнул и этот вал и опять окатил нас всех и прошел дальше, как гигант, не заметивший, что затоптал пигмея. Капитан ушел вниз, и мы остались с Овчаренко вдвоем.

Берега за снегом совсем не было видно. Только миллионы снежинок мчались там, где, я знал, тянется каменная гряда. И за кормой и перед носом судна был тот же белый снег без конца, точно белая матовая стена. А направо из этого белого хаоса выделялись ясно и отчетливо два черных камня, два острова, две скалы. Старовер поднимал над снегом свои широкие плечи, как будто гордясь своей несокрушимостью. Горбатая черная остроносая Ведьма задыхалась от смеха, прикрывшись белым снежным плащом. Минута шла за минутой. Я был уже весь мокр и не боялся волны. В нескольких шагах от меня Овчаренко мерно шагал по полубаку и брался за поручни каждый раз, когда находила волна. Я вспоминал рейс, катастрофу, шторм, моих товарищей.

«Положение у нас совсем паршивое,— думал я,— и, наверное, у Донеико, и у Свистунова, и у кока, и даже

у капитана сердце замирает каждый раз, как находит большой вал и тральщик вздрагивает на банке. А так, по виду, совсем ничего не скажешь. Будто они не боятся. Вот мне, например, очень страшно, я очень боюсь. Что меня удерживает от того, чтобы закричать, закрыть глаза, вообще сделать то, что я естественно должен был бы сделать. Стыд? Стыд перед товарищами, которые подумают, что я трус? Но ведь, конечно, все они понимают, что я боюсь, и сами они боятся, и ничего в этом, в сущности, стыдного нет. Что ж, нам радоваться тому, что помрем, что ли? Что касается капитана и Овчаренко — понятно. Он помполит, он обязан держать политико-моральное состояние на высоком уровне. Значит, он, естественно, делает вид, что ему не страшно, что опасности нет, что вообще волноваться нечего. Ну, а остальные? Рядовые матросы, засольщик, повар?» Я очень долго думал об этом. Мысли мои то двигались медленно и трудно, то вдруг начинали мчаться, обгоняя друг друга, так что я терял нить.

«Это,— думал я,— особая совершенно выучка. Вот, скажем, Донеико или Свистунов. С каждым из них бывало, что помполит или капитан посвящал его одного в какое-нибудь мероприятие и говорил: надо, мол, провести на твою ответственность. И вот в этот момент каждый из них уже чувствовал себя как бы вторым помполитом. Он в этом определенном вопросе как бы отвечал за мысли команды. И это впитывается в кровь. Полтора Семена, например, наверное, никогда не получал каких-нибудь специальных заданий от Студенцова или Овчаренко, но все равно у него уже воспринято от товарищей чувство ответственности за состояние команды. В условиях катастрофы, в условиях опасности, естественно, оно обостряется. Как бы там кто ни боялся, он все равно больше всего боится других напугать. Он будет скрывать от других свои мысли и делать вид, что все совершенно благополучно, как будто он помполит. Десять помполитов, десять воспитателей и ни одного воспитываемого».

Мне показалась страшно смешной эта мысль. Кутаясь в плащ, я смеялся, шурясь от снега, а потом перестал смеяться и подумал, что, в сущности, здесь нет ничего смешного, а только хорошее, потому что благодаря этому сохраняется такое спокойствие и такой порядок, и каждо-

му легче, потому что он не распускается, не поддается панике, отвлекается от тяжелых мыслей. Я представил себе моих товарищей, сидящих в каюте внизу, под моими ногами, и мне стало очень весело и хорошо, и захотелось сказать им, как я их уважаю и ценю и как прошу их быть мне на всю жизнь друзьями.

Ох, как мне было жарко! Я даже расстегнул воротник плаща. Мне просто казалось странным, какой горячий снег и какая в Баренцевом море горячая вода.

Я вспомнил, как я лежал на койке, а они внизу разговаривали обо мне. Я знал их достаточно, всегда говорящих в шутку, всегда избегающих всяческих излишних. Я знал их достаточно, для того чтобы понять, как много значило то небольшое, что они сказали обо мне. Если б сейчас все было спокойно и мы бы опять плавали и ловили рыбу, я бы очень старался им сделать что только можно приятное. Я бы не дразнил Балбуцкого, потому что он очень хороший парень, и все они очень хорошие парни, и вообще все замечательно.

Мне стало еще жарче оттого, что я покраснел, вспомнив слова, сказанные когда-то мною об Овчаренко, которого било море. У меня стало очень тоскливо на душе. Чувство моей вины воскресло с удивительной силой. Я обернулся. Овчаренко стоял у борта, и я видел только его спину в плаще и капюшон, накинутый на голову.

Что, если когда-нибудь кто-нибудь расскажет ему об этом! Сейчас мне казалось, что я совершил по отношению к нему ужасную подлость. Если он узнает об этом, он просто перестанет со мною здороваться.

«Надо сказать самому,—решил я.— Надо сказать самому, пока не поздно». Боясь быть застигнутым волной, я пошел к нему вдоль борта, не выпуская поручней из рук.

— Платон Никифорович! — крикнул я ему. Он обернулся.— Платон Никифорович! — кричал я.— Я слышал сегодня ваш разговор обо мне. Я не спал. Я только притворялся спящим.

Он молча смотрел, он не знал, что мне ответить.

— Вы знаете,—заорал я снова,— я хочу вам сказать. Я тут когда-то смеялся и трепал языком насчет того, что вас бьет море и все такое. Мне ужасно неприятно сейчас. Я просто дурак. Вы на меня не сердитесь?

Волна нахлынула на нас, и мы оба съежились, и она нас тащила за собой, а мы держались изо всех сил, и она ушла, а мы остались.

Ветер свистел, и крутился снег, и за белую пеленой высились плечи Старовера, и издевалась и хохотала Ведьма, кутаясь в снежный плащ.

— Ерунда! — заорал Овчаренко. — Ерунда, Слюсарев! Мало ли что бывает. Вы держитесь, мы еще с вами поплаваем.

Он засмеялся, и я засмеялся тоже и пошел обратно к себе, к другому борту, и у меня было замечательное настроение, и мне было даже приятно, что меня окатывает волна и что мне трудно держаться, потому что я себя чувствовал очень уверенным и сильным и совершенно ничего не боялся.

Странное было у меня состояние. Только что мне было хорошо, а сейчас хорошее настроение прошло, и мне стало очень тоскливо, и мой разговор с Овчаренко представился мне совсем в другом свете.

«Глупо, — думал я. — Удивительно глупо. Как институтка. Сразу видно, что сопляк и мальчишка. Настоящий моряк никогда б так не сделал. Он бы просто сказал это шуточкой, и все равно Овчаренко бы понял, что это очень серьезно».

Мне было очень тоскливо. У меня подгибались ноги и руки были как ватные. Я почему-то вдруг так ослабел, что не мог стоять и повис на поручнях. Волна нахлынула на меня, и я почти ей не сопротивлялся. Она проволочила меня по палубе. Я хватался за поручни, но пальцы мои не держали их. Я увидел Овчаренко, бежавшего ко мне. Потом меня подняло и понесло. Кругом была только вода и не за что было схватиться. Я открыл глаза и увидел, что полубак, Овчаренко, поручни далеко. Я смотрел на них издали, со стороны. Вокруг меня была только холодная вода без конца. Ужас охватил меня. С удивительной ясностью почувствовал я под собою бездну и закричал громко, во всю силу, и последнее, что я помню, — это свой крик, отчаянный, жалкий, надрывающийся.

ЛИЗА НАХОДИТ ЕГЕШКО

Соскочив с кровати, Лиза откинула на окне занавеску. Блестел снег. По подоконнику, обитому кровельным железом, гремела падающая с крыши вода. Утро было на редкость солнечное и безветренное.

Это было в девятом часу утра. Кононов уже давно ушел на промысел. Антонина Евстахиевна кормила завтраком внука — мальчик собирался в школу. Потом старуха ушла в хлев доить козу, а Лиза пила чай и болтала с мальчишкой. Около девяти часов с улицы ему кричали товарищи, он перевязал ремнем свои тетрадки и книжки и ушел. Вернулась Антонина Евстахиевна, пожаловалась, что плохо спала, и побранила себя за беспокойный характер. Светило солнце, на улице галдели ребята, капало с крыш, все было привычно и спокойно.

Потом вдруг потемнело — должно быть, набежали облака. Ни Лиза, ни Антонина Евстахиевна не обратили внимания на эту внезапную темень. Лиза прибирала за шкафом свою постель и в это время услышала странный, все нарастающий гул. Прежде чем дошло до ее сознания, что на улице происходит что-то неладное, она услышала звон выбитого стекла, отчаянный крик Антонины Евстахиевны и, как ей показалось, грохот падающего стула.

Наискосок через кухню бил снег. Перебирая по стене руками, шла, вернее, ползла к окошку Антонина Евстахиевна. Снег бил наискосок, облипал ломти хлеба, лежавшие посреди стола, с шипением таял на горячей плите. Поперек всей кухни бились вместе со снегом занавески.

Лиза метнулась к окошку. Стекла валялись на полу, рама была сорвана с петель. Она прижала ее, защелкнула на крючки, скатертью, половиками забила пробойну. Трудно было разглядеть, что делается на улице. Точно все сугробы сорвались с земли и, перепутавшись с облаками, всей своей тяжестью обвалившимися на становище, рассыпались и закружились в воздухе. Кусок драного толя, сорванного с крыши, и обломок водопроводной трубы, кувыркаясь, пронеслись через улицу в снежном потоке. По улице шел человек. Он шел, и ветер валил его

с ног; падая, он не мог сразу встать и долго полз по снегу на четвереньках. В двух десятках шагов его не стало уже видно, все затянул косой, стремительно летящий снег.

— Ведь это же ураган! — сказала Лиза.

Ураган обрушился на берег ровно в десять минут одиннадцатого. Никто, ни один человек в становище не ждал такого несчастья. С шести утра боты выходили на промысел, и, когда снежный шквал валил заборы, опрокидывал людей, врвался в дома, половина рыбацкого флота была уже в море. Что происходило там, у каменистого захода в губу, где и в тихую погоду пенятся буруны, — об этом страшно было подумать. Снежный шквал настиг председателя рыболовецкого колхоза на улице в то время, когда он шел из дому на работу. Председатель, сам старый рыбак, кинулся к пристани. Он бежал и кричал, падал, полз и кричал. О чем? О помощи? Но уже нельзя было помочь тем, что ушли в море. Самым необъяснимым представлялось то, что ураган такой силы обрушился внезапно, что телеграф молчал всю ночь и штилевые сигналы до сих пор еще висели на мачте. Это было невероятно, невозможно, — метеорологическая служба, портовый надзор не могли не знать о приближении такой страшной опасности.

Из всех дворов, из всех калиток выскакивали люди, женщины и старики, которые уже не ходят промыслять рыбу. Одних прямо с крыльца ветер опрокидывал в снег, другие, широко расставляя ноги, локтем защищая лицо, шатаясь, как пьяные, бежали к пристани. Ребяту учителя заперли в классах и не выпускали из школы на улицу. Их бледные лица, прижатые к окопным стеклам, все, все до одного смотрели на пристань. Ничего нельзя было различить в стремительном снежном обвале.

У выхода в губу ветер достигал чудовищной силы. Команды ботов, которые еще не отошли от брюги, вовремя успели закрепить свои суда на якорях и соскочить на берег. Белая стена встала в нескольких десятках метров от причалов. Люди, сбежавшиеся на берег, стояли молча. Сквозь падающий снег неясно можно было различить два бота, которые пытались развернуться в нешироком устье реки. Волна сносила их в сторону прямо на камни. Потом один из ботов, развернувшись, очутился около брюги, и сразу же с десятков тросов полетело к нему

на палубу, а другой выбрался в губу, и все затянуло снегом. Четверть часа спустя этот бот выбросился на песчаную отмель. Об остальных судах еще не было никаких вестей.

Пока толпа стояла у пристани, председатель колхоза побегал на квартиру портового надзирателя. Наружная дверь была распахнута настежь, в сенях лежал снег. Председатель толкнулся в комнату. Снег летел из окошка — должно быть, и здесь все стекла выбило ветром. Только один человек был в комнате — комендант пограничной заставы. Стоя на коленях, он подбирал разлетевшиеся по всей комнате бумаги.

— Надо собрать человек пятнадцать мужчин, — сказал он, не поворачивая головы, — и обыскать все сараи. Тут скверное дело.

— Он сбежал? — ахнул председатель.

Комендант вытащил из-под кровати измятый клочок бумажки. Это была телеграфная сводка.

— Передано вчера в двадцать три тридцать, — сказал он.

Телеграмма, переданная с вечера по береговым портам, предупреждала о приближении урагана. Она была принята за одиннадцать часов до того, как снежный шквал пронесся над становищем. Принята и спрятана. Комендант сказал:

— Когда его найдут, немедленно ко мне в комендатуру. О телеграмме ни слова. Если об этом станет известно, его убьют.

Вскоре по телефону из соседнего становища передали, что четыре бота успели укрыться в губе мили за три к востоку. Один был разбит при заходе, но люди добрались до берега. Следующее сообщение говорило, что из шести человек команды подобрано только пять, шестой — моторист — по-видимому, погиб. Это была первая жертва.

Теперь пристань обезлюдела. Толпа перебралась в правление колхоза, где был телефон, связывавший между собой рыбацкие становища.

— Где наши мужики? — кричала Антонина Евстахиевна, упрашивала сказать ей правду. — Мореходы-то наши где?

Ничего не было известно о шести ботах: «Форель», «Быстрый», «Бесстрашный», «Пикша», «Акула» и «Краб»,

на котором ходил в море Кононов. Десятка два рыбаков, тех, что успели вовремя добраться до брюги или выброситься на отмель, как только налетел ураган, рассыпавшись цепью, обшаривали окрестные скалы, вглядывались в буруны — не мелькнет ли там спасательный круг или кусок деревянной обшивки с разбитого бота. Никто не верил в благополучное возвращение судов, оставшихся в море.

— Мореходы-то наши где? — кричала Антонина Евстахиевна.

Ее успокаивали, как могли. Примерно во второй половине дня кто-то прибежал и сказал, что в губе подобрали круг с «Пикши», и женщины металась в отчаянии:

— «Пикшу» разбило, бабы! Горе!

Их принесли на носилках — капитана и двух матросов. Еще двое шли позади, их вели под руки мокрых, избитых волнами до синяков. Пять человек команды — двое спасенных. Вскоре одна из спасательных партий подобрала на восточном берегу губы еще четырех человек с «Форелли». Они спаслись вплавь, но, выбравшись на берег, обессилели и могли только ползком укрыться в скалах. Там они лежали друг возле друга, согреваясь теплотой своих тел; снег заносил их, мокрая одежда покрывалась ледяной коркой, и, если бы не подоспела помощь, ни один из выбравшихся на берег все равно не остался бы в живых.

В немногих домах в этот день топились печи. Только все бани были жарко натоплены, туда прямо с берега отводили спасенных. Но больше половины рыбацких домов стояли пустыми и нетопленными.

К вечеру пришли вести еще о трех ботах: два подобрало военное спасательное судно, от третьего — «Акулы» — нашли кусок обшивки. «Краб», на котором был Кононов, бесследно пропал.

Лиза не отходила от Антонины Евстахиевны целый день. С полудня старуха словно бы успокоилась, перестала кричать: «Где наши мужики?» Ей дали стул, она сидела в правлении колхоза у окна, безучастно глядя, как ураган ломает и заносит снегом рыбацкие дома. Когда принесли на носилках трех человек с «Пикши», она даже не обернулась, только спросила: «Кто?» Ей назвали фамилии. Старуха сказала:

— Лица им накройте. О камни могло побить, ребятишки чтобы не увидали.

О «Крабе» она больше не спрашивала. Несколько раз Лизе казалось, что, глядя в окно, старуха что-то бормочет. Прислушавшись, она в самом деле расслышала слабый шепот.

— Ой, старое ты чудо! — чуть слышно нашептывала Антонина Евстахиевна. — Старое ты чудо!

Она вспоминала свой разговор с мужем нынешней ночью.

— О чем вы, Антонина Евстахиевна? — спросила Лиза, ни слова не поняв из ее тоскливого шепота. — Что вы говорите?

Но старуха молчала, и со стороны казалось, что она дремлет.

К ночи прокинуло снег. Но ветер не ослабевал. Когда переставали плакать женщины, в каждой щелке, в каждой отдушине по-прежнему стонал и всхлипывал ветер. Налетев на становище с востока, он смел на своем пути все, что можно было снести и разрушить, и теперь поворачивал к югу, с другой стороны нападая на заметенные снегом рыбацкие дома. Вскоре выглянуло солнце. Красное, холодное, оно висело над горой, глядя, как у пристани скачут и мечутся по сугробам длинные тени корабельных мачт.

Может быть, потому, что слишком велико было несчастье, обрушившееся в этот день на становище, никто, кроме коменданта заставы и председателя колхоза, не подумал о том, что же было причиной этому несчастью, какой негодяй повинен в нем. Думали только о человеческих жизнях, о тех, кто ушел утром в море. Нельзя было даже снять людей с берега, чтобы обыскать становище, как поначалу хотел комендант. Выбросившимся на берег в любую минуту могла понадобиться помощь. Но когда стало известно, что последнее судно, о котором не было вестей, — «Акула» — погибло, а «Кrab» пропал без следа, то есть, по всей вероятности, тоже погиб, стали задумываться и о том, каким образом все это могло случиться. Тут не нужно было ломать себе голову. Штилевые сигналы, с ночи вывешенные портовым надзирателем, до сих пор висели на мачте.

На них смотрели, на них указывали пальцами. Сразу

же спохватились, что еще с утра, как только налетел первый шквал, портовый надзиратель точно в воду канул.

— Знают все,— торопливо говорил председатель колхоза коменданту.— Требуют, чтобы я сказал, была ли телеграмма с предупреждением. Его не доведут до комендатуры, если найдут.

— Тут уж молчать не приходится,— сказал комендант.

Шатаясь под ветром, по колено в снегу, он прошел в правление и рассказал все, как было. Да, телеграмма была, она пришла за одиннадцать часов до того, как ураган налетел на становище, и этот негодяй ее спрятал. Зачем? Это установит суд. Он только об этом и просил товарищей — не дать преступнику уйти от суда, под землей его сыскать и в добром здоровье доставить к нему в комендатуру.

После этого разговора в правлении остались только председатель, комендант и Антонина Евстахиевна с Лизой. Так же безучастно смотрела старуха, как люди, рассыпавшись на кучки по двое, по трое, опрометью разбежались по становищу. Комендант вполголоса сказал Лизе:

— По-моему, она близка к обмороку. Вы бы увели ее.

Лиза взяла Антонину Евстахиевну под руку, напомнила ей, что внук давно уже пришел домой, что мальчика нужно накормить и как-то успокоить.

— Идемте домой, Антонина Евстахиевна.

— Хорошо, пойдем.

Она послушно поднялась со стула, поправила платок. У дверей остановилась, точно что-то вспомнив, и спросила коменданта:

— Зачем он все-таки это сделал?

Комендант растерялся. Поначалу он даже не понял старухиново вопроса. Стало быть, она вовсе не сидела в забытии, слышала весь разговор и спрашивала теперь о портовом надзирателе. Это было так неожиданно, что комендант даже не нашелся с ответом, и старуха, задумчиво покачив головой, вышла вместе с Лизой на улицу.

На полпути ей стало совсем плохо, она еле стояла на ногах. Первый же порыв ветра едва не опрокинул ее навзничь, и Лизе пришлось поддержать ее за спину. Так они и шли, тесно обнявшись.

— Посидим,— тихо просила старуха.— Ногам больно.

Все скамьи на улице замело снегом. Между тем Антонина Евстахиевна обвисала у Лизы на руках, она валилась прямо в снег, и девушка теперь тащила ее чуть ли не волоком. Тут стоял двухэтажный дом — поселковый магазин; пижняя дверь в погреб или на склад была неплотно притворена. Заваленная снаружи снегом, она туго поддавалась толчкам, однако Лиза все-таки приоткрыла ее. Антонина Евстахиевна не легла, а прямо повалилась на ящики, стоявшие возле двери.

И сразу же, войдя в этот темный полуподвал, Лиза увидела того, за кем сейчас рыскали люди по всему становищу. Человек этот сидел в углу на бочке, затылком прижавшись к стене. Он смотрел прямо на нее и не двигался.

Она закричала:

— Егешко!

Видно было, как он вздрогнул. Потом медленно сполз с бочки на земляной пол. Только ветер завывал в окошки, забитые изнутри досками, — ни голосов, ни криков не доносилось с улицы.

— Меня ищут? — сказал он, кивая на дверь. — Я тут с утра сижу.

Лиза шагнула к дверям, но так же быстро Егешко шагнул к ней.

— Я вам ничего не сделаю, вы только стойте спокойно. Меня ищут, да?

— Стой, стой, старуха! — вдруг закричал он, заноса над головой кулак.

Антонина Евстахиевна, с трудом передвигая ноги, шла к нему, и Егешко, не опуская руку, попятился к стенке.

— Зачем же ты это сделал? — спросила Антонина Евстахиевна.

Он сжался, точно перед прыжком, Лиза тоже пригнулась. Если бы он кинулся на старуху, она успела бы перехватить его руку, может быть, сбить с ног, как тогда у него на квартире. Но он не двигался. Он не двигался и молчал.

— Зачем ты сделал это? — повторила Антонина Евстахиевна и вдруг обеими руками схватила его за ворот бушлата.

Она трясла его, твердила: «Говори, где наши мужики, что ты с ними сделал?» Потом отпихнула его от себя и

пошла к выходу. Дверь поддавалась туго, носком сапога старуха распахнула ее. Ветер сорвал с ее головы платок; одной рукой поправляя свою седую, тонкую, разметавшуюся по ветру косичку, другой она подзывала к себе людей.

— Я нашла его,— сказала она, когда к ней подбежали люди.— Берите.

Егешко сидел у стены на корточках. Когда его поднимали на ноги, все у него тряслось — губы, веки, пальцы. Лизе послышалось, что он чуть слышно бормочет: «Я боюсь, боюсь»,— но он молчал, а это ветер бормотал и всхлипывал, пробираясь сквозь щели.

До самой комендатуры он молчал. Когда же его привели и посадили на стул, обернулся к рыбакам и сказал:

— От этого конца мне все равно было не уйти. Есть у меня в биографии такие печальные обстоятельства. Так нынче хоть не один околевать буду, ваших с собой захвачу. И то хлеб, будьте вы все неладны.

Потом повернулся к рыбакам спиной и сказал коменданту, уже приготовившему бумагу для допроса:

— Я продрог, НКВД, напоил бы ты меня чайком, еще успеем наговориться.

Страх, как всегда, сменился у него безудержным хулиганством. Но, озорничая и юродствуя, он все еще не переставал дрожать.

В двенадцатом часу ночи Лиза привела Антонину Евстахиевну домой. В квартире было пусто и холодно, снег так и лежал на полу. Внук спал, накрывшись старой шубой. Видно было, что мальчишка крепко наплакался перед тем, как заснуть, один, в пустой квартире: через все лицо у него тянулись потеки от высохших слез. Старуха присела к нему на кровать и снова уставилась в окошко на красное, ветреное, нехорошее небо. Лиза растопила плиту, однако ужинать никто не стал. Тогда она тоже подсела к окошку. Шел снег и проходил, совсем рассвело, а они все сидели друг подле друга, и ветер всю ночь громыхал над их головами по крыше, тряс и расшатывал бревенчатый рыбацкий домик. Только к утру он стал стихать. Но к утру в кононовской квартире никто никого уже не ждал.

Глава XXXI

МОРЕХОД И БУРЯ

Рыбацкий бот — типа «Касатка» — это деревянное судно, шагив двадцать от кормы до носа и четыре шага в поперечнике. Оно управляется двадцатипяти сильным мотором, на нем есть мачта с двумя парусами: «штафок» — малый и «трессель» — большой. Если на море ветер силой в восемь баллов, ботам уже не разрешается промышлять. Им также не позволено отходить от берега дальше чем на десять миль.

Из газетного очерка

Александр Андреевич Кононов ходил на промысел матросом. Произошло это потому, что по новым порядкам водить в море рыбацкие боты разрешается только тем рыбакам, которые прошли специальные курсы судовождения, вкратце изучили навигацию, метеорологию, умеют определить местонахождение судна по высоте звезд и проложить курс по карте, скажем от Кильдина на Колгуев. Кононов рыбачил сорок седьмой год. Он знал, у каких берегов в какое время ходит рыба, как ведут себя птицы перед погодой, какие облака к ветру, какие — к затишью. Для того чтобы сызнова переучиваться морскому делу, он считал себя слишком старым. И вот, несмотря на весь свой морской рыбацкий опыт, Александр Андреевич ходил промышлять всего-навсего старшим матросом, а капитаном на его боте был двадцатилетний парень, сын кононовского соседа по становищу.

Утром двадцать четвертого апреля «Краб» рано вышел на промысел. Утро было солнечное. За наволоком, по-весеннему голубое и тихое, лежало море. Часу в седьмом утра с берега потянул было ветерок, и они подняли оба паруса, чтобы поскорее выбежать из губы. Но паруса вскоре обвисли, и только пологая зыбь — след бегущего бота — колыхала в губе отражения береговых гор.

Милях в двух от губы, в открытом море, метали сети на треску. Капитан посоветовался с Кононовым, где им лучше стать, но Кононов смотрел не на воду, а на небо. Невидимые из губы, по всему горизонту вставали с востока высокие перистые облака. Это означало ветер.

Кононов посоветовал капитану сетей не выметывать, а

заходить обратно в губу, потому что облака — дело верное. Даже не взглянув на барометр в рубке, старик сказал, что с моря нужно уходить, и чем скорее, тем лучше.

И вот, пока они спорили с капитаном — метать сети или не метать, налетел шквал. Солнце затмилось, и поднялась такая пурга, что с кормы на нос не стало видно человека. Спор их был окончен.

Мимо «Краба» в снежной мгле пронеслись две черные тени. Это боты «Форель» и «Бесстрашный» полным ходом убегали с моря под защиту береговых скал.

— Назад! — крикнул Кононов, как будто бы там, на ботах, могли его услышать. — Ах, что они делают!

Капитан, как только шквал подхватил судно, убежал в рубку. Цепляясь за снасти, Кононов кинулся за ним. Парень всем телом налег на штурвал, он поворачивал бот бортом к ветру, он тоже хотел убежать в губу, рассчитывая там укрыться от урагана.

— Побойся! — крикнул Кононов. — Опрокинемся, или вынесет на камни.

Он вырвал штурвал из рук ополоумевшего капитана и стал разворачивать бот обратно по ветру. Он не рассуждал в эту минуту, как ему поступить, чтобы спасти бот от гибели. Как человек, который, падая, бессознательно выбрасывает руки перед собой, так и старик, не размышляя, одним рывком повернул бот прочь от берега. Вся его привычка к морю, все его существо подсказывало ему это мгновенное решение бежать по ветру, по волне в снег, в бурю, но только не туда, где береговые скалы и камни, скрытые под водой, с одного удара могут разнести в щепки их легкое суденышко.

Капитан стоял в рубке в одних галошах на босую ногу (утром было жарко).

— Я пойду, — чуть слышно сказал он, — в каюту.

Шатаясь, он спустился по лесенке в трюм и повалился ничком на койку. Кононов стал за руль.

Он велел мотористу Крептюкову прибавить ходу. Моторист выскочил из люка, крича, что ходу больше нет.

— Повороты, Кононов! — просил он.

— Куда же я поворочу? — ответил Кононов. — Смотри глазами, что делается. Уж лучше убежим в море.

Крептюков посмотрел в сторону берегов. Снежная стена поднималась сразу за бортом. Зыбь еще была не такая

страшная, но, судя по тому, с какой силой гнал ветер эту снежную лавину, как яростно он срывал с волны и вместе со снегом уносил прочь ее белые гребни, нечего было думать о том, чтобы «ложиться в корыто», то есть идти бортом к ветру. С каждым ударом под корму волна все выше и выше взметывалась над бортами. Сети, растянутые на палубе позади капитанской рубки, смыло за борт.

— Ну,— сказал Крептюков,— пожалуй, в море не хуже.

Кононов намертво закрепил руль по ветру. Он боялся подумать о тех, кто, испугавшись первого шквала, полным ходом побегал в губу. В завываниях ветра в снастях ему чудились стоны и крики о помощи захлебывающихся на волне людей. Треск деревянной обшивки под ударами волн напоминал короткий треск судна, со страшной силой брошенного на камни. Кононов сам тонул трижды и не раз видел смерть на воде. Сам он ее не боялся, не мог просто представить себе, как это он, Кононов, живой человек, вдруг захлебнется, потеряет сознание и пойдет ко дну в черные, холодные морские глубины. Но когда он думал о других, ему становилось страшно.

Что-то ударило в стенку капитанской рубки и расщепило ее сверху донизу. Снег и соленая пена хлестнули Кононова по лицу.

«Конец,— подумал старик.— Нет, не может быть, что конец. Уж больно скоро».

Он выглянул в трещину. Маленькую шлюпку, которую боты водят за собой на привязи, стоймя закинуло волной на палубу, и это ее окованное железом днище проломило рубку. Тотчас же через палубу перекатилась другая волна, и шлюпка исчезла за бортом.

Мокрый с головы до пят, Крептюков высунул голову из люка:

— Ну что, Кононов, гибнем?

— Не знаю пока,— ответил Кононов.

Он велел Крептюкову забить люк брезентом, чтобы вода не натекла в машинное, и пойти проводить капитана. Если человек еще не совсем потерял голову, пусть немедленно выходит наверх.

Привязавшись, по совету Кононова, к мачте, Крептюков забил люк, потом полез в каюту. Капитан лежал на койке ничком. Крептюков потянул его за плечо, но он

выругался, сказал, что сапоги куда-то задевались, а босой он на палубу не пойдет, и вдруг заплакал.

— Делайте что хотите,— сказал он.— Все равно погибать.

— Вот дурак,— удивился Крептюков.— Ведь за твои курсы колхоз деньги платил. Двести сорок рублей заплачено за нас обоих.

Он вылез в рубку и, силясь перекричать ветер, долго объяснял Кононову, что этого дела он так не оставит, что капитана они исключат за трусость из комсомола и пусть он вообще убирается к черту из становища.

Кононов принял руль в одиннадцатом часу утра и не оставлял его до ночи. Ураган гнал судно на запад, потом на северо-запад, в норвежские воды. «Хоть бы еще сменился ветер,— рассчитывал Кононов,— донесло бы хоть до Шпицбергена, до кромки льдов, там суда есть, ледоколы и зверобои, соймут с бота». Никогда не видел шестидесятилетний рыбак волн такой чудовищной высоты. Снег замстал палубу, свернутые паруса, рубку, в которой уже не хватало одной стенки. Снег заливало водой, и он замерзал, одевая бот толстой ледяной коркой. Когда судно валило на борт, все труднее и труднее ему было выпрямиться, так оно отяжелело ото льда. И все-таки Кононов закрепил руль по ветру и уводил бот в открытое море.

Очень скоро из люка опять выскочил Крептюков, крича, что в трюме вода. Он с одним матросом кинулся к помпе, но, когда стали откачивать, отказала помпа.

— Сыщите капитанские сапоги,— крикнул Кононов,— и срежьте кожу! Не жалейте вещь — люди важнее.

Крептюков полез в каюту, сыскал под койкой капитанские сапоги, срезал с них кожу и починил помпу. Всю ночь он боролся с водой, а Кононов стоял в рубке и думал о том, что если прокинёт снег и прояснится небо, то все равно положение их совсем не завидное. Как он сумеет узнать, куда занесло их ветром? Ветер склонялся к югу, берега были далеко, впереди на сотни миль лежало неизвестное рыбакам море. Он не знал мореходных карт и не мог рассчитывать на свою память.

Ночь подходила к концу. Он да моторист Крептюков, только они были на палубе. Команда — молодые, не привычные к морю ребята — не вылезала из трюма.

— Двадцать раз ураган,— сказал Крептюков, глядя,

как зеленая гора, колеблясь и пенясь, вырастает над верхушкой мачты.— Но не бывает так, чтобы в порту не знали заранее.

— Выберемся — найдем концы,— ответил Кононов.

Он вспомнил свой вчерашний разговор с Антониной Евстахиевной. Он отчетливо представлял ее себе, видел, как сейчас она сидит у себя в кухне, сидит и смотрит в окошко. Ясно, что в становище их уже не ждут. «Будет тебе испытывать стихию»,— ругалась ночью старуха. «Нет, старое ты чудо,— ответил он ей тогда,— стихия — не опасная, опасен злой человек».

Он повторил Крептюкову:

— Выберемся — найдем концы.

К утру прояснело. Волна стала повальной, пологой, и далеко, за десяток миль к югу, они увидели гористый берег, освещенный холодным солнцем. Как далеко унес их от становища ураган, что это был за берег, своя это была страна или чужая, Кононов не знал. Но теперь, если даже волна понесет их к берегу, им уже не грозит опасность разбиться о камни. Раз прокинуло снег, раз видимость стала хорошей, заход даже в незнакомую губу уже не представлял такого риска. Кононов передал Крептюкову руль, а сам спустился в трюм проводить команду.

Они сидели в потемках — три приунывших матроса. Кононов принес из рубки фонарь, завернутый в рокон, чтоб ветром не задуло огонек, и матросы, когда осветилась каютка, с удивлением подняли головы. Зачем понадобился свет? Не все ли равно, как ждать конца.

— Надо бы оживиться, ребята,— сказал старик.

Матросы вздохнули.

— Как будем оживляться, Кононов?

— Первым делом,— сказал Кононов,— вскипятить чайку и согреться.

Вскипятили чай, но пили и закусывали молча — какая уж тут еда, когда с минуты на минуту жди, что сам пойдешь к рыбам. Посасывая кусок сахара, Кононов предложил поднять штафок, малый парус, и под одним парусом попробовать подойти к берегу. Зыбь хоть еще велика, но пологая, и вокруг видать хорошо. «Попробуй»,— сказал кто-то из матросов. Остальные молчали. Испуг у них сменился равнодушием, они не тряслись со страху, как их трусишка капитан, но просто устали думать о смерти,

ждали ее сложа руки. Кононов с двумя матросами поднялся на палубу, поставил парус. Тотчас же бот зарылся носом в волну, а парус, сорванный с мачты, птицей упорхнул за борт. Под холодными лучами утреннего солнца черное, изрытое ветром море выглядело страшно. Матросы вернулись в трюм. Кононов решил до поры оставить их в покое и спасти судно вдвоем с Крептюковым. На этого парня можно было положиться.

Опять налетел снег, в промежутке между снежными зарядами к западу от курса показался какой-то скалистый островок, и снова все затянуло снегом. Когда прояснилось, островка уж не было видно, только крутая линия берегов тянулась в нескольких милях к западу. Кононов решил искать захода в губу. В восьмом часу утра Крептюков, стоявший рядом с ним в рубке, вдруг вцепился ему в плечо и указал пальцем куда-то за борт по курсу судна.

— Гляди,— сказал он, бледнея.— Или мне мерещится?

Со всех сторон бежали огромные рыхлые водяные холмы, падали, вздувались выше мачты, застилая солнце. Над ними голубело небо, и ничего не было видно вокруг — ни дымка, ни паруса, точно одни они остались в живых на всем морском просторе, шестеро рыбаков, унесенных ветром.

Вдруг в нескольких десятках метров от судна что-то вскинулось на гребне волны и пропало.

— Человек? — ахнул Кононов.

Минуто, не больше, они молчали. Потом Крептюков выскочил из рубки, заорал в трюм: «Все наверх, человек в море!» — и кинулся в машинное. Мотор замолчал, один за другим матросы выскочили на палубу. Они привязывались к мачте, а бот валился бортом на волну: это Кононов заводил его бортом к ветру, бортом к тому, кто кричал им о помощи в нескольких метрах от судна. Они не могли слышать его крик, только видели его искаженное лицо, видели, как он напрягался всем телом, точно хотел выпрыгнуть из волны.

Три пары рук схватили его за ворот, за пояс, за волосы. Матросов накрыло волной, но они были привязаны к мачте и, сбитые с ног, оглушенные падением, не отпустили того, кто, уцепившись за них мертвой хваткой, теперь без

сознания лежал на палубе. Грудью навалившись на штурвал, Кононов выпрямил судно. Волна, обрушившаяся на палубу, больно ударила его о стенку рубки, но он не думал о боли, он думал одно: бот выстоял, человек спасен.

— В трюм — и разотрите его. Он обмерз! — крикнул Кононов.

Спасенный, молодой парень, совсем мальчишка, лежал, закрыв глаза. Все лицо его было залито кровью. Он рассек себе голову, когда его тащили на борт. Под мышками у него был спасательный пояс, одна нога в сапоге, другая босая. Он обессилел раньше, чем успел разуться.

Крептюков выскочил из люка, спросил, кого выловили. Кононов велел ему стать на руль, а сам опять спустился в помещение команды. Матросы уже не сидели, угрюмо уставившись в темноту. Спасенного уложили на койку, двое матросов растирали его иссиня-бледное тело, третий чистым полотенцем бинтовал до кости рассеченный лоб. Кононова встретили весело — жив, только обмерз чуточку. О том, что самих-то их продолжает швырять вверх-вниз, что десять минут назад сами-то они едва не перевернулись вверх килем, — никто и не думал. Раз они сами спасли человека, значит, рано еще собираться на тот свет. Это не был сознательный вывод, но каждый матрос, только что угрюмо сидевший в потемках, теперь суетился, хлопотал и чувствовал именно так. Все безразличие их, всю мрачность как ветром сдуло.

Кононов потрогал веки неподвижно лежавшего парня. На вид ему было не больше двадцати лет. Его матросская одежда висела на крючке, старик осмотрел карманы.

Мореходная книжка промокла насквозь, страницы слиплись, чернила расплылись. Водя пальцем по буквам, старик прочитал: «Слюсарев, «РТ 89».

— На нем аварийный пояс, — сказал он, глядя на белое, безжизненное тело матроса с запавшими, как у мертвеца, глазами. — Стало быть, его не просто смыло за борт. Они готовились к тому, что всем им придется поплавать. Надо полагать, остальным повезло меньше.

Матрос с погибшего тральщика тихонько застонал и приоткрыл глаза. Некоторое время он удивленно смотрел на ветровой фонарь, который метался и прыгал под низким потолком каюты, потом снова потерял сознание.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЛИЗА

Глава XXXII

ЕЩЕ ОДИН ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В МОЕЙ ЖИЗНИ

Где-то кричал петух. Я очнулся и приоткрыл глаза. Передо мной было окно, неплотно задернутое занавесками, и косой столб солнечного света падал от окна на пол. Отчаянно болела голова, глаза слезились, и ужасно хотелось пить. Я не пытался думать о том, где я лежу, что такое со мной и почему в голове у меня такая отчаянная тупая боль. Резкий петушиный крик и столб солнечного света, пробивавшийся сквозь полотняные занавески, сливались в моем сознании в одно острое ощущение того, что я на земле, на берегу, что весь этот ужас, который мне пришлось испытать, кончился раз и навсегда.

Я опять закрыл глаза. Мне хотелось только спать и спать, ни о чем не думать, ничего не видеть. С меня хватало петушиного крика, чтобы быть совершенно спокойным. Я на берегу. Я спасен.

Но сон приходил не сразу. Красные волны кругами накатывались на меня, трепали, несли, и было так холодно, что я слышал, как стучат мои зубы. Еще и еще орал петух, но крик его все слабел, и красные волны несли меня черт знает куда, в пустоту, которую нельзя назвать никаким словом. Самым страшным в этом была одна точка, именно точка, которая где-то пряталась до поры, до времени и вдруг разрасталась в нечто огромное, похожее на ураган или гигантскую волну, но в то же время с какими-то признаками живого существа, очень злобного и жестокого. Это неизъяснимое существо с торжествующим злорадством обрушивалось на меня, несло, ревело и снова сжималось в маленькую ехидную точку, точно высматривавшую откуда-то издалека, когда ей опять прыгнуть и оглушить меня своим ревом.

Я стонал, барахтался и просыпался от собственных стонов. Но я уже не видел полотняной занавески, пронизанной солнцем, не слышал петушного крика. Перед моими глазами вставали без всякой связи то палуба нашего тральщика с поручнями, уходящими в воду, то рыхлые бегущие водяные горы, и я — по плечи в ледяной воде, один среди них, и птицы пролетают чуть ли не на вытянутую руку от моей головы, всякий раз оглядывая меня своими круглыми любопытными глазами. Чаше же всего мне представлялось какое-то темное и тесное помещение, фонарь, раскачивающийся под потолком, и несколько незнакомых мне людей, которые склонились надо мной с озабоченными лицами и все вместе зачем-то бьют меня ладонями по голому телу. Что это за люди и что они делают со мной, я не знал.

Один раз кто-то громко произнес над самым моим ухом: «Все это бред. Здорово же я болен». Сразу мне стало понятно, что эти слова сказал я сам и что я в самом деле здорово болен.

Некоторое время сознание ни разу не возвращалось ко мне полностью. Были отдельные просветы, после которых опять начиналось забытие. Иногда я различал возле себя мужчину и женщину в белых халатах, один раз почувствовал, как женщина расстегнула на мне рубашку, вынула что-то у меня из груди, покачала головой и сказала:

— Сорок и три десятых.

— Девятый день. Плохо, что кризис так затягивается,— недовольно сказал мужчина.

Я отчетливо слышал их разговор, но мне было не интересно, о чем они говорят. Мужчина перевернул меня на бок, ладони у него были холодные.

— Бросьте,— попросил я.— Мне и так холодно.

— А! Вы не спите? — почему-то обрадовался он и потянул меня за подбородок, так что мне пришлось открыть глаза.— Ну как? Плохо?

Я кивнул головой.

— Ничего, обойдется. Сердце у вас крепкое.

— Воды,— попросил я.— Пить хочется.

Он рассмеялся. Теперь я понял, что это доктор, который пришел меня лечить.

— На вашем месте, голубчик мой, я, пожалуй, всю жизнь не просил бы воды,— сказал он.— Достаточно вы ее наглотались.

Я выпил воды и уснул. Несколько раз, приоткрыв глаза, я опять видел его у своей постели, но уже не понимал, зачем он тут и о чем он меня спрашивает. Меня только удивляло одно: почему все время у него меняется физиономия? Он был бритый и лысый, а по временам становился старичком с маленькой седой бородкой. Старичок смотрел на меня, неловко улыбался и молчал. Все это время меня мучил ужасный кашель, от этого кашля у меня прямо голова лопалась, и я попросил однажды:

— Очень больно голове, доктор. Намочите полотенце.

— Я, брат, не доктор,— сказал старичок и вместо полотенца положил мне на лоб свою тяжелую жесткую руку.

Кажется, тогда я на него рассердился за это, не помню. Либо он тут же и ушел, либо я опять перестал различать все вокруг себя.

А потом появилась Лиза. Первый раз, когда я ее увидел, я вздрогнул и сразу же закрыл глаза. Да, именно закрыл глаза, для того чтобы ее лучше разглядеть. Это может показаться глупым и неправдоподобным, но в том, что она мне просто снится, у меня не было никаких сомнений. Оказалось, однако, что Лиза мне снится, когда я лежу с открытыми глазами, и это меня ничуть не удивило. Я видел, как она наклоняется надо мной, видел, как

у нее шевелятся губы, точно она о чем-то спрашивает меня, разглядывал ее волосы, брови, глаза и улыбался. Какое хорошее и вместе с тем встревоженное было у нее лицо! Меня охватывало беспокойство: что же могло с ней случиться, чем она так огорчена и озабочена? Неожиданно она тоже улыбалась, и я уже думал только о том, какие забавные веснушки у нее на кончике носа и как это я не заметил их тогда, в поезде. Я пытался еще вспомнить что-то очень важное, о чем я должен был обязательно ей сказать, вспоминал о том, что она сердита на меня, что я сделал что-то скверное и стыдное. Наконец мне удалось поймать эту ускользавшую мысль. Аркашка напоил меня пьяным, я безобразничал с ним и с Мацейсом на кладбище, и Лиза ругает меня за это, велит немедленно уходить домой.

— Не сердитесь,— бормотал я.— Вот только голова перестанет болеть, и я сейчас же в море. Честное слово.

— Что, что?

Я не слышал ее слов. Я видел только, как шевелятся ее губы, как она наклоняется надо мной так низко, что глаза ее становятся совсем огромными.

— Я завтра в море...

Как-то я увидел ее совсем грустной. Молча она смотрела на меня, а мне было скверно, я задыхался, головой не мог шевельнуть и был даже не рад, что она опять мне видится. Нахмурившись, я отвернулся лицом к стенке. Больше она не приходила ко мне — вернее, я больше никого и ничего не замечал до того самого дня, когда вдруг, проснувшись, увидел небольшую больничную палату на три койки (две были пустые, на третьей лежал я), окно с полотняными занавесками, какое-то деревцо в окне, кусок голубого неба и понял, что я выздоровел.

Я сам дотянулся до графина с водой, стоявшего рядом на столике, сам налил себе воды и сразу же так устал, что снова заснул. Меня разбудила женщина в белом халате — должно быть, медицинская сестра, — с нею был все тот же старичок с седой бородкой.

— Ну,— улыбнулась она.— Как будто бы ожили? Уж и повозились мы с вами! Ставьте-ка градусник.

Я сам засунул градусник себе под мышку, потом спросил старика:

— Что со мной было, доктор?

— Все время меня путает,— усмехнулся старик.— Все доктор да доктор...

Пришлось мне покраснеть. Но, вглядываясь в его старое добродушное лицо, я головой готов был поручиться, что мы с ним где-то встречались раньше. Я так ему и сказал. Он сел на стул и стал вдруг смеяться. Чтобы удобнее было смеяться, он широко растопырил ноги, уперся ладонями в колени, а сам все хохотал и хохотал.

— Встречались! И скажет же, чудак! Конечно, мы с тобой встречались, милый человек.

Не понимая, почему его так рассмешил мой вопрос, я спросил: где же именно мы с ним познакомились?

— Милях в двенадцати от Финмаркена на норд-норд-ост,— весело ответил он.— На мокрой морской водичке. То есть это ты там пузыри пускал, а я у руля стоял.

— Вы, наверное, ничего не помните, что с вами произошло,— сказала сестра.— Вас подобрали в открытом море. Александр Андреевич вас подобрал.

Было пятое мая, двенадцатый день моей болезни. Рыбачкий бот «Краб», ураганом унесенный в море, подобрал меня на волне в то время, когда я уже терял сознание. Да и создавал ли я что-нибудь, когда один, захлебываясь горькой морской водой, кричал на ветер о помощи? Ничего не помню. Рыбаки меня подняли на борт примерно в половине восьмого утра, потом я выяснил, что было без четверти шесть, когда я вышел в последний раз из кубрика и уже не вернулся. Стало быть, я пробыл в ледяной воде ровно час и тридцать минут, но, кроме моего падения с палубы в эту воду, обжигающую холодом точно огнем, ничего не помню. Спасательное судно взяло «Краб» на буксир и, когда ураган уже начал стихать, отвело бот в становище. Все это время я без сознания валялся на койке, накрытый тремя матросскими одеялами. Врач на берегу определил у меня жесточайшее воспаление обоих легких. Первый озноб я почувствовал еще на борту на шего тральщика, когда он, полузатопленный, сидел на банке, ледяная вода сделала остальное.

— Я, грешным делом, подумал, что мы старались зря,— сказал мне Александр Андреевич Кононов,— что все равно тебе не встать. А ты, оказывается, двужильный.

Мне хотелось его расспросить, каким образом им удалось меня заметить, вытащить обессиленного из воды, но

он отказался отвечать на мои расспросы, только сказал, что всю команду с нашего тральщика подобрало другое спасательное судно и что, кроме меня, у нас не пострадал ни один человек. Больше того, сказал он, с 90-го подобрала пятерых, несколько часов они проплавали, держась за поручни перевернутой вверх килем шлюпки, а капитана через несколько дней нашли на норвежском берегу. Его пронесло миль полтораста по морю со спасательным кругом под мышками. Он не утонул, а просто замерз.

Рассказав мне об этом, старик помрачнел и сразу же ушел. Я понял, почему он так заторопился. Ведь мой конец был бы точно таким же. Я бы тоже не утонул (на мне был спасательный пояс), но замерз.

Оказалось, что, пока я был болен, Кононов навещал меня ежедневно. По-видимому, вытащив меня из воды, он считал себя ответственным за мое выздоровление.

Дней через десять я уже ходил по палате, еще через десять — двенадцать дней в своей собственной матросской робе вышел на улицу. Возник перед моим выходом сложный вопрос, во что мне обуться (сапог с левой ноги, оказывается, я утопил в море). Но Кононов позаботился и об этом обстоятельстве. В кладовке были приготовлены для меня не новые, но хорошо вычищенные сапоги как раз моего размера. Вот уже действительно «милый человек», говоря его собственными любимыми словами!

Квартиры в становище у меня, разумеется, не было, а ехать пароходом в Мурманск я еще не мог. Я отчаянно ослабел после болезни. Вышел из больницы, спустился с крыльца и сразу же сел на скамеечку. Конечно, Кононов предложил мне пока что пожить у него, и я с удовольствием согласился.

Как все изменилось вокруг за время моей болезни! Ни снежинки не было на берегу, снег лежал только в скалах, поднимавшихся над становищем. Я увидел босоногих ребят и коз, пощипывавших вдоль заборов молодую весеннюю травку. От влажного ветра с залива у меня закружилась голова, долго я сидел на скамеечке перед больницей, радуясь теплу и солнцу. В становище была тишина: рыбаки ушли на промысел. Зато как шумно и весело было в воздухе! Какие-то мелкие пичужки летали стаями, как облачка менявшими на солнце свои очертания. За ними с протяжным гоготом тянулись треугольни-

ки диких гусей и длинные, перевивавшиеся в воздухе утиные цепи. Тысячами они летели на север, к морю, к пустынным полярным островам, оттаявшим под весенним солнцем. Глядя, как они проносятся высоко над становищем, впервые за все время моего выздоровления я подумал о море, о том, как было бы хорошо сейчас стоять на качающейся под ногами палубе и под оглушительный крик глупышей, напрягаясь всем телом, переругиваясь с товарищами, тянуть обеими руками раздувшийся от рыбы трал.

...Тралмейстер мечется как угорелый от одного матроса к другому и, если на лебедке стоит Полтора Семёна, то и дело хватается за голову и безнадежно машет рукой:

— Семён! Я же тебя поставил! Будешь ты вирать, когда тебе говорят: вирай...

Прыгает и суматошится Балбуцкий. Яростнее орут глупыши. Из рубки высунулся Бабин и, хмурясь, прикидывает на глазок, какой будет подъём. Я представил себе все это, и до того мне захотелось сейчас, вот сию минуту, повидать их всех, что у меня просто сердце заныло.

Я встал, пошатываясь от слабости. Куда уж мне такому в море! Они успеют второй раз отправиться в рейс, прежде чем я смогу ходить-то по-человечески.

Старушка, жена Александра Андреевича Кононова, напоила меня чаем, уложила отдохнуть и даже выставила внука на улицу, чтобы он не мешал мне спать своими разговорами. Часов в девять вечера вернулся с моря Кононов. Я ждал его с нетерпением. Ведь если не считать отрывочных сведений о том, что все мои товарищи целы, я ничего еще не знал толком. Поэтому, как только он поужинал, я сразу же подсел к нему, и вот с первых же слов он меня просто оговорил.

— Нет,— сказал он,— у вас не все добрались до берега. Это я тебе тогда так, зря сказал. Мне говорил один человек, который видел списки погибших, что с вашего судна недосчитываются двоих.

Я похолодел. Я перебирал в памяти всех, кто оставался со мной на борту в то время, как большая часть команды уже перебралась на берег. Капитан, Овчаренко, Свистунов...

Гадать было бессмысленно.

— Кого же недосчитались? Вы не помните по фамилии?

— Нет,— сказал Кононов,— по фамилиям я не помню. Знаю, что эти двое, о которых мне говорили, удрали с судна на шлюпке, как только пришло извещение о том, что ожидается сильный ветер.

— Мацейс и Шкебин!

— Говорят тебе, что я не помню их по фамилиям. Удрали втихомолку на шлюпке, вот и все. Парни были, видать, не бог весть какие, так что жалеть о них особенно не приходится. Вроде нашего капитана. Нас привели в становище на буксире, доктор стоит на брюге, спрашивает: «Кто болен?» Константин, наш капитан, говорит: «Я болен,— расстроился...»

Он стал смеяться, вспоминая болезнь их капитана и как его на берегу отпаивали валериановыми каплями. Я заметил после, что если рыбаки заговаривали об урагане, то непременно вспоминали всякие смешные вещи, случавшиеся в тот день: как такой-то перетрусил, а этот спасался от ветра на карачках, а третьего швырнуло головой в сугроб, и его чуть ли не за ноги вытягивали из сугроба. О жертвах вспоминали мало и неохотно, а между тем всего лишь месяц с небольшим прошел с того самого дня, как ураган пронесся по побережью. Но, когда Кононов стал рассказывать об их капитане, я его не стал слушать. Мацейс и Шкебин погибли, они не успели добраться до берега — может быть, сбились в тумане с курса, когда их захватило шквалом! Эта новость меня ошеломила. Я был готов услышать о том, что они пойманы, сидят за решеткой, расстреляны, наконец, но то, что с ними все кончилось так быстро и просто, у меня никак не укладывалось в голове. Я перебил старика:

— Каким образом установлено, что они погибли?

Он уже забыл о том, с чего сам начал разговор.

— А, ты об этой парочке? — сказал он с неудовольствием. — Ты-то чего беспокоишься? Это твои дружки, что ли? Туда им и дорога, дрянной народ. А установили их гибель, милый человек, самым обыкновенным образом. Нашли обломки шлюпки с вашего судна и неподалеку на бережку два скелета, обглоданных песцами. Надо полагать, швырнуло их волной и поломало о камни, а уж на берегу поработали песцы. Эта зверюга за сутки так мо-

жет отделать человека, что родного брата от сестры не отличишь.

— Вы видели их трупы? — Я все еще не мог поверить.

— Откуда же мне их видеть? — удивился Кононов. — Знакомый человек видел и мне рассказал. У одного только волос с полчерепа осталось да часы-браслетка на пясточке, вот и все.

— Это Мацейс, — сказал я. — Это, конечно, Мацейс...

Мне хорошо был знаком этот браслет с часами, дважды я его видел, и вот как довелось мне услышать о нем в третий раз. А Кононов все продолжал рассказывать. Теперь он рассказывал о том, какие подлецы бывают на свете. У них в становище ураган натворил много бед и все оттого, что новый портнадзиратель оказался мерзавцем, умышленно не сменил на мачте штилевые сигналы и выпустил в море рыбацкий флот. Старик рассказывал длинно и обстоятельно, а я все думал о своем. Вдруг одно слово заставило меня внимательнее прислушаться к его рассказу.

— ...приемщик, — сказал старик. — Он как раз ходил за границу на приемку вашего судна.

— Как, и он?

— А те двое тоже ходили? — удивился Кононов. — Этого я не знал. Надо полагать, голубчик был из одной компании, всех их там взяли на подкуп, либо уж я не знаю что...

— Как звали вашего портнадзирателя? — спросил я.

— Егешко, будь он неладен.

Концы сходились с концами. Я помнил этого щуплого пьяненького морячка. В ту ночь на кладбище он был с нами и удрал от страха. Как он тогда скулил: «Я боюсь, Жорочка, боюсь». Было непонятно, как такой трус, такой ничтожный человек мог решиться на поступок, который заведомо обрекал его самого на гибель, — поступок, равносильный самоубийству. Подумав, я понял, что человек пошел на это именно потому, что потерял голову от страха. То, что хоть один из этих мерзавцев не ушел от суда, несколько смягчило мое разочарование, которое я почувствовал, узнав о смерти Мацейса и Шкебина. Еще и еще я вспоминал освещенные иллюминаторы 90-го, уходящего в воду, спокойный голос в наушниках: «Торопись, Коля, нас совсем положило на борт».

Нет, не такого конца желал бы я Жорочке и его дружку.

— Заговорились мы,— сказал Кононов.— Спать надо.

Моя постель стояла за шкафом, старики спали вместе у другой стены. Антонина Евстахиевна еще хозяйничала, а мы улеглись. Уже старик перестал ворочаться, задышал спокойно и ровно, когда я вспомнил еще одно, о чем мне хотелось его спросить.

— Александр Андреевич, кто-нибудь навещал меня, кроме вас, когда я лежал в больнице?

— Тут у нас временно проживала одна твоя знакомая,— сказал он.— Она тебя навещала.

— Лиза?

Он зевнул.

— Ага. Девчонка очень беспокоилась о твоём здоровье. Я, грешным делом, подумал: может, любит тебя?

Я долго лежал с закрытыми глазами. Потом откинул одеяло: мне было жарко. Следовало бы открыть окно: в комнате была невыносимая духота. Потом спросил:

— Она не скоро вернется?

Старик перевернулся на другой бок и недовольно кашлянул. Я, видимо, разбудил его своим вопросом.

— Нет,— сказал он сонно.— Она не скоро вернется...

Глава XXXIII

ПОРЧА

Ко времени моего выхода из больницы я получил из дому два письма. Оказалось, что, как только я начал выздоравливать, Кононов сам написал моим родителям обо всем случившемся со мной (адрес он нашел в моем паспорте). Нечего и говорить, что, судя по первому письму, и мать и отец были в страшном испуге. Отец писал, что он хочет взять отпуск на заводе и немедленно приехать ко мне. Я ответил ему короткой открыткой: бессмысленно брать отпуск и тащиться чуть ли не за две тысячи километров только для того, чтобы увидеть собственными глазами, как я ковыляю в больничном халате от койки до окошка. Второе письмо было гораздо спокойнее. Родители радовались, что купание в ледяной воде сошло, в общем, благополучно, а отец писал: «Теперь я, пожалуй, со-

гласен, что ты в самом деле моряк». Это отцовское признание я прочел с большим удовольствием, но строчкой дальше он меня несколько охладил: «По совести говоря, никогда мне не верилось в твои морские успехи, думал — блажит мой парень».

Когда я читал эти письма, меня не тянуло домой. Мне даже было совестно, что я так мало скучаю по дому, но что поделать — мне хотелось только одного: уйти опять в море.

И вот пришло третье письмо.

Адрес был написан незнакомым мне почерком. На конверте стоял мурманский штамп. Я распечатал и прочел:

Дорогой товарищ Слюсарев!

Мы запросили больницу о твоём здоровье и узнали, что ты уже выписался. Меня интересует, что ты думаешь делать дальше. Мы все, то есть вся команда «РТ 89», благополучно выбравшись на берег, отдохнули две шестидневки в Доме моряка, а потом всей командой пошли на «Беломоре» в очередной рейс. «Беломор» — тоже новенькое судно, только что спущенное со стапелей. Но за него мы спокойны: строили его на ленинградских верфях. Так вот, товарищ Слюсарев, не сомневаюсь, что тебе ещё охота поплавать, невзирая на то, что в первый же свой рейс ты попал в такой серьёзный переплет. Хорошего моряка это не испортит. Такие случаи ему только на пользу. Так вот, если ты хочешь плавать, я ничего не имею против того, чтобы опять зачислить тебя в свою команду. Думаю, что и ты ничего не имеешь против того, чтобы поплавать в прежней компании. У нас было время хорошо узнать друг друга. Повторяю, вся наша команда, от помполита до засольщика, перешли на новое судно, так как расставаться никто не захотел. Сегодня уходим в очередной рейс, в конце июня вернемся в порт. К этому времени либо являйся на борт, либо напиши. Жму руку.

Капитан РТ «Беломор» Н. Студенцов.

Внизу была приписка карандашом:

Слюсарев! Приглашение капитана всячески поддерживаю, со своей стороны могу сказать, что здорово был бы рад опять уви-

деть тебя на судне. Знаю, что и ребята наши были бы рады. Рядом со мной сейчас стоят твой бывший сосед по каюте Свистунов, наш всеми уважаемый засольщик Тюлин и товарищ под названием Полтора Семена. Тюлин вставил себе белоснежные, как у молодой девушки, зубы и, когда над ним шутят, посылает всех к черту, а не к ц е р т у. Они тебе кланяются и просят передать, что если твой насморк затягивается, то самое для него полезное дело — это свежий морской ветерок.

О в ч а р е н к о.

Я перечел это письмо три раза подряд. Я отчетливо представлял себе все: Студенцова, который пишет мне, своему матросу; как всегда, деловитого и немного нахмуренного Овчаренко и трех матросов, которые хохочут над моим «насморком», отлично понимая, что этот «насморк» чуть было не отправил меня на тот свет. Но раз все прошло благополучно, то как же можно не пошутить? Без этого не проживешь. Я головой готов был поручиться, что, запечатав это письмо, они еще задним числом потешались над моей нерасторопностью, вспоминали, как я без толку носился по палубе в мою первую вахту, как, привязанный к мачте, подавал им рыбу и путал треску с камбалой. И все-таки все, все они — капитан, помполит, матросы — снова звали меня на судно! «У нас было время хорошо узнать друг друга», — писал капитан. Да, я их хорошо узнал за этот месяц наших скитаний по морю. Веселые, здоровые, честные люди — вот что я узнал о них. Много хорошего услышал и я о себе в ту ночь на полузатонувшем судне, и, стало быть, я в самом деле пришелся им по вкусу, если они снова зовут меня «поплавать в прежней компании».

Меня раздражала гордость. Кононова не было дома, я пошел в кухню и от слова до слова прочел письмо Антонине Евстахиевне. Нельзя было не похвастать таким письмом.

— Раз помнят, — значит, заслужил, — сказала Антонина Евстахиевна.

Я совсем развеселился, сел к столу, попросил у нее бумаги, чтобы сейчас же, немедленно ответить им всем, сказать, что так и так, дорогие мои, дело не требует объяснений. Готовьте мне койку недельки через две.

Я не написал ни строчки. Мне пришла в голову мысль: а что, если я еще не окрепну через две недели, пойду в рейс и буду только обузой для команды? Рыболовный траулер не санаторий для выздоравливающих, в плавании нужны рабочие люди. И еще я подумал о том — и эта вторая мысль была куда страшнее, — что, если я и порчен морем?

Я слышал, что у людей, которые однажды тонули, страх воды очень часто остается на всю жизнь. Что, если нечто подобное случилось со мной? Тогда — дело конченное, я больше не гоюсь в моряки.

Отвечать Студенцову согласием, не зная, что я теперь годеен, я не имел права. Потом со стыда сгоришь. Я решил попросить Кононова взять меня с собой на промысел. Выйти в море на маленьком ботике, да еще в зыбь — это будет достаточная проверка.

В кононовской команде я уже перезнакомился со всеми ребятами. Я не говорю о том случае, когда они вытаскивали меня на борт, об этом я просто ничего не помнил. Я познакомился с ними, когда стал гулять по становищу — сначала с палочкой, потом без палочки, но все еще пошатываясь от слабости. Один раз, гуляя, забрел на брюгу, где они готовили к выходу свой бот и сами меня окликнули. После этого я чуть ли не каждый день стал приходить к ним на судно, сидел в кубрике, помогал мыть палубу, шкерил рыбу. Больше всего мне нравился их моторист Крептюков, — парень нянчился со своим мотором, как девчонка с куклой. Стоило мне однажды ткнуть пальцем в какой-то цилиндр и спросить: «Что это?» — и он тут же пустился в объяснения минут на сорок. Прочел мне целую лекцию. На другой день, когда я пришел на брюгу, он пробовал новое горючее, только что полученное с базы. Я поднялся на борт, и мы вышли в губу. С полчасика мы покрутились в полумиле от берега, потом Крептюков предложил мне самому остановить и запустить мотор, самому дать «средний» и «полный» ход, что я и сделал. Мне кажется, что он был даже несколько разочарован той легкостью, с которой я все это проделал. Представьте себе скрипача, который объясняет несведущему человеку, какая это хитрая штука — игра на скрипке, а тот вдруг берет смычок и начинает играть не хуже его самого. Скрипач, конечно, огорчается. Примерно так же

огорчился и Крептюков, в особенности когда я, выключив мотор почти у самой брюги, сказал что-то вроде «пустяковое дело». Но парень он был хороший, покладистый, на другой день мы с ним опять прогулялись по губе, и я то сидел в машинном, то стоял у штурвала, вел судно. В самом деле, это была нехитрая штука: погоды стояли ясные, ветерок в губе почти не чувствовался.

Когда я попросил Кононова взять меня с собой на промысел (их, с позволения сказать, капитан сам списался на берег, и теперь за капитана ходил Александр Андреевич), он сразу же согласился. Утром мы вышли. Я почувствовал себя превосходно, в особенности когда за наволоком впервые за эти два месяца увидел открытое море. Мы шли под мотором и парусом, так как ветер был свежий. И красивое же это было зрелище — выход в море рыбацкого флота! Десятка полтора парусников бежали рядом с нами, и за кормой у каждого стайкой кружились чайки. Мы обогнули мыс. На рифах у восточного берега пенились буруны, была небольшая зыбь, и бот то и дело клевал носом, с плеском разбрасывая воду. Я стоял на средней палубе, держась за мачту. О, черт возьми, до чего же хорошо было опять выйти в море! У меня даже голова не кружилась от качки, а я думал, что голова непременно будет кружиться. Все-таки я поотвык немного от этого подбрасывания вверх-вниз, вверх-вниз. Мы спустили парус и выметали сети на треску, потом перешли на другое место и стали выбирать сети, поставленные накануне.

Улов был небогатый. После наших подъемов на десять—двенадцать тонн, когда на палубе рыбы по колено, на такую рыбу мне было просто смешно смотреть. Один только раз подняли зубатку, неплохую зубатку, пуда на четыре, зеленую, в черных пятнах, с маленькой змеиной головкой и пастью, обсаженной треугольными, точно обточенными напильником зубами. Не рыба, а какой-то рыбий тигр.

Крептюков сказал, что вчера тут взяли четырех акул. (Не они, а другие рыбаки.)

— Побалуемся? — сказал он.

Матросы притащили акулю снасть — длинную толстенную леску с цепью вместо поводка и крючок размером в шлюпочный якорь. Тухлятины или тюленьего сала на борту не было, но я уже распотрошил зубатку, и ее

свежие внутренности — полпуда кишок — пошли на наживку. (Икру мы, понятно, оставили себе на обед, послали и пересыпали рубленным луком.) Снасть с наживкой полетела за борт, мы закурили.

Помнится, я спросил у Кононова, какая тут глубина. Он ответил, что примерно метров двести.

— Подходящая глубина, — сказал я и вдруг почувствовал, что у меня ослабели ноги. Они точно онемели. Я не сел, а как-то сполз на палубу.

Я понял: то, чего я боялся, началось.

Это пришло сразу. Только что я стоял и болтал с рыбаками насчет акульего лова, потрошил зубатку и, растянувшись у борта, мыл руки прямо на волне, смывал липкую рыбью кровь. Палуба так и прыгала под ногами, мачта так и скакала по небу от облака к облаку, и все было легко и хорошо. На кой черт мне было спрашивать у Кононова, какая тут глубина? Зачем я представил себе эту глубину? Но я представил себе ее и уже ни о чем больше не мог думать.

Двести метров вниз. Это значит — мутно-зеленые сумерки, а потом темнота. Потом — черным-черно, и только губки да звезды шевелятся на песчаном грунте. А над ними рыба. Косяками ходит по дну треска. Зубатки с оскаленными пастьями. Может быть, светятся у них эти пасти там, под водой?

— Ты чего скис? — сказал Кононов.

Матросы посмотрели на меня.

— Мне нехорошо, — сказал я. — Пойду прилягу.

— Ну, ну, приляг.

Я спустился в каюту и лег на койку Крептюкова. Двести метров глубины. Она стояла у меня перед глазами. Я, кажется, мог ее промерить. Бот, на котором были я и четверо рыбаков, болтался где-то между небом и этой страшной темнотой, вниз от его бортов на двести метров отвесно падала акулья снасть с нацепленными на крючок рыбьими внутренностями. Как они там, рыбы, видят в темноте, или это вода передает запахи? Меня начало поташнивать. Я лег на живот и лицом повернулся к стенке. Волна била в деревянную обшивку. Я слышал ее равномерные удары, чувствовал, как содрогается дерево, слышал, как что-то поскрипывает подо мной, потрескивает — вот-вот треснет и сломается. Толщина бортов на

рыбачьих ботах самое большее десять сантиметров. Море было в десяти сантиметрах от моего лица. Не то голубое, раскинувшееся под облаками море, которым я любовался час назад, а другое море, о котором я впервые подумал, — черная глубина на двести метров, темень, холодище, выпученные рыбы глаза, разорванные рыбы внутренности...

Я приказывал себе не думать об этом. Я не хотел думать. Я твердил: «Не надо думать, не надо, только не надо думать об этом», — и ничего не мог поделать с собой.

Интересно, какая была глубина, где меня смыло за борт? Двести метров? Или пятьсот? Какой я, наверное, был маленький там, наверху, на поверхности моря, если все это хорошенько себе представить! Я скинул тогда один сапог, чтобы мне легче было плыть. Я орал о помощи, плакал, махал руками, а сапог мой все еще шел ко дну — медленно, медленно...

Я не мог лежать лицом вниз. Пол и койка были точно стеклянные. На двести метров вниз под собой я видел акулю снасть, отвесно уходящую в черноту, и далеко-далеко светящиеся пасти зубаток. Конечно, они светятся. Я видел как-то на картинке глубоководных рыб.

Может быть, мне будет лучше выйти на палубу? Я подумал и решил, что нет, лучше не будет... Мы порядочно отошли от берега, и, если представить себе, что до берега нужно добираться вплавь (допустим, что-нибудь опять случится), я потеряю сознание. Я на полпути потеряю сознание или просто сойду с ума. Это невыносимо плыть над такой глубиной, зная, что под тобой ничего нет, только вода, вода и вода. На сотни метров — вода.

Кононов спустился в каюту. Он присел с краешка койки и стал чистить свою трубку.

— Как дела?

Что я мог ему сказать? Он сам все видел.

— Плохо.

— Мутит?

Я покачал головой. Неужели он решил, что меня просто-напросто укачало? Хорошо бы, если так.

— А ты не думай. Все это глупости, выбрось из головы — и все. Иди рыбу шкерить, — за делом пройдет.

Он правильно догадывался о том, что со мной происходит. Как ни скверно мне было, но я посмотрел на него с любопытством и сразу же покраснел и снова отвернулся

к стене. Все-таки неприятно знать, что человек видит, как ты трусишь.

— Ты нос от меня не вороти,— добродушно проворчал он.— Я тебе верно говорю. Не с тобой одним это случилось.

— Александр Андреевич,— сказал я,— по-видимому, я больше не смогу ходить в море. Я вот разговариваю с вами, а сам думаю о том, какая под нами глубина.

Он кивнул головой.

— Кто бы не думал об этом на твоём месте. Полтора часа барахтаться на волне в открытом море — это, милый человек, не всякому дано испытать. Но ты не расстраивайся. Пройдет.

Пока он сидел тут рядом со мной, такой старый и спокойный, мне было легче. Я поначалу только стыдился этого разговора. Мне казалось, что он меня поднимет на смех.

— Эго пройдет,— повторил он.— Я три раза тонул, я уже знаю. Так было, что и на берег выскочил, да что толку! Один мой камрат тут же потонул, а у другого все тело с холоду пошло волдырями. Тут, чего доброго, убежал бы с моря без оглядки — и ничего. Рыбачим.

— Я знаю,— сказал я.— Мне Свистунов говорил.

Было заметно, как он обрадовался.

— Ага. Ему фамилия Свистунов, который захворал тогда с холоду. Очень хороший человек. Ты с ним плавал, что ли?

«Какого черта он нянчится со мной?» — подумал я. Он хотел разговорами отвлечь меня от моих мыслей — дело понятное. Но зачем же тогда рассказывать о хороших моряках? Я же никогда не буду таким. Это я буду рассказывать о Кононове и о Свистунове, но матросы, собравшиеся поболтать на палубе, никогда не станут вспоминать обо мне. Разве что Свистунов вспомнит: был, дескать, такой, да весь вышел.

Волна сильнее ударяла в борта. Со стенки капало. Я видел, как в щелях чуть заметно проступала вода.

— Вода,— сказал я, указывая пальцем на тоненькую струйку, стекавшую на койку.— Подводная часть у вас плохо просмолена.

Кононов поднялся с койки. Разговаривать со мной было бесполезно.



— Александр Андреевич, по-видимому, я больше не смогу
ходить в море.

— Вот что,— сказал он.— Некоторые боты сейчас побегут к берегу. Я пересажу тебя, хочешь? Скажем: ослаб — и все.

— Да, я, пожалуй, на берег...

Я вышел на палубу, держась за поручни. Я в самом деле сильно ослабел. Я ослабел, а ветер, пока я валялся на койке, окреп, и волна уже перекатывалась через палубу, и паруса были спущены, потому что борт совсем заваливало набок. Меня сняла «Песчанка», раньше всех окончившая лов. На «Песчанке» я тоже сразу повалился на койку и часа через два был уже на берегу.

Когда под вечер Кононов возвратился домой, я лежал у себя на кровати за шкафом. Я не вышел ужинать. Сказал, что у меня болит голова, и не соврал: в самом деле, болела она отчаянно. Полночи я вовсе не спал.

Утром Кононов растолкал меня и сказал:

— Погодка как заказная. Не хочешь ли сходить с нами?

— Хочу,— сказал я.

Мне подумалось, что может быть, сегодня все будет иначе, и, если Кононов все-таки звал меня с собой, стало быть, и он думал так же. Может быть, я просто потерял за время болезни много сил, и моя вчерашняя слабость была обыкновенной слабостью выздоравливающего человека, а все остальное я уже сам придумал. Мы оделись, попили, как полагается, чайку и, болтая о разных разностях, пошли на брюгу. Уже у самой брюги я остановился. Даже не поднявшись на борт, я понял, я наверное знал, что не к чему уходить в море. Нет надобности повторять опыт. Я не смогу плавать. Мне станет плохо еще до того, как мы выберемся из губы. Все повторится сначала.

— Я не пойду,— сказал я.— Вы извините меня.

— Не знаю, что с тобой и делать,— сказал Кононов. Вся эта история, по-видимому, его всерьез огорчала. Но я-то уж знал, что мне делать теперь.

Вот мое письмо Студенцову:

Дорогой товарищ Студенцов!

Не могу сказать, как я обрадовался, получив Ваше письмо Спасибо и Вам, и товарищу Овчаренко, и всем товарищам с «Бсломоря», которые меня не забывают. Вы пишете, что ничего

не имели бы против того, чтобы опять зачислить меня в свою команду. Значит, хотя я и был новичком в морском деле, но все-таки не слишком обременял Вас и команду своей неопытностью и, во всяком случае, работал не за страх, а за совесть. За время моего выздоровления я только и мечтал поскорее опять попасть на ваше судно, опять поплавать вместе со всеми. Но я, товарищ Студенцов, не могу больше плавать. То, что случилось со мной в памятную всем нам ночь, по-видимому, оставило во мне след на всю жизнь. Это хорошему моряку идет на пользу, как вы говорите, а такого моряка, как я, только окончательно портит. Я дважды выходил в море на том самом рыбацком боте, который меня тогда спас, и дважды мне было совсем скверно. Неловко писать о подробностях, но вы мне поверите, что зря я не стал бы писать. Больше всего в жизни мне хотелось бы плавать.

На днях думаю вернуться в Ленинград. В Мурманске останавливаться не хочу. Но если вы в это время будете стоять в порту, первым делом, конечно, приду повидать вас. Передайте, пожалуйста, мой горячий привет всем товарищам. Если будут спрашивать обо мне, объясните, что я, по-видимому, заболел надолго. Еще раз большое спасибо и Вам и товарищу Овчаренко.

Е. Слюсарев.

Я написал это письмо в тот же вечер. С ночным парходом оно ушло. Я долго не возвращался на кононовскую квартиру. Прямо с почты пошел бродить по берегу, сидел у губы, сидел, смотрел на воду и, не знаю, кажется, ни о чем не думал. Меня точно выпотрошили. Я только жалел, почему я не уехал нынче же с рейсовым парходом — следующий нужно было ждать пять суток.

А потом меня окликнули. Я обернулся и высоко на обрыве увидел девушку, которая махала мне рукой. Потом она куда-то пропала и, пока я искал ее глазами, очутилась у меня за спиной.

— Здравствуйте. Я искала вас. Говорят, вы еще больны? — сказала Лиза. — У вас совсем не плохой вид. С чего они взяли, что вы еще больны?

ДАЛЬШЕ ОТ МОРЯ

— Было очень ветрено. У нас перевернулась лодка, когда мы шли озером. Там, возле нашего лагеря, огромное озеро,— рассказывала она.— Два мешка муки, крупа, консервы, спички, половина запасов — все на дно.— Она рассмеялась. Я, конечно, тоже рассмеялся.— Вот и пришлось опять тащиться в лавочку за полторы сотни километров.

Я никогда не думал, что здесь, в тундре, можно так загореть. Она была совсем коричневая. На лбу у самых корешков волос еще шелушилась обожженная солнцем кожа. Лицо ее в первую минуту казалось незнакомым, к нему нужно было привыкать снова. Узнать сначала морщинки в уголках губ, потом ноздри, прыгающие от смеха, глаза...

Она уже успела мне все рассказать: где их лагерь, кто там живет, зачем она опять приехала в становище,— а я только теперь догадался взять ее за обе руки, пробормотал что-то невразумительное, пожал и сразу же бросил.

— Не думал встретить вас,— сказал я.— Вот уже чего не думал, так не думал.

— А я думала. Я очень хотела вас увидеть.— Она перестала смотреть на меня.— Когда я уезжала, вы ведь были очень плохи. Но я не имела права задерживаться. Ну, а писать? — Она пожала плечами.— Там, где мы, нет почты.

Мы сидели рядом на камне. Прилив гнал воду к самым нашим ногам, водоросли, сухой тростник, принесенный с реки, уже плескались совсем близко.

— Вы тонули? — сказала она, глядя в сторону.

Я кивнул головой.

— Да. Но вам, вероятно, рассказывали об этом.

— Я сама видела, как вас принесли на носилках. Вам было очень плохо, когда я уезжала отсюда в мае.

Она точно совестились того, что ей пришлось уехать, когда я лежал без сознания. Она то и дело заговаривала об этом. Чудачка, честное слово! Точно я мог на нее сердиться. Я подумал о другом, о том, как будет плохо, если она меня спросит, что я намереваюсь делать даль-

ше, когда опять пойду в море. Придется что-нибудь соврать: рассказывать все, как есть, мне не хотелось. Но я еще ничего не успел придумать, как она спросила:

— А теперь вы куда?

— В Ленинград,— сказал я.— К сожалению, придется в Ленинград. Я так ослабел после всей этой передрыги, что сейчас не могу в плавание. Временно, разумеется...

— Да, пожалуй, вам следует отдохнуть.

Она как-то странно сказала это. О чем она думала? Я взглянул ей прямо в лицо, но ничего не понял.

— Когда же вы едете?

— Через пять дней, как придет пароход. А вы?

— Я? — Она опять рассмеялась.— Я же вам говорю: накуплю всякой всячины — и обратно в тундру.

Я подсчитал, что экспедиции заканчивают свою работу осенью. Нынче середина июня. Так. Стало быть, опять на три месяца. Если не считать моей болезни, я не видел ее почти три месяца,—последний раз в Мурманске, в коридоре гостиницы...

— Я все-таки очень рада видеть вас живым и здоровым,— сказала она вдруг и даже тронула меня за руку.— Честное слово, ужасно рада.

— Я еще должен извиниться перед вами, Лиза,— сказал я.— Последний раз в Мурманске...

Она мне не дала договорить.

— Бросьте вы, мало ли чего не бывает. Кстати, должна вам сказать,— она искоса окинула меня глазами,— вы сильно изменились за это время. Худенький, конечно, после болезни, а между тем крепкий. Взрослее стали, что ли?

Взрослее я, конечно, не стал, потому что смутился и смолчал как дурак. Однако характер у нее был далеко не простенький. Я это еще раньше заметил. В школе она, наверное, была одной из тех беспокойных девчонок, которые на язык не хуже любого парня, сами всех задевают и дразнятся.

— Вы даже похорошели, честное слово,— сказала она.

— Да бросьте вы...

Что я мог ей ответить? Я же видел, как у нее ноздри вздрагивают от скрытого смеха. Конечно, это она сказала нарочно, чтобы только подразнить меня.

— Ну, не хотите — не надо.— Она поднялась и смахнула с юбки песок.— Надо идти.

— Куда?

— Как — куда? Старики ждут — уху есть. Я ж на свое место вернулась, в уголок за шкафом, а там, оказывается, вы.

Дорогой мы шли молча, я — на полшага позади нее. Вдруг она остановилась и пошла рядом.

— Я все-таки хочу, чтобы вы подробно рассказали мне обо всем, что с вами произошло. Может быть, вам тяжело об этом вспоминать? Нет? Завтра тогда расскажете?

— Хорошо. Только я ведь многого сам не помню.

Она шла рядом со мной и смотрела на меня. Лицо у нее было серьезное-пресерьезное.

— Но вы все-таки молодец,— сказала она.

Мы пришли к Кононову и сели ужинать. По случаю ее приезда уху ели под водку, то есть водку пили мы со стариком, и я выпил целых три стопочки. Больше не мог, с непривычки в глазах все колесом пошло. За ужином Лиза ко мне почти не обращалась, а я был и рад, что она со мной не заговаривает. Я сидел и смотрел на нее — во и все. Она без умолку расспрашивала Кононова о его рыбацких делах, потом опять рассказывала, как они утопили два мешка муки и, черт его знает, какие-то галеты, что ли. До сих пор не знаю, что именно они там утопили, хотя все время слушал ее и смотрел во все глаза.

— Да ты, матросик, в тарелку побольше смотри,— вдруг выпалил Кононов.— Ты не глазами — зубами работай!

Спать мы улеглись так: хозяйева на своем месте, Лиза тоже на своем месте за шкафом, а я в кухне на полу вместе с Володькой (Володька — это внук Кононовых). Очень скоро все уснули, только я еще не спал. Вдруг дверь в кухню приоткрылась. Окно было плотно занавешено, в сумерках я увидел Лизу, ее лицо и руку, державшуюся за дверь. Я приподнялся с пола.

— Вы не спите?

— Нет.

— Я вот о чем подумала,— сказала она.— Стоит ли вам уезжать в Ленинград? Может быть, вы пойдете со мной в тундру?

Я спал не раздеваясь и сразу же вскочил и подошел к двери.

— Тихо вы, людей разбудите, — сказала она. — Завтра у нас будет время договориться обо всем.

— Завернитесь в одеяло и выйдите сюда, — сказал я шепотом. — Я, конечно, пойду с вами хоть в тундру, хоть к черту на рога. Но что я буду делать в тундре? Что я смыслю в вашем деле?

— Завтра договоримся обо всем.

Она юркнула за дверь. «Уснешь тут, жди», — подумал я, подошел к окну, откинул занавеску и высунул голову наружу. Было светло как днем, однако в домах спали. Я долго смотрел на дома с занавешенными окнами, на прохладное ночное солнце, лежавшее на гребне береговых гор, и твердил: завтра, завтра. Потом лег, засунул в зубы папиросу, передумал, закинул руки под голову и сразу же уснул. Меня разбудили брызги холодной воды. Проснувшись, я увидел Лизу, она стояла возле меня и вытирала лицо полотенцем.

— Я не возьму вас с собой, вы слишком много спите, — смеялась она.

Лавка при сельдяной фактории открывалась в девять часов, мы вышли из дому без десяти девять: Лиза торопилась. Я катил перед собой ручную тележку, чтобы отвезти ее покупки на брюгу, где стояла лодка.

— Ну, — сказал я. — Говорите, что же я буду делать в тундре? Я же как-никак матрос.

Она пожала плечами.

— О чем вы беспокоитесь? Уж поверьте, что от вас никто не будет требовать геологических знаний. Вы умеете грести, у вас крепкие руки — вот это все, что от вас требуется.

— Только-то? — сказал я. — Ну, тогда дело выйдет!

К двенадцати часам мы погрузили в лодку все, что она накупила: муку, крупы, овощные консервы, табак и спички и еще три бидона горючего. При лагере у них, оказывается, имелись моторные лодки, то есть две обыкновенные шлюпки с подвесными шестисильными моторами.

— Погодите-ка, — сказал я. — Это мне тоже подходит. Я тут от безделья немного подучил мотор. На плохой конец, могу быть мотористом.

Моторист им не требовался. У них было двое, два

парня, которых она наняла здесь месяц с лишним назад.

Я удивился:

— Почему же вы не пришли на моторке?

Моторка сократила бы ей путь по крайней мере в три раза, а у нее была тяжеленная четырехнабойная лодка, лохань лоханью. Ходила она под веслами, и лодочник был местный колхозник, молчаливый саам с трубочкой, которую он, по-моему, не вынимал изо рта, даже когда обедал.

— Да,— сказала Лиза,— на моторке, конечно, скорее, но в день моего отъезда на одной, как назло, поломалась лопасть, а на другой тоже что-то испортилось.

— Действительно, как назло,— сказал я.

Она задумалась.

У меня тоже была такая мысль. Мотористам просто не хотелось идти в становище. Чего им? Здоровые парни, живут, рыбку удят и ничего ровным счетом не делают.

Мы закончили погрузку и пошли прощаться с Коновым. Еще стояла малая вода, нечего было и думать о том, чтобы до начала прилива подниматься от устья вверх по реке.

Как удивились старики, когда я им сказал, что ухажу на лодке вместе с их гостьей! Никогда не забуду их удивленных физиономий.

— Так,— сказал Конов.— Барышню, значит, пойдешь провожать? Дело подходящее.

— Он будет работать,— сказала Лиза.

— Ну, ну, работай, ковыряйся в болоте, сухопутный моряк.

Он подтрунивал надо мной, а между тем, я видел это, был очень доволен. Старик относился ко мне замечательно, и то, что эти два дня я ходил сам не свой по причине моих морских неудач, его от души огорчало. Теперь же я сидел как на иголках, то и дело смотрел на часы и высевывался в окошко, чтобы не проворонить прибылую воду,— словом, вчерашнее мое настроение как рукой сняло.

Наконец мы поднялись, пожали руку старому мореходу, и я поблагодарил его за все — за мое спасение, за заботы, за приют, который он дал мне, чужому для него человеку,— и трижды расцеловался с его старухой. Они вышли на улицу проводить нас. Мы уже сворачивали

к пристани, а они все стояли у своего заборчика, смотрели нам вслед. Вот люди! В конце концов что им я, что эта приезжая девушка? А старики напоследок проговорились. «Езжайте, ребята,— сказал Кононов,— мы-то, конечно, к вам попривыкли. Придется теперь поскучать». И когда мы уже свернули к пристани, а они вдвоем вернулись домой, думаю, что пустой и скучной показалась им их маленькая квартирка...

...И вот Иван Сергееч, наш лодочник, выбрал чалку на борт и, вытерев ладони о штаны, взялся за весла. Трубка его дымила, как пароходная труба. Я сидел на руле, передо мной была груда мешков и ящиков, за ящиками — Иван Сергееч, за Иваном Сергеечем — бидоны с бензином, и за бидонами — Лиза. Я видел только ее руку, лежавшую на борту, и краешек платья. Когда она мне что-нибудь говорила, она перегибалась через борт, и я тоже перегибался через борт, и, наклонившись головами над водой, мы переговаривались друг с другом. Вода стояла высоко. Мы быстро прошли мимо свай, вбитых у берега, мимо ботов со свернутыми парусами, и на одном из них сидел мой дружок моторист Крептюков, и я помахал ему рукой. Так все мне было привычно здесь, на берегу — боты, рыбаки на ботах, домики, раскинутые на песчаной косе,— точно я прожил тут много и много времени. Еще по берегам реки поднимались черные скалы, и в ложбинках между скалами лежали небольшие лужки, засеянные кормовыми травами. Они были огорожены обломками лодочных досок и корабельных мачт. Вскоре эти зеленые, защищенные от северных ветров лужайки остались позади. Мы прошли мимо маленького кладбища с деревянными крестами и надгробными столбиками. Некоторые столбики были совсем свежие: тут лежали те, кого убило море в памятное мне апрельское утро.

«Куда меня только не швыряло,— думал я,— что только со мной не приключалось за последнее время! А что будет дальше?»

Лиза перегнулась через борт и крикнула мне, чтобы я держал ближе к плесу. Я видел ее всю до пояса и ее отражение в воде,— точно дама в карточной колоде. Уже береговые скалы снизились и вытянулись в одну черную грядку, отвесно обрывающуюся в реку. Мы все дальше и дальше уходили от становища.

— «Нынче здесь, завтра там,— напевал я, направляя лодку на плес, на главную струю прилива.— Нынче здесь, завтра там...»

В лицо потянул ветерок. Он принес с собой какой-то особый, забытый мною запах. Море так не пахнет. Это был запах суши, ветер с берега. Он пах цветами.

Глава XXXV

НЕСЧАСТНЫЕ РЫБОЛОВЫ

Вокруг была пустыня. Она открылась сразу за излучиной реки. И она пестрела весенними цветами, цвела до самого горизонта!

На травяном берегу я видел лютики, и куриную слепоту, и кувшинки, и еще какие-то незнакомые мне темно-синие цветы. Потом шли мхи. Сизые оленьи мхи, густо поросшие черникой и гонобобелем. Заросли шиповника обрывались над самой рекой, нависали так низко, что, проходя под ними, нам приходилось отклонять головы в сторону. Мхи синели без конца. Далеко-далеко я видел какие-то голубоватые пятна, точно полыньи в этом море оленьих мхов,— это были озера. И ни деревца не виделось вокруг, только на южных склонах невысоких пригорков кое-где торчала одинокая березка. И что это была за жалкая березка! Примерно мне по плечо, а между тем это было многолетнее, может быть старое, дерево.

Еще ниже были сосны. Они просто стлались по земле, тянули свои корявые сучья к югу, к солнцу, точно хотели совсем зарыться в мох либо удрать без оглядки прочь от северного ветра.

Но цветы — цветы были великолепны. Я никогда не думал, что здесь, в голой полярной пустыне, может быть столько цветов. Даже на куриную слепоту я смотрел так, словно ее никогда не видел. И все они пахли, и над ними туда-сюда носились шмели,— все, все, как полагается весной.

Иван Сергееч что-то медленно стал пошевеливать веслами. Он устал. Хотя прибывшая вода сама еще несла нашу лодку вверх (прилив здесь заходит в реку на десятки километров), но все-таки выгрести часов пять без пере-

дышки — дело нешуточное. Я встал, чтобы сменить его на веслах. Мы должны были подняться еще километров на двадцать вверх по реке и там сделать привал, но тут Лиза взбунтовалась. Она тоже хотела грести и требовала, чтобы я сидел на руле и не мешался не в свое дело. Ладно, мы помирились на том, что она возьмет одно весло, а я другое, — скамья была достаточно широка для того, чтобы на ней поместиться вдвоем. Теперь мы сидели рядом, и она все время толкала меня плечом в бок — гребла она, прямо надо сказать, неважно.

Потом нас стал заедать гнус. Комары по сравнению с этой подлой мошкой просто безобидные мотыльки. Главное, что эта подлая мошка садилась на веки, в уголки глаз, на лоб у корешков волос, даже набивалась в ноздри. Мы надели сетки — глухие марлевые мешки, которые завязывались вокруг шеи. Стало полегче, но ненадолго. Подлая мошкара ухитрялась набраться даже под марлю. Удивительно глупый вид был у нас в этих мешках; на свою соседку я не мог смотреть без смеха.

Встречное течение становилось сильнее, это значило — там, в море, прилив кончился. Мы шли под берегом, сучья зацветающего шиповника терлись о борта, о бидоны с бензином, о наши плечи и головы.

«Минна-Нийтти, Минна-Нийтти» — тихонько и гнусаво напевал Иван Сергееч. Он даже трубку вынул из рта (оказывается, он все-таки иногда ее вынимает). О чем он пел?

— Что такое Минна-Нийтти, Иван Сергееч?

Иван Сергееч покосился на Лизу и ответил (как все саамы, он очень хорошо говорил по-русски):

— Минна-Нийтти называется маленькая девочка, Лунный Луч. Она сходит с луны, а зачем — я позабыл. У нас мало стариков, которые помнят старые сказки.

— Курите уж лучше, — с досадой сказала Лиза.

Река становилась уже, течение на перекатах было стремительным. Часа через два-три Иван Сергееч поднял трубку, зажатую в кулаке, и указал далеко на запад, туда, где мхи сходились с небом.

— Чокк, — сказал он.

— Он видит горы, — сказала Лиза.

Я взгляделся по направлению вытянутой руки. Туман или синие облака застилали горизонт, над ними подни-

малось что-то черное — может быть, чернолесье на ска-
тах горы, а еще выше — белый и острый горный пик.
Этот чокк до самой макушки был в снегу и похож на
сахарную голову, весь в тучах, как в синей обертке.
Чокк, чорр, яур¹ — какие все странные, режущие
ухо слова!

Солнце уже обошло нас и стояло теперь с правого
борта, низко, над самым берегом, когда мы вышли в
небольшое озерко с такой прозрачной водой, что на глу-
бине метров десяти я видел камешки и каких-то мелких
рыбок, стайками ходивших по дну. Наша тяжело нагру-
женная лодка точно повисла в темно-зеленом сгусти-
вшемся воздухе. Мы пересекли озеро напрямик, как вдруг
на берегу я увидел человека. Я должен подробно описать
его вид, иначе будет непонятно, почему мы с Лизой од-
новременно перестали грести и уставились на него, забыв
обо всем на свете.

Человек стоял у самой воды и, прикрыв ладонью
глаза, смотрел в нашу сторону. На нем были темные
брюки, жилет и рубашка с аккуратно повязанным гал-
стуком. Он носил пенсне, и из жилетного кармана у него
высовывались наконечники автоматических ручек. Мож-
но было подумать, что он забрел сюда, в тундру, за По-
лярный круг, напрямик из Летнего сада, только снял
пиджачок, пригревшись на солнышке.

— О господи! — сказала Лиза. — Что это такое?

Мы одновременно налегли на весла и пошли к бере-
гу. Лодка так и врезалась в мягкий песок. Станный
обитатель тундры стоял возле самой воды, и, конечно,
он не забыл надеть пиджак, заметив, что в лодке си-
дит женщина.

— Добрый вечер, — сказал он, поклонившись нам
всем. — Далеко направляетесь?

— Далеко, — сказала Лиза. — О господи! А вы-то что
тут делаете?

Человек протянул руку, чтобы помочь ей сойти на
берег, но она соскочила сама. Действительно, нужно ей
было для этого держаться за чью-то руку! Я тоже со-
скачил на берег. Оказалось, что этот странный пустын-

¹ Чокк — по-саамски — горный пик, чорр — горный хребет,
яур — озеро.

ник в пиджачке и с галстуком был не один: поодаль от воды стояла походная палатка, горел костер, и перед костром сидел на корточках другой человек, что-то помешивая в большой кастрюльке. Тот, что сидел у костра, имел самый обыкновенный вид — болотные сапоги, гимнастерка без пояса, кепка. И ничего не было вокруг них — пустыня и пустыня.

— Что вы тут делаете? — повторила Лиза.

— Будем знакомы, — улыбнулся человек в пиджачке, словно извиняя ей ее нетерпеливость. — Валевский, Семен Аркадьевич.

Мы поочередно назвали свои фамилии, пожали руки (причем я даже не успел вытереть свою о штаны, а она была грязнущая) и, поблагодарив хозяина за приглашение, чин чинном направились к палатке. Тот, что сидел у костра, только сухо кивнул нам головой и продолжал помешивать ложкой в кастрюльке, словно бы нас тут и не было. Надо сказать, оба пустынного выглядели не шибко веселыми, только один был зол, как черт, и явно плевал на всех, а пустынный в пиджачке, по фамилии Валевский, хотя и грустил, но из вежливости прикрывал свою грусть улыбкой. Я уселся на травку, а Лизе он предложил складной стул.

Так как мы молчали и все еще с удивлением смотрели на него, то он невесело улыбнулся и сказал:

— Вы интересовались, что мы здесь делаем с моим другом? Видите ли, мы рыболовы. Мы, разумеется, не профессиональные рыболовы, а рыболовы-любители. Я, в частности, главный бухгалтер Ленмашснабсбыта, а мой друг, Василий Васильевич Лященко, заведует универмагом на проспекте имени Либкнехта. Если вы ленинградцы или бывали в Ленинграде...

— Кому нужны эти подробности? — сердито прервал его заведующий универмагом.

Семен Аркадьевич, главный бухгалтер, грустно улыбнулся и пожал плечами, а заведующий бросил ложку в мох и, обернувшись к нам, продолжал:

— Короче говоря, мы действительно рыболовы. И мы — несчастные рыболовы, несчастные люди, можете мне поверить. Чур, не я виноват в этом.

Опять бухгалтер меланхолично пожал плечами, а тот продолжал:

— История нашего несчастья такова: мы ежегодно проводим наши летние отпуска под Ленинградом на Мсте или на Оредеже, занимаясь там рыбной ловлей. В обычное же время мы ловим рыбу у Биржевого или Литейного моста, и уверяю вас, что лещи там берутся на моченый горох не хуже, чем где бы то ни было. Вы не подумайте, что мы из тех дачных рыболовов, которые по полсутки торчат с удочкой у какой-нибудь лужи, а потом их дурашные ребятишки носятся по соседним дачам — «папа поймал колоссальную красноперку!». Мы в самом деле мастера рыболовного дела. Мы знаем и ноттингемскую ловлю, и ловлю нахлыстом, и на неподвижную и на бегущую снасть. И вот наш товарищ, вернее — его товарищ, — он сердито покосился на своего компаньона, но тот печально смотрел на мхи, сливавшиеся у горизонта с облаками, — его товарищ, тоже рыболов, поступил на работу в Мурманск. В начале мая он прислал нам письмо, в котором писал, что собирается провести свой отпуск на озерах в тундре. Он подробно описывал нам здешние богатства — форелей по пяти кило, гольцов и лососей — и приглашал нас провести отпуск с ним вместе. Я не верю в бога, но люблю поговорку: «Когда бог захочет наказать человека, он лишает его разума». Мы купили билеты, купили вот эту палатку и поехали. С блеснами, удочками и сачками поехали за две тысячи километров от наших служебных кабинетов, от чудесной деревеньки на Оредеже, где сейчас проживают наши семьи. В тундру, в пустыню.

— Я полагаю, — глядя на мхи, сказал главный бухгалтер, — что на один квадратный километр тундры приходится одна восьмая — одна десятая человека.

— Наш товарищ, — продолжал заведующий, пропустив это замечание мимо ушей, — встретил нас как-то странно. Часа через полтора после нашего приезда он сказал, что, к сожалению, ему сегодня же необходимо вернуться в Мурманск. В его смущении и торопливости я почувствовал что-то неладное. Может быть, легенды о пятикилограммовых форелях оказались враньем? Но нет, он накормил нас по приезде великолепной форелью, и уха из маленьких гольцов была тоже очень вкусной. Ах, почему я не послушался тогда моего предчувствия!

Он уехал на своей лодке, а мы остались. Нам не тер-

пелось поскорее добраться до озера, и, даже хорошенько не отдохнув, мы распаковали наши спиннинги и уселись на бережку. Ловля превзошла все наши ожидания. Вы поймете мой восторг, когда я вывел первую в моей жизни кумжу. Ничего подобного я до сих пор не видел. Она прыгала и кувыркалась над озером, точно молодой жеребенок на полянке. Она весила три килограмма семьсот шестьдесят пять граммов. Через полчаса мой товарищ взял вторую, которая принялась скакать еще выше. Мы забрасывали после этого дважды и взяли еще одного гольца и еще одну форель. Для вечера это было более чем достаточно.

В пять утра мы были опять у озера. Оказывается, накануне рыба просто не клевала. Да, накануне был просто неудачный для рыболова день. Сумасшедшие рыбы клевали, как только мы забрасывали приманку, они там, наверное, кусались и дрались между собой, хватали мушку, как только она касалась воды. К восьми утра у нас было навалено на берегу по пуду гольцов и форелей. Сколько может съесть один главный бухгалтер и один работник госторговли? Мы позавтракали килограммами двумя, а остальную рыбу, когда она передохла, зарыли в мох, чтобы не отравлять воду.

Целый день мы провалились в палатке. Идти с удочками на озеро было бессмысленно, раз мы были сыты по горло. К вечеру вернулся аппетит, и мы опять заняли на бережку наши места. Рыба кидалась на наживку, точно она не ела от рождения. Мы решили выбрасывать мелочь, то есть рыбешек весом до трех кило, а брать только поувесистей. Через полчаса у нас было две кумжи, по четыре килограмма каждая. Это было все, что угодно, только не рыбная ловля. С таким же успехом я мог в Ленинграде открыть банку бычков в томате и удить в ней вилкой. Интерес приблизительно одинаковый.

Теперь вы понимаете наше положение, — оно в самом деле ужасно. Половины наших отпусков как не бывало, восемь дней мы добирались сюда и сидим здесь уже пять суток. Так дальше жить нельзя. Остаться здесь еще хотя бы на день — это безумие. Мы же рыболовы, живые советские люди, а не рыболовные механизмы, не пожиратели рыб. Я хочу домой, к жене и детям. Я хочу сидеть с удочкой у Биржевого моста, ехать туда и об-

ратно на трамвае, а под выходной день — на Оредеж, брать там за вечернюю зорю двух язей и мечтать о том, чтобы клюнул третий. И пускай мой сынишка хвастает: «Папа поймал колоссальную красноперку», — а это будет нормальная рыбка на двадцать пять граммов, а не черт знает что.

С этими словами он схватил одну из удочек, лежавших возле палатки, и опрометью кинулся к берегу. Мы поспешили за ним. Он опустил тормоз в катушке и, размахнувшись, забросил блесну с грузилом на самую середину озера.

— Раз, два, три, четыре, пять, — нетерпеливо бормотал он, отсчитывая секунды носком сапога и подводя блесну к берегу.

На семьдесят пятой секунде бамбуковое удище в его руках изогнулось дугой, и вскоре огромная кумжа, заполярная форель, забилась на берегу, подцепленная на крючок.

— Я говорил вам, что это безумная рыба! Вы видите, что я не вру! — крикнул заведующий универмагом и, ухватив обеими руками свою добычу за жабры, размахнулся, чтобы швырнуть ее обратно в озеро.

— Постой! — сказал его товарищ. Унылые глазки вдруг оживились и заблестели под стеклышками пенсне. — Зачем бросать? Может быть, наши гости проголодались с дороги?

Заметно повеселев, он рысцой побежал к палатке за своей удочкой, но заведующий универмагом швырнул кумжу в воду, мрачно махнул рукой и сказал:

— Там, у кустов, лежат пять штук, по три килограмма каждая. Я взял их, пока ты спал, час назад.

Молча они повернулись к озеру спиной, а мы, давясь со смеху, двинулись за ними. Уха и отварная форель были действительно замечательными. За едой я не утерпел и сказал:

— Я сам матрос тралового флота. У нас бывают подъемы по десяти — пятнадцати тонн одной только трески. Вот бы где вам попробовать ловить рыбку!

— Это неуместная шутка, молодой человек, — в один голос сказали оба рыбака.

НОЧЛЕГ

В тот же вечер мы проводили неудачливых рыболовов, которые раз навсегда решили распрощаться с тундрой. Мы откупили у них за ненадобностью складной стул, резиновые подушки и палатку, все походное оборудование, которое эти бедняги так заботливо запасли накануне своего путешествия. У них была переносная лодка из прорезиненной ткани. Чудак-рыбак в пиджачке и в галстук сел на руль, а другой чудак-рыбак на весла, и они, погрузив в лодку свои кастрюльки, термосы, удочки и рыболовные приспособления, быстро пересекли озеро и направились вниз по реке прямым путем из тундры к Биржевому мосту и даже ни разу не оглянулись на берег — так он им осточертел.

Посмеялись же мы, когда они уехали! Даже Иван Сергеич вынул свою соску изо рта и, наверно, минут десять хрипел, плевался и кашлял.

Затем мы стали укладываться спать.

Было около двенадцати часов ночи. Легкий туман или облака протянулись над мхами, и низко опустившееся солнце было красным и удлинненным, как яйцо. Оно светило и не грело. Ветерок становился прохладным. Теперь он приносил с собой только едкий запах стоячей воды — запах дальних болот. Перед тем как зайти в палатку, я еще постоял у входа. Мхи посинели и потемнели. Тень от противоположного берега лежала теперь на всю ширину озера, и вода в нем была совсем черная. Рыба не плескалась, все точно замерло под этим чужим, длинным, холодным солнцем. Только какой-то одинокий шмель кружился еще вокруг желтых цветов возле нашей стоянки. Вскоре его слабенькое жужжанье затихло.

Иван Сергеич наотрез отказался ночевать в палатке, он предпочитал мох и открытое небо. Он улегся на мху и завернулся с головой в кусок старого одеяла. Некоторое время изо всех дыр этой рваной тряпки еще валил трубочный дым, и, когда он рассеялся в воздухе, сразу же стал слышен тоненький храп. Иван Сергеич уснул. Мы вошли с Лизой в палатку.

Она приготовила себе постель по одну сторону от входа, мне по другую. У нее было вместо одеяла осеннее пальтецо до колен, у меня бушлат, и я подумал, что ночью будет прохладно. Мы легли, плотно задернув полотнище у входа, чтобы не налетела мошкара.

— Спокойной ночи,— сказала Лиза.

— Спокойной ночи.

Стены палатки слабо просвечивали на солнце. Не темнота, а густые красные сумерки были внутри. Я не люблю такого света. При таком свете трудно уснуть. Я видел Лизу. Она лежала ко мне спиной, поджав ноги чуть ли не к подбородку. Пальто ее было слишком коротко, чтобы она могла им накрыться во весь рост.

— Вам неудобно?

— Нет, хорошо. Только все никак не могу завернуться с головой и с ногами.

— Дайте я укрою,— сказал я, вставая.

Я укрыв ее ноги и подвернул пальто под травяную подстилку. У нее на колене порвался чулок,— если ночью колено откроется, мошкара закусает. Я вернулся на свое место и лег.

Эти красные сумерки были невыносимы. С полночи солнце поползет вверх, в палатке станет еще светлей. Я повернулся лицом к брезентовой стенке. Хорошо, что мошкеры налетело немного: если бы налетела мошкара, нечего бы и думать о том, чтобы уснуть. Я лежал и прислушивался, как они гудят там за полотнищем — комары и целые полчища этой ядовитой мошки. Воздух вокруг палатки точно звенел тихонько-тихонько,— мне показалось сначала, что это у меня в ушах так звенит.

Лиза тоже не спала. Я все слышал. Два раза она повернулась с боку на бок, ее колено с порванным чулком, наверное, опять открылось.

Потом я лежал на спине и слушал какие-то странные звуки, точно далеко в тундре шел обоз и пронзительно вразнобой поскрипывали колеса. Они скрипели все ближе и ближе, потом скрип удалялся, затихал совсем, и на смену ему приходил новый. Один раз он был особенно резок и сопровождался каким-то гулким свистом — казалось, страшной силы ветер шел стороной, минуя нашу палатку.

Я услышал шепот:

— Как близко! Они над нами летят.

— Это гуси летят?

— Да, дикие гуси...

Свист и поскрипывание перешли в оглушительный гогот: стая опустилась где-то совсем рядом — должно быть, на озере. Сразу стало очень тихо.

— Сна ни в одном глазу, — сказала Лиза. Она приподнялась и головой прислонилась к брезенту. — Вы обещали мне рассказать о том, что с вами было. Можете сейчас рассказать?

— Это длинная история, — сказал я. — Ночь может пройти, Лиза.

— Ну и пусть.

Я сел и стал рассказывать — все, все, как было. О моем разгуле в мороз и вьюгу; о пьяном старом бандите, который пил одеколон и закусывал сырой рыбой; о том, как я удираю от милиции и как три дня спустя меня било море; о птичьем базаре и о глазах, светившихся в расселине; о моих оправдавшихся подозрениях; о Шкесбине, который приставил мне к горлу шкерочный нож; о первом шквале в страшное утро двадцать четвертого апреля; о голосе в наушниках радиотелефона, который просил нас о помощи, а мы ничем не могли помочь и все-таки пошли на помощь; об ударе о риф и о бесконечных часах в кубрике, когда судно уже ушло под воду кормой; о том, как я в последний раз увидел с палубы черные острова Старовер и Ведьма и как в следующий момент меня обожгла ледяная вода и оглушило падение. Я рассказал, наконец, о том, как несколько недель назад на берегу были подобраны обломки шлюпки с нашего судна и кости двух моряков, обглоданные песцами. Да, уж не такого конца желал бы я этим людям.

В рассказе все оказалось короче, чем я думал. Лиза не перебивала меня ни разу, она только спросила, почему, когда меня уже перенесли с бота на берег, я был весь в крови и с рассеченным лбом и как узнали, что скелеты в песке — это именно те два механика, а не кто-нибудь другой.

— А часики-то, часики-то? — сказал я. — Кроме того, была найдена шлюпка...

Она кивнула головой и после этого долго смотрела в угол, подперев подбородок переплетенными пальцами,

по привычке, знакомой мне еще с поезда. Она точно обдумывала все, что я ей сказал. Потом легла и по самые уши натянула свое пальто.

— В лагере,— сказала она с чуть слышным смешком,— вас ждет не очень интересная работа. Будете помогать мне ходить за водой и таскать хворост. Я там больше вожусь со стряпней, чем со зверями и птицами. Так уж получилось. Я единственная женщина в экспедиции и, по совести говоря, круглый неуч.

Она еще выше натянула свое пальто и замолчала, а я сидел в совершенном недоумении. Почему она ни с того ни с сего заговорила о том, чем ей приходится заниматься в экспедиции? Мы же разговаривали совсем о другом? Ну да, о другом! Надо же быть круглым болваном, чтобы не понять, почему это было сказано, да еще с такой бойкой усмешкой. Она не отрываясь, слова не проронив, слушала рассказ о моих похождениях на море, она меня считала настоящим человеком, который делал настоящее, трудное, взрослое дело, а она сама как была недоучкой-девчонкой, так, видите ли, и осталась недоучкой-девчонкой! Смех меня разбирал. С одной стороны, мне, безусловно, было приятно, что я так высоко стою в ее глазах, с другой — сама-то она мне стала как-то понятнее. Я всегда немного смущался ее и робел, и вот уж, действительно, подумал я, нашел перед кем робеть! Девчонка, милая, умная, своенравная, самолюбивая девчонка! Но главное, что девчонка, по сравнению с которой я, в самом деле, взрослый человек.

Я встал со своей подстилки и, все еще смеясь про себя, подошел к ней. Она все-таки уснула, чудачка. Только лоб да кончик носа выглядывали из-под пальто, да еще пятки. Они зябли, им было холодно, она так смешно подворачивала их со сна одну под другую. Подумав, я накрыл ее ноги своим бушлатом.

— Спи ты,— сказал я. Сказал негромко, так что она даже не шевельнулась. Потом вышел из палатки.

Солнце еще стояло низко и не грело. Но уже было утро. По всему озеру ходили широкие круги — след играющей рыбы, и не один, с десятков шмелей гудели на травке. Иван Сергеич спал, подставив солнцу подошвы окованных железом сапог.

Я думал:

«Что за глупость так говорить: допустим, я ее люблю. Я ее люблю и люблю — и все тут. Ну ладно, а она?»

Я сел у входа в палатку. Впервые я взял да и сказал так прямо, что я ее люблю. Не ей сказал, не Лизе, а самому себе, конечно. Все равно это было хорошо. Это так хорошо, что лучше ничего не видеть вокруг, и я лег лицом в мох, закрыл глаза и обхватил голову руками. Со стороны, наверное, можно было подумать, что со мной произошло какое-то большое несчастье; иначе с какой стати человеку валиться ничком и хвататься за голову? Но меня никто не мог увидеть. Все спали, я один не спал.

А она? Что она скажет?

Да какое это сейчас имеет значение? «Бросьте,— скажет,— все это чепуха». Или: «Я только этого и хотела!» Люблю ее — и все тут.

Я уткнулся в мягкий олений мох, и солнце, поднимаясь, слегка обогревало мне щеку. Потом кто-то встряхнул меня за локоть. Все еще жмурясь и думая о своем, я, как тюлень, перевернулся на спину. Лиза стояла рядом со мной, она была в одних чулках, с плеча у нее свисал мой бушлат.

— Что такое? Почему вы тут лежите?

Я смотрел на нее снизу вверх и посмеивался — не вслух, а про себя, конечно. Никогда я не видел ее такой испуганной.

— Фу, как вы меня напугали!

— Спите вы,— сказал я ей и, встав, обеими руками взял ее за плечи и тихонько сжал их.— Спите вы, девочка-печенка.

Она посмотрела на меня не испуганно, нет, а просто растерянно. Пожалуй, она меня тоже не видела таким. Но я молчал, улыбался, думал, что, в сущности-то, она мне ростом до ушей, и, мало-помалу она становилась сердитой.

— Чего ради,— сказала она, откинув голову,— вы отдали мне свой бушлат? Раз навсегда — я не нуждаюсь в няньках.

«Ух,— сказал я сам себе,— много же независимости и самолюбия в человеке! В милом моем человеке, самом дорогом на свете».

Вместо этого я еще раз повторил:

— Спите.

Мы вместе вошли в палатку, сразу же легли и больше не разговаривали. «Завтра, — думал я, — завтра — в лодке. Нет, в лодке Иван Сергеич, а лучше — когда будет привал. Там удобней сказать. А она? Что она скажет?»

Я двадцать раз перекладывал резиновую подушку. Это ужасно неудобная штука: голова с нее все время сползает. В палатке было уже совсем светло. Лиза лежала лицом ко мне. Она притворялась спящей. Когда я привстал, чтобы поправить подушку, она сразу же закрыла глаза. Но она могла их закрывать сколько угодно и притворяться спящей, — я видел, видел! — она смотрела на меня, думая, что это я сплю.

Не знаю зачем, я вскочил и шагнул к ней и опустился на землю рядом с ее травяной подстилкой, — не помню в точности, на колени или на корточки. Она притворялась спящей, но я видел, ясно видел, что все лицо ее, даже лоб, заливалось густой краской.

Я тихонько позвал:

— Лиза!

Она открыла глаза. Больше нельзя было притворяться.

— Женя, голубчик, — сказала она и, освободив руку из-под пальто, слегка уперлась в мое плечо ладонью. Губами я прижался к ее пальцам. — Нам еще столько плыть и плыть завтра.

Впервые она назвала меня по имени.

Глава XXXVII

СКВЕРНЫЙ ДЕНЬ

Следующий день был пасмурным. По временам моросил дождь, скверный мелкий дождь, и всю тундру затянуло туманом. Берега изменились. Жиденькие ели, сушняк, бурелом тянулись в тумане, точно одно и то же изображение на склеенной ленте, которое ползет без конца и в сотый раз проходит перед глазами.

Мы выгребли в этот день километров сорок без передышки. Плечи ныли, руки я стер до волдырей. Рукоятки весел вымокли на дожде и поминутно выскальзывали из

рук. Держать их было сущим мучением. У Лизы, которая сидела на веслах в паре со мной, ладони стерлись в кровь.

Хуже всего было то, что мы здорово промокли, а укрыться было нечем. Весь брезент пошел на то, чтобы спрятать от дождя мешки с продуктами, и еще поверх брезента пришлось разостлать палатку.

С того самого часа, как мы отошли от берега, Лиза не разговаривала со мной. Она даже избегала смотреть на меня. Ее было просто не узнать, она как-то сжалась, ушла в себя; сидя со мной на веслах, сторонилась к борту, а когда греб Иван Сергеич и мы пересаживались: она — на нос, я — на руль, — садилась так, что спина нашего лодочника и бидоны с бензином закрывали ее всю целиком.

Я не мог понять, что случилось. Ведь ночью в палатке хотя и ничего не было сказано, но я целовал ее руку, и она не вырывала ее и назвала меня по имени, уговаривая лечь и уснуть, чтобы на другой день мы не клевали в лодке носом. Правда, я все равно не выспался, я тогда еще часа полтора, наверное, не мог уснуть.

А утром вот как вышло. Неважно я почувствовал себя утром, когда она еле-еле кивнула головой и сразу же заговорила о каких-то мешках с лапшой, о том, как бы они не подмокли.

Вдобавок с утра зарядил этот поганый дождь. Мы дважды сменились с Иваном Сергеичем на веслах, и к вечеру я бросил руль, чтобы сменить его в третий раз. Вот тут мне пришлось побеседовать с Лизой, как она этого ни избегала.

Я поднялся с места, и она поднялась. Мы гребли на пару — предполагалось ведь, что я еще слабенький после болезни; иначе какого черта мне было тащиться с ней в экспедицию, а не идти в море? О том, что при слове «вода» и «волна» у меня поджилки дрожат, я же ей ничего не рассказывал.

— Нет уж, — сказал я, когда она поднялась с места. — Отдохните там, за бидончиками. Справлюсь как-нибудь.

Не отвечая, она перелезла через кладь, пошла к веслам. Я взял весла и уселся посреди скамьи.

— Не валяйте дурака, — сказала она.

— Это вы не валяйте.

— Вы же скинете через полчаса.

— А вы полюбуйтесь на свои руки.

Я посмотрел на ее руки. На ту, которую я целовал. Она забинтовала ее носовым платком, и, когда сняли платок, вся середина платка была в крови.

— Ну уж это не ваша забота.

— Не спорьте и садитесь на место, — сказал я, начиная сердиться всерьез. В конце концов должен быть предел всякому упрямству. — Сказал: не дам — и не дам. Если вы сами не понимаете, что можно и чего нельзя делать, то я вас научу.

Она молча повернулась и полезла на свое место. Иван Сергеич хрипел, отплевывался, кашлял и смотрел на меня веселыми глазками: ему понравилось, как я с ней поговорил. Все же понимали, как она упряма.

Я скис не через полчаса, как мне было сказано, а часа через четыре. Но зато — как! Вылезая из лодки на берег, я поясницы не мог разогнуть — так она болела. Больше в этот день решено было не плыть, все мы были порядком измучены, а дождик как раз перестал, и на берегу у костра можно было хоть немного обсохнуть.

С костром, однако, ничего не получилось. По берегу стоял низкорослый еловый лесок, валежнику было достаточно, но, сколько мы ни плескали на сучья бензина, мокрое дерево только пускало пар и не разгоралось. Пришлось распаковывать ящик и доставать примус, и до чего же это было нелепое зрелище — примус с поставленной на него кастрюлькой, шипевший в тундре!

Я натаскал валежнику, принес воды и растянул с Иваном Сергеичем палатку. На этом, считал я, мои обязанности закончены. Тогда я взял свой бушлат, выбрал елку поразвесистей и улегся на мху у корневища, где посуше. Мне нужно было все-таки понять: что же произошло? Что произошло такое, отчего она стала шараться от меня, да, именно шараться? Лежа под елочкой, я пришел к невеселому для себя выводу, что дело объясняется чрезвычайно просто. Ей, как говорится, было плевать на меня — вот и все. А то, что произошло ночью, объяснялось еще проще. Когда я взял и поцеловал ее руку, она просто перепугалась. Она перепугалась, как любая девчонка на ее месте, и не знала, что ей де-

лать,— выскочить из палатки, разбудить Ивана Сергенча или же по-товарищески, попросту сказать: «Женя, голубчик, идите-ка к себе. День завтра трудный». В конце концов я все-таки не хулиган, не Аркашка, который на моих глазах приставал к ней в гостинице, и она это понимает.

На каждой хвоинке, на каждой ветке висели крупные дождевые капли. Я лежал под елкой, и время от времени они сваливались на меня, на лоб, на глаза, забирались под воротник, и такая меня разбирала обида, что я даже не укрывался бушлатом. Пускай капаят.

Я видел, как Лиза отошла от примуса и, поискав меня глазами, крикнула: «Идите обедать!» Я хотел ответить: я сыт, потом поем,— но подумал, что излишнее ломанье ни к чему. Мы поели бобов и мясных консервов, чай я не стал пить, а выпил сырой воды и пошел обратно к себе под елку. Я в самом деле хотел спать,— устал, да и в таком собачьем настроении лучше всего поскорей заснуть. Но только я подложил под голову мху посуше, совсем близко захрустел валежник. Я по шагам слышал, что это она идет, и сразу же затосковал и обозлился. Что ей нужно?

— Если вы хотите лечь совсем, то подстелите брезент. Земля все-таки сырая,— сказала Лиза.

— Спасибо.

Она стояла около меня, покусывая сломанную веточку, и не уходила. Что ей еще нужно?

— Очень устали?

— Устал, конечно.

— Ночь, наверно, будет холодная. Может быть, вы ляжете в палатке?

Я взглянул на нее. Она теребила зубами свой сучок, смотрела в сторону, и вид у нее был не то что смущенный, а просто жалкий. В чем дело?

— Я-то холода не боюсь,— сказала она.— Приходилось ночевать даже при заморозках...

Так вот в чем дело! Стало быть, это нужно было понимать так: «Я холода не боюсь; если вы боитесь, ночуйте в палатке, а я устроюсь здесь».

— Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сам устроюсь.

Я видел, как с ее физиономии слетело всякое замешательство, и сразу же она густо покраснела именно

потому, что я заметил, как ее обрадовал мой ответ. Не так-то просто сказать малознакомому человеку: «Знаете, голубчик, от вас лучше держаться подальше — вы себе здесь, а я там». Но она все-таки не уходила. Что ей еще нужно, в конце концов?

— Вы на меня сердитесь, Женья? — сказала она.

Я вздрогнул.

— За что?

За то, что она шарахается от меня, хотя я ничем ее не обидел и как дурак полночи провалялся в траве у палатки? Или за то, что она поругалась со мной в лодке из-за того, кому грести?

— Не сердитесь, — повторила она, старательно уклоняясь от моего взгляда. И вдруг с какой-то особенной злостью сказала: — Все у меня спуталось в голове! Сама ничего не могу понять.

Сразу же она ушла в свою палатку, а я разостлал под елочкой брезент, накрылся бушлатиком и завалился. Хватит с меня. Я больше не хотел думать о том, что происходит.

На другой день все опять пошло как по расписанию. С утра небольшой разговор о видах на погоду (ни слова о том, как спалось, холодно было или жарко), всё о той же лапше, о том, что приготовить на завтрак, и такое же молчание в лодке. На весла, впрочем, она не совалась, с этим-то было покончено.

Небольшое различие между нынешним утром и вчерашним было еще в том, что вчера она как запряталась за свои бидоны, так и не вылезала из-за них, а сегодня, сидя за рулем, я время от времени чувствовал на себе ее пристальный взгляд из-за плеча нашего лодочника. Стоило мне обернуться — пусто, опять спряталась или смотрит на мох да на ельник по берегам. Здорово меня бесили эти жмурки-прятки.

Но со второй половины дня обо всех этих делах уже не приходило думать. Река мало-помалу расширилась, берега стали совсем болотистыми. Крепкий ветерок начал прихватывать так, что рябь заходила по воде косяками, будто какие-то огромные невидимки-рыбы гонялись друг за другом на самой поверхности реки. Мы обогнули заболоченный островок, и вдруг прямо по курсу открылось озеро.

Каким огромным оно казалось! Был виден только его левый берег, постепенно исчезающий в тумане,— прямо и направо оно уходило черт знает в какую даль. Мы точно опять вышли к морю.

Лодка наша сидела в воде чуть ли не по самые борга: груза в ней было порядочно. Мы только-только вышли из реки, и нас поддало волной так, что Иван Сергеевич взмахнул по воздуху веслами, точно крылышками, а у меня насквозь промокла вся рубаша.

— Где лагерь? — крикнул я. — Покажите, куда держать.

Лиза махнула рукой левее, в туман. Я переложил руль. Нас еще раз поддало и стало валить на борт, трести, подбрасывать, зарывать носом в волну, ящики, сваленные друг на дружку, так и затрещали.

«Плохо дело,— подумал я.— Крупка, очень свободно, может опять поплавать. Не едать геологам каши».

И вот, когда я изо всех сил старался выровнять лодку, не уклоняясь от курса, держать носом на волну, я опять увидел Лизу, которая смотрела на меня из-за плеча Ивана Сергеевича. Она смотрела с нескрываемой тревогой и спряталась, как только я на нее взглянул. Я усмехнулся про себя: девчонка нервничает, боится, как бы не поплыть. Тут нас опять поддало, и я посмотрел под ноги и обмер. В лодке было, наверное, ведер десять воды, при таком грузе это дело нешуточное.

Сразу же знакомое чувство тошноты подступило к горлу, и все тело обмякло, руки и ноги стали точно резиновыми.

«Не дойти,— подумал я.— Ни за что не дойти. Надо к берегу».

Это озеро в тумане было совсем как море. Берег чуть виднелся в полумиле от нас. Опять на меня посмотрели, и теперь я сам пригнул голову ниже, спрятал лицо, потому что знал: в лице у меня ни кровинки.

— Так нельзя! — крикнула Лиза. — В лодке вода. Держите по волне к берегу.

— Обойдется,— проворчал я, продолжая вести лодку прежним курсом.

— Вы слышите, что я вам говорю? В лодке вода.

— Я говорю — обойдется.

Я сдвинул руль так, что у меня пальцы свело. Иначе

они бы тряслись, я знал наверняка, что иначе они бы тряслись. Я не смотрел на Лизу, я был не уверен, смогу ли я справиться со своим лицом.

— Но слушайте, в конце концов я могу вам приказывать? За груз и за лодку отвечаю я.

— Не играйте в начальство,— сказал я и сам слышал, как у меня срывается голос.— Отвечаем все вместе.

Руль затрещал. Это нас так поддало с кормы. Я знал, что пускай нас опрокинет или зальет к черту, но я ни за что не поверну. Я уже не думал, как бы резать волну. То, что я проделывал с рулем, никак не напоминало сознательного управления лодкой, это была судорога, самая настоящая судорога, которая свела мои руки. Я закрыл бы глаза, если бы Лиза на меня не смотрела.

— Женья, миленький! — вдруг крикнула она.— Что вы делаете? Ведь это одно сплошное упрямство, и больше ничего. Иван Сергеич, скажите ему.

— Да,— сказал Иван Сергеич.

— Не надо трусить,— сказал я. Собственные мои слова отдавались у меня в ушах, точно их говорил кто-то другой.— Только не надо трусить.

— Но я боюсь!

Я поднял на нее глаза. Я плохо соображал, что она говорит. Голова кружилась, судорога сводила руки. Но выражение ее лица не оставляло никаких сомнений, лицо было растерянное и белое, вот как наша палатка. Она в самом деле перепугалась.

— Ну хорошо,— сказал я.— Пойдем не к берегу, а вдоль берега.

Пока мы подходили к берегу, нам еще подбросило водички. Но теперь, когда до кустов было рукой подать, я немножко очухался и по всем правилам резал волну, и все было в порядке. То, что я испытывал за эти полчаса, можно сравнить только с одним: меня взяли за горло, сдавили до тошноты, до обморока, а потом тихонечко отпустили. Руки у меня еще дрожали, голова кружилась, но я уже не боялся. «Мне повезло,— думал я,— она сама перепугалась». Обидно, сказал бы Свистунов, у дядьки в блюдец тонуть; но я ни за что не повернул бы к берегу первый. Вместе с тем мне было немножко стыдно, точно я сделал какую-то гадость и свалил ее на другого. В сущности, так оно и было. Свой страх я, так сказать, спрятал

в карман, а перепуганную девчонку заставил меня упрашивать идти к берегу.

Тем не менее я не очень ругал себя. Я просто не мог себя ругать. Главное — это было то, что мы подошли к берегу.

Через час показался лагерь.

Я повернул лодку на песчаную отмель, прямо в сапогах соскочил в воду и за носовую цепь подвел лодку на мелководье. Отмсль тянулась далеко. Я увидел четыре палатки с флажком на одной из них и антенну, протянутую между шестами. Никто не вышел нам навстречу. Около палаток стоял небольшой очаг из камней и глины, дальше были протянуты веревки, на которых сушилось белье. Шагах в двухстах от лагеря лежали на отмели две большие зеленые шлюпки, возле одной из них возился с инструментами человек. Он не замечал нас, занятый своей работой. Потом из кустов вышел другой и легкой, вразвалку походкой направился к шлюпкам. Что-то неуловимо знакомое было в его походке, в том, как он стоял спиной к нам, заложив руки в карманы и слегка покачиваясь на ветерке. Голосов на таком расстоянии нельзя было разобрать, но казалось — он напевает или насвистывает. Потом он тоже склонился над шлюпкой. Пустой лагерь, бесконечная вереница волн, набегающих на отмель, флаг на шесте, который бился и гулко хлопал по ветру, и эти два человека, склонившиеся вдали над шлюпкой, — все вместе слилось у меня в одно неприятное ощущение чего-то уже виденного и забытого. Я держал в руках лодочную цепь, стоял в воде и смотрел на берег, точно раздумывал: сходить мне на него или не сходить?

Глава XXXVIII

ВСТРЕЧА

Мы обошли все четыре палатки. В трех было пусто, в четвертой лежал, завернувшись в одеяло, худенький молодой человек — ботаник экспедиции.

— Приехали? — обрадованно сказал он, увидев Лизу. — А у меня грипп.

Он выложил ей все лагерные новости. Схватил он

сильный грипп и третий день валяется в палатке. С ним в лагере остался их почвовед да еще два моториста, а все остальные, разбившись на партии, ушли в окрестные тундры. Вчера в лагерь прибежал за продуктами один из геологов, рассказывал, что километрах в тридцати к югу они открыли залежи какой-то ценной породы. Геолог так торопился обратно, а ботаника так лихорадило, что тот ничего не успел рассказать толком, а этот ничего толком не понял. Сегодня у него тридцать пять и восемь — сильная слабость. Почвовед ушел неподалеку бить уток, мотористы, по обыкновению, спят. Один — трепач, другой — нелюдим, и оба чистопородные лодыри. С утра он ничего не ел. Вот все его новости.

Мы его накормили, и после обеда он выпил крепкого кофе и полстакана портвейна, который был в наших запасах. Лизу точно опять подменили. Она бегала от очага в палатку, командовала мной, без церемонии подталкивала меня в спину — торопила то идти за водой, то распаковывать ящики с продуктами, — словом, вся ее натянутость в отношениях со мной улетучилась, как только мы сошли на берег. Потом неподалеку от лагеря в тундре хлопнули подряд два выстрела и спустя некоторое время еще два.

— Это наш почвовед палит, — сказала Лиза. — Пойдем к нему.

Мы вышли из палатки. Ветер не стихал, но тучи со стороны озера разваливались, опадали, точно растворялись в желтом вечернем свете. Это озеро, когда ветер пронес тучи, оказалось не таким уж широким. Гористый противоположный берег был отчетливо виден, он отстоял от лагеря не больше чем за пять-шесть миль. Зато в длину озеро тянулось до самого горизонта.

Выстрелы смолкли. Охотника мы нашли на верхушке невысокого холма, он лежал там и курил, отгоняя комаров папиросным дымом. Три только что подстреленные утки валялись возле него. Снова пошли рукопожатия и обмен новостями. Больше всего почвовед беспокоился о газетах. Мы привезли их с собой — номера двухнедельной давности, и он, закрывшись газетным листом, сразу же перестал обращать на нас внимание.

Теперь, когда я поднялся на вершину этого холмика и снова оглядел весь лагерь и отмель с набегаящими на

нее волнами, мне псказались удивительными те ощущения тревоги и беспокойства, с которыми я сошел на берег. Оглядываясь с холма, я не мог понять, что же именно могло вызвать во мне это неприятное ощущение чего-то виденного и забытого. Палатка, флажок, песчаная отмель вдоль берега, шлюпки на отмели — все это было чужим и незнакомым, ничего этого я не мог видеть раньше. Мне показалось, что я видел еще что-то, да, что-то еще было тогда на берегу, о чем я сейчас никак не мог вспомнить, и именно от этого и пошло мое беспокойство.

Со стороны лагеря на холм поднимался густой кустарник. Мы сидели спиной к кустам, лицом к озеру, и вот, когда я разглядывал расстилавшийся подо мною берег, мне показалось, что в кустах кто-то стоит и внимательно смотрит нам в спину. Краешком глаза я даже различал этого человека, видел, как он до пояса выдвинулся из кустов, как стоял, руками раздвинув ветки, закрывавшие ему лицо.

— Тут есть кто-то еще? — сказал я, оборачиваясь.

Там не было никого. Лиза сказала, что никого там и не может быть, все, кроме нас, в лагере или далеко в тундре. Мы продолжали разговаривать между собой, как вдруг сама она прервала меня и прислушалась. Совсем близко похрустывали камешки, под гору кто-то спускался. Мы оба поднялись с места. Шагах в тридцати по склону холма спускался человек в синей рабочей блузе. Спуск там был довольно крутой, он слезил боком, держась за кусты. Я видел его только в затылок.

— Это Сережка Полозов, наш моторист, — сказала Лиза.

Она окликнула его по имени, но он не отозвался и даже не посмотрел в нашу сторону, хотя на таком расстоянии нельзя было не расслышать, что его зовут. Скат кончился, он вышел на ровное место и быстро зашагал к лагерю.

Опять меня охватило это мучительное ощущение чего-то виденного уже много-много раз, а между тем я знал, наверняка знал, что все это вздор — одно мое воображение.

— Сергей! — крикнула Лиза.

Он не оборачивался. Он шел большими шагами, ветер раздувал его расстегнутую блузу.

— Ваш Сергей,— строго сказал почвовед, откладывая газету,— и эта дылда, его товарищ,— малоприятные люди. Когда чачальник вернется в лагерь, я буду иметь с ним крупный разговор. Они выкрали третьего дня бутылку спирта из лаборатории, напились в стельку и, когда я попробовал было как следует взгреть их, полезли на меня чуть ли не с кулаками. А на другой день все те же милые улыбки и жалобы на свою безалаберную «матросскую душу».

— Они моряки?

Это у меня вывалось само собой.

— Да,— сказал почвовед.— Моряки. По документам они моряки.

Мы все еще смотрели вслед уходившему от нас человеку. Он просунул голову в крайнюю справа палатку, сразу же отошел, а оттуда выскочил второй моторист, здоровенный парень, чуть ли не на целую голову выше того, которого окликала Лиза. Было видно, как он оглянулся в нашу сторону, как опять полез было в палатку, но первый нетерпеливо махнул рукой, и они о чем-то заспорили. Спор был недолгим. Тот, что пониже ростом, быстро зашагал по огмели к шлюпкам, второй шел за ним, время от времени исподлобья поглядывая в нашу сторону. Я не мог разглядеть их лиц. Высокий к тому же был давно не брит, щеки и шею покрывала густая черная щетина.

— Они спускают лодку? — сказала Лиза.— Зачем?

В самом деле, они хотели спустить шлюпку на воду. Тот, что пониже ростом, уже стянул с мотора чехол и, открутив вентиль, проверял в баке горючее. Больше никто ничего не сказал. Почвовед подхватил свое ружье и уток, болтавшихся на веревочке, и мы двинулись напрямик к шлюпкам, продираясь через кустарники на склоне холма. Те двое хорошо видели нас, и что ни минута, тем их поведение становилось все удивительнее. Высокий что-то выкрикнул своему товарищу и, не стесняясь, указал на нас пальцем. Тот торопливо закрыл баки, и оба они, ухватившись с двух сторон за борта, погнали шлюпку навстречу волнам, растекавшимся по отмели. Мы скатились на берег метрах в десяти от того места, где теперь лежала только одна шлюпка. Вторая уже прыгала на волне, и было видно, как один из мотористов грудью навалился на

левый борт, чтобы уравновесить шлюпку, когда второй в нее полезет. Тот вскарабкался на корму мокрый до плеч.

— Что случилось? — крикнула Лиза. — Куда вы?

Застучал мотор. Сидевшие в шлюпке обернулись. Они смотрели на нас. Нет, они смотрели только на меня, на меня одного.

— Мацейс!

Я видел его оскаленный, широко раскрытый рот, как у человека, который долго бежал и задохся. Шлюпка уходила по прямой от нас, а его глаза, смогrevшие на меня в упор, точно оставались на месте, висели в воздухе. Я видел только их. Потом я, кажется, закричал: «Этих людей разыскивают», — пытался длинно объяснить, что это за люди, но сбился с первых же слов, потому что шлюпка уходила все дальше и дальше. Потом Лиза, которая стояла рядом со мной, вдруг вырвала у почвовед-а ружье и выстрелила из обоих стволов. Дробь так и шваркнула по воде: ружье было заряжено дробью. С таким же успехом можно было швырять им вдогонку мелкие камешки. Я кинулся ко второй шлюпке, оставшейся на берегу. Я навалился на нее, тянул за борта, гнал на воду, а она не двигалась с места.

— Да помогите же мне! — крикнул я. — Стоят как столбы!

Они вовсе не стояли как столбы. Почвовед, чертыхаясь, выворачивал наизнанку карманы, в которых лежали патроны, Лиза быстро перезарядила ружье, и они бросились ко мне на подмогу. Шлюпка запрыгала на волне.

— Только двое, — сказал я, перебрасываясь за борт. — Третий пусть останется.

Лиза бросила в шлюпку ружье, я подхватил ее под руки и сразу же дал газ. Наш охотник так и остался стоять по пояс в воде, но третьего я не хотел брать, чтобы не загружать шлюпку. Мы рванули с места.

Так. Стало быть, они уцелели. Стало быть, человеческие косточки на берегу, часы, обломки шлюпочных досок — все это ложь. Они догадливые ребята: что стоило им, натолкнувшись в ту ночь на труп какого-нибудь рыбака, выброшенный волнами на берег, надеть ему на руку браслет с часами, подбросить, наконец, документы. А если не было под рукой мертвецов — не беда, они ребята сообразительные, они могли кого-нибудь убить.

Я до конца дал газ, мотор ревел, шлюпка дрожала, точно готовая расколоться. Несколько раз волна кидалась мне прямо в лицо, я отмахивался от нее локтем.

Стало быть, они выбрались. Неплохая мысль — уйти на несколько месяцев в тундру, в пустыню до тех пор, пока их перестанут искать. Подложные паспорта и тундра — этого достаточно, чтобы не беспокоиться за свою шкуру. Я подгадил — одна беда. Ничего, они решительные ребята, у них шлюпка, у них мотор, им еще нечего бояться за свою шкуру. Через полчаса они пересекут озеро, а обойди-ка его вокруг пешим ходом — это, наверное, сутки пути, если не больше! Они могли быть спокойными: погоня не будет. Только я опять помешал. Откуда же им было знать, что я пушусь за ними вдогонку — тоже на шлюпке и тоже с мотором?

Я вспомнил хриплый голос Овчаренко, руки его, вцепившиеся в поручни: «Мы выберемся на берег. На животе поползем, зубами будем цепляться, но выберемся. У нас есть дела на берегу». Я выбрался. Я полтора часа захлебывался горькой морской водой, рассек лоб, валялся в горячке, встал, выбрался на берег. И пусть со мной все повторится сначала, пусть будет еще хуже, — я не дам им уйти.

Тем временем они уходили. Приподнявшись со скамьи, я видел прямо перед собой пенистый след их шлюпки. Как ее швыряло! Как нас швыряет, я не замечал. Мне казалось, что расстояние между нами все увеличивается, а в следующую минуту я был уверен, что мы начинаем их догонять. И то и другое было неверно: мы шли с одинаковой скоростью, нас одинаково била волна, перехлестывала через борта и зарывала носом в воду.

— Бесполезно, — сказала Лиза. — Они все равно уйдут.

Берег был близко. Уже можно было разглядеть огромные валуны, вокруг которых пенилась волна, и крутой скат, обрывающийся прямо в воду. Пятью минутами раньше нас они будут там.

Вдруг они резко изменили курс и пошли к берегу под углом. В чем дело? Я понял не сразу. Если они подойдут по прямой, через пять минут мы будем рядом с их шлюпкой. Мы не догоним их, когда они будут карабкаться в гору, но выстрелы догонят. Они сообразили это и изме-

нили курс, пошли на отлогий, поросший кустарниками мысок, видневшийся к югу от нас на расстоянии не больше одной мили. Я же говорил, что они догадливые ребята.

Они были догадливы, но не совсем. Мы шли примерно на равном расстоянии от этого мыска, но они не сообразили одного: волна им теперь навстречу, а нам в левый борт. Они теряли скорость, мы не теряли ничего.

Теперь расстояние между нами уменьшалось. Мы сближались с каждой минутой, вопрос был только в том, успеем ли мы подойти к ним на выстрел, прежде чем они соскочат на берег. Если соскочат, тогда конец: кусты их спрячут. Я опять видел Мацейса. Он сидел на руле все с тем же оскаленным ртом. Видел второго моего «дружка», его заросшую черной щетиной физиономию, мокрые волосы, налипшие на глаза. Его было не узнать. Я прошел бы мимо него, не обернувшись. А тот, второй, почему тот не захотел последовать примеру своего товарища, почему он не изменил свое лицо? Но я же знал Жорочку! Этот красавчик мог отсиживаться в тундре, черт знает где, жить под чужой фамилией, но он не мог не быть красавчиком-морячком, с чубом курчавых волос, красиво спущенным на правую бровь, и с досиня выбритыми и припудренными щеками.

— Вам придется сейчас стрелять,— сказал я Лизе.— Бейте в мотор, если у вас пули. Если — дробь, бейте прямо по людям.

Она велела мне развернуться носом на волну (так нас меньше качало) и выстрелила. Мотор их продолжал трещать как ни в чем не бывало, пуля пропала зря. Но они, наверное, неважно почувствовали себя после выстрела, потому что стали вилять туда-сюда, метнулись прямо на берег, потом передумали и легли на прежний курс.

Меня охватило удивительное спокойствие. Теперь я знал: им некуда деться.

— Повторим,— сказала Лиза.

Этот выстрел был удачней: сразу же Мацейс подскочил и бросил руль.

— Только не трогайте людей,— сказал я.— Раненые, они нам доставят хлопот.

— А я и не в людей,— сказала она, стреляя еще раз, и стук мотора сразу же оборвался.

Третья пуля попала, куда ей полагается. Шлюпка их, потеряв ход, так и затанцевала на воде.

Мы подошли к ним метра на четыре, и я тоже выключил мотор. Они смотрели на нас, а мы на них. Нельзя сказать, чтобы они выглядели очень веселыми. Но пока еще хладнокровия они не теряли.

— Здорово, Жорочка! — крикнул я. — Судьба, говоришь, — индейка, жизнь — копейка, сегодня — ты, а завтра — я?

Он усмехнулся. Лениво развалившись на руле и закинув руки под голову, он с усмешкой смотрел на меня, а шлюпка их так и прыгала с кормы на нос. Он умел играть в хладнокровие, а я нет. Вся моя ненависть к этим людям вырвалась наружу.

— Может быть, мы расцелуемся на берегу? — сказал он.

— Подлец ты, — сказал я.

— Тише, Жень, тише, — забормотала Лиза. — Какой сейчас может быть разговор с ними?

Шлюпки наши так и плясали. Мы вверх, они вниз, мы набок, и они набок.

— Ваша дамочка, — сказал Мацейс, — продырявила нам оба борта навывлет. Вы располагаете пустить нас ко дну или отведете на берег?

— Заткните чем-нибудь пробоину, — сказал я. — Снимайте пояса и вяжите концы.

Я велел Лизе снять ружейный ремень, снял свой пояс, связал и один конец перебросил в соседнюю шлюпку, другой закрепил у себя на корме. Мы пошли к берегу, а они тащились позади нас на буксире.

Все обитатели лагеря, почвовед, больной ботаник и Иван Сергеич, наш лодочник, ждали нас на берегу. Они, конечно, не слышали выстрелов, но видели в бинокль все, что происходило на озере.

Мацейс и Шкебин сошли первыми. Я отвязал ремни, на которых держалась шлюпка, и потребовал, чтобы они заложили руки за спину. Ремнями я скрутил им руки до локтей.

— Я протестую против такого обращения! — крикнул Мацейс. — Вас будут судить за эти штучки.

— Брось, — вполголоса сказал Шкебин. — Брось, Жора, чего тут? Кончен бал.

С той самой минуты, как мы подошли к их простреленной шлюпке, он рта не разжимал, и это были первые слова, которые я от него услышал.

Глава XXXIX ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

— И вы ручаетесь за все его сведения, отвечаете за все его поступки?

— Да, ручаюсь и отвечаю.

Мы сидели вчетвером в палатке больного ботаника: Бахмури́н — почвовед, ботаник, я и Лиза. Иван Сергеич остался снаружи приглядывать за обоими механиками, которых мы связанными оставили на берегу. Говорили Бахмури́н и Лиза, я молчал.

— Но я видел их документы.

— А Слюсарев видел, как они покупали документы.

Мне не хотели верить. То, что я рассказал об этих людях, представлялось слишком чудовищным. Лиза выходила из себя, а я молчал. Я понимал, что Бахмури́н поступает правильно, что осмотрительность в таких делах необходима. Шутка ли обвинить в политическом преступлении двух людей, самочинно связать их и под ружьем держать связанными на песочке.

— Проще простого, — сказал я, — привести сюда обоих и допросить по всей форме. Если угодно, возьмите бумажку и ведите протокол.

Бахмури́н согласился, что так, пожалуй, будет правильней. Он велел Ивану Сергеичу привести их в палатку. Они вошли, и Мацейс сказал:

— Детки желают резвиться. Они играют в прокуров по особо важным делам. Не будем препятствовать, скажем свое слово в другом месте.

Он хорохорился, но был очень бледен. На Шкебина было противно смотреть, он весь как-то обмяк, складки на его грубом лице стали еще глубже и резче.

— Против вас, — сказал Бахмури́н, — выдвинуто обвинение, что оба вы преступники, скрывающиеся от следственных органов. Так это или не так?

— Не ваше собачье дело, — сказал Мацейс. — Кто дал вам право допрашивать нас?

— О правах не будем спорить. Вы слышали мой вопрос. Так это или не так?

— Брось, Жорка,— пробормотал Шкебин.— Вся эта волюшка ни к чему, ей-богу, ни к чему. Знай молчи.

Бахмури́н раскрыл лежавшие перед ним паспорта. (Я потребовал, чтобы все документы у них были отобраны.)

— По паспорту ваше имя Сергей. Почему же товарищ называет вас Жоркой?

— Я плевал на всех, говорите, что хотите,— сказал Мацейс.— Но будете отправлять в город, предупреждаю: не подсаживайте к нам этого мальчика. Я найду способ немножко подержать его за горло.

— Он все врет,— заволновался вдруг Шкебин.— Ему никогда не сделать этого. Когда я хотел это сделать,— он тоже кивнул на меня,— он запретил мне трогать мальчишку. Он, видите ли, не выносит душераздирающих сцен, рвань такая. Ну и сам теперь влип.

Он грубо выругался и замолчал. Мацейс, по-собачьи оскалив свои ровные белые зубы, смотрел на него.

— Прошу записать. Я протестовал против убийства матроса Слюсарева. Мой самый близкий друг это подтверждает.

Бессильные что-либо сделать с нами, они были готовы передрались друг с другом. Бахмури́н, который с отвращением наблюдал за ними, сказал, что они могут идти. Достаточно было посмотреть на них сейчас, когда они перестали ломать ваньку и притворяться, чтобы понять, какого сорта эти люди. Они вышли, и Бахмури́н сказал, что, по его мнению, мы должны составить акт об их аресте со всеми нашими подписями.

— Нас здесь пятеро, не считая этих мерзавцев,— сказал он,— и мы здесь представляем закон.

У меня не сохранилось документа, который он тут же составил, но я его помню наизусть. Вот он:

18 июня 193... года мы, нижеподписавшиеся, задержали граждан, называющих себя Полозовым Сергеем и Пайкачевым Тихоном, с целью доставить их в ближайшее населенное место и передать органам государственной безопасности. По имеющимся у нас сведениям, эти лица являются политическими и уголовными преступниками, в силу чего мы берем на себя ответственность лишить их свободы.

Дальше шли подписи: Бахмулин В. И., доцент, член ВКП(б), Редько, научный сотрудник, Шмыров И., колхозник становища Восточные Бухты, Радина Елизавета, сотрудник экспедиции, член ВЛКСМ, и Слюсарев Е., матрос промыслового флота.

Мне очень понравилась эта бумажка. В ней была особая торжественность, всегда связанная с выполнением закона, и мы, которые ее составляли и подписывали, мы были не просто научные работники, колхозники и матросы, а маленькая группа советских людей, делающая важное государственное дело. Нам предстояло решить еще один трудный вопрос: каким образом доставить Мацейса и Шкебина до ближайшего населенного пункта, как это было написано в нашей бумажке. И тут я сказал, что отправлять их нужно вниз по реке на моторной шлюпке и что, разумеется, шлюпку поведу я. Нужен был второй человек, который мог бы приглядеть за обоими пассажирами, пока я буду вести шлюпку. Вызывать из тундры людей — дело долгое, стало быть, второго конвоира нужно было выбрать из тех, кто оставался в лагере. Ботаник был болен, Бахмулин заменял начальника экспедиции. Речь могла идти только об Иване Сергеече и о Лизе. Ботаник предложил назначить ее.

Вот теперь я призадумался. В дороге мы будем приставать к берегу, отдыхать, готовить пищу, — нас двое и два наших пассажира, скрученных по рукам ремнями и веревками. Нельзя даже было предвидеть все трудности, которые могут возникнуть в этом путешествии. Я твердо решил одно: так как время от времени нам неизбежно придется развязывать руки нашим спутникам, то делать это мы будем по очереди: один ест, и его караулят с ружьем, а другой ждет.

Мы решили не затягивать сборы и через полчаса, распрощавшись с Иваном Сергеечем и с обоими сотрудниками экспедиции, захватив с собой два ружья и двухдневный запас еды и горючего, двинулись в обратный путь. Мацейсу и Шкебину я велел поместиться на носу, на средней скамейке сидела Лиза, я позади нес на моторе. Хотя ветер еще не стих, мы быстро пересекли озеро и вошли в реку. Снова потянулись моховые болота, кривые сосенки, редкий ельник. Могло ли мне утром прийти в голову, что через несколько часов мы будем плыть ми-

мо этих берегов обратно к морю и спутниками нашими будут двое людей, которых я сам давно уже считал мертвыми?

Перебирая в памяти подробности этого путешествия, я помню, что, когда мы отошли от берега, мы все долго молчали. Мацейс дремал или делал вид, что дремлет. Шкебин угрюмо смотрел на проходившие мимо берега. Он даже ни разу не оглянулся в нашу сторону. Мало-помалу я перестал следить за ними и только настораживался всякий раз, когда кто-либо из них шевелился или менял позу. Впервые с утра я подумал о Лизе. Как самоотверженно вела себя эта девушка во всех сегодняшних событиях, с каким запалом отстаивала она на совещании в палатке каждое мое слово! Я нагнулся к ней и шепотом, на ухо сказал, что если она устала, то мы подойдем к берегу и отдохнем, потому что ночь предстоит тяжелая, спать не придется никому. Она села вполоборота ко мне, по-прежнему держа ружье на коленях. Вполголоса мы переговаривались о привале, о распорядке, который придется установить с едой и отдыхом. Время от времени я все-таки не забывал взглянуть на нос, как там поживают наши пассажиры, но они по-прежнему не обращали на нас никакого внимания. Потом вдруг Мацейс зевнул и спросил у Шкебина, есть ли у него папиросы.

— Чем я тебе досгану, черт тебя подери? — огрызнулся тот. — Попроси у хозяина закурить.

— Хозяин занят личной жизнью, — сказал Мацейс. — Он играет в любовь.

Они рассмеялись, а мне кровь так и бросилась в лицо. Стало быть, то, как я разговаривал с Лизой, не прошло незамеченным.

— Он, между прочим, не такой уж баран, как мне казалось, — продолжал Мацейс. — Девка подходящая.

— Девка вполне нормальная.

Мы молча смотрели на них, а они, потешаясь, продолжали переговариваться, как будто бы в шлюпке никто, кроме них, не понимал по-русски. Что говорили эти мерзавцы! Это был какой-то взрыв сквернословия, который ничем нельзя было остановить. Они разглядывали Лизу, пакостно обсуждали ее внешность, высказывали вслух самые отвратительные, самые подлые мысли и, так как эта потеха им очень нравилась, по временам начинали



Наши спутники сидели рядышком и непрерывно требовали, чтобы им дали то напиться, то закурить.

хохотать самым веселым и добродушным смехом. Начав этот разговор «ради смеха», они мало-помалу вошли во вкус. Лица у обоих стали потными и красными. На Лизу я боялся взглянуть, я боялся увидеть, как у нее слезы бегут по щекам. А они все говорили и говорили, точно стараясь перешеголять друг друга своим бесстыдством. Я остановил мотор, бросил руль. С разгону мы врезались в камыши. Я схватил ружье, которое у меня лежало под скамьей.

— Замолчите,— сказал я.— Сейчас же замолчите, или я не знаю, что будет.

Они так и прыснули. Они ведь понимали, что я ничего, ровным счетом ничего не могу сделать с ними. Я отвечаю за них.

— Не будьте мальчишкой,— сказала Лиза. Она сидела, выпрямившись и плотно стиснув зубы. Нет, глаза у нее были совершенно сухие, они только расширились и стали совсем темными. В упор она смотрела на обоих негодяев, корчившихся со смеху на дне шлюпки, и этот ее пристальный, суровый взгляд, казалось, подействовал сильнее моего окрика. Во всяком случае, они замолчали и опять угрюмо усталились на берег. Я ничего не соображал, когда взялся за руль, чтобы вывести шлюпку из камышей.

— Дай нам закурить. Слюсарев,— сказал Мацейс.

— Дайте им закурить.

Это сказала Лиза. Пересплив себя, я встал, дал каждому по папиросе и поднес им спичку. Потом мы опять пошли по реке.

— Не беспокойтесь вы за меня,— услышал я Лизин шепот.— Я все-таки взрослый человек, хоть вы меня и называли девчонкой.

Я смолчал. Скорей бы я, кажется, язык откусил себе, чем сказал при этих людях хоть одно слово из тех, которые мне ей хотелось сказать. Я просто мучился из-за нее. А она бодрилась, она даже успевала подумать о том, как бы успокоить меня, но я-то видел, чего ей все это стоит.

Часа через два я сказал, что нужно подойти к берегу, устроить привал. Нужно было пополнить бак горючим, поесть и, хочешь не хочешь, позаботиться о наших пассажирах: у них, наверное, сильно затекли руки. Но этот огдых на берегу мало походил на отдых. Пока мы разогре-

вали еду, оба они сидели в сторонке и курили. Потом, когда еда была готова, я предложил им самим выбрать, кто будет обедать первым. Первым обедал Шкебин. Я снял с него веревки, а Лиза в это время стояла с ружьем шагах в трех-четыре. Пока тянулась вся эта процедура развязывания, они опять стали издеваться над нами. Мацейс самым деловым тоном советовал Шкебину ударить меня ногой и одновременно броситься ничком на землю с таким расчетом, чтобы первый выстрел угодил не в него, а в меня. Мы нервничали. Лиза стояла с взведенными курками, а они хохотали во все горло. Конечно, никто из них не думал всерьез воспользоваться этим случаем и попытаться обезоружить нас и удрать. Всё, что они могли сделать,— это еще поиздеваться над нами и опять довести меня до иступления. Однако на этот раз я им ни слова не сказал.

Возни с ними было порядочно. Когда Шкебин наелся, я опять скрутил ему руки и только после этого освободил Мацейса. Час прошел по меньшей мере, прежде чем мы сами смогли сесть наконец и поесть, причем это тоже было не так-то просто. Наши спутники сидели рядышком и беспрерывно требовали, чтобы им дали то напиток, то закурить. У меня кусок в горло не лез при взгляде на них. При этом они все еще не переставали нас мучить и без конца измывались надо мной и над Лизой, главным образом надо мной. Ее они, по-видимому, решили оставить в покое или уже выболтали все пакости, которые у них имелись в запасе.

Никогда не забуду этого вечера. Мы с Лизой сидим друг возле дружки, едим из одного котелка, а в нескольких шагах от нас, спиной прислонившись к соснам, сидят два эти бандита с руками, плотно прикрученными к бокам, и хохочут и говорят про нас. Мы спешим скорей доест, мы не хотим показывать вид, что слушаем их, но мы должны прислушиваться к каждому их слову, глаз с них не сводить, и они знают это и наглеют все больше и больше. А вокруг безлюдье, тишина мертвая, и дым от затухающего костра далеко тянется над мхами.

Усталости я не чувствовал. Но, когда я думал о том, что произошло за этот день, я начинал уговаривать себя держаться на ногах как можно дольше. О том, чтобы отдохнуть, мы и думать забыли. Как только обед был

съеден, мы отнесли все наши пожитки в шлюпку, предложили нашим пассажирам занять их места и сразу же отошли от берега. Пускай я опять свалюсь с ног, когда мы доберемся до становища, но лишь бы оно кончилось поскорей, это проклятое путешествие.

Глава XL

СКИТАНИЯ КОНЧАЮТСЯ

То, чего нам следовало опасаться больше всего, случилось: Мацейс закатил истерику. Первую половину пути они занимались этими скотскими шутками, о которых я говорил. Это давало выход их злости, отвлекало в какой-то степени от мыслей о том, что их ждет. Вскоре им надоело «шутить», да и мы нашли правильный способ заставить их замолчать: спокойно продолжали разговаривать о своих собственных делах.

После привала мы спустились по реке еще километров тридцать. Речные излучины, мхи по обоим берегам, негреющее ночное солнце в туманах,— этому путешествию, казалось, не будет конца. Мы не подходили к берегам. Скорей в становище, скорей сбыть с рук этих людей, а там лечь где-нибудь, вытянуться, закрыть глаза, ни о чем больше не думать. Я даже не спрашивал совета у Лизы, идти ли нам всю ночь напролет или остановиться где-нибудь передохнуть. Я знал, что она думает так же, как и я.

В середине ночи Мацейс опять попросил у меня воды. Я дал ему напиток прямо из реки, он сказал мне спасибо. Потом спросил:

— Почему ты не в море, Слюсарев?

Меньше всего мне хотелось с ним разговаривать. Но он взял меня врасплох своим вопросом. К тому же он так пристально смотрел на меня, и ни злобы, ни недоброжелательства не было у него во взгляде, одна только угрюмая усталость.

— Я был долгое время болен,— сказал я.

Он не стал меня расспрашивать, что и как, отвернулся и долго смотрел, как волны от нашей моторки с плеском набегают на берег.

— Я люблю море,— сказал он, помолчав.— Я вырос на море.

Приоткрыв один глаз, Шкебин хихикнул:

— Ты уже забыл, наверное, где ты вырос. Память на рояле осталась, а рояль в форточку улетел.

— Я вырос на море, на Черном море,— угрюмо повторил Мацейс.— Мой отец был врачом в Одессе. И у нас был дома рояль.

— Твой отец был контрабандистом.

— Это отчим был контрабандистом, а отец врачом. Моя мать ушла из семьи. Вся семья у нас вроде меня — бешеная.

— Врешь ты все. Недавно ты рассказывал по секрету, что твой отец — деникинский офицер.

В другое время Мацейс обозлился бы и пошла бы перебранка. Но сейчас с ним что-то случилось, он оставался очень спокойным.

— Вру не вру, какое это теперь имеет значение? Нас расстреляют, Слюсарев?

— Думаю, что расстреляют,— сказал я.— Надеюсь, что расстреляют.

Он кивнул головой, точно поблагодарил меня за откровенность.

— Если когда-нибудь попадешь в заграничное плавание, Слюсарев, советую — не пей. За сто шагов обходи кабаки. Таких-то вот веселых мальчиков вроде нас там и ловят.

— Ну,— сказал я,— я-то не вроде вас. Кой-чего насмотрелся.

Но он не слушал меня и продолжал говорить, глядя в сторону:

— О, черт! Полжизни ловил рыбку, а теперь самого — как рыбку!

— Может быть, мы прекратим эту лекцию о классовой бдительности и вреде алкоголя? — сказал Шкебин, передразнивая его южный говор.

— Я не буду молчать на допросах,— сказал Мацейс.— Это лишняя проволочка.

— А, ты не хочешь помолчать?

Шкебин приподнялся с места. Я видел, как веревки натянулись у него на предплечьях, и успел шепнуть Лизе, чтобы она была готова ко всяким неожиданностям. Он

багровел, а Мацейс, напротив, становился все бледнее и бледнее.

— Я не буду молчать,— повторил он.— Нам деньги платили, Слюсарев, за то, чтобы молчать. Я два с половиной месяца проболтался в порту, пока эти проклятые суда стояли на стапелях. Я достаточно квалифицированный механик, чтобы кое-что заметить. А когда я заметил кое-что, так мне предложили молчать в тряпочку и сунули деньги, чтоб я не плакал.

Тут произошла безобразная сцена. Шкебин все-таки ухитрился перевернуться на бок, и теперь он с размаху ударил Мацейса ногой. Он ударил его тяжелым матросским сапогом в бедро, потом еще и еще раз, а тот корчился под ударами и кричал о том, что его насильно заставили взять деньги в полиции, что он пропил все подчистую в четыре или пять дней, а Шкебин — он это хорошо знает — зажал и припрятал пару-другую тыщенок, что ему двадцать семь лет и он еще может начать новую жизнь. Не раздумывая, я повернул шлюпку к берегу, и вовремя. До сих пор не понимаю, как это случилось, что он вскочил. Вскочил одним рывком, со связанными за спиной руками. На него страшно было смотреть: белая пена, как у загнанной собаки, выступила на губах, голова тряслась, зрачков не было видно — одни выпученные, налитые кровью белки.

— Припадок! — крикнула Лиза.

Шкебин изогнулся еще раз, ударил его сапогом в спину, и он, как был со связанными руками, полетел за борт. Но я уже остановил шлюпку и следом за ним прыгнул в воду. Хорошо, что глубина была здесь примерно мне до плеч,— нырнув, я ухватил его за веревки. Он еще бился и дрыгал ногами там, под водой. Поднять его и поставить на ноги было довольно трудно. Потом он перестал биться. Глаза были плотно закрыты, из ноздрей и изо рта вытекала вода, пару-другую глотков он все-таки успел сделать. Я дотащил его до берега, приподнял и свалил на траву. Сердце у него стучало как молоток, левая щека и уголки губ все еще дергались. Но падение в холодную воду успокоило его лучше всяких капель, он лежал в обмороке, который, как я знаю, переходит у припадных в глубокий сон.

Я вернулся к шлюпке и подтянул ее к берегу. Лиза си-

дела, закрыв руками лицо. Когда она отняла руки, я испугался ее бледности — как бы и ей вдобавок ко всему не стало плохо. Не каждый день приходится участвовать в таких «веселых» событиях, какие только что разыгрались в нашей шлюпке. Я сказал, что, пока Мацейс не очухается, мы дальше не пойдем. На ухо я успел ей шепнуть, что после обморока он, по-видимому, будет долго спать и это нам на руку, мы сами немножко отдохнем, и я успею высушить свои вещи. Ночь была холодная, в мокрой одежде просидеть такую ночь за рулем — дело не легкое.

Потом я велел Шкебину сойти на берег и сказал ему:

— Слушай, ты. Я должен доставить по назначению хотя бы одного из вас. Мне интересней доставить того, кто более разговорчив. Если ты еще раз попробуешь тронуть своего дружка, я буду стрелять в тебя, даю слово.

Он ничего мне не ответил, молча отошел в кусты и лег. Думаю, что он мне поверил на этот раз. Потом я перетащил Мацейса подальше от реки. Голова у него свесилась на грудь, как у пьяного, ноги волочились по траве. Можно было снять с него веревки. Когда мы его распутали, он несколько раз глубоко вздохнул и открыл глаза. Взгляд был мутный и бессмысленный. Я незаметно кивнул головой Лизе, велел ей отойти в сторону, на всякий случай поближе к ружьям. Медленно он обвел глазами шлюпку, вытащенную на берег, нас с Лизой, Шкебина, исподлобья наблюдавшего за ним, потом попробовал сесть и застонал.

— У меня болит спина. Я точно избит,— сказал он, подозрительно вглядываясь в меня.— Ты меня бил?

— Я тебя не трогал.

— Не ври, ты меня бил. Почему я весь мокрый?

Он ничего не помнил после припадка — ни своей болтовни, ни побоев Шкебина, ни падения в воду. Злобно он смотрел на меня, ждал, что я отвечу. Физиономия у него была по-прежнему наглая и вызывающая; как только кончилась истерика, он снова стал самим собой.

— Перестань молоть языком! — крикнул Шкебин.— Почему он мокрый! Потому, что я тебя избил, пададь такая, и швырнул в воду.

— Я что-нибудь говорил о своих личных делах? — сказал Мацейс, так и обшаривая меня своими злыми глаз-

ками.— Забудь мои слова, Слюсарев. Я болен. Все это бред.

— Бред не бред, а давай-ка руки. Сейчас-то ты, я вижу, вполне здоров,— сказал я.

Пришлось его опять связывать. Раз он здоров и огорчается по поводу своих задушевных признаний, спокойней было его опять поддержать на привязи. Мы уложили его неподалеку от Шкебина, и он сейчас же уснул, а сами принялись собирать валежник, разводить костер. Я порядком продрог после этого ночного купанья,— мне не хватало только того, чтобы опять свалиться в лихорадке.

Потом мы сидели с Лизой у костра, и я, в одних трусах и бушлате на голое тело, сушил свое белье. Спать хотелось отчаянно. Несмотря на холодище, на мозглый туман, который поднимался с болот, у меня просто глаза слипались. Мацейс был неспокоен. Он стонал во сне, вскрикивал, несколько раз порывался встать, и до такой степени мы были издерганы за эти сутки, что он уже успокаивался и дышал ровно, а мы все еще вглядывались в него, готовые в любую минуту схватиться за ружья. Прошел час или два, не знаю,— никто из нас даже не прилег. По крайней мере мы хоть больше не мерзли. Костер разгорелся, и я уже успел высушить свои штаны и рубаху. Я ругательски ругал себя за эту дурацкую мысль везти наших пассажиров в шлюпке вдвоем с Лизой. Если я не подумал о себе, я обязан был подумать о ней. Черт с ним, взяли бы лодку на буксир, посадили бы их в лодку, а к нам хотя бы того же Ивана Сергеевича. Прошли бы вдвое дольше, но зато хлопот и беспокойства не было бы вполовину. Я опять вспомнил забавы этих негодяев, их омерзительный разговор в шлюпке обо мне и о Лизе. Только подумать, чего ей стоило высидеть там и смотреть на их красные скотские физиономии и слышать каждое их слово, каждый поганый смешок! При свете тусклого ночного солнца, пробивавшегося сквозь туман, ее лицо казалось сейчас серым, как мох. Не двигаясь, сидела она у костра и смотрела на огоньки, перебегавшие по хворосту. Осторожно тронул я ее за руку. Я хотел ей сказать, чтобы она прилегла на часок, я посижу, покараулю один.

Вдруг она прижалась ко мне лицом и крепко обняла меня за шею.

— Ох, Женя, милый! — сказала она. — Я так измучилась

Я обхватил ее обеими руками. Я притянул ее к себе и целовал ее лоб, щеки, волосы, гладил по волосам и опять целовал волосы, губы, глаза, которые стали совсем мокрыми и солеными. Она плакала, чудачка. Я накрыл ее с головой своим бушлагом и только оставил совсем маленькую щелочку, чтобы видеть ее лицо. Все еще плача, она улыбнулась и крепко прижалась щекой к моему плечу.

— Женя, милый, — повторила она.

Она так и уснула у меня под бушлатом. Когда я шевелился, она держала меня за плечо, не отпускала и что-то тихонько говорила со сна, что — я не мог разобрать. Долго я сидел так, чувствуя у себя на груди ее теплое дыхание.

Время шло. Погас костер. Несколько раз я осторожно снимал с плеча ее руку и подбрасывал валежнику на угли, потом опять клал ее руку на свое плечо, сидел не двигаясь, смотрел на ее чуть приоткрытые губы, слушал, как она дышит. Туман редел. Опять, как в ту ночь у палатки, вокруг меня загудели первые шмели и далеко в тундре с однообразным гоготом поднялись гуси. Началось утро.

Давно я не чувствовал себя таким спокойным. Уже не нужно было подбрасывать хворост в огонь, костер чуть дымился, теплое и ясное солнце вставало из тумана. Я знал: через несколько часов окончится наше путешествие. Лиза спала у меня на плече, накрытая моим бушлатом. Я был спокоен за все. Я больше ничем не мучился.

И еще я знал одно: проснувшись, она не станет избегать моего взгляда, не станет прятаться от меня, как два дня назад, после нашей ночевки в палатке. Как я не понимал тогда, что с ней происходит, и злился на нее и на себя! «Не сердитесь, — просила она, — все у меня спуталось в голове». Понадобились эти невыносимые, страшные сутки, чтобы она сама пришла ко мне, потому что ближе меня нет у нее человека.

Заворочался Шкебин, сел и уставился на спящую Лизу. Медленно по заспанной его физиономии прошла усмешка.

— Тише, — сказал я шепотом. — Не буди никого. Если хочешь поесть или закурить, сейчас дам.

Он еще раз усмехнулся и зевнул.

— Развяжи меня. Руки затекли.

— Ладно,— сказал я.— Сейчас развяжу.

Неохотно я опустил Лизину голову на траву; девушка только подложила ладонь под щеку и не проснулась. Потом я подошел к Шкебину, распустил на веревках узлы и, пока он сам распутывал веревки, снова сел у костра, пододвинув к себе обе двустволки. Так мы сидели друг против друга, курили, и время от времени он усмехался, поглядывая то на меня, то на спящую девушку.

— Хорошая баба, Слюсарев,— сказал он, выбрасывая окурок.— Это я без трепотни говорю, ей-богу. Тебе везет.

— Никакого такого везения нет,— сказал я.— Все, что случается с человеком, от него же и зависит, хорошее и плохое.

— Не знаю. Может, и так.

Он помолчал. Молчал и я. Потому ли, что я говорил с ним вполголоса и он отвечал мне вполголоса, а может быть, в самом деле не хотел будить Лизу.

— Раз вы с ней спелись, надо думать, поженитесь теперь?

— Надо думать.

Он одобрительно причмокнул губами. Потом опять усмехнулся:

— Завидное дело. А нас, значит, с Жоркой тем временем налево?

— Есть за что,— сказал я.— Есть за что вас с Жоркой налево. Сколько матросских жизней числится за вами? Не считал?

— Тридцать одна,— сказал он.— Говорили, что тридцать три, но это ошибочка вышла. Нас с Жоркой самих списали в покойники. Жалею я, Слюсарев, что выпустил тебя тогда ночью, ах, как жалею! Вот это моя ошибочка. Не сидел бы ты теперь тут таким петушком.

— Мне-то что? Жалей!

Проснулась Лиза, как ни тихо мы разговаривали.

— Уж извини, дорогой,— сказал я и протянул двустволку Лизе. Ни на одну минуту мы не забывали держать под прицелом наших спутников. Потом встал и поднял с травы веревки.— Нам на работу пора.

Так вот о чем он жалел, проснувшись поутру в таком добродушном настроении! Он даже согласился не будить

Лизу и совсем, как товарищ, одобрил ее и меня заодно. В шлюпке не было никаких разговоров.

Мацейс сидел больной, брюзгливый и только спрашивал чуть ли не каждые полчаса, долго ли нам еще идти по реке. Очевидно, им тоже не терпелось кончить поскорей это невыносимое путешествие.

Мы пришли в становище во второй половине дня. Целая толпа сбегалась к нашей шлюпке. Тут были и Александр Андреевич Кононов, и мой приятель моторист Крептюков. Я отказался отвечать на расспросы и только успел шепнуть Александру Андреевичу, чтобы он немедленно отвел Лизу к себе домой. Милиционера или краснофлотцев с погранзаставы мы не стали ждать и всей гурьбой повели наших пассажиров в комендатуру. Там я передал коменданту их документы, передал акт, который мы составили в лагере при поимке, рассказал все, что знал, мне пожали руку какие-то командиры и отпустили домой. Последнее, что я слышал от Шкебина,— это короткое ругательство и такое же короткое напутствие:

— Живи, голубок. Каюсь, моя ошибочка.

Мацейс мне ничего не сказал. Он жаловался, что у него болит поясница, что его знобит, требовал, чтобы его отправили не в камеру, а в больницу. Не знаю, как с ним распорядились в комендатуре. Никого из них я в жизни больше не видел и думаю, что и не увижу.

Поздним вечером, когда мы уже хорошо выспались и отдохнули, когда все, что можно было рассказать старикам о наших мытарствах, было уже рассказано, мы вышли с Лизой на берег губы. Горький запах морской воды, возня глупышей на отмели, парусники, убегающие в море на ночной лов,— все было так знакомо нам обоим! Мы долго сидели на камне. Птицы перестали нас пугаться, они спокойно опускались на песок рядом с нами,— одни дремали, другие чистили перья своими желтыми клювами. Не буду пересказывать, о чем мы говорили с Лизой. Этот разговор, прерывавшийся долгим молчанием, когда я чувствовал ее щеку своей щекой или просто держал ее за руки, был совсем не похож на те бесчисленные разговоры с ней, которые я представлял столько раз со времени нашей встречи в поезде. И он был лучше, в тысячу раз лучше.

Потом она сказала:

— Завтра я должна собираться в обратный путь. А ты?

Я поначалу даже не понял ее вопроса. Какие же тут могут быть сомнения? Куда она, туда и я! Мы уйдем отсюда вместе. Не сразу я сообразил, что она хочет знать, отправлюсь ли я с ней или вернусь на судно, опять пойду в море. Я рассмеялся — так это было неожиданно для меня самого. Ни разу за все наше обратное путешествие по реке я не подумал об этом. Почему? Что меня теперь держит на берегу? Разве я и теперь боюсь моря, боюсь воды? В сильный ветер я гнался в шлюпке по озеру, нас заливало, нас валило на борт, через несколько часов я прошел вторично тем же путем и ни разу, да, ни разу не ощутил этого щемящего, отвратительного страха. Я просто забыл и думать о нем. Значит, с этим покончено.

— Пожалуй,— сказал я,— придется мне вернуться на судно.

Она улыбнулась.

— Значит, все, что тебя так беспокоило, прошло?

— А ты знала об этом?

Она, смеясь, прижалась ко мне. А я думал: так вот почему она предложила мне пойти с ней в тундру! А ведь она так и гаркнула на меня: «На что вы нам?», когда я в первую же нашу встречу в поезде попросил ее взять меня с собой: ради нее махнул рукой на море, на все мои замыслы.

— Ты очень боялся,— продолжала она,— когда мы еще в лодке вышли на озеро. Ветер был сильный, ты совсем побледнел.

— Ну,— сказал я,— это еще вопрос, кто из нас больше струсил.

Ответ ее меня совсем огорошил:

— Я сделала вид, что мне страшно. Ведь ты упрямый, милый мой. Ты ни за что не хотел идти к берегу.

Через два дня она нашла на рыболовецкой станции моториста, который на время своего отпуска соглашался пойти с ней в тундру. Я долго стоял на берегу, смотрел, как уходила вверх по реке знакомая мне шлюпка. Рейсовый пароход, который должен был отвезти меня в Мурманск, ожидался на следующий день.

ЭПИЛОГ

Мы пили чай на квартире у Студенцова — я, Лиза, Студенцов с женой, Овчаренко и Бабин, наш старший штурман. О чем мы говорили за чаепитием? О наших замыслах, о предстоящей зиме, о следующей нашей встрече и меньше всего о тех делах и событиях, которые описаны в этой книге. В долгие осенние вечера, когда над палубой висят электрические лампы с колпаками, бросающими такой уютный, совсем домашний свет на столы, заваленные рыбой, а мы, матросы, стоим вокруг и стучим по столу своими ножами («Рыбы! Рыбы!»), обо всех этих делах было переговорено десятки раз. После чая мы поднялись на плоскую крышу семиэтажного дома, в котором живет Студенцов. Ночь была облачная. Город и порт, полный корабельных огней, лежали внизу под нами. Перекликались гудки — короткие гудки автомобилей, длинные — заводские, чуть слышные и такие печальные на расстоянии гудки пароходов, уходящих в залив.

Мы стояли у перил и смотрели на город. Я люблю этот город. Люблю его ночные огни и туман, светящийся над портом в пасмурные ночи, его улицы, сбегające под гору, сутолоку на его причалах и доках, на многие километры растянувшихся по заливу.

...Вечером я возвращаюсь с верфи сюда, в этот многоэтажный дом с плоской крышей, из окон которого видны и порт и снежные тундры, подступившие к городским окраинам. Я сажусь за свой письменный стол, такой же, как у Студенцова. На нем лежит еще не оконченный чертеж судовой машины, моей, мной придуманной машины. Лизы нет дома. Она еще на работе, вернется позже. Я успею до ее прихода лишний раз проглядеть чертеж, потом разогреть ужин и, когда она вернется, встречу ее в прихожей. Сниму с нее пальто. Поцелую ее щеки, такие холодные с уличного ветра. Когда она уснет, может быть, снова сяду к своему столу.

— Да, это вы правильно придумали, — говорит Студенцов, и Лиза крепче сжимает мне руку. — Сколько вы

плавали с нами? Месяц весной да три месяца нынче? Я знавал ребят, которые приходили в мореходный техникум прямо со школьной скамьи — и ничего, прекрасно получалось. А у вас хоть и небольшой, но хороший морской опыт, вы можете уверенно двигаться дальше.

Голос его звучит глухо. С трудом я соображаю, о чем он говорит.

...Нет, это все не так. Мы пьем чай вдвоем с Лизой за круглым столом, над которым висит большая, такая же, как у Студенцова, лампа. Целый месяц мы не видали друг друга, я могу без конца сидеть вот так и смотреть на ее лицо, самое дорогое на свете. Мой китель с нашивками на рукаве висит заброшенный на спинку стула. Я сижу, курю, слушаю ее новости, смеюсь ее шуткам, — нет, мы все смеемся ее шуткам, потому что в комнате много народа: тут Студенцов, Овчаренко, Бабин, может быть, Кононов Александр Андреевич, случайно оказавшийся в городе, маленький Голубничий («гром тебе и молния, зеленая лошады!»), Аристарх Епимахович Сизов, для которого я специально поставил на стол литр свежего трескового жира. И все мы много говорим, много пьем чаю, курим и смеемся. Хорошо опять увидеть их всех, моих друзей, собравшихся вместе. Когда они уйдут, я осторожно, чтобы не напугать, расскажу Лизе о том, как нас трепало в этом рейсе. Мой первый помощник, чудак такой, надел чистое белье: он уже рассчитывал отправиться к рыбам! Я до сих пор боюсь притронуться к своему плечу — так меня ударило волной о поручни. Какой волной? О чем я? Мы шли в ледовую разведку за две тысячи миль на восток, нас сжали льды и обвалились на палубу...

— О чем ты думаешь? Нам пора, — говорит Лиза.

Я жму руку Студенцову, жму руку Бабину и Овчаренко, моим друзьям, и благодарю их за то, что они сделали для меня. Я надолго прощаюсь с ними и вдвоем с Лизой спускаюсь вниз. Наш поезд на Ленинград уходит через полчаса. Он увезет нас обоих далеко от заполярного моря, которое я так полюбил, к другому морю, к другим людям, к другому труду. Я сам хочу водить корабли.

КНИГА СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ

Книги как люди: у каждой своя судьба... Я снова, в который уже раз, дочитал до конца последнюю страничку «Бури» и задумался. Завидная судьба у этой книги. Без малого тридцать лет назад написали ее два молодых в то время писателя — Всеволод Воеводин и Евгений Рысс. За это время для ребят написаны тысячи новых книг, и больше половины из них давно отжили свой книжный век. Когда-то читали их взахлеб, вырывали из рук друг у друга, а сейчас стоят эти книжки на полках библиотек, покрываются пылью... Никто их не спросит, никто не прочтет, никто не вспомнит. И не потому, что плохо написаны эти книги. Нет. Просто жизнь ушла вперед, обогнала их. Таким далским, таким непонятым стало сегодня то, о чем написаны эти книги, что их и читать не интересно.

А «Буря» живет. Ее первые читатели — мальчишки и девчонки далеких уже предвоенных лет — стали взрослыми людьми. У иных и внуки есть, и волосы поседели... Давно пошли на слом корабли, на которых плавали герои «Бури». Другие люди пришли на море. Другие заботы у этих людей, другие радости и огорчения. Но тысячи новых читателей каждый день во всех уголках нашей страны приходят в библиотеки и просят:

— Мне бы «Бурю» Воеводина и Рысса. Говорят, интересная...

В чем тут дело? Почему не стареет «Буря»?

Наверное, потому, что очень хитро задумана и построена эта книга.

Оглянись на минуту назад, вспомни «Бурю» и подумай: вымысел это или правда?

Конечно, вымысел. По всем законам приключенческой литературы переплетаются в «Буре» судьбы людей. Неожиданные опасности на каждом шагу подстерегают ее героев, удивительные случайности спасают их от неминуемой гибели, всегда вовремя происходят желанные встречи, благополучный конец венчает дело...

Но если бы только это было в книге, она не прожила бы такую долгую и счастливую жизнь. Секрет долголетия «Бури» в том, что

смелый писательский вымысел щедро пересыпан в ней настоящей правдой. А правда не умирает и не стареет.

Любые приключения можно придумать, сидя за писательским столом. А вот ощущения новичка-матроса, впервые попавшего на корабль, не придумаешь. Прежде чем описать, их нужно пережить, почувствовать, своими глазами увидеть то, что увидел герой, своими руками сделать то, что делает он.

Давным-давно, лет сорок назад, я вот так же, как главный герой «Бури», приехал в Мурманск и пошел в океан матросом на рыболовном траулере «РТ 36». А когда десять лет спустя я впервые раскрыл «Бурю», мне с первых же строк стало понятно, что люди, написавшие эту книгу, хорошо знают то, о чем они написали. Вместе с Женей Слюсаревым я снова бродил по причалам мурманской тралбазы, пропахшим треской... Вместе с ним поеживался, встречая снежные заряды, налетавшие с океана. Вместе с ним я вновь ощущал на губах горьковатые брызги, сорванные шквалом с гребня крутой волны. Вместе с ним, стоя на шаткой палубе, под нетерпеливый стук шкерильных ножей, длинной «пикой» подавал на рыбодел скользких рыбин с выпученными глазами. Так же, как Женю Слюсарева, меня снова било море, и снова, так же, как он, я однажды с радостным удивлением понял, что стал моряком.

И тогда же я подумал о том, что не одно поколение ребят прочтет «Бурю» и скажет спасибо людям, написавшим эту интересную, увлекательную книгу. И еще я подумал о том, что многие из этих ребят годы спустя снова вспомнят «Бурю» и снова поблагодарят ее авторов, уже став моряками.

«Буря» не раз выходила новыми изданиями. Она есть в каждой детской библиотеке. Но редко-редко приходится мне увидеть ее на полках. А когда приходится — я с завистью смотрю на потрепанный переплет этой книги, на нижние уголки ее страниц, замусоленные сотнями ребячьих пальцев, и радуюсь за книгу и за ее авторов. Ведь это значит, что ребята читают «Бурю», читают с интересом, с увлечением. Следя за судьбами героев, за их приключениями, радостями и невзгодами, сегодняшние мальчишки и девчонки незаметно для себя учатся понимать море, учатся любить трудную морскую службу, учатся мечтать о полной тревог и радостей беспокойной морской судьбе...

Недавно я тряхнул стариной и на новом, современном траулере снова сходил в рейс, в Баренцево море.

Много нового довелось мне увидеть в этом плавании, но многое осталось таким же, как сорок лет назад. Та же суровая мощь холодного океана, тот же мягкий полусвет полярного неба, то же спокой-

ное мужество смелых людей, наперекор враждебной стихии упорно ведущих к цели свои корабли.

Оглянись еще раз. И если в прочитанных страницах ты увидел необозримый морской горизонт, чарующую прелесть спокойного океана, если слышал неумолкающий рокот соленой волны, если понял, чем живут люди, для которых море стало домом,— может случиться, что эта книга станет одной из ступенек трапа, по которому ты взойдешь на палубу океанского корабля.

А. Некрасов

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Л. Соболев.</i> ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ. Повесть	<i>Рисунки</i>	
<i>В. Щеглова</i>		5
<i>Лев Кассиль.</i> Писатель и море		197
<i>Вс. Воеводин, Евг. Рысс.</i> БУРЯ Повесть.	<i>Рисунки</i>	
<i>Н. Лямина</i>		201
<i>А. Некрасов.</i> Книга счастливой судьбы		541

Соболев Леонид Сергеевич

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

* * *

Воеводин Всеволод Петрович, Рысс Евгений Самойлович

БУРЯ

Ответственный редактор М. М. Каламуцкая. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры Э. Н. Сизова и К. П. Тягельская. Сдано в набор 29/XII 1966 г. Подписано к печати 21/VIII 1967 г. Формат 84 × 108¹/₃₂. Печ. л. 17. Усл. печ. л. 28,56. (Уч.-изд. л. 28,51). Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Цена 1 р 10 к. на бум. № 1.

Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 5617.

14. 10 p.

